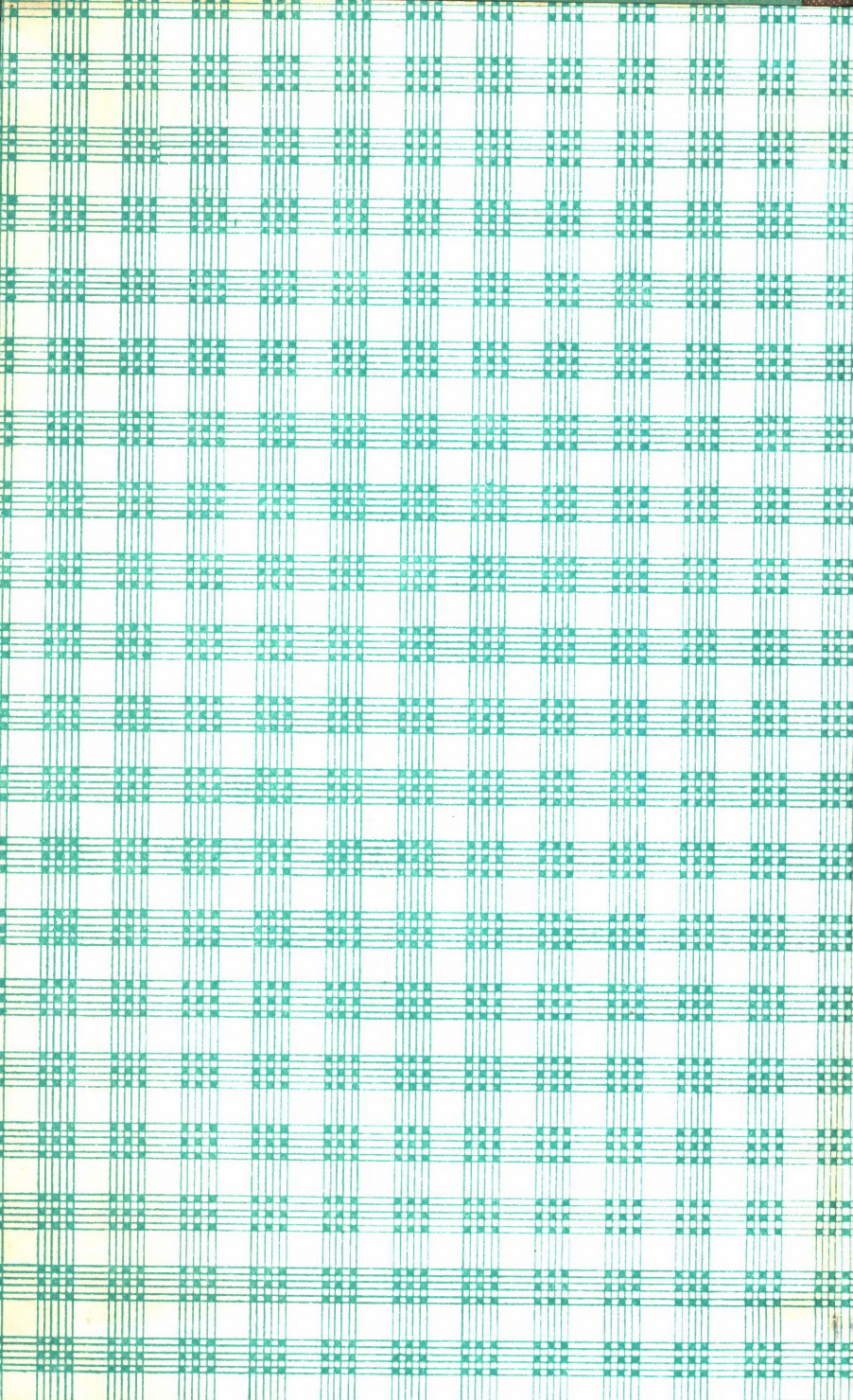
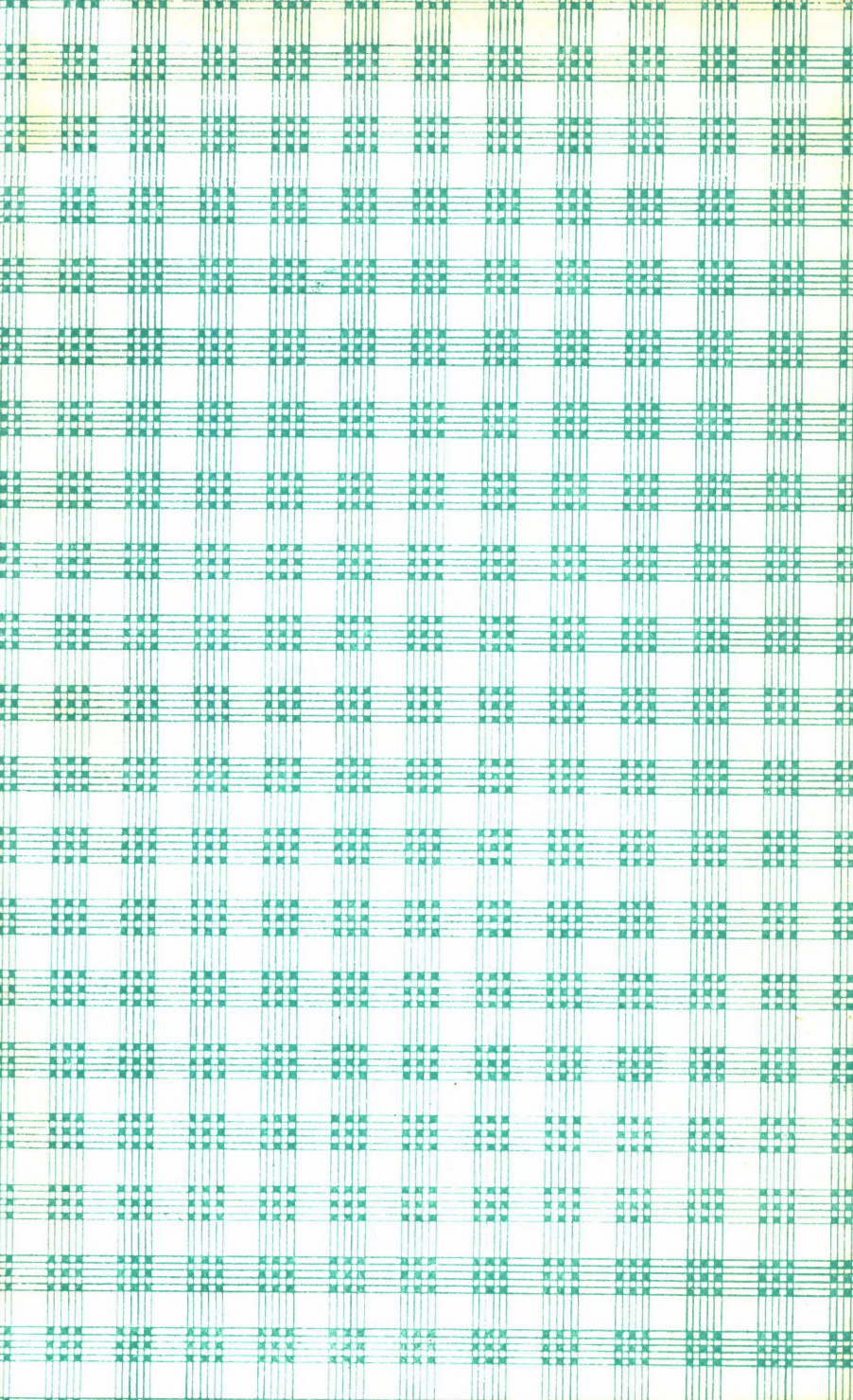


ГЛЕБ ГОРЫШИН

*С наилучшими
пожеланиями*







ГЛЕБ ГОРЫШИН



*С наилучшими
пожеланиями*



ГЛЕБ ГОРЫШИН

*С наилучшими
пожеланиями*

РАССКАЗЫ



Советский писатель Ленинградское отделение
1977

Книга Глеба Горышина «С наилучшими пожеланиями» включает в себя избранные рассказы, написанные за двадцать лет работы в литературе. Все эти годы писатель был верен жанру рассказа, позволяющему найти наикратчайший путь к злободневным проблемам современности. Рассказы Г. Горышина отмечены печатью таланта и литературного мастерства.

© Издательство «Советский писатель», 1977 г.

1



ИЗЛУКА

Лучшие наши охотничьи угодья, камышовые плавни в устье большой реки, то есть в речной губе, объявили заказником сроком на десять лет. Если за десять лет утиное стадо не умножится в должной мере, то и запрет охоты, надо думать, продлят. Прежде здесь помещалась охотничья база, жил егерь, теперь — смотритель заказника, охотовед или, вернее сказать, птицевед, зверовед, рыбовед. Должность эту, как мне сообщили на пристани в Вяльниге, занял Игорь Лубнин, мужик молодой, но ученый, чуть ли не кандидат. Помощником у него работает Люда, жена.

В прежние годы я ехал сюда с ружьем и с путевкой в кармане, нынче приехал безо всего, просто так — с весной повидаться. Сначала на автобусе до Вяльниги, потом на парходике, на речном трамвае, потом вдоль канала по берегу, по рушащейся, подмытой тропе... Уперся в речку-протоку Кундорож и кричу, как бывало:

— Эге-гей!

На той стороне спускается к лодке новый в этих местах, незнакомый мне малый. Перевозит меня на свой берег. Кое-как объясняю ему, для чего я, зачем. Смотритель заказника не выявляет каких-либо чувств. Я надеюсь на время, на соль. Конечно, о пуде соли, которую надобно скушать нам с птицеведом, чтобы нашелся общий язык, не может быть речи... Но нужно выдержать время. Пусть хозяин привыкнет ко мне.

Гостеприимство, открытость, патриархальная простота жителей уединенных избушек на берегах тихих вод

стали ныне преданием. Нынешние природные люди — лесовики — разборчивы, приметливы; они не торопятся привечать забредших на огонек путников. Впрочем, и сами путники изменились...

Я спустился знакомой тропой к губе, в камыши, устроился в еще не спущенной на воду лодке — в этой лодке мы плавали с егерем на охоту. Пусть смотритель заказника Игорь сообщит своей жене Люде обо мне, пусть посоветуются, как со мной поступить. Благо в лодке сухая лавочка...

Чайки кричат, вороны... Промелькнул белой спиной заяц. Клок зимы. Белеют почки-пуховки на ивах. Нависли барашки на ольхе. Чайки кричат надтреснуто, жадно. Проблеял бекас. Печет солнце.

С базы доносится голос женщины, Люды. Кое-что я узнал про нее. Она родилась на Амуре. Кончила физкультурный техникум. Работала егерем в Ольховском охотхозяйстве.

Теперь Люда помощник птицевода, птицеведова жена.

Я слышу, на дворе бывшей охотничьей базы стучит мотор, гонит в избу электричество. Егерь тут прозябал с керосиновой лампой. Слышу, моторчик вращает диск пилы. Моторчику не хватает мочи зараз перегрызть целую чурку. Но все же — перегрызает.

Смотритель заказника, Игорь, — плотный, с широкой грудью, с большим, отнесенным назад затылком.

Из камышей мне виден и слышен Игорев двор. Игорь приказывает собаке:

— Сайда! Поваляйся!

Сайда валяется.

Тишина на губе. Двое общественных инспекторов приплыли на лодке из Сонгостроя. Пришли ко мне, предвидя во мне браконьера с ружьем. Сказали: «Не стрелять — значит всем не стрелять». Охота закрыта.

Рядом со мною плавают черные утки с белыми головами.

Помню, зимой рубили лес за губой — лесную гриву-кулису, выросшую на бывшей линии обороны, на озерном валу. Из-под одной из сваленных елей вдруг показалась звериная лапа. Вальщик крикнул свою бригаду. Бригада сбежалась. Разрыли берлогу. Под пнем лежала медведица. Она посмотрела на бригаду и отвернулась. Нервически подергивались ее лапы. И спина. Из-под медвежьей

туши высунули носы два крохотных медвежонка. Иные шумели, что надо бежать за ружьем, убивать. Иные считали, что надо давить медведицу трелевочным трактором. Но были в бригаде женщины. Они увидели в этой медведице мать. И воспротивились убийству. Завязтые убийцы, мужики, согласились с ними. Позвонили главному лесничему, просили оставить пук леса, кулису вокруг берлоги. Лесничий согласовал с директором сплавной конторы — и разрешил...

Время к полдню. Пролетели девять лебедей. Птицевед Игорь бродил по колено в воде. Принес, показал мне щучку с крючком во рту. Он привык ко мне, притерпелся. Рассказал две истории — про сорочонка Пику и про лосенка Витьку.

...Весной сорочонок упал из гнезда. Люда его подобрала, назвала Пикой, потому что он первое время пищал. Сорочонок жил в дружбе с котенком. Дети не знают вражды. Сорочонок любил принести ягодку малины и положить Люде в рот. Потом вынуть. Если Люда проглатывала малинину, сорочонок сердился и верещал.

Однажды на базу приехал из города главный охотовед. Он устал и уснул. Пика прилетел и клюнул его в нос. Главный охотовед вскочил, испуганный, нервный, и долго не мог обрести равновесие духа.

Прошлым летом пяльинский егерь Ванюшка Птахин нашел лосенка в лесу. Он принес его на Кундорож, и Люда назвала лосенка Витькой. Витька любил сидеть на руках у Люды, лизать ее в нос. Он таскал со стола огурцы, соленую рыбу и колбасу. Все это было ему по нутру. Он приставал к собакам, бил лайку Сайду копытом. Сайде уже восемь лет. Она немножко рычала на Витьку. У Витьки была длинная, тонкая мордочка. Он был губастый и лопаухий.

Снуют меж кочек ондатры.

Пришел пяльинский рыбак. «Ищу, говорит, сорочки гнезда. Когда птенцы вылупятся, чтобы забрать».

— А зачем?

— А так...

Вечером сидим с Игорем и Людой на кухне. Люде хочется вместе с нами выпить и покурить, но Игорь ей запрещает. Он поет баритоном: «Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий

троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный...» Я думаю, как далеко Игорю до этого утоления беды в синем троллейбусе: вначале надо сесть на пароход — на белый речной трамвай, пароходик, — потом в красный автобус, затем уже в синий троллейбус...

— Я не понимаю горожанок, — сказала Люда, — они меня все убеждают, что я живу как-то не так. Что нужно стремиться чего-то достигнуть, что-то приобретать, жить на уровне достижений, тянуться. А мне это не надо. Я шестьдесят получаю и Игорь восемьдесят. Он еще платит двадцать рублей алиментов. Нам хватает. Я природу люблю. Здесь живешь и обо всем забываешь. Все чисто здесь. И люди другие. Мы по два месяца не уезжаем никуда отсюда...

У Люды короткие рыжие волосы, длинные, тонкие в голенищах ноги, серые с желтизной и прозеленью глаза, решительный излом светлых бровей, крепкие скулы, высокая грудь.

— Как егеря она меня устраивает, — сказал о своей жене, ухмыляясь, Игорь.

Игорю надо писать диссертацию о жуке-короеде. Он закончил аспирантуру, но диссертация все еще не написана.

— Я не понимаю, зачем это нужно тебе, — отговаривает Люда Игоря. — Зачем тебе эта диссертация? Какой-то ты педант...

— Это не помешает, — говорит Игорь, — стать специалистом в какой-нибудь области.

Утром приплыл на лодке пяльинский егеря Ванюшка Птахин. Разговор пошел о той самой зимней медведице с медвежатами.

— ...Он снег разгребают, а она его лапой. Он палку взял, думал, енот, — рассказывал Ванюшка.

Вспоминали, кто как вел себя. Во встрече с медведицей обнаружились свойства характеров, душ. Оказалось, что Люда подходила к медведице ближе всех.

Ночевал я в той же комнате, что и прежде, — в охотничьей комнате, а Люда с Игорем — в егерской.

Утром сели в лодку, поплыли каналом — хоронить утонувшего лося. Лось провалился на тонком весеннем льду. Взяли с собой лопаты, веревки, топор.

Однако лося стащило водой на середину канала. Только ухо его торчало из воды. Отбуксировать к берегу разбухшую тушу мы не смогли. Привязали к лосяной шее камень-валун, похоронили лося хотя и в пресной воде, но по морскому обычаю.

Крохотный пароходик тянул по каналу огромное тело баржи. Берега канала высоки и сухи; береза, сосна, высокие штабеля леса лежали на берегах. Лес отражался в воде канала, и синее небо отражалось, и солнце. Почему-то я думал о белой ночи и соловьях. Это здесь обязательно будет: соловьи белой ночью...

И кто-нибудь должен кого-нибудь полюбить в соловьиную ночь. Иначе зачем соловьи? И белая ночь для чего? Я посматривал на молодоженов, прикидывал, и казалось мне, птицевед чересчур уж деловит, что ли, для белой ночи и соловьев. Или, может быть, я завидовал птицеведу.

Мы вышли лесом на берег озера, песок здесь отмыт добела, на песке косачи начертили крыльями — токовали. Слева синеют лесные мысы и справа мысы. Лосяный рог лежит на песке. В лесу краснеет брусника, будто созрела под снегом.

Вдруг возникла в озере лодка. Ближе, ближе затарахтела. Прошуршала днищем по песку. Из лодки выпрыгнул весь посиневший от ветра и сырости малый в ватнике, в резиновых сапогах с поднятыми голенищами.

Игорь с Людой не стали его дожидаться, ушли по урезу воды. Я заметил, Люде хотелось бы повстречаться с лодочником-незнакомцем, поглядеть, кто таков. Но Игорь прибавил шагу.

Малый, хотя и промерз на воде, поглядывал весело, глаз у него веселый. Это Феликс, мой давний знакомый, лесник.

— Ты чего? Какими судьбами? — приветствовал он меня. — На охоту, что ли?

— Ну какая охота? Про охоту надо забыть.

— Зачем забывать? Забывать не надо. Забудешь, дак и не вспомнишь...

— А ты чего?

— На работу. Мы тут кулису клеймим. Сплавная контора будет кулису рубить... По дороге в озеро завернул, уток, думаю, попугаю...

— Прямо на утиного сторожа и напал...

Мы поглядели вслед Игорю и Люде. Люда знала, что мы глядим, обернулась.

— Пусть сторож свой огород сторожит, — сказал Феликс, — а на озере мы как-нибудь ходы-выходы знаем... — сам все смотрел на идущих по берегу женщину и мужчину.

Лесник Феликс Нимберг известен в округе как лучший охотник, неутомимый ходок по лесам и болотам. Феликс Нимберг — эстонец. Впрочем, какой эстонец? Дед его был эстонец, мать Феликса родилась в здешних местах, на Вяльниге, отец Феликса работает в сплавной конторе завскладом. Феликс после десятого класса и армии пошел в лесники. Он ходит, как лось, впробежку, — поддернет голенища резиновых сапог, и пошел: вода ему нипочем. Какая-то в нем есть легкость, летучесть. Он ростом высок, тонок лицом, глаза у него голубые. У всех коренных вяльнижских жителей голубые глаза. Это — признак природный, так сказать, географический. В обрисовке портрета важны оттенки, тона. Сказать «голубые» глаза — ничего не сказать. Голубизна глаз у озерных, вяльнижских жителей размытая, акварельная. Цвет глаз у Феликса отличается морской, лазурной яркостью, унаследованной от прибалтийского предка.

На счету у Феликса четыре медведя: двух он убил в овсах, одного взял в берлоге. Тут я должен оговориться: медведей Феликс брал в те времена, когда стрелять их дозволялось невозбранно, как бекасов, бей — не хочу. Теперь медведи подорожали в цене, на отстрел их выдаются лицензии. Не всякому выдаются.

Однажды на Вяльнигу прибыли с лицензией на медведя городские охотники. Как говорит директор сплавной конторы, — тузы. Директор и распоряжался охотой. Охотников привели к берлоге, расставили по номерам. Пустили собак, те разбудили, подняли, выдворили зверя. Мишка прорвался сквозь цепь охотников, цепь оказалась непрочной. Он выскочил, рывкал, ближайший к нему охотник уклонился от боя, дрогнул. Опыта встречи с медведем лицом к лицу, то есть с оскаленной пастью медвежьей, у охотника не было. Он уступил дорогу медведю без выстрела, хотя был отменно вооружен и за спиной у него имелась подстраховка. Страховал Феликс Нимберг,

лесник. Пуля Феликса остановила медведя, зверь ткнулся в снег носом. Второй пулей Феликс кончил его. Пир удался, увенчала его медвежья печенка.

В доме Феликса на стене висит пятнистая шкура огромной рыси. Это его последний охотничий подвиг, трофей — Феликс выследил рысь на задах своего огорода, поставил капкан и поймал...

Но мой рассказ о другом — о любви, занявшейся на головешках прежних любовей, о жестоком праве влюбленных творить свое счастье, не соболезнуя отверженным.

В том, что Феликс полюбил жену Игоря Люду, есть некая закономерность, неизбежность. В летнее время Люда имела обыкновение ходить в плавках-бикини, в полосатой майке-тельняшке и в резиновых сапогах с поднятыми голенищами и с большими ушами, посредством которых крепят голенища сапог к поясу. На голове Люда носила белую таллинскую фуражечку. Пяльинские бабы, дай им волю, отхлестали бы Люду ремнем за такое распутство. И откуда она взялась, нелегкая занесла...

Бабы чуяли в Люде опасность, тревогу, разруху, беду. Бабы свирепели, беленились, рычали, как деревенские псы на чужака, когда Люда являлась в своем непотребном виде в пяльинский магазин за хлебом и тушенкой. Конечно, идя в магазин, Люда надевала брюки; в плавках она щеголяла на Кундорожи. Но это не меняло дела. Перед бабами Люда не тушевалась, язык ее был остер. Мужики сползались взглянуть, когда Люда швартовала к плоту свою казанку. Лица у мужиков расплывались в мечтательной ухмылке, рты произвольно приоткрывались...

Люда запускала мотор, по-мужски резко дергала шнур. Казанка приседала на корму, разваливала воду в канале. Лодки у берегов, бревна в плотях оживали, терлись друг о дружку, разговаривали. И пяльинские жители разговаривали, глядели на белую Людину фуражку, пока она не растаивала в солнечном мареве. Откуда взялась? Что-то будет?

Бабы осуждали Люду, мужики похваливали: «Смелая девка, медведя не испугалась. Влет умеет стрелять. Ванюшка Птахин шапку кидал, дак охотовед промазал, а она в пух рассадила... Да-а-а... Девка — бой... Она, говорят, в Ольховском егерем служила, начальство на охо-

ту сопровождала... Охотовед ее оттуда вывез, подальше от глаз людских. Жену-то с ребенком бросил... Да...»

Вяльнижский лесник Феликс Нимберг до тридцати лет гулял холостым. То он сосенки сажает на вырубке, то лес клеймит под делянку, то ведет санитарную рубку, то ловит на хатках ондатр, то караулит пролетных гусей на сяргинских болотах. Сверх оклада и приработка сдавал еще беличьих, куничьих, ондатровых, лисьих шкур рублей на четыреста в год. Парень он видный, красивый, а главное, чистый да скромный, совсем как дитя.

Невесту Феликс не встретил в лесу, гулял в женихах. Все его школьные сверстницы замуж повыходили. Однажды он плыл на лодке по Кундорожи. Увидел на бону базы Люду, сбросил обороты в моторе «Л-6». Лодка зарыскала носом. Люда чистила большую щуку. В руках у нее посверкивал нож, чешуя так и брызгала. Люда была в резиновых сапогах с поднятыми голенищами, в плавках. Там, где кончался черный глянec мокрых сапог, начиналось нечто белое — кипень. Загар не приставал к Людиной коже. Феликс близко проплыл мимо Люды и ничего не сказал. Что тут скажешь? Тут нечего говорить, надо причаливать...

Городские, сонгостроевские рыбаки все причаливали, отирались на базе, покуда не появлялся Игорь. Своим сумеречным глазом он косил то вправо, то влево. Широко простирались Игоревы плечи. Игорь выдвигал вперед подбородок. Осознав неприступность этой крепости, посетители отваливали от бона. Феликс проплыл мимо Люды на малых оборотах, в каком-то затмении, не решился причалить, не нашел что сказать.

Он направлялся в озеро половить щук на дорожку, доехал до места, до своего верного места, кинул пару блесен, ходил кругами, но щуки не брали. У Феликса они брали всегда, сегодня не брали. Сегодня Феликс не чувал в себе той страсти, азарта, с которыми он отдавался охоте, рыбалке и прочим, главным в жизни делам. У других рыбаков и охотников спиннинги были дороже и ружья дороже, но охотничье счастье валило к Феликсу, потому что, когда он охотился, сам становился ястребом-тетеревятником, щукой-хищницей, слышал птичью и рыбью жизнь, умел затаиться и ждать — и подсечь, закогтить...

Сегодня блесны волочились за его лодкой, он словно забывал о них. Постукивал мотор на малых оборотах,

лодка кружила ни шатко ни валко. Феликс не чувствовал в себе обычного желания, воли — поймать. Он смотрел на синее небо и на зеленый берег, но видел Люду — в тельняшке, в резиновых мокрых сапогах. В руках у Люды нож блещет, порскает крупная чешуя. Люда взглянула на плывущего мимо рыбака, Феликс встретился с ней глазами, и показалось ему, в глазах ее плещется озеро — буйные воды, вольные воды; ничьи они, плыви, коль умешь.

Так ему показалось, так посмотрела Люда, жена птицеведа, словно прискучило ей чистить щуку на бону и захотелось ей уплыть хоть куда на рыбацьем челне. Глаза у Люды желты, зеленые, как у рыси, которую Феликс поймал на своем огороде, ноги у Люды белые. . .

Феликс плавал на лодке, таскал за собой две блесны, но щуки не трогали их, ни единой поклевки. Феликс думал о Люде. Он знал про нее, был наслышан: на Вяльниге, на канале, на Кундоруже все знают про всех. Ему интересно, конечно, было увидеть охотника-бабу, но не представлялось такого случая. И вот увидал. . .

Полдня проболтался на озере с двумя дорожками, безо всякого интереса к рыбалке, смотал спиннинги и поплыл на Кундоруж, еще не зная зачем. Вот разве договориться с охотоведом насчет повязки. Зимой Феликс искал за губой енота, со своей восточносибирской лайкой Пыжом. В лесу попался ему охотовед, качал права насчет того, что нужна лицензия на енота. Феликс ответил, что в этих лесах он родился и вырос. Охотоведов и звероведов он навидался на своем веку. Охотоведы приезжают и уезжают. Живут в лесу местные люди, они и хозяева лесу. Феликс высказал это без драчливого задора и запала, спокойно, даже с улыбкой. Вообще он легкого нрава, врагов себе не завел. И ссоры с охотоведом не получилось. Лубнин поглядывал на собаку Феликса, Пыжа, приманивал его, поглаживал. Пыж интересовался собакой охотоведа Сайдой, тоже восточносибирской лайкой. Игорь спросил у Феликса о родословной Пыжа, но Феликс про это не знал. Он купил Пыжа у геолога, приезжавшего на охоту. Геолог привез Пыжа откуда-то из Якутии. Лубнин завел разговор о повязке — дескать, нельзя ли повязать его Сайду с Пыжом. Феликс ответил, что можно. Почему же нельзя? Никакой корысти он не собирался иметь от этих собачьих дел. Дал охотоведу свой

адрес, чтобы тот приводил собаку, когда она войдет в пору.

Игорь не приехал. Феликс уже позабыл о том сговоре, ему-то какая забота? Но тут, правя лодку с озера на Кундорож, через губу, он вспомнил... «Спрошу, чего ж не приехал». Этот повод казался ему достаточным для визита. К базе подчаливал всякий рыбак, с тех пор, как тут поставили дом. Для путника или пловца дом, стоящий отдельно, в лесу ли, на берегу, — это как корчма у дороги... Правда, причаливали дальние, сонгостроевские, городские. Вьяльнижские обычно спешили домой.

Феликс вовсе не собирался в гости к охотоведу. Хотя он и не поссорился с ним в лесу, но запомнил надменность охотоведа, его брезгливо выпяченную нижнюю губу. «Тоже мне инспектор нашелся, бумажку в лесу спрашивать... Бюрократ...»

Однако Феликс пришвартовался к бону кундорожской базы, легко взбежал по лесенке наверх, постучал в дверь. За дверью играла музыка, пел Сличенко: «Под окном стою я с гита-а-ро-ю...» Феликс открыл дверь и вошел, громко стуча сапогами, воскликнул:

— Есть кто живой?

Сапогами он стучал только в сених, войдя в дом, сразу заметил, что полы недавно мыты, всюду настелены половики. Тут он осторожно пошел, застенчиво, вроде даже на цыпочках. Люда мыла пол в комнате-боковухе. На столе стоял магнитофон, крутились бобины...

Люда отжала тряпку в ведро, распрямилась, убрала со лба за ухо прядь волос. Очень бабье было это ее движение, и сама она показалась Феликсу проще, чем рисовалась в воображении: на широкоскулом лице веснушки, застиранное ситцевое платишко, босые ноги сунуты в драные, видимо, мужнины кеды. И эта Людина простота, бабья обыденность, домашность понравились Феликсу. Как разговаривать с Людой, когда она одета в тельняшку, плавки и белую фуражку, он не знал.

С этой домашней, сельской, такой, как все, Людой начинать разговор было легче. Даже и начинать-то не надо. Феликс посмотрел Люде в глаза, прочитал в них, что она помнит его, как утром он захотел причалить и не решился. Приход его не был неожиданным для Люды; она, конечно, знала, кто он такой.

— Хозяин-то дома? — спросил Феликс, словно хозяин сам и назначил ему прийти в эту пору и должен быть тут.

— Он уплыл за губу, — сказала Люда. — На весь день. А у вас что, дело к нему?

— Да скорей у него ко мне, — сказал Феликс. — По собачьим делам. Ваша Сайда моим кавалером интересовалась, Пыжом. Был такой разговор, чтобы поближе их познакомить...

— А он уже Сайду в город свозил, — сказала Люда. — Там у одного его знакомого профессора есть кобель. Не знаю уж, чем он хорош, но — профессорский, с высшим образованием.

— Ну, где уж нам, — сказал Феликс, — с профессорскими тягаться...

— Да я ему говорила, — сказала Люда, — брось ты за званиями гоняться. Он, может быть, и породистый, профессорский кобель, а толку-то что? Он уже все свои качества потерял, раз в городской квартире живет. Его пять раз за год вывезут в лес — разве же может быть он настоящей охотничьей лайкой? Он сибаритом стал, выродился... Так Игорь ни за что, ему все по науке надо. Он говорит, что генетическое вещество остается неизменным, хоть в городе пес живет, хоть в лесу. А я так не верю...

— У нас тоже в Вяльниге один чудак есть, — сказал Феликс, — в больнице хирургом работает. У него легавая сучка. Так он ее на повязку в Москву возил, там какой-то есть легаш необыкновенный. На дорогу сколько потратил, да там еще жил, водил на свидания свою сучку. А легаш на нее ноль внимания. Он приучен к столичному, избранному обществу, а тут вдруг ему провинциалку привезли... И ни в какую. Так ничем у них и кончилось...

Легко было Феликсу разговаривать с Людой, будто знакомы они много лет. Да и вообще, как всякий истый, азартный охотник, любил он побаять, позаливать.

— Я утром еще собирался заехать, поговорить с вашим мужем, — привирал чуть-чуть Феликс, — а потом вижу, вы шуку чистите, думаю, неудобно с утра пораньше лезть в чужой дом... Вот, думаю, порыбачу, может, хоть рыбки привезу... — Ничего такого Феликс не думал, но, говоря, сам верил себе. Люда знала, что он привирает, но тоже будто бы верила. Кроме того, что они говорили друг другу, меж ними сразу же завязался еще другой разговор — бессловесный, подспудный. Что-то читали они

в глазах друг у дружки, интересно было читать... Феликс старался меньше глядеть на Люду. Она извинилась, сказала, что надо домыть полы. Немножко осталось... Из этой ее оговорки, что осталось немного, Феликс понял, что можно ему не уезжать, побыть еще тут. И показалось ему, что Люда рада случайному гостю. «Что, в самом деле, целыми днями одна, — подумал Феликс. — Такая девка, она привыкла быть в центре внимания, раз егершей работала, значит, всегда среди мужиков...» К чему привыкла егерша Люда, Феликс не стал додумывать и гадать. В этой девке и нравилось-то ему, что она решилась поселиться в лесу, не убоилась одиночества. В этом чуялась ему некая родственность душ: и сам он решил, лучшее в жизни находил в одиноком лесном бродяжестве.

Он дожидался Люду на дворе, осматривал моторы и сознавал превосходство охотоведа над собой. В моторах он мало что понимал, только знал, как отрегулировать лодочный мотор «Л-6» да как установить на мотоцикле зажигание. В хозяйстве охотоведа все было моторизовано. Бензиновый мотор вращал динамо-машину, по вечерам на базе горело свое электричество. Другой мотор вращал диск пилы. И это действовало на Феликса, несколько подавляло его. Тут он не мог сравняться, соперничать с охотоведом. Когда он думал о Лубнине, то ставил себя рядом с ним и сравнивал. Да где уж, Лубнин закончил аспирантуру, пишет диссертацию, станет ученым. Об этом все знали на Вяльниге. Каждому, кто побывал на Кундорожи, Игорь об этом сообщил...

Люда вышла в брюках, перепоясанных широким ремнем. Под ремень она заправила свитерок. Феликс увидел, как высока она, и стройна, и тонка в талии. И бедра ее тоже заметил. Плечи у Люды были прямые, широкие — сильные плечи, годные для всякой, мужской и бабьей, работы.

Долго рассматривать Люду Феликс не стал, сразу заговорил, продолжил начатую беседу:

— ...Щука совсем не берет на блесну. Поздно. Кончился жор. Полдня прокружил по озеру — и ни одной поклевки.

— А вчера Ванюшка Птахин говорил — трех поймал.

— Ну, одна-то, может, и была, если Ванюшка говорил — трех...

Люда сняла с веревки белье, унесла в дом. Потом вы-

мела сени, крылечко. Сбегала на реку с ведром. Все время она что-то делала по хозяйству. И успевала при этом разговаривать с Феликсом.

— ...Ой, — вспомнила Люда, — Игорь сказал, чтобы сеть в губе походить, вторые сутки мы не были, там уж, наверно, язей набралось. Я не люблю с язями возиться, в них одни кости... А Игорь вообще рыбоед, это способствует умственной деятельности...

Феликс вызвался помочь Люде походить сеть. Она сказала:

— Пошли, если делать вам нечего. А то я и одна управлюсь. Игорь меня научил. Я только не люблю рыб из сети выпутывать, у меня терпения не хватает...

Так они жили вдвоем этот день. Хотя день был воскресный, никто не причаливал к бону. Пяльинские косили в губе поднявшуюся тресту; мужики косили, бабы жали серпами. В сеть попало с десятков язей и еще караси.

— Эта сеть у нас как скатерть-самобранка, — говорила Люда, — всегда хоть что-нибудь в ней болтается. На уху да на жареху хватает. Мы с Игорем наедемся и Сайду накормим. Я шестьдесят получаю, Игорь восемьдесят. Двадцать рублей он алиментов платит. Нам больше и не надо. Зачем? Одежды здесь самый минимум требуется...

Феликс посмотрел на Люду и засмеялся:

— Да...

На рыбалку Люда опять переоделась, только плавки были на ней, тельняшка и резиновые сапоги.

— Ты что, осуждаешь меня за этот костюм? — Люда первая сказала Феликсу «ты». — Пяльинские бабы шипят, а мне наплевать...

— Они еще не привыкли к современной моде. Темнота. Домострой.

Он пихался пропешкой, Люда тащила сеть из воды, вместе они выпутывали из ячей снулых, толстых рыбин. Перемазали руки в рыбьей слизи, в крови. Рыскала лодка. Рыбы вдруг просыпались, прыгали. Из травы выплыла на чистую воду пястка желтых вербных пуховок — утят... Чайки в небе кричали. Нагретый воздух зыбко струился. Так тихо было кругом, что словно и нет на земле, на воде ни единого человека. Только лодка и два рыбака: рыбаки да рыбака.

Люда жарила на летней кухне карасей в сметане. Феликс колот дрова, зажег огонь под плитой. К чаю они

нарвали себе земляники, над рекой на береговом увале. Ягода назрела крупная, сладкая. Феликс рассказывал Люде о бобрах, о лосях, о лисах и барсуках, о медведях, о разных потешных охотничьих передрягах. Люда слушала его, как умеют слушать только мальчишки лет семи — девяти. Она глядела во все глаза на него, подперев щеку кулачком, переживала, и рассмешить ее было так же легко, как зажечь сухую бересту.

Люда тоже рассказывала — про сорочонка Пику, про медведицу, про пяльинских рыбаков. И про лютых своих врагов — пяльинских бабок — она рассказывала без всякого зла. Феликс слушал ее, как ровня, ровесник, приятель.

— Люди здесь какие-то открытые, — говорила Люда, — чистые. Все у них на виду, ничего они не прячут, не строят из себя, не выпендриваются. Если к ним подойдешь по-доброму, и они тебе отплатят добром. Злому человеку с темной душой здесь вообще не ужиться. Почва не та. Здешние люди как дети, бесхитростные, бескорыстные. Вот Ванюшка Птахин. Жена у него учительница в Пялье — она его пилит, пилит, хочет в люди вывести, чтобы у него зарплата была, как у людей, и все другое... А это ему не нужно. Он какой-то блаженный, мечтатель. Ему нравится на лодке по воде плавать. Или вот Сашка, механик с лесоучастка. Прекрасный мастер, золотые руки. Он Игорю помогал моторы монтировать. Собственно, Игорь ему помогал, а он был главный конструктор... — Эта Людина оговорка понравилась Феликсу: «На пару с Сашкой и я мог бы смонтировать любой агрегат». Поминая мужа, Люда чуточку принижала его, будто ставила на место. Видно, шел у них в семье спор — противостояние индивидов... И это давало Феликсу некую надежду.

— ...Сашка — философ, — говорила Люда, — они могут с Игорем часами спорить. Игорь бросил курить и мне не дает, а Сашка смолит без передыху, причем махорку... Игорь считает, что в жизни все зависит от воли человека — если сильная воля, то человек может построить жизнь такую, какую ему хочется. А Сашка говорит, что жизнь человека, так же как и вообще жизнь на земле, складывается из миллионов разных обстоятельств, независимых от воли. И семейная жизнь тоже... Каждая случайность или там поступок какой-нибудь, слово имеют

последствия. Ты хочешь одного, а получается другое. Я слушаю, слушаю их, вообще-то интересно, потом лягу спать, мне все равно слышно. Один раз пол-литра выпили и вот разошлись... Сашка говорит Игорю: «Ты бросил жену и ребенка, причинил им горе, зло. Теперь ты думаешь, что счастлив, а все равно из зла вырастет зло, и оно обернется против тебя...» — Люда посмотрела на Феликса, будто ждала от него ответа. Феликс не знал, что сказать, то есть ему больше нравилась Сашкина точка зрения, но он чувствовал, что вступать в эти Людины с Игорем дела ему нельзя.

— Я раз с Сашкой охотился весной на Сяргинских болотах, — сказал Феликс, — он всю ночь у костра доказывал мужикам, что жизни на других планетах не может быть. По науке доказывал...

— Да, он такой, — сказала Люда без выражения, думая о другом. Посидела в задумчивости и продолжала: — Я в Ольховском работала, в охотхозяйстве номер один — там все другое, не то, что здесь. Интересно, конечно, крупные люди приезжали. Космонавты каждую весну бывали. Гагарин, Титов, Комаров... Это, правда, еще до меня... Вообще-то большие люди простые, а вокруг них разная мелкая сошка увивается... Противно... Здесь этого нет. Здесь мне нравятся люди...

— Тоже всякие есть, — сказал Феликс.

Разговор стал затухать. Да и день пошел на убыль. Люда опять переоделась в то самое платьишко, в котором Феликс застал ее утром. Принялась мыть окна. Что-то в ней изменилось. Она теперь не глядела на Феликса. Завела магнитофон: «Под окном стою я с гита-а-ро-ю...» Феликс послонялся по двору. Люда выбежала с ведром и словно удивилась, увидев его, сказала:

— Игорь скоро должен быть. Вы можете его подождать, — так сказала, что будто и не было этого дня — ни лодки на озере в камышах, ни гуда в крови под тяжестью солнца, ни родства душ, ни карасей в сметане.

— Дак я к нему по собачьему делу, — сказал, улыбаясь, Феликс. — А дело-то уже сделано...

— Всего вам доброго, — сказала Люда, глядя мимо Феликса, вообще никуда не глядя, затворилась, задернула шторку. — Спасибо, что навестили. Заезжайте еще. Можете позвонить по телефону, договориться с Игорем, чтобы зря не приезжать.

— Ну, пока! — сказал Феликс. — Счастливо!

Прыгнул в лодку, оттолкнулся от бона, завел мотор... Смотрел на окошки базы, видел Люду, но она не обернулась к нему. Уплыл он в каком-то раздумье, недоумении.

Люда сказала Игорю, что был Феликс Нимберг, на-счет Сайды с Пыжом... Сколько он пробыл, как они по-хожали сеть, как жарили карасей и болтали — про это она не сказала.

Игорь хмыкнул:

— Была забота... Пес у него ублюдочный... — вопро-сов он никаких не задал жене. Ходил по дому босой, в тельняшке, высоко держа массивные плечи и напевал гу-стым баритоном: «Последний троллейбус по улицам мчит. Вершит по бульварам кружение. Чтоб всех подо-брать, потерпевших в ночи крушение...»

Люде не нравилось, что Игорь вот так похаживает, с неприступным видом, не попрекая ни в чем, но будто бы осуждая самым фактом своей недостигаемой высоты. Лю-да злилась на мужа. Она не собиралась этого говорить, само сказалось:

— Мы с Феликсом сеть проверили. Карасей нажари-ли. Поболтали. Он парень хороший, естественный, на Ва-нюшку Птахина чем-то похож...

— Я знаю, — сказал Игорь усталым, медленным, скучным голосом.

— Откуда ты знаешь? — не поверила Люда.

— Акустика на воде превосходная, — сказал Игорь. — И видимость тоже. — Он постелил на пол одеяло, лег на спину. Люда знала, что это он расслабился, по системе йогов принял позу «шавасана» и мысленно видит чистое небо, теряет чувство веса, земного тяготения, взлетает, парит... Люда тоже пробовала лежать в позе «шаваса-на», но оторваться от земли, взлететь, парить в небе не получалось у нее. Игорь говорил, что у него получается...

Он лежал с закрытыми глазами, отвалив набок голо-ву, распустив все мышцы и сухожилия, думал, что это он плавает на спине, видел мысленным взором небесный свод, но взлететь в этот раз почему-то не мог, переключиться из круга земных забот и тягот в сферу небесной безмятежности, невесомости не удавалось ему. Он испы-тывал не то чтобы ревность к Феликсу Нимбергу, но не-

кую, что ли, обиду. Чужак нарушил границу его владений, не доложившись ему. Причина визита казалась Игорю неосновательной, странной. Но главное, что уязвило его самолюбие, это Людина скрытность. На обратном пути из лесу Игорь завернул в Пялье на почту, и пядьинские рыбаки сообщили ему, что видели его бабу, когда шли губой. Она сеть похожала вдвоем с мужиком. Они думали, что это Игорь, хозяин, а Игорь — вот он, плывет с другой стороны. Мужик показался им вроде похожим на Фельку Нимберга. Фелька бегал с утра с дорожкой на озере — это тоже они видели. Скрыться негде на здешних тихих и ровных водах, все видно.

Игорь думал, что Люда сразу все скажет ему, а она про Сайду с Пыжом... Какая-то чушь, ахинея...

До ревности Игорь, конечно, не мог опуститься. В их отношениях с Людой было нечто помимо чувства, страстей. Он понимал любовь Люды к нему как непрременную обязанность, долг; слишком неравны были затраты: Игорь расстался с научной карьерой в институте, прошел всю муку и унижение развода, оставил квартиру в городе прежней семье, ему достало воли резко переломить всю жизнь и возвести ее заново умением и силой своих рук... Он сделал это, смог — ради Люды. Кем Люда была? Разве это профессия для девушки — егеря? Охотники, конечно, баловали ее, приучили к похвалам, комплиментам. Но что ждало Люду, если б не он...

Игорь, конечно, не мог подумать, что Люда благодетельствована им. Но что-то было такое в его отношении к Люде, как в старых романах, где благородный джентльмен женился на падшем создании и поднял это создание до своего круга. Не только любви хотел Игорь от Люды — это само собою, тут Игорь себя почитал таким молодцом, каких мало, кого же еще и любить? — но еще хотелось ему благодарности, что ли. Мысль об измене, неверности Люды даже не приходила ему в голову.

Игорь полежал на полу в положении «шавасана», посмотрел сквозь потолок на ясное синее небо, мало-помалу забылся, переключился, переместился в иную сферу, увидел машущих крыльями чаек, мысленно, силой воображения сам оделся в чайчи перья и полетел... Поднялся с полу просветленным и обновленным, с легкой душой. Позвал жену:

— Людоед, пойдем поплаваем!

Игорь плавал кролем и баттерфляем, Люда саженками. Они брызгались, бултыхались, играли в воде — белые, голые, сильные, молодые. Люда вылезла первой на берег. Игорь смотрел на нее из воды, как Адам, вкусивший яблока и открывший, внове обретший свою подругу, Еву. Он любовался Людой и чувствовал гордость мастера, который нашел в бесформнице натуры перл красоты, совершенства — запечатлел его, обрамил. Никто не видит, не знает, ему одному владеть этим дивом...

Люда попрыгала, вытряхивая воду из ушей, она и не думала что-либо надевать на себя. Игорь видел ее снизу, с реки: нагая женщина исполняла ритуальный танец на берегу, на фоне темной насыщенной зелени, кустов, под заревым, багровеющим небом. Картина была хороша, но близко шлепал мотор, кто-то свернул с канала на Кундорож, не мешало бы Люде прикрыть свои прелести. Вообще бесстыдство подруги порой озадачивало охотоведа. Люде нравилось жить вовсе голой. Игорь звал ее «обнаженная маха» и попрекал: «Откуда это в тебе? Ты ведь русская баба. Они по природе своей стыдливы». — «А я вообще забываю здесь — баба я или кто, — отвечала Люда. — Я чувствую себя природой». — «Ну-ну, — хмыкал Игорь, — смотри, пяльинские бабы поймают тебя да вымажут дегтем». — «А я не боюсь, — отвечала Люда, — за меня участковый заступится. Мы с ним друзья...»

После купания пили чай с земляникой на летней кухне. Вскоре приплыл на лодке пяльинский механик Сашка. Вначале мужчины занялись моторами, потом вернулись к столу. С непонятым одушевлением, впрочем, постоянно свойственным ему, Сашка продолжил речь, начатую когда-то прежде:

— ...Ты вот мне скажи, для чего в Кондозеро пелядь запустили? Какая такая пелядь, хотел бы я знать? И слово-то непотребное. Таким словом добрую рыбу позорить не станут. Что-то здесь не то...

— Пелядь — вкусная рыба, — сказал Игорь, — пальчики оближешь.

— Да, может, она вкусная для тамошних рыбоедов, откуда ее к нам доставляют. А по мне лучше рыбы и нет, чем кондозерский налим. В марте, бывало, под лед мережу сунешь, налимы в нее набьются — каждый по полену. Ночь они на морозе полежат, настрогаешь их, солью посыплешь — царская еда, деликатес. Не-ет, что-то тут не

так. Какой-то закон в природе переступают, а природа насчет закона строга.

— Для меня самая вкусная рыба — это сиг озерный, горячего копчения, на ольховом дыму, — сказала Люда.

— Вот я про что и говорю, — подхватил Сашка, — в нашем озере сиг обитает, а на берегу ольха растет. Все одно к одному. Может, где-нибудь в Африке, на озере Чад, вообще рыбы навалом. А посади там нашу ольху, она не будет расти, зачахнет, потому что не нужна там. Какой-нибудь баобаб срубят на дрова и рыбу коптят на баобабовом дыму. А привези к нам этот баобаб, он если и выживет, дак на кой он нам шут? Наша рыбка хороша, когда ее на нашенском, на ольховом дыму провялишь...

— Ты же чай гоняешь, Александр Ефремович, — начинал сердиться Игорь, — и не задумываешься над тем, что растение это — чай — произрастает в субтропическом климате. Однако твой кондовый северный организм требует чаю, усваивает его...

— Это другое, — возразил Александр Ефремович, — это во все века люди друг другу гостинец посылали. Это торговля, обмен. Все равно, что Фелька Нимберг куниц добудет на Вондеге, сдаст в заготовку, мех на пушном аукционе продадут, какая-нибудь дамочка где-нибудь в Рио-де-Жанейро из него себе шубу сошьет. А мы на вырученные денежки в Рио-де-Жанейро ананасов купим...

— Феликс рысь у себя в огороде в капкан поймал, — сказала Люда.

— Это как понимать огород, — Игорь выпятил нижнюю губу более, чем обычно. — Феликс вообще весь лес понимает как собственный огород. Браконьер заядлый. Сам хищник почище любой рыси.

— Да брось, — сказала Люда, — какой он хищник? Он лес чувствует, понимает. Он просто поэт.

— Знаем мы этих поэтов, — Игорь поднялся, вышел вон из летней кухни, скомандовал псу:

— Сайда, поваляйся!

Сайда, видимо, повалялась.

— ...Ну-ка, плесни мне, Саша, чуток, — попросила Люда. — Игорь не позволяет, он меня все воспитывает. Он вообще всех готов воспитывать.

— Вон чашку-то подай, в ней незаметно будет... Ну, давай, пока хозяина нет.

Люда с Сашкой чокнулись и выпили.

Тут пришел Игорь, Саша обратился к нему со своими идеями, которые всегда у него имелись, лишь бы было кому сказать:

— Вот ты говоришь, человек — царь природы и так далее... Царь-то царь, а надо с природой ему жить в мире... Особо царствовать над ней — еще неизвестно, как обернется...

— Я ему то же самое говорю, — встала Люда, — а он меня ругает.

— Дак ругай не ругай, а никуда от этого не денешься, — продолжал Саша. — От местных людей вреда природе не будет. Мы если чего и возьмем от нее, дак по потребности. Мы как кулики на болоте: нам без болота нашего нельзя, и болото без нас жизни лишится. Весной на болоте мы уток пролетных караулим. Убьем-то всего ничего, зато музыки этой наслушаемся и сами наговоримся всласть у костров. Бабы наши клюкву подснежную берут. Потом тресту жнем на корм скоту, летом морошка, рыба в озерах, в осень опять же клюква, гусь полетит. Городской человек будет два часа в очереди у ресторана ожидать, пока его швейцар в дверь пустит, а нашего брата хлебом не корми, только дай ему болото помесить сапогами... Всякому свое... Теперь что же получается? В губу нам доступ закрыли. Ладно, хорошо, мы понимаем: об утках, об лещах заботятся... Теперь Сяргинские болота Сонгострой своим охотхозяйством объявил. Егерей поставил, нашего брата гоняют, как диверсантов каких. Нам-то, болотным людям, куда податься? В город, что ли, лыжи наострять? Это мы можем. Наш пяльинский мужик как кошка: его кинь хоть с пятого этажа, он на лапки приземлится... А вот кто на нашем болоте жить станет?

— Местные, неместные — это не разговор, — сказал Игорь. — Это — понятия пережиточные, из феодального строя. Современный человек не принадлежит никакому месту.

— Это конечно, — согласился Александр Ефремович. — Но я тебе о другом толкую. Вот возьми у нас в Пялье Володя Ладын — мужик здоровый, перед войной он на сейнере плавал на Балтике. В войну их судно нем-

цы захватили, команду интернировали. Дак он из плену бежал, линию фронта перешел, воевал, брал Берлин. Потом опять же рыбачил на Балтике, дошел до старшего помощника капитана... И деньги зашибал хорошие, и квартиру имел в Усть-Нарве, и все такое прочее... В общем, живи — не хочу... Так нет, он все бросил, вернулся к себе на болото, в Пялье. Рядовым рыбаком в бригаде, мережи трясет... Стало быть, что-то тут есть. Вот же лебедь — покантуется зиму на Каспии и все равно тянет в нашу тундру...

— Вслодя Ладыин — большой мастер в губе поживиться рыбкой, — сказал Игорь.

— Да это ладно, это дело второе. Я не о том... Вот до тебя тут жил егерь Сарычев. Хороший мужик. Простой, работающий. С ним можно было договориться. И огород он тут развел, понимал крестьянскую работу, хотя и из города. Вообще хозяйственный человек, основательный. И выпить был не дурак. И пьяным его не видели. Умный, толковый мужик. Видать, хотелось ему тут как следует окопаться. Не гастролер. Кроликов развел... И вот же — не вышло. То одна у него неурядица, то другая. Собака была у него, зверовая лайка, — ее убили. Жена у него в городе оставалась, звал он ее, она приедет, поживет, да здесь ей не климат. Кролики его поедом съели, только успевал косою махать, траву им таскал... Старался мужик, не ленился. И ничего не вышло. Уехал в город. Там у него, видать, корень глубоко пущенный...

— Он с охотинспекцией не ладил, — заметил Игорь.

— А ты что думаешь, Саша, — сказала, сощураясь, Люда, — и мы тут тоже не приживемся, что ли, ничего у нас не получится?

— Живите себе на здоровье, ваше дело молодоженское...

Еще поговорили о том и о сем. Вскоре Сашка уплыл. Пока был, звался Сашей и Александром Ефремовичем, как уплыл, то стал Сашкой. Сделалось тихо на Кундорожки. Ничего не осталось от сказанных слов. Только стрижи все выше, выше взмывали, не в силах достичь потолка. Да и не было потолка. Стрижиные голоса доносились из выси на одной дискантовой ноте, будто морзянка, радиосвязь...

Иногда пролетали, свистя, шелестя крылами, чирки и

кряковые селезни. Над губой играли на флейтах кроншнепы...

— Хорошо-то как, когда нет никого, — вслух подумала Люда.

Они сидели на крылечке дома с Игорем, с мужем.

— Стрижи высоко летают, — сказал Игорь, — это к вёдру.

День кончился, вечер продолжался, медленно тек; пора быть и ночи. Но рдела вода в губе и в реке. Не могли уснуть, успокоиться птицы, плюхали рыбы. Тарахтели вдали моторы: кто-то куда-то плыл. Ночь наступила уже, но не было мрака, потемок; ночь раннего лета на Севере названа белой. Впрочем, белыми в этих ночах бывают разве что стены городских зданий. В городе белых ночей. Ночь над тихими водами, над камышовыми плавнями выдалась смутно-дымчатой, сизой, чуть лиловатой. В ней не было сна. Соловей попробовал горло в кусту над рекой. Проблеял где-то высоко никому не видимый козодой...

Игорь приобнял Люду. Рука вначале мягко, грузно легла ей на плечи. Стала крепнуть, твердеть... Игорь поцеловал Люду. И утром, и днем они целовались, но это был главный, самый долгий, решительный поцелуй, без оглядки, — окончание дня, пришествие ночи...

— Пойдем, — сказал Игорь.

— Пойдем, — тихо, готовно откликнулась Люда.

Они легли на пол, на свежее хрусткое сено, которое Игорь косил, Люда сушила — для ложа. Сено Люда укрыла сперва одеялом, потом простыней. Окошко они отворили, соловей пел для них. Когда он умолк, Игорь включил транзистор. Музыка звучала здесь, над тихими водами, без помех, вся годилась для Игоревой и Людиной любви... Молоды они были, Игорь и Люда, но не первой, исполненной жажды познания, робости и сомнений молодостью. Чего им нужно, знали они — вот этой любви; и любили не только друг друга, любили свою любовь, ее сладость и плоть. Весь день они жили под солнцем, среди луговых трав и цветов, трудились, купались в реке. Некая сила накапливалась, настаивалась в них; теперь они тратили ее, любя...

Когда же не стало ее, Игорю вдруг показалось, что все разомкнулось, исчезло. И что же? Что же еще?.. Эта изба, сено на полу, и женщина, лежащая рядом, — откуда она, для чего? Игорю почудились те мужчины, что были

рядом с ней, вот так же, в ночи. Все было уже. Все было. . . И миновало. И нет ничего. . . Игорь вдруг вспомнил о недописанной диссертации, ужаснулся: «Позор, позор. . . На месте захряс. . . Все она, она. . . Тоже мне пылкий любовник нашелся. . . Ученый муж. . .» Ему захотелось обидеть Люду. Он сквозь зубы сказал:

— Какой-то в тебе есть профессионализм. . .

Люда перестала дышать, затихла. . .

— Дурак ты. . . — Люда заплакала.

Игорь взял раскладушку, ушел ночевать под открытое небо.

Утром они помирились. Ночью опять поссорились. И много у них было ночей, но чтоб заодно, нераздельно, чтоб слиться и позабыть о себе, — такого больше не получалось.словно кто-то стоял над их ложем, смотрел равнодушным, насмешливым взглядом: «Все это было уже, все было. . .»

Обычно свой отпуск в августе — сентябре Феликс Нимберг проводил на боровой охоте, уезжал на мотоцикле в Кыжню, Вондегу, жил неделями в бараках бывших, брошенных лесоучастков, стрелял молодых петушков-косачей, свистел в манок, приманивал рябчиков по берегам лесных ручьев. Приглядывал, наблюдал, где бобры подпилили лесину, где мишка ходил, где рысь, где глухариные выводки. И сам он, как тетерев, кормился брусникой на вырубках, как мишка, лакомился малиной, жарил себе на ужин грибы — белых грибов полно в глухой корзине за Вяльнигой. В речках он ловил на удочку хариуса, форель. По вечерам сидел со свечой за столом в бараке, писал в тетрадку стихи: «Ничего мне на свете не надо. Я всю жизнь пройду налегке. Только двадцать четыре заряда. И краюха хлеба в мешке. . .»

Этим летом в отпуск Феликс отправился в необычное для себя место, на берег озера, по ту сторону губы, на мыс Еремин камень. Там имелась построенная рыбаками избушка, часто в ней гостевала приезжая публика, ободрали избу, даже двери сожгли. На Кыжне и Вондеге Феликс с легкой душой оставлял свое имущество в лесных домах, уходил, куда нужно ему, — никто ничего не трогал, не брал. Здесь, у Еремина камня, он не мог понадеяться на сохранность имущества; идучи в лес, нужно

было все тащить с собой на горбу. Да и лес тут худой, только прибрежная грива, за нею сразу болото: дупелишки да бекасишки. Незавидное место, но если подняться на этот самый Еремин камень, на поросший белым мохом и брусничником увал, если очень сощуриться, долго-долго смотреть, то можно увидеть в лиловой дымке, в солнечном мареве над зеленью тростников белый прямоугольник — шиферную крышу кундорожской базы. Музыка чудилась ему, как телефонный провод, доносила песню вода: «Ми-ла-я, ты услышь ме-ня...» Можно сесть в лодку и дуть напрямиком через губу, за час будешь там...

Стола в избе не было, лавки тоже пошли на растопку. Окна Феликс затянул от комаров полиэтиленовой пленкой, пол вымыл, лежал по вечерам на еловых лапах, застеленных брезентом, свеча горела в изголовье. Стихи сочинял: «Между нами вода. Ты сидишь у окошка... Ничего, не беда, только грустно немножко. Свет погаснет в окне. Ночь большая настанет. Без тебя плохо мне; поболит — перестанет».

Летом Феликс сошелся поближе с Игорем-охотоведом. Такой вышел случай: с Игоря потребовали отчет о поголовье зверя и птицы на берегах губы. По своей педантической честности Игорь решил исполнить задание без туфты, без гадательных, округленных цифр. С фотоаппаратом и магнитофоном, с егерем Людой он отправился в экспедицию, дневал, ночевал на болоте, на радость мошкам и комарам. Игорь себя не щадил и помощника не щадил, но лоси все запропали куда-то, утиные выводки затаились в тресте, к ондатровым хаткам не подобраться по трясине.

Феликс в ту пору клеймил лес под делянку в береговой гриве. Повстречал звериных, птичьих бухгалтеров — Игоря и Люду, изъеденных комарами, несчастных. Он им помог. Он знал на губе все гнездовья, все лежки лосей на болоте. Эту книгу он начал читать мальчишкой, выучил назубок. Игорь вначале все проверял «визуально», но вскоре понял, что здешних болот ему не облазать, всех комаров своей кровушкой не напоить... Он доверился Феликсу, помощника своего, егеря Люду, отпустил с богом домой.

Люда украдкой взглянула тогда на Феликса, даже кивнула ему чуть-чуть, подмигнула — дескать, спасибо, милый, за избавление.

Феликс помог Игорю написать отчет. Он прижился, приобвык в доме Игоря, так же как пяльинский механик Сашка. Понял, что Игорь, при всем его гоноре и образованности, мужик бестолковый в лесных, озерных, хозяйственных делах, а прежде всего в делах житейских, человеческих. Отношения с пяльинскими рыбаками Игорь изрядно подпортил, и вовсе трудно бы ему пришлось жить особицей, с Людой на пару, если б не Сашка. Сашка ему помогал. Сашка взял на себя, что ли, обязанности посредника между охотоведом и пяльинским миром. И Феликс тоже стал помогать, убеждать рыбаков, что Игорь, в общем-то, парень простой, только малость переучился...

Рыбаки говорили Феликсу, чтобы он передал «птицееду» — так они величали Игоря: «птицеед», — что если будет акты в милицию подавать за ловлю рыбы на губе, то пусть на себя пеняет. Воды много, есть куда спрятать концы. До Игоря был Сарычев егерь, тот хоть сети в губе снимал, но кляузами не занимался. С тем можно было договориться. А так не пойдет.

Феликс передавал Игорю пожелания рыбаков, конечно, в смягченной форме.

Он понял также, что между Игорем и Людой царят не только любовь да союз, но есть и что-то другое. С внезапным ожесточением они кидались друг на друга по пустякам. Однажды Люда собиралась в Гумборицу по каким-то делам, покрасила губы и подчеркнула глаза.

Игорь сказал, не глядя ни на кого, в пространство:

— Птицы выражаются в яркие перья только в брачный период. А у баб круглый год брачный период...

— Ты, Лубнин, приляг на спинку, — сказала Люда с такой ненавистью, что даже губы ее задергались. — Ты ведь у нас йог, лежи, отключись...

Феликс не любил раздоров, злобы между людьми. Он старался помирить Игоря с Людой: что-то ненастоящее и непрочное, вымученное было в их жизни, такой завидной, прекрасной снаружи, с фасада. «Хорошие люди, жалко. Пусть бы жили себе», — думал Феликс. Страстное волнение, которое он испытал, впервые увидев Люду на бону, со щукой в руках, вроде бы и прошло, улеглось.

Феликс частенько бывал теперь с Людой вдвоем, то сеть похажали, то плавали по грибы — Феликс знал за губой одно такое местечко, — то жарили рыбу на летней кухне. Игорь смотрел на эту их дружбу с достойным ин-

дийского йога философическим спокойствием, ничуть не ревнуя. Даже не пел про синий троллейбус. Он целые дни пропадал на губе, караулил свой большой огород...

Однажды Люда сказала Феликсу, как она говорила мужу:

— Фелька, пойдем поплаваем.

Но плавать, купаться в холодной здешней воде Феликс не любил и не умел.

— У меня нет купального костюма, — улыбнулся Феликс, — дома забыл, на рояле...

— А зачем? — сказала Люда, как бы не понимая Фелькиной шутки, играя изжелта-зелеными своими кошачьими глазами. — Я вообще здесь не признаю никаких костюмов. Отойдем подальше друг от дружки. Ведь мы же люди свои...

— Да нет уж, иди одна плавай, — сказал Фелька, чувствуя, как подымается, бултыхается сердце.

— Только ты не подглядывай.

— Да не буду, — сказал Феликс, охрипнув, теряя голос.

Люда сбежала к реке, разделась. Феликс видел в окошко. Люда знала, что видит.

Она пришла, натянув платье на мокрое тело. От нее пахло речной водой, свежестью, тиной.

— Ну, ты не смотрел? — спросила она.

— Смотрел, — сказал Феликс.

— Фу, как не стыдно. Такой скромный мальчик, а за чужими женщинами подглядываешь.

И правда, мальчик. Ничего не мог понять Феликс в этой бабе. Играла она с ним. Но зачем? И что нужно делать ему? Феликс неловко обнял Люду, и вся она, вся потянулась к нему, будто ждала, приникла, сказала близко, в самые губы:

— Ну что ты? Ну что, дурачок?..

Она хотела, чтоб он ей ответил — что. А что? Дурачок дурачком. Феликс прижался к Людиным губам, губы раскрылись, смялись, жадные губы — чтобы любить, целовать. Кого целовать?

— Сумасшедший, — сказала Люда и откачнулась. — Задушишь меня. Жениться тебе пора. Такой жених пропадает.

— Уже пропал, — сказал Феликс. — Весь вышел.

— Бедняжка... Пропавший жених.

Так они разговаривали, будто не было ничего. Это Люде хотелось, чтоб не было. Но было же, было. Феликс думал, что надо решиться и все разрубить: или так, или так.

— Я, знаешь, однолюб, — сказал Феликс, — как лебедь...

— Весной лебеди пролетали, — сказала Люда, — какая-то сволочь стреляла по ним с Еремина камня. Один лебедь упал. Мы с Игорем видели. Игорь помчался туда на лодке, но уж никого не застал. И вот, знаешь, все улетели, вся стая, а один отстал — кружился и плакал. Мы сами с Игорем наплакались, пока слушали его...

— Я покружу вокруг тебя, — сказал Феликс, — и тоже заплачу.

— Фелечка, миленький, не плачь, — сказала Люда, — а то и я плакать буду. Тут воды хватит без наших слез... Я к тебе привыкла. Ты мне как брат. Игорь меня убьет, если что-нибудь заподозрит. Он бешеный. В нем разные звери сидят: и медведь-сладкоежка, и заяц-трусишка, и тигр бенгальский... Мне трудно с ним... Да и со мной тоже не мед... Я сама не знаю, что завтра выкину... Я на Амуре родилась, в тайге выросла. Дальневосточница я, таежница. Потом меня забросило в Корсунь-Шевченковский, знаешь, Корсунь-Шевченковская битва?.. Потом в Ольховском егерем... Теперь вот здесь...

— А завтра где будешь, таежница?

— Здесь буду. А где же еще?

— Ну, ладно. Тогда можно жить.

Феликс уплыл и больше не заворачивал в Кундорож, хотя, случалось, писал круги по воде, тархтел мотором — по озеру, по губе, по каналу. Раз встретился с Игорем в лесхозе. Игорь спросил, чего он давно не показывается. Феликс ответил, что много работы: «Лесосеки отводим, клеймовка, визиры рубим. Некогда».

В августе он пошел в отпуск, сложил пожитки в лодку, да и махнул на Еремин камень. Охоты путной не было там, жить в лесу просто так, гулять, прохладиться Феликс не умел. Поэтическая его натура была также натурой практической, хозяйственной, домовитой. Феликс охотился впрок, промышлял. Охота служила ему подспорьем для жизни, приработком. На Еремином камне он занялся

рыбалкой, ставил в озере переметы. Но попадала только плотва, лещ брался плохо. И Феликс уплыл бы с камня в более добычливые места, но все глядел в ту сторону, где Людин дом за губой, ждал чего-то, пел: «Ми-лая, ты услышь ме-ня...» Отпуск его пропадал без охоты и без рыбалки.

Однажды к Еремину камню завернула с озера рыбацкая пяльинская мотоёла. Феликс встретил ее, принял конец, привязал к березе. На берег спрыгнул бригадир Высоцкий, крепенький мужичок, в маленьких, хорошо промазанных дегтем кожаных сапогах, в серой, с расстегнутым воротом рубашке, в пиджаке, с малиновой от солнца шей, в кепке с большим козырьком.

— Мы ставник похожаем, видим, — сказал Высоцкий, — кто-то живет на камне. Надо узнать, кто таков. Сей год ставника не тронули, пдучили дак... В прошлом году два героя насмелились попользоваться... Два «вихря» поставили на казанку, если что, дак, думали, уйдут... С перепугу, видно, ни один не завелся у них... Ребята их в мотоёлу втащили, отволохали да в озеро кинули прохладиться... Под ноябрьские уж праздники дело было... Сей год тихо, никто не сунулся... А мы глядим, дым над избой, печку топят... Кто таков?

Бригадир разговаривал, а бригада его на борту мотоёлы слушала.

Будки у всех здоровые, красные от солнца, ветра и от других причин. Плечам, рукам, шеям тесно в одежке. Феликс подумал о тех двоих злосчастных ворюгах, польстившихся на даровую рыбу в ставном неводе. Ничтожна была их пожива в сравнении с расплатой.

— Да а ты-то здесь чо? — спросил бригадир. — По делу или так, порыбачить?

— Переметы поставил, да не берет ни шиша, — сказал Феликс.

Рыбаки улыбнулись, сыто, лениво, сознавая несравненное свое превосходство над бедным рыбарем, который цепляет червяков на крючки, сутками ждет, когда клюнет плотица или ерш.

— С нами пойдем, — сказал шкипер мотоёлы Володя Ладьин, — мой брательник Паша сегодня тресту жнет в губе... Работа найдется — веревку ташшить...

Феликс припрятал в кусту свое имущество, да и пры-

гнул в мотоёлу. За ним следом прыгнул пес его, Пыж. Феликс облачился в оранжевый, тяжелый, грохочущий, водонепроницаемый рыбацкий костюм, тянул веревку. Похожали сети, кинутые посередине озера, в самых глубоких местах, где держатся в эту пору сига. Опрятные, как веретена, серебристые, с маленькими ртами, сига попадали не густо, но попадали. К вечеру их набралось на дне мотоёлы с центнер. Пяток сижков бригадир Высоцкий выдал Феликсу за труды и леща килограмма на два. Окуньков и плотиц — густеру, которую не считали за рыбу, Феликс всю обобрал, сгреб в мешок.

Возле избы он наладил коптильню: прикатил с берега ржавую железную бочку, вырубил в ней оба днища, проделал дыру для топки, врыл полую бочку в землю, внутри натянул проволочную сетку. Развел в коптильне огонь, когда накопилось довольно жару, подкинул в топку ольховых веток с листьями. Вычищенных, посоленных, смазанных постным маслом сижков и леща перевязал бечевкой, уложил на сетку. Сверху укрыл жаровню крышкой, пусть рыба томится в ольховом чаду. Окуней и плотиц он тоже вычистил, посолил, распер палочками, продел им в жабры бечеву и натянул ее меж двух осинок — пусть вялятся.

Дотемна Феликс сидел у коптильни, прорыл поддувало, поддерживал ровный, в меру, жар, а главное — нещипкий, духмяный ольховый дым. Рыба нарумянилась, у сижков полопалась кожа, они сомлели в собственном соку. Одного сига горячего копчения Феликс съел, сига-вая белая плоть без костей растаяла во рту; Феликс облизал пальцы. Подумал, что надо поехать на Кундорож, угостить Люду с Игорем. Так он подумал: «Люду с Игорем». Отдельно о Люде он сегодня не вспоминал, не пел у воды цыганскую песню: «Ты услышь меня...»

Феликс быстро, легко заснул, довольный прожитым днем, с надеждой, что завтра опять пойдет в озеро с рыбаками и день трудов вознаградится прибытком. Завтра рыбаки похожают невод, в нем, должно быть, полно судаков и, конечно, попала лососка, форель. Густеры вообще завались... Засыпая, Феликс думал, что рыбакам выгодно брать его с собой: работает он не хуже любого, пая ему не нужно платить, а пять рыбин — это ничто для бригады. К тому же рыбаки — молчаливый народ, языки у них толстые, неповоротливые. Феликс, как жаворонок,

заливался день-деньской. Рыбакам это любо, развесили уши...

Назавтра Феликс ждал мотоёлу, она еще шла каналом, а он уже слышал ее дизель. Но мотоёла не повернула к Еремину камню, только пущенная ею волна пошлапала в берег. Феликс сказал себе: «Хватит. Завтра подамся на Вондегу». Он спрятал в кусту имущество, копченых сигов и леща, окушков и плотиц оставил висеть — бог с ними. Свистнул Пыжа. Пошел на болото. Вернулся за полдень с двумя молоденькими чернышами, со связкой дупелей и бекасов, с кряквой и чирком.

Спустился к озеру, разделся, зашел по щиколотку в воду, мылся, брызгался, фыркал. Вдруг возникла на озере белая лодка, промчалась в ту сторону, куда шла утром мотоёла, — к ставным неводам. Лодку Феликс узнал, это главного лесничего лодка. Главный лесничий сидел за рулем, и кто-то еще был в лодке, в белой фуражке...

Феликс опять натянул сапоги, поплыл посмотреть переметы. Больше суток он их не смотрел. Едва взялся за шнур, как почувствовал тягу, биение сильной рыбы. Сердце закултыхало в нем, предчувствуя охоту, добычу. Когда тащил с рыбаками веревку из озера, сеть, — этого не было ничего, только работа... Феликс поводил сначала одного большого окуня, поигрался с ним, потом второго. Поддел сачком. Полюбовался, порадовался. И еще кто-то дергал за шнур, упирался. Проблеснул в воде медный бок леща. Лещ плюхнул в лодку, часто задышал жабрами, натужился, прыгнул вверх, затих. Феликс тоже часто дышал, готов был прыгнуть от радости. Подумал: «Пускай они там свои центнеры берут. Не наше дело артелью веревку тащить...»

В избе валялся с незапамятных пор большой ржавый чугунок. Феликс надраил его. Разделал рыбу. Начистил картошки, луку. Развел огонь на улице под таганом. Поставил вариться уху. Сидеть просто так не терпелось ему, не могло. Он взял топор, нарубил березовых жердей, обтесал их, забил в землю ивовые рогатули, соорудил без гвоздя стол, две скамьи. Ждал гостей Феликс Нимберг, знал, что гости придут, чуял. И самый среди них долгожданный, самый нужный ему человек — в белой фуражке...

Уха сварилась, Феликс поставил вариться картошку, принес на стол копченых сигов. Что еще сделать? Достал

из мешка поллитровку, отнес ее на болото, сунул в булькающий родничок.

Скоро возникла, в сиреневой, синей озерной дымке, белая лодка, мигом примчалась, высоко неся нос, прошуршала днищем по песчаному берегу. Феликс принял швартовы, привязал лодку к березе. Подал руку пассажиру в белой фуражке, Люда прыгнула к нему, на Еремин камень. С чемоданчиком-магнитофоном в руке.

Была она вся новая, с нарисованными черно-зелеными глазами, с обведенными карандашом губами, в джинсах, перепоясанных широким ремнем с медной пряжкой, в тоненьком свитере. Люда сказала:

— Ой, как здесь хорошо у тебя. Ты что же, совсем здесь один? Вот благодать-то.

Сошел на берег главный лесничий, в лесническом мундире, в фуражке с дубовыми листьями на кокарде. Перевалил за борт свое маленькое, крепенькое тело бригадир Высоцкий. Снял кепку и обнаружил совершенно лысую, круглую маковку. От кепки остался розовый обод, ниже обода росли волосы, а выше нет. Бригадир держал в руках котел, из него торчал хвост лосося. Он сказал:

— Сейчас уху заделаем, нашу, рыбацкую.

— Уха уж готова, — сказал Феликс.

Высоцкий взглянул в чугун, сложил губы в усмешку, причмокнул:

— Это, по-нашему, не уха, это — пол-ухи...

Он быстро разделал свою красную рыбу, поместил ее в чугун с Феликсовой ухой, расшуровал огонь под таганом. Новая, двойная уха, с красной рыбицей, вскорости закипела. Феликс предложил пока выпить, под копченого сига. Все согласились. Главный лесничий принес бутылки, но Феликс сбегал за своей, запотевшей в студеном ключе, и все хвалили его:

— Вот устроился парень. Вот житуха ему...

Принялись разливать, и, как всегда бывает, не хватило посуды, но все устроилось: бригадир дали консервную банку, в которой хранилась соль, главному лесничему и Феликсу — по кружке, а Люсе стакан. Озеро чуть плескалось, взблескивало на солнце, ровно, просторно дышало всей грудью. Пахло рыбой, водой, хвоей, грибами, спелой, повядшей болотной травой — кухней осенней.

— За грибами надо было сбегать, — сказал Фе-

ликс, — белых-то нет, обабков да моховиков полно, можно бы нажарить.

— Обабки не хуже, а может, еще и получше белых, — сказал Высоцкий, опорожнивший свою банку. — Обабок солить можно — это раз, супешник из него получается наваристый, сушить можно, жарить. У моей хозяйки обабок — это первое дело...

— Да ну, зачем еще грибы? — сказала Люда. — И так стол ломится от яств, — она по-мужскихватила полстакана водки. Главный лесничий ее угостил сигаретой. Люда сладко курила, глотала дым, часто стряхивала пальчиком пепел. Все на нее смотрели — трое мужчин — и как могли услужали. Феликс принес ей воды из ключа, чтобы водку запить, главный лесничий чиркал спичками, зажигал сигареты. Первой Люде Высоцкий подал миску с ухой. Уха загустела. Красная рыба разварилась, заполнила весь чугунок до краев. Люде только и дали миску, мужчины хлебали из чугуна деревянными ложками. Глаза у них масленели, языки развязывались.

Мужчины рассказывали случаи, эпизоды из жизни. Бригадир рассказал, как поймали большую рыбу, на двадцать один килограмм. Главный лесничий — как ехал на «Москвиче», на собственном «Москвиче», за рулем и доехал до самого Петрозаводска. Феликс Нимберг, всегдашний завзятый рассказчик, звонок, помалкивал в этот раз. Лицо его выделялось среди других лиц в застолье — сиянием, веселой, подвижной игрою света, будто солнечный зайчик на нем, будто кто-то сидит с зеркальцем на сосне и пускает, пускает солнечный зайчик в лицо. Луч преломляется тут и тянется дальше, к Люде, тревожит, щекочет ее лицо.

— Ух, жарко стало от твоей ухи, — сказала Люда, улыбаясь Феликсу.

— Дак уха-то не моя, вон его, — отвечал Феликс скорым своим, приветно журчащим говорком.

— Все равно в ухе основа твоя. И сиг у тебя — просто пальчики оближешь. Игорь меня ругает, что у нас стол однообразный. Он хочет, чтобы, как в лучших домах, ему дупелей подавали под белым соусом. А я не люблю со странней возиться...

Они смотрели друг на дружку, Феликс и Люда, шурились от невидимого другим света. Прилетела сорока, раскачивалась на рябиновой ветке, вместе с пунцовеющими

гроздьями ягод, трещала, предвидя свой, сорочий пир возле пира людского. Прилетела сойка и тоже заявила о себе, о своей доле в пиру — нахальным, скрипучим криком.

— ...А я иду по Кундорожи, — сказал главный лесничий, поигрывая глазами, — гляжу, на берегу Люда стоит одна, как сирота казанская. Дай-ка, думаю, подверну, не случилось ли что...

— Игорь уехал в город отчет сдавать, я в окошко вижу, казанка идет, думала, может, он, вышла встретить... — Люда посмотрела на Феликса, так, невзначай. — Он, вообще-то, дня на три вчера утром уехал...

Феликс запомнил: осталось два дня, полтора теперь уж...

Люда включила магнитофон, он стоял на столе, среди еще несъеденных рыб и рыбьих оглодков. Сличенко запел: «Ми-ла-я, ты услышь ме-ня...»

— Мне, когда тихо, слышно, — сказал Феликс, — как он у тебя поет. Это когда вон они идут невод походить — на шумят, навоняют на всю губу. А вечером тихо. Я послушаю, послушаю, и сам петь начинаю...

— Мне тоже слышно, — сказала Люда и посмотрела на бригадира и на лесничего с каким-то вызовом.

— Для кого поешь, тот и слышит, — сказал бригадир. Лицо его, плечи, руки сделались пьяными, разболтались. Не потому, что запьянел он больше других, а потому, что позволил себе запьянеть. Для того и пил, чтобы стать пьяным. Иначе пить для чего?

— Телепатия... — сказал со значением главный лесничий.

Опять приложились, допили, доели. Пир кончился вдруг. Так много, казалось, всего, так лакомо, вкусно, так долго можно сидеть, тешить себя чревоугодием, сладострастием пира. И нет ничего. Нетерпеливо, сердито кричали сорока и сойка. Наступало их время.

— Ой, до чего же я пьяная, — сказала Люда, прижимая к щекам тыльной стороной ладонки. — Как я по озеру-то поплыву? Хорошо, еще ветра нет, не качает.

— А чего тебе плыть? — сказал бригадир. — Дети у тебя не плачут. Изба вон у Феликса большая. Мужик он смирный. Ты девка смелая, медведей не боишься, не то что нашего брата. Живи, отдыхай.

— Я-то не боюсь, — сказала Люда. — Только мне нельзя. Я женщина замужняя.

— Мы по Кундорожи пойдем, твоему мужу посигналим, что баба в надежном месте находится, — сказал бригадир.

— Можно найти и получше местечко, — опять играл глазами, кокетничал главный лесничий, оглядывал Люду как бы с высоты и в то же время искательно, с некоей тайной надеждой. — На Шондиге, на Кыжне у нас, как в Швейцарии: горы, в речках форель... Будет желание, можно съездить... Машина на ходу...

— Я бы с удовольствием, — отвечала Люда.

Феликс слушал этот послеобеденный разговор, не участвуя в нем. На лице его все светился, подрагивал кем-то пущенный солнечный зайчик. Как сорока, как сойка, он ждал, когда схлынут ненужные ему теперь гости с их двусмысленным разговором и начнется тогда его, главный пир. Ни хмеля не чувствовал он в голове, ни сытости в теле — нетерпеливое ожидание счастья и вера в его непременность владели Феликсом. Он почти не смотрел на Люду, но стоило обратить к ней глаза, как тотчас она отвечала ему, и что-то вспыхивало тогда, слепило.

— Дай-ка я хоть посуду помою, — сказала Люда. — Ты где ее моешь?

— Да вон в озере сполосну — и ладно, — радостно откликнулся Феликс. — Пойдешь мыть, окуни, как поросята, сбегаются, чуть за пальцы не хватают...

Люда собрала со стола и пошла, запинаясь, вниз по тропе. Феликс добрал, что осталось, и пошел за ней следом. Бригадир и главный лесничий смотрели на них, пока они не скрылись за камнем, за сосняком.

Когда они остались вдвоем на узком галечном забереге, Люда поворотилась к Феликсу, он обнял ее, миски и кружки брякнулись оземь. те, что были в руках у Люды. Свои Феликс поставил на гальку без звука, отстранился на мгновение от Люды — и сразу вернулся, приник, целовал без роздыху, долго. Он не чуял земли под собой, он любил, и любовь подымала его, туманила голову не горьким похмелем, а сладостным хмелем, желанием, силой своей. Люда тоже любила его. Руки, губы, тело ее говорили ему о любви, обещали любовь...

Люда села на камень, закрыла глаза, раскачивалась, приговаривала:

— Ой, я совсем, совсем окосела...

И Феликс не знал, что поделать ему со своей любо-

вью. Он ополоснул кружки и миски в холодной озерной воде и сам поостыл, совладал с собою. Его подвижная, привычная к непрестанному действию натура не могла больше мириться с неопределенностью. Он сказал Люде, без искательства и робости, как о решенном, о неперменном деле:

— Я к тебе сегодня приду.

Люда не удивилась, словно знала, что так и будет. Она только сказала:

— Как бы Игорь не появился.

— Он на своей лодке? — спросил Феликс.

— Нет, Сашка его в Гумборицу отвез.

— Разве что засветло, — сказал Феликс. — В потемках навряд ли кто из гумборицких на Кундорож пойдет. Пяльинские — те и вообще не ходят. . .

Так говорили они, вполголоса, в укромном месте, у самой воды, за поросшим соснами большим камнем.

— . . . Не знаю, — сомневалась, мучилась Люда. — Он может и берегом прибежать, — она говорила о муже своем, как о ночной опасности, о враге.

— Последний пароходик из Вяльниги на Гумборицу идет в шесть часов, — прикидывал Феликс. — В Гумборице он в четверть восьмого. . . К десяти так и так можно добраться. . . Ты часов в одиннадцать дай мне знать. . .

— А как я дам знать?

— Выдь на берег и позови меня, — улыбнулся Феликс. — Я услышу.

— Я лучше знаешь что сделаю? Я фонарь возьму «летучую мышь» и на берегу повешу, там столб есть. . . В одиннадцать, да?

— А хоть когда, — сказал Феликс, — я за тобой круглосуточное наблюдение веду.

Казанка главного лесничего умчалась. Феликс снял, смотал переметы. Прибрался в избе, вымел пол новым березовым веником. Наколоченных под плитой дров, сложил их у топки. Насыпал в миску соли, поставил ее на плиту. Тут же поместил спички, остатки круп, чай и сахар. Все это делал он не потому, что надо было ему исполнить рыбацкий, охотничий, страннический обычай, закон: позаботиться об идущем следом собрате. Он знал, на завтра сюда может явиться гуляка-турист

и спалить весь дом. Но все-таки Феликс оставил спичек и наготовил дровец, хотя бы и для туриста. Так нравилось ему, так хотелось.

Свое имущество он уложил в лодку, поковырялся в моторе, но времени все равно еще оставалось много до одиннадцати часов. Что-то сломалось в моторе, движущем время, время еле ползло. Солнце зависло над озером, Феликс глядел на него, мерил глазом, сколько еще осталось ему до воды. Но тут принесло низом лиловато-багровую тучу, задернуло солнце, оно исчезло как мера времени, дня и ночи, света и тьмы.

Приплыли два мужика из Сонгостроя, интересовались не той рыбой, которая ловится на крючок, на дорожку, на перемет, а той, что в рыбацких мережах, в сетях, в ставных неводах.

Феликс сказал мужикам:

— Не советую вам, ребята, соваться туда. В прошлом году двое сунулись, дак рыбацки их прихватили. Рыбачки сильно не любят, когда у них сети щупают.

— А ты что, сам из ихней артели, за сторожа тут? — осведомились мужики.

— Да нет, — сказал Феликс, — я не из артели, я сам от себя.

Мужики не поверили ему и уплыли куда-то искать в большом озере своего фарта.

Оставаться дольше на берегу, на Еремином камне, Феликс не мог. Страстное волнение охватывало его, а ночь все не наступала. Пыжа он запер в избе. Обиженный пес выл, плакал, стонал. С собою взять его Феликс не решился, не зная, что ждет его за губой, зажжется ли там фонарик в назначенный час. Он толкнул с берега лодку, прыгнул в нее, пустил мотор и поплыл. Сразу ветер задул, посвежело, брызги омыли, охолонули лицо. Феликс направил лодку в устье губы, плыл вверх по реке, по фарватеру. Когда зажглись фонари на бакенах и смазались контуры берегов, он заглушил мотор. Лодка еще пробежала немного, прошелестела, потом ее стало сносить, поворачивать. Река подхватила лодку, Феликс помогал веслом. Не слышима никем, лодка плыла по заревому плесу. В траве у берега плюхали щуки. Прошлепала самоходка, неся копну света.

Феликс смотрел на часы и погонял лодку веслом, нелегал. В губе он свернул с фарватера в заросль тросты,

еще приналег. Идти под мотором он не хотел, слышно в Пялье. Греб стоя. Так шибко гнал большую тяжелую лодку, что подымалась волна, шуршала треста, с заполошным криком слетали утки.

Он правил на чуть брезживший впереди, отраженный водой отсвет Кундорожской базы. На базе горел огонь — для кого, что он значил? Ближе к берегу Феликс бросил весло, взял пропешку — еловый шест. Когда совсем стало мелко, подтянул голенища, шагнул за борт, побрел осторожно, без шума ступая по не слишком вязкому торфяному дну.

Взойдя на берег, сел в Игореву лодку — на этой лодке они первый раз поехали с Людой, вон там, под берегом, сеть. Базы с губы не видать, ее заслонили ивы, березы, ольха. Феликс сидел, как ночная птица, находясь, не шевелился. Слушал. Ближе, громче всего ему слышалось собственное сердце, стучало, ломилось в ребра. И в горле похрипывало, свистело дыхание, Феликс хотел унять сердце, остыть, но не мог. Ему чудились голоса, лай собачий, смех, стук мотора. Он порывался встать и уплыть. Делалось стыдно ему, нехорошо, что он, как вор, собрался походить в ночи чужой невод. Могут за это его и прибить. Феликс смотрел на часы, дело уже шло к полночи...

Как вдруг кто-то прибежал к нему, хлюпая по болоту, по мокрой траве. Феликс мгновенно обернулся на этот звук, увидел собаку, лохматую, с белой грудью лайку Сайду. Сайда смотрела на него без малейшей опаски, с приветом, как на знакомого, на друга. Вильнула хвостом.

Низко в кустах, на тропе, завиднелся, задвигался фонарь. Сайда коротко твякнула, позвала, сообщила: «Вот я здесь. Все в порядке, сюда!» Люда вышла на берег. Лица ее свет не достигал, блестели мокрые голенища резиновых сапог. Феликс встал ей навстречу. Она вскинула фонарь, защищаясь. Феликс сказал:

— Это я. Я уже тут.

Люда опустила фонарь на траву:

— О, господи. Так и помереть можно со страху. Ты давно ждешь? Я не могла раньше. Никак от мужиков не отвязаться было.

— Какие мужики-то? — спросил Феликс.

— Все те же самые, лесничий да бригадир.

Феликс не понял сразу — какой лесничий, какой бригадир? И спрашивать не хотелось ему. Он долго-долго плыл на лодке к своей любимой, в ночи, по озеру, по реке, по заводи среди камышей. Если надо, еще бы поплыл — и без мотора, без весла, без пропешки достиг бы желанного берега. Он думал, что Люда ждет его одна-одинешенька у края пустынных вод, засветила фонарь... Он забыл, что еще есть на свете лесничество, бригадиры. Про Игоря он тоже забыл...

— Пойдем, — сказала Люда. — Лодка-то где твоя?

— А я так, без лодки, как Христос, пришел по воде.

— Ну, молодец, — сказала Люда, — пойдем.

Люда пошла с фонарем впереди. В сапогах с поднятыми голенищами, в кургузом ватнике походила она на мужика. И походка была у нее мужичья. Феликсу вдруг показалось, что это не тот человек его встретил, к которому он плыл, — чужой. Куда он приплыл, для чего? Люда остановилась, обернулась к нему, подалась навстречу. Феликс поцеловал ее, долго не отрывался, пока удостоверился: приплыл, куда нужно ему. Краем глаза он видел Сайду: в фонарном свете блестел собачий внимательный, понимающий глаз. Сайда сбежала с тропинки, укромно села под куст, наблюдала...

Феликс вышел из дому на берег, когда проснулся туман над рекой, полетел, вспугнутый неведомо каким дуновением. Мокро всюду: в воздухе, на земле. Люда куталась в ватник и отводила глаза.

— Ты можешь ко мне прийти, — сказал Феликс. — Совсем прийти. Я буду тебя всегда ждать... Так просто у нас не выйдет...

— Игорь, если узнает, меня убьет, — сказала Люда. — И над собой что-нибудь сделает...

Туман полетел над водой еще шибче, в испуге, в смятении... Они обнялись на прощанье. Сайда пришла посмотреть. Она провожала Феликса, глядела, как он берет по воде, достает из тресты свою лодку.

Губу Феликс прошел на весле, на пропешке. На реке тишину уже распороли моторы рыбацких лодок. Выше тумана проплыл трехпалубный белый, рейсом до Ярославля или до Астрахани, пароход. Феликс сплавился немножко по течению и завел мотор. Сразу сделалось ему

лучше, уверенней: шесть лошадиных моторных сил повиновались ему — плыли куда хочешь, на все четыре стороны горизонта. Он повернул к Еремину камню, вышел на берег, выпустил на волю Пыжа. Тот не выказал радости, настолько измучился за ночь, перегорел. Взглянул с укоризной на хозяина, сразу забрался в лодку, улегся в носу, уши его, шкуру подергивало нервным тиком.

Феликс развел огонь под таганом, напился чаю. Когда показалась на озере мотоёла рыбацкой артели, он пошел ей навстречу, помахал рукой бригадиру Высоцкому. Тот стоял у штурвала, чуть поднял руку и опустил. Что-то сказал рыбакам. Те посмотрели на Феликса. На лицах, хмурых спросонья, не отразилось каких-либо чувств.

Феликс думал, что о ночной его одиссее неведомо никому. И все же в замкнутых, утренних, сизых рыбацких лицах, в нелюдимой позе бригадира Высоцкого померещилось ему осуждение, что ли. Когда он шел по каналу, Пяльем, полоскавшие на плотях белье бабы разгибали спины — взглянуть на него. И тоже казалось ему, что-то знали они, не прощали. У входа в Кундорож, на излучке канала, попался навстречу буксир с длинной гонкой леса. Буксир прижимался тут к левому берегу. Проскочить Феликс не успел. Концевая сплотка в гонке упиралась в другой берег, чертила по нему. Волей-неволей пришлось поворачивать в Кундорож, переждать. На дом, где был этой ночью, Феликс старался даже и не глядеть. Медленно, нескончаемо долго ползла мимо гонка. Проволокалась-таки. Феликс вышел в канал и сразу увидел лодку, идущую сверху на Гумборицы. В носу ее сидел Игорь Лубнин, охотовед, птицевед, рыбовед, последователь индийских йогов, без пяти минут или, скажем для верности, без десяти минут кандидат наук, молодожен. Был он широк в плечах, лицом бел, в блестящей синей куртке с «молниями». Его непокрытые, густые, вьющиеся русые волосы развевались на встречном ветру, летели. На руле у мотора, нахохлившись, втянув голову в плечи, как серая крачка, примостился Сашка Бугров, механик Пяльинского лесоучастка. Во рту у него, раздуваемая ветром, искрила папираса. Лодка шла правым берегом. Феликсу не хотелось встречаться глазами с охотоведом, но куда было податься. Не приготовился Феликс, не ждал этой встречи. Судорожная ухмылка перекосила его лицо.

Он внутренне замер, аршин проглотил. Притвориться, роль сыграть Феликс не умел. Да и какую роль нужно было ему играть? Игорь каменно твердо сидел и смотрел тяжело, ничто в нем не шевельнулось. Он не поздоровался с Феликсом, Феликс тоже не смог поздороваться с ним. Сашка махнул рукой, что-то крикнул, за двумя моторами не слышать.

Если бы мог, Феликс прибавил бы скорость. Но у мотора не было силы. Лодки поравнялись и разминулись. Феликс поплыл дальше, и судорога души, лица все не отпускала, не ослабевала. Стыдно, гадко было ему.

Зло возникло из счастья, после самой лучшей, самой сладкой, самой главной в жизни Феликса ночи, оно родилось из его любви. Феликс думал об Игоре и ужасался той муке, какая ждала теперь Игоря. Ему мерещилось Игоревое остановившееся, будто от нестерпимой боли, лицо. О Люде Феликс не думал сейчас. То есть думал, конечно, он думал о ней всегда. Но Люда — для счастья, для радости, для любви. Ее не могут коснуться ни зло, ни беда, ни вина...

Феликс пробовал взять всю вину на себя: «Не надо было мне лезть. Отступиться... Пусть бы жили себе...» Он вспоминал, как, с чего началось, как шел на весле, на пропешке — через губу, как в потемках сидел на берегу, обмирая от отчаяния и надежды, как появился в кустах, прикатился к нему ком света... Как жарко Люда шептала ему, в самые губы: «Никогда, никогда еще не было так хорошо... Никогда...» Феликс строго себя судил, но память, живая, телесная память минувшей ночи давала ему оправдание. Он спрашивал у себя: «Если б не было ничего, если б опять все сначала, поплыл бы через губу?» — и отвечал: «Да, поплыл...»

Почему, как Игорь прознал о случившихся в его доме ночных делах — об этом Феликс не думал. Ночью он позабыл про Игоря, а когда утром увидел его, то сразу и выдал себя. Был уверен, что выдал. И Люда выдаст. Как скрыть-то? Как обмануть? И зачем обманывать?

Гумборицкие собаки скатывались по лесенкам к воде, лаяли на Пыжа, опять забирались наверх, бежали до следующей лесенки, рушились вниз, заливались. В гумборицкой чайной Феликс взял котлету, но есть ее не смог. С жадностью выпил стакан горячего крепкого чая. В чайной сидели капитаны, помощники капитанов, меха-

ники, боцманы буксиров и самоходок — все в белых нейлоновых рубашках, при галстуках, с золотом на рукавах, как моряки больших плаваний. Котлету Феликс отдал Пыжу, тот долго брезгливо ее мусолил, будто это кость, мосталыга.

Накрапывал дождь. Вскоре он разошелся. Феликс с Пыжом промокли, продрогли, пока по Вяльниге плыли. Дома мать угощала Феликса чаем с малиновым вареньем. Он забрался под одеяло, не мог согреться, озноб его бил. Отец принес маленькую, потчевал пуншем. Но и это не помогало. Ночью Феликс не спал, все слушал, чудились ему шаги, голоса. Он ждал, что Люда приедет к нему, прибежит. Укорял себя тем, что не остался, не привез Люду с собой. Каково ей там с нелюбимым и страшным в своей ревности человеком?

Ночь кончилась. Люда не прибежала. Утром Феликс ходил на пристань встречать пароходик из Гумборицы. Люды не было на нем. Феликс поднялся к мосту, откуда виднелась Вяльнига — до излучины, до села Кондрашкина, с похилившейся церковкой над ним. Вяльнигу прохватило мозглой стужей, туманом, дождем. Феликс вглядывался в каждую лодку, идущую снизу. Люды не было в них. С дневным пароходом прибыл рыбак из бригады Высоцкого. Феликс спросил у него:

— Ты на Кундорожи вчера был?

— С озера идешь, Кундорож не минувешь, — сказал рыбак. — Вчера невода похажали...

— Ну, как там, тихо?

— Выпили малость, дак Пашка Ладын песни пел. А так ничо, тихо, — сказал рыбак.

С вечерним пароходом Люда тоже не приплыла, по берегу не прибежала, в лодке ее никто не привез.

У Феликса оставалась еще неделя отпуска. На завтра он собрал котомку, повесил за спину ружье, привязал к багажнику мотоцикла корзину. Пыж сам прыгнул в корзину, покрутился и лег. В Островенском Феликс оставил мотоцикл у лесника, переплыл Вяльнигу и углубился в корбу — глухие леса, не слышавшие пока что визга моторной пилы и рева трелевочного трактора. В лесах этих белые грибы доживали до старости, помирали дряхлыми дедами. С елей свисали бороды лишайников. На квартальных просеках рдели рясные гроздья брусники. Грохоча крыльями, с ягодных кочек слетали глухарки.

За неделю Феликс оброс белесой щетиной, пропитался костерным дымом, запахом хвои, грибов. Однажды вечером у костра он написал в своей тетрадке: «Все, что было, то было. Все, что сбудется, — будет. Лед меня не согреет, жар меня не остудит». Он успокоился, освежился, как пишут в книгах, нравственно обновился в лесу. Пошел работать — и тоже в лесу. Директор лесхоза послал его на делянку — грузить хлысты на машины. Феликс эту работу не мог терпеть, но теперь согласился. Она утомляла, выматывала — и ладно, и хорошо.

Совість больше не донимала Феликса, дух его уравновесился, вошел в согласие с телом. Никаких вестей с Кундорожи не поступало, словно жизнь там остановилась тем утром, кончилась, развеялась, как сновидение. Феликсу казалось, что и не было ничего, пригрезилось это: дом на берегу тихих вод и женщина шепчет: «Милый, так не было никогда, никогда...» Днем казалось, а ночами женщина приходила к нему, он протягивал руки и чувствовал ее плоть, желанную, жаркую... Руки помнили, помнило тело... Феликс метался на холостяцкой постели и думал, что жить без Люды ему нельзя, а днем, в осенней прохладе и ясности, в тяжких трудах, трезвость сознания брала верх над томлением духа и тела: «Если что-нибудь было, то сама ведь тоже она должна хоть какой-нибудь сделать шаг, знак подать... Все, что было, то было. Все, что сбудется, — будет. Лед меня не согреет, жар меня не остудит...»

Между тем полетел с севера гусь, потянула морская черная утка. Однажды под воскресенье Феликс погрузил в лодку канистру бензина и отправился вниз по Вяльнице — в озеро. Идучи мимо Кундорожи, поглядел на Людин дом, дом стоял как всегда. Феликс пересек губу, речной фарватер, вошел в Лисью протоку — тут у самой воды мышковала лиса. Феликс вскинул ружье и выстрелил в воду. Лиса с испугу прыгнула, взвилась в воздух струйкой пламени. Феликс всю ее — рыжую, золотую, оранжевую, багряную, с подпалинками — увидел на фоне синего неба и обрадовался такой нечаянной встрече, такой красоте. Никто этого никогда не видел и не увидит...

Радость, удача сопутствовали ему весь день. День солнечный выдался, теплый. На заболоченной стари-

це он подстрелил двух гусей, и утка сама шла под выстрел...

Доверясь своей удаче, своему лучезарному настроению, безмятежной ясности и покоем осеннего дня, Феликс направил лодку в Кундорож, заходя улыбаясь, неся в руке серого гуся, назначенного в подарок.

Игорь, по своему обыкновению, ковырялся в моторе. Он поздоровался с Феликсом со свойственной ему величавой небрежностью, не выразив удивления, радости, дружелюбия, неприязни или других каких-либо чувств. Он поздоровался и опять углубился в мотор. Феликс сказал:

— Я вон двух гусей взял, дуплетом бил, двое и выпали из стаи. Мне-то одного хватит. Дай, думаю, завезу на Кундорож, тут второго и сварим... — Он положил гуся наземь, недалеко от Игоревых ног.

Игорь на гуся не посмотрел, а взглянул как-то странно на Феликса и сказал:

— Бойтесь данайцев, дары приносящих... — Потом он еще ковырялся в моторе, молчал. Наконец промямлил, выпятив нижнюю губу:

— Сбегай в Пялье за поллитрой. Денег могу дать.

— Зачем, — сказал Феликс, — найдется.

Он спустился к лодке; пока шел до Пялья, запас его добрых чувств иссяк. Люда не вышла из дому, хотя не видеть его, не знать, что он прибыл, она не могла. «Может, куда уехала?» Феликсу не хотелось возвращаться на Кундорож, не хотелось ему пить с Игорем водку. Но теперь он не волен распорядиться собой. Несвободу почувствовал Феликс, какую-то связанность, затосковал: «Вообще не надо было туда заходить».

...На Кундорожии никто не встретил его, никто не вышел из дому. Феликс постучал сапогами о порог. Игорь сидел за столом, покручивал транзистор. Люда стояла за плитой, в углу на газете высилась грудка гусиных перьев и пуха.

— Давненько что-то тебя не видать, — сказала Люда, глядя мимо Феликса, вскользь.

Игорь поймал какую-то громкую музыку, джаз — и ушел с транзистором в комнату.

Феликс присел у кухонного стола. Люда не оборачивалась к нему, занималась стряпней. Она сказала:

— Была бы капуста, гуся бы с капустой тушить. Лад-

но еще лавровый лист да перец нашелся. Мы с Игорем последнее время совсем никуда не ездим. Запасы все истощились...

— Гусь жирный, осенний, — сказал Феликс. — Ничего к нему и не надо. Свой сок даст... — Он посидел еще, не зная, что говорить, и поднялся. — Пойду дровец принесу.

Напиленных чурок всегда довольно валялось у Игоря на дворе. Пилить дрова Игорь любил мотором, а колоть не любил. Феликс натешился вволю, намахался колуном, успокоил себя этой привычной работой. Люда позвала:

— Иди, уварился твой гусь.

Уже смеркалось, и Феликс подумал, что самое лучшее — это сесть бы в лодку, бог с ним и с гусем, и с Игорем... Но что-то мешало ему распорядиться собой, некая неволя, обязанность довлела над ним.

Игорь пошел во двор, завел движок. Люда молчала, и Феликс молчал. Водка не помогла им. Феликс делал попытки заговорить с обычным своим рыбацким, охотничьим воодушевлением, но Игорь будто не слышал его, а Люда норовила уйти из-за стола к плите.

— ...А я тот раз иду с Еремина камня домой, — сыпал скорым своим говорком Феликс, — аккуратно против Кундорожи гонка навстречу. Буксир к самому левому берегу прижался, а хвост по правому волочится. Мне куда податься? Я — шмыг в Кундорож, еле успел...

На дворе надсадно, с хрипом стучал, задыхался движок. Лампочка над столом то разгоралась, то угасала.

— Пса-то зачем одного оставляешь на ночь на Еремином камне? — Игорь в упор посмотрел на Феликса. Нижняя губа его задрожала. — Человека можно обидеть, а пса-то за что?

Феликс не знал, что сказать, жарко стало ему. Тут движок поперхнулся, лампочка потлела и погасла. Зарделись угли под плитой. Люда ушла с кухни...

— Почему одного? — пробормотал Феликс.

— При хозяине Пыж гавкать не станет, — сказал Игорь. — Даже в Пялье слышали, как он надрывался...

— В Пялье своих брехунов хватит, — сказал Феликс. — Рыбачить ночью идешь, ясно, что пса оставляешь. На Еремином камне полно туристов шляется, вот он и лает...

Игорь встал и пошел на улицу. Феликс слышал, как он приказал своей Сайде:

— Сайда, поваляйся!

Потом Игорь запел песню про синий троллейбус: «Последний троллейбус по улицам мчит, вершит по бульварам кружение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение...»

Феликс не знал, что делать теперь. То есть он знал, что делать ему, но что тогда станется с Людой? Люда затихла, исчезла, словно и нету ее...

Игорь прошел мимо, не поглядев, прикрыл за собой дверь в комнату и шелкнул задвижкой.

Феликс усмехнулся:

— Так. Заперлись. Хорошо, — в нем поднялась вдруг гордость, что ли, или же злость — освобождение от неволи. Из комнаты слышались голоса и вроде бы смех...

Феликс вышел на волю и плюнул. Сел в лодку, поплыл и думал, что с этим кончено навсегда. Плыть было кромешно темно, только чуть угадывались берега, кусты на берегах. Звезды высыпали на небо, были они по-ненастному тусклы, малы.

На выходе из канала в Вяльнигу под лодку попало бревно, погнулся винт. Феликс еле добрался до дому к утру. Он лег, но не заснул, а мучился, разбирал, как проигравший шахматист, ход за ходом вчерашний свой вечер, свидание с Игорем... Кто-то постучался чуть слышно в дверь. Мать открыла и позвала его:

— Феликс, к тебе!

Феликс натянул брюки, вышел в майке, босой. У порога стояла Люда, простоволосая, в ватнике, с большим багровеющим синяком под глазом. Следом за ней вошел Сашка Бугров, стал рядом с Людой, сказал:

— Доброе здоровье, хозяева! Своей у вас вяльнижской грязи мало, дак мы еще нашей п्याльинской привезли. Наша гушше.

Мать Феликса прислонилась к печи, скрестила руки на груди, тревожно разглядывала незваных гостей.

Феликс заметался немножко:

— Проходите, садитесь... Да вы раздевайтесь...

— Рассиживать некогда, — сказал Сашка. — Дела серьезные, видишь сам.

— Ты, мама, поди к себе, — сказал Феликс.

Старушка, тяжело вздохнув, ушла.

— Ну, раздевайтесь, чего, — сказал Феликс. — Вы с пароходом или на лодке? — Он подошел к Люде, расстег-

нул ее ватник, снял, повесил. Люда взглянула на него, и главное, что прочел Феликс в ее глазах, — это покорность, Люда вверяла себя ему. И вдруг почувствовал Феликс, понял, что победил он, выиграл у Игоря-охотоведа...

— Нам зачем пароход? — говорил Сашка. — В своей лодке сам себе капитан...

Феликс не слушал его. Он смотрел на Люду, усаживал ее, прикасался к ней, уже чувствуя ответственность, право, счастье свое, победу...

— Вот доставил тебе невесту, — сказал Сашка, — почти что в полной сохранности. С самым маленьким уроном... Ну, это ничего, заживет до свадьбы...

Люда сидела, уронив плечи, руки. Слезы часто, как березовый сок, катились по щекам.

— Ночью она прибежала ко мне, — Сашка повернулся к Феликсу, — дак слова сказать не могла. И индийский йог следом пожаловал, рычал аки тигра... Ну и его тоже понять можно... Да я знал, что так получится, и ему говорил... Теперь чего плакать? — говорил Сашка Люде. — Теперь вон у тебя защита — первый парень на Вьяльниге.

— Он меня мог убить, — всхлипнула Люда. — Потом сам побежал топиться...

— А ты чего же хочешь, чтобы он цветы тебе преподнес? Ну ладно, мне хоть с полдня в мастерских показаться надо...

Феликс пошел проводить Сашку, и тот сказал ему:

— С тебя пол-литра приходится. Я уж давно вижу, что мается парень. И парень вроде нашенский. А для кандидата наук оно, может, так и лучше...

Феликс пожал Сашке руку, но словно бы он и не видел его. Куда-то он смотрел в дальнюю свою даль. Глаза его яркие сделались, лазоревые.

Через год, весной, я опять приехал на Вьяльнигу, шел с автобуса на пристань, думал сплавать на Кундорож, поглядеть, что там теперь и как. Мотоцикл попался навстречу. Двое ехали на нем, в ватниках, в красных касках-горшках. Остановились. Феликса я узнал, а Люда сильно переменилась. Лицо ее как-то опростилось, увяло, шире сделались скулы. Такие бабьи лица можно уви-

деть в селениях и поселках — на Амуре или на Вяльниге, на больших или маленьких реках. Мы поздоровались, но не знали, о чем говорить. Первой заговорила Люда:

— Мы с Феликсом, как свободное время, так едем в лес, куда-нибудь на лужайку. В лесу сейчас благодать: фиалки, подснежники. — Люда сказала это, но будто еще спросила о чем-то меня. Или себя...

Я сказал, что это самое милое дело — в лес, на лужайку.

— А Игорь новую жену привез из города на Кундорож, — сказала Люда.

Феликс повернул рукоятку газа — мотоцикл зарычал.

ДРУГИ МОИ

В недавние годы в Новгороде жил Вячеслав Юрьевич Холмский. Он жил и в давние годы, всегда. Я познакомился с ним лет пятнадцать назад. Пятнадцать лет — не малое время, огромное время, когда его надо еще прожить. Ну, а когда проживешь, то кажется, вовсе немножко, вчера было дело. Так вот, дело было в недавние, близкие, если считать обратным счетом, годы. Вячеслав Юрьевич жил на берегу озера Ильмень, в тихом переулке, заросшем травой, в собственном доме, похожем на другие дома в этом сельском патриархальном углу, пока что не тронутым новостройкой большого города. Однако дом Вячеслава Юрьевича превосходил своих соседей высотой цинковой крыши, шириною фасада, добротной осанистостью.

Дом Вячеслав Юрьевич строил в то время, когда был женат. Тогда же он посадил яблони на усадьбе — антоновку, чулановку, белый налив. Он посадил георгины, пионы, настурции, флоксы, золотые шары. Поставил десяток ульев — пчелам тут было раздолье: невдалеке росли липы — аллеями, купами... Хозяин построил на задах своего владения две будки — для гончего пса и для подружейной собаки. Когда я впервые пришел на подворье к Вячеславу Юрьевичу, гончую звали Флейта, а ирландского сеттера звали Сигнал.

Жену хозяина я не видел, ее портрет висел над письменным столом в кабинете Холмского. Вячеслав Юрьевич сам написал портрет маслом, в серо-зеленоватой гамме. Бледное, осененное пышными русыми волосами

лицо его жены выражало печаль. Она умерла молодой, хозяин жил бобылем; года за три до собственной смерти, страшась одиночества, чувствуя подступающую к сердцу слабость, он привел в дом хозяйку, старую женщину с поджатыми, недобрыми губами, с настороженным взглядом темных маленьких глаз. Прижившись мало-помалу, вступив в права владения, новая хозяйка настаивала на снятии портрета прежней, молодой жены, но Вячеслав Юрьевич не соглашался, пока хватало силы для спора. Портрет унесли из кабинета совсем уже незадолго до смерти хозяина, когда он решительно ослабел.

Впрочем, слабость эта длилась совсем недолго. Хозяин жил, как хотелось ему, нисколько не изменяя своим повадкам и увлечениям.

Воротясь из больницы после первого инфаркта, он погрузил на катер охотничью справу, канистру с бензином, прицепил на буксир поворотливый «тузик»...

В обществе охотников он выписал путевку с обозначением озера для охоты: Турухтанье озеро.

В северном углу под Новгородом озеро Ильмень поделено на охотничьи озера: Утиное, Камышовое, Хвощовое, Чаичье, Яма, Ракитное, Турухтанье... Так и пишут в путевках, кому куда ехать в утиный сезон: одному — в Турухтанье, другому — в Чаичье, третьему — в Яму... Конечно, в одних озерах утка держалась густо, в другие же залетала по случаю, с перепугу. Границы озерков не обозначишь ни на воде, ни в камышах, ни в хвощовой заросли. И дело не обходилось без пограничных конфликтов...

Вячеслав Юрьевич долго крутил заводную ручку, слушал мотор. Не столько мотор, сколько сердце. Врачи запретили ему, конечно, после инфаркта физические нагрузки и резкие движения. Он резко, с полной натугой дергал ручку и слушал сердце. Сердце помалкивало, ни гугу.

Он направил катер на Кряж, в такое место, где собирались утятники, прежде чем занять позицию согласно путевке. После вечерней зари возвращались на Кряж и после утреники правили сюда, кому не надо спешить на работу. Кряж — это остров, пядь твердой земли среди хлябей. В костре на Кряжу горел как бы вечный огонь. Вновь прибывшие разживляли его. Бутылки все собирал дед-глухарь; он плавал на «тузике» с подвесным

мотором, путевок никогда не выписывал, в обществе охотников не бывал. Однако имел одностволку тридцать второго калибра.

— ...Слыханное ли дело, — говаривал дед у костра, — чтобы Ильмень изгородами городить. Чай, божье владение. Всякому места хватало покои веков. Бывало, гуси с воды здынутся, от перьев бело на воде. В перьях на челне не протолкаешься. А нонича не то что гусь, турухтан стал в диво...

Деда бранили в камышах, на воде, а на Кряжу без него было скучно. Кричали деду в самое ухо:

— Дед, ты пушку-то свою об колено да в озеро. Твоя дичь без выстрела в сумку идет, со звоном... Двенадцать копеек штука.

На Кряжу Вячеслав Юрьевич выпил с артелью. Он и припасу с собой захватил — на артель. За артельность его и любили. Мотор на катере Холмского был самый мощный — четырнадцать сил. Когда припас истощился, дружок Вячеслава Юрьевича — Сашка, шофер, — помчался на его катере в устье Волхова, на дебаркадер. Да и не только Сашка, все были дружками Холмскому: и Лешка, механик с автобазы, и Виктор, инженер с механического завода, и Петр Николаевич, главный инженер дока, и Евгений Никодимович, начальник орска, — все новгородские охотники почитали Холмского как бы за старейшину. Он их превосходил не столько годами, сколько беззаветным служением богу охоты. Впрочем, не богу — богине. Кажется, звали ее Дианой.

Все были в курсе болезни Вячеслава Юрьевича, сочувствовали ему, соскучились, заждались, обрадовались, когда он прибыл на Кряж, сокрушались:

— Вячеслав Юрьевич, что ж вам теперь, и выпить совсем нельзя? Ни грамма?

Холмский махнул рукой. Выражение его лица можно было бы определить известной формулой: «трын-трава». Или еще: «будь что будет». Или еще: «пан или пропал». Все, сочувственно улыбаясь, смотрели на него.

— А... смерти бояться, так и вовсе не жить, — сказал Вячеслав Юрьевич. — Знать, где упасть, так соломки бы подстелил. Только знать нам этого не дано, други мои. Жена у меня умерла, ей тридцати еще не было, в самом расцвете молодости, здоровья. Жили мы душа в душу... Дом построили. Я лесную академию кончил, по работе

все прекрасно складывалось. Уток я тогда на огороде у себя стрелял, а на тягу вон под Волотово бегал, после работы... Да... в чахотке сгорела... Кто мог такое предположить?.. Нет, други мои, я так себе заказал: придет мой срок — ладно, а пока живется, то буду жить без diets, без ограничений. Лекарство одно у меня: вот постоять вечерку на озере.

Вячеслав Юрьевич выпивал, курил папиросу за папиросой, излагал свои взгляды на жизнь и на смерть, слушал при этом сердце. И сердце опять ни гугу.

— В больнице-то я натерпелся, — рассказывал Холмский, — там этого дела ни-ни, перед врачами неловко: они цацкаются с тобой, ну и ты вроде тоже сознательный человек. Лежу, а сам думаю, ничего, вот выкарабкаюсь да на озеро закачусь — самое лучшее средство. Ну, правда, сначала-то так меня прихватило, что думал: все, каюк. Если бы верующий был, самое бы время причащаться. Ну да, впрочем, с нашими грехами в царствие божие нам все равно вход заказан. О спасении нечего и хлопотать. Так что, други мои, поехали, небось не по последней...

В первый раз Вячеслав Юрьевич махнул на себя рукой после смерти жены. Он работал в ту пору начальником отдела в лесозаготовительном тресте, кажется, начальником окса. Характер у него был деятельный, нрав покладистый, ум подвижный, живой. К тридцати годам он обстроился, обосновался по-хозяйски, накрепко, на долгую, непременно счастливую жизнь. Главное счастье его состояло в любви к жене. Любовь проникала во все начинания Вячеслава Юрьевича, в каждый день его жизни. Холмский с любовью в душе работал, обзаводился хозяйством. Все давалось ему, дела венчались удачей.

В своем доме Холмский установил ванну с колонкой, стены ванной комнаты одел изразцом. В ту пору только он один имел это благо — во всем заречном Новгороде. Стены кабинета, столовой и спальни он изукрасил картинами собственной кисти, писал он сцены охотничьей жизни, легавых, сеттеров, пойнтеров, гончих, натюрморты с глухарями, тетеревами, кряковыми селезнями...

Последнюю свою картину — портрет жены — Вячеслав Юрьевич написал незадолго до ее смерти. Больше он ничего уже никогда не писал. И ни на шаг не продвинулся вверх по работе. Я застал его в той самой должно-

сти, которой он достиг в молодые годы, — начальником отдела лесозаготовительного треста, кажется, окса. В этом звании он отправился в иные миры, минуя пенсионный зал ожидания...

После смерти жены Вячеслав Юрьевич махнул на себя рукой в том смысле, что счастье на этой бренной земле ему теперь заказано. Все душевные силы, не израсходованные в рабочее время, на службе, Холмский направил на утоление горя. Горе его утешалось в лесу и на озере — на охоте, а также в мужской компании, у костра, за столом. Калитка его усадьбы отворялась для всякого компанейского человека, охотника, рыбака. К нему приходили поговорить насчет дров или пчел, о яблонях, о собаках, о моторах, об ильменских судаках и снетках, о тетеревиных выводках и заячьих тропах. В усадьбе он ничего не прибавил, не надстроил. Правда, поставил гараж, купил «Москвича» — опять же единственно в целях охоты.

«Москвичом» заведовал Сашка, шофер, в одиночку Холмский почти никуда и не ездил. Один только раз, после второго инфаркта, он отправился на Кавказ, как было заведено у новгородских владельцев машин. Да и не только у новгородских. Ему не хотелось ехать в такую даль и жару, но сожительница его зудела, что надо поехать, иначе зачем и машина. Лучше продать. Вячеслав Юрьевич поддался — он был доброй души человек, — доехал до Сочи и до Сухуми. За рулем, конечно, сидел больше Сашка, но все равно дорога измучила Холмского, — перегревался мотор, приходилось ехать с включенной для вентиляции печкой, в пекле, в поту, в пыли. Непрестанно болело сердце, ночлеги не приносили отдыха. Загорания и купания не привлекали Вячеслава Юрьевича. Кормежка была никуда.

Возвратясь домой, Холмский сказал, что баста, больше он не ездок на Кавказы. Вскоре его прихватило третьим инфарктом...

Я познакомился с Холмским, когда он был еще крепок, не то чтобы молод и свеж, но годен для всяческой жизни. Он походил на свой дом, широкогрудый, высокий, с пологими, как скаты крыши, плечами. Кожа его лица поблекла, сделалась тускло-сероватой, как стены дома от времени и дождей. Череп Холмский брил наголо, маковка слегка желтела, как бы лоснилась. Голый

череп постоянно мерз, и Холмский даже дома сиживал в тубетейке. Глаза выражали основное душевное качество Холмского — простоту. Слегка навывкате, светлые, как озеро Ильмень под летним безоблачным небом, глаза никогда не мутились рябью задних мыслей, скрытых намерений, подспудных борений, не пестрели игрою страстей. Высокий, обширный лоб венчался теменем, подбородок был мал, незаметен. Всюду лицо иссекли морщины, щербатинки, складки. Лицо Вячеслава Юрьевича походило на лесную корягу. Такие коряги нынче принято подбирать, приносить домой, выявлять с помощью ножа и лобзика человеческие черты и затем выставлять в витрине лесных диковин.

Я познакомился с Холмским на Ильмене, на охоте. Его калитка открылась для меня, как открывалась для многих. Я приезжал к нему. Его усадьба касалась краем ильменской поймы, тут швартовался флот Холмского — катер и «тузик». В погожие дни ранней осенью, когда рдела чулановка в новгородских садах, а по утрам в осиновых перелесках, в росистой траве, нарождались крепенькие, налитые розовым молоком волнушки, когда в рябиновых рощах пировали дрозды, а ночами в овсах наедались досыта медведи, мы странствовали по согревшейся летом, еще не остывшей новгородской земле, по нескошенным ячменям, ржам, по дубовым гривам и ракитовым берегам никуда не спешащих речек, заходили в утихшие после войны новгородские села... Имена этих сел вызывали в сознании образ жизни доброй, яблочной, ситной, румяной, лукавой, пахнувшей сеном, лошадьё, дымом березовых дров: Лутовенка, Воробейка, Кобылкино, Хатели, Любница, Красея, Копейник, Добрости...

Ирландский сеттер Сигнал, не первой уже молодости, как и хозяин, работал усердно, отыскивал в рябниках тетеревиные выводки. К сентябрю косачи чернели, не выдерживали стойку, слетали с петардным треском. Добыча не бывала богатой. При этом я знал, что, когда соберусь уезжать, Вячеслав Юрьевич положит свою долю мне в мешок: «Мы здесь уж как-нибудь дичину себе добудем, если очень захочется. У нас это проще. Бери. У вас это редкое лакомство, деликатес».

Поздней осенью в черном лесу пела Флейта — тоже собака в годах, но достаточно вязкая, как говорят на охотничьем лексиконе, паратая, страстная на гону,

чистых кровей, с высшим образованием, рыже-пегая русская гончая. В бесснежное первозимье она разбивала себе лапы в кровь, потом зализывала их, поглядывала на хозяина с укоризной. В большие снега Флейта запаривалась на гону, вываливала розовый мокрый язык, но с гону она никогда не сбивалась, исполняла работу до той минуты, когда хозяин звал ее, дуя в трубу, вознаграждал отрезанной заячьей лапой.

Однажды я приехал к Холмскому под воскресенье. Попал, как водится, прямо к столу, застал компанию за беседой. Обсуждали завтрашнюю заячью охоту, держали совет — на чем ехать. На своей машине зимой Вячеслав Юрьевич не ездил. Сашку зачем-то услали в Валдай. Машина имелась у начальника орс Евгения Никодимовича, грузовая машина ГАЗ-51. Начальник орс готов был ехать на ней, его лицо выражало решимость и волю, как подобает начальнику областного масштаба. Но здесь также имелась загвоздка: в орсовской машине не держали тормоза.

— Ну что же, — говорил Евгений Никодимович, — нам ведь необязательно нестись с ветерком. Выедем затемно, дорога пустая будет. Доедем...

Никаких сомнений в отношении транспорта у начальника орс не было. Он сомневался только насчет шофера. Не то чтобы сомневался, но как-то стискивал зубы и шевелил желваками на скулах.

— Василию я сказал завтра ехать. Он было ни в какую: тормоза не держат, не могу. Ну, я с ним поговорил как следует быть. Поедет, никуда не денется. Я ему два дня отгула пообещал.

...Утром Василий приехал, привез Евгения Никодимовича. Машина остановилась не против самой калитки, а укатилась несколько вперед. Василий вышел хмурый, сердитый, попинал валенком все четыре ската. Обратился к нам, глядя в сторону, косо:

— Поехали, что ли, пока инспекция спит. У вас забава, пикник, а я могу правов лишиться. Тогда только и останется вместо собаки зайцев гонять... Так ведь попросишься к вам — не возьмете...

Вместе с Евгением Никодимовичем в кабине прибыл широкогрудый, мосластый, вислоухий, гладкий годовалый гончар Гобой, сын Флейты. Он кинулся к своей матушке, дурашливо прыгал, игрался, но Флейта не про-

являла к нему материнского чувства, чуть понюхала и отвернулась. Собак усадили в кузов. Гобой вертелся, юлил, Флейта сразу легла в ногах у хозяина, заглядывала ему в глаза, словно спрашивая, сколько придется бегать, поем или в чапыге и есть ли заяц, не убежал ли куда.

Евгений Никодимович тоже сел в кузов, покрикивал на Гобоя: «Лежать!» Было заметно, насколько он счастлив своим кобелем, сколь многих доблестей ждет от него и утех для себя.

— Гобой — молодец! Могучая псина! — говорил Евгений Никодимович. — Такой шустряк, зайцам будет на пятки давить. Правда, голосок у него еще не прорезался. Ну, да это придет. Вот сегодня послушает Флейту, небось начнет подпевать. Выжлец добрый.

Вячеслав Юрьевич тоже похваливал Гобоя. Говорил, что Флейту повязали с Севером — лучших кровей и не надо, что всех щенят у него оторвали с руками. Один кобелек пошел в Москву, к контр-адмиралу, а сучка — к профессору в Ленинград. Контр-адмирал и профессор писали заранее, умоляли. Холмский похвалялся Флейтиной породой, но при этом оговаривался:

— Многое будет зависеть от того, как ты поставишь пса, как его нагоняешь. Можно любых кровей собаку так подпортить, что потом намучаешься с ней. Подружейные собаки, особенно сеттера, — те более восприимчивы к натаске. У них имеется интеллект. А гончары — дураки. Их надо учить да учить. Один раз собьются с гону, увяжутся за лосями — пиши пропало...

— Я нынче весь отпуск на Гобоя потратил, — говорил Евгений Никодимович. — Мы целый месяц с ним прожили у моего свояка в Веркасье. Каждый божий день в лесу. Он зайца запросто добирает, чутье отменное у него. Доберет — пулей за ним пошел, ну, правда, без голоса... Сегодня у него дебют, настоящая охота. Пусть с матушкой своей в паре походит. Я думаю, борозды не испортит. Пес умный...

Машина медленно двигалась, шофер Василий не разгонялся, ехал больше на второй скорости. Зудящее подвывание мотора отдавалось где-то в мозгу. Василий ехал в кабине один, сквозь железо кабины к ним будто проникала его укоризна. Всеми владело не то чтобы чувство вины, а какое-то беспокойство. Евгений

Никодимович стискивал зубы, играл желваками, много, громко говорил. Разговор не получался общим, мы тоже стискивали зубы.

Машина съехала с большака на проселок, приминая с хрустеньем и скрипом ночную порошу, касаясь бортами склоненных снежной ожеледью берез, освобождая березки от гнета, потихоньку, щупко, рывками довезла нас до деревни Кунья. Постучали к знакомой, видимо, привыкшей к таким наездам хозяйке. Хозяйка поставила самовар. Но чаю ждать не стали. Евгений Никодимович выложил на стол продукты — хлеб, колбасу, сказал Василию:

— Ну, вы чаевничайте с хозяйкой, а мы пошли. День-то короткий...

Все сложили свои колбасы в общую кучу.

Василий, нимало не добрея, предупредил:

— Засветло не обернетесь, я ждать не буду. Мне надо сегодня машину на эстакаду загнать, а то завтра займут, прокукуешь весь день.

— Ну ладно, — отрезал начальник орс, — сколько надо, столько и подождешь.

— Сколько вам надо, это вы считать умеете, — огрызнулся Василий, — а вот сколько нам надо, это вас не касается.

— Ты, Вася, бери, угощайся, вон тут у меня яблоки, — сказал Вячеслав Юрьевич.

С тем мы и вышли на волю. В небе мерцал закочевший серпик луны. В ружейных стволах бранчливо загудел ветер-утренник. Собаки тотчас умчались из виду. За околицей в поле набегано было у лис. Краем леса прострочила цепочку куница. Знать, не зря деревню назвали Кунья. Вскоре нашелся и заячий след, свежий, предутренный; с жировки заяц бежал напрямиком на дневную лежку, в чапыгу. Стали кликать собак. Первой прибежала Флейта, понюхала след, фыркнула, заскулила. Примчался Гобой, сунул нос в заячью лежку и пропустил что есть духу. Флейта сразу отстала от него.

— Ты вон там стань, — сказал мне Вячеслав Юрьевич, указал на прогалок в ольховой заросли. — Заяц тут будет...

Сколько раз я бывал на охоте с Холмским, всегда он будто и не участвовал в ней, только служил диспетчером, расставлял всех, где лучше стоять, а сам уходил во

второй эшелон, брал лишь то, чего не умели взять его други.

Я встал с ружьем под мышкой в ольховом кусту и глядел, как, горбясь по-стариковски, ковыляет по полю Холмский, хоронит лицо от поземки в поднятом воротнике романовской шубы. И так мне жалко стало его: один-одинешенек в целом мире. А мир неприятный, рассвет неохотный, насупленный, ветер колющий. Но вскоре послышался голос Флейты, страстный, с подвывом, с дискантовыми нотами, в них звучала мольба об удаче. Флейта пела свою сонату, восторг главного дела — быстрого бега по снежному лесу и полю — сливался в контрапункте с угрозой родовому врагу, дикому зверю. Внезапно в музыку Флейты ворвался гулкий, бессмысленный лай Гобоя. словно среди концерта загрохал кашлюн. Гобой протявкал и смолк.

Гон быстро удалился от меня, затих, я стал уже сожалеть, что послушался Холмского. Надо бы мне податься наперехват. Но Холмский лучше знал зайца, чем я. Заяц дал кривуля, а потом повернул на пробитую стезжку. Флейтин голос стал нарастать — форте, фортиссимо... Заяц выкатился из лесу. Его белизна отличалась от белых снегов. Он показался мне чуть розоватым, лазоревым. Он вышел точно туда, где назначил выйти ему Вячеслав Юрьевич. Ничто не мешало мне выстрелить в этого зайца, убить. Я нажал курок правого ствола, но выстрел не получился. И в левом не получился. Осечки бывали и раньше, но чтобы сразу в обоих стволах, на виду у сидящего зайца...

Пока я переключал патроны, заяц ускакал в лощинку. Мой дуллет прозвучал лишь салютом живому зайцу, который вот только что был обречен умереть.

Флейта выскочила из ольховой заросли, прибежала ко мне, понюхала дымящиеся на снегу гильзы и посмотрела мне прямо в глаза с таким брезгливым, гневным презрением, какого не дай бог кому снискать на свою бесталанную голову. Она побежала следом за зайцем и скоро снова возвысила голос. Глухо шпокнул выстрел в той стороне, куда ушел Холмский.

Вячеслав Юрьевич принес убитого зайца, бросил к моим ногам:

— Бери. Твой... Ты как выстрелил, я уж и ружье за плечо повесил. Думаю: кончен бал. Нет, слышу, Флейта

дальше идет. Ну, раз уж такое дело, пришлось его доконать... — Он глядел мне в глаза без упрека и без насмешки, даже с какой-то застенчивостью, будто была в том его вина, что он убил зайца, не я.

— Да вот бойки у меня... Черт знает... Осечки...

— Это бывает, — сказал Вячеслав Юрьевич. — У тебя небось патроны-то покупные... Я ими никогда не пользуюсь. Железо, конечно, дает более эффективное сгорание пороха, а все же обычный пистон в медной гильзе благонадежнее...

— Гобой! Гобой! Гобой! — звал Евгений Никодимович. Он бежал через поле, трубил. Лицо его выражало крайнюю озабоченность. — Гобоя не видишь?

— Нет, — сказал я. — Протягивал два раза и скололся...

— Вон там край леса ночью у волка пройдено. — Евгений Никодимович сообщил эти новости с такой тревогой, будто неприятель обходит нас с флангов и с тыла. — Он же глупый... Его же волки располосуют в два счета. — Начальник оorsa опять поднес ко рту медную трубу, задудел и побежал.

Так весь день и звучала гундосо, надсадно его труба, будто ревела отбившаяся от стада корова.

Флейта подняла еще одного зайца, он достался нашему спутнику, полковнику, а может быть, генералу в отставке. Третий заяц улепетнул в такую даль, что голос Флейты сделался недосыгаем для нашего слуха. Мы звали: «Флейта! Флейта! Гобой! Гобой!»

Флейта вскоре явилась. Она поняла, что гоняться за этим заполошным третьим зайцем не стоит. Короткий декабрьский день собирал манатки. Будто все рассветало, рассветало, да так и не рассвело. Опять начинало стемнеться. Как вдруг над зубьями леса прорезался краешек солнца. Снега облились рябиновым взваром. Бесплотные, смутные в свете неразгулявшегося дня стога, березы, ели, кусты вербы, ольхи обрели контрастные, плотные тени. Все задвигалось, зажило вдруг. Пронзительно, тонко пролопотала желна. Прострекотала сорока. Налетела стая клестов. Белка стряхнула с ели кухту...

Гобой не показывался нигде, не откликался на наши зовы. Будто и впрямь его съели серые волки.

— Он необстрелянный у меня, — страдал Евгений Никодимович. — Выстрелы услышал, испугался, и давай бог ноги. Ну, а тут его волки могли и прижать... Гобой! Гобой! Гобой!

— Вообще-то это бывает, — рассуждал Вячеслав Юрьевич, — волки любят гончими собачками полакомиться. Но близко сунуться они бы не решились, а Гобой едва ли далеко убежал. За лосями увязался, а то за лисой. Лиса может так гончара закрутить, что и не докличешься его...

Мы звали, звали, звали Гобоя. Вячеслав Юрьевич снимал с ремня свой старинный медный, с насечкой рог, трубил, звук получался чистый, зазывный, будто трубит забайкальский изюбр на гону. Мы направлялись, конечно, к дому. Куда же еще направляться в исходе ветреного денька, утомившего нас не столько трудом охоты, сколько тревогами и незадачами? Флейта бежала у ноги хозяина, пользовалась каждой нашей остановкой, чтобы прилечь, полизать кровоточащие лапы, повикусывать ледышки меж когтей. Мы останавливались частенько. Нами владела какая-то нерешительность: уходить из лесу, оставив в нем пса, казалось предательским, невозможным делом. Но как его отыскать? Лес велик, скоро ночь...

Местность, где мы шли теперь, казалась совсем незнакомой, и деревня открылась на пригорке не та, где остались наши колбасы, и самовар, и машина с шофером Василием.

— Эвон куда мы махнули, — сказал Вячеслав Юрьевич. — Это же Небути. Тут километров восемь до Куньей...

— Гобой! Гобой! Гобой! — звал Евгений Никодимович, не слушая никого, не глядя на деревушку, страдальчески стиснув зубы, обводя очами окрестные поля.

...Из деревни выехала машина, груженная копной сена, скатилась с горы. Настолько она была неожиданна тут, несвойственна застылому, будто замкнутому в себе извечному пейзажу русского лесного первозимья, что мы уставились на нее с каким-то бессмысленным любопытством.

И проглядели Гобоя. Он откуда-то прибежал, повертелся у наших ног, нимало не выделяя своим вниманием и любовью хозяина, без сыновней почтительности

понюхал свою мамашу. Если что-нибудь выражало песье его лицо, то единственно шкodu, удовольствие совершенной шкodu и готовность к будущей шкodu. Гобой вдруг увидел машину и что есть сил приударил за ней. Хозяин повелевал ему возвратиться:

— Гобой! Назад! Ко мне!

Пес не послушал хозяина, настиг машину, ткнулся в колесо. Пса затянуло в колею. Машину чуть-чуть тряхнуло, она переехала пса, покатила дальше в каком-то раздумье, не то собираясь остановиться, не то разгоняясь, чтобы удрать. Евгений Никодимович побежал за машиной, на ходу переключал патроны в стволах. Он вскинул ружье и выстрелил вдогонку машине. Она приехала на правое заднее колесо.

...Появился шофер Василий, оглядел пробитый баллон, попинал его валенком. Стащил с головы малахай и хрястнул оземь. И плюнул. И обложил всех нас и господа бога.

— Ты что же это, гад, делаешь, — кинулся на шофера начальник орсa. Он страшал, угрожал и одновременно плакал, даже повизгивал, как Флейта на гону. — Да ты знаешь, что я тебе устрою за пса?.. — Он тыкал стволами в грудь Василия.

Тот отпихивал стволы, приговаривая при этом:

— Ты пушкой меня не пужай, как каратель. Я пужаный. Меня в войну каратели попужали. Я таких карателей знаешь сколько отправил к богу в рай...

— Ты отвечай за свои слова, — все пуще кипел Евгений Никодимович. — Я в войну от Ленинграда до Кенигсберга дошел, а ты тут сидел, как лунь на болоте, у деревенских бабок курей таскал — партизан...

— Мне за мое партизанство страна ордена вручала. А этот ишь когда партизанить надумал. За партизанство по нынешним временам по головке не гладят...

Все ближе они сходились... Но тут Вячеслав Юрьевич встрял между ними, разъединил. Лицо его посерело более обыкновенного — от быстрой ходьбы по целому снегу и от расстройства. Шапку с завязанными сзади ушами он сдвинул на темя. Наружу выставился большой, тоже серый лоб. На этом сером лице, в совсем уже черных обводах светлели горестные глаза Вячеслава Юрьевича.

— Опомнитесь, други мои! Собака погибла — ну что же ты будешь делать? — Холмский махнул с отчаянностью рукой. — Жалко собаку — земля ей да будет пухом... Но можно ли нам-то свои-то человеческие дела по-пёсьи решать, за глотку друг друга хватать?..

— Он же был для меня как дитя родное... — Начальник оorsa скрипел зубами. — Я же его молоком вспоил, вынянчил...

— А что я мог сделать, судите сами, Вячеслав Юрьевич. — Василий теперь не глядел на Евгения Никодимовича, обращался к Холмскому, как к посреднику, как к судье, с надеждой на справедливость. — Я с горки съехал на первой скорости, тормозов у меня нет, внизу поставил нейтральную, качусь по инерции... А он и сунулся прямо под колесо... Куда мне было деваться?

— Чего же ты поехал-то? Да еще в гору полез... Сидел бы в Куньей...

— Халтуру надо сшибить, налево сработать, — не разжимая зубов, сказал начальник оorsa. — Без этого мы не можем никак... — Он тоже теперь обращался к Холмскому, на Василия не глядел.

— Чего не умеем, того не умеем, — сказал Василий, — квочкой сидеть, дожидать, пока начальство охотой балуется. Тетка Анисья меня попросила сенца привезти, я не мог отказать. Ей тут транспорт не предоставит никто, самой с саночками тащиться в Небути... Мы с ее мужиком в одной партизанской бригаде воевали. Как хотите судите, а помочь вдове партизана — первее для меня, чем ваша охота...

— Это все так, — сказал Холмский, — свез сено, и ладно, никто тебя не осудит за это. Но черт бы побрал, как нелепо все вышло... У тебя хоть запаска-то есть?

Василий залез в кузов машины, скинул на снег колесо.

Евгений Никодимович между тем наклонился к мертвому псу Гобою. Пес лежал в колее, вытянув лапы, бокастый; машина не примяла его, не нарушила крепкий шпангоут ребер. Только из разинутой пасти Гобоя на текла на снег струя крови.

Флейта понюхала мертвого сына и убежала, отфыркиваясь.

— Разом кончился, хоть без мук, — сказал Евгений Никодимович.

Он поднял Гобоя, отнес его, прижав к груди, до ближней березы, принялся валенком рыть могилу в снегу. Василий крикнул:

— Лопата нужна?

— Давай, — отозвался начальник орс.

Василий отнес лопату, однако не стал помогать, вернулся к нам на дорожку.

Евгений Никодимович нагреб над Гобоем холмик, хлопал его. Поднял ружье, дважды выстрелил в смутное, низкое небо. Из стволов фукнуло огнем, запахло сгоревшим порохом.

— Надо будет с ломом приехать да поглубже зарыть, пока ласки не разнюхали, — сказал Евгений Никодимович, возвратясь с похорон.

Никто ему ничего не ответил. Как-то трудно делалось говорить, не нужно. Молчком подымали машину на березовой ваге, — домкрата не было у Василия. Переставили колесо.

— За резину кто будет платить? — спросил Василий.

— Это моя забота, — ответил начальник орс.

— Сегодня, может, и ваша, вам ехать, а завтра завтра с меня спросит...

— Ну, ладно...

В Куньей мы скинули сено у избы тетки Анисьи. Затряслись, задержались, задрогли на ветру в голом ящике кузова. Мотор заныл, засвербили наши натруженные нервы.

Василий довез нас до дома Холмского. Сам в дом не пошел, уехал, и нам полегчало без него. Все утомились от чувства вины перед ним, хоть косвенной, но вины, от его укоризны, от высшей правоты трудящегося человека перед празднующимся.

В доме топилась печка. Хозяйка Вячеслава Юрьевича принялась пенять, попрекать. Холмский цыкнул на нее, и она стушевалась, исчезла. Жилье Вячеслава Юрьевича привычно, умиротворяюще действовало на нас давним духом своей холостяцкой открытости, приспособленности для единственной главной задачи — застолья друзей. Всякий знал, где посуда, где хлеб, где кадка с капустой. Капусту хозяин сам шинковал и солил.

Первым делом он накормил Флейту, тогда сел к столу и сказал:

— Ну что же, други мои, грех плохо говорить о мертвецах, хотя бы и четвероногих. Но из песни слова не выкинешь. Гобой был выжлец хороших кровей, и стати у него подходящие. А вот же, не в породу пошел — из породы. Умный, знающий дело пес на охоте — радость, наслаждение для охотника, а бестолковая тварь, да если к тому же неслух, — это горе луковое, мучение. Не вышло толку из пса, лучше с ним сразу расстаться — и амба. Чтобы не портить охоту себе и другим... И оплакивать нам Гобоя негоже, други мои!

— Да что уж, теперь не поправишь, — сказал хозяин Гобоя и уронил свой твердый большой подбородок.

— ...Когда умирает собака, ставшая тебе настоящим другом, — продолжал Вячеслав Юрьевич, — это — большое горе. Но собаки переживают смерть своих друзей, быть может, даже сильнее, чем мы... Когда умирала моя жена, еще за месяц до смерти... — Мы сидели на кухне, в раскрытую дверь кабинета виднелся портрет жены Холмского на стене; мы поглядели на портрет, Вячеслав Юрьевич подождал, пока мы глядим, потом продолжал: — Еще за месяц до смерти наша собака, ирландский сеттер Борей, уже чуяла смерть и плакала. Бывало, придет, ткнется носом в колени жене — она вон там в кресле у печки сидела по вечерам — и плачет, весь плед ей намочит слезами... В день смерти жены Борей убежал из дому и не был четверо суток. Это мы свое горе напоказ выставляем. На людях, как говорится, и смерть красна... Собаки умеют спрятать горе, переживают его в одиночку... На пятые сутки Борей явился — в чем душа держится: грязный, шерсть комом свалялась, покусанный весь, в болячках. Но в глазах у него уже не было той тоски. Он посмотрел на меня так, будто сказал: «Надо жить нам дальше, хозяин. Жизнь не кончается нашим горем. Надо идти на охоту». И закатились мы с ним на два месяца в самую глушь за Любытино. Жили вдвоем с глазу на глаз в лесу. И лучшего друга-товарища в моем горе мне не сыскать бы, чем пес мой Борей. Ожил я тогда, оклечетал. Приехал в Новгород, смог приступить к работе. А то казалось, все брошу, уеду, сгину, завью свое горе веревочкой... Охотничьим псам, — сказал Вячеслав Юрьевич, — если они настоящие охотники, неведома злоба. Они служат нам свято, истово, бескорыстно. Мы учим их этому делу. Но

можно и самим у них поучиться — чистосердечию. Охотник должен иметь в себе чистую душу, открытое сердце. Одно дело — страсть, увлечение, азарт, но другое — злоба без удержу... В руках-то ведь наших ружья, орудия смертоубийства... И нам заказано высшим неписанным обетом подымать их со злобою в сердце... Так-то, други мои. — Вячеслав Юрьевич поднял стопку. Длинные его, тонкокожие пальцы чуть подрагивали. — С полем вас! Худо-бедно, а двух зайчишек взяли. Дай бог, чтоб не последних...

Мы выпили за этот тост хозяина дома. Больше я с ним не охотился никогда. В последний раз повидал его ранней весной. Ехал из Ленинграда в Москву на машине, завернул к нему на ночлег. Не потому, что устал в дороге, а потому, что блестела снежная чешуя; в подвижном, зыбком, струящемся, серебристом мареве плавали купола новгородских церквей; подсиненные белые монастырские стены казались не тронутыми временем, новыми, вечными, как небеса. Возникнув, Новгород требовал остановки. Он обещал неожиданную, непонятную радость. Так бывало всегда.

Вячеслав Юрьевич встретил меня, заспешил в магазинчик. Я отказался от выпивки ввиду предстоящей дороги. Его огорчил мой отказ. Он только вышел тогда из больницы — после третьего инфаркта. Кожа на его лице еще более посерела, обвисла, словно отделилась от мяса. Да и мяса-то в нем осталось всего ничего... Как-то грустно нам было с ним в этот вечер, печально.

Наутро машина немножко забуксовала на свежем ледке, на выезде в переулочек. Вячеслав Юрьевич уперся плечом — помогать. Уперся, да тут же и отвалился. Сел на крыльцо и сказал:

— Не могу. Укатали сивку крутые горки.

Лицо его сделалось черным, как лицо пророка Аарона на фреске в церкви Спаса-Нередицы. Глаза стали прозрачны, белесы и будто не видели ничего, что вовне, обратились вовнутрь с не выразимым словами вопросом...

Вскоре я получил известие о том, что Вячеслав Юрьевич умер.

ОКОЛО ОКЕАНА

I

Прокоп поехал за получкой в лесхоз под вечер, а днем еще успели построить мост на дороге, Мосток получился беленький из окоренных еловых бревен, и ехать по нему было все равно что в детстве палкой по забору пострекотать: так-то весело и громко!

Прокоп стеганул на мосту Таежку кнутом:

— Ух ты, а-я-яй! Я т-тебя! Ек-королек!

Лицо у Прокопа уже старое от тридцати пяти лет житья, от водки и курева, а тело, когда он разденется на солнце, останется в галифе, — зрелое, мускульное, кожа такого цвета, как сливки на молоке, ни складочки, ни морщинки.

Таежка присела на задних мослах и пошла вымахивать заячьим скоком.

— Эй ты, ну, богова недоделка, мать твою, мать...

Три моста навели, а через речки нужно скакать чептырнадцать раз, а речки все шумят на ходу, как электрические поезда, только шлагбаумов нету.

Таежка хочет скакать да скакать, на спусках Прокоп шипит на нее: «Тш-ш-ш!» — и мучает ей губы железякой. Таежке эта дорога — домой, домой. Лесхозовские жеребцы учуют, узнают о ее приближении. Они затрубят на всю Теплую долину, и выбегут к ней, и будут мести хвостами, и вскидывать гривы, и ржать для нее.

Таежка тоже играет хвостом. Она скачет из тайги в Теплую долину, от Тихого океана, от его всегдашнего шума и угрозы к знакомому запаху стойла, к полю-

бовной табунной жизни — домой. Она злобится на Прокопов кнут и хлещет, хлещет хвостом.

Она не знает, что хвост ее сжевал бык Спирька. Ее привязали к загородке, чтобы запрячь, когда директор лесхоза наловится рыбы. Директор ловил да ловил, пока прилив, а Спирька пришел и сжевал. Он подергивал за хвост, это было не больно и даже приятно Таежке, а быку все равно, что жевать. Он молодой, однолеток, срезал, перемолол крепкими зубами вороной, лоснистый лошажий волос.

— От дает Тайга, куд-ды те? Тш-ш-ш!

Листвяшки-подростки выскакивают к дороге будто поодиночке, видны их стволы и ветки, телега уезжает от них, и опять они отшагивают в один сплошной лес. Вслед за Прокоповой едет вторая подвода, в ней мужики громко говорят и даже вскрикивают от радости своей субботней поездки к женам, к получке, к выпивке после строительства мостков, после пота и гнуса.

До перевала виден Тихий океан. Он не отдаляется, а будто идет следом. Дорога прямехонько целит в океан. Можно разбежаться и прыгнуть туда. А там осьминоги...

Океан синее, чем небо. Точной границы между океаном и небом нет, и можно подумать, что туча поднимается из-под горы, уже дошла до макушки леса, что будет гроза.

Прокоп сам не свой от радости, за получкой едет, своих полторы сотни есть, заработаны, да за Капитолину семьдесят пять...

— Ну, да чтоб те, ух ты, я т-тебе дам!

Перевалили за хребет, и океана не стало.

2

Бык Спирька и два Прокоповых борова пришли к самой воде. Вечером океан доставал тропинку и обирал с берега ракушки, колобашки, морскую капусту, крабовы спинки, клешни и подбрюшники. За ночь прибой подновил океанское добро, прилизал берег и разложил все на умытом песке.

Отлив.

Боровам гоже все продовольствие океана. Они хрум-

кают, и толкутся на грудах морской капусты, и урчат от сладости, и роют рылами мокрый песок. Бык Спирька резвее, заскочит вперед боровов, но обязательно станет. Одному ему неохота.

Все трое уходят из глаз, никто их не ищет, они пойдут до реки Бахуры. Так звали речку японцы. А после за ней прижилось понятное, наше имя: Бухарá.

Бык с боровами минуют кинутый рыбаками поселок, и дома́ для них все равно что камни на берегу. Они ткнутся в речку, удивятся такой помехе, покружат и к полдню вернутся домой на кордон.

За рекой Бухарой — тот же берег, и камни, и крабы, и пустые деревни. Селедку всю половили, как говорят по науке: «рыба впала в депрессию».

Можно идти по отливу или подняться на верхний берег, там пограничная, дозорная тропа, там густо, обильно и мокро живет сахалинская дудка-гречиха, белокопытник — листья и стебли его огромны, мясисты, будто огородный салат раскормили до фикуса.

Есть поляны — посыпаны огоньками, словно пчелы слетелись на медосбор. У цветков длинные ворсяные стебли, огоньки закрываются на ночь, становятся как бутоны и тихо качаются порознь на утреннем ветерке. Днем они выбрасывают лепестки, покрывают поляны одним полыханьем.

Много рябины, березы и елок, все деревья не толсты, не стары. Травяная молодь жадно, сочно живет на волглой земле. Выше трав поднялись, желтеют коронами царевны-саранки. Жасминным цветом обсыпался берегсклет.

Можно идти по берегу острова Сахалина, и не встретишь ни одного человека. Чем южнее пойдешь, тем гуще станет лес и сочнее трава. Остров свернет на запад, и там уже совсем близко до города Корсакова.

А если пойти на север, дорога будет длиннее. До самого Поронайска пойдешь по дуге — окоему залива Терпения. Там и вовсе нет ни живой души.

Лес на севере станет темнеть да стареть по болотам, в космах лишайника. Откроются багульные плечи, мочальные мари и мертвые пихты с обломышами-сучками.

До севера далеко от Прокопова кордона. Кордон поставлен в таком месте, что лучше не надо. Быка Прокоп купил весной; не кормлен, не поен, вон какой

вымахал бугай на природной благодати! Осенью Прокоп поменяет его на телку, к новому лету будет корова. Корову Прокоп еще не держал в своей жизни, будущая хозяйственная доука представляется ему пока неясно и отдаленно.

Боровá тоже сами себя содержат, а осенью еще кета подвалит в нерестовую Бухару... Прокоп будет стоять над речкой, шпынять острой большими океанских рыб-бин, пластать ножом их розовые тела, добывать икрное добро.

Икра привалит в сентябре, а пока что Капитолина выходит на берег, сгребает морскую капусту, варит ее, ставит на стол, приправляет постным маслом и луком. Техник Георгий — в который уж раз — сообщает, что морская капуста полезна, что в ней содержится йод, что корейцы особо живучи именно потому, что всю жизнь потребляют морскую капусту.

3

Прокоп обещался вернуться к вечеру в воскресенье. Капитолина дотерпела до утра, принялась с ребяташками мотыжить картошку, но не кончили и первую борозду, как она вдруг кинула цапку и пошагала в избу. На ходу она отирала ладони о платье, пальцы ее были растопырены, а шаги широки и спешны.

В избе она выпростала из-под косынки ухо, сильно прижала к нему телефонную трубку, раскрутила ручку аппарата и проговорила громким, настойчивым голосом:

— Але! Мыс Тюлений? Мне дайте Рыбнозаводск... Нет... Это Прожога звонит. С Краснолесовки, Брызгалова, лесника, жена... Рыбнозаводск? Мне дайте лесхоз. Только вы покрепче там позвоните! Девушка! Вы им позвоните покрепче, я говорю! У них там квартера через коридор надо пройти... Але! Роман Аверьяныч? Это Прожога вам звонит. С Краснолесовки... Спасибо... И вас также... Скажите, Брызгалов у вас ночевал? Что? Не у вас? А лошадь евонная Тайга в конюшню поставлена или нет? Нет? А получку они вчера захватили? И на меня получил? У меня на мостах семьдесят пять заработаны... Что? За продуктами на телеге поехал? А техники были, Гошка или Георгий? Были? А Федор

Иваныч дома? Дома? Але! Але! Роман Аверьяныч! А Брызгалов как поехал, вы видали, сильно пьяный или ничего? Ничего? Вот уж во что не поверю... Але!

Шура, Прожогина дочка восьми лет, пришла послушать. Залезла с ногами на лавку, локотки уставила на стол, подбородок положила на ладошки, а пальцы закусил от внимания.

Капитолинин разговор с лесхозом прервался, теперь трубка бренчала, так сильно в ней что-то говорил по проводу какой-то человек.

— ...У нас никто не был, — отвечала на телефонный голос Капитолина. — А что же они, без продуктов ушли? А воспитатель-то ихний мужчина или женщина?.. Женщина?.. Это не та, что за вашего пограничника, за Олега, замуж вышла?.. Она?.. Ну как же! Мы ее знаем... Это когда ваш пост в Краснолесовке был, она прибежала к Олегу с Тюленьего мысу, на воскресенье... Ну да! К вам верхом-то ехать, считай, полдня надо, а она так... Але! Тюлений мыс? Дайте мне Рыбнозаводск!

Шура слушала все, кусала пальцы, переживала. Слезла с лавки, в сенях строго поговорила с дворнягой Тишкой.

— Ах ты Тишка, — сказала Шура, — иди-ка ищи Спирьку. Просто сладу нет с этим теленком, шляется где-то, а ты тут сидишь. Не работаешь. Не стыдно?

Тишка заюлила около Шуры, потянулась зубами к своему хвосту, не то застыдилась, не то поигратся рада, не то понадеялась на кусок еды.

Шура пошла на огород и пожурила брата Леньку:

— Папка сказал, чтобы мы ему всех червяков собирали в банку, а ты, эва, смотри, какого хорошего червя перерубил. Папка бы на него мог морского окуня поймать. Да-а...

— Ой уж, подумаешь, — Ленька напыжился, — я червя на пять частей разрежу и пять форелей поймаю.

— А вот и не поймает.

— Да ну-у! Сколько раз ловил.

— Не ловил, не ловил. Не поймает.

— Хочешь, пойдем докажу.

— Не докажешь, не докажешь... Папка говорил, чтобы каждый день мы по двадцать борозд обрывали, а ты еще и двух не обрыл.

— Обро-о-ю! Поду-умаешь!

...Вот они идут к речке, круглощекий неулыбчивый мальчишка в вельветовой курточке и белоголовая девочка в розовой фланелевой распашонке-душегрейке.

— Мамке звонил капитан, — говорит Шура, — с Тюленьего мыса. Я каждое словечко слышала, что он сказал. У них школьники ушли поход делать. Вот. И все заблудились. А теперь они к нам в Краснолесовку придут, а нам их чем кормить? Рыба не наловлена, морской капусты нет ни грамма. Мамка звонила в лесхоз, а Тайга в конюшне не ночевала. Никто не знает, куда подевалась. Ее, наверно, медведь съел.

— Да ну-у, медведь... Она всякого медведя обскачет.

— Ну и что ж, что обскачет? А ты меня не обскачешь. Ты сам как медведь.

Шура бежит по-над самым откосом, крапива стрекотает ей щеки, выросла выше ольхи. Леня вот сейчас догонит сестренку.

— Ага! — грозитя он. — Не уйдешь, Маленькая Прожога!

Шура верещит:

— Пусти-и! Так нечестно. У тебя вон какие ручищи, а у меня — вон. Я хоть Маленькая Прожога, а ты два года в четвертом классе сидел.

...Вот они идут дальше по дозорной тропе, одни-однешеньки, им слышно, как играют уставшими за ночь голосами сахалинские соловьи на рябинах. Песня у соловьев до нотки разучена, никаких вариаций, ни клекота, ни свистенья. Строчат да сыплют круглые горловые звуки своей островитянской музыки.

— Ленька! — зовет Маленькая Прожога. — Пойдем школьников искать.

— Что у них, компасу нету, что ли?

...Внизу океан принес большого сивуча. Прибой подымает его и опускает, он чернеет на гребне, будто причальная бочка на якоре.

Прокоп позвонил в Краснолесовку близко к вечеру. Говорил с женой голосом молодецким:

— Але! Капитолина? Ты бражку готовы! Ну-у?!

Я тут гуся купил и гусыню. И пятерых гусенят тоже взял. Приедем — обмыть надо будет путем.

Капитолина обрадовалась прибыли своему хозяйству, она озаботилась и, значит, расстроилась. Она позабыла о главной обиде — о мужниной ненадежной жизни посреди городских соблазнов, о неперемнной его тяжелой вине и о своей будущей мести.

— А у кого брал? — быстро спросила Капитолина. — Чьи гуси-то? У Полозовых? У них же гусыня-то, мне Маруська говорила, Лукиничевым сторгована была.

Капитолина позабыла свою обиду не совсем, а только на время. Прокоп не мог этого не слышать в ее голосе и потому продолжал хвастать гусями:

— Але! К вечеру, говорю, бражку готовь, а я нуля привезу две бутылки. Обмоем гусей.

Нулем Прокоп обзывал водку.

— А ты чего это двое сутки в Рыбнозаводске шаляешься, ведь вчера к вечеру вернуться обещали?

— От дает... — Прокоп не нашел что ответить.

— Где это ты ночевал, я Роману Аверьянычу позвонила, он говорит, и Тайгу в конюшню не ставили...

Прокоп помолчал, подышал около трубки и вдруг обиделся:

— У Лукиничевых. Ну-у? От дает — где ночевали... Ведь все же гусей брал, правда же? Как лучше, думаешь...

— А на телеге куда пьяный ездил? На весь Рыбнозаводск загудел.

Тут Прокоп повернул разговор.

— Я тебе звонил два раза, — сказал он гневно и оскорбленно, — а ты где это, к Адольфу бегала? — Прокоп сказал так неожиданно для себя, но, сказав, поверил и вправду обиделся, хотя Адольф был юный, совсем безбородый, мягковолосый и розовощекий студент из рыбного института.

— Хлеба не забудь привезти, — наказала Капитолина, — пшенки, масла постного и майонезу.

Кончив этот разговор с мужем, она тотчас же звала Рыбнозаводск.

— Але! — прокричала в трубку. — Мне можно Екатерину Мосолову, она у вас в кассе работает... Это кто, это Мосолова? Здравствуй, как твое ничего? Это Прожога тебе звонит. Тебе Маруська ничего не переда-

вала?.. Ничего? Вот же зараза, я ее встречу, я ей дам разгон... Я с ей деньги, двадцать пять рублей, тебе послала, чтобы ты мне румынки взяла... Але! Екатерина! Там у вас мой Брызгалов гудит. Ты сходи к Лукиничевым, ага? Он говорит, там ночевал, а сам, наверное, на Чехова... Я же под им, подлецом, на метр вглубь еще вижу, на чем стоит. Ты ничего не говори Лукиничевым, будто так просто зашла, а я тебе после еще позвоню...

Капитолина пнула носком резинового сапога дверь; очутясь на улице, крикнула скрипучим, злым голосом:

— Санька-а, Ленька-а!

Океан накатил и понес вдоль берега грохотанье, как реактивный истребитель.

Бык Спирька поднял морду и потребовал себе глухим рыком еды, кроме океанского рациона. Борова поддерживали быка стоном и хрюканьем.

— У-у-у, проклятушие, навязались. Только бы жрать. — Капитолина схватила мужнино удилище. — У-ух, вы!

Бык повернул от воротцев не сразу, удилищем его было не пронять, борова злобились и фырчали. Но все же ушли. Понуро двинулись вниз, к океану. Теперь он был близко, на самой тропе.

Капитолина обрыла полполосы картошки да снова в избу.

5

Леня и Шура три раза спускались в распадки, пока пришли к Бухаре. В распадках росли елки, но ни одна из них не показала маковку над ложбиной. Выше елок, на океанском берегу, цвели ромашки, а на самом донце распадков урчали черные ручьи, лежал, как неживой, мох, соловьев не было слышно, появлялись из гущи сойки, голосили радостно и нахально.

Леня и Шура ныряли с ветра и солнцепека в непонятную тишь низин, промачивали себе ноги в ручьях и быстро бежали наверх. Тропинки были опрятно устелены хвоей, хотя никто тут не жил, не бывал, а елки, молодые на вид, все поседели в лесу. Наверху опять начинался ветер и солнцепек. Леня кричал:

— Э-эй! Спирька-а!

Бычок поворачивал голову на голос, смотрел, а Шура звала бабьим голосом:

— Хрю-пи, хрю-пи, чу-ни, чу-ни.

И смеялась. Ее смех разлетался далеко по открытому берегу, ясно звенел над согретой после длинной зимы землей.

Леня и Шура сбежали молчком к Бухаре. Здесь особенно густо и высоко выросла крапива, гречиха, шкурка на стволах тополей полопалась от древесной дебели, а тополевы листья укрыли от солнца всю речку, берег и тропу. На притоптанной поляне у воды стояла хорошо натянутая палатка. Над речкой мосток в одну доску. К мостку, на самой его середине, прилажена частая сетка до дна. Ребята сказали: «Здравствуйте». Им никто не ответил. В палатке пусто и розово от солнца, прошедшего сквозь нарядный брезент. Посреди поляны поставлен на колья стол, на столе повядшая черемша и тонкий фореальный хребетик.

— О-ой, — сказала Шура, — сами ушли, а все так и оставили. Непутевые какие.

— Они голые на песке загорают, — сказал Леня, — я видел, как все равно сивучи валяются.

— И я видела. Дядя Николай в трусиках, а дядя Адольф так. Да-а...

6

Обед в этот день Капитолина не заводила. Поковыряла вилкой нагретую утрешнюю рыбу на сковородке да снова за телефон. Соединиться с Рыбнозаводском к вечеру стало трудно: на побережье искали пропавших туристов. Капитолина слушала все разговоры, вставляла свои слова и советы. Она кричала телефонной девушке:

— Але! Девушка! Мне дайте Рыбнозаводск!

Капитолинин голос стал хриплым. След Прокоповой телеги совсем потерялся в окраинных торфяных улочках Рыбнозаводска. Капитолине сообщали ее товарки, знакомцы и служащие лесхоза, что будто Прокофий Брызгалов ехал по мосту к Теплой долине, а в телеге его находилась деревянная клетка с гусями. Капитолина счастливо благодарила за эти вести. Но, посидев полчаса, побегав из кухни к столу и обратно, погля-

девши в окошко, поматерившись на скотину и ребятишек, которых все нету и нету, она опять крутила ручку на телефоне, и ей говорили, что будто Прокоп ехал пьянехонек в центре Рыбнозаводска и без гусей. Тогда Капитолина плакала. Слезы ее были злы, саднили ошпаренные солнцем щеки, Капитолина грозилась шепотом и в голос. Слова и угрозы ее были мужичьи, самое скверное, чего наслышалась за всю сахалинскую жизнь, говорила она теперь Прокофию.

— Убью-у! — обещалась Капитолина и верила, что убьет. — Топором зарублю-у, вот только заявишься...

Когда вернулись Шура и Леня, она закричала так громко, как будто они под горой, на берегу океана:

— Чтоб вы все посдыхали! Батька вон уже гусей пропил, так мне еще с вами тут мучиться? Картошка необрыта стоит, а мне за вами бегать есть время? Вон жрите, рыба осталась на сковородке, а у меня ни круп, ничего. Брызгалов гудит в Рыбнозаводске, а я не обязана ему кордон караулить. Вот пусть приедет, я его колуном приласкаю.

Леня закричал своей матери в ответ таким же громким голосом, еще побасистей:

— Чево-о! Мы за быком и за свиньями ходили на Бухару.

— А Николая с Адольфом видали? У них ведь и хлеба нет, — уже потише сказала Капитолина.

— Хлеба у них нет, — деловым голосом сказала Шура, — они только черемшу ели и еще одну форельку на двоих всю обглодали, только косточка и осталась.

— Сукин сын Брызгалов, об семье не подумает, так хотя бы об людях. Они ведь там который уже день без хлеба, на голодухе сидят. Им сколь нужно, таким же ребцам, а у Брызгалова совести нет ни грамма.

— Да, — сказала Шура, — меня Адольф зовет Маленькая Прошока. Надо Прожога, а он Прошока. Это, наверно, от голода.

Капитолина улыбнулась было, но вспомнила и зарыдала:

— До каких же пор вы будете надо мной изгиляться? Цыц вы! И так не до вас! Чтобы и вовсе вас не было!

Тут заверещало в телефонной коробке. Шура юрк-

нула прежде матери, взялась двумя руками за трубку и сказала:

— Але! Краснолесовка слушает... Не-ет... это я. Маленькая Прожога... А мы уже сами знаем. Мы ходили на Бухару, искали туристов... Вот... Мы с Леней ходили и след медведя видели... Что? Ладно... Мы лампу не будем гасить, а я в окошко буду смотреть...

— Капитан говорит, чтобы огонь всю ночь не гасить, — шепотом сообщила Шура. Она засветила лампу, хотя было еще не темно, и повесила на гвоздь у окна. Сама залезла с ногами на лавку, притиснулась лбом к оконному стеклу.

Когда совсем за вечерело, мать скинула с койки на пол ледащий матрац, одеяло и розовую подушку. Леня и Шура легли, повозились немного, и стало тихо. Капитолина повернула лампу, огонек то вырастал у нее в глазах, то сжимался. Она ждала телефонного треска, думала, что оплатит Брызгалову за всю свою муку. Как она будет платить, расправляться, Капитолина не знала точно, но тем страшнее, жесточе казалась ей месть и тем слаще ей было думать о мести. Она пошла на кровать. Сон схватывался в ней, потом расходился, вдруг кто-то сказал незнакомым голосом близко и внятно: «Федорова убили на углу Охотского моря сорок пять...»

Капитолина села, сна ни в одном глазу, а голос не забывался. Она подумала о Федорове, завмаге в Суюкое, и о себе; у нее с ним были дела лет восемь тому назад, а после он перевелся в Корсаков. Ей стало страшно за Федорова, хотя слова не имели толку: что это — «угол Охотского моря»?

Пустые слова, приснилось... Но ведь ясно было сказано: убили. Жалко стало Федорова, даже в сердце заныла боль. Конечно, он брал с выручки двести рублей старых денег, а кто не берет? Она вспомнила завмага, как гуляли на квартире у Катьки-кассирши, как пили коньяк «пять звездочек», как Федоров играл на гитаре, и пел, и плакал, и говорил, что он был чемпионом Тихоокеанского флота, а теперь все пропало... Как он встал на руки и пошел на руках, но упал... Как она вела его ночью по снегу, а он тянул ее к речке Суюкой и говорил, что будет топиться... Хороший он был человек, Федоров. А если правда убили?

Капитолина подумала о Прокопе, вдруг он поехал

в ночь пьяный, свалился в ручей... Ей стало страшно и больно сердцем за своего мужа. Она не могла больше злиться и страдать. Она утомилась. Прокоп пришел к ней гол как сокол: солдатик. Чуть только он на ноги встал, приделся, Капитолина уволилась из торговой сети. Шесть лет живут на одну зарплату. Разве так бы она могла устроиться? Но ей ничего не надо...

Капитолина вышла на волю. Свет из оконца чуть отодвинул темь от избы. В свет влетали дождинки, блестя, косо и бело чертили, как грифелем на доске.

Океан работал внизу, беленился, его звук был невычтен, не слышен Капитолине. От каждого удара воды земля ёкала под ногами, налетал пряный лекарственный вздох. Капитолина стояла на оконном свете, а двинуться дальше ей не хотелось, тьма подступила близко и плотно, казалось, во тьму не вдавиться. Она долго пробыла на дожде и вернулась в избу с мокрым холодным лицом.

Когда позвонил Прокоп, Капитолина не кричала на его пьяный голос и не грозилась, слушала, как он дребезжит в трубку, поет... Совсем плохой голос у Прокопа...

— К-капитолина, — всхлипывал далеко муж, — по-позови Адольфа... я была-а, измену видела-а в лесу-у на вересу-у...

Океан разыгрался внизу, или так показалось Капитолине, будто начало зыбать избу. Чужой голосишко болтался в трубке. Это был голос мужа, но он был чужой, и Капитолине стало так одиноко посреди ночи, дождя, посреди непонятного горя и качки, что она заплакала в телефон. Кинуть трубку она не решалась и крепко держала ее, прижимала к щеке. Плакать для одной себя было страшно, а телефон замолчал. Капитолина свалилась лицом на стол, намочила слезами трубку, а когда слезы все вышли, она услышала, что трубка чуть внятно зудит и зудит:

— Тюлений мыс, Тюлений мыс, Тюлений мыс...

Женский голос доносился с перепадами, с дрожаньем, с натугой, как провод на ветру.

— Это Краснолесовка! — крикнула в трубку Капитолина. — Краснолесовка слушает.

Шура, в застиранной, с длинными лямками рубашонке, появилась на свет, залезла на лавку, прибавила в лампе огня...

— Это кто говорит? — быстро и громко спросила Капитолина. — Это воспитательша говорит? Это вы заблудивши были?

Шура дотянулась ухом до трубки, которую держала мать...

— ...мы вышли на Лисью косу, — тянула женщина издалека, — мы вышли на Лисью косу. Сообщите директору интерната, что мы на Лисьей косе.

Тут ожил, включился Тюлений мыс. Капитан и директор громко кричали женщине ободряющие слова и наказания.

— Нашлись, слава те господи, — сказала Капитолина. — А то из-за них прямо сон в голову не идет.

— Да уж, — сказала Шура, — хорошо, что хоть такая темнотища на дворе, медведям их не видать, а то бы съели.

Мать и дочка посидели друг против дружки за непокрытым столом, поблестели глазами, поговорили, как две товарки.

Капитолина дунула в лампу, скоро в комнате стало слышно общее легкое дыхание Прожогоино семейства.

7

Таежка спотыкается, а споткнувшись, взглядывает на Прокопа. Брызгалов охлестывает ее кнутом. Тайга прядает ушами и медленно тянет телегу по Теплой долине в гору, на перевал.

Прокоп выпил в дорожку, но немного, он деятельно бодр, все подтыкает под клетку с гусями траву, чтоб не билась, все машет кнутом.

Внутри у Прокопа что-то сипит, ноет, как в чайнике на плите: и жарко, и закипеть нет силенок. Прокоп глушит нутряное нытье грубым голосом:

— Куд-ды те?.. Да что мне с тобой тут?.. Вы-ых!

Тайга делает вид, что бежит, а чуть Прокоп распускает вожжи, она тычется мордой в траву, рвет лопухи и дудку. Ей слышится ржание жеребцов, теплое их дыхание и сильный поскок на лугу. Она заворачивает телегу... В голосе у Прокопа слезная ненависть:

— Да сколь же ты будешь тут надо мной изгиляться? У-ух!

Трезвость, трезвость донимает Прокопа. Чем больше трезвеет он, тем несноснее это нытье внутри, хуже болячки. Прокоп шевелит скулами и бьет, стегает Таежку. После первого брода он глотает из горлышка водку, сразу становится тихо внутри, хорошо...

Брызгалов едет один на кордон, но думает так, будто с ним на телеге еще человек, вот если бы директор лесхоза... Можно ему объяснить, рассказать, оправдать свою жизнь и гулянку.

— Конечно, такая жизнь... — доверительно, просто объясняет Прокоп директору. И уже верит, что директор слышит его, и говорить ему легко, потому что директор молчит, не сбивает. — Взять хотя бы меня, у меня отец и мать в Томске. Я с ними жил, конечно, одной семьей, а как женился, так поделились. Я сам в заводе с пятнадцати лет, в литейном, в армию меня взяли, а у бабы осталось двое ребятишек. Да. Пацан и пацанка... — Прокопу нравятся слова, которые он говорит о своей жизни. Хорошие, жалостные слова. И жизнь предстает хотя и несчастной, но правильной, справедливой. — Я год отслужил, а мне написали дружки, что она загуляла. Ну что, думаю, ежели когда на материк поеду, я с ней рассчитаюсь так ли иначе, правда же? У меня здесь хозяйство, бык, свиней держим, вот гусей взял, зарплата не так чтобы очень, но можно помалу стать на ноги... — О зарплате Прокоп говорит директору с тайным намеком на то, что пора бы ему причислить надбавку за выслугу лет на Сахалине. — А так я не могу, чтобы на чужое рассчитывать. Я всегда привык на своем... Да что т-ты будешь делать? Давай шевелись!

Но работать вожжами Прокоп не может сейчас. Тайга бредет как попало. Ее хозяин еще не кончил главный свой разговор, и никак не кончить, и жалко себя, и сладко от жалости.

— Да-а... Капитолину взял, а у нее тоже пацан и пацанка. Первый мужик у нее на материк уехал, я с него ни алиментов, ничего такого не спрашиваю. И к детям евонным я как будто к своим... Ну, конечно, я пью, я люблю это дело... А так вообще-то все ничего. Хату мы купили, перевезем в Рыбнозаводск. Ягоды у нас всякой. А осенью пойдет горбуша. Вот приезжайте, Евгений Нилыч. Она теперь скоро должна подойти...

Таяжка лезет в длинную гору. Круп ее замокрел. Она теперь не косится назад, ей одна забота — осилить эту дорогу.

Дорога ложится на перевал, на голое плоскогорье. Вот забренчали колеса по камню. Нахмуренно-синий, лиловый встал впереди океан. Малая долька его бьется в берег, белеет, катает валы, но с перевала этой работы не видно. Главный, большой океан предстает выше леса, недвижный, огромный, являет себя сосредоточенной си-невой посреди серого дня. Океан весь живой, клубится, цветет. Он дохнул из-под горы и погасил туман в лиственничных ветках, рассыпалась мошкара, разнесло дурман-багульный настой.

Вот покатались колеса вниз по набитой дороге. Вот отсчитали бревешки на новом мосту.

Тайге сделалось весело, гулко бежать к океану. Домой...

8

Адольф пришел на кордон к Прожоге утром, по ненастной погоде. Так сильно дул ветер, так много он гнал дождя и тумана, так растрепалась и побледнела от стужи трава, что не поверить было во вчерашнее лето. Вчера Адольф купался, плавал в Охотском море, а после лежал совершенно голый на жарком песке. Нынче он надел ватник, но все равно прознобило, пока пришел с Бухары на кордон. Николай остался в палатке, в спальном мешке.

Они жили вдвоем на реке Бухаре все лето. Николай был научный сотрудник рыбного института. Ловили в сетку мальков, каждые три часа пересчитывали рыбешек и отпускали обратно в воду. Мальки катились вниз к океану, чтобы вернуться на будущий год взрослой кетой и горбушей. Адольфу и Николаю нужно до осени все сосчитать и решить, стоит ли строить рыбозавод на нерестовой реке Бухаре.

Костер не палили с утра, решили завтракать после, когда Адольф принесет с кордона хлеб и тушенку.

Адольф замерз и намок на ходу, но все равно был румяный.

— Здравствуйте, Прокоп Парамонович приехал?

— Приехал он, как же, жди, — сказала Капитолина.

Она встала сегодня рано, уже натопила плиту, сварила ведро морской капусты, подняла ребятишек, все прибрала, сунула кулаками в бока подушкам, поместила их одну на одной...

В окошко ей была видна тележная колея, пустая дорога текла по угору к избе. Кружение Капитолины по маленькому пространству от печки к окошку все убыстрялось, и не было такого предмета, ни сковородки, ни кочерги, который бы она не схватила без нужды, не загремела... Капитолина чуяла, знала, что муж ее скоро будет тут, что он едет сейчас, а как его встретить, она не решила. Дать ей совет не могли ни Ленья, ни Шура, а бабы, соседки, не было ни одной на сотню верст на юг и на север. Капитолина внушала себе: «Всего искалечу... Сейчас поверну Тайгу, погружусь — и в Рыбнозаводск. А потом в Корсаков...» Эти слова казались Капитолине последними решающими словами, но она опять взглядывала в окошко, видела там быка и свиней, мокрых, некормленных, думала, что Прокоп привезет отрубей, и опять сомневалась, томилась...

Сбегала в пустой поселок, приволокла оттуда ржавую койку, расставила ее около пустой стены, собрала с общей, семейной кровати подушку, одеяло, матрац, кинула все на койку, решила: «До осени поживу. Но его не подпущу к себе, паразита. Пускай один спит».

Адольф снял ватник и кепку в сенях, волосы у него были вьющиеся, плечи большие, а шея вся открытая, летняя.

— Садись к столу, — обрадовалась Капитолина гостю, — сейчас мы с тобой тут гульнем. Что мы, хуже людей? У меня брага давно заправлена; думала, к приезду ихнему как раз дойдет. А раз они так поступают, мы с тобой сейчас ее выпьем.

— Зачем сразу все выпивать? — сказал Адольф. — Это очень много будет.

— Ничего, в самый раз. Они уже там третьи сутки гудят, и мы тоже умеем.

Капитолина принесла из кладовой ведерный бидон, нацедила в кастрюлю белесой браги, черпнула, плеснула в стаканы. Первый раз за утро присела...

— Ну, будьте здоровы, за что будем пить-то?

— За хозяйку, — сказал Адольф. — И за Маленькую Прожогу. За женщин.

— Тут до чего доживешь, в этой Краснолесовке, и вообще позабудешь, баба ты или кто...

— Дядя Адольф, — сказала Шура, — вы за меня брагу будете пить, а я за вас чаю...

Адольф с удовольствием выпил стакан, сразу следом другой. Трое суток они с Николаем не ели хлеба, а только слабый наварчик ухи из молоденьких рыбок... Все лето с мая они тянули на рыбной еде... Брага была густа, сытна, тяжелила, согревала и веселила Адольфа. Он выпил еще. Капитолина пила с ним стакан в стакан.

Адольфу стало совсем хорошо. Он сделался мягкий и добрый. Он думал о том, как счастливо все получилось в его жизни: вот — стол и брага, и все для него, а под горой океан, и океан ему вроде как свой, а где-то еще город Вильнюс, колокола звонят на соборе, переулоч Пилес узкий, как Бухара, на дворе под окошком растет дерево туя...

— Вильнюс красивый город, — сказал Адольф, — а Каунас еще красивее.

— Я таких и не слыхала никогда. Мы тут живем, как восьминоги последние, прости господи...

— Я сюда приеду работать после института, — сказал Адольф. — Или на Курильские острова.

Капитолина сложила руки на столе, глаза ее, движения, слова стали медленные после бражки.

— А моей и ноги больше не будет в Краснолесовке. Я себя и детей завсегда прокормлю. Хоть в Корсакове мне помогут на точку устроиться, хотя и на материк уеду, хуже не будет. А Брызгалова я разделаю под орех.

— Да-а-а, — задумчиво, выжидательно произнес Адольф. Он хотел сказать что-нибудь хорошее для этой женщины. Все было хорошее в мире. Только одно хорошее — от Вильнюса до Тихого океана. — Не надо разделять под орех Прокопа Парамоновича. Не надо прокармливать детей... Не надо, — сказал Адольф.

Он был так уверен в этом своем «не надо», что Капитолина, единственная женщина на всем побережье, задумалась.

— Думаете, не надо? — Первый раз она назвала Адольфа на «вы».

— Вот, — сказал Адольф, — люди живут в домах, дома все стоят. Когда люди не живут, дома разрушаются. Да-а-а... Вот как в Краснолесовке. И женщины

тоже как дома. Когда у них есть мужик, они все могут делать, а когда нет мужика, они уже — ну... не такие прочные. Могут разваливаться на куски...

Адольф смутился, сказавши это. Он не подумал бы так в свои двадцать три года в устроенном, людном Вильнюсе. Но теперь он жил в бросовом обветшалом поселке. Он слушал по ночам, как шуршат и гниют от ненужности стены и потолки. Он вспомнил, как его сестренка Ньеле танцевала со своим мужем Стасиком, какая она была тоненькая и молодая, как она перестала красить ресницы и подурнела, какая у нее сделалась тяжелая походка, когда погиб ее Стасик, рыбак, в Атлантическом океане... Он не сказал бы об этом сестренке. Но сегодня он выпил бражки. Он хотел добра Прожогге, ее мужу Прокопу, всем людям от Тихого океана до города Вильнюса.

— Да, — сказала Шура, — я видела, как дом развалился в Краснолесовке. Стоял, стоял, а бык наш Спирька подошел к нему почесаться, а он и развалился. А Спирька стоит хоть бы что.

— Мужики, им ничего не сделается, — сказала Капитолина. — Они построят за день мосток, а больше и знать ничего не знают. Пошли-и себе на рыбалку. Покуривают. А я в пятом часу встану, мне надо завтрак на всех сготовить, в лесу наравне с мужиками вкалываю на подхвате: подыми да брось, с работы все ноги за ногу тащатся, а я как настеганная бегу, с меня еще ужинать спросят...

— Вы не ругайтесь на Прокопа Парамоновича, — сказал Адольф. — Вы будете ругаться, и он будет ругаться. Все будет плохо. Не надо, чтобы плохо.

— Думаешь, не ругаться? Да как же его не материть-то, этого гада?

6

Прокоп приехал, но в избу не пошел, сначала пустил больших гусей на волю. Гуси потянули кверху шеи, клювы, будто привстали на цыпочки, замахали крыльями, побежали. Клетка с гусятами осталась стоять на земле.

Ее подхватила Шура, притиснула к животу, унесла на кухню. Гусят было шестеро, желто-зеленых. Пу-

стили их на пол к печи. Дали воды и пшена, а Шура помчалась рвать травку. Капитолина стояла над гусенятами, они пищали, быстро напачкали на полу. Рыжая кошка пришла на кухню на согнутых лапах, поместилась в одном прыжке от добычи, раздула усы... Капитолина схватила кошку за шкурку, поднесла близко к гусятam и ткнула ее носом в пол, приговаривая:

— Не смей, не смей, не смей.

Кошка шагнула к двери, там облизнулась.

— Ты не облизывайся, — сказала ей Шура. — Это папка не для тебя привез. Теги-теги-теги, — покликкала Шура гусенят и посыпала на них травку.

Прокоп долго еще не входил в избу, все рассупонивал, на окно не глядел.

Явился он с двумя мешками в руках, сгрузил их на пол. На лице его было выражение уставшего в хлопотах человека.

Дверь осталась открытой, в нее вошел длинный, навальный гул ненастного океана.

— Майонезу нет, — сказал Прокоп, — я и в ларьке, и в гастрономе спрашивал, не завозили...

Капитолина поглядела на Прокопа, но он наклонился развязать мешки. Она ничего не сказала мужу, еще не слетело первое слово. Она еще не знала, какое слово сказать, и все, что было бы дальше, началось бы с этого слова...

Прокоп дожидался, все хмурился, не глядел на вторую койку, хотя она упирала в глаза своим ржавым скелетом...

Адольф наклонился к стакану. Стрекотали клювами по пшену гусенята...

Шура вдруг выбежала из кухни, приластилась к Прокопу:

— Папка, каких ты гусей хороших привез. Я их буду на травку водить гулять, они травку любят.

Прокоп распрямился, сказал озабоченным голосом:

— Гуси не помешают. Они сами себя прокормят. За гуся я пятерку отдал, а за гусыню семь рублей. Цыплята все по полтиннику. — Он быстро взглянул на жену, и жена сказала ему свое первое слово после трех суток муки:

— Хотя гусей-то доvez...

Прокоп просветлел лицом:

— От дает — гусей... Я знаешь сколько с имя намутился. — Он вышел, явился без гимнастерки, в одной синей майке, прошелся с пятки на носок, заважничал, закурил папиросу.

— Я к вам за хлебом, — сказал Адольф, — вы мне покажите, где взять, я возьму и пойду, там Николай меня ждет.

— Ты сиди, — сказал Прокоп. — Сейчас мы с тобой выпьем немножко, а следом мужики едут, тогда уже по-настоящему гусей обмоем...

Капитолина быстро покидала на стол закуску, разворошила мешки, разрежала сыр на краяхи, споловинила куцые охотничьи колбаски, вспорола коробку сливового джема.

Прокоп опустил на главную лавку, руки его были сдобны и мускулисты, а клинышек кожи под шеей малинов.

— Ну что? — рассуждал Прокоп. — Как ни верти, а все же гуси. К празднику считай, что закуска своя на столе.

Капитолина глядела на мужа и думала, что могла бы ударить его, убить, уничтожить, и удивлялась себе, что сидит вместе с ним, не кричит. В груди у Капитолины становилось мягко и тало. Было ей легко, хорошо чувствовать, как качает избу океан. Свою избу. Со своим мужиком на заглавном застольном месте.

Занявши высшее свое место на земле, Прокоп полюбел, поважнел и насмешничал. Его заскорузшее сердце и тело теперь согревались и мякли. Он улыбался Шуре, но чувствовал слезы в глазах и во рту от вида тоненькой Шуриной шеи, от слабости и безгрешности детской жизни; перед ней он будто бы выходил виноватый.

Прокоп унял минутные слезы и спросил у дочки просто так, несерьезно:

— Что ж ты форели не наловила?

— Мы с мамкой картошку обрыли. Вот. А с Ленкой мы ходили туристов искали. Они заблудились.

Шура старалась, чтобы отец поверил в ее серьезные дни.

...Океан донесся в избу. Прокоп медленно оглянулся к нему и пошевелил скулами.

ШЕЛКОВИЦА

Фаина приехала на Кавказ в апреле. Не приехала, прилетела, конечно. Только немного она проехала на оленях. Двух олешков запрягли в нарту. Худые олени, весенние, шкуры у них облезли, дырявые стали. Пауты еще с осени отложили свое семя в олений мех. Личинки зимой отъелись оленьим мясом, стали белыми, жирными червяками. Летом новые пауты подымутся с баз, зажужжат, кинутся жалить давших им жизнь олешков.

Школьники после уроков выковыривают паутовые личинки из оленьих боков — да разве все выковыряешь? Олешки безропотно несут свою муку. Глаза у них печальные, туманно-лиловые.

Фаина ехала на оленях по заснеженной, занаставшей мари — из совхозного поселка Пал в районный центр Чоглики, в аэропорт. За каюра сел в нарту Тихон Нюргун, зоотехник совхоза. Глаза у него печальные, как у оленя. Перед отъездом у них с Фаиной был разговор.

— Фая, — сказал Нюргун, — давай поженимся. У меня заработок двести — двести пятьдесят. Хроленко нам дом построит как молодым специалистам. В отпуск на материк будем ездить, в Россию, в Сочи, куда захотим... Я водки ни грамма не буду пить, — обещал Тихон Фаине. — На свадьбу одно шампанское возьмем...

— Ну какой ты, Тихон, жених? — смеялась Фаина. — У тебя и усы не растут. Мне усаые нравятся.

— Это ничего не значит, — серьезно говорил Тихон. — Дело не в растительности на лице, а во внутренних качествах человека. Есть эвенки хотя и без усов,

а Герои Социалистического Труда, капитаны, ученые, есть профессора. Мне в Хабаровске предлагали диссертацию писать о содержании оленей в отелочный период...

Они ехали вдвоем с Тихоном на нарте. Тихон сзади сидел, с палкой-остолом, в темных очках. И Фаина тоже в темных очках. Наст сиял и лучился — весной без очков не проедешь по мари. Раньше можно было, а теперь нельзя. Местами виднелся погоревший кедровый стланик; вымытые дождями стволы и ветви его стали изжелта-белыми.

— Как все равно человеческие косточки, — сказала Фаина, не оборачиваясь к Тихону.

— Нефтеразведка зажгла, — сказал Тихон. — Наш народ себе этого никогда не позволит — баловаться с огнем.

— Да ну уж, прямо не позволит, — сказала Фаина. — Как сами-то не сгорят? Вчера Хроленко аванс выдавал пастухам — три тысячи выдано было. Сегодня я в магазин зашла к Тамаре, она говорит, две тысячи семьсот вчера же и принесли. Всю водку взяли и одеколон. Чем питаться-то будут месяц? Только на хлеб да на спички осталось.

— Мясо найдется, — сказал Тихон Нюргун. — Эвенк к морю сходит, нерпу добудет. Или сивуча. Мы все охотники — наш народ. Это русские без магазина жить не могут. Мы сами себя прокормим... Я еще худо-бедно за сезон десяток соболей добуду, — обещал он Фаине. — За шкуру двадцать пять рублей дают — первым сортом...

— Ой да уж не говори ты мне, Тихоня, про эту нерпу. Ее и собаки есть не хотят.

Так они спорили. Фаина дразнила Тихона. Он был эвенк. Природа не наделила его умением играть в слова. В его языке слова означали предметы, явления, действия сущего мира: землю, пищу, огонь, море, призыв на помощь, радость рождения человека. В слова никто не играл, как никто не играл с огнем и штормящим морем.

Фаина ехала в районный центр Чоглики, чтобы сесть в самолет и лететь на Кавказ. Тихон ехал с ней вместе, но был уже далеко позади. И поселок Пал с его новыми бревенчатыми домами, с мохнатыми ездовыми соба-

ками, с оленями, с буровой вышкой нефтеразведки, и белая ровная марь с костями кедрового стланика — все оставалось за спиной Фаины и пропадало, растаивало в солнечной дымке.

Ей исполнилось двадцать два года. Она работала фельдшером в совхозном медпункте. Родилась она в ста километрах от Пала, в порту Москальво, в сырой, туманный, ветреный день. Всегда туманно было, ветрено, сыро на острове. Островитяне болели радикулитом, кости ныли у них к непогоде. И у Фаины тоже заныли кости. Местком ей выдал путевку на кавказский курорт. Директор совхоза Хроленко разрешил оплатить дорогу. Он пригласил Фаину к себе в кабинет, напутствовал:

— Смотри за грузина замуж не выйди.

Фаина смеялась:

— Ну, прямо уж, больно-то он мне нужен...

Олени сбежали на лед залива Найво и припустили вовсю. Тут снег разметало ветром, дорога была ледяная. Навстречу неслась собачья упряжка: киномеханик вез в Пал новый фильм. Олени шарахнулись, страшно им стало. Всю зиму они бродили по тундре, совсем одичали. Нюргун затормозил, придержал нарту остолом...

— Ой, Тиша, это умора, — сказала Фаина, — Хроленко собрание проводил, обязательства к Первому мая принимали. Пастухи как приехали из стада, так все в шубах расселись. Морды загорелые, медные, как самовары блестят. Хроленко говорит: «Надо взять обязательство в честь Первого мая убить двух медведей, пять росомах». Иван Такнами, он ближе всех к Хроленко сидел, говорит: «Убить мозна, патроны нужна». Хроленко так и взвился: «Вам дай патронов, вы по гусям да по лебедям их расстреляете». Все молчат, ни гугу, а рожи хи-итрые. Просто умора.

— Такнами прошлый год путевку давали в Сочи, — сказал Нюргун, — в санаторий, от радикулита лечился. «Сильно жарко, — говорит. — Больше не поеду».

— Жары боятся, у кого холодная рыба кровь, — сказала Фаина. — У меня кровь горячая. Я жары не боюсь. Я знаешь себе какой купальный костюмчик сшила? По выкройке из журнала «Кобета». Трусики совсем коротенькие, одна полоска, и лифчик тоже, — Фаина дразнила Тихона.

Нюргун работал остолом, одерживал нарту. Олени шарахались от встречных упряжек, опрометью неслись. Все больше попадало навстречу собак и оленей. Сидели, склонившись над лунками, женщины в дохах — рыбачки. На льду валялась заскорузлая навага. Возле рыбачек гуртились малые ребяташки.

Сами не свои от страха, олени пронесли нарту по улице районного центра Чоглики; попалась навстречу машина, олени прыгнули в снежный отвал, завязли, запутались в постромках. Фаина не стала дожидать, пока Тихон распутает упряжку. Слышно было, как прогревает моторы, жужжит самолет. Фаина боялась, что не достанет билета, пустилась бегом, с чемоданом в руках. У самого трапа ее догнал Тихон Нюргун, его голос чуть слышался в реве:

— Фая, ты мне напиши...

— Ой, да я не знаю, когда еще долечу. Говорят, Хабаровск не принимает... — Фаина немножко жалела Тихона, всех жалела, кто оставался. Но жалость ее была беспечальна. Сердце Фаины прыгало зайцем в радости и тревоге. Первый раз в жизни она улетала на материк.

Самолет поднялся над заливом Найво. Рыбачки отрывали глаза от лунок и удочек, смотрели. Фаина жалела рыбачек, на льду лежало их бедное счастье: навага и камбалки-пятаки. Самолет накренился, дома поселка Чоглики внизу повалились, посыпались по крутому берегу склону, пропали — будто и не было ничего.

Последний снег Фаина увидела под Челябинском, на Урале, потом наступила весна, даже лето. Кавказ явился, как на журнальной картинке: цветы и солнце, и дымчато-синие горы, и смуглолицые усачи прогуливались, никуда не спеша. Над площадью аэропорта звучала песня, пел толстый, красивый, изнемогающий от полноты чувств баритон:

Пусть у нас в Ереване,
в нашем маленьком доме
будет много веселья,
будет много вина...

Слово «веселья» певец произносил без мягкого знака: «веселя». Фаина послушала песню и усмехнулась:

«Ничего себе веселье... Где много вина, там пьянство, а не веселье...»

До самолета на Кутаиси оставалось два часа, Фаина спросила дорогу к Черному морю, пошла. Одета она была по-северному: в вязаной кофте, в чулках. Плавленный, мягкий асфальт согревал ей подошвы. Теплый пахучий воздух казался густым, как кофе. Но это было снаружи; внутри Фаина еще не согрелась; душа ее не оттаяла, не позабыла стужу снегов, ледяного залива Найво.

Изредка попадались навстречу молодые мужчины в белых брюках. Фаина взглядывала на них, отмечала про себя: «Как в Рио-де-Жанейро». Над синей будкой фотографа динамик пел ту же песню, что в аэропорту:

Я хочу, чтобы ты
со мною рядом сидела
и горячей любовью
согревала меня...

Слово «любовью» баритон пел без мягкого знака — «любовю». «Ишь ты, замерз бедняжка, — подумала Фаина, — горячей любовью его надо согревать. Пожил бы неделю в чуме, в оленьем стаде, понял бы, что такое мороз...» Она вышла к Черному морю. Гладкое, смирное, сиреневато-серого цвета море чуть шебаршило о берег. Фаина подумала, что Охотское красивее. В Охотском море плавали льдины. Белые льдины в зеленом море. Охотское море шибало в берег, в морской пыли дрожала мокрая радуга.

Возле Черного моря на гальке лежала пара: парень и девушка. Они зажмурились, разлеглись, будто одни во всем свете, Адам и Ева. Парень был сильный, большой, загорелый и девушка тоже черная вся. Стыдного не было в их наготы, в откровенной близости. Двое лежали на берегу моря, нашли друг друга, соединились, стали единым целым — и хоть трава не расти.

Фаина украдкой взглядывала на них, отворачивалась и опять смотрела. Она подумала, что на острове можно жить в одиночку. Там люди разделены морозом, работой, толстой ватной одеждой. А на Кавказе нельзя.

На обратной дороге в аэропорту Фаину окликнул мужчина с усами:

— Дэвушка!

Фаина дернула плечом, прибавила шаг. Она подумала про мужчину: «Ишь, кот усатый. Тебя бы к нам в Пал, на буровую...»

В санатории Фаину поселили вместе с тремя женщинами. Одна приехала из Донецка, другая из Ярославля, третья из Москвы. Женщины говорили о спондилезах, радикулитах и невралгиях. Речи их были проникнуты опытом жизни. Они учили Фаину, что девушке тут нельзя никуда высовывать носу одной, грузины бродят вокруг, как шакалы. Фаина смеялась на эту бабью житейскую мудрость. Она говорила, что ей приходилось встречаться один на один с медведем и росмахой.

Фаина смотрела с балкона на ближние горы — веселые горы, зеленые горы: какие же там шакалы? Она не боялась пойти одна в эти горы, но ей не хотелось одной — для чего?

Курортная жизнь начиналась беседой с главным врачом санатория. Главврач сидел в большом кабинете в нейлоновой рубашке. Лицо его было мужественно, красиво, черты составляли изящно исполненный абрис: рисунок губ являлся естественным завершением линии подбородка, темные брови и лоб венчались гладким седым зачесом. Все скомпоновано было ваятелем, отчеканено мастером в облике главврача: узел галстука, плечи и шея...

Главврач сидел за столом в свободной позе, как генеральный директор фирмы. В его голосе звучали многознание человеческой природы и усталость от многознания.

— У нас в санатории семьсот человек, — говорил главврач вновь прибывшим больным. — Есть же на семьсот человек хотя бы один жулик? — Новички взглядывали друг другу в глаза, ища ответа. Главврач отвечал: — Конечно, есть. Достаточно одного. Правильно я говорю? — Новички завороченно глядели на главврача, на пастыря, патриарха... — Значит, надо будет все чемоданы сдать в камеру хранения, а все деньги в сберкассу...

— Я вас здесь не хочу агитировать против пьянства, — продолжал беседу главврач. — Вина у нас выпускают много. Вино продают везде. Я хочу вам сказать,

дорогие товарищи, что алкоголь убивает то, что дают больному ванны. Когда вы уедете от нас, вы можете там купить вина и выпить. Пожалуйста! Там у вас не спросят путевку. Вам так продадут.

— ...Мы даем вам, товарищи, вот эти бланки, — учил главный врач. — Вы заполните их, напишите станцию, куда вам ехать. Через десять дней вы получите билет... К нам приходят письма, товарищи, и телеграммы. Нас спрашивают, где мой муж, мой сын, моя жена. Бывают случаи, муж сообщает, что едет, допустим, в Харьков или в Ленинград, а сам оказывается в Баку. Или в Сухуми. Имейте в виду, товарищи, ваши заявки, эти бланки, все остаются здесь. И там написана станция назначения. И мы сообщаем жене, что муж уехал в Сухуми, а не в Москву. Правильно я говорю?..

На лицах у новичков воцарилось выражение доверчивого благодарного детства. Все закивали пастырю — главному врачу. Одна Фаина глядела во все глаза на этого человека, и было видно, что ей не к месту смешно.

Дома, в своей палате, Фаина смеялась, передразнивала главврача: «Правильно я говорю?» Соседи Фаины не одобряли ее легкомыслия.

— А и в самом деле, что же ты думаешь? — говорила соседка из Ярославля. — На семьсот человек он один — главный врач. Где же за всеми усмотришь? В каждом стаде найдется дурная овца...

В первые дни санаторной жизни Фаина не знала, куда себя деть. Но скоро втянулась, вошла в распорядок, режим. Утром она бежала на ванны, потом — массаж, ультразвук, лечебная физкультура. Днем всей палатой ходили на рынок — за огурцами, черешней. Вечером шли в кинозал.

— Вано, какое сегодня кино? — спрашивала Фаина у культработника.

Культработник Вано ходил в белых брюках, в замшевых туфлях: высокий, с тонкой талией, с широко развернутыми плечами, матово смуглый, редко улыбающийся, серьезный, в темных очках.

— Афишу, слушай, читай, — отвечал культработник Фаине. Он глядел на нее издалека, с горных высот. Фаина дразнила его:

— Вано, а Вано, какое у нас кино?

Культработник не принимал этих шуток. В слова он играть не умел.

Фаине нравился ленинградский парень, простой, добродушный на вид, долговязый. Его звали Виктор. Он играл в волейбол, огребал все мячи своими длинными граблями. Улыбался он хорошо, загар не приставал к его белой коже, весь он сделался розовый от солнца. И Фаина тоже обгорела; хоть заклеивала нос бумажкой, нос облупился, и щеки, и лоб.

По утрам Виктор делал зарядку на лугу, под деревом шелковицы, облитым текущей молочной ягодой. Фаина глядела на него из окна своей палаты. Ей хотелось попрыгать с ним вместе под шелковицей.

Однажды они поехали на экскурсию в Кутаиси. Фаине хотелось, чтобы Виктор увидел ее наконец. Но он смотрел на сидевшую впереди красотку. Колени красотики далеко выставлялись из-под короткой юбки. Колени торчали, как дула пушек, в них заключалась опасность, угроза. Женщины отворачивались, возмущенно роптали. На лицах мужчин проступила бессмысленная мечтательность. Виктор тоже, как все, глядел на красотку, мечтал.

В нагорном парке над городом Кутаиси Фаина приблизилась к Виктору и спросила:

— Вы не знаете, что это такое растет?

Что-то росло на газоне большое, мясисто-зеленое.

— Это укроп, — сказал Виктор и улыбнулся.

Фаине сразу сделалось просто с ним, хорошо.

— Сам ты укроп, — сказала она.

— А ты клюквина, — сказал Виктор.

Они пошли рядом, даже один раз коснулись друг друга. Фаине хотелось взять Виктора под руку. Она чувствовала себя частицей в напряженном магнитном поле. Нужно было сомкнуться, соединиться с целым. На севере можно жить в одиночку. На юге нельзя.

— Виктор! — позвала идущая впереди девица в короткой юбке.

Он заторопился, беспомощно улыбнулся Фаине. После Фаина видела: он повел ее в ресторан на горе, над городом Кутаиси. Или она его повела. «Как телок несамостоятельный», — думала Фаина.

Соседки Фаины по комнате добрали день ото дня. Они играли в карты с Семенычем, Павлом Ивановичем и Сережей — шахтерами из Донбасса. Семеныч заведовал складом взрывчатки на шахте. Он говорил Фаине:

— Шо ты журышься сама да сама, така гарна дивчина? Мы тебе найкращих хлопців сосватаем, вон Хведька на корню сохнеть, природный шахтер, даеь стране угля, хоть мелкого, но дюже много...

Хведька приходил вместе с Семенычем, Павлом Ивановичем и Сережей. Он был огромный, добродушный, лысоватый мужчина лет тридцати пяти, от него пахло вином, он рассказывал, как гуляли вчера с дружками. Дружки его были местные люди. Вино они содержали в глиняных чанах, зарытых в землю. Резали баранов и жарили шашлыки. Нос у Хведьки был сизый.

— Для чего вы сюда приехали? — говорила Хведьке Фаина. — Ведь вам сказал главный врач, что алкоголь сводит на нет действие радоновых ванн. Сидели бы дома и пили бы на здоровье, сколько ваша душенька желает.

Хведька разводил руками:

— Та у меня у самого дома тридцать лоз винограду. Я надавлю вина — пей, не хочу... Так дома ж не то...

Соседки Фаины ходили в горы гулять — с Семенычем, Павлом Ивановичем и Сережей. На лицах их теплился южный загар и румянец, блестели глаза. И появлялись у них секреты, соседки шептались. Фаина вовсе отъединилась от них. Перестала даже ходить на лечебную физкультуру.

Физкультурой руководил Шалико. Он стоял на помосте, с усами, в белом халате и колпаке, командовал:

— Раз, два, тры...

Двадцать женщин сидели в ванне, в мелководном бассейне, в чуть теплой воде.

— Раз, два, тры, — командовал Шалико. — Дэлаем вэласыпэт — раз, два, тры... Быстро едем. Асса! Асса!

Женщины, словно белые рыбы на нересте, тяжело плюхали в мутной воде, не сводили глаз с капитана на мостике.

— Асса! Асса! — весело покрикивал капитан.

Всего только раз сходила Фаина на эту лечебную физкультуру. Ей показалось нескромным сидеть нагишом под взглядом нестарого усатого мужчины. Когда он

впервые взошел на мостик, Фаина сжалась вся, погрузилась в мелкую воду.

— Дэвушка! Пачему нэ дэлаешь упражнение? — спрашивал ее инструктор лечебной физкультуры.

Она глядела на него затравленно, злобно, как попавший в капкан песец. И он отвязался, не приставал.

— Тоже мне жук нашелся, местечко себе подобрал, — кипятилась Фаина дома, перед своими соседками.

Соседки не соглашались.

— У нас в районной поликлинике участковый врач мужчина, — говорила соседка из Москвы, — так его и за мужчину не считаешь, когда на прием попадешь.

Ей вторила соседка из Ярославля:

— Ты и сама же, Фая, медичка. Уколы же ты делаешь мужикам в ягодицу. Им, что же, и близко тебя к себе не подпускать? По-твоему так выходит...

— Лишь бы здоровью на пользу, — говорила донецкая тетя, — а там хоть мужик, хоть черт рогатый меня лечи...

Не соглашались соседки с Фаиной, укладывали полотенца в полиэтиленовые мешки, бежали в бассейн на лечебную физкультуру.

Фаина оставалась в палате одна, садилась писать письмо на остров. Она писала Тихону Нюргуну, что ванны здесь хорошие, калеки приезжают на костылях, после бегают на танцы. На рынке полно редиски, огурцов, клубники, черешни, и дешево. Ягода шелковица растет на деревьях, никто ее не берет...

Фаина писала Тихону, что соскучилась по острову и удивляется тем, кто живет постоянно на юге — без снега и без зимы. Солнце так шпарит, что, кажется, можно растаять, растечься...

Письмо получилось длинным, но дописать его до конца Фаине что-то мешало. Она прятала недописанное письмо в тумбочку.

В санатории все прижились, притерлись друг к дружке. Стучали с утра до вечера в домино. Часами немо простаивали над игроками в шахматы, глазели в парке на черных лебедей, фотографировались, взвешивались, парочки уходили в горы, компании — в шашлычную, по-

жилые люди на рынок, а молодых почти что и не было в санатории. Фаина — самая молодая. Да Виктор...

Еще один был молодой — Коваленко, мастер спорта по вольной борьбе. Но он держался особняком. Даже к завтраку выходил в темном костюме, с галстуком, в начищенных черных ботинках. Причесывался Коваленко на косой пробор, волосы его были цвета воронова крыла, баки немного не достигали углов мужского твердого рта. Над верхней губой чернела, будто выдавленная из тюбика, каемка усов. Большие темные глаза Коваленко были обращены вовнутрь, его не занимало мельтешение внешней жизни. Плечи его и торс являли эллинское спокойствие, мрамор.

Он жил вместе с экономистом из Петрозаводска. Экономист представлял собой антипод Коваленко. Физическое, телесное бытие в нем словно угасло, голова полыхала, кожа поблекла, загар к ней не приставал. Экономист непрестанно что-то рассказывал соседу. Фаина сидела в столовой неподалеку от их стола. До нее доносились слова: «рентабельность», «производительность», «кооперирование», «реформа», «стимул». Коваленко не произносил в ответ ни звука, лицо его не выражало какого-либо внимания к говорящему. Однако он уходил из столовой вместе с соседом, они прогуливались под пальмами по санаторным аллеям. Сосед Коваленко все продолжал говорить, размахивал при этом руками.

Фаина видела Коваленко только в столовой, больше нигде он не появлялся, ни с кем компанию не водил. Соседки Фаины узнали от Семеныча, что Коваленко работает машинистом угольного комбайна, дает стране угля, на весь Донбасс гремит его слава, и грошей он загребает — хоть тачкой вози.

— Это надо же, — восхищались соседки, — еще к тому же и спортсмен, и такой красавец, на мексиканца похож, сомбреро ему не хватает. Только был бы чуть-чуть попроще, нельзя уж так-то...

Фаина разглядывала Коваленко во время завтрака, ужина и обеда. Ее любопытство к этому человеку было такого же свойства, как, скажем, к высокой кавказской горе. Она любовалась Коваленко и сознавала свою несоизмерную малость перед ним...

Текла с деревьев молочная, сладкая ягода шелковица. На рынке появились вишни и абрикосы. В санатории все собирались домой, получали билеты, покупали эвкалиптовые веники, чтобы дома лечиться от гриппа и бронхита. Фаина думала: надо отправить письмо на остров, а то оно не дойдет до ее возвращения. Тихон заждался ее письма. Но что, что ему написать? По временам Фаина чувствовала на себе вопрошающий, сосредоточенный, тоскующий взгляд Тихона Нюргуна. Она вспоминала, как он говорил ей: «Фая, я очень тебя люблю. Давай поженимся». Фаина думала, что только один человек на свете понимает и любит ее — Тихон. Отца своего Фаина не знала. Он уехал на материк и сгинул. Мать померла...

«Возвратиться на остров, — говорила себе Фаина, — значит выйти замуж за Тихона... А так — зачем возвращаться? Можно устроиться на материке. Не на Кавказе, конечно. Ну вот хотя бы в Донбассе».

Однажды на танцах к ней подошел Коваленко:

— Разрешите вас пригласить.

Фаина шагнула ему навстречу, привстала на цыпочки. «Ах, зря не надела туфли на каблуках», — подумалось ей. Плечо Коваленко было каменно-твердо. Фаина почувствовала, как натянулась материя пиджака. Вначале он не пустил ее близко к себе, танцевал церемонно, как в старину, на балах. Играли вальс. Фаина кружилась, чувствуя силу рук своего кавалера и скромность его, благородство. Она упрекала себя, что не оделась как следует в этот вечер. Но кто же мог знать?

После вальса играли танго. Коваленко приблизил Фаину к себе, она ему помогла. Сумеречные глаза Коваленко мягко блеснули. Подбородок его был массивен, раздвоен, как у киногероев. От Коваленко пахло вином.

— Где же ваш сосед? — спросила Фаина, лукаво кося глазами.

— Уехал, — сказал Коваленко. — Вот проводил я его, выпили бутылку вина. Он-то, правда, непьющий и некурящий. Так что мне пришлось одному... — Говоря, Коваленко как будто смущался, и голос его был неожиданно юношеский, свежий, как весенний ручей.

— Вы всегда жертвуете собой ради своего ближнего? — спросила Фаина.

Коваленко засмеялся. Веселый он был в этот вечер. Совсем другой человек.

— Ну какие жертвы? Я вольной борьбой занимаюсь. В нашем спорте надо ближнего гнуть, давить, ломать ему шею...

Они танцевали теперь совсем близко друг к другу. Тут затейник Ваню объявил викторину.

— Пойдем подышим, — сказал Коваленко.

— Пойдем. Только я к себе забегу на минуточку, соседки меня будут ждать.

Соседки ее не ждали. Соседок не было дома. Фаина быстро надела туфли на каблуках, нарисовала глаза, осмотрела себя всю в маленькое настенное зеркальце. Чемодан она сдала в камеру хранения, там лежало ее лучшее платье, сшитое для Кавказа. «Черт бы их всех побрал с их порядками, — бранилась Фаина. — Придумали тоже вещи сдавать. Что ли, уж тут вор на воре?» Она простучала каблуками по лестнице. Коваленко ее поджидал у подъезда. Она взяла его под руку и отметила с радостью, что теперь достигает ему до уха — высокая, стройная девушка.

Они гуляли по парку, звучал динамик, истомно пел баритон: «Я хочу, чтоб у нас, в нашем маленьком доме, было много веселья, было много вина». Фаине вдруг понравилась эта глупая песня: «А что, в самом деле, завести бы свой маленький дом и в нем бы много-много друзей, и вино, и веселье...»

Коваленко привел ее в ресторан. Фаине понравилось в ресторане. Она позабыла, что именно тут алкоголь убивает целебные свойства радона. Им принесли много луку, редиски, петрушки, и огурцов, и вкусного сыру сулгуни. Коваленко налил в фужер коньяку и поджег. Он жарил сулгуни на синем коньячном огне.

Коваленко звали Валера.

В ресторане сидел долговязый Виктор с девицей в короткой юбке. Она смотрела на Коваленко, а Виктор взглядывал на Фаину. Фаина думала, как он жалеет теперь, что не понял ее, не оценил. Валера понял, потому что он настоящий, все другие мельче, не то...

Они танцевали с Валерой, певица, немолодая уже, с широкими голыми плечами, подымала руки над головой, пела цыганские песни: «Ла-ла-ла, ла-ла-ла...» Музыканты улыбались Фаине. Усатый скрипач, похожий на инструктора физкультуры Шалико, выходил к краю эстрады, склонялся, играл специально для них, для

Валеры с Фаиной. Фаине нравился этот добрый, уса-
тый кавказский скрипач.

Потом они вышли из ресторана в густую теплую чер-
ноту. Всюду просверкивали, мигали зеленоватые свет-
ляки. Фаина рассказывала Валере, как однажды зимою
на буровой рабочего обдало глиняным раствором, он об-
морозился весь. Она снимала с него сапоги, он плакал
от боли. Еще она рассказала, как принимала роды в
оленьем стаде, в чуме, на шкуре, при свете костра. Один
раз она заблудилась с собачьей упряжкой, в буран. Ее
нашел Тихон Нюргун, зоотехник, а то бы она погибла.
Такой славный парень — Тихон, Тихоня, эвенк...

Валера тоже рассказывал кое-что из шахтерской
жизни, но больше слушал Фаину. Он поднимал ее на
руки, нес, целовал.

Утром Фаина пела цыганские песни: ла-ла-ла, ла-
ла-ла.

Соседки ее шутили:

— Ишь распелась... Как подменили девку... Сразу
видно, рыбачка настоящая: пескарей не брала, карася
отхватила... Карась-то карась, да жаль, окольцованный,
с обручальным колечком...

— Ну и что? — храбрилась Фаина. — Не в колечке
дело, а в человеке...

Она сбегала на физкультуру. В этот раз ей понравил-
ся Шалико — такой симпатичный усатик. Он добродушно
покрикивал: «Асса! Асса!» Конечно, Фаина думала
о кольце на безымянном пальце Валеры. И успокаивала
себя: «Мало ли что! Значит, они не любят друг друга...»

Она принесла из камеры чемодан, погладила свое
лучшее платье, внимательно, при дневном свете рас-
смотрела себя в зеркало. Простучала каблуками по лест-
нице. Внизу ее ждал Коваленко. Они взялись за руки,
прошли сквозь гуляющую у подъезда публику.

Задумавшиеся шахматисты прерывали работу мысли,
спрашивали у своих болельщиков:

— Кто это с Коваленко?

— Да Файка из пятьдесят шестого номера.

— Ну и ну! — удивлялись шахматисты. — Такая была
козявка. Откуда это взялось? Намазалась. Вырядилась.

— Куда с добром! — восхищались болельщики. —
Высший класс девочка!

...Они спустились к наполненной урчащими лягуш-

ками речке, перешли через мост и стали подыматься в гору. Все мужчины их провожали мечтательным взглядом. Женщины тоже глядели и отворачивались.

Солнце не поднялось еще в зенит, не раскалилось, не высушило росу. Гора зеленела. Двое медленно шли по зеленому склону горы, отчетливо видимые в свете встречного солнца.

Они поднялись к вершине и постояли там. Кругом простирались горы. Будто море вздыбилось ураганом. Ураган внезапно затих. Зеленые, синие волны остановились, согрелись на солнце.

Фаина поглядела вниз на свой санаторий. Он был маленький, грудка белых камней.

— Господи, — сказала Фаина. — Мы там внизу суе-тимся, толкаем друг друга локтями и даже не знаем, что это бывает на свете — горы. Господи! Как мне здесь хорошо! — Она смотрела на горы, потом повернулась к Валере. — Ты мне открыл эти горы. — Глаза ее были влажны, подернулись росой.

Они пошли дальше по дороге. Им попался навстречу мальчик в белой рубашке, с школьным ранцем за плечами, в коротких штанишках, с красным галстуком на тонкой смуглой шее. Ноги мальчика солнце облило гла-зурью. Глаза его были как спелые тутовые ягоды.

— Куда держим путь? — спросил мальчик. Он обра-тился к прохожим, как взрослый к детям, как старожил к чужестранцам: «Куда держим путь?» В голосе его слы-шались доброта, привет и достоинство горного человека.

— В горы, — сказала Фаина.

— Хорошее дело, — сказал горский мальчик.

Он отошел немного и помахал рукой.

Будто хозяин гор выслал навстречу гостям этого мальчика, принца. Принц отпер ворота.

Фаина с Валерой гуляли в горах. Трава на полянах была шелковиста, мягка. Ягода шелковица свежила и охлаждала им губы.

Они смотрели в глаза друг другу. Фаина спрашивала:

— Куда мы с тобой держим путь?

Он отвечал ей:

— В горы!

Она смеялась и вскрикивала по-птичьи звонко:

— Хорошее дело! Хорошее дело!

...Они вернулись под вечер, низкое солнце светило им в лица, окрасило гору в шафранный цвет. Санаторный люд отобедал уже, отоспал в мертвый час и дышал вольным воздухом.

— Нагулялись? — спросил Фаину и Коваленко Семеныч, завскладом взрывчатки на шахте.

Коваленко медленно посмотрел на него, не увидел.

— Нет, — сказала Фаина и вздернула подбородок. — Не нагулялись. Еще пойдем. Хорошее дело.

— Ну, ну, — сказал Семеныч. — Туризм — лучший отдых.

Назавтра они опять ушли по зеленой горе к перевалу. Под вечер их дожидались. Они спустились в шафранном свете низкого солнца. Так было три дня. На четвертый Валера уехал.

Фаина его проводила в аэропорт. Он уходил к самолету, оборачивался, махал рукой. Она стояла у края поля, и слезы текли по ее лицу, как ягода шелковица.

Она вернулась домой, легла, повернулась к стене лицом. Соседки не трогали ее, разговаривали шепотом.

Утром Фаина надела юбку и кофту, туфли без каблучков. Соседки сказали ей:

— Фая, ты будто на десять лет повзрослела.

И правда, Фаине казалось, что долго-долго она живет под этим пекучим солнцем. Солнце ее обожгло, как глиняную пилу в печи. Она стала твердой и хрупкой. Там, высоко на горе, солнце двигалось медленно, долго. Минута равнялась часу, три дня — целой жизни. Фаина спустилась оттуда — будто жизнь прожила.

Когда соседки ушли на ванны, Фаина достала письмо Тихону Нюргуну, дописала его: «Тиша, я скоро приеду к тебе. Фаина». Заклеила конверт. Снесла письмо в ящик.

Вечером накануне отъезда она купила много-много вина — три бутылки, сыру сулгуни, петрушки, луку, редиски и огурцов. Она сказала соседкам, что надо справить отвальную. Соседки корили ее за транжирство, но было видно, как им охота попить. На пир пригласили Семеныча, Павла Ивановича, Сережу и Хведьку.

Проводили Фаину на славу, как следует быть.

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

Клементьев летел домой в июле. Три с половиной месяца он плавал в самых дальних морях, под Аляской, в Бристольском заливе на большом морозильном траулере «Колхида». Его послала туда газета. БМРТ перевыполнил план добычи морского окуня и минтая. Клементьев сообщил об этом в свою газету: «Перешагнул сотысячный рубеж...»

Жены встречали «Колхиду» в Невельске. Они приехали из других городов, «с материка». Портовый город Невельск притиснут сопками к Японскому морю. Дома тут стоят в один рядок.

Клементьев летел домой над Татарским проливом, потом над Амуром. Амур разлегся внизу иссиня-черным удавом на сочно-зеленой земле. Он не имел головы и хвоста, не скудел и не распрямлялся. Только вил свои петли и взблескивал чешуей. Не убывало зеленой, сплошной, ненарушенной жизни — тайги. Клементьеву вспоминались словечки: «женьшень, хуа-лу, удэге, Дерсу Узала...» Он смотрел на непочатую дебрь и радостно волновался...

Этот рев, этот ад, этот лезущий по бортам на палубу лед, который нужно рубить, и рубить, и рубить, а он все лезет, — эта океанская жизнь оставляла Клементьева. Он освобождался от нее. Земля предстояла ему. Можно кинуть тело в траву и лежать.

Пилот летел, как бы играя со встречными облачками. Они попадались поодиночке, не закрывали ни солнце, ни землю, как клочья чистой небесной пены. Он их

облетал стороной, только чиркали кончики крыльев по облачной плоти, хрустели, как по песку...

Клементьев смотрел на тайгу и небо, но видел также перед собой, в наклоненном к нему кресле, девушку; струйка из вентилятора относил к нему ее мягкие, светлые волосы. Он брался за поручень кресла, сердце всплывало кверху кухтылем. Он говорил себе:

«Тихо, тихонечко! Нужно быть выше вагонного флирта».

...Он видел руку девушки, узенькое запястье и золотое колечко на безымянном пальце. И эта рука, ее тонкость, слабость, вызывала в нем чувство силы и мужества. Клементьев отваливал кресло назад, чтобы остаться независимым, но локоток торчал перед ним, белелось голое тело — шея...

«Их надо всех заточить в кителя со стоячими воротниками, — говорил себе Клементьев. — И закутывать в башлыки. Это нам не по силам — смотреть на голую женскую шею. Мы отвыкли в морях... Нам надо сначала втянуться... Тихонько, тихонько! — шептал Клементьев. — Ты рассуждаешь, как Позднышев в «Крейцеровой сонате». Возьми себя в руки. Ты старый, насквозь просоленный морской волк. Ты дал стране сто тысяч центнеров окуня и минтая... Страна перемелет отходы в муку и зароеет мучицу в землю. Земля станет тучной и народит бураков, баклажанов и рису... На Дальнем Востоке же должен быть рис... Но кому это надо, — подумал Клементьев, — возить удобрение за тысячи миль, из-под самой Аляски?.. Спокойно, — сказал он себе, — пускай наливаются соками соя и рис! Тихо!.. Ты скатываешься в своих рассуждениях на уровень Коли Баглова...»

После восьми дней шторма, когда потонул СРТ «Яндеба», не оставив по себе ни дощечки, когда «Колхида» обледенела до клотика, накренилась и не было сил рубиться со льдом в кромешной, свистящей неразберихе, когда гребень волны достиг капитанского мостика, выхлестнул стекло и кинул осколки в лицо капитану, когда капитан Козырных умылся кровью, утерся и остался стоять, когда шла обыденная неделя экспедиции, — к помполиту пришел матросик Коля Баглов. Он был, конечно, бледен и желт, совершенно замотан, он всю неделю травил, и больше ему было нечем травить.

Он протянул помполиту бумажку. Тот прочитал и дал прочесть Клементьеву. Клементьев жил в помполитской каюте. На бумажке наставлены были порознь несчастные, валкие буквы: «Прошу списать меня с судна при первой возможности, потому что я очень хочу домой».

«Я тоже очень хочу домой», — подумал тогда Клементьев, но ничего не сказал помполиту.

— И кэп хочет. И чиф хочет. И дед хочет. Мы все хотим, — сказал помполит.

— У меня мама больная, — сказал Коля Баглов. — Я у нее один сын. За ней ухаживать надо. Отпустите меня, а? Что толку, что мы тут селедки наловим? Она вся тощая. Ее в магазине никто не берет. А минтая хоть кошке кидай, она жрать не станет...

— Ты сколько лет ходишь в моря? — спросил помполит.

— Я первый раз, — сказал Коля. — Теперь я понял, что море не для меня. Здесь только все мозги разбалтывает, потом в них ни одна мысль удержаться не сможет. Я из города Камня приехал, Алтайского края. Я там одиннадцать классов закончил, хотел в мореходное поступать, в Ленинграде учиться. А там не принимают без плавстажа. Вот я поехал на Сахалин. Год околичивался в Невельске, пока взяли на судно...

— Качка на меня, знаешь, тоже паршиво действует, — сказал помполит. — Как восемь баллов задует, так меня уже тянет травить. Мы с тобой, Коля, в этом смысле коллеги. Зато гляди, какой у нас капитан молодец. Ему лицо все располосовало стеклом, а он не ушел с мостика...

— А чего он Ванду у Леша Спирина увел? — сказал Коля Баглов. — Ему просто, он капитан, у него каюта две комнаты. А Леша с Вандой дружили, он ей расписаться предлагал. Он все равно, когда вернемся в Невельск, капитану устроит... Такие вещи нельзя прощать...

— Он сгущает краски, твой Леша, — сказал помполит. — Ты подожди, не спеши выносить свои резолюции по этому делу. Хорошо? Договорились? Тебе сколько лет?

— Девятнадцать.

— Так вот, я тебя, Коля, очень прошу, как старший товарищ младшего, как помощник капитана по политической части: давай мы с тобой дотянем до конца экспедиции. Придем в Невельск, высадимся на твердую землю — и тогда решим, ходить нам в моря или же не огорчать больше маму. Я тебя очень прошу. Ты это учти. Капитан тебя может списать. Он не терпит хлюпиков в море. Но отвечать за тебя придется мне. Мне накрутят хвост за слабое морально-политическое состояние экипажа. Я схлопочу себе выговор. А у меня тоже мама болеет. Вот так. Держи, Коля, моего краба, и давай никому не скажем ни слова о нашем свидании с глазу на глаз. Я могу на тебя положиться?

— Можете, — промычал Коля Баглов. И забрал со стола свое заявление.

В Невельске на причале, уже немножко навеселе, Коля долго жал помполиту руку и говорил:

— Спасибо, что вы помогли мне справиться со слабостью. Я никогда бы не смог себя уважать, если бы покинул судно в тяжелой ледовой обстановке. Вы настоящий комиссар. Я думал, что теперь комиссаров не может быть, что главное — материальный стимул, хозрасчет и прочее. А вы — комиссар.

...Память возвращала Клементьева на борт корабля. Он тянул наравне с командой сети, орудовал на рыбоделе ножом. За неумелость получал матюга, уставал, в его руки вживались чешуйки, а кожу свербило от соли. Когда «Колхиду» болтало штормом, он маялся в галюне. Его кидало и било о стенки. Тягучая, серая, смертная тоска перехватывала ему горло, мозг и душу. Он думал, что это неправда — морское счастье, что море противно его природе, что он занимается самоубийством. Он плакал и даже тихонько рычал, но за железной дверью это было не слышно...

Океан затихал, горизонт расцветал космическим спектром. Клементьев уходил в корму и вглядывался в сосредоточенную, подвижную океанскую жизнь. Она была другая, чем жизнь на земле, у людей. Она сулила прозрение, радость. Клементьев себе говорил, что никогда не расстанется с этой единственно стоящей жизнью — с могучим, прекрасным, огромным — с великой свежестью океана. В карманном блокноте у него было

написано и жирно обведено изречение Эврипида: «Море смывает грязь и ложь мира».

Море было неподалеку от города, в котором Клементьев родился. Еще в школьные годы он где-то прочел и запомнил эту мысль древнегреческого мудреца.

Корреспондент центральной газеты, он возвращался теперь из экспедиции в Берингово море домой. Перед ним, погруженная в кресло, сидела девушка с легкими волосами. Он нажимал рычажок, и кресло подавалось вперед, подталкивало его ближе к девушке. Она знала об этом и чуть-чуть поворачивала к нему лицо, он видел уголок рта, и ресницы, и простенький, вовсе не строгий нос... Но сказать этой девушке нельзя было ничего, потому что урчал двумя моторами ИЛ-14. Клементьев глядел на часы, торопил бесполезное время...

«Мы ведь живые люди, — говорил он себе. — Живые люди».

Так говорил капитан Козырнов. После швартовки в Невельске к нему в салон явились корреспонденты газет. «Колхида» первой переступила стотысячный рубеж. Буфетчица Ванда носила из камбуза яства: селедку, борщ и котлеты. Ей помогала горничная Светлана. Гладко причесанный малый с косым пробором, корреспондент, подмигнул Клементьеву. Он принимал его за помощника капитана: «Вы девочек всех подобрали себе первым сортом. У вас помполиту смотри да смотри».

Клементьев тоже в ответ подмигнул, дескать как же иначе! Но Козырнов остался серьезным. Он не оттаял еще, не расстался с ревушим морем Беринга. Гонялся за рыбой и слушал машину, кряхтенье корпуса судна, вздымал свое судно носом к волне. Он не хотел расставаться с вахтой, хрипнувший его голос прозвучал, как на радиоперекличке, издаেকে:

— Мы живые люди, — сказал капитан. — Нас надо понять.

Хотя «Колхида» была достойна триумфа, Козырнов обратился к притихшим гостям с не праздничной речью.

— Почему моряку не строят жилье в порту приписки? — сказал капитан. — Почему я в следующий рейс должен набирать толпу бичей, вправлять им полгода мозги, а потом растерять и все начинать сначала? У меня в экипаже нет на сегодняшний день ни труса, ни захребетника. Почему я должен менять экипаж на следующий

рейс? Сейчас моряки получают свою длинную монету и все исчезнут, самоуничтожатся. Они полгода не виделись с женщинами. Семей у них нет, потому что в Невельске негде прижиться семейному человеку. Скажите, куда моряку податься, когда он вернулся из экспедиции?..

Клементьеву нравился капитан Козырнов. Кэпу было двадцать семь лет, а Клементьеву двадцать девять. Они жили три с половиной месяца в соседних каютах, за переборкой. Но капитан ненадолго спускался к себе в каюту. Его главная жизнь совершалась на мостике, наверху. Клементьеву было неловко туда соваться.

Однажды Козырнов пришел после вахты к своему первому помощнику, к помполиту, сел, не снимая фуражки. Под озябшей кожей на скулах у капитана работали шатуны. Подергивались веки. Он выругался в бога, в душу и сказал:

— Флагман бухтит, чтобы держались веста, а там «Саратов» утюжит. Там, после Гриши Чуднова, и кошке на именины не возмешь. Галсами надо шастать, от веста к норду, даже норд-осту. Там должен окунь быть...

— Так давай шастать галсами, — сказал первый помощник.

— Тогда придется забыть, что Попов изобрел радио, радиорубку задраить, антенну срубить. Флагмана перебаять у меня голосовых связей не хватит...

Клементьев встретился с прищуренным, остро сфокусированным капитанским взглядом.

— Илья Трофимыч, — сказал помполит, — на судне идут разговоры про тебя и про Ванду...

— Ах, разговоры! Так разговаривайте! Это ваша профессия ласы точить. А мне — дело делать. Мне — план выполнять. Коробку держать на плаву... На «Яндебе» тоже был помполит разговорчивый парень. Сейчас он тихонький лежит в коралловой роще. С кальмарами ищет общий язык. — В голосе капитана слышалась ярость, хотя говорил он негромко. — Ты меня не тронь, помполит. Я нервный. Меня по восемь месяцев держат в морях. Подержат — да потом еще прибавят. Я — живой человек. Я двенадцать лет плаваю. Из них считай что семь лет в глаза не видывал женщины. Ты знаешь, какое количество женской ласки получает за семь лет молодой, полнокровный мужчина на берегу? А у меня за плечами семь лет абсолютного монашества. Ты, помполит, — са-

лага! Ты после экспедиции спишешься и уйдешь на руководящую работу. В кабинете мошь кормить. А я отдаю мою жизнь, рискую — мне нужна плата за страх. И Ван-да у меня или Тында — это я сам для себя решу. Ты понял? ..

Капитан шагнул плечом вперед к двери, но первый помощник опередил его, повернул дверную защелку. Козырнов засунул руки в карманы штормовки, прислонился к стене плечом, хмыкнул...

— Не будем хлопать дверями, Илья Трофимович, — сказал помполит. — Бога ради не торопись. Я тебя ни воспитывать, ни учить, ни стращать не могу и не буду. Но мне очень хотелось бы, чтобы у нас на «Колхиде» все было чисто. Ты понимаешь? Чтобы чистые руки. Чтобы без зависти к капитанской власти — на одном человеческом достоинстве. И без блуда... Ты пойми меня, Илья Трофимыч, никакой я не моралист. Но в мужской компании ведь не любят блуда, не уважают блудников. Потреться об этом любят, а на самом деле вовсе не так все просто. Можно с женщиной жить, хотя бы короткое время, но чтобы на равных, открыто, чтобы любовь, а не просто физическая потребность. Пользоваться своим правом хозяина на корабле — это нечисто. Люди измотаны все до предела. Нужно людей щадить... Второй механик Леша Спирин обещал жениться на буфетнице. Все же знают...

— Знаешь что, помполит, — сказал капитан Козырнов, — иди ты... — Он высказался — без смысла, только для звука, для облегчения сердца... И будто повеселел.

Клементьев сидел на краю своей койки, ему очень хотелось, чтобы ссора скорее погасла и наступило согласие.

— Мне очень хреново бывает, Илья Трофимыч, — говорил первый помощник. — Я не моряк. Когда я гляжу на тебя, мне становится легче...

Козырнов кинул на стол фуражку, присел...

— Я тебя очень прошу, Илья Трофимыч, давай дотерпим. Тебе будет лучше потом, на причале, когда тебя встретит жена. А команде будет лучше здесь, в Бристоле...

Капитан ничего не сказал больше в тот раз. Он ушел. И не здоровался с первым помощником до Невельского причала...

В какое-то утро, еще до рассвета, Клементьев проснулся от слабого стука в дверь. Вошла горничная Светлана и сказала, что хочет прибраться в каюте. Первый помощник ушел на мостик. Клементьев впустил Светлану и лег. Она повозила немножко по полу шваброй, села к нему на постель и вздохнула:

— Фух, посидеть хоть минутку... А вы зачем, Станислав Николаевич, на палубу ходите работать? Ведь вы же корреспондент...

Клементьев еще не проснулся, он не хотел просыпаться...

— Для меня так все люди делятся на хороших и на плохих, — сказала Светлана. Она помолчала, ждала, что ответит ей Клементьев, но он не ответил. — Во Владивостоке у меня есть Петя, знакомый, — сказала Светлана, — он на жирафе плавает. Это так рефрижератор зовут — жирафа... Он в Японию плавал и мне оттуда свитер привез. Он хороший человек. А вот старпом у нас — я вчера только вымыла коридор, только подтерла, а он в сапожищах, всю грязь, что есть, обобрал и топает, наследил как свинья... А мне опять подтирай. Таких людей я не понимаю. Хороший человек этого себе никогда не позволит...

Клементьев молчал.

— Вот вы хороший человек, Станислав Николаевич, — сказала Светлана и подождала опять.

— Ты не спеши с окончательными выводами, — сказал Клементьев. — Я тоже могу наследить, да мало ли что еще?..

— Смотрите, потом пожалеете сами, — сказала горничная Светлана и поднялась уходить.

Капитан Козырнов не здоровался с помполитом.

Однажды пришла к помполиту Ванда, что-то ему говорила, хлюпая носом. Судно валяло. Лицо буфетчицы растекалось...

Вдруг помполит заорал:

— К черту! Спите кто с кем угодно. Хоть все сообща. Не лезьте ко мне с вашей постельной маетой. У меня и без этого дела хватает. Я вам не поп, чтобы венчать да разводить. И свадьбы все ваши — собачьи!..

В Невельске на причале второй механик Спирин вместе с Колей Багловым жали руку помполиту. Механик

выпил уже и не сказал ни словечка, глупо снял и топтался.

Капитан Козырнов на причале приобнял свою жену и сразу ее отпустил и позвал помполита.

— Вот, Клава, это мой первый помощник. Мы с ним немножко поцапались в морях, но он парень хороший. Ты пожми ему руку. Я не здоровался с ним два месяца, но ты пожми. — Капитан ушел от жены, его звали. Он ей сказал: — Ты подожди. Я тут разберусь с толпой, потом отгоню корабль в док, привяжу его. И буду весь в твоём распоряжении.

Самолет заходил на посадку. Запрокидывался вниз Хабаровск, ниспадал к амурскому берегу. Амур жил отдельной от города жизнью. Трехпалубные пароходы казались сверху не больше жуков-бегунцов. Превратить в городской водоем, заслонить домами, обжить, заселить Амур — город не смог, хотя сам был огромен, все разрастался.

Клементьев вышел из самолета следом за девушкой, взял у нее чемодан, они пошли рядом и вместе стояли в очереди к окошку камеры хранения. На девушке были серые брючки. Она летела в Красноярск утром. Девушку звали Надя.

— Поехали на Амур купаться, — сказал Клементьев девушке.

Надя ответила просто и радостно:

— Мне только нужно переодеться.

Она достала что-то из чемодана и убежала. Когда появилась, Клементьев ее не узнал. Он глядел на девушку, ему хотелось ей улыбнуться, но девушка не похожа была на попутчицу Надю. Девушка подходила все ближе, в ситцевом светлом платье, белоногая, летняя, со счастливой растерянностью в глазах, будто только приехала с Севера в Сочи. Она сказала Клементьеву:

— Здесь зеркала нет нигде, не во что посмотреться. Переоделась бог знает как. . . — Она разрешила смотреть на себя, любоваться.

— Я позабыл в морях, какие бывают девушки, — сказал Клементьев. — Мне надо немножко привыкнуть.

Тут подъехало к ним такси и помчало по асфальтовым горкам. Клементьев не глядел на Надю, только чувствовал ее близость, присутствие.

— Куда везти? — спросил шофер.
— К Амуру, — сказал Клементьев.
— А в какое место к Амуру?
— В самое лучшее место.
— Понятно, — сказал шофер, обернулся, поглядел.
— Приятный город этот Хабаровск, — сказал Клементьев. — Вы тут бывали?

— Да только так вот, пролетом.

— А вы откуда летите?

— Как и вы, с Сахалина. Добираюсь домой.

— Вы морячка?

— Морячка, — сказала девушка с каким-то особым значением и со вздохом. — Формально ею числюсь. Два года.

— А чем вы могли заниматься два года в Невельске?

— Английский язык вела на вечерних курсах при клубе моряков.

— Вы мечтаете стать стюардессой? — спросил Клементьев.

— Если только на международной линии, — сказала Надя. — А так это искусство упало. Кризис жанра. Набирают в стюардессы всех подряд. . .

— Я вас свезу на Комсомольскую площадь, ко входу в парк, — сказал шофер, — а там Амур сам скажет, где лучше. Смотря чего вы хотите иметь на Амуре.

— Всем не везет с мужьями, — сказал Клементьев, — все хотят стать стюардессами.

— Я не буду стонать и жаловаться, — сказала Надя. — Вы не бойтесь. Мне жаловаться не на что. Я жить люблю. Я сибирячка. Я Енисей могу переплыть.

— Ну вот, теперь сами дойдете, — сказал шофер.

Клементьев взял Надю за руку, сплел свои пальцы с ее пальцами. . .

— На чем твой муж плавает?

— На «Вытегре», старшим механиком. Да какой он мне муж?

Клементьев выпустил Надину руку. . . Ему припомнилась «Вытегра», она входила в Невельский порт, а «Колхида» только еще развернулась идти в Бристоль. «Вытегра» вся обмерзла — маленький тральщик; казалось, даже люди на палубе заиндевели. «Вытегра» была сивой, низко зарывалась в зыбь, от нее несло мертвенной стужей смерзшегося металла. Клементьев долго глядел на

«Вытегру», он запомнил ее. И теперь теплота июльского вечера, женской руки, плеск и гомон людей на пляже, сиянье амурской воды не могли замутить студеную ясность воспоминания: на море шуга, в снежном заряде плывет и сипит сиреной очень уставший, огрузший ледяными сосульками траулер «Вытегра».

— Ты не обижай своего муженька, не надо, — сказал Клементьев. — Ему там знаешь как плохо бывает, на «Вытегре». Рыбак, тот хоть свежим воздухом дышит, а дед коптится у себя в машинном отделении, как в преисподней. Он даже выскочить не успеет, если тральщик пойдет ко дну.

— Бежимте, бежимте скорее! — крикнула Надя. — А то он сейчас отчалит... — Она потянула Клементьева по сходне на дебаркадер. — Поехали за Амур!

...Старинный, шипучий, громоздкий паровик зашлепал колесами к дальнему низкому берегу. Там легким загаром смуглели песчаные косы, клубился пыльно-зеленый тальник и, может быть, в ста километрах или рядом совсем бесплотно высился наведенный синим дымом на небе Хехцирский хребет.

Вздрагивала палуба под ногами у Клементьева, проникал снизу запах машины, работающего металла, сгоревшего масла. Пахло смоленной снастью и близкой большой водой. Клементьев сложил пальцы ног в пястку, прилип к палубе и вспомнил — телом, кожей, сердцем — свой корабль, океан и себя в желтой резиновой робе...

Надя сказала:

— На капитана вы не похожи. Вы, наверное, штурман?

Клементьев взглянул на девушку. Ее лицо выражало внимательную готовность слушать и верить ему.

— Да нет, — сказал он. — Я газетный человек. Солдат бумажный...

Клементьев опустил руку Наде на плечо. Зажмурился.

— Что с вами, газетный человек? — спросила Надя.

— Маленький солнечный удар.

— Я думала, что солнечные удары бывают только в рассказах Бунина.

— Ты, я вижу, начитанная морячка, — сказал Клементьев.

— Я кончила пединститут как-никак.

— Ну и для чего же ты убегаешь от своего деда? Тебе ведь еще в институте политэконом доказал, что семья является основой государства. А Федор Михайлович Достоевский утверждал, что девяносто девять процентов человеческого счастья составляет семейная жизнь...

— Я не могла больше, — сказала Надя. — Он меня бил. Я ни в чем не была перед ним виновата. Но он все равно мне не верил. Я ждала его месяцами, мне очень трудно было в Невельске, там женщин мало. А он приходил из плавания и пил, и мучил меня и себя, доводил до безумия. Он не верил, что я могла быть невиноватой перед ним. Считается, что моряцкие жены изменяют своим мужьям, когда те в море... Все изменяют. Все на одну колодку. Очень уж грязно на кораблях говорят о женщинах... Боже мой! Я терпела два года. С меня хватит...

Пароход уже швартовался у низкого берега. Сходню кинули прямо на пляж. Надя сняла туфли, пошла, зарывая ноги в мучнистый жаркий песок.

— Благодать-то какая, — сказала она, — я, кажется, босиком по песку не бегала с детства. Я в Невельске закоченела вся.

Надя протянула Клементьеву руку:

— Пойдем скорее купаться. Бежим!

Они купались в Амуре. Непрозрачная глинистая вода подхватывала и несла. Амур показывал силу. Вода пахла морской капустой. Клементьев фыркал, нырял, старался выплыть против Амура, сдавался ему. Он уплывал далеко от Нади, но знал, что она глядит на него, и старался плыть кролем и баттерфляем. Надя была наградой, удачей после месяцев стужи. Она стояла по плечи в Амуре, у нее зеленели глаза и дрожали брызги на лбу и щеках. Волосы облипли вокруг головы. Надя смеялась, казалась рыжей в низком рябиновом солнце, совсем молодой, девчонкой, сбегавшей из школы на речку. Только раскрытые губы ее были в трещинках от помады и влажно, лакомо рдели десны.

Клементьев обхватил Надю руками, приподнял. Амур стал ее отнимать, уносить. Надя не противилась рукам Клементьева, но в то же время она отдавалась Амuru. Ее тело было прохладно и утекало из рук. Утекал и рябил ее взгляд...

Клементьев уплыл от Нади. Сердце билось в ребра: «Ну вот, ну вот, ты живой человек — так живи. Получай... Ну чего же ты убегаешь от этого блага». Клементьев глубоко нырнул, но не достал настоящей стужи. Амур уносил его все дальше, дальше...

Когда Клементьев вылез на берег, песок поостыл, смеркалось уже. Подрагивали ноги, хотелось лечь. Клементьев двинулся по зализанной кромочке берега, пропустил бегом. Он боялся, что не увидит Надю, потеряет ее и будет один на всем берегу Амура и больше ему никогда не достанется это: смех девушки на реке и плывущее солнечное ее лицо...

Амур повернул немного, за излучкой Клементьев увидел костры без дыма — закупавшиеся мальчишки грелись и прыгали подле них. Кое-где еще взлетали мячики, сидели и полулежали парами люди. Солнце садилось в дымчатый ультрамарин Хехцира. Кустарники кинули тени до самой воды. У причала стоял пароход. Его окошки ловили последки солнца, стекла рдели карминно-угольным жаром.

Далеко было видно белое Надино платье. Надя стояла над грудкой клементьевских пожитков.

— Я вас уже заждалась, Станислав Николаевич, — сказала Надя.

«Разве я говорил ей мое отчество, — подумал Клементьев, — или она поглядела мои бумаги?» Ему захотелось, чтобы она и в самом деле прочитала его корреспондентское удостоверение.

— Ты не замерзла? — спросил Клементьев.

— Нет, не замерзла. Только немножко тоскливо мне было. Я долго одна не могу. Я ведь женщина.

Клементьев быстро взглянул на нее:

— Ах, вон оно что... Пошли, побродим в лугах.

— Пошли.

Луга были скошены. Сено дышало в копнах. Теплый туман исходил от земли. Мычали коровы. Завиднелись первые дальние звезды. Проходящие самолеты выстреливали мгновенный красный или зеленый огонь.

Клементьев с Надей шли травяной дорогой, она выводила их к изогнутым старицам, обросшим тальниками; темнела вода, и опять начинались покосы, недавно сгребенное в копны сено...

— Я бы тут остался ночевать, — сказал Клементьев. — Не хочется мне в Хабаровск. Там надо толкаться в двери гостиниц — все равно мест нет. А тут в каждой копне тебе постель приготовлена. Самая чистая из постелей... В городах все давно забыли, как пахнет сено. А это — лучше любого вина... Гляди, ни одной души не осталось на всем берегу. Все торопятся в город. Забьются по закускам. Или будут шаркать подошвами по панелям. А те, кому повезет, засядут по ресторанам, отяжелеют... Никто не увидит звезд...

— Ты правда мог бы остаться здесь на ночь? — спросила Надя.

— Это так и будет, — сказал Клементьев. — Я не поеду в Хабаровск. Здесь лучше... А ты?

— Я с радостью бы осталась... Только, может, это слишком прекрасно? Может, так не бывает?..

Клементьев обнял Надю, жадно поцеловал ее. В туманных потемках он увидел ее отстраненное, незрячее лицо, и плечи ее опустились. Никто-никто во всем мире не знал сейчас про них, откуда они, для чего их сокрыла ночь на амурской пойме. Звезды приблизились к земле, разгорелись, поспели. Может быть, где-то неподалеку существовал неизвестный город Хабаровск. А может быть, не было ничего — только ночь, только звездное небо и скошенный луг.

...Пряный, душный, полынный запах сена помутил рассудок Клементьева; льды и океан, честолюбие, мужество, долг и старший механик на «Вытегре» — все исчезло. Женское сердце билось у него на груди. Он шептал своей неожиданной, внезапной любви: «солнышко», «радость». Звезды падали косо в траву. Звездный час, звездный миг наступал для него. Он был уже близко, Клементьев его торопил, подымался к нему... Но что-то отчаянное было в его шквальной любви, что-то горькое, как полынный привкус в запахе скошенных луговых цветов. Траулер «Вытегра» плыл где-то в Бристольском заливе, и старший механик дышал соляркой в машинном аду... Летели звезды на землю, кружилась земля в темноте. Близко лежала женщина на сене, давала жаркие губы...

Вдруг Клементьев услышал, она что-то шептала. Это не нужно, не нужно было сейчас, в звездный миг... Не-

льзя говорить. Он смял ей губы, вобрал их, заставил молчать, задохнуться. Но едва отпустил, она снова заговорила:

— Стасик, не нужно, — сказала она. — Я буду твоя, если ты меня не забудешь. Я еще не оттаяла. Я не ведаю, что творю. Не нужно, милый. Это неправда. Я не радость твоя. Я — попутчица. Меня в Красноярске ждет дочка. Я не хочу дорожных приключений. Я просто соскучилась по теплу. Отпусти меня, Стасик. . .

Клементьев чуть отстранился от Нади, чтобы слышать ее. Прижался щекой к холодному, мокрому сну и вдруг припомнил себя, вдруг остыл и притих, только кровь гуляла по телу, толкалась в висках и кончиках пальцев. Он ушел в темноту, и эта равнина, и сырость тумана, и черная горбина горы, закрывшая звездное небо на горизонте, — все предстало чужим и недобрым. Огни за Амуром вдруг поманили Клементьева, как огни Невельска. Плавание окончилось. Он вернулся к огням, в тесноту человеческих лиц. Он хотел отдыхать, быть свободным, веселым и благожелательным, прогуливаться на проспекте вечернего города. . .

— Поехали, Надя! — позвал Клементьев. — А то мы не успеем на последний пароход.

Она уже готова была идти, уже на ходу устраивала прическу. Клементьев двинулся следом, поодаль, отряхивался, оглаживал брюки. Он молчал, потому что не мог сыскать в себе прежней, мужской, наставительной ноты, чтобы заговорить с Надей, ободрить ее, помочь ей осилить неразбериху души.

— Бежимте, Станислав Николаевич, — позвала Надя, — а то опоздаем.

...Пароход плыл долго с пустого амурского берега в Хабаровск. Клементьев рассказывал байки, которые слышал на вахтах в рубке. Наигранный бодрый моряцкий треп не вязался с пустым пароходом в ночную пору на тихой летней воде. Но молчать тоже было нельзя. . .

— Ты знаешь, какие хитрые твари эти кашалоты, — рассказывал Наде Клементьев. — Однажды в Охотском море у нас по правому борту всплыл кашалот. А на нем кальмар сидит, присосался. Чайки как будто того и ждали. Набросились на кальмара. Пока он сползал с каша-

лота, они его порвали на клочья и разнесли. . . Он в глубине океана разоорничал, на кашалота напал, там кашалот против него бессилён. Но — парень не промах, быстро сообразил и выгреб наверх. . .

— Мне про этого кальмара и про кашалота рассказывал мой муж, — сказала Надя. — Только он их, кажется, в Японском море видел.

— Это был другой кальмар. И другой кашалот, — сказал Клементьев.

— Возможно, — сказала Надя, — кашалоты все на одно лицо. Это у дельфинов есть индивидуальность.

— Конечно, конечно, — сказал Клементьев. — Кашалоты все на одну колодку. Как и мужчины. Только на дельфинов можно понадеяться. Вот действительно гуманные и добродетельные существа! . .

Он заискивал перед Надей и мельтешил. В чем-то она возвысилась над ним. Какое-то неравенство установилось между ними. Клементьев чувствовал неравенство и злился.

— Когда твой самолет? — спросил он сухо.

— В шесть утра.

— А как же ты решилась ночевать за Амуром?

— Я тогда не думала о самолете, — сказала Надя. — Я позабыла, как сено пахнет, я обалдела немножко. . .

Опять она выходила выше Клементьева, — сибирячка.

Пароход ошвартовался у хабаровского дебаркадера. В ресторане играла музыка. В парке на берегу вращалось огромное чертовое колесо — колесница восторгов и визгов. Клементьев с Надей поднялись по каменной лестнице в город. Пригожий, неведомый, дружеский город плескался теперь вокруг них. Город заманивал и дразнил, то обдавал электричеством, то остужал непроглядной тьмой больших деревьев. Цокали каблучками девушки на проспекте. . .

Но все девушки и весь город стали теперь недоступны для Клементьева, потому что об руку с ним шла Надя, жена стармеха с «Вытегры». Недавно еще он летел над землей, наделенный всей полнотой свободы. Вся жизнь предстояла ему как сплошной карнавал. И не было женской руки — завладеть, оторвать, увести с карнавала. Он мог выбирать себе город и девушку. Он выбрал, и де-

вушка шла рядом с ним. Он успел ее полюбить, осудить, пожалеть и почувствовать себя перед ней виноватым...

«Надо было все проще, проще...»

— Пойдем, что ли, в кино, — сказал Клементьев.

— Пойдем, — с готовностью согласилась Надя.

Они глядели «Голый остров» — японский фильм. Японский мужчина по имени Сэнта носил в гору на коромысле бадейки с водой, чтобы полить ростки батата. Его жена, японская женщина Тое, тоже носила бадейки. За водой они плавали через пролив на лодке. У Сэнта и у Тое было двое мальчишек. Молоко им давала коза. А больше никто не жил на Голом острове. Там не было своего источника, только море, небо, земля и двое людей раскачивались под коромыслами, чтобы потом прокормиться бататом и жить. Печальная, сильная музыка лилась, не слабела и не кончалась, как не кончается живая река, как не кончается человеческая жизнь, если все время работать.

Темнорукие, крепкие, в белых рубашках парни вскочили с мест на десятой минуте картины, затопали к выходу. Откинутые ими кресла выстреливали залпами, очередями и отдельными щелчками. Надя вздрагивала и оборачивалась на щелчки, просила, страдая: «Да потише же вы...» Клементьев брал Надину руку и утешал ее: «Ничего, ничего, потерпи, сейчас все разбегутся».

Хабаровским парням не нравился фильм «Голый остров». На проспекте плескалась, плясала вечерняя жизнь огней, ресторанов и парков культуры. Люди вечером отдыхали. Они поработали днем. Теперь они развлекались. Они летали на чертовом колесе выше лип и взвизгивали от острой радости. На проспекте торговали мороженым и бананами.

Японцы Сэнта и Тое поливали на голой горе бататы. Согнувшись под коромыслами, они поднимались от подошвы горы к вершине. У них умер один из мальчиков — Дзиро. Экран рассказывал притчу о жизни, о вечной работе, о коротеньком счастье и о смерти. Экран призывал к раздумью и сочувствию.

После фильма Надя сказала:

— Меня просто бесят такие люди. Им бы только «Великолепную семерку» смотреть. Чтобы драка была и поцелуи. А серьезного они ничего не хотят понимать.

— Искусство само их к этому приучает, — сказал Клементьев. — Такое искусство делают, только в рот положить — растает. Даже не надо жевать...

На проспекте уже поутихло, люди ходили не толпой, а парами или поодиночке.

— Печальный фильм, — сказал Клементьев, — а все равно как-то лучше стало, будто морем надышался. Море смывает грязь и ложь мира. Легкие прочистило и всякую мелочь унесло. Вот что значит искусство. Даже горе в нем подымает душу...

— Правда, — сказала Надя. — Очень хороший фильм.

Они погуляли немножко. Летний вечерний город теперь не развлекал Клементьева, не томил его своим соблазном. Хорошо, что рядом с ним шла Надя. Она не мешала думать. Ей тоже понравился фильм «Голый остров».

— Станислав Николаевич, где вы? — сказала Надя. — Вы куда-то очень далеко ушли от меня.

— Я тут, Наденька, — сказал Клементьев, — я уже возвратился к тебе.

— А скажите, о чем вы думаете? Если это, конечно, не государственная тайна.

— Я думаю, как легко управлять другими людьми, даже сильными людьми. Воспитывать их, подавать советы или отдавать приказы. И до чего трудно управлять самим собой. Даже труднее, чем полком.

— Вам надо стать йогом, — сказала Надя. — Надо работать над собой.

— Мне нельзя йогом, я репортер... Мы сейчас поедem с тобой в аэропорт, поужинаем в «Аквариуме»... И распростимся... Как добрые друзья... Я так говорю?..

— Вы всегда говорите правильно, товарищ репортер.

Такси повезло их обратной дорогой, широкой асфальтовой падью, в аэропорт. Семь часов миновало с тех пор, как они пронеслись по этой дороге к Амуру, не зная Амура, не зная друг друга и обмирая от счастья незнания и от быстрой езды.

Теперь они ехали молча, как пара давнишних супругов. Клементьев положил руку Наде на плечо. Она прижалась к ней щекой и взглянула. Глаза были черные и большие. Надя могла заплакать. Клементьев потрепал ее волосы, провел по лицу рукой. Его ласка была снисходительной, беглой. Надя поцеловала его ладонь.

В ресторане Клементьев шутил, был сдержанно нежен, заказывал шампанское и сазана по-русски. Он иногда встречался глазами с Надей и вдруг затихал и тянулся к ней, но справлялся и снова шутил.

Потом они вышли на волю. Невдалеке ТУ-114 грел моторы. Рев был осязаем, как ветер. Адская сила толкалась и рычала в турбинах.

Клементьев приобнял Надю, поцелуй его вышел отеческий, вскользь.

— Долгие проводы — лишние слезы! — крикнул он, но голос вышел слабый и дребезжащий в потоке турбинного рева. — Прощай, подружка! Счастливо тебе долететь! И не бросай своего стармеха. Ты ему очень нужна.

Надя сказала:

— Прощай.

Клементьев ушел от нее, сел в автобус, но автобус долго еще стоял, и Надя тоже стояла. Клементьев ей помахал рукой. . .

В гостинице оказался свободным двухкомнатный люкс. Там был телевизор и белый рояль. Клементьев долго, блаженно купался в ванне, стоял под секущим душем и думал, как славно он выкрутился, не упал, никому ничего не должен. . . Он утирался, нежил себя мохнатой простыней. Расхаживал по люксу и смеялся, свистел, распевал.

— Это, братец, не копешка сена, — говорил он себе и кидался на крытое золотистой парчой деревянное ложе. И потом на соседнее ложе. — Вот так и надо жить цивилизованному человеку! Пускай японцы таскают бадейки, если до сих пор не додумались совершить у себя революцию. Пускай китайцы ходят в соломенных ботах. А мы построим жизнь-люкс для всех!

Он заснул, истомленный счастьем своей обретенной свободы. Но ранним-ранним утром проснулся. Ему слышался скорбный радиоголос. Некто сказал: «Совет Министров выражает соболезнование. . . во время урагана в Беринговом море. . . погиб средний рыболовный траулер «Вытегра». . .» Клементьев вскинулся на постели, взглянул на часы. Было без четверти пять, и радио, ясное дело, молчало. Голос приснился ему. Только дождь поливал за окном.

В тоске и сердечном смятенье Клементьев оделся, помчался по лестнице вниз и выскочил из подъезда. Навальный теплый дождь охватил его...

— Боже мой! Как мог я ее отпустить, оставить одну? — говорил он себе. — На что мне этот поганый комфорт? Зачем я вернулся из-за Амура в Хабаровск? На что он мне нужен — без Нади? На черта мне этот люкс?

Клементьев бежал, озираясь. Автобусы не ходили еще. Такси все попрятались от дождя. В шесть часов улетал самолет в Красноярск... Проехала мимо милиция с синей лампой на крыше. Клементьев махал рукою, просился. Милиция не взяла. Прошуршала по лужам «скорая помощь». Прошлепал самосвал. Клементьев кидался к машинам, но никто не нажал на тормоз.

Он бежал, поливаемый теплым дождем. Чужим был город, чужие дома, машины, и только там, далеко, за потоком воды и асфальта, теплилась родная, недостижимая теперь жизнь... Клементьев слышал моторы на взлетном поле. Там кто-то уже порывался взлететь.

Когда он завидел аэропортовскую вышку, почти добежал, — самолет поднялся и пошел сквозь дождевую навись к солнцу. Клементьев поднял к небу лицо и долго стоял, ловя глазами, щеками и лбом небесную воду.

САРАНКА

Человек плыл по Уде. Река хлебнула лишнего, неслась вровень с берегами. Где-то в Саянах прошли дожди.

— Глядите, — закричал я, — глядите! Он что-то держит в руке. Это цветы. У него в руке букет цветов.

Вода катилась по булыжному дну, грохотала. Над водой торчала рука, черная запятая. «Он очень спешит, — подумал я. — Он, наверное, спешит к своей любимой. Куда ему еще так спешить с цветами!» Мне нравилось это все: река, бегущая напролом, горбатые темные горы на юге — Саяны, и знойная сухость сибирского лета, и холод, идущий от реки, и человек, плывущий с цветами.

Он уже доплыл до изгиба. Дальше плыть ему было нельзя: за изгибом река вступала в порог, протяжно и громко ревела, белела в ярости. Он метил в изгиб, к водокатке, там вышел на берег и скоро был возле нас. Мы узнали Геру. Спортивные брюки прилипли к его ногам; он так и плыл в брюках, майке и кедах. Было приятно смотреть на его ноги — какие они сильные, на его лицо — какое оно молодое. Все мы посмотрели на него, и наш геолог Симочка тоже посмотрела.

— Отважный вы человек, — сказал начальник партии Чукин. — Нет на вас радикулита. Полезайте сейчас же в палатку, отжимайтесь.

— Ерунда, — сказал Гера. — Высохну. Смотрите, какие я цветы нашел. Если б я пошел через мост, они бы завяли. Пришлось плыть... Нате, смотрите. Можете взять себе. — Это он сказал Симочке и протянул цветы.

— Спасибо, — сказала Симочка. — Это саранка. Она

пахнет паршиво, плохими конфетами. — Симочка понюхала цветы.

Должно быть, они росли на жаре. Все изомлели в клейкой испарине, узкие лепестки выгнулись наружу, желтые пестики торчали открыто.

— Паршиво? — сказал Гера. — Сейчас выбросим. Сейчас. — И стал отнимать цветы. Симочка не давала. Он не очень-то отнимал.

Глаза у Симочки были темные. Они смотрели всегда прямо и были расставлены широко. Она была серьезная девушка. Странно, почему ее звали Симочка? Она была не очень красивая. Очень красивые девушки остались дома или поехали к морю. Они не поехали в Саяны.

Гера, наверное, ни разу не подумал об этом. Он каждый день приходил к нашей палатке. Ему было лет двадцать. Для меня он был мальчик. Он учился в Харьковском университете и ехал в экспедицию с иркутянами. Палатка их партии стояла в самом центре аэропорта, у входа в отдел перевозок.

Все мы жили в Нижнеудинском аэропорту, ждали летной погоды и милости командира авиаотряда. Знатоки говорили, что с командиром надо бы выпить, но у начальника партии Чукина были на этот счет свои правила.

Когда Гера ушел, я подобрал обретенную Симочкой саранку и спустился к Уде. Вместе со мной спустился геофизик Валерий. Недалеко от водокачки жила одна девушка. Я познакомился с ней вчера в столовой. Я разделся и пошел в воду, неся в руке саранку. Жаркий, неподвижный день вдруг дохнул стужей. Заледенели ноги. Уда вблизи оказалась черной, злорадной речкой. Я бросил саранку, сразу вылез и сел на берегу.

— Это не для белого человека, — сказал геофизик Валерий, парень с меланхоличными глазами.

Мне стало неприятно, что я не могу плыть по реке к знакомой девушке, чтобы подарить ей саранку. Мне шел двадцать седьмой год, и казалось, что прежде я бы сплавал. «Ничего, — подумал я. — Вот полазаем по горам, укрепнем, загорим. Все будет в порядке». В последнее время я часто стал думать о том, что прошлое возвратится. Куда ему деться? Нужно только встряхнуться.

Пять лет я учился в университете на испанском отделении. Потом еще год переучивался на журналиста. Два года работал в многотиражке. Мои сослуживцы частенько

спрашивали меня: «Почему ты такой скучный?» или: «Что ты такой мрачный?», или: «Чем вы недовольны, маэстро?»

Никто не знал, какой я еще молодой. Сам-то я верил в это, но мне хотелось проверить еще раз. Я уволился из многотиражки, поехал с геологической экспедицией. И вот теперь жил в палатке на берегу Уды.

Ночью мы пошли охранять Симочку: она заказала разговор с мужем. У нее был муж Фелька. Они поженились и вскоре поехали: Симочка — в Саяны, а Фелька — в Кушку. Он тоже был геолог.

Начальник партии Чукин прикрепил к ремню парабеллум в большой кобуре, и пиджак оттопырился у него на зад. Росту Чукин был — сто девяносто два сантиметра. Он был кандидатом геолого-минералогических наук, экспедиция наша — научной. Нам предстояло разработать тему «Магматизм Восточного Саяна».

— Си-имочка, де-евочка, — сказал Чукин, — какой у вас пышный эскорт!

— А что, — сказал геофизик Валерий, — мы ребята — ай да ну.

Кушку дали под утро. Симочка взяла трубку и сказала:

— Фелька...

Я не знал, что она может говорить таким голосом.

— Фелька, ты меня слышишь? — сказала Симочка. — Фелька...

— Ты слышишь ли-и? .. — шепотом затынул Чукин.

Симочка посмотрела на него и на всех нас. Никого она не увидела.

— Фелька, — сказала Симочка, — Фелька, я ничего не слышу. Говори громче.

— Заканчивайте, — сказала девушка.

— Нет, мы еще говорим. — Симочка опять посмотрела на всех удивленно и не увидела никого. — Фелька, — сказала она, — я уже теперь скоро приеду. Ты меня слышишь, Фелька? Я говорю, скоро увидимся...

Потом, позже, выяснилось, что Кушку из Нижнеудинска вызвать нельзя. Симочка говорила с Оршей. Девушка с переговорного пункта ошиблась.

Мы шли по темному городу Нижнеудинску. В каждом доме свет был прихлопнут ставней. Чукин запел неестественно бодро:

Очень долгод путь.
На Востоке воздух серый.
Но скоро выйдет солнце из-за скал.
Осторожней, друг:
Тяжелы и метки стрелы
У жителей земли Мадагаскар.

Чукин десятый сезон работал в горах. Ему было плевать на все тонкости.

— Не дали Кушку, — сказал он Симочке, — зато дали Оршу. Это уже деталь.

Валерий, Сима и я шли молча. Я шел и думал: «Что они все за люди? Какие они в деле? И что это за дело — магматизм Восточного Саяна? Как все будет там, в горах?» Я отгонял эти мысли. Ст ннх становилось смутно.

В палатке пошел разговор о вкладышах в спальники, стоит ли их вкладывать, и о разном другом. Как будто не было других забот и само собой делалось дело.

Но вскоре я понял, что Чукину не по себе. Он сказал, когда мы одни остались в палатке:

— Я привык к сидению на аэродромах, к ожиданию контейнеров, ко всей нашей неразберихе. Но это уже превращается в нелепость. Нам же надо работать. Иначе мы не уложимся в срок до самого снега. Придется ходить в маршруты по двенадцать часов... Григорий Петрович, — сказал он, понизив голос, — может, вы действительно выпьете с командиром авиаотряда? Я, честное слово, органически не могу. Если мы не улетим еще два дня, я пойду жаловаться в райком.

Но мы не улетели через два дня. Каждое утро, родившись в невидимых падах, над Саянами показывались облака. Округлые, крепкие, белые... Синоптики говорили нам: «Нет видимости по всем точкам». Командир отменял полеты. Ничего тут нельзя было сделать.

Дни возникали и сходили на нет. Шла зарплата, полевые и зауральские. Лениво помахивала полосатая ветровая колбаска над аэровокзалом. Несерьезно вихляясь, улетали навсегда в небо белые синоптические пузыри. Начиало казаться, что можно и так, что можно никуда не лететь, а только смотреть, как идут мимо дни.

— А что делать? — сказал по этому поводу Валерий. Ему очень нравилось спать. Но один раз он изменил своему пристрастию. Утром раскрыл продолговатый зеленый ящик, где был размещен большой радиометр, под-

ключил прибор к батареям, надел наушники и стал слушать. Он слушал долго, и его медового цвета сонные глаза делались все острее, словно человек просыпался с тревогой или вырослел у всех на виду под действием скрытых причин.

— Молчит, — сказал вдруг Валерий. Он что-то стал подкручивать в приборе, и снова слушал, и снова тыкал в металл отверткой. — Конденсатор пробило.

— Прекрасно, — сказал Чукин. — Только этого нам и недоставало. Вы знаете, что конденсаторы ставятся на фабрике и их вообще нельзя трогать?

— Кому-нибудь надо тронуть в первый раз, — сказал Валерий неожиданно дерзко, как совсем уже взрослый, знающий дело работник. Он опять взялся за отвертку. Потом молча взвалил ящик на плечи и затрусил бегом к аэродромной радиостанции. Вскоре мы увидели, что он бежит обратно, все так же неся на плечах радиометр. Пробежал мимо палатки к воротам аэропорта и отправился дальше по длинной песчаной улице, ведущей в город.

— Можно быть совершенно спокойным, — сказал Чукин. — Радиометр будет починен. Валерий — увалень, тихий меланхолик, но как коснется работы, тут уж на него можно вполне положиться. Мы с ним третий сезон вместе. . .

Валерий вернулся ночью, разбудил нас всех, зажег свечу и сунул наушники Чукину. Всем стало слышно, как упруго и четко пощелкивает аппарат.

— Работает, — сказал Валерий. — Вот, слышите? Как часы. Чудо двадцатого века. Сима, ты слышишь? Я весь Нижнеудинск обегал, разыскивал такого человека, который понимает в конденсаторах. Был на радиоузле. В депо. На лесозаводе. Никто ни в зуб ногой в этой технике. Думал — уже все, придется переквалифицироваться в управхозы. И вдруг такого парня нашел на слюдфабрике! Не парень, а Высшее техническое училище имени Баумана. Блоху запросто подкует. Мы с ним почти что новый конденсатор сделали.

Весь следующий день Валерий спал не поднимаясь.

Удивительно было смотреть, как Гера делает по утрам зарядку. Он бегал по мокрой траве, по большому летному полю, мимо вертолета с обломанной лопастью. Давно

он тут стоял, этот вертолет, давно пора было починить ему лопасть.

Трава, и бока вертолета, и провисшие стенки нашей палатки по утрам бледнели от холода. Очень не хотелось вылезать из спального мешка. Я раз попробовал побежать вслед за Герой, но сразу замерз и соскучился. «Ничего, — подумал я, — втянусь...» Пора было лететь, двигаться, работать. Пора. За этим я ехал в Саяны. Вот они, эти горы. Но как туда попадешь?

Гере мы не сказали, что существует Фелька. Симочка ему тоже ничего не сказала.

— Действуйте, Симочка, — сказал Чукин, — охмуряйте Геру. Не посрамите Саянскую партию.

— Ладно уж, — сказала Симочка, — буду охмурять.

Мы верили в Симочку и знали, что игра эта безопасна, и все-таки мы ревновали. Мы хотели, чтобы Гера был посрамлен, и ждали, злорадствуя.

Днем Гера звал нас всех с собой на реку, туда, где стояла гора. Не вся гора, лишь ее половина. Другую половину камень за камнем время свалило в Уду. На горе росли сосны, земляника и цветы саранки. Там начиналась тайга и тянулась себе не спеша на север, подальше от пыльного Нижнеудинска.

— Пойдемте, — звал Гера, — знаете, как там хорошо? Там такая заводь есть, старица. Вода теплая, и глубоко. Поплаваем железно. Так же невозможно — сидеть в палатке.

— Поплавать — это вещь, — говорил Валерий. — Поплавать — это можно. — Но из палатки никуда не шел. Мы подозревали, что он не умеет плавать.

Чукин, Симочка и я пошли с Герой на реку, поднялись высоко, остановились и стояли долго. С горы не были видны провисшие бока нашей палатки, дверь с надписью: «Отдел перевозок», куда Чукин ходил каждое утро объясняться с начальством, вертолет с обломанной лопастью. Зато было видно, как много кругом неба, земли, воды, травы, леса, гор; какое все это просторное, голубое, зеленое. Неужели мы двинемся в путь и пойдем по тайге месяц, другой и третий, и будет только тайга, прохладная, чистая, и сосны, и горы день и ночь? Не верилось, до того это было хорошо. Мы долго стояли так, потом купались в заводи и стреляли из чукинского парабеллума.

Последней стреляла Симочка. Она сказала, что все умеет сама, поднесла пистолет близко к носу и выстрелила. Пуля ткнулась в траву где-то рядом и вышибла пыль. Симочка сразу же села на землю, прижав к глазам кулаки. Кровь быстрыми брусничками просыпалась из-под кулаков, скатилась по щекам. Симочка покачалась сидя и легла лицом в землю.

Я не знал, что делать. Чукин прыгнул к Симочке и поднял ее с земли. Он оторвал от ее глаз кулаки и закричал:

— Платок, платок давайте! Водой его намочите!

Гера кинулся к воде.

Над переносьем у Симочки оказалась кровавая ранка. Чукин забрал у Геры платок, обтер кровь на лбу, на щеках и на шее у Симочки, сказал:

— Отведите ее в тень.

Гера повел Симочку на берег к кустам. Мы остались с Чукиным поодаль и смотрели. Гера вел Симочку, держа ее за плечи. Никакой он был не мальчик. Мы смотрели на его загорелую спину, на маленькую рядом с ним Симочку, как она идет, послушно ступая ногами.

Чукин поднял парабеллум, оглядел его.

— Ну да. Затвором ткнуло. Попало бы в глаз — и будьте любезны... Си-и-мочка! — закричал Чукин. — Вы еще живы?

Симочка ответила тихо:

— Жива.

Гера подошел к нам и сказал шепотом:

— Вот это характер. Такая рана — и хоть бы что. Другая бы заплакала, заныла, а Сима только смотрит. Чего она у вас так смотрит? А? Отдайте ее к нам в партию.

— Симочка — свой парень, — сказал Чукин. — Мы ее никому не отдадим. Мы за нее отвечаем перед одним товарищем.

— Перед каким? — быстро спросил Гера.

— Это секрет Саянской партии.

Мы отвели Симочку в городскую больницу. Пока она была в перевязочной, Чукин сказал:

— Да. Не женское дело — геология. Чем Сима скорее поймет это, тем лучше. Я ей специально не стану ничего облегчать. И вообще никогда не давал девочкам побла-

жек. Сами захотели — пожалуйста. Никогда я не подбирал им легких маршрутов.

Вечером Симочка осталась в палатке за сторожа. Все пошли в кино. Я пошел к девушке на водокачку. Поговорили немного, походили. Я пожаловался на Чукина, на его нерасторопность. Собирался в райком пойти — не пошел. . . Наверное, могли мы уже улететь. Чего мы сидим, ждем, не работаем?

— А геологи и сроду сидят в аэропорту, — сказала девушка.

Я скоро соскучился и вернулся к палатке. Что-то в последнее время меня не тянуло на разговоры с девушками. «Вот вернусь из экспедиции, — думал я, — тогда будет о чем поговорить».

В палатке Гера разговаривал с Симочкой. Я сел на бревно и стал слушать, о чем они там говорят. Не потому, что мне хотелось слушать. Просто некуда было идти и неохота, а тут лежало бревно.

Гера выглянул из палатки.

— Давно бы нас могли отправить вон на этом вертолете, — сказал он. — Я спрашивал у летчиков, чего он стоит. Они его, оказывается, потому не ремонтируют, что никто не хочет на нем летать. У самолета — крылья: можно в случае чего спланировать. А у этой стрекозы заглох мотор — и камушком вниз. А вы бы полетели, Симочка, на такой штуковине?

— Полетела. Только невысоко. Чтобы спрыгнуть можно.

— И я бы полетел. Пойдемте завтра саранку рвать.

— Так вы же завтра летите.

— А вдруг погоды не будет? Пойдемте. Ну скажите, что пойдете. Что вам стоит? Вашего Чукина мы не возьмем. И Гришу тоже не возьмем.

Гриша — это был я. Подумалось коротко: «Ничего. . . Вот приеду из экспедиции. . .»

— Скоро они уже вернутся из кино, — сказала Симочка.

— Вы, наверное, чувствуете, какая вы взрослая в сравнении со мной, — сказал Гера. — Я уж это давно заметил. Ну и пусть. Я и не хочу быть слишком взрослым. Таким, как Чукин или Гриша. Чтобы в палатке спать. Ведь можно — ух-х-х! Знаете, что можно? Не знаете? Вы что любите больше — лето или зиму?

— Я — весну, — сказала Симочка.

— Вот-вот, все так говорят. А для меня что зима, что осень, что слякоть, что жара — одинаково. Мне горы знаете как нравятся? А в прошлом году ездил в Казахстан — степь нравилась. Я еще не знаю, что мне больше нравится. Я все люблю. И девушек тоже люблю. — Это Гера сказал совсем тихо. — Не всех, конечно. Не всех одинаково. . . — Гера подождал. Симочка ничего не ответила.

— Мне все в жизни хочется руками потрогать. Поездить. . .

— Не всем девушкам нравится, когда их трогают руками, — сказала Симочка.

— Вам тоже не нравится? Вы тоже будете кандидатом? Вы тоже не будете вылезать из своего мешка? Ага. . .

— Не надо, — сказала Симочка. — Нельзя меня трогать. У меня есть муж.

В палатке стало тихо. Симочка ждала, ждала и не выдержала.

— У моего мужа первый разряд по самбо, — сказала она. Наверное, ей хотелось, чтобы Гера засмеялся.

Гера вылез из палатки, не увидел меня и медленно пошел берегом.

Утром он улетел. Мы его провожали. Он сидел в кабине ЯК-12 и все время улыбался. «ЯК» был санитарный, с крестом, все остальные самолеты ушли патрулировать над тайгой. На пилотском месте сидел сам командир отряда, мужчина с хмурыми бровями, густоволосый и краснолицый.

Мы стояли и смотрели — огромный Чукин в тибетейке и геологических сапогах, я, меланхоличный желтоглазый Валерий, Симочка с повязкой на лбу. Все мы немножко волновались. Всякий человек немножко волнуется, глядя на взлетающий самолет.

— От винта! — сказал командир отряда технарю и хотел пустить мотор, но Чукин вдруг подошел к самолету.

— А очередь-то наша! — крикнул он командиру.

Командир сперва не понял, в чем дело, и свесил голову через борт. Было видно, какое у него хорошее настроение, как ему нравится сидеть в кабине и кричать: «От винта!»

— Наша очередь лететь, а вы их везете? Что это за выборочное отношение? — спросил Чукин.

Командир, поняв, мотнул головой, задвигал бровями и губами. Но мы ничего не услышали, потому что пошел крутиться винт. «ЯК» забился, крылья его задрожали.

Гера смотрел на нас сквозь плексигласовый колпак кабины и все улыбался. Он был теперь не такой, как мы, был далеко от нас. Он сейчас полетит. Он был сейчас бесконечно выше нас и всего того, чем мы жили. Мы понимали это. Он несколько раз взглянул на Симочку, но не смог скрыть и от нее свое превосходство, свой восторг и отрешенность от земного.

ЯК-12 проковылял на старт и пошел полого кверху. Гера улетел.

— Ровно вытянул, хороший пилот, — сердито сказал Чукин про командира авиаотряда.

Дней через восемь к нашему неподвижному соседу — вертолету — пришли рабочие, подставили лесенку, забрались по ней на крышу кабины и не спеша, посиживая и покуривая, приладили недостающую лопасть.

Все лопасти закрутились, и на хвосте у вертолета тоже закрутился маленький пропеллер, похожий на детскую вертушку.

Не верилось, что это хвостатое странное сооружение сейчас на наших глазах поднимется в воздух и куда-то полетит. Но лопасти замельтешили, образовав над кабиной большую розетку. Вертолет подпрыгнул и прямо пошел вверх. Поднявшись немного, он стал, задрал хвост, пригнул голову, весело поднялся, как резвый бычок, скакнул раз и другой и, стрекоча, полетел на юг, в Саяны.

— За покойничком полетел. Ваш брат, геолог, — сказал сторож из проходной будки.

— А из какой партии? — спросил Чукин.

— Не знаю. Из москвичей, что ли. . .

Валерий сказал:

— Обнадеживающие перспективы. — Он посмотрел на всех нас так, словно попросил подвинуться к нему поближе.

— Все там будем. . . — излишне спокойно сказал Чукин. Начинался его десятый сезон. Он имел право говорить так. Он даже запел:

Может, смерть свою
Ты найдешь за океаном.

Но ты, мой друг, от смерти не беги.
Осторожней, друг, —
Даль подернута туманом.
Возьми к плечу свой верный карабин.

Весь вечер мы говорили и смеялись громче, чем всегда. Я все заглядывал в глаза Чукину, Валерию, Симочке — искал в них твердости. Хорошо, что ребята были рядом.

Симочка молчала. Она заговорила ночью, когда в палатке было так тихо, словно все спят, или даже еще тише: не было слышно, чтоб кто-нибудь сонно дышал.

— Может быть, это Гера? — сказала Симочка.

Никто не ответил, хотя всем сразу стало понятно, что спящих в палатке нет. Потом Чукин сказал:

— Вряд ли. Во-первых, погиб москвич, а Гера улетел с иркутянами. Во-вторых, это невозможно по времени. Они улетели восемь дней назад. При самых быстрых темпах им нужна неделя, чтобы нанять оленей. Максимум, что они могли успеть, это вчера уйти в первый маршрут. Первый маршрут обычно несложный, ознакомительный. . .

Опять не спали, молчали, затаясь. Опять заговорила Симочка:

— Гера сказал, что все в жизни любит трогать руками. И девушек тоже. — Симочка тихонько засмеялась.

— Трогать девушек руками — это очень ценная программа. Неплохо задумано, — сказал Валерий.

Мы много смеялись. Такая выдалась ночь.

— Симочку мы держим в партии для облагораживающего женского влияния, — еле выговорил Чукин, — а на нее надо оказывать мужское влияние. Стало быть, нужен Гера.

— Все, — сказал Валерий. — Первый приказ по Саянской партии. Затребовать Геру для мужского влияния ввиду недостатка собственных сил.

— А что, — сказала Симочка, — я не против.

Когда опять стало тихо, Чукин сказал:

— Странное дело, у меня жена очень спокойный человек. Всегда мы с ней расстаемся весело. А нынче, когда я уезжал, она вдруг заплакала. И в письмах пишет, что очень беспокоится за меня.

Больше никто ничего не сказал в эту ночь.

Утром мы узнали, что погиб геолог из Иркутской экспедиции, молодой геолог, студент. С иркутянами был лишь один студент, но никто из нас не назвал его имени. Это было невозможно и страшно.

Я видел, как добродушное, всегда готовое к смешку лицо Чукина вдруг исказилось, стало одновременно суровым и жалким, как поперек его лба набежала морщина.

— Не могу я привыкнуть к смерти, — сказал Чукин. — Видел, как гибнут люди, а не могу. Конечно, он по-глупому погиб. Как мальчишка. Как щенок. От своей неопытности. Но ведь люди в экспедициях чаще всего гибнут нелепо, из-за какой-нибудь дурацкой случайности. Ему хотелось успеть больше других. Я люблю таких ребят. Из них получаются отличные геологи. Но им часто не везет. А что делать? С дерьмом никогда ничего не случается. — Имени Чукин тоже не назвал.

Толком никто не знал, как он погиб, тот геолог. Упал со скалы, так говорили. Что это за скала в первом легком маршруте? А может, это было не в маршруте, вечером, когда все пришли к костру и сидели, растянув еще не привыкшие к горам ноги, болтали или спали в палатке? Может, он захотел что-то потрогать руками, взял ружье и пошел на ближнюю горку — и упал?

Может, ожили камни на осыпи и пошли скакать вниз, как сумасшедшие лягушки. Так бывает. Я узнал это позже.

Может быть, старый, потрескавшийся камень, за который он взялся рукой, вдруг доверительно пошевелился, отдавая его руке, сдвинулся и заглянул ему в лицо: «Держи, парень, пока можешь. Мне не к спеху». Так тоже бывает.

Но понять, принять, согласиться с тем, что Гера погиб, было нельзя. Гера жил в моей памяти. Он плыл вон там по Уде, он сидел вот здесь в палатке и бегал вон на том поле. Нельзя было отнять его у памяти, отделить от всего, к чему он прикасался. И все же надо было отнять. Пустота на том месте, где он был раньше, сосала, тянула. И я вдруг понял, что больше сидеть, ждать — не буду, что это преступно, надо лететь, а если не лететь, то идти пешком, или плыть, или что-нибудь делать еще. Наверное, то же самое поняли Чукин, Симочка и Валерий. Мы ничего не говорили друг другу, а просто свернули кошму

в нашей палатке и запаковали спальники, хотя еще не было известно, когда мы летим. Действовать — в этом был единственный выход для нас, в этом было наше спасение.

— Пойдемте, — сказал Чукин.

И мы пошли все четверо, тесно, касаясь друг друга, прямо через большое поле к дому аэропорта. Мы все вместе вошли в кабинет командира авиаотряда, и Чукин сказал ему:

— Если вы нас сейчас же, немедленно не отправите, мы будем с вами разговаривать в райкоме партии, а если не поможет и это, я буду звонить в Москву, в авиаинспекцию.

Командир посмотрел на каждого из нас с любопытством. Мы подошли к нему близко и смотрели на него в упор.

Командир сказал начальнику отдела перевозок:

— Как у нас АН-2, на ходу?

— Продукты надо забросить в Верхнюю Гутару. Третий день на складе стоят.

— Пусть АН-2 пойдет в Алыгджер... — Больше командир ничего не сказал и на нас не глядел.

Алыгджер — это было то место, куда мы должны лететь.

— Значит, мы летим? — обрадовался Чукин.

— Летите, летите, — сказал начальник отдела перевозок. — Давайте быстро грузитесь в АН-2.

Через три часа мы погрузили наше имущество в поместительное чрево «Антоня». Я уже ступил на лесенку, чтоб лезть в кабину. Но вдруг остановился, схватясь за поручни. Два слова шелохнулись в голове: «Куда лезу?» Только два слова, не имеющие смысла. Я вдруг увидел вокруг себя все разом — траву, присмирившую в ледяной росе, реку, опять хлебнувшую лишнего, бегущую вровень с полем, горы на том берегу, санитарную машину у вертолета. Машина развернулась, пошла к воротам аэропорта. «Вот и все, — подумал я. — Не все, конечно. Еще будут искать виновников. Будут телеграммы, слезы и горе... Зачем я приехал сюда? В той, прежней жизни мне ничто не грозило. В ней редко случались смерти. Зачем мне Саяны?»

Я изо всех сил дернул поручни и очутился в кабине. Ребята сидели на металлических скамейках близко друг к другу. Я втиснулся между ними и глянул тайком: как

они? Ребята сидели напряженно и ждали. Всем очень хотелось лететь, не было только Симочки. Она исчезла сразу, как только мы вышли из конторы аэропорта. Мы без нее паковали палатку, без нее таскали в самолет молотки, лопаты, тюки с продовольствием и выючные сумы. Мы заметили ее отсутствие, но нельзя было ждать...

— Ну, все готовы? — спросил пилот.

— Нет еще. Нет нашего геолога, — сказал Чукин. — Где Симочка, никто не видел?

— Ну, давайте, товарищи, ждать я не буду. У меня второй рейс.

Мы выглянули в дверь и в окна — и сразу увидели далеко, на краю летного поля, бегущую Симочку. Она бежала по полю туда, где стоял вертолет, прилетевший из Саян. Лопасты вертолета уже затанули брезентом.

— Закрывайте дверь, летим, — сказал пилот и запустил винт. «Антон» задрожал. Я очень заволновался. Не я один, наверно. Летим!

Но Валерий вдруг прыгнул с сиденья к двери, выскочил из самолета и побежал по полю, пригнувшись, махая руками. Неуклюжий, грузный человек. Увалень... Симочка шла ему навстречу. Не очень она торопилась.

Я сидел на дюралевой скамейке и мелко трясся вместе с «Антоном». Мне казалось, что сейчас Чукин скажет Симочке и Валерию что-то жесткое, грубое. Он отправлялся в горы в десятый раз. Я был полностью на его стороне.

Симочка появилась в кабине, держа в руках единственный жалкий цветок саранки. Следом за ней влез Валерий.

— Вы были за рекой! — прокричал Чукин. — Я так и думал. Я уже договорился с пилотом. Вы полетели бы вторым рейсом. Я думал, что вам не успеть.

— Я не успела, — сказала Симочка.

«Сейчас она заплачет», — подумал я. Но она не плакала.

Я подвинулся, и все мы тесно уселись в ряд.

«Антон» задрожал пуще и пошел.

ДЕВЧОНКА СВОЕ ВОЗЬМЕТ

Закаты цветут желтым, зеленоватым печальным цветом и гаснут. Тогда на тайгу наваливаются потемки, тяжелые как глыбы руды.

Руда валяется всюду, а подле Рудной горы она сложена штабелями. Гору рассек карьер — страшный рубец. Сверху дна не видать, только тянет каменной стужей...

Говорят, карьер вырыли декабристы. Говорят, это и есть «глубина сибирских руд». Может быть, изжелта-зеленые вечерние зори вобрали в себя печаль тех времен?

Многие годы люди долбили кирками гору. Катали в тачках руду, грузили ее в телеги. Лошади мотали хвостами, не в силах отбиться от паутов, тащили телеги песчаными колеями, долгой дорогой в Николаевский завод.

Рудник давно заброшен. От Николаевского завода остался лишь битый кирпич. Лес возле Рудного озера прорубили и строят новый поселок Озерск. Строят его гуцулы, веселые мастера, приехавшие на сезон по договору. Вечерами они поют возле костра. Красиво, многоголосо. Песни тянутся кверху, звучат чисто, сильно, тихо сгорают вместе с закатом.

Возле самого озера в землянке живет изыскатель Федор Колотухин. Когда он приехал впервые, здесь было тихо и пусто, носились над озером турухтаны да ржавый провод лежал на земле.

Провод остался от разведочной партии, изучавшей Рудную гору. Геологи прожили год в землянках, но промышленной руды не нашли. Гора иссякла.

В одной из землянок пришлый охотник-дед устроил склад глухариного мяса.

Федор застал того деда. Дед был еще крепкий, бровастый, разговорчивый. Оружие — нарезную берданку — прятал где-то в лесу. Федор все видел бурятскими узенькими глазами.

— Ты, дед, чего пушку-то прячешь? — сказал он старику.

— Тяжело таскать стало. Семьдесят два года, сынок. Пройдешь по тайге, промнешься... Хоть в ружье весу такого нет, тридцать второй калибр, а до места никак не унести стало. В чашу сунул — и ладно.

— Добрый у тебя тридцать второй калибр. С таким можно ходить на медведя.

— Да так-то обижаться на ружье нечего. Трешшит помаленьку. — Глаза у деда были темные, с блеском, не вывели за семьдесят два года житья.

Охотничал он больше удавками. Они устроены были близко одна к одной вдоль гребня заснеженных сопок. Возле каждой удавки снег был разрыт, темнели мерзлые длинные чурки. Дед крепил их на шатких подставках-колышках. Птица слетала клевать песок, набивать жернова в зобах, подставки рушились, чурки давили птицу. Склад-землянка ломился от мертвых киснувших глухарей.

Федор однажды прошелся вдоль дедовых удавок. Он рушил их одну за одной, долбил каблуком занастевший снег, сгребал его в песчаные проплешины. Снег вкусно шурстел и тек по обрыву. Все это веселило Федора. Он подымал основные чурки, кидал их вниз и приговаривал:

— Оп-па! Оп-па!..

Дед подошел сзади, негромко сказал:

— Зачем озоруешь, сынок?

Федор поднял чурку, сказал: «Оп-па!» — толкнул ее вниз. Потом счистил снег с варежек, улыбнулся старику.

— Хватит, папаша, клянусь честью, хватит. Куда тебе столько? Запах нехороший. Нельзя стало в землянке жить.

Дед скинул с плеча берданку. Прислонил рядом с собой к сосне. Достал кисет с махоркой.

Федор усмехнулся.

— Тридцать второй, говоришь?

— Без оружия в тайге нельзя, сынок. Без оружия у нас никто не ходит. Без оружия тебе цена — тьфу!

«Надо смываться, — подумал Федор, — ну его к дьяволу».

Он быстро взглянул на берданку, на деда, прикинул, сделал стремительный шаг, обхватил пальцами цевье у винтовки и поднял ее.

— Да-а... Добрая штука. Поди, тебе ровесница? В один год родились и прожили чинно в ряд?

Дед не пошевелился. Только глаза его провожали каждое Федорово движение.

— Все на свете на нет сходит, — вдруг забормотал он. — Строят, строят — одна ржавчина остается. Зверю конец, птице конец... Поставь винтовку-то. Спуск совсем ослабел, однако.

Федор щелкнул затвором, выбросил в снег патрон, отдал берданку деду.

— На, старый, промышляй. Только поищи для себя другое место. Тут тебя поймают с твоей пушкой запросто. В тюрьму угодишь на старости лет. Скоро сюда люди приедут, милиция. Клянусь честью.

— Я свое отбыл, сынок, — сказал дед. — Этим ты меня не интересуй. Люди, как турухтаны, прибывают, убывают, а жизнь на своем стоит. Тайга, сынок, всегда тайгой останется...

Больше Федор не видел деда. Дед исчез. Удавки его сгорели в большом пожаре. Сильно пожгло тайгу возле Рудного озера. Хвоя на соснах полыхнула и сгнула, стволы легли как попало, а сучья пепельно посерели, ссохлись в огне, укрыли землю хрустящим хворостом.

Особенно пахло гарью по вечерам. Свиристели, тревожились турухтаны. Мутилась дымом прозябшая желтизна заката.

— Клянусь честью, — говорил Колотухин своему изыскательскому отряду, — дед поджег тайгу. Он, наверно, из заключенных. Сроду зэка. Злобный, собачий сын. Что ты? Я знаю. Ему в жизни ничего дорогого нет. Все готов пожечь...

На работу нельзя было ходить по свежей гари. Федор камеральничал — обрабатывал результаты мензульной съемки, выводил набело планшет, заснятый по весеннему снегу, до пожара.

Мошка летела в землянку. Попад в ее сумеречное, с папиросным дымом нутро, пугалась, лепилась в окошке, Федор время от времени жег ее спичечным огоньком.

Слушал гуцульские песни. Иногда тосковал в этом вынужденном сидении.

Отправлялся к хозяйке гуцулов Ярославе. Она поварилась у них, ездила в Больше-Окинский леспромхоз за лапшой, тушенкой и гречкой. У хозяйки водилось вино. Бог весть, как оно добиралось сюда, в Приангарье. Густо-вишневого цвета с замутью, на этикетке написано по-украински: «Яблучне».

Федор выпивал две бутылки. Выпив, жалел себя. Свои тридцать шесть лет. Жалостно изумлялся своему скудному быту. Вино будило в нем неразрешимое чувство утраты. Лучшее было в прошлом: морская служба на Дальнем Востоке, китобойство в Тихом океане, потом курсы топографов, броски по стране с нивелиром и мензулой. И любовь, конечно. Ее было много. Женщины любили широкогрудого, смуглокожего, узкоглазого парня горных бурятских кровей.

Выпив, Федор говорил всегда об одном и том же:

— Ну что наша изыскательская жизнь? А сходишь к Ярославе — вся жизнь в розовом цвете...

С Кешкой, любопытным, горластым парнем пятнадцати лет, он тоже всегда объяснялся одинаковыми словами:

— Ну, а ты здесь чего? Выйди отсюда быстро. Клянись честью, Кешка! А ну, выйди отсюда.

— Федор Гаврилович! — выговаривал Кешка басом. — Федор Гаврилович! А я хочу с вами поговорить. — «Г» Кешка произносил мягко, на южный манер. Отец его был моторист, работал на шпалорезке, резал сосновый брус для Озерска. Кешка нанялся к изыскателям таскать рейку.

— Здесь итээр находится, — поучал Колотухин. — Выйди отсюда. Чтобы все чинно в ряд...

Кешка ничуть не боялся начальника и не уходил.

К «итээру» Федор относил себя и девушку Тоню. Тоня ходила на работу в очках. Должность ее называлась «записатель». Она жила в одной землянке с Федором. Больше ей жить было негде. Тоня кончила десять классов, поработала продавцом в магазине, не прижилась в торговой сети, с комсомольской путевкой поехала строить Братскую ГЭС. Но попала на Рудное озеро.

Выпив с вечера яблочного вина, Федор Колотухин говорил утром Тоне:

— Все. Объявляем сухой закон. Клянусь честью.

— Да ну, — сомневалась Тоня, — прямо уж, сухой закон. Никогда я вам не поверю.

Тоня любила плавать по озеру на плоту. Плот сколотил отец Кешки. Это было суденышко без бортов, с острым носом, с ячеями для весел и сиденьем со спинкой. Вода в озере была зеленая. Синее небо вверху, желтое солнце. Синее с желтым сливалось в озерной воде. Зеленоло. А может быть, эту зелень давал особенный рудный настой.

Тоня полоскала Федору трусы и майки. Так было заведено. Пела тихонько, чуть-чуть ворошила весла. Колотухин слышал в своей землянке каждое слово Тониной песни, стук весел. . . Вода сберегала звуки, катила их к берегам. Все озеро было как чуткая слуховая раковина.

Федор чертил на планшете, крутил арифмометр, считал зарплату себе, и Тоне, и Кешке — всему отряду. И думал. Примерно так:

«Чего бы там ни было, надо завтра идти. Добить к воскресенью мензультную съемку. . . Если добьем, должна быть переработка. Клянусь честью, должна быть».

Федор снова крутил арифмометр. Отрадное дело — считать свою переработку в рублях.

«Только бы дождь настоящий, только бы дождь, — думал Федор. — Прибило бы гарь, мы поднажмем — и все чинно в ряд».

А Тоня пела на озере. Или ругалась с Кешкой. Она его не брала на плот. Кешка стаскивал сапоги, брючки, черную с одной пуговицей рубаху, кепку, вопил хриплым басом: «У-у-у-й! Ва-а-й! Тон-у-у-у! Спаси-и-те!» Лупил ногами по воде, фырчал и плыл за Тоней. Вода согревалась днем лишь поверху. Чуть поглубже она хватала за пятки. И была, наверное, черной, крошечной.

— У-у-у-у! — вопил Кешка и раскачивал Тонин плот. . .

Иногда вместе с Тоней плыла постирать бельишко Капочка, жена Володьки. Володька ходил вечерами ставить «морду» в ручей. Нет-нет в прутьяное жерло «морды» залезал хариус. А то и пара. . .

Капочка всегда говорила на плоту о Володьке. Уплывали они далеко, думали — их разговор не слышен. «Володька, Володьке, Володьку. . .» Озеро доносило Федору Капочкины сокровенья.

А раз Федор услышал свое имя:

— ...Федор Гаврилович, — произнесла Тоня. Он сразу бросил крутить арифмометр. — Федор Гаврилович красивый. Не старый еще, а весь седой. Наверное, много переживал...

Федор поглядел в Тонино зеркальце, прислоненное к банке-подсвечнику. Увидел желтокожее, узкоглазое, крупное лицо с седой челкой. Староватое лицо. Подумал:

«Тридцать шесть лет. Спешат годочки. Клянусь честью, спешат».

Он вышел из землянки. Мотнулась, хлопнула дверка. Просыпался мягкий песочек из щелей прогнивших, осевших стен. Федор вернулся за топором, быстро выбрал чурку в дровяном запасе. Обтесал ее. Приладил у основания стены в землянке. Получился порожек — преграда песку, текущему на пол. Колышек сделал, заклинил, укрепил порожек. Полюбовался своей работой.

Дошел до озера, вдохнул влажного, стынувшего воздуха. Крепко пахло сосной, гоноболью, дымом. Подымался туман. Заря чуть желтела над самой тайгой.

Пели гуцулы. Казалось, поют они высоко, на Рудной горе или еще выше. Голоса звучали отрешенно. Вровень с закатом, с холодеющим небом...

Близко слышались весла: Тоня и Капочка плыли домой.

«Да... — подумал Федор. — Попалась бы мне в землянку такая Тонечка лет десять назад...» Он оглядел внимательно небо, понюхал дым, ползущий из леса, обругал поджигателя-деда и твердо решил: «Все. Хватит. Завтра идем на работу».

Крикнул Тоне:

— Сбегай на двадцатый пикет за рейкой. Или завтра пораньше встанешь, сбегаешь. В шесть подъем. Капа, завтрак сготовишь к половине седьмого. В семь идем на работу. Чтобы все чинно в ряд...

Он вернулся в землянку, разделся. Тонкий мякотьный слой жирка на животе и груди скопился недавно, еще не скрыл крепость Федорова тела. Ноги у Федора сухи, мускулисты и чуть косолапы.

Федор зажег свечу в изголовье. Он сбил для этой свечи специальную тумбу. Не мог не читать перед сном.

Читал Куприна. Взял его в библиотеке в Братске, месяца два назад. Понравилась толщина книги. Федор не

мог относиться серьезно к тощим, легоньким книжицам. Читать он любил подолгу, всерьез, до полного сожжения свечки.

Но, взявшись за Куприна, он вдруг забыл о весе, солидности переплета... Ему понравились «Листригоны», и «Поединок», и «Суламифь». За что понравились — Федор не мог объяснить. Каждый вечер он говорил Тоне:

— «Суламифь» — это чудная вещь. Клянусь честью.

Или так:

— «Поединок» просто чудесно написано. Вот я кончу, ты почитай...

Тоня читала и соглашалась с Федором. Но дочитать до конца «Поединок» никак не могла: всякий раз засыпала на полстранице, сморенная трудами дня.

Она раньше Федора залезала к себе в мешок. Колотухин сидел у стола, камеральничал, крутил арифмометр. Тоня снимала очки, кофту, а все остальное — в мешке. Федор не смотрел на нее.

Но в этот вечер он посмотрел. Тоня пришла поздно. Вся запыхалась...

— Ой! Чуть нашла рейку. Капа ее в прошлый раз в куст запрятала. А темнота такая — ну вот хотя бы что было видно... Обратно бежала, да на ручье запнулась... Страсть-то какая! На Рудной горе вроде кто-то плачет... Никогда больше не пойду ночью в тайгу. Я ее сроду боюсь... Хотя что мне говорите, Федор Гаврилович.

Тоня сняла очки.

Федор вдруг подумал, как ее портят глупые стекла. Глаза без очков глубокие, мягкие. Лицо нежное, продолговатое. Пухлые губы с трещинками...

Он лежал в спальном мешке, читал. Сказал Тоне:

— Ну вот, теперь все чинно в ряд. Рейка здесь. Завтра сделаешь «рубашку» для планшета... Добьем к воскресенью съемочку... — Снова взялся за книжку. Но положил почему-то.

— Тоня, — сказал он, — а в магазине-то много зарабатывала? Научилась облапошивать нашего брата? Или ты в промтоварном, у вас труднее?

— Да ну, — сказала Тоня, — труднее... Расчески привезут третьего сорта по двадцать копеек, а их первым ставят — по сорок пять. Надоело прямо. Скажешь чего-нибудь против — все на тебя так и шипят...

— Да-а, — сказал Федор. — Чудная вещь «Штабс-капитан Рыбников»!

Только не ладилось у него чтение в этот вечер. Опять повернулся к Тоне.

Ей нужно было что-то достать на полу. Створки мешка распахнулись. Федор увидел тонкую голую руку и грудь, крохотный темный сосок...

Тоня вскрикнула:

— Ой!

Нырнула в мешок, укуталась до подбородка. Свечной огонек двоился в ее глазах.

«Чего она смотрит?» — подумал Федор. Заволновался. Напомнил себе о своих тридцати шести. Сказал соответственно возрасту:

— Ну, чего прячешься? Я ведь старик. Лет бы десять назад из нас вышла отличная пара. Клянусь честью...

— Лет десять назад мне было рано об этом думать, — сказала Тоня серьезно, не шевельнувшись. И все не спускала глаз с Федора. Ее голова не клонилась на изголовье, а торчала над узким брезентовым ложем.

Федор повернулся на спину, глядел не мигая в набухший сырой потолок землянки. Вдруг сказал неожиданно для себя:

— А теперь пора?

— Не знаю, — сказала Тоня.

Федор громко вздохнул:

— Пора-а... — Еще помолчал. — Ты обязательно почитай «Штабс-капитана Рыбникова»... Ну, ладно. Спокойной ночи.

Он дунул на свечку, залез поглубже в мешок, оставил снаружи лишь левое ухо. Но долго еще не спал. Слушал, как шевелится в мешке Тоня. Переодевается, что ли? Думал о своей жизни... Что в ней осталось? С бабами, видно, все. Не тянет. Когда-то любил охоту. Привез ружьишко и нынче. Вон висит на стене. Так и не расчехлил ни разу. Рядом с ружьем — «Зоркий-ЗС». Снимал, проявлял, печатал прежде, а нынче пленку как вставил с весны, так и висит аппарат без дела. «Да, Федор Гаврилович, — думалось грустно, — ушли годочки. Осталась одна работа... Добьем мензультную съёмочку, переберемся за озеро... Камералки еще на неделю... Так...» Федор стал засыпать. Вдруг что-то вспомнил. Совсем уже сонный, не подымаясь, заговорил невнятно и быстро:

— Тося, ты спишь? Мерзнуть будешь — иди ко мне. У меня мешок полуторный. Ночь сырая все же. Простудишься... Тося...

Она молчала. Не было слышно даже дыхания Тони. Может, она боялась Федора? Может — себя?

Тикали двое часов. На ночь их не снимали с запястий. Тикали, гнали куда-то, лопотали косноязычно...

Утром отряд потянулся в горелый лес...

Володька шел в кепке, тощий, рыжий и конопатый парень с Кубани. Нес длинную рейку с красной и синей цифирью. Тоня и Капочка несли оптику в ящике с ручкой, планшет и зонт.

Федор шел впереди, простоволосый, в старой курточке, белой от времени и дождей, с ножом на правом бедре и сумкой на левом. Ступал он легко, но в то же время прочно и косолапо.

Кешку оставили дома: пусть ловит на озере сорожат.

Вылезли на сгоревшую сопочку. Каждый шаг взбивал жаркую, душную пыль — густой пепел. Сосны стояли, но были мертвы, черноноги, хвоя на них казалась ржавой жестянкой, погребальным украшением...

Федор выбрал место. Володька насадил зонт на жердину, загнал ее в землю. Поставил треногу с планшетом.

— Ой, а хорошо, — сказала Капочка, — вся мошка, наверно, сгорела, смотрите, нету совсем.

Тоня расчистила место, села у самых Федоровых ног на палую сосну. Достала тетрадку, тахиметрические таблицы. Такая у нее была должность — записатель.

Федор вырвал клоч на «рубашке» планшета. Маленький клоч, равный сопке и двум оврагам слева от озера. Той сопке, где стоял сейчас отряд Федора Колотухина. Можно чертить на планшете, наносить точки на ватман.

Володька отправился брать эти точки. Не женский труд — бегать по горкам с тяжелой рейкой. Не женский здесь нужен голос — кричать Колотухину издалека: «Бро-овка! Подо-ошва! Вер-ши-ина!..» И мужчины одного мало: по правилам мензуральной съемки два реечника работают попеременно.

В подчинении у Федора один мужчина — Володька. В помощь Володьке закрепили Капочку.

— Ой, — сказала она, — мы с Володькой уже третий год копим деньги. Поедем к нему на Кубань. Там фрукты, и вообще хочется посмотреть. Правда, я сама

машиную жизнь. А жизни и нет еще. Она предстоит поселку и кажется невозможно прекрасной, свежей...

— По новому типовому проекту строят, — сказал Федор. — Каждый дом на две квартиры. По две семьи будут жить. Просто прелесть. Клянусь честью! Помню, приехал первый раз, только и было тут населения — дед в землянке. Истребитель... Приехали в дикое место. Тайга — что ты! Плановое обоснование сделали, визиры прорубили, разбивку в натуре, пикетаж, нивелировку — все чинно в ряд... А если б не мы, что бы тут было? Без планового обоснования не начнешь строить. Вон уже поселок почти что готов... Молодцы гуцулы. Трудяги — что ты! С шести утра до десяти вечера каждый день... Видали, паверно, какие уборные оттяпали. Дворцы! Сядешь — и уходить неохота. Это же прелесть. Защелочки, крышечки, все не просто тяп-ляп, с узорами. Мастера-а!

Федор готов был долго еще говорить. Он знал толк в строительном деле. Всегда имел свой неприкосновенный плотничий топорик. Только нынче топорик лежал без дела под раскладушкой. Федор редко брал его в руки...

— Бровка-а-а! — донесся слабый Володькин голос.

...Пошел дальше рабочий день. Капа ушла сменять уставшего мужа. Шибко побежала к Володьке. Тот забрался далеко. Видеть его можно было только сквозь оптику.

— Ну, теперь не дожدهшься, — сказал Федор.

Крикнул вслед убежавшей Капе:

— Дашь мне точку на скло-оне, потом иди вни-и-из! — Нагнулся над прибором, стал глядеть в оптику. Долго глядел. Вдруг сморщился весь, закрутил головой. — Целуются, собачьи дети, клянусь честью. — Он обернулся к Тоне: — Посмотри, поучись.

Тоня поднялась, не выпуская тетрадь и таблицу, строгая в очках, приложилась к прибору. Близко, рядом совсем, в круглом стеклышке, перечеркнутом цифрами и пунктиром, виднелись Володька и Капа, и рейка стоямя между ними. Прибор пошутил над супругами. Головы были внизу, Володькина ниже, Капочкина выше чуть-чуть. Земля была сверху, на месте неба. Супруги казались крохотными совсем, рейка мешала им целоваться.

Это было смешно: два маленьких человечка целуются

вверх ногами. Но смеяться Тоне не хотелось. И подсматривать было стыдно. Она отошла от прибора.

Федор сидел на сосновом стволе, на Тонином записательском месте.

— Ну что? — спросил он и развел руками. — Ну что наша изыскательская жизнь? А полюбишь кого — и вся жизнь в розовом цвете.

Тоня повернулась к Федору, смотрела на него, седого, смуглого человека в белой линялой куртке, с ножиком на бедре. Она вдруг сняла очки, изменилась. Глаза ее раскрывались все шире, глядели доверчиво, близоруко. Губы вздрагивали чуть заметно. Ей хотелось слушать Федора. Она ждала его слов, для чего-то нужных ей.

— Да-а, — сказал Федор, — сколько ни стучай один, а девчонка свое возьмет. Клянусь честью. Ты Куприна не прочла, «Штабс-капитан Рыбников»?

— Нет еще.

— Там японский шпион описан. Мастер своего дела. Работал — дай боже! Все чинно в ряд. А как с бабой сошелся — сразу пропал. Тося!.. Иди сюда, Тося!

И она пришла, неудобно села подле Федора прямо на сучья, торчащие из стволины. Федор ее обнял и притянул поближе. Она не противилась, смотрела в лицо Федору. Он казался ей мудрым, могучим, самым большим человеком в мире, самым красивым.

— Тося, — сказал Федор, — ты молодец, Тося, клянусь честью. Без тебя невозможно бы было работать. Я бы спился с тоски!.. Что ты! — Он поцеловал ее.

— Федор Гаврилович! — Это Володька пришел. — Федор Гаврилович, ай-яй-яй... Смотрите, бурундук на планшет забрался. Сейчас прибор унесет. Федор Гаврилович!

Колтухин медленно оторвался от сохнувших Тониных губ, повернулся к Володьке, не снимая руки с ее плеч.

— Выйди отсюда, — сказал он. — Не видишь — здесь итээр.

Лицо у Федора было хитрое, косоглазое и счастливое. Казался он много моложе, чем прежде, в начале рабочего дня.

ЗАЕЗДОК

Сентябрь за Байкалом теплый. И комар за Байкалом нерасторопный, рыжий, басистый. Пока он повоет над ухом, присмотрится, выберет место послаще, пока пробуравит своим толстым жалом скважину в коже, пока присосется — только лентяй его не прихлопнет.

Теплынь стояла до самых двадцатых чисел, березы чуть тронула ржа. Дед Моха знал: совершится все скоро, в одну ночь пожелтеют березы, и обдерет их северо-восточным ветром, и тогда уже все. Дед не то чтобы думал об этом, он чувствовал это телом, костями, хребтом. Ребята тащили в костер валежник, сушину; смолье полыхало, вздымались искры. Ребятам нравилось спорое пламя.

Пользуясь светом, дед Моха рубил березу на чурбаки, таскал их подальше от костра, к своей землянке, и складывал в поленницу. Жил он отдельно от лагеря, вырыл землянку — барсучью нору у края поляны над речкой. Речка имела название Буй, бежала меж сопок, толклась на излучках, впадала в Хилок, Хилок — в Селенгу, Селенга же — в славное море, священный Байкал.

Дед Моха вырыл себе землянку против узкого места. В этом месте и ставить заездок. Дед научил, как поставить. Ребята срубили на крутизне здоровую лиственницу, лесина сама упала в реку. Тут ее изловили, приладили к ней две ноги и поставили посередь Буя козлом. Ребята здоровые, растелешились, лезут в студеную воду, как лоси. Остынут — сигают к костру и скачут, трясут бородами на сугреве, зубами стучат.

Дед Моха шурился, улыбался. Лицо у него смуглое да корявое, как кедровая шишка, все мохом поросло, сивой шерсткой. Замшелый дед, старый, потому и зовут его Мохой, настоящее имя забылось, не нужно оно никому. Только глаза у деда не то чтобы молодые, но острые, в узеньких прорезях меж набухших век — живые блескучие капельки. Змеячьи глаза.

— Ну, ребята, — приговаривал дед, — ну, кобели, падла-падлюка. . . — Такая была у деда присказка: «падла-падлюка». Его и звали когда Мохой, когда Падлюкой. — Остудите себе хозяйство-то. . . — приговаривал дед.

— Ничего, у нас крепко приварено, — отвечал Эдуард, изыскатель. — Мы, дедка, в сорок седьмом году мины тралили в Баренцевом море, на траверзе полуострова Рыбачий, и подорвались. Тральщик пошел на дно. Я двенадцать часов проболтался, пока подбирали. И ничего. А в море Баренца водичка похолодней.

— Ну конечно, — соглашался дед Моха. — Это конечно. Ваше дело молодое.

Дед рубил тонкостволый осинник на колья, на изгороду. Дед звал изгороду «бердо». Ребята сплывали по реке еще две лесины, скобами увязали их с опорой-козлом. Загородили реку, поставили лаву. Колья загнали в речное дно, часто, одно к одному, гвоздями приколотили к лаве. Река зашумела, стеснилась у этой неожиданной преграды.

— Во падла-падлюка, — сказал дед Моха, — гудет, как все равно Братская ГЭС.

Загородили реку осиновою изгородой, ни хариусу не пролезть, ни ленку. Дед Моха просовывал палец меж кольев, похваливал ребят, горячил их скорым богатым уловом:

— Нипочем не пройдет, бердо доброе. Ён там нажрался, хариус, вверху, там комар сильно скусный. Он там изюбря поедом ест. Кровяной комар. Хариус на ем жиру накопит. И ленок попользуется. Самая лучшая сейчас рыба. Скрозь бердо не пройдет. Вся наша будет. . .

Славный вышел заездок, браконьерская снасть, рыба погибель. Рыба еще и не знала, что ее ждет на дороге к зимовью, к глубинам Хилка, Селенги. Рыба резвилась пока на перекатах, ловила влет комара в верховьях студенной таежной речки.

Для рыбы оставили в частоколе окошко. К окошку приладили деревянный желоб с заглушкой. Рыба покажется вниз по реке, упрется в заездок, поищет окно и найдет. Тогда открывай заглушку и подставляй под желоб ведро. И черпай серебряную поживу. Пируй, веселись!

Ребята радовались построенной ими плотине. О рыбьей поживе они и не думали сейчас, любовались своей работой. Перекрытая, то есть покоренная ими, сибирская речка Буй гневливо урчала, пенилась. Быстро плыли по ней бледно-желтые тальниковые и золотые березовые листья. Вздymались валом над плотиной, плотина росла на глазах. И уже образовался на реке перепад. Подымалась вода в верхнем бьефе. Ребята обустраивали свое сооружение, настелили на лаве мостки...

Начальник партии Павел Арсеньевич выходил из своей отдельно стоящей палатки, косо смотрел на их работу.

— Сукины вы сыны, — говорил Павел Арсеньевич, — мало того что себе схлопочете срок за браконьерство, еще и меня подведете под монастырь на старости лет. А это чревато чем? Это чревато тем, что жена моя вынуждена будет идти в поломойки. Дети останутся без образования, вырастут из них архаровцы вроде вас... Ну на черта вам этот заездок? Конечно, в рыбе содержится фосфор. Поедание рыбы способствует умственной деятельности. Но для умственной деятельности что надо иметь? Надо иметь как минимум ум. Умные от рыбы умнеют, — философствовал Павел Арсеньевич, — а дураки еще более дуреют. Рыбу жрут примитивные люди, ихтиофаги, где-нибудь на Камчатке сидит дундук у реки дендeньской, как медведь, кету да горбушу лопают, а в башке пусто, как в кармане перед получкой...

Начальник партии, сказав свою речь, удалялся в палатку, к бумагам. Бумаги не радовали его. Можно бы ехать до холодов домой. Но два подъема на трассе превышали дозволенные градусы крутизны. Лесовозам с прицепами не подняться в такую круть без тягачей. Экономически это накладно, леспромхоз может и отказаться. Документы отосланы с нарочным, а начальник экспедиции что-то молчит. Того гляди — вместо премиальных, вместо ресторана «Байкал» в Улан-Удэ, вместо самолета ТУ-104 и отпуска с семьей у тещи в яблочно-грушевой хохлацкой деревне под Винницей, — того гляди, собирай

манатки, перебазируйся на реку Почуй да принимайся за второй вариант трассы. Ни чернички тебе, ни бруснички, белые октябрьские мухи злее черных сентябрьских, налязгаешься зубами в этом спальном, черт бы его подрал, мешке на рыбьем меху.

Павел Арсеньевич мараковал над пикетажными книжками, над планшетами мензульной съемки, прикидывал так и сяк, но подобраться к лесным массивам Буйской долины не удавалось ему без крутых подъемов и спусков. Гряды байкальских сопок не перепрыгнешь, не обойдешь. Павел Арсеньевич камеральничал в своей одноместной палатке, в вечернее время он зажигал свечу и становился виден ребятам сквозь стену и крышу палатки. Ребята прорубили трассу, поставили репера, угловые столбы, провели пикетаж, нивелировку. Теперь начальник партии думал за всех, и что придумает он, так и будет: ехать ребятам домой или мокнуть и мерзнуть в тайге до ноябрьских праздников, а то и до Нового года...

Ребята ловили рыбу, стреляли рябчиков, стирали носки, латали рубашки и взглядывали на палатку начальника. Однако вопросов не задавали. Рябчики сами летели под выстрел. И рыба бралась на крючок. И подосиновики всюду росли слоями, хоть косой их коси.

Местные люди смеялись, когда ребята брали грибы, жарили их на сковородке. За Байкалом красный гриб называют «волчьим». Съедобным грибом почитается тут только груздь. Повариха Аннушка не бралась жарить волчьи грибы. Ребята жарили сами. Дед Моха объяснял землякам эту прихоть приезжих людей:

— В России что вырастет, сразу в рот ташут. Ртов там хватает, а земля под города пущена. В городах все ходит туды-сюды, ошиваются. Улиток едят, караветками прозываются или как ли... Волчий гриб они вялят, по три гриба на нитку нанижут — за рупь продают...

Дед Моха в России бывал. Аннушка-повариха не езживала дальше Улан-Удэ. И муж ее Коля не езживал, только в армии отслужил на китайской границе. И трое рабочих, нанятых Павлом Арсеньевичем в деревне Кочурино на Хилке, прокуковали свой век в чалдонах...

Ребята выстроили заездок в полдня. Начальник партии не одобрял эту затею, но перечить не стал. Пусть ребята при деле. Без дела еще чего-нибудь учудят. Две

девчушки в партии, после десятого класса пошли подрабатывать. Рейку таскают...

Не то чтобы Павел Арсеньевич не доверял своим ребятам. Ребятам он доверял. И вообще опыт жизни привел его к мысли, что плохих людей не бывает, по крайней мере среди изыскателей. Люди делали свое дело, не жалея себя, не щадя, и, если когда случались за ними грехи, Павел Арсеньевич не торопился их осуждать. Он думал, что и сам ведь тоже не ангел, сам грешен. Путь человека по жизни неровен, тернист. Изыскательский путь пролегает к тому же в глуши, вдалеке от светочей разума и культуры. К совершенству надо, конечно, стремиться. Но пока достигнешь его, споткнешься не раз. Но надо стремиться. Так понимал Павел Арсеньевич свою обязанность начальника партии и человека.

Когда готов был обед или ужин, Аннушка стучала, обухом по ведру, созывала ребят. Павел Арсеньевич не заставлял себя ждать, приходил к костру, садился за стол, сколоченный из тесаных осиновых жердей, — небольшого росту, кубоватенький, плотный, с округлой, как дыня, головой, с толстым носом и толстыми же губами, в кирзовых сапожках маленького размера, в рубахе с закатанными рукавами. Сев к столу, он вкусно, споро прихлебывал борщ, отправлял в рот полную ложку кулеша с тушенкой, при этом держал застольную речь — под звучную музыку дружной, обильной трапезы, под шелест берез над головами.

— Что такое изыскатель? — спрашивал Павел Арсеньевич. И сам себе отвечал: — Изыскатель — это стойкий, мужественный, готовый выполнить до конца порученное ему дело мужчина... — При этих вступительных словах начальника партии девушки-речницы фыркали. Павел Арсеньевич продолжал: — Я к чему это говорю? Я к тому это говорю, что изыскатель не должен рассчитывать на благодарность людскую. Он мыкается полгода в тайге, оставляет семью без главы, без хозяина, не добывает того, что положено мужику от бога — по части женского пола... — Тут речницы опять фыркали. — Изыскатель в известном смысле подвижник, — развивал свою мысль Павел Арсеньевич. — Кто его гонит из теплого угла куда Макар телят не гонял? Никто не гонит. Белокаменных хором он своими трудами не наживет, «спасибо» ему не скажут, орденами не наградят, радику-

лит он себе заработает, да семья претензии предъявит. Только и всего. Так что ж получается? А получается то, что изыскатель — особенный человек. Рыба ищет где глубже, а изыскатель лезет в тьмутаракань. Вот взять хотя бы нас, нашу партию. Мы с мая в тайге. Сегодня у нас двадцать первое сентября. Сколько раз мы мылись в бане? Два раза. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы старались как можно скорее выполнить порученное нам дело. Мылись в ванне за нас начальник экспедиции и главный инженер проекта. Они прокладывали трассу на карте. Там все было гладко. А на поверку вышло не так-то гладко: три переправы, пара прижимов да пара подъемов под тридцать градусов. Вот теперь нам и скажут: молодцы, ребятки, хорошо поработали, но сделали не то, что нужно. Начинайте-ка все сначала. А мы что скажем на это? Мы выругаемся, конечно, в бога и душу, облегчимся, да и примемся за новый вариант. Дадим телеграммы женам, чтобы ждали к Новому году... И будут ждать, никуда не денутся. Изыскатель обязан довести начатое дело до конца... На то он изыскатель.

— Дурных нема, Павел Арсеньевич, — сказал Эдуард.

Стук ложек за столом поутих. Насторожились ребята, ошетинились. Дед Моха подвинул треух на голове, чтобы слышать.

— Да это я так, — сказал Павел Арсеньевич. — Бог даст, обойдется. Я это к чему говорю? К тому, что изыскатель должен всегда быть готовым к крутым поворотам, не тешить себя надеждой на легкую жизнь. Радостей нам выпадает всего ничего, да и тех мы не ценим, не умеем воспользоваться как следует быть, по-человечески... Я помню, давно было дело, в послевоенные годы. На Чусовой мы вели изыскания, проектировали сплавной рейд. Жили в богатом селе Плешакове. Мне и напарнику моему, Мише Станицкому, особенно повезло. Взяли нас на постой молодые вдовицы, солдатки. И жили мы с Мишей, как сыр в масле катались. Время голодное тогда было, мы с Мишей только вернулись с войны, шинелек еще не сносили. У наших хозяек коровы, овцы, куры, свинота разная, овощ на грядке свой, соленья, моченья. Рыбка тогда водилась в речке, не хек серебрястый, а стерлядь. Поотъелись мы с Мишкой, будки нарастили, воротники в наших гимнастерках не сходятся, надо пуговицы переставлять. Ну и мы тоже старались

в грязь лицом не ударить, держали форс. Крыши перестелили нашим хозяйкам, дров наготовили на зиму, занимались хозяйством, как подобает мужикам. Молодые были, силенок хоть отбавляй. И что же из этого получилось? А получилось то, что вроде как мы поженились. То есть променяли нашу вольную жизнь за рыжики соленые в сметане. У наших вдов ребятня. И ребятишки к нам привязались. Сезон отработали чин по чину. Объект у нас приняли. Прислали за нами маленький самолетик. Других дорог не было там, а те, что были, размыло дождями. Да. Зазнобы наши плачут, рыдают. Ну мы, конечно дело, утешаем их, обещаем приехать еще. Мужиков тогда нехватка была по всей стране, а в Плешакове чуть ли не каждый второй дом вдовый. Ну ладно. Как-никак порвали мы с Мишей наши брачные узы, наконец вздохнули свободно. Надоела нам эта семейная жизнь. Залезли мы в самолет, а бабы наши стоят на лугу, утирают слезы. На расставанье попотчевали нас самогоном как следует быть. Укладки нам снарядили, баночки разные, горшочки... Вот мы поднялись над нашими краями, Миша Станицкий кричит мне в ухо: «Давай их бомбить!» И что удумал: взял эту баночку поллитровую с ряженкой и шарнул вниз. Ну и я тоже за ним следом. Мальчишка, сопляк... Те испугались, бегут, подолы задрав, а мы их сверху — сметаной, солеными рыжиками... Ну конечно, прямых попаданий не допускали... Это я к чему рассказываю? А к тому, что люди не умеют ценить выпавшего на их долю добра. Их посадят к столу по доброте душевной, так они норовят еще и ноги на стол взгромоздить да похрюкать. Не потому, что они по природе своей такие неблагодарные твари, а потому, что воспитания не хватает. Вот то-то и есть...

Дед Моха слушал, ухо его процеживало слова, как заездок речную воду. В сознание дедово поступало лишь то, что нужно ему. Нужно было деду узнать, как скоро партия снимет свой табор и удалится. Чтобы остаться ему одному на берегу речки Буй над справным заездком, черпать рыбу ведром. Не первый сезон работал в партиях Моха. Одни партии рыли землю, другие дробили камень в хребтах, третьи рубили просеки. Все эти работы казались Мохе одинаковыми, зряшными. Следом за партией наезжали машины, сводили кедр, уходили звери и улета-

ли птицы, переводилась речная рыба. Даже брусники и красной смородины-кислицы не оставалось...

Дед Моха работал в партиях, рыл землю, выючил на лошадей ящики с камнями, рубил просеки, ставил угловые столбы, сиживал вместе со всеми за трапезой у костра. В разговоры он не вступал, в компанию не вязался. Для жилья себе строил землянку поодаль от лагеря и заводил в холодке тайный склад, запасался каким-никаким провиантом. Если плохо лежал на столе сухарик, кусочек сахара, Моха прятал это добро в карман. Иногда перепадала ему жестяная банка: сгущенка, тушенка. Иногда отсыпал он себе из початой пачки чайку. Подбирал кинутые ребятами веревки, шнуры от палаток. Ребята смеялись: «Что, дед, жизнь надоела? Повеситься задумал?» Моха щурил лицо в улыбку: «Да не... Ну ее к лешему. Так помру, когда надо...»

Дед Моха — дедом его почитали давно, с незапамятных лет, — работал в партиях, но жил своим, бурундучьим, беличьим интересом: приумножал запас провизии, рубил березовые дровишки для собственного костра. Когда-то он отправлялся в осень в хребты — колотить кедровый орех. Коптел над костром-серотопом, вытапливал серу из лиственницы. Потом сидел на базаре в Улан-Удэ, торговал каленым орехом, вязкой, пахучей серой — серу в Сибири жуют, как на Западе чуингвам. Давно было дело. В партиях Моха учил несмышленных и жадных до всякой таежной диковины приезжих ребят, как сделать колот и стучать по кедру, как построить заездок.

Начальники партий шпыняли его за то, что отвлекал ребят от работы. Но не очень шпыняли. Они понимали его не столько как человека, сколько как явление природы, таежный реликт наподобие шатуна-медведя. Разговаривая с дедом, они обязательно шутили, ерничали: «Ну что, дед, построил берлогу, теперь ложись на всю зиму да лапу соси»; «А что, дед, не подселить к тебе повариху?» Дед отвечал им в таком же роде: «Не... Я с бабами в одном помещении спать не могу. Они во сне лягаются».

Дед Моха старался не попадаться на глаза начальникам. Разговаривал он с ними при найме да при расчете. Однако, сидя в сторонке, он чутко слушал, что говорили начальники. Слова их были ненужные, зряшные. Он слу-

шал их единственно для того, чтобы не пропустить сигнала к отбою. Работа в партиях привлекала его именно этим внезапным отбоем, скорым снятием с табора. Работа тянулась длительно и тяготно, зато, когда приходило время сниматься, начальники первыми кидались рушить палатки, выучить, грузить добро на вездеходы.

Партии расставались со своими обжитыми таборами без сожалений, поспешно, с непонятным Мохе одушевлением. Куда торопиться? Где лучше? Или их перебрасывали незнамо куда, или им разрешали вернуться в Россию, домой. Ребята кидали, как богатеи, несношенные сапоги, портянки, чуть прожженные ватники, стеариновые свечи, нерасстрелянные патроны, спички, соль, мешки. В суете сборов они теряли справные топоры. Оставляли веревки, шнуры от палаток. Дед Моха припрятывал, что плохо лежало. Все плохо лежало, когда приходило время сниматься. Ребята делались заполошными, будто слышали зов, будто труба звучала из-за гор и лесов, созывала их к главному стану, к хозяину. Заслышав трубу, ребята увязывали манатки, ничто не могло их теперь удержать ни на день, ни на час.

Партии уходили, дед Моха оставался один на берегу, у заездка, подкладывал в костер березовые поленья. Они не давали большого огня, не фырчали, не стреляли искрами, зато горели долго и грели дедово тело. И даровых сухарей, чаю, сахару хватало деду до снега. Северовосточный ветер обрывал листья берез, налетали белые мухи, и вот тогда-то пер в заездок хариус и ленок. Дед вялил рыбу, сушил, солил, но главное, он оставался один-одинешенек в целой тайге — без досмотра, без шума, без ненавидимой им работы. Чего не любил дед Моха, так это людской колготы. Ради вот этого предзимнего месяца вольготной, бесхлопотной, одинокой жизни в тайге он и нанимался весною в ту или другую партию.

Зимовал дед Моха в никудышной, просевшей избе на задах деревни Кочурино один, бобылем. Вязал березовые метелки, сдавал в потребсоюз по пятаку за штуку.

Родом он происходил из семейской деревни. Его предков, семейских, царица Екатерина выслала из России в Сибирь — за раскол. Семейщина не смешалась с местными жителями, не рассеялась в просторах забайкальских лесов. Семейские мужики облюбовали для жизни места богатейшие, на берегах полноводных рек, свели

тайгу под пашню, выстроили — из лучшего лесу — широкогрудые пятистенные избы, по пять окошек на фасаде, разукрасили их деревянным резным узором.

Особые свои отношения с богом семейские воплощали в двуперстном крестном знамении. Однако сносить с богом им некогда было: донимали буряты, монголы и местные чалдоны не упускали случая причинить хоть какой вред пришельцам. Семейщина враждовала с соседями, жизнь ее на сибирской земле утверждалась в борьбе и разбое. Церкви так и не выстроились в семейских селах, зато каждую избу тут рубили, как крепость, острог.

Мужики отпускали бороды, покуда они росли. Зелья в семейских селах не пили, табакурство с годами не завелось. Если подавали захожему человеку испить воды, то в отдельном, поганом, ковшике. Время, столетия, в особенности годы двадцатого века, конечно, попричесали семейщину, подравняли ее, утихомирили. Самое слово это — «семейщина» — имеет ныне лишь исторический смысл. Но некий дух замкнутости, особенности, разбойной вольницы нет-нет и дает себя знать...

Как бы там ни было, Моха — тогда его звали Иваном — угодил за решетку совсем молодым. Пошли они втроем, три дружка, в хребты за Почуй шишковать. Шишки было богато. Наколотили, смололи, провеяли, спустили с хребта по восемь кулей на брата. В каждом куле по три пуда орехов. Самый ловкий лазить по кедрам был Петька Енакиев. Которые кедровые пожиги — те колотом били, на самые толстые да большие — рясные — Петька влезал, отряхивал шишку наземь, обирал кедр по самую маковку. Пока добывали орех, все шло дружно, а как принялись таскать кули вниз, Петька стал изгиляться: «Без меня, говорит, вы бы и по кулю не натрясли. Моя, говорит, половина — двенадцать кулей, а вы остальные делите». Третий с ними был Кешка.

Самый маленький, мозглый — Ванька, Кешка — так-сяк, а Петька — здоровый, рослый и ловкий. Он куль забрасывал на спину, бежал с хребта до самого низу без остановки. Кешка с Ванькой отдыхали два раза, так не могли пройти, ноги у них подгибались.

Всем им троем предстояло в зиму идти на военную службу. Петька Енакиев собирался проситься во флот, а Ваньке с Кешкой — одна хвороба куда...

Обидно им было, что Петька сильней да ловчей, да еще выставляет себя над ними, смеется. И решили они его проучить. Кешка первый сказал — так запомнил Иван, — Кешка первый: «Поучим!..»

Тропа сбегала с хребта к Почую, тут гора прижимала реку, река шумела внизу. Кешка с Ванькой снесли вниз по кулю. Петька вверх побежал, они поотстали и дожидались его над прижимом. Поднялись повыше тропы, отыскиали там вислый камень, живой... Величиною с чугуна, в котором варят картошку скотине. Притаились у камня и ждали. Кешка шептал: «Тебе больше всех надо было, вот и получишь...» Когда зашуршала каменная крошка под тяжелой Петькиной поступью, Ваньке сделалось страшно, он отшагнул от вислого камня... Кешка заматерился шепотом на него. Семейские села издавна славилась матерщиной. Матерились в них даже бабы и ребятишки... Дело вечером было, темнело уже. Петька показался внизу на тропе. Кешка двинул камень, и камень пошел...

Петька вскрикнул пронзительно, высоко, крик покатился вниз по обрыву и замер. Стала слышнее река. Ванька, чтоб не остаться в долгу перед Кешкой, толкнул другой камень, поменьше. И этот тоже пошел, загрохал. Туда, где исчез Петькин крик.

Ночевали они на горе в кедрачах. Утром нашли внизу под обрывом, в камнях, распоротый Петькин куль, орешную осыпь. Наверное, Петька за ночь добежал до села, поднял там своих двух братьев — старший недавно вернулся с флота, гулял в бескозырке с ленточками, в ремне с блестящей бляхой. Кешка с Ванькой рыскали в береговых тальниках. Тут они и увидели Петьку. Он лежал на спине, весь целый. Только кровь натекала из угла рта на песок. К тому месту, где лежал Петька, тянулся след. Петька сам дополз до тальниковых кустов, до песка.

Они увидели Петьку, и Петька их увидал. Он сказал одно слово: «Сволочи» — и замолк. Иван подхватился бежать, спотыкался, и падал, и снова бежал. Кешка его догнал на половине дороги к деревне. Он прихватил Ивана за грудь и тряс и страшал: «Если что скажешь, убью».

Ванька поверил ему, что убьет. Сутки, а может и больше, они сидели в чащобе, прятались от кого-то. Ко-

гда вернулись взглянуть на Петьку, с Петьки слетела ворона. Они снесли его к подножью обрыва, увязили в камнях. В деревне сказали, что Петька упал с прижима и убится.

Так бы все и сошло. Каждую осень в хребтах на кедровом промысле хоть кто-нибудь убивался. Но когда раздевали Петьку, чтобы помыть, нашли у него на груди, за пазухой, бумажку, повестку военкомата. На бумажке ногтем нацарапано: «Убили меня Кешка с Ванькой». Кешку с Ванькой взяли под стражу. Они врали, конечно, сколько сумели, насчет Петькиной смерти, но следовательно их раскусил, как поджаренные орешки. Ванька все рассказал, как было. Кроме своего, второго камня. Ванька валил на Кешку, Кешка на Ваньку. Получили они поровну. Когда их везли в «черном вороне» после суда, Кешка пообещал: «Убью. Хоть когда, а убью». Ванька поверил другу и после, сколько ни жил, всегда помнил об этом Кешкином обещании.

Вышел на волю он через четырнадцать лет, уже не Иваном, а Мохой. Срок его удлинился, поскольку однажды Иван убежал из лагеря, еще до войны, полгода мыкался в непригодной для жизни колымской тундре, потерял все зубы в цинге. Сам он явился и отдал себя в руки охраны. Отсидел весь свой срок и надбавку. Когда вышел на волю, то главным чувством его был страх повстречаться с Кешкой. В лагере Мохаслушался баек о разных дивных местах. Стал подаваться в Россию, поближе к теплу. Под станцией Невинномысской польстил-ся Иван на даровой арбуз на бахче, в чистом поле. Сторож его прихватил. Иван не давался, не хотелось ему возвращаться на казенный счет обратно в Сибирь. Порезал сторожа перочинным ножом. Пришлось возвратиться.

Во второй раз вышел на волю дедом, сивым мохом оброс. И уже не боялся встретиться с Кешкой. Думал: «Убьет так убьет, падла-падлюка. Леший с им».

Он думал о Кешке: Кешка толкнул вислый камень, и вместе с тем камнем ухнула вниз с обрыва Иванова жизнь. Кешка являлся в видениях зверем, чертом, нечистым. Становилось Мохе тяготно, когда он думал о Кешке. Не сладить с ним, нечистым. Давил он ему на плечи — не распрямиться, головы не поднять. Разве шею в петлю — веревки нынче хорошие, скользкие...

Отец Ивана погиб на войне, мать померла, сестра вышла замуж в Россию. Поселился он не то чтобы далеко от своей деревни, но и не близко, в Кочурине, на Хилке. Никто его там не помнил, не знал. Избу-развалюху он приобрел за двести рублей на старые деньги. Пробовал жениться, но ничего не вышло из этого дела: баба месяц с ним прожила и ушла.

Когда ребята у костра пытали деда насчет его прошлой жизни, он говорил:

— В лагере дуба давали которые мясные, в теле. У их организм нуждается в калорийном питании. А то-щему в лагере нипочем, даже в войну. Чем больше доходишь, тем оно и спокойнее. Ну ее к лешему, эту войну. Там вороны б тебя склевали. А тут похоронют, на кладбище увезут.

— Ну и гад же ты, дед, — возмущались ребята.

Дед улыбался:

— А меня всю дорогу кто гадом, то змеюкой, кто еще какой тварью наречет. Так положено в жизни: гадам под колодиной хорониться, чтоб палкой не прибили, а воронам на суку каркать...

Между тем река Буй сердито шумела. Все больше листьев несло, листьями забивало бердо, прибывала вода в верхнем бьефе. Ребята ходили смотреть, не принесло ли большую рыбу. Даже ночью ходили, светили фонариком. Но рыба не торопилась. Всего-то двух харизишек вынесло в желоб и одного ленка. Мокрые хариусы радужно сияли, переливались всеми красками. Они казались большими, крупными рыбами. Когда их бросили на берег, они высохли и погасли, сделались маленькими рыбешками.

Дед Моха топтался на берегу, как за прилавком на рынке. Зазывал ребят, обещался:

— Как гусь полетел, так и рыба сверху валит.

Гуси скрипели над головами, как тележные колеса на намазанных ступицах, но рыба не шла в заездок.

— Как листвяшка рыжим возьмется, — зазывал, обнадеживал дед, — так и рыба вся тут как тут. Самое это время. Вся наша будет, падлюка.

Лиственницы полыхали на сопках, щеголяли в праздничных лисьих уборах...

Павел Арсеньевич пришел на берег и обратился к деду с укоризненной речью:

— Брось, дед, заливать. Мы тоже, знаешь, не девочки. Не первый год замужем. Кое-что понимаем. Рыба когда пойдет вниз? Рыба тогда пойдет вниз, когда комара не станет. А комар будет болтаться в воздухе, пока его не накроет снегом. Значит, что получается? А получается то, что заездок построили для тебя одного. Сожрать всю рыбу ты все равно не сможешь — лопнешь. Значит, что? Значит, нечего воду мутить. Надо заездок разрушить.

Однако заездка Павел Арсеньевич не разрушал по своей доброте.

— Да ить это на Почуе рыба вверх застайвается, — горячился дед Моха. — На Почуе ей ить-то всего ничего. Там она за день скатится в Селенгу. Почуй скрозь сопки так прямо и прет. А Буй вихляется. Тут ей, считай, что полмесяца надо ить.

Ребята верили Павлу Арсеньевичу, но и деду тоже верили: все же здешний он человек, а в каждой реке у рыбы особый характер. Не столько ребятам хотелось рыбы на сковородке, а чтобы увидеть ее, потрогать руками, чтобы паслась, гуляла она в построенном ими садке.

Тут прискакал на коне посыльный из Кочурина, привез приказ начальника экспедиции сниматься, перебазироваться с Буя на Почуй. Эдуард взял в руки топор, замахнулся, задрал бороду кверху, вскрикнул:

— Эх! Убью всех!

Кинул топор; он летел, кувыркался и вонзился в березу. Береза дрогнула, посыпались с нее желтые листья.

Эдуард матерился не хуже семейского мужика. Он подступил к деду Мохе:

— Ну, падлюка, с тебя ящик водки. Обманул с рыбой-то! Тебе вся достанется! Куркульская твоя ряха...

Опять виноватый был Моха. И в молодые годы, в Иванах, он был виноватый — перед Кешкой-дружком, перед следователем, судьей, прокурором, перед охрой в лагере, перед сторожем на бахче, перед своей родимой деревней. Так и прожил он виноватым всю жизнь, и в дедах — опять виноватый.

— Я непьющий, — сказал дед Моха, морща лицо в кроткой улыбке. — Так и не научился ни пить, ни курить. У нас вся деревня такая. Мы — семейские...

— В тюрьме всем вам место, всей вашей семейщине, — сказал Эдуард.

Вскоре пришел вездеход. Ребята ринулись рушить лагерь и разрушили все дотла. Не осталось даже жилого духу. На месте красивых палаток, веревок с цветными рубахами и штанами валялись огрызки, оглодки, ошметки. Погас костер. Дед Моха сидел в стороне на корточках, наблюдал. Среди всякого хлама глаза его выделяли белый толстый капроновый шнур, длиной метра два. Вид этой веревки наводил его на какую-то мысль, неясную до конца, подспудную, но очень важную, главную мысль. Веревка выделялась в хламе своей новизной, белизной...

Когда погрузили имущество на вездеход, к деду пришел Павел Арсеньевич и спросил:

— Тебя как зовут-то? Хотя на прощанье познакомимся.

— Иваном звали, — сказал дед Моха, поднимаясь с корточек, хрустя костями.

— А как по батюшке?

— Савельич.

— Ты вот что, Иван Савельич, ты эту штуку свою, заездок этот, черт бы его подрал, разори. Я это тебе говорю не как лицо, облеченное властью. Я мог бы ребятам и приказать — вмиг бы все разнесли. Я это тебе к тому говорю, что возраст у нас такой, когда надо поаккуратнее жить. Без охулки. Ты немного постарше меня, я немного помладше, но, в общем, не первая у нас с тобой молодость... Мне рыбы не жалко, господь с ней, с рыбой. Мы дорогу сюда подведем, леспромхоз тайгу вырубят, рыбе и зверю здешним хана. Это факт. Ты о себе подумай, об имени о своем. Имя хорошее у тебя — Иван Савельич. Русское имя... Ребята ведь на каждом углу раззвонят про твой заездок. Нехорошо получится, некрасиво. Под суд угодишь на старости лет...

— Меня Мохом зовут, — сказал дед. — Тут и все мое имя. Трава лишайная. — Он взглянул на Павла Арсеньевича из-под напухших век мгновенным, острым, змеячьим взором.

— Ну и черт бы тебя подрал! — махнул в сердцах рукой Павел Арсеньевич. Утиным своим, вразвалочку шагом он подался к вездеходу. Вездеход застрелял синим дымом, страшно взвыл и пошел.

Дед Моха дождался, когда он совсем пропадет из

виду, и приступил к своей собственной, единственно милой ему, никому не видимой жизни. Он разжег неподалеку от входа в землянку костер, забил в землю рогульки, набрал в реке полный чайник воды и повесил его на огонь. Потом задумчиво покружил по развалинам лагерь. Взял в руки капроновый шнур, подергал его на разрыв, померял. Завязал на конце шнура петлю, накрепко затянул ее. Вдел в маленькую петлю свободный конец, получилась большая петля. Поискал чего-то глазами. Нашел. Поднял чурбак, на котором кололи дрова для костра, прижал к груди, отнес его под березу. Встал на чурбак, дотянулся до нижней толстой ветки. Накрепко привязал к ней капроновый шнур. Вдел голову в петлю, подпернул рукой, постоял так, с петлею на шее. Вынул голову, спрыгнул. Пошел к костру заваривать чай. Бормотал:

— Так-то ладнее будет... Есть куда сунуться, если что. Шнур добрый.

Дед Моха думал, что завязал петлю не по собственной воле. Для чего ему помирать, когда можно всласть попользоваться жирной осенней рыбой? Леший подкинул ему этот капроновый шнур. И по длине подходящий, и скользкий, не надо намыливать. В самый раз для петли. О боге дед Моха не думал, не веровал, знать он его не знал. Нечистую же силу признавал как сущую, необходимую первопричину всех неудач, ошибок и тягостей жизни. Кто попутал его толкнуть камень на голову Петьки Енакиева? Хотел он Петькиной смерти? Да нет же, совсем не хотел. Бес попутал. А кто ж еще? Кто его подстрекнул сигануть в чащобу во время лесоповала, под выстрелы охры и после давать стрекача трое суток без передыху — без смысла, без цели, без самой малой надежды спастись? Бес подстрекнул. Кто изломал, испоганил жизнь Ивана Савельича Силина, кто его превратил в деда Моху? Все он же, нечистый, падлюка... Вот теперь подбросил веревку. Дед Моха петлю завязал, чтобы нечистому угодить, поладить с ним. Но воспользоваться петлей он не торопился.

Ночью ему не спалось. Задувал ветер с северо-востока, молчавшие весь сентябрь березы всхлипывали и рыдали навзрыд. Урчала река в заездке. Дед Моха думал, что было бы, если бы Петька Енакиев остался живым, а он бы хряснулся тогда с прижима... «Так-то лад-

нее бы было», — думал дед Моха. Он представлял себе Петькину жизнь, но представить не мог. Что-то грезилось ему синее с золотым. Темно-синее. Он думал о море, но моря представить не мог, чуть-чуть не дошел, беспутал. Единственно, что рисовало воображение деду, — это контр-адмирала. Контр-адмирал приезжал к родителям, старикам, кочуринским жителям, — весь темно-синий и золотой. Контр-адмирал приходил к деду Мохе в избу и спрашивал про охоту и про рыбалку. Дед Моха невнятно, несвязно ему отвечал. Контр-адмирал напоминал ему чем-то Петьку Енакиева. Дед Моха боялся, не бес ли это снова шутит над ним. Контр-адмирал сказал ему наконец: «Ну, дед, тебя не поймешь без пол-литра». Он предложил деду выпить. Но водку пить дед не умел. Контр-адмирал посмеялся: «Да, сильна в тебе семейская жила. А я вот нарушил обет».

...Наутро дуло всюду, поливало дождем, срывало с берез последние листья. Раскачивалась на голом суку петля. Дед не взглянул на нее, не заметил. Он спустился к заездку, прочистил колом бердо, его забило за ночь листьями. Заездок еле держал прибывшую воду. Толклись у преграды хариусы и ленки, но пока что немного. Дед открыл заглушку, пустил их в реку — они поплыли вверх животами: глотнули воздуху.

День он провел в полудреме. Что-то ему немоглось. Обедать себе не варил, только грелся чайком. Маялся дед какой-то болезнью, а где, в каком месте она — не понять. Ночью слышал, как плещет, бурлит подошедшая рыба. Утром вышел к реке, увидел множество рыбы, но не обрадовался ей. Подумал, что если не выбрать рыбу, не прочистить бердо, то заездок прорвет. Он спустился на лаву, воткнул кол в живую, мятушуюся, стесненную массу рыбы, почувствовал биение, напрягшуюся силу этой массы. Хариусы выпрыгивали из воды, падали на лаву.

Дед Моха словно забыл, что делать ему, зачем это все. Какой-то новый звук вдруг возник в вышине. Дед поднял голову и увидел ястреба. Ястреб снижался. Вдруг стало темно, ястребиные крылья закрыли все небо. Высоко, пронзительно крикнул Петька Енакиев. Засмеялся контр-адмирал. Смех покатился по сопкам. «Убью. Хоть когда, а убью», — сказал в ухо Кешка-дружок. Ястреб коснулся когтями дедовой головы. Дед подумал, что теперь надо добежать до петли. Накинуть ее на шею, то-

гда печистый отстанет. Он побежал по лаве, оступился, упал в кишашую рыбой воду. Вода охолонула его, и сразу прижало деда к берду чем-то скользким, холодным. Дед напрягся, чтоб вырваться, но не смог. Он вцепился в бердо, но рыба была сильнее...

Когда повалило заездок и понесло, дед не чуял. Не стало деда, легкое тело его быстрой водой влекло до первой излучки. Там и осталось оно лежать в тальниковых кустах.

Нашел его Эдуард. Он прискакал на коне из Кочурина за рыбой, поскольку партии предоставили два банных дня. Эдуард снял с березового сука капроновый шнур, привязал им к седлу имущество деда — котомку, чайник, топор — и гнал коня до самой деревни.

Деда Моху привезли в Кочурино на вездеходе, похоронили на кладбище, насыпали холмик и поставили крест.

СЕСТРЕНКА

1

В двух километрах от моего дома течет по лесу река Сестра. Я прибегаю к ней утром и говорю:

— Здравствуй, Сестренка!

Речка мне отвечает сонно и ласково, умывает свое песчаное ложе, ополаскивает бережок.

С ночи вода темнее и гуще. В полдень зардеется дно. Солнце понижит реку, все понесется к морю: зной и студеность, потемки болотных настоев, жарко-багряная зыбь. Днем речка рыжая.

— Здравствуй, Сестренка! — В этот раз я поздоровался тихо и виновато. Я опоздал. Речка уже порыжела. Дорогой, около старого дота, мне повстречалась гадюка. Она волочила длинное, гладкое, гнусное тело, внятно шуршала листвою. Я поднял березовый прут и тронул змею. Змея навила два кольца, на них поместила голову, смотрела с безжизненным, капельным блеском.

Прут был короткий и хрупкий, а тапочки — с дыркой в носке. Я потянулся к березе сломать батожок похлестке. Гадюка ушла, втянулась под чурку. Чурка вся обомшела, срослась с землей. Ее держали корни, мох, брусничник, листья. Прорезалась колючая проволока, ржавый металл. Я все же качнул эту чурку. Открылось поддонье, пахло холодом, гнилью; змея лежала прямо, остро смотрела своим блестящим глазком. Казалось, это не глаз, капелька яда повисла, дрожит на змеиной головке.

...Лето как раз началось. Хрипло вещали кукушки: кху-кху-кхрр. Кликали страстно, словно зобастые голуби, словно апрельские селезни. Радость, предвкушение слышались в звуках леса; пахло чуть внятно сочной зеленой березой, живицей новых, еще неколких хвоинок. Малые птицы — синицы, малиновки, зяблики — пели, свистали, сплетали общий узор звучанья.

Змея шмыгнула в невидимый мне подлиственный мир и скрылась. Я ее не нашел. Долго топтался, палкой буравил землю.

Дело было в июне. Еще предстояло поспеть землянике. Вот привезут в этот лес мальчонку, он увидит у канавы висячее красное чудо на тоненьком стебельке... Еще предстояло грибу проклюнуться в старых листьях. И женщина вскрикнет, открыв этот малый подарок. Может быть, первый подарок за долгое время...

Или приедет инвалид на синей тележке с трескучим мотором. Машину загонит в ельник. Корзинку возьмет. Двинется тихо на костылях. Сядет вот здесь на канаве и что-нибудь вспомнит, увидит замшелую чурку, колючки металла, дырявую каску и дот...

Где-нибудь здесь же будет таскать свое долгое тело с острой, пронзительной головой, с каплями яда в глазах гадюка. Будет шипеть, ненавидеть, беречь свою жизнь и плодить гаденят. Будет в лесу опасность прямо среди земляники.

— Здравствуй, Сестренка! — сказал я речке уныло и виновато.

Солнце набрало силу. Солнце первого месяца лета. На нем нет пятен, нет розовой хмари, оранжевой спелости. Чистое, сильное солнце!

Река мне откликнулась птичьими голосами. Она свое сослужила. Была границей нашей страны. Сколько могла, стерегла наше левобережье. Что вышло крови, вражды — все смыла в море. Только на днище, замкнутое песком, торчит проржавевшее колесо от пушки. Весело и прохладно, без лишнего шума катится речка к морю, знает свое достоинство и дорогу...

Я быстро разделся и тихо вошел в студеную воду, в чистую, спорую, звонкую жизнь.

Мой товарищ, лесник, ушел в отпуск, уехал на Волгу. Я остался вместо него на кордоне. Охраняю лес от порубок. Но стоит мне самому взять в руки топор, оглаженное топорщице, стоит врубиться в сосновую белую косточку, услышать, как ломко и сочно хрустит древесина, стоит дорваться, почувствовать точность удара, соль на губах, катящий туман азарта... Пусть мне скажет объездчик: рубись! — такого я наломаю...

Это, может быть, древнее в человеке: лес рубить? А это — новое появилось: оберегать и жалеть деревья? Что во мне сильнее — древнее, новое? Когда слышу стук топора в обходе, вдруг опускается сердце в негодовании. Я бегу исполнить свой долг.

Мне нравится ставить столбы по обходу, вывешивать желтые доски с черными буквами: «Граждане! Лес — всенародное богатство», «Граждане! Охраняйте полезных зверей и птиц», «Граждане! Собирая грибы, не бросайте в лесу окурков».

Так было и в этот вечер. Я прихватил топорик, лопату, доски и пошел на берег Сестры. Давно мне хотелось поставить там столб и скамейку. А потом увидеть, как пришел человек и сел; не подумал, зачем и откуда такое сиденье, просто устал и сел...

Для столба, для скамейки-курилки можно рубить деревья. Я размахнулся и высек смоляную щепку.

Нахально каркнула сойка: «Ага!» Тонким, долгим и хищным кличем повестил о себе тетеревиц. Всполошилась желна, звонко залопотала. Радостный посвист стрелглаз пронесли над Сестрой турухтаны. Лес откликнулся топором и притих.

Я рубил, распахнув рубаху. Было так, словно надо окошко пробить в этот вечер, ввалиться, попасть в потаенное пиршество леса, земли, июня...

...«Волга» вылезла из березняка, ткнулась в мою делянку. Парень в белой рубашке сидел за баранкой. Рядом с ним девушка — тоже в белом.

Оба смотрели, как я рублю сосенку. Парень еще не решил, куда теперь ехать. Не ждал он встретиться в этом лесу, возле реки, с лесорубом.

Я долбил по стволу топором. «Волга» медленно, чуть шелестя мотором, пошла по просеке дальше, в леса.

Сосна упала, я окорил ее, раскроил на столбы. Действовать нужно было теперь внимательней, строже, не просто лупить топором, а думать. Я позабыл о «Волге».

И вдруг услышал шаги. Девочка в белом вышла к моей делянке. Стройная девочка. Тонкие каблукы вонзались в мягкую землю. Девочка шла неверно в городской обуви по лесной земле. Лицо ее было юно, мне показалось растерянным и, конечно, прекрасным. Только кожа у глаз поблекла от городской жизни.

Я ничего не сказал. Что тут скажешь?

Желтый цветок одуванчика рос у пенька в траве. Девочка быстро присела. Юбка ее обтянулась. Пальцы с лаково-красными коготками тронули стебель цветка, сломали его с заметным усилием. Длинные ноги были тонки.

Девочка встала, двинулась дальше. Следом за ней реденькой, валкой цепочкой протянулись темные лунки, козьи следы на песке.

Кругом стояли вековые сосны в корявых, твердых одеждах. Бежала к морю, звучала спокойно Сестра. Дальше, у той дороги, где шла сейчас девочка, около дота жила гадюка. Девочка шла, уходила... Может, догнать?

Девочка скрылась. Скоро в ольшанике громко зазвучал приемник. Музыка...

«Та-а-ак, — сказал я себе. — Возвратилась другой дорогой».

Я быстро закончил дело. Вместо пушистой сосенки встал окоренный столбик с желтой доской, а на доске — написание: «Граждане! Будьте осторожны в лесу с огнем». Скоро к столбику притулилась скамейка, я гладко остругал ее топором. Все вышло крепко, чисто.

Когда я увидел свою работу, мне не поверилось даже: как я смог, как все сделалось? Тюкал, тюкал топором, вдруг — скамейка! Можно сидеть и болтать ногами.

Я сел на скамейку и почувствовал шершавую прохладную твердость ее сиденья. Музыка смолкла. Появилась «Волга». Парень был один. Он остановился возле меня, прочитал написание: «Граждане! Будьте осторожны в лесу с огнем». Глаза его были темные, блестящие, расставлены широко, лицо открытое, смуглое. Хорош был парень.

Посмотрел на меня и спросил:

— Что тут за рубка леса?

— Зачем девочку отпустил? — спросил я у парня. — Ушла ведь? ..

— А-а-а! — сказал парень. — Не уйдет. Подберу на дороге.

Он резко включил скорость, и «Волга» пошла прикатывать козий девочкин след.

Я помылся в реке, попрощался: «Пока, Сестренка!» Пошел домой.

«Волга» не стерла след каблучков, только кое-где примяла. Я думал, что скоро погоня закончится. Вон у той елки. Или у дота. Может быть, на развилке...

Но лунки от каблучков все чернели на гладкой дороге. Девочка уходила одна. Строчка следов тянулась. Только б она не порвалась!

Возле развилки парень догнал свою девочку. Кончился козий след. «Полкилометра, — сказал я себе, — это предел гордости у современных девочек».

В лесу стало буднично, тускло. Я шел серединой дороги. Посматривал, правда, что-то еще искал, хотя знал, что напрасно.

Вдруг увидел на песке след копытца.

Я его сразу узнал.

Козий след отпечатался на машинном следе. Парень уехал, девочка осталась одна в лесу. След вывел меня к асфальту. Там потерялся.

«Все в порядке!» — сказал я себе.

Вечер уже наступил. Облака протянулись на небе вслед за скатившимся солнцем. Небо над провалом накалилось.

Около дома объездчик пас своих коз. Он воевал когда-то в этих местах, знал каждый виток колючки в любом квартале объезда. Носил военные брюки, старую гимнастерку, брился редко. Вечно курил, и казалось — мужик дымится, сгорает на работе.

— Василий Михайлович! — крикнул я объездчику. — Вы не видали, здесь девушка не проходила?

— Нет, не видал, а что, знакомая тебе?

— Да шла тут одна. У ваших коз копыта потолще, чем у нее каблучки.

— Что ты говоришь? — сказал Вася. — Боже мой. Это надо ж-же. До чего только теперь не додумаются...

След на лесной дороге сохранился до первых ливней. Каждое утро я улыбался ему и говорил: «Здравствуй, Сестренка! Держись!»

3

Летом к Сестре приезжали люди на разных машинах. Однажды приехал автобус. Он был синий и тупорылый, принадлежал учреждению с невнятным заглавием — УПКО. Шесть дней в неделю автобус справлял неизбежный в хозяйстве города труд: он служил катафалком.

В воскресенье на нем приехали в лес незагорелые люди, главы банных, гостиничных, прачечных предприятий. Главы вместе с подчиненными.

В дороге все пели «Подмосковные вечера», «Я люблю тебя жизнь» и другие песни. Полная женщина в тесном купальном костюме сразу же по приезде тронула воду в речке белой босой ногой.

— Вода стерильная, — громко сообщила она. — Можно принять ванночку. Только не сразу. Я сначала приму воздушную ванночку.

Незагорелые, блеклые люди, прошедшие лето в своих коммунальных делах, быстро разделись. Сестренка помыла их и взбодрила. Песок был жаркий и чистый, покалывал кожу. Взрослые люди стали как дети. Они изумлялись, смеялись и лопотали, играли в карты, в мячик, собирали грибы, ромашки. Они совсем позабыли, что это бывает в мире: лежать, протянувши ноги к звонкой реке.

Шофер автобуса был немолод и основателен. Он привез с собой кучу бельишка. Постирал. Натянул веревку от столба с желтой доскою к сосне, повесил рубашки и простыню. Прилег на скамейку-курилку, но не курил, а читал.

Я рад был увидеть свою скамейку в этой роли шезлонга, а столб в служенье опрятному быту. И рад был людям. Пусть они загорают в моем обходе! Только бы веников не ломали.

Но кончилось воскресенье, утром новой недели я вышел к Сестренке, в место наших положенных встреч. Река заметно изменилась. И все изменилось. Березки возле воды были срублены, кинуты через реку. Кто-то хотел перейти Сестренку, ноги не замочить. Трава была вмята. Всюду валялись газеты, наклейки от пива, окурки, огар-

ки, следы неумения разжечь костер, следы торопливой жизни сроком в единственный день.

Мне показалось, что Сестренка стала медленной, мелкой речкой.

Кто-то сломал скамейку-курилку. В желтую доску всадили заряд дроби.

Я немного прошел по обходу. Скучно сделалось. Плохо.

В траве у дороги ползла гадюка. Я подумал, что пусть ползет, все равно.

Вскоре ударили ливни. Сестренка, поднявшись, спихнула мостик, помыла берега, вздохнула и зазвучала, как прежде. Песок стал рассыпчатым, пыль исчезла. Трава воспрянула. Лес стоял промытый, казался выше, темнее, затих. Настала пора созревания.

Прошел еще месяц. Дохнуло теплом августовской кухни. Готово, созрело, припело варево лета. Пора к столу! Тончайшим смешением специй, грибной боровой приправой, горько-сладким дымком пахла теперь земля. Брусника порозовела. Птенцы поднялись на крыло. Осень чуть подсинила воздух.

Стало больше машин появляться в обходе. Люди теперь не думали о загаре, спешили, работали, обирали бруснику, искали грибы.

Я тоже брал с собой в лес корзину. Сам я не жарил грибов, таскал их до первой встречи. Мне часто встречался застенчивый инвалид. Он приезжал раньше всех за грибами на стрекотливой таратайке. Прятал ее за дотом, шел по лесу на костылях, сшибал поганки и мухоморы, щупал валежник, брал сыроежки, горькухи и ситники. Свинуху почтительно величал черным груздем.

Я приносил инвалиду подосиновый гриб, обабок, даже боровичок. Он стеснялся:

— Что вы, берите себе. . .

— Ну, мне-то хватит. . .

Я съездил с попутной на пилораму, привез две доски. Заново сделал скамейку, потолще, покрепче прежней. Долго сидел на новой скамейке, болтал ногами и думал о лете.

Лес загода скидывал первые желтые листья.

В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Скоро зацветут яблони. Их стволы уже побледнели, просветлели от идущего под сизой кожицей сока.

Скоро зацветет черемуха в овраге. Весь овраг опять станет белым, как в феврале.

— Это будет просто страшно как хорошо, — сказала девушка Таня, уборщица из Дома отдыха, где я теперь живу.

— Это холодно, — сказал я. — Когда цветет черемуха — холодно.

— Не вам бы об этом говорить, — сказала Таня. — Такие молодые, а боитесь холода.

Мне тридцать лет. Я еще молодой. Мне нравится смотреть на Таню и вот так легко, незастенчиво с ней говорить. Я начинаю о чем-то жалеть. Мне жалко женской любви, которую я не заметил, а сейчас, вспоминая, вижу ясно, в которую я не поверил, которой испугался или не подпустил к себе, — всякой любви. Ведь она не так часто ко мне приближалась.

Я вспоминаю девушку Люсю и город Гродно, в котором она жила. Я снимал у ее матери комнату с пансионом на улице Кутузова и работал в газете «Гродненская правда». Я только начинал работать после университета и был влюблен не в Люсю, в другую девушку, которая училась вместе со мной недавно, а теперь поехала в Гудауту, на Черное море.

Люся тоже кончила институт, и скоро ей надо было ехать на Север, в поселок Никель, преподавать в школе

историю. А пока она жила у матери в Гродно и не спешила уезжать.

Гродно был вишенный город, но стоял июнь, и крепкий запах цветенья, владевший городом в мае, постепенно уступал место другим, душным запахам. Они набирали силу. Нахально несло пропастиной возле кожфабрики, мимо которой мне надо было ходить каждый день. Фабрика сигарет далеко повешала о себе слабеньким, щекотным и сладким табачным духом. Пахло пылью, нагретым камнем, листьями, теплым, удобным городом.

Я знал все эти запахи. Это были запахи работы, деятельной, идущей жизни. По утрам они тревожили меня и подгоняли.

Я вставал в половине седьмого, брал полотенце и бежал за два километра на Неман. Все еще спали на улице Кутузова, только гуси ходили строем, взглядывали на меня ненавидящими змеиными глазами, наставляли клювы и шипели.

Я бежал через рожь, светлеющую, свежую, не обсохшую с ночи, прыгал через шоссе, через канавы и окопы, вырытые посреди сосняка на берегу Немана. Сосняк был высокий, пепельно-ржавый и строгий. Берег был тоже высок и отвесно крут. Все было четко и резко нацелено в небо. Казалось, во всем есть чеканный металл. И Неман тоже был проржавевший, как брус железа, солнечно-рыжий, мутный и быстрый.

Я спускался с обрыва, раздевался, брал в руки камень и выжимал его до тех пор, пока начинало покалывать в сердце и сохнуть во рту. Тогда я прыгивал в Неман и плавал. Я делал все это не потому, что был спортсменом. Я думал о той девушке, что поехала в Гудауту. «Мне надо быть достойным ее, — думал я. — К ней надо идти трудными путями, по пояс в снегу, падать и подниматься снова. Ее надо заслужить. Она самая прекрасная в мире. Чтобы сметь прикоснуться к ней, надо быть сильным, надо быть настоящей мужчиной». Я был тогда крепким, поджарым парнем, но разглядывал с отвращением свои ноги. Они представлялись мне слишком тонкими, и я начинал приседать на одной и на другой поочередно. Мои плечи казались мне непростительно узкими, а живот мягким.

Я каждое утро бегал к Неману и думал, что скоро

уже стану сильным и заслужу себе право поехать в Гудауту. «Право на счастье» — я так это называл.

Уходя в редакцию, я не завтракал, а лишь пил чай с хлебом, экономя деньги на поездку в Гудауту. Идя мимо, я заглядывал в комнату, где спала Люся. Она лежала на большой семейной кровати, смотрела на меня неосмысленно-добро, как смотрят со сна. Глаза ее были, как вода в Немане, солнечно-ржавые, карие. Приподнятые у висков, они имели странный, нерусский разрез.

Ночная розовость щек крепко спаялась с веснушками, лицо было жарко-смуглым, округлым и крепким. Люся была наполовину полячка.

— Я слышала, как ты ушел, — говорила мне Люся. — А потом пришел. Я тоже хотела с тобой на Неман, но мне ни за что не встать. Какая у тебя крепкая воля!

Я самодовольно усмехался и топтался на месте.

— Какой ты сегодня красивый. . .

Я уходил в редакцию, шел пешком, экономя деньги. Я очень старался работать, заказывал по телефону районные центры и села, имевшие странные имена: Желудок, Жидовщина. . . Волнуясь, смущаясь, стараясь казаться небрежным и деловитым, спрашивал фамилии косарей, доярок, трактористов, председателей и парторгов. Потом долго выискивал до меня уже найденные слова и писал заметки. Напротив за столом сидел литсотрудник Роман Кашуткин, застенчивый, загорелый тридцатилетний парень. Он тоже заказывал телефоны, писал о косарях и председателях и при этом скучал. Я сочувствовал Роману. Помочь ему, его преклонным годам было нельзя. После, когда пришло время получать деньги, я вдруг увидел, что за его заметки деньги назначены мне.

— Роман, — сказал я, — это же твое.

Роман изогнул свои брови так, что они стали похожи на хоккейные клюшки. Он застенялся и сказал:

— Тебе же ведь ехать на Кавказ. . .

Все знали, что мне туда ехать. Я всем успел рассказать.

Дни для меня проходили в трудах. Я писал о сенокосе, о ремонте пединститута, о спектакле «Два капитана», о выставке в честь Льва Толстого, о постройке зерносушилок и об уходе за яблонями. Мне очень нравилась эта работа, я гордился ею.

Обедать я тоже ходил пешком. Запахи нарастали

к полдню, мешались, теряли границы. Они лезли в нос, раздражали. Путь становился длиннее и жарче. Марья Казимировна, мать Люси, кормила меня супом без мяса и пареной свеклой.

Ночевать я приходил в десятом часу. Шел усталый, медленно, плотно ступая, как ходят много работавшие днем люди, чувствовал рыхлую росную землю под ногами, мягко теплеющую ночь, все ее запахи.

Электричества в доме не было. Двух ламп не жгли. Люся сидела в моей комнате и читала по-польски Элизу Ожешко. Она приносила мне литр молока, который тоже входил в пансион. Я пил молоко спокойно, словно дома с женой. Люся взглядывала иногда и улыбалась черными в свете лампы глазами.

— Ой, знаешь что, — говорила она, — пойдем купаться на Неман. Там сейчас такая луна... И сосны... И ни души нет... Пойдем.

И мы пошли. Это было всего один раз. Мы спустились к Неману. Люся сказала: «Не смотри». Я не смотрел. С воды несло мозглой, сырой, туманной знобью. Я повернулся к Люсе. Она стояла не шевелясь, была вся теплая, домашняя, чуждая мокрым камням под ногами, жидкой, текучей, зябкой реке, всей этой ночи. Казалось, сейчас она остынет. Казалось, надо ее сберечь, угреть, обнять и укрыть руками, грудью, всем телом. Я захотел этого с томящей, неистраченной страстью своих двадцати трех лет.

Я подвинулся к Люсе немного, как слепой, протянул вперед руки, но все-таки удержался, заставил себя удержаться. «Я себя победил, — подумалось вяло и нерадостно. — Я себя сохранил». Мы не сказали ни слова друг другу в тот вечер. Идти с Люсей рядом к дому было мне тошно.

Ночами я писал заметки в газету, а совсем уже поздно писал письма в Гудауту. «Родная моя, ненаглядная, любимая, — писал я, — вечером я ходил купаться на Неман. Я понял, что больше без тебя не могу. Мне больше не вынести этих сосен, и этой луны, и этого Немана без тебя. Я тебя люблю...»

Люся читала Элизу Ожешко и смотрела, как я пишу. Я ложился и засыпал, а она все читала... Было так, словно это мой дом, покойный, надежный, с любящей верно и долго женой.

Днем я ходил на почту, и девушки выдавали мне письма из Гудауты, не требуя моего паспорта. Я брал письма у девушек и быстро их уносил. Я нес их, как носят стаканы с дымящимся чаем, обжигая пальцы, страдая и спеша. Иногда я мог донести их всего лишь до подоконника, иногда доходил до каштана, что рос возле входа на почту. Пальцы мои заплетались, немели, когда я вспарывал конверты. Меня обдавало нестерпимым предчувствием счастья и страхом. Ломило в висках, и сердце, зашедшись, дрожало с томительным звоном. Я читал еще первые строчки, но уже заглядывал дальше, боясь, что все это кончится скоро, и радуясь, что еще много строчек ждет меня впереди.

«Здравствуй, мое солнышко, — писала мне девушка из Гудауты. — Море здесь такое теплое-теплое, как компот. Просто невозможно. Я плаваю кролем и по-всякому, и разные личности пытаются меня догнать, но ты ведь знаешь, как меня догонять на воде. Даже ты, такой мощный парень, самый мой любимый, не мог меня догнать на воде и все расстраивался по этому поводу. Я же видела. Но теперь я бы не стала от тебя уплывать. Я бы на тебе повисла и никуда не отпустила.

Завтра двое молодых абхазцев обещали сводить меня в горы, в коневодческий совхоз, и показать лошадей. Если бы ты знал, сколько в этих абхазцах мягкой, кошачьей ловкости, как они вежливы и какая в них чувствуется скрытая страсть.

Я очень жду тебя, мой единственный. Я постараюсь загореть к твоему приезду».

...Позже, чуть-чуть остыв от первого прикосновения к строчкам, я много думал о тех двух абхазцах. Я представлял себе, как ночью приду к дому, в котором живет моя любимая девушка в Гудауте, и буду стоять под деревьями и ждать, как она выйдет с абхазцем и будет его целовать, как я появлюсь, спокойный и яростный, как я ударю абхазца кулаком прямо в глаз. Я видел, как все это будет, и даже чувствовал боль от удара в костяшках пальцев, сжатых в кулак. «Ее я не трону, нет, — говорил я себе. — Я никогда не ударю женщину. Это слабость — бить женщин».

— Вот так, Люсенок, — говорил я вечером. — Разве нас любят? Нет, не верю я ни во что. Ни во что, понимаешь? Я тут бьюсь за каждую копейку, чтобы поехать

к ней, а ей ведь это не надо. Ей надо совсем другое. — Я мысленно видел абхазцев, смуглых людей с жесткими волосами.

— Ты не прав, — говорила Люся серьезно. — Она тебя очень любит. Разве можно тебя не любить?

Она смотрела на меня долго и говорила:

— Пойдем в «Неман». Мы не будем там ничего брать. Просто выпьем кофе и потанцуем немного. Ну пойдем...

Я колебался, думал о своей решимости не поддаваться соблазнам, жить только своей предстоящей поездкой, только предстоящей мне любовью и говорил: «нет».

Люся читала Элизу Ожешко. Я пил молоко. Мне становилось спокойно. Я засыпал.

Но раз Люся не пришла вечером, и я не заснул, а долго лежал, удивляясь тому, что не сплю. Спалось мне всегда хорошо, — я был молодой, в меру усталый, верил, главное, в свою правоту, в правильность своей жизни. Но тут заснуть я не мог, вставал, глядел в окошко, вдыхал прохладные запахи ночи, трогал руками растущие близко мокрые жасминные листья и чувствовал все яснее, что заснуть мне нельзя до тех пор, пока нет в доме Люси. А она все не шла, и мне становилось тревожно и даже как будто бы больно, хотя все это было совсем ни к чему, просто глупо. Но спать я не мог. Мне ее не хватало вон там, за столом, не хватало ее глаз, всегда готовых смотреть на меня и ласково улыбаться, не хватало уверенности и покоя.

Я ее жестоко бранил, шептал шипящие, злые слова, я ее ревновал, ненавидел и ждал. Едва слышав шаги у калитки, я сел на кровати, заволновался, затосковал. Что-то там говорили, чему-то смеялись, потом молчали, и мне казалось — слышен чмок поцелуев. Я не сдержался и вышел во двор, словно по делу, по срочной нужде; не глядя, пошел куда надо. У калитки притихли и, наверное, смотрели, как я иду. Я же не смотрел, ничего не увидел, вернулся в дом и лег. Вскоре, тихо пристукнув дверь, прошла коридором Люся. Я опять не удержался, опять сел на кровати, позвал:

— Люся!

Она не пришла. Я снова позвал:

— Люся!

Она появилась в двери, остановилась, потом медленно, белея платьем, подошла ко мне.

— Люсенок, — пробормотал я. — Иди сюда... — Я взял ее за плечи, за шею, за курчавую голову и потянул к себе. Я хотел снять с нее платье, но сразу запутался в крючках и застежках, застеснялся и бросил. Я целовал ее в губы, и она подставляла их снова. Как она жарко, коротко, близко дышала, как она закрывала глаза и слабела, как крепко я прижимал к своему лицу ее пылающее помягчевшее лицо...

Но мое чувство не было полным и сильным. Оно убывало. К нему примешались брезгливость, и жалость, и горечь утраченной веры в себя. Я остро ощущал чуждость Люсиных натянувшихся сохнувших губ. Ощущения чуждости и жалости нарастали. Я вдруг понял, что больше не хочу целовать Люсю. Она все тянулась губами, а я отворачивался и только обнимал ее, подменяя нежность простой силой мышц. Я весь затаился, словно отрекся от себя, от своего тела, от своего места вот здесь, в этой комнате, и во всей этой жизни. Только глубоко-глубоко где-то, напрочно спрятанный, никому не известный, бился комочек сознания, всегда готового оправдать, простить все, даже то, что нельзя оправдать. В этом комочке отдавался прищелк ходиков с заминкой на первом такте: т-тю-пи, т-тю-пи... «Я победил... — означал этот звук. — Я удержался. Все пройдет. Все останется прежним и даже будет лучше. Я жив и молод. Я знаю дело. Жить мне и жить...»

— Что ты стал такой? — сказала Люся, обижаясь и раздражаясь.

— Да так что-то... — сказал я.

— Совсем как бревно...

— Да, — сказал я и ждал, когда Люся уйдет. Она повременила еще, потому что — я знал это — уйти было стыдно. Но я не мог, не хотел ей помочь, а только ждал. Люся ушла.

Комочек внутреннего моего, потайного сознания разросся заметно, подчинил себе понемногу мысли, и чувства, и тело.

— Как это все ненужно... — сказал я шепотом. — Но ничего, ничего, ничего.

Больше мы не целовались с Люсей. По вечерам она уже не читала Элизу Ожешко в моей комнате. Я стал писать еще больше заметок в газету. Дело шло к осени, и я писал о комбайнах, о крытых токах, о молотилках и веяльных агрегатах. Мои письма в Гудауту стали корот-

кними. В них говорилось лишь о том, что скоро, теперь совсем уже скоро, мы будем вместе.

Люся наконец решилась, поехала на Север, в поселок Никель, преподавать историю в школе. Я проводил ее на вокзал и заодно сдал свой чемодан в камеру хранения. Не мог я вернуться на улицу Кутузова. Слишком там стало теперь пусто, тоскливо, утомительно тихо.

Я еле дождался, пока тронется Люсин поезд, ксе-как улыбнулся Люсе, а через неделю уже ехал сам.

Я поехал сразу, как только спала уборочная горячка и редактор дал мне десять дней без сохранения содержания. Я не стал даже ждать сочинского поезда, а сел на ближайший — минский. Я стоял всю ночь в тамбуре, и смотрел в окошко, и чувствовал лишь одно: двигаюсь, еду. Не знаю, что было бы со мной, если бы я не ехал. Наверно бы, шел, или бежал, или сел на машину, или в телегу, или в лодку, или куда-то еще. Не двигаться я не мог. Я испытывал страх за свою любовь, за ту, что ждала меня в Гудауте. Мне надо было ее удержать, утвердить, изведать. Я хотел отдаться ей весь, сейчас же, со всем, что имею, — с деньгами, что я заработал за лето, с первым мужским опытом службы, с силой, что я накопил, с желанием искупить свою слабость, очиститься и с готовностью к счастью.

Я ехал на многих поездах — на харьковском, на ростовском и на каком-то еще. Как всегда, билетов не было в кассах. И все же я ехал. Проводники меня пропускали. Наверное, такое у меня было лицо, что нельзя не пустить.

Я доехал до Гудауты и ночью, в кромешной, аспидной тьме, пришел к двухэтажному дому, означенному тем адресом, что я писал на конвертах все это лето. Я стукнул в калитку, вышла грузинская женщина, и я сказал ей имя девушки, которая ждет меня здесь, в этом доме. Женщина ушла, заворчала, я остался стоять, облокотясь на низкий забор, и сердце мое толкалось редко, глухо, издалека.

...Она появилась вместе со светом в дверях, быстро нашла меня в темноте, подбежала. Лицо ее было темным, а платье светлым. Вот все, что я видел и знал в ту минуту.

— Ой, это ты, — сказала она. — Это ты... Я думала, ты приедешь послезавтра.

— Да, — сказал я. — Я приехал сегодня.

Мы поцеловались. Почему-то она не открыла калитку, а осталась там, за забором. Я не мог прижать ее к себе, а только сквозь щели в заборе чувствовал ее тело. Мне показалось, что оно стало не таким, как раньше, а будто бы опытной. Я вспомнил абхазцев. Мне стало вдруг неудобно.

— Ой, — сказала она, — что же делать? Ко мне нельзя. Уже поздно. Здесь такие хозяева, это целая хохма... А ты и с мешком. Бедненький мой... я думала, ты приедешь послезавтра.

— Ну, что поделать, — сказал я.

— Да нет, ты не подумай... Я очень рада. Очень... Только где же тебе ночевать?

— Где-нибудь переночую.

— Ну, пойдем, я тебя провожу.

Мы пошли. Я ее обнял немного и шел молча, чувствовал, как в горле горячо и обильно родятся слезы и душат.

— ...Приехал, — сказала она. — Ну, это очень хорошо. Надо же, приехал. Я хотела тебе подыскать комнату, да так и не собралась.

— Ничего, — сказал я. — У меня много денег.

— Пойдем посидим, — сказала она. — Я знаю такое местечко...

Мы сидели на досках. Я был усталый, спокойный и очень несчастный. Я попытался обнять ее крепко.

Она сказала:

— Не надо.

Тогда я достал из мешка папку с газетными заметками, написанными мной за лето.

— Вот, — сказал я. — Без меня «Гродненской правде» пришлось бы туго.

Она полистала заметки и сказала:

— Да, много ты написал...

— Чепуха вообще-то, — сказал я и быстро спрятал папку.

Луна поднималась, и вместе с ней холод. Пахло остро и чуждо южной землей, южными травами и кустами, южным морем, камнями и черной, стынувшей ночью.

— Ну, я пойду, — сказала она виновато. — Ой, просто не знаю. Нехорошо-то как... Как же ты будешь здесь? Приходи ко мне сразу же утром. У наших хозяев колоссальное вино. Я каждый день покупаю бутылку.

— Иди, — сказал я. — Иди. Ничего.

Она ушла. Я остался на досках. Сел, поджал к подбородку колени, чтобы было теплее, и сидел так, не плача, но все равно как если бы плакал.

Я женат на той девушке уже седьмой год.

Мне тридцать лет. Скоро зацветут яблони. Это будет так хорошо, что мне вдруг чего-то становится страшно.

ЛЕБЕДИНАЯ ЖИЗНЬ

Они пролетели над Азией и Европой, над такими людными городами, как Ереван, Мелитополь и Ярославль, но их почти никто не увидел. Они летели без крика, без свиста крыльев, без гоготанья или курлыканья, вдвоем высоко над землей, в апрельское, зябкое время. Встающее солнце окрашивало им белые подкрылья.

Двое лебедей летели с теплой, сытной и безопасной зимовки в тростниковых плавнях под Ленкоранью на дальний, едва оттаявший после зимы, весь зыбкий и водянистый Север.

Лебеди летели отдельно от быстрых, кружливых, нахлестанных охотничьей дробью утиных звеньев. Попутные караваны гусей догоняли их на небесной дороге — одной для всех перелетных птиц, — но лебеди подымались выше и растаивали в небе, как дымки от реактивных самолетов.

Они летели вдвоем на Север. Так было в прошлом году и позапрошлом. Они уставали зимой от напичканной пухом и перьями стадной жизни на южной воде. В небе было им хорошо, как на пустынном студеном озере. Они переговаривались на лету ласково, тихо. Никто не слышал их разговоров.

Иногда в них стреляли снизу. Лебеди продолжали плыть по воздуху друг подле друга, не убыстряли движения крыльев, их лапы были вытянуты, как рули, они правили точно на Север. Дробь обсыпала больших, безучастных к опасности птиц. Она не могла пробить воше-

ные крылья, а только ерошила пух на подкрылках и падала наземь.

...Над Ленинградом лебеди пролетели спокойно. Над Ладогой их ударило ветром. Уставшие, лебеди собрались ночевать. Но ладожский берег, и камышовые чащи, и свирское устье дохнули на них жженым порохом и обдали стрекотаньем моторных лодок и катеров. Лебеди снова медленно всплыли кверху, и можно стало расслышать их озабоченный разговор.

Охотники опускали ружья и любовались идущей над ними лебединой жизнью. Иные мечтали также о лебедином мясе, сладком на вкус, и о лебяжьем пухе — он мог пойти на подушки.

Лебеди еще пролетели над Свирью и камышами сколько могли, и опустились без шума на проблеснувшее водяное оконце, и замерли, насторожив шею. Они чуть подгребали лапами и были словно плавучие кочки. Их маленькие головки чернели, как посаженные на длинные стебли бархотки камышей.

Полная гомона и суеты, вода затихла к ночи. Только просвистывали крыльями запоздалые стайки чирков, да блял в темноте торопыга бекас, да слышно было, как трутся шуки в тресте боками — мечут икру, как баламутят воду хвостами, как рыщут возле тяжелых маток шурята-самцы.

Еще доносилось с песчаного кряжа фырчанье костра. Хрястал топор. Люди кидали в огонь сосновые лапы, и костер подымался, искрил и отблескивал в круглых, тревожных глазах лебедей.

Лебедушка тогда приплывала близко к лебедю и спрашивала его чуть слышно: «Крлю, крлю, ко?» Лебедь отвечал ей: «Гурлюк!»

Еще только-только рождался и глухо клокотал в лебяжьих шеях звук, как они уже понимали его значение...

Но вдруг налетели гуси, скрипя тележными голосами, и опустились около лебедей, и заныряли, и залушили в клювах добытые корешки.

Лебедь спросил у лебедки: «Гурл?» Она ответила: «Ульк».

Они уплыли прочь от гусей, в камыши.

Там они выгибали шеи, и опрокидывались в воду, и запускали клювы в еще не растаявший донный ил. Наверху оставались лебяжьи хвосты и белели пуховые панталоны.

Пужинав корешками, они приласкались друг к дружке, уплыли в береговой кочкарник и чутко заснули.

...Им слышен был разговор людей у костра. Голоса доносились жестко, как будто ломали сучья. И лебедушка подымала шею и раскрывала свой грозный глазок. Лебедь чуть колыхался, чтобы ближе прижаться к подруге и сообщить ей свое бесстрашие. Он гурлыкал ей на ухо.

Лебеди проснулись, когда потянул первый ветер и поломался намерзший под утро ледок. Их разбудил тоненький звон ледышек, бившихся о камыши. Осколки прозрачного льда звенели, как самые верхние ноты в рояле, и тенькали выше известных в музыке нот.

Лебеди взлетели над туманом и протянули шеи на Север.

Север посыпал их снегом, и лебедь сказал: «Лурглу». И лебедушка тотчас ответила: «Клурк». Они подставляли снегу спины и крылья, ерошили перышки и опускали лапы, чтобы тише лететь и помыться в снегу. Они стосковались на южной зимовке по белой, холодной снежности. Их перья начали вянуть от теплых дождей. Им нужен был Север.

Чем дальше на Север летели лебеди, тем реже виделся им внизу бегущий поезд или фабричный дым. Никто на земле не стрелял из ружей. Не попадались навстречу и самолеты. Зато озера раскрылись повсюду сколько хватало глаз.

Озера были синего цвета под чистым небом. Под низким солнцем озера плавилась, как благородный металл. Озера белели под белыми облаками. Они были тусклы, свинцовы, когда на них наносило тучу.

Все небо и солнце словно разбились на тысячу разноцветных осколков. Осколки пали в озера. Озера зазывно рдели, как фонари на большом посадочном поле аэропорта. Лебеди снизились над озерами и загурлыкали без причины и без вопроса. Они долетели до лучшей на свете страны бессонного солнца.

Но они не садились на белые, синие, красные и золотые озера, а все летели, приветствуя Север коротким, гортанным кличем. Им нужно было озеро Алла-Ярви. Так называлось озеро у людей. Лебеди жили на нем три лета и подняли в воздух три выводка лебедят...

Как все другие озера, Алла-Ярви краснело под солнцем и потухало в ненастный день. В нем были песчаные мели, и черные водяные ямы, и камышовые чащи, и сосны вцепились корнями в его берега. Оно было не шире, не глубже и не богаче — такое, как все озера на Севере. Но лебеди прямо летели на Алла-Ярви.

Из миллиона озер их ждало Алла-Ярви. Одни шилохвостые чайки селились на этом озере и лопотали все лето, гонялись по воздуху, как стрекозы. Чужие лебеди все пролетали мимо: у каждой лебяжьей пары был найден и облюбован для жизни свой собственный дом-оконце на стылой равнине.

Лебеди сели рядом на озеро Алла-Ярви и долго плыли с разгона, от них разошлись по воде два длинных уса. Усы дотянулись до берега и там запутались в траве.

Лебеди остановились на середине озера. Им некуда было теперь улетать, уплывать. Начиналось их время пожить... «Клуф-клю», — сказала лебедушка. «Глиргу», — ответил лебедь.

Они понырляли немного, потом оперлись хвостами о воду, привстали и помахали крыльями, чтобы просохнуть и отряхнуть застрявшую в перьях дорожную пыль. Над ними носились, и верещали, и наостряли в тонкое шильце хвосты развеселые чайки. И спелое солнце приблизилось к озеру, но не коснулось воды — насмотрелось на себя и прянуло кверху. На Севере летом не бывает ночей.

...Лебеди тихо плавали рядышком малыми кругами по озеру. Иногда они вольно трубили. Вода разносила их голоса, как радиолы.

Но вдруг от берега оторвался еще один неизвестный лебедь и выплыл на чистое место. Его белоперую спину прилетевшие лебеди увидели сразу, как сели на озеро, но приняли за ошметок прибрежного льда. Одиноким лебедь далеко назад выгнул шею, плыл медленно и не прямо, был грустен и слаб, — это заметили лебеди.

Лебедушка прижалась к своему лебедю плечом, и оба они по-змеячьи напрягли шеи. Казалось, сейчас зашипят на лебедя-одиночку. Они прилетели за тысячи километров на Север, чтобы остаться вдвоем на единственном в мире, не знавшем чужого пера, их собственном озере Алла-Ярви. Они не умели еще приспособить свою любовь и семейную жизнь к постороннему оку...

Одинокый лебедь сказал им: «Лырг-ли»... Но они забыли крыльями по воде и побежали, сердито крича.

Лебедь был ненавистен им, потому что нарушил закон великой северной пустынности.

Озеро Алла-Ярви не годилось для их полубовной семейной жизни.

Был пасмурный день, и озера виднелись сверху, как шкуры серых убитых оленей. Безжизненными, слепыми могли показаться озера, но в каждом уже плескалась лебязья пара, как будто раскрылся белый цветок. Озерные лебеди все махали крыльями и счастливо трубили пролетным своим собратям.

Лебединая пара опустилась на пустынную, сплошь серую воду.

...Озеро это было известно людям под именем Кур-Яур. Его так прозвали в давние времена пришельцы-оленьеводы. Кур-Яур на их языке означало: озеро Кур — мужчина. Они называли другое озеро: Алла-Ярви. И все понимали, что озеро Алла — женщина.

Озеро-женщина Алла-Ярви было округло, озерный мужчина Кур-Яур был длинен, имел горловину, в которой шумел говорун-водопад.

Лебеди медленно, долго летали над длинным озером и слушали с недоверием, как говорит в нем вода. Им были видны большие следы человеческих сапог на берегу. Они сомневались, кружили. Сверху им было видно не только озеро, но и море. Оно покрывало весь горизонт. Дорога над Северным морем неизвестна была лебедям. Они полетали еще и сели на озеро Кур-Яур, подальше от водопада, в заводь, укрытую сосновым лесом на мысу.

Из леса стеганул по воде выстрел, и шея у лебедя сломилась, он опал. Лебедушка улетела.

Из леса выбежал юноша в макинтоше, в очках, с бордой, с ружьем и походным молотком. Он еще стре-

лял по бившемуся на воде лебедю. Быстро скинул с себя одежду, остался в очках и поплыл. Лебедь греб лапами, уходил от убившего его юноши. Парень птицу настиг, и взял за крыло зубами, и волок за собой по воде. Потом он прыгал на берегу, и целовал убитого лебедя, и прижимал его к своей не загоревшей на Севере белой груди, и говорил ему:

— Ты уж меня прости. Я очень люблю тебя. Но мне всегда не везет на охоте. Я очень хочу возвратиться в лагерь с добычей и накормить всех ребят диким мясом. Мне просто необходимо было тебя убить...

Юноша обратился также и к озеру Кур-Яур. «Ты настоящий мужчина, Яур, — сказал он ему. — Ты не какая-нибудь там Ярвочка. Ты мне помог. Спасибо тебе, старина!»

В лесу у ручья поставлены были две палатки. Кастрюля повешена над костром. Девушка в непромокаемой куртке и светлой косынке смотрела, как подымается над кастрюлей пар.

Юноша с бородой пришел и кинул убитого лебедя близко к обутым в ботинки ногам этой девушки-поварихи.

— Ой, зачем ты его убил? — сказала девушка. — Я думала, они не бывают дикие, только плавают в Летнем саду. Не надо было его убивать.

— Ничего, — сказал лысоватый мужчина лет сорока. — Так-то он белый, а сваришь — и красенький станет. Вареная вся скотина на один цвет. А этот еще и послаще...

— Только не будем говорить, что это лебедь, — попросил юноша в очках. — Сварим и скажем, что гусь, а перья утопим.

Они ощипали лебедя возле ручья, пух весь собрал и припрятал лысый — жене на подушку, а перья уплыли вниз по течению.

Вышел из леса еще один человек, самый старший. Он первым делом помылся в ручье и поднял одно неуплывшее перышко. Он принес его в лагерь и всем показал.

— Лебедь сронил перо, — сказал самый старший.

— К старости, что ли, у них перья-то вылезают, — заметил лысый, — или от сырости? Вот и я, как сезон по бо-

лотам пошляюсь, так плешь хоть на два квадратных сантиметра да увеличится.

Девушка разложила на мху деревянные ложки и алюминиевые тарелки.

— У нас сегодня на ужин гусь, — сказал молодой охотник, немного подрагивая от гордости и боязни.

Девушка достала из кастрюли, подвешенной на тагане, большую, упревшую, лакомую дичину и отломилла облитое розовым мясом крыло.

— Ты мне не клади, не надо... — сказал самый старший. — Я подходил к лагерю, слышу, над Кур-Яуром лебедь трубит. Печальнее музыки я не знаю на свете, чем крики лебедя, когда он осиротеет.

Девушка огорчилась чуть не до слез, поднялась над кастрюлей, да так и осталась стоять, держа поварешку в руке...

— И я тогда тоже не буду есть это мясо, — сказала она.

— Нам больше останется. — Лысый подмигнул юноше в очках. Юноша улыбнулся.

— Ну что! — воскликнул он. — Ну, конечно, это не гусь. Ну, я убил лебедя. Они же здесь все равно расплодятся за лето. Ведь, кроме нас, ни души и не будет здесь. Никогда ни один человек тут не поселится. Только лоси и лебеди. И щуки. Ну, подумаешь, одним лебедем меньше...

Пожилой человек будто не услышал молодого охотника. Он поел лапши и попил чаю. Припомнил случай из собственной жизни и рассказал...

— В сорок третьем году я воевал под Синявином... — так начал рассказ пожилой человек. — После тяжелых боев наш полк вывели в Тихвин на переформировку. Я написал моей жене Надежде Терентьевне, чтобы она приехала ко мне. Она работала врачом в эвакогоспитале в Костроме. Мы с ней поженились в сорок первом году. В мае. В сорок третьем ей было двадцать пять лет. Она с огромным трудом достала пропуск в прифронтовую зону и села в поезд. На станции Неболчи их состав попал под бомбежку. Ее убило осколком в грудь. Я узнал об этом через двенадцать часов, помчался и успел только похоронить. Она поехала ко мне в черном шелковом платье. И большая черная коса у нее была уложена вокруг головы...

Никто не останавливал пожилого человека, он говорил, умолкал, и все дожидались, что скажет он дальше. И присмирели от жуткой серьезности его рассказа...

— Вскоре после войны я работал в партии, на Таймыре, — продолжал пожилой человек. — Перебивались мы тогда на подножном корму. Лебедей старались, конечно, не трогать. Но в крайнем случае питались и лебедятиной. А крайний этот случай выпадал нам чуть ли не каждый день... Ну вот, и я тоже стукнул лебедку, а лебедь, ее супруг, остался на озере и плакал по ней всю неделю, пока мы стояли поблизости лагерем... Ребята хотели его подстрелить, но я попросил не трогать. Не попросил даже, а приказал, я был начальником партии.

Мы прошли по Таймыру с запада на восток, а потом возвратились параллельным маршрутом. И вышло так, что лагерь поставили около того озера, где лебедь один остался. А уже зима нас поджимала. Ветры страшные на Таймыре... Вот ночью я лежу в палатке и слышу, вроде как лебедь гурлычет. Нет, думаю, ветер... А сна уже нет. И опять будто лебедь... Ну, думаю, галлюцинация. Вымотались мы все до предела в тот год.

Утром пошел на озеро. В нем только промоина осталась около горла, пережат там был, быстрина. А так все во льду и под снегом... Сначала лебедя я не заметил. Близко к нему подошел. Он только тогда сполохнулся. Крыльями похлопал, но не полетел. Подымать я его не стал...

В общем, лебедей я с тех пор стрелять зарекся. И никому не могу простить выстрела по лебедю. Жениться мне так больше и не пришлось...

Пока самый старший рассказывал это, лысоватый мужчина съел без малого половину лебединой туши.

Юный охотник в начале рассказа мяса не брал, а только нервно проглатывал скользкий лапшовник. Но потом он отломил небольшую дольку от лебединого бока... И уже удержаться не мог.

Девушка как-то само собой, незаметно, тоже взяла мяса.

— Есть один такой детский стишок, — сказал бородастый юноша, — не помню, кто его сочинил, какой-то известный поэт... Там про рыб говорится — как жалко рыб, что они не плавают в речке, а мертвые в магазине лежат... «Конечно, это грустно. Но до чего же вкусно!» —

такая строчка есть в стихе. Очень хороший стишок! —
Борода у юноши вся была в лебедином жиру. Улыбался
он молодо и блаженно.

Солнце за лето устало висеть и светить и начало опускаться на ночь в озерную воду.

Озера сделались тусклы без солнца и без лебяжьего белого цвета. Скоро Север покрыло снегом, и вся птичья жизнь потерялась в сплошной белесой зиме.

2



ЛУЧШИЙ ЛОЦМАН

Вода в Бии холодная как лед. Бия спешит вниз, в степь, где можно наконец отдохнуть от бешеной скачки по каменному ложу, от беспамятной круговерти, а главное — согреться, вдоволь, до самого донышка, напиться обильной солнечной благодатью. Светлеют бийские воды от солнца, радостно отдают глубинам зыбкую синь, густо настоявшуюся в бездонных колодцах Телецкого озера. Зато по всей реке, от берега к берегу, — серебро. Прыгнет хариус на быстрине за мушкой — и не отличишь его от резких всплесков, что без усталости пляшут над Бией. А отчего пляшут, известно только медлительной рыбе ускучу, что живет потайной, донной жизнью и знает всякий камень, ставший поперек несмирной воде.

По берегам Бии — сосны. Стоят сосенка к сосенке, реденькие, тонкоствольные и очень аккуратные, обсыпали все вокруг желтыми, повядшими хвоинками — получилась хорошая подстилка; мягкая, приятная для глаза, она скрыла под собой скудную боровую супесь вместе с серенькими лишаями да сиреневой грибной плесенью.

Притоптана лесная подстилка человеческой ногой, и весь лесок на берегу Бии называется районным парком. Приходят сюда жители села Турачака, поют песни, сидят на большом, плоском камне — Смиренной плите. Такое прозвище дали камню бийские сплавщики. В прозвище этом — усмешка, простодушное и веселое торжество над хитростью коварного в своем покое камня.

Смиренная плита, как жирный морж, плюхнулась в Бию, спасаясь от жары. Над водой только спина зве-

ря — гладкая, черная; бугристые ноздри торчат чуть не на середине реки. Бия изо всех сил старается столкнуть Смиренную плиту с места, да никак с ней не сладить.

В воскресный день гулял по парку Иван Чендеков, молодой лоцман.

Иван только вернулся домой со своей командой. За двое суток сплавили они в Бийск три сплотки пихтовых бревен. Деньги получили хорошие. Иван пошел в бийский универмаг и купил черный костюм. Еще он купил галстук с голубыми и фиолетовыми полосками и черную кепку с пуговицей на макушке.

Вернулся Иван домой в Турачак, дождался воскресенья, надел с утра новую кепку, костюм, галстук и пошел в парк.

Солнце палило, и лоцман немножко вспотел. Лицо его, цвета поджаренного кедрового ореха, лоснилось, а глаза, чуть-чуть раскосые, черные и хитроватые, сияли.

Шел он по парку, пел, и хватало песни надолго. А слова понемножку подбирались новые, свои. Ложились они в песню складно, и выходило по этим словам такое, чего раньше Иван никогда и не думал. Выходило, что нет на Бии лоцмана лучше Ивана Чендекова, и на Сары-Кокше тоже нет. Все знают Чендекова, каждый здоровается с ним за руку в Камбалине и Кебезене, в Турачаке и в Озере-Курееве. Все пороги знает лоцман Чендеков — и Кипятки, и Бучило, и Привоз, и у Смиренной плиты он ни разу не попадал в водоворот — не венчался, как говорят на Бии.

Взошел Иван на высокий бийский берег и стал глядеть на реку, просто так глядеть, потому что был воскресный день и не было никакой работы.

Слева от Ивана крутая излучина. Бия тут со всего маху ударяет в отвесную скалу. А скала эта — часть бома, старой, спокойной сопки, давным-давно поросшей сухонькими сосенками. Расшиблась вода о камень, взревела, как подраненный медведь, и мчится дальше. Только это не все: алтайские граниты стерегут воду в самом ее разгонном месте. И закипает вода, пенится, как уха в рыбацьем котле над костром. Так издавна и зовут этот порог Кипятком.

Вырвалась вода из Кипятка неостывшая, белая от собственной пены, да и это еще не все. Теперь на пути

ее дыбится гладкая, скользкая спина речного зверя — Смиренной плиты.

Долго смотрел Иван Чендеков на привольную игру воды и камня, поверил в свою песню, подумал так:

«А хозяин, однако, кто? Хозяин — я, Ванька. С Ванькой не пропадешь, нет. Ванька шибчей всех по Бии плавится. Ванька. . .»

На реке показался плот — свою работу Бия справляла без воскресного отдыха. Шестеро стояли на плоту, и среди них, на исконном лоцманском месте, сивобородый старичонка на кривых ногах, малорослый и щуплый. Имя старику Степан Панфилович, фамилия — Кашин, только это для документов. А известен он на Бии под другим именем — Лягуша Болотная. Пять десятков годов с лишком ходит он на плотках по Бии и носит это прозвище, а почему — говорят разное. Старики помнят, как женился Кашин на алтайке и ушел из села, срубил хатенку в таком месте, что курам на смех, — на трясушем болоте, где и клюква не растет. Смеялись люди, отсюда и кличка пошла — Лягуша Болотная.

Мало кто помнит те времена, а кличка живет. Да и мудрено ей сгннуть, если у Степана Панфиловича нет иного присловья, кроме как про лягушу. Крепких российских выражений он не употребляет. Только крикнет, если что, да скажет проникновенно: «Ох ты, лягуша болотная!»

С самого босоногого детства плавает Кашин по Бии. Скрючила ему бийская студеность суставы. Со Смиренной плитой венчался, в Кипятке тонул, в Бучиле на бревнышке волчком вертелся. Так считают на Бии: Кашин — первый лоцман. Так считают уж лет тридцать, а может, и того больше.

...Вынырнул плот из-за излучины, понесся прямо на скалу. Посерьезнели шестеро на плоту, прищурил живой карий глазок Степан Панфилович. Вот она, скала, а вот вода, и вода эта убывает, почти на нет сошла. Сейчас камень примет на себя грузную сплотку, сейчас. . .

— Лево-о-о-о! — тоненько протянул старик, и, послушный слабому его голосу, повернул громада плот, только боком малость погладил скалу по ее мокрому, темному лбу. И от этого заплясали двухобхватные кедрачи в сплотке, забились, как в лихорадке, да так, неспокойные, и попали в Кипяток. Проскочили порог в мгню-

вание ока, и тогда ясно стало, зачем она нужна была, стариковская лихость, зачем допустил лоцман сплотку до самого гранитного лба.

Взметнули шесть сплавщиков вверх рукояти своих гребей, деланных из цельных пихтовых стволов, потом налегли на них, отступили, снова шагнули раз, и два, и три в затылок друг дружке. Плот пронесся мимо Смиренной плиты, чуть задев «моржа» за самый кончик носа.

— Хорош! — цокнул Иван Чендеков. — Ай, хорош! Степан Панфиловыч! Почтение! Счастливо доплыть!

Старик уже отпустил гребь, казавшуюся непосильной для его ссутулившихся плеч, и свертывал сигарку. (Говорят, за эту страсть к дымокурсту и выжили его когда-то из села на болото соседи-кержаки.)

— Здорóво, Ванюша.

Иван сорвал с головы кепку и махал ею, пока плот не скрылся с глаз.

Народу в парке прибывало, и вскоре Чендеков встретил своего друга Петра Килтэшева, приехавшего на выходной с лесопункта. У Петра тоже был новый костюм, и галстук из бийского универмага, и новая шляпа пирожком на голове.

Друзья немножко выпили за встречу. Иван помолчал, посмотрел на реку и вдруг быстро заговорил:

— Ты что думаешь: Лягуша Болотная — лоцман, да? Ваньку все знают, понял! В Бийске знают, в Барнауле знают, везде знают, понял, да?

Лоцман ударял себя в грудь, и в черных глазах его разгорался уголек.

— Лягуша трое суток в Бийск плавится, а Ванька двое суток! Понял? Чендеков — лучший лоцман на Бии!

...Снова у порога показался плот. Только на этот раз он не пошел на сближение со скалой, а свернул как раз на середине реки.

Чендеков вскочил на ноги, побежал к берегу и стал смотреть на плот.

— Чо наделал, собака, ай, чо наделал! — закричал он вдруг и замахал руками. — Право бери! Право!

— Право-о-о-о! — послушно гаркнул дюжий парень, стоявший на плоту у лоцманской гребни. Это был не человеческий, а поистине трубный глас. Наверное, где-нибудь в тайге марал, пробиравшийся сквозь подлесок к водо-

пою, остановился, насторожил свое ухо, прынул в сторону и стремглав скрылся в чаще.

— Иван, тезка, чо делаешь?! — изо всех сил кричал Чендеков лоцману на плоту. В голосе его не было осуждения, а просто обида и вопрос: как же так? — К бому надо было прижиматься, Ванька, к бому!

Плот мчался прямо на Смиренную плиту. Люди на плоту стояли недвижимо. Их было четверо, и каждый смотрел, как мчится на них черный, большой, глянцеви́тый камень.

Что это за люди, откуда взялись они, не знал никто на Бии. Много являлось здесь пришлого народу — кто за длинной деньгой, что светит сплавщику в конце каждого его рискованного рейса, а кто по неизвестным причинам; только немногие приживались в здешних местах. Бесильны были деньги перед понятным страхом человеческим, что серым облачком летел над каждым плотом от Кебезенья до Озера-Куреева.

Троих пришлых людей взял к себе на плот лоцман Иван Нечунаев. Молодой был лоцман, да прижимистый, со слабинкой к деньгам. Рассчитал он так неизощренным своим умом: на шестерых делить рубли — одна корысть, а на четверых — совсем другая.

Не хаживали бийские сплавщики вчетвером на плоты, а чужаки — им что, особенно если по первому разу!

И еще одну слабинку имел лоцман Нечунаев: был он трусоват. Мало кто знал эту его слабинку, да и как ее углядишь в его могучем теле, будто наскоро деланном из толстеного кедрача: из одного ствола и лицо, и шея, и плечищи висловатые, и руки, как сучья низовые, — толсты, длинные, разлаписты.

Как стала наваливаться скала на плот, заметалась нечунаевская команда в нестерпимой тревоге, дрогнуло и неотесанное лицо лоцмана. Гаркнул он не в срок: «Лево-о-о!» — и пошел плот прямым курсом на Смиренную плиту.

Сказал лоцман Иван Нечунаев в половину своего трубного голоса:

— Повенчались...

Слово прозвучало над Бией глухо и зловеще.

...Без треску обошлось. Плот не разбился о Смиренную плиту. У самого камня он как бы наткнулся на невидимый барьер. Вода, отброшенная плитой, поворачивала

вспять. Она подхватила плот и потащила его обратно, к порогу. А там правили свои стихии, и снова плот понесся к камню, и снова споткнулся о барьер, воздвигнутый самой же водой. Так повторилось много раз. Вода двигалась по кругу, и четверо оглушенных неизведанными ощущениями людей не могли одолеть воду. Тогда Чендеков, бестолково суетившийся на берегу, полный желания помочь сплавщикам, принял решение:

— Ваня, тезка! Давай трос!

Он шагнул вниз по крутому откосу к воде. Камень ушел из-под ног, и Чендеков упал. Из рассеченной щеки хлынула кровь. Галстук сразу стал красным. Тоненькой струйкой кровь потекла по новому пиджаку. Чендеков не заметил этого. Он подбежал к самой воде и снова крикнул:

— Ваня! Трос давай!

С плота кинули толстый кол — пахало — с привязанным к нему размочаленным тросом, и он плюхнулся в воду. Когда круговерть снова поднесла плот к берегу, кол кинули еще раз, но он не мог долететь до берега...

Спокойно кружился плот. Повеселели лица тех, что кружились вместе с плотом, и только большой рот Нечунаева был сейчас раскрыт чуть пошире, чем всегда. Лоцман сел на бревно. Вся его команда тоже села.

— Ванька, давай же! — просил, умолял с берега Чендеков. — Давай!

И уже готово было обратиться его братское участие, не принятое теми, на плоту, в тяжелую злость. Он был лоцман, и это составляло смысл и гордость его жизни. Нечунаев, грузно сидевший на бревне, беспомощный, как теленок, тоже назывался лоцманом.

— Ванька-а! — Голос у Чендекова стал пронзительный, тонкий, а руки сжались в кулаки. — Чего людей маешь, сволочь? Работяги-и-и! Кидай его в воду-у-у! В воду его, собаку!

Петр Килтэшев поднял камень и метнул его в плот.

— Поаккуратнее. Чего из себя дуракаставляешь. Перед людьми постыдись, — проворчал Нечунаев, увертываясь от камня.

Плот продолжал кружиться, как ночная бабочка на свету, — бестолково и стремительно. Видеть Чендекову это было невыносимо. Нечунаев был плохой человек. Он

пошел в рейс вчетвером из-за денег. Он испугался старого бома и повенчался со Смиренной плитой. Чендеков ненавидел его в эту минуту. Но позволить реке подшутить над лоцманом он не мог. Он снял сапоги и пиджак и поплыл навстречу плоту. Один раз вода накрыла его с головой, и новая кепка быстро унеслась прочь. Он вылез на плот и оттолкнул Нечунаева от лоцманской гребни. Он кричал и «лево» и «право», но четверо ничего не могли поделать с громадиной плотом, связанным из сырых осиновых бревен. Нужно было поймать момент, то единственное положение, когда плот мог вырваться из заколдованного круга. Сделать это Чендеков не умел. Он не владел секретом Смиренной плиты. Он уже понял это, но все еще продолжал ворочать свою гребь. Сначала его командам подчинялись, потом стали смеяться, а он все орудовал гребью, не желая признать перед людьми свое бессилие...

На берегу слышались голоса. Это команда Степана Панфиловича — молодые кебезенские ребята, — проведя через порог одну сплотку бревен, возвращались вверх за другой, оставленной в спокойном месте, чтобы соединить их ниже по течению в один большой плот.

— Здорóв, Нечунай! — молвил старик. — Ах ты, лягуша болотная. Глянь, ребята, лоцмана-то нонче на карусели катаются. Вдвоем с одной плитой повенчались!

От раскатистого хохота ребят дрогнули сосенки. Сивобородый, кривоногий дед стоял на мягкой хвое цепко, как на пляшущих бревнах плота, и глаза его, сощурившиеся в усмешке, были как две глубокие морщинки.

— Степан Панфилич, — жалостно и виновато пробашил Нечунаев. — Как быть тут, а?

Старик ничего не ответил, присел на корточки и продолжал глядеть на плот, закрывшись ладонью от солнца. Один круг прошел плот, зашел на второй и на третий, а он все смотрел, молчал.

Вся вода одинаковая, нет на ней отметин, и пути у плота как будто одинаковые. Разве чуть мотнет его в сторону или развернет как-нибудь слегка. Чего ждал старик, не знал никто на плоту, а все чего-то ждали вместе с ним.

Плот пошел в четвертый раз от плиты к порогу. И тут-то всего на четыре бревнышка отшатнуло его от заведен-

ного круга. Тогда махнул рукой старик, крикнул тонко и весело:

— Гребись влево, ребята! Гребись влево, лягуши болотные!

Метнулась вода из-под гребей, плот медленно стал огибать нос «моржа». Там его подхватила стремнина, выволокла из-за Смиренной плиты — и пошел он вольным путем, понесла его широкая Бия, потемневшая к вечеру, синяя-синяя.

— Счастливо доплыть! — крикнула команда Степана Панфиловича и пошла своей дорогой.

Уплыли оба Ивана-лоцмана, и неизвестно, на чем помирились.

ХЛЕБ И СОЛЬ

Коля брал из плоской алюминиевой тарелки кусок за куском белый, ноздреватый хлеб. Большие куски хлеба убывали быстро. Слишком они были мягкие, податливые и вкусные. Три куска Коля съел с борщом, а один посыпал солью и сжевал так. Соль он достал из большой миски, стоявшей на столе, запустив в нее три чумазных пальца, сложенных в пястку. Соль была совсем серой, оттого что все проезжие шоферы запускали в нее чумазные пальцы.

Коля ел молча, спешил. Едкая смесь копоти, машинного масла и пыли вычернила его безусое лицо. Она просочилась откуда-то снизу, легла на подбородок, забралась в ноздри. Лицо от этого стало еще моложе, наивнее. Хотелось улыбаться, глядя на Колю.

Сам Коля не улыбался. За дверью чайной его ждал старый, заезженный «ЗИЛ». Он стоял вполоборота к чайной среди таких же присмиривших машин, похожих на больших неведомых животных, сбившихся в стадо посреди пустой площади.

В кузове «ЗИЛа» лежали чуть-чуть разбухшие, потемневшие за зиму пшеничные зерна — хлеб из глубинки. Хлеб был тяжел. Тугие рессоры «ЗИЛа» совсем распрямались.

За одним столиком с Колей сидел Владимир. Он работал в той же алтайской автороте и тоже вез хлеб в Бийск. Широленные скулы Владимира обтянула удивительно прочная, малиновая, с сизым отливом кожа. Ушастая шапка сползла с затылка на лоб. Казалось, объемисто-

му затылку не уместиться под шапкой. Он торчал из-под нее, круглый, стриженный, сивый. Глаза были непоседливы, обведены застарелыми, вьевшимися в кожу темными кругами из той же несмываемой смеси, что вычернила лицо Коли.

— Поехали, Володя, засветло до Красного Яра доберемся. . . — Коля проглотил последний кусок хлеба, подобрал с тарелки оставшиеся от борща ломтики свеклы, встал. — Пойдем, Володя!

— Погоди, Колька, видишь. . . — В руках у Владимира оказалась холодная, заиндевелая поллитровка.

— Ты иди, иди. А его не понужай. Пусть выпьет двести грамм. На дорожку. . . — Это сказал бородатый мужчина в тулупе. Он вез в Бийск борова на продажу. Мясо лежало в кузове Володиной машины, укутанное в холстину. Мужчина заплатил за гуляши, стоявшие перед ним и перед Владимиром. Он чувствовал себя за столом хозяином. Он говорил снисходительно, свысока:

— Ну, давай, давай. Ничего. Двести грамм для шофера — это ничего. Только смотри, чтобы. . .

— Как-нибудь, папаша. . . — Владимир бережно поднес ко рту граненый стакан с водкой.

Коля вышел на улицу, достал из кабины длинную заводную ручку. «ЗИЛ» нехотя, будто спросонья, бормотнул что-то невнятное и смолк. Потом еще раз. Потом вдруг заревел, как подраненный зверь. Коля вскочил в кабину, сбросил газ, и рев перешел в ровное, деловитое постукивание. Коля потянул рычаг переключения скоростей, и он подался со страшным скрежетом. «ЗИЛ» закрипел тяжким кузовом, залязгал непригнанными дверцами, пошел.

Мартовский день, клонившийся к вечеру, все еще был синим и теплым. Ветровое стекло не тронула изморозь, сквозь него хорошо была видна дорога. Сначала она бежала под колеса, широкая, гладкая и низкая. Низкой она казалась потому, что по обеим ее сторонам возвышались валики снега: дорогу чистили после бурана.

Но в степи ее не чистили, дорога сразу стала высокой. Снега уже подались под мартовским солнцем, осели, и дорога была здесь как узкая насыпь.

Коля уже целый день ехал по этой насыпи. Они выехали с Владимиром из Алтайского утром. Владимир ехал первым. Коля скоро отстал от него. Ему страшно

было гнать машину по высокой дороге. Но на тихом ходу колеса врезались в рыхлый снег и буксовали. Дорога была податлива, как ломоть пшеничного хлеба.

Коле то и дело приходилось вылезать из кабины, прорывать лопатой бороздки под колесами, раскачивать свой тяжеленный «ЗИЛ», чтобы он полз дальше, вспарывая ненадежную дорогу.

Коле не нужны были рукавицы. Две шустрые капельки пота прокатились по лбу. Потом еще две и еще. Он не заметил их. Он не заметил, как прошел один час, другой, и еще один.

...Быстро, гораздо быстрее, чем во время недавних поездок с инструктором, приходил к нему шоферский опыт. Когда этого опыта скопилось достаточно, Коля незаметно для себя включил вторую, а потом и третью скорость. Он только видел, как все быстрее и быстрее кидалась под колеса узкая белая насыпь, всем своим существом чувствовал края этой насыпи, сжимал руками верткую баранку, вытягивал свою тонкую мальчишескую шею, впиваясь глазами в дорогу.

«ЗИЛ» мчался, колыхался, фыркал мотором, и Коле казалось, что машина — живое существо, что он не владеет ею, а она несется сама по себе неведомо куда, что она не выдержит этого неуклюжего бега и рассыплется или ткнется тупым носом в кювет, перевернется. Коле казалось невозможным, нереальным то, что происходило сейчас с ним и с машиной.

«...Вот. Вот сейчас все кончится. Не может так продолжаться». Но ничего не кончалось. Коля все так же, изо всех сил, нажимал своим подшитым валенком на акселератор, все так же цепко держался за баранку и вытягивал шею.

Потом он сидел в чайной, весь еще во власти только что пережитых, совсем новых для него ощущений, жевал хлеб, прихлебывал горячий борщ и чувствовал, как оттаивают, отходят руки, выверченные долгой борьбой с баранкой, как отдыхают плечи, шея, глаза. Он и не думал, что они могут так устать. Коля еще не знал, что к нему пришел новый шоферский опыт, но он чувствовал себя как-то старше, солиднее. На улице его ждал «ЗИЛ», которому Коля стал теперь настоящим хозяином...

Ехать по узкой дороге с новым хозяйским чувством оказалось гораздо проще. Теперь уже Коле нравилась

эта рискованная езда. Он гнал машину и чувствовал, что вся она, большая, тяжелая, подвластна ему. Коля улыбался, благо никто не видел его улыбки, и шептал: «Давай, давай! Так! Еще! Ну, еще малость! Ну, еще малость! Ну, пошла, старуха!»

Незаметно таял день. Густела синева. Густел мороз. Коля не замечал его. Просто вдруг забелело ветровое стекло. Он протер стекло рукавицей, и снова стала отчетливо видна узкая насыпь в степи, шибко бегущая под колеса. Потом опять замутилось стекло и опять. Коля еще и еще раз протер его рукавицей, держась левой рукой за баранку. Он делал это машинально, не думая, как протирают глаза, затуманившиеся вдруг невесть откуда набежавшей влагой.

Но протирать стекло приходилось все чаще и чаще, изморозь становилась все крепче. Она уже не поддавалась рукавице, задернула стекло, как белая плюшевая шторка. Коля старался отстоять хотя бы маленькую круглую отдушину, но мороз кидался на стекло, и отдушина покрывалась студеной испариной. Надо было скоблить и скоблить отдушину старой, латаной рукавицей.

Коля не заметил, как стемнело. Особенно темно стало в кабине, с фанерками вместо боковых стекол, со слепыми, побитыми приборами, с крохотной мутной отдушиной на уровне глаз.

Коля вдруг вспомнил о большой солонке в чайной. Надо было взять из нее щепотку соли, завернуть в тряпицу и протереть стекло. Тогда бы оно не замерзло. Но ведь день был такой синий и теплый, так доверчиво и щедро проникал он сквозь ветровое стекло в кабину.

Коля открыл дверцу, вылез на подножку, оставив носок валенка на акселераторе, а правую руку на баранке. Крепкий, тугой мороз ударил по лицу, вышиб слезы и шершаво слизал их с лица. «Если бы была соль!»

Коля оглянулся назад, ища в темноте проблеск фар. Но его не было. Никто не ехал следом. Замедлившие свое вращение колеса забуксовали. Коля отчаянно нажал на акселератор, рванулся вместе с машиной во что-то неведомое. Желтый свет бешено заскакал перед радиатором. Густой, осязаемый мрак подступил вплотную, заколебался вокруг. Коле показалось, что он куда-то летит. Одержимая непонятным буйством машина овладела им. Так было утром, в начале поездки. И все-таки утром было

совсем не так. Тогда он видел дорогу — узкую насыпь в степи — и степь, млевшую под солнцем. «Если бы щепотка соли!..»

Машина с разлету ткнулась носом влево, завалилась, соскочила с насыпи сразу двумя колесами и умолкла. Стало тихо-тихо. Коля сполз по накренившемуся сиденью к дверце, открыл ее с трудом, вылез, и сразу же его валенки глубоко увязли в снегу.

Позади, туманный, плывучий, забрезжил свет фар. Коля обошел вокруг своей беспомощной машины, достал зарывшуюся в зерно лопату, стал долбить борозды в мерзлом снегу. Вскоре идущая сзади машина приблизилась, и из нее вышел Владимир.

— Ну что? Сел? — крикнул он, подошел поближе, выругался без злобы, изумленно свистнул.

Владимир не стал подтрунивать над Колей, не стал сочувствовать ему. Он давно ездил степными дорогами, давно они отучили его от праздных слов.

— Чо ты под передком роешь? Он и так вылезет. Под дифером рой. Она у тебя на дифере сидит. — И Владимир уже полез в кузов своей машины за лопатой. Но из кабины вышел мужчина в тулупе и строго сказал:

— Такого уговору не было, чтобы каждого тут вытаскивать. А ты, парень, — мужчина повернулся к Коле, — сам сел, сам и понужай свою машину. Давай поехали...

Владимир огрызнулся было, но лопату из кузова не взял. Потоптался немного, дал Коле тонкую папиросу «Бокс», чиркнул спичкой, яростно хлопнул дверцей кабины. В глазах его Коля разглядел беспокойный, зеленый огонек.

— Ну, ты тут не закукуешь? — крикнул Владимир, включая скорость. — Давай шуруй. А я мужика обещался к вечеру в Бийск довезти. Трос был бы, дернул — и все, а так не могу. Давай рой под дифером.

Коля понял, что сейчас Владимир уедет и он опять останется один со своим неподвижным «ЗИЛом» в ледяной степи. Он крикнул:

— Володя, подожди, Володя! Ты что, поехал, да?

— Ну-у-у?!

— Соли у тебя нет, стекло протереть? Сильно мерзнет... Дай мне немножко.

— Свое надо иметь, — строго сказал мужчина. —

У хорошего мужа жена досужа. А то тебе дай, а сам как? Путь еще немалый.

— Подвинься, друг, мешаешь. — Владимир зло оттолкнул локтем привалившегося к нему мужчину. — Места мало, что ли? — Он не взглянул на Колю, отпустил педаль сцепления...

Коля прорыл глубокие и длинные канавы в снегу. Он кидал в эти канавы свой ватник, и большие колеса подминали его под себя и вышвыривали прочь. Он хотел насыпать в канавы зерна, да не решился: зерно взвешивали на весах в глубинном пункте.

Выбившись из сил, Коля забрался в кабину и сидел там в уголку, курил, маленький, щуплый человечек, не занимавший и четверти пружинного сиденья. Посидев так, он снова взялся за лопату, потом еще и еще. Он вывел большую машину на дорогу, и она опять пошла вперед, опять заklubился перед радиатором желтый свет.

Коля потерял представление о времени, о пройденных километрах, о скорости. Он уже не тер рукавицей окончательно заиндевевшее стекло. Он ехал стоя, выбравшись на подножку. Иногда он останавливал машину, чтобы посидеть, прижать к замерзшим щекам замерзшие пальцы, почувствовать, как пробивается сквозь онемевшую кожу слабенькое, робкое тепло.

Неожиданно короткий свет фар наткнулся на неподвижную машину, стоявшую на дороге. Коля едва успел затормозить. Возле машины стоял мужчина в тулупе, тот самый, что вез в Бийск борова. Владимир яростно крутил заводную ручку. Коля подбежал к нему, спросил тревожно:

— Что случилось, Володя? Ты чего стал?

Владимир глянул на него своими сумасшедшими глазами, распрямился, плюнул.

— А... Пропади он... этот аппарат!

Коля тоже попробовал покрутить заводную ручку. Она поддавалась туго. Видно, мотор заглох давно и его уже прихватил мороз.

— Разогреть бы надо...

— Зачем греть... — Владимир снова вцепился в заводную ручку. Под ватником заходили, зашевелились необъятные лопатки. Мотор не подавал никаких признаков жизни. Коля понимал, что крутить сейчас ручку бесполезно. Понимал это и Владимир, но бросить ее, заглянуть

в мотор, прикоснуться к обжигающему руки металлу — на это он еще не мог решиться, а продолжал ворочать ручку. Когда бесплодность этих усилий стала очевидна, заговорил мужчина в тулупе:

— Ну чо? Карбюратор на радиатор заскочил? Загорать будем? Шо-фера-а-а...

Владимир еще раз плюнул. Коля сказал примирительно:

— Сейчас разогреем мотор, и заведется. Это быстро.

— Ну вот чо, парень, — сказал мужчина Коле. — Этот тут без тебя управится, а мы давай поехали дальше. Я тут ночевать не обязан. Деньги у меня уплочены, и к ночи, как хотите, обязаны меня увезти в Бийск. Давай-ка подсоби борова к тебе в кузов перекинуть.

Коля потупился.

— Да ничего. Мы сейчас. Володя, где у тебя шланг?

— Под сиденьем, — мрачно буркнул Владимир.

Коля достал шланг, сунул его в бензобак, взял другой конец в рот. Бензин струйкой побежал из шланга. Коля намочил в нем ветошь и поджег ее. Живое пламя поместили прямо в мотор. Оно испуганно зашарахалось в темном сплетении металлических трубок. Руки зарделись, облизанные пламенем. Пламя металось долго. Потом оно сникло, потускнело, и Владимир опять крутнул ручку.

— Подает, Володя? — с надеждой спросил Коля, насторожив ухо.

— Ни черта... — Владимир опять плюнул.

Тогда за ручку взялся Коля, а Владимир, не умея скрыть надежды, спросил:

— Ну как там? Не подает?

— Подает как будто немножко.

Мужчина, топтавшийся подле, бывший в ладони и ворчавший что-то себе под нос, сказал Коле доверительно, без прежнего гонора:

— Поехали, парень. Ишшо на пол-литра дам. Несмотря, что до самого Бийска у меня уплочено.

Коля ничего не ответил.

Снова жгли бензин. Снова вертели ручку. Мороз стал нестерпимым. Мужчина потянул Колю за рукав и зашептал ему в лицо умоляюще, плаксиво:

— Чо ты с ним связался? Поехали, парень. Поехали. Сильно морозно. Поясницу всю, ну вот как есть, не чувствую...

— Сейчас, сейчас...

Страшным усилием Владимир в последний раз повернул рукоятку и с лязгом выдернул ее из гнезда.

— ...А, язви те... Заводи, Колька, поехали... — и скинул в снег пылающую ветошь. Все трое молча посмотрели, как кусочек веселого, живого света затрепыхался на снегу и погас. Свет был невелик, но без него сразу стало еще темнее и холоднее...

— Володя, а как же... — спросил Коля. — Ведь машины ходят...

— А чего сделается? — живо вступил в разговор мужчина. — Хлеб никто не тронет. У колхозника нонче хлеба хватает, шоферу он абсолютно безо всякого применения. Все цело будет.

Коля постоял немножко молча, прижав ладони к щекам.

— Володя, а если цилиндры прожечь? Может, в них вода. Когда разогревали, снегу натаяло. Попробуем.

— Да чо там пробовать...

— Володя, я сейчас. Бензинчику достану.

И Коля опять хлебнул розового бензина. И опять его обожженные морозом руки не почувствовали летучих прикосновений пламени.

Мужчина уже не бегал и ничего не говорил. Он забрался в кабину Колиного «ЗИЛа» и сидел там присмиривший, забравшись в тулуп, как улитка в раковину. Когда в прожженных цилиндрах гулко затолкались поршни, мужчина не пошевелился.

— Ты езжай вперед, — сказал Коле Владимир. — Езжай, Коля. Я за тобой! — и улыбнулся во весь свой богатый зубами рот. — Соли вот возьми. На, держи всю.

Коля залез к себе в кабину, мужчина сказал ему прощательно:

— Я уж с тобой. С тем-то, слышь, как бы ишшо чего не стряслось. А боров уж пусть с ним едет. Только ты далеко-то от него не уезжай. Чтобы видеть, если что.

— Теперь ничего не стрясется, — весело сказал Коля и стал вытирать грязным мешочком с солью ветровое стекло. Он натирал его яростно и долго и все косил на мужчину веселый глаз. Потом вдруг повернулся к нему и выдохнул:

— Сам ты боров паршивый!

И нажал на стартер...

МЕНЬШИЙ БРАТ

Утром учетчик прошел по заиндевелой, кое-где подпаленной стерне. Рядом с ним широко прошагала его мерка-рогулька. Видно было, как мерка ткнулась в копну лежалой соломы и остановилась. Учетчик повернул и пошел обратно к трактору.

— Вон до той копны тебе норма, — сказал он трактористу. — А вправо-влево бегай, пока поле не кончится.

Тракторист Саша Ильченко посмотрел на поле. Посмотрела и прицепщица Катя. Они увидели, что поле круглое, никакого конца у него нет.

— Ну ладно, — сказал Саша, — побегаем. — И полез в кабину. Катя села на сиденье, устроенное на плуге, сплошь дырявое, похожее на дуршлаг, и трактор тронулся. Учетчик остался стоять со своей меркой, словно отдавал честь идущему по степи трактору.

Саша приехал с Кубани, а Катя — воронежская девочка. Глядела по сторонам, дивилась на больших степных коршунов. Маленький ее носик морщился от пыли, веснушки на нем шевелились, жались одна к одной.

Земля была сибирская, Алейская степь. Весна — целинная.

Только пахать пришлось не целину, а обычное поле, сплошь покрытое белесой щетинкой стерни: первой молодежной бригаде нового совхоза достались старопашотные земли.

На первой же загонке сломался лемех у плуга. Наскочил на мерзлый ком земли. Пришлось идти на стан

искать новый лемех. На это ушло полдня. А ближе к вечеру под плуг опять попала мерзлая земля...

Копна соломы, светлая днем, потемнела. Черными стали румяные Сашины щеки, только морщинки на лбу остались белыми, словно наведенные мелом.

Начиналась ночь. Саша остановил трактор как раз напротив копны, приглушил мотор, крикнул Кате:

— Ну как?

— Холодно, Саша, может, домой поедem? Хай так будет. Трошки только и не допахалы. — Катя говорила мягко, мешая русские слова с украинскими.

— Давай уж... — попросил Саша. — Немного тут до копны осталось. Озябла очень, так иди в кабину погрейся.

И опять полз трактор; девушка Катя, утром беленькая, как гриб сыроежка, стала теперь похожа на темную кочку, едва возвышающуюся над плугом.

Когда светящиеся часики на руке Саши показали половину третьего, правая гусеница трактора вдруг прошла по чему-то хрустящему. Саша сначала и не заметил. Он уже шестнадцать часов нажимал на педали, переставлял рычаги, смотрел прямо перед собой на бегущую под трактор землю. Работали его ноги, руки, глаза. А в мозгу отдавались ничего не значащие слова: «Ну вот. Ну еще. Ну еще. Ну вот». Он твердил и твердил про себя эту фразу, и она ему помогала.

Трактор переехал копну и пошел дальше, неся перед собой большое, с неясными краями облако света. Наконец он стал. Саша что-то вспомнил. Что-то важное для него осталось позади, в борозде. Он прыгнул на землю, добежал до перепаханной копны и постоял на ней.

Потом они с Катей ехали в кабине, и трактор ДТ-54, как конь, зачуявший близкое жилье, бежал норовисто, резко, всхрапывая мотором.

Приехав на стан и поставив трактор в линейку, Саша пошел к себе в вагончик. Там, в красном деревянном чемодане, должны еще сохраниться кусочки сала, буханка хлеба и, кажется, есть одна луковица...

На столике в Сашином купе стояла алюминиевая кастрюлька. На кастрюльке — миска, прикрытая крышкой. Тут же — ложка, хлеб и кружка. Саша заглянул в кастрюльку и сразу понял, что там борщ, горячий, а как он очутился здесь, на его столике, этого Саша не понял. Про-

сто он съел борщ, выпил большую кружку компота и посмотрел на часы. Белая стрелка показывала четвертый час. Саша лег на свою нижнюю полку и улыбался, пока не заснул.

В бригадной столовой, бывшей когда-то колхозным овином, темно. Только коптилка прядает своим пугливым огоньком, да волглые прутики — чаша, как их называют в здешних местах, — калятся докрасна в большой плите. У плиты сидит на скамейке черноглазая девушка, с гладко причесанными волосами под белой косынкой, в белом фартучке. Верхний узкий мысочек фартука припилен булавкой к груди. Такую девушку где бы ни встретил — обрадуешься.

Привалившись к столу, сидит парень и смотрит на коптилку. Огонек будто пугается его взгляда, у парня длинные брови, усы ниткой над верхней губой.

— Что я здесь? — говорит парень, кривя рот. — На прицепе кататься буду, пыль жевать, по червонцу в день заколачивать? Я пять лет в Москве шофером работал, генерала возил. Давай мне сейчас машину — останусь, побуду год. А так — нема дурных. Дождаться мне тут нечего, погуляю немного и скажу вам всем: до побаченья. Разве что ты к себе на кухню помощником возьмешь: ночевать вместе, работать врозь. А, Сонечка?

Бригадная повариха Соня не то слушает парня, не то нет.

— Ой, — сказала она парню, — что это Саша так поздно в поле? Вот уже пятый раз ему борщ разогреваю. Хлопцы в десять часов снедали, а сейчас уже сколь... — У Сони тот же воронежский выговор, что и у прицепщицы Кати, та же смесь русских и украинских слов.

— Они там с Катюшей устроились... — Парень подмигнул.

— Ой, а што им там делать на степу? — Глаза у Сони большие.

— Показать? — Парень вскакивает из-за стола. Весь пригнанный, ладный, сияют хромовые сапожки, блестит на суконной гимнастерке гвардейский значок. — Давай покажу, Сонечка, ну давай...

Соня смотрит все так же спокойно.

— Не надо. Та не надо же, Гриша. Та я уже знаю...

Сходи лучше за той, как это называют, за чашей. Наруби! — И вывернулась из Гришиных рук.

Он прошелся по щелястому полу, выбил каблуками дробь: «Девки, ух! Я петух!» — ушел, прихватив с собой топор.

Вернулся с охапкой чащи. Опять раскалялись и меркли прутики в большой плите, томился в кастрюле борщ. И так и сяк подступал к поварихе Соне московский шофер, бравый сержант Гриша. И плясал он, и балагурил, и всерьез говорил о своей жизни, в которой нет ничего невозможного. Соня только улыбалась, ничем ее было не расшевелить. Не мог этого понять Гриша.

Обиделся.

— Ну что ты, — сказал он, — корпишь тут для этого Сашки? Он и не голодный вовсе. Он сала с собой взял кусок. Знаешь, как у них там, на Кубани, сало едят? Возьмут привяжут кусочек на веревку и глотают. Заглотят — обратно вытащат. И вкусно, и сало целое остается.

— Ой, да ну тебя, придумашь тоже... Ой, чуешь, трактор!.. — Соня быстро подхватила кастрюльку, миску, кружку с компотом и убежала.

Гриша посидел, мрачно покурил, пошевелил бровями, встал. Вошла в столовую Катя. Потерла глаза, разъединенные степной пылью, сказала тихо:

— А мы с Сашей норму зробили. — Сказала и посмотрела на Гришу. — Гриш, а ты что здесь? — В голосе у Кати робость.

— Как чего? Тебя жду. А тебя и обнять нельзя, чума-зую.

— Я сейчас, Гриша, переоденусь...

Опять остался Гриша один. Покурил, покачал головой, пробормотал вслух: «Вот бабы, глупый народ. Одно слово — меньший брат».

Дождался Соню, сказал:

— Ну, ты тут давай шуруй. Скоро Сашке завтрак в кровать нести надо. Какао. А я к Катюшке пойду. Приглашала она...

— Ой нет, Гриша. Поздно уже. Дивчат побудишь. Им же завтра робить. Ведь только ты у нас как в санатории...

— А, наробите вы тут. Знаем, какая у баб работа.

Вышел из столовой, потерялся в ночи. Окурок прочертил дугу, ткнулся в землю...

Утро над степью сизое. Вода в озерке за столовой стала фиолетовой, радужной... Шум, теснота в бригадной столовой. И конечно, здесь уже Гриша, первый парень, красавец. Его голос перекрыл шум:

— На первое щи, на второе овощи, на третье карета скорой помощи...

Всем по душе такой веселый парень. Подмигнул девчатам: «Девки, вы гарни?» — «Гарни», — отозвались девчата.

Повариха Соня кормит завтраком трактористов и прицепщиц, все они говорят ей что-нибудь приятное.

Никому не надо платить за завтрак, давно внесены деньги в общий котел. А Грише надо платить. Он достает бумажник, денег в нем не очень много, но есть, их видят все. Протянул Соне измятую трешку. Та отсчитала ему тринадцать копеек сдачи.

— Не надо, — Гриша вальяжно, словно в ресторане, махнул рукой. Вышел из столовой, посмотрел, как заправляют тракторы, сделал свои критические замечания.

Бригадир прикреплял Саше на трактор флажок: Саша первым в бригаде выполнил дневное задание.

— Ну что, как решил-то? — спросил бригадир у Гриши. — Нам ведь на две смены переходить надо, а людей нет, на прицеп сажать некого...

— Машину давайте, обещали по специальности работу. А на прицепе что мне, за десятку пыль жевать? Нема дурных.

— Машины придут через месяц. Заработки на пахоте будут с каждым днем расти. Земля отогревается... — Бригадир занялся флажком. Гриша засвистел, подошел поближе, опять вставил свое критическое замечание: «На флаг-то материи пожалели».

Когда бригадир ушел, он сказал Саше:

— С Сонькой-то чего ты теряешься? Она тебя вчера всю ночь ждала. Ух и хитрая же натура у этих баб. Ух, знаю я их, этого меньшего брата.

— Да нет, — смутился Саша. — Это она такая уж... Она ко всем такая.

Подошла прицепщица Катя, беленькая, как гриб сыроежка. Посмотрела на Гришу, спросила у Саши:

— Сегодня опять норму робить будем? — И снова посмотрела на Гришу.

Тот отвернулся. Подумал: «Надо уехать».

Тракторы ушли в степь, стан притих, только шлепали под ветром мокрые рубахи да полотенца, развешанные меж вагончиков. Да потрескивала в большой кухонной плите чаша. Опять Гриша рубил ее, выхвалялся перед Соней своей хваткой. Говорил про себя: «Надо уехать».

Обед повезли прямо в поле, на двуколке. Гриша верхом на бочке с водой. Соня на передке, обхватила руками свои кастрюли.

— Уеду я, — сказал Гриша.

— Ой, а я никуда не поеду. Люди здесь такие хорошие. Бригадир обещал на будущий год сахарную свеклу сеять. Я ведь дома звеньевой была по свекле. Вот поверишь, Гришенька, наилучшее звено у нас было в районе. И поваром я только пока. Дивчата попросили. Бо никто не умеет лучше моего стряпать.

Гриша пострадал зычным голосом лошадку, покусил.

Прямо по стерне, без дороги, добрались до Сашиного трактора. Саша и Катя поели рассольника и запеченной с молоком лапши, попили компоту. Ели они молча, торопились. Саше как-то неудобно было, что это для них специально приехала Соня, что она привезла им обед и ждет, пока они пообедают.

Гриша отворачивался. Но следил за тем, чтобы Соня не подала какой-нибудь тайный знак Саше. Нет, ничего такого не было. Саша ел потупясь, а Соня, по обыкновению, спокойно улыбалась.

Когда съели обед и Саша пошел к трактору, а Соня к двуколке, Катя сказала Грише:

— Сегодня Саша быстрее ездит. Мы норму пораньше зробим. Приходи вечером.

Трактор тронулся. Гриша вскочил на прицеп, пристроился рядом с Катей на крохотном сиденьице, обнял ее и долго ехал так, ни разу не оглянувшись на Соню. И потом бежал по ровной степи следом за гривастой лошадкой, за двуколкой, за черноглазой девушкой в белой косынке.

Дрожит утлый красный вагончик. И чего ему дрожать? Ведь нет у него колес, нет под ним рельсов, никуда не тащит его за собой паровоз. Но вагончик дрожит, ходунном ходят его стены. Это Гриша отбивает чечетку. Не

поспеть за ним бригадному гармонисту. Немыслимое выдвывают ноги в сияющих хромовых сапогах.

На столике — бутылки, банки с консервами, лук. На полках — верхних и нижних — уселись хлопцы с девчатами — каждый со своей. Катя сидит одна у столика, смотрит завороченно на Гришу.

Это он сгонял верхом на гривастой лошадке в соседнюю деревню, привез водки и устроил праздник в вагончике. Что празднует он? Свой отъезд или что другое? Об этом никому не сказал.

Все рады празднику.

Вошла в вагончик Соня. Белый фартучек, как всегда, пришпилен булавкой к груди.

— Ой, — сказала она, — та вы мне тут такого натворите! Вот побачу и погоню всех.

А Гриша все пляшет, все громче бьют в пол каблуки.

— Дивчата, — сказала Соня, — помогите мне столовую побелить, бо мне одной не управиться. А Гриша вам еще спляшет. Он плясучий.

Девчата стали подниматься, поснимали с гвоздей ватники. Хлопцы посидели немного, допили, что осталось, и гармонист ушел, заиграл где-то там, возле столовой.

Гриша остался один. Достал из-под лавки деревянный чемодан, побросал в него свое имущество, сел, закурил.

Когда пришли в вагон трактористы и легонько захрапел за перегородкой Саша Ильченко, Гриша пошел к Соне, в столовую. Стены столовой, ободранные, закопченные, стали теперь гладкими, белыми. Пол забрызган известкой.

На плите в кастрюльке klokотало какое-то варево, прикрытое сверху миской. Для кого старается Соня? Кому стряпает ночью? Саша спит. Соня заметила настоженный Гришин взгляд.

— Учетчик еще не снедал. Замерять пошел, у кого выполнение, ну, кому завтра флажок вручать. Борщ ему подогреваю.

— Сонь, чего тебя так девки слушаются?

— Так то ж мое звено. Мы ж все вместе свеклу сияли в Воронежской области. Як же им не слушать?

— Соня, — сказал Гриша и вдруг поперхнулся, — уезжать мне или оставаться?

— А ты у Кати спроси... — Соня взглянула кротко.

— Да я не про то. Что мне Катя? Ты думаешь, я выпил, так дурной стал? Я себе работу найду. Я шофер. Я слесарь. И дом могу рубить. Что мне тут делать? Зря специальность пропадает. А уехать не могу. Вот словно тросом прикрутили. Ну ты скажи. . . Вот как бы ты?

— Ой, так мне же свеклу тоже пока негде сиять. Так тр же все еще будет. Ведь только приехали. Оставайся, Гриша, зачем тебе уезжать? Люди тут такие. . .

— Оставаться, значит? — Гриша обрадовался чему-то. — Ну ладно, поживем с людьми. . . — Он стукнул каблуком. — Эх, пропадай моя жизнь неженатая! — Обхватил Соню за плечи, потянул ее к себе и прижался выутюженной гимнастеркой к ее ватнику, перепачканному известкой.

— Тапусти же. . . — Соня попыталась освободиться от Гришиных рук. — Та оставайся. Вот ты какой. . .

БЕЛЬФЛЕР-КИТАЙКА

Яблони наконец дождались своего, яблочного года. Они огрузили плодами — и антоновка, и боровинка, и пепин шафранный, и самая старая в костроминском саду яблоня бельфлер-китайка. Костромин подставил под ее ветви толстые колья-подпорки, и она оперлась на них. Костромин прикинул на глаз: должно было выйти не меньше пуда яблок. Это только с одной яблони. А яблонь в саду набралось с полсотни.

Когда пришло время снимать урожай, на заимку приехал фининспектор. Костромин не пошел с ним в сад. Он смотрел из окна, как незнакомый ему человек в черном глухом френчике ходит по саду, трогает руками яблоки и записывает что-то в тетрадь. Считает он их, что ли? Вон он оглянулся, сорвал яблоко и ест его, откусывая по многу. Никто из костроминской семьи не попробовал еще нынче яблочка. Только любовались. Фининспектор полез в гору, обмерял рулеткой террасы, отрытые Костроминым с сыновьями на склоне.

Ребятишки притихли, даже самые малые чуют тревогу. Прижалась к печи, смотрит на хозяина жена Матрена.

Фининспектор вошел в избу, распустил по всему столу свои бумаги. Лицо у него старое, морщинистое, глаза моргают.

— Придется тебя, Михаил Афанасьевич, обложить, — сказал он, сморщил лицо в улыбке, посмотрел на Костромина. — С каждой плодоносящей яблони... Был тут из края представитель, говорил, что снимут налог, а пока

что нет указаний... Да сверх того землицы у тебя под садом больше положенного. В районе об этом известно. Вот здесь распишись.

Костромин заглянул мельком в бумаги и сдвинул их с силой на край стола.

— Несправедливо это, — сказал он, — не подпишу я. Беззаконное это дело.

Инспектор подтянулся.

— Ну, об этом мы с тобой рассуждать не будем. А не подпишешь, пеняй на себя.

Что-то грустное наигрывал приемник в углу. Инспектор ушел. Всех в избе словно заворожила томящая музыка, никто не пошевелился. Костромин медленно поднялся, подошел к приемнику, взял его в руки. Привязанные к нему тонкими проводками батареи питания беспомощно заболтались в воздухе. Приемник поиграл еще немного в руках, и Костромин бросил его на пол, долго бессмысленно глядел на умолкнувший фанерный ящик. Ему хотелось сделать что-нибудь злое, порушить то, что создавал годами, на что ушла жизнь. Ведь все это оказалось ненужным. Никому, никому не нужно... Все труды обратились во вред ему и его семейству...

Костромин выбежал из избы, одержимый своей обидой. Он схватил в сенях топор и кинулся в сад, на террасу. Срубил одну яблоню и замахнулся на другую. И вдруг привиделось в этой изнемогшей, бессильно повисшей на подпорках яблоне что-то давнее. Вспомнилась Фаина Климова. Вот так же положила она когда-то свою голову, свои руки и плечи на деревянный чемодан.

Костромин отдался проснувшейся, заработавшей памяти, и она привела к нему в сад на террасу живого Климова. Вот он встал против него и смотрит, молодой, бородатый. Когда-то он тоже мечтал о яблонях, о садах вокруг озера.

Разве для себя растил сад Костромин? Много ли он попробовал яблок? Уже старость пришла, а яблони только входят в силу. Вся жизнь вложена в сад. Для кого же он старался? Кто здесь хозяин? Костромину показалось вдруг, что он забрался с топором в чужие владения. Этот сад не принадлежал ему одному. Иначе не стоило жить, не стоило так трудиться.

Гавриил Степанович Климов, агроном из Балыкчанского колхоза, утонул в озере. Смелый он был человек

и нетерпеливый. Приехал из Бийска в Артыбаш ночью и ночью же отправился озером в Балыкчу. Пошел пешком: санный путь стал уже ненадежен, а иных путей не было. Идти ему предстояло семьдесят семь километров по льду. Утром его видели в Челюше. Он пил на кордоне чай и рассказывал лесникам о своей дальней поездке, о том, какие яблочные семена удалось достать в Москве и Мичуринске, каким теперь станет колхозный сад в Балыкче.

Лесники говорили потом, что не советовали Климову идти через озеро, но он не послушал, пошел. Больше его никто не видел. Только фанерный его чемоданчик прибило низовкой в устье речушки Чии. Он долго скребся там в береговые камни. Чемодан выловил Михаил Афанасьевич Костромин. Первым он узнал о том, что сделало озеро с его другом Гавриилом Климовым.

Костромин положил климовский чемодан в лодку и поплыл сначала в Челюш. Вода все стучала, ломилась в днище. Видно, очень ей надо было что-то такое важное рассказать Костромину. Он не слушал воду и не глядел на нее.

Из Челюша Костромин поплыл в Балыкчу. Целые сутки провел он на озере. Все греб, все ворочал тяжелые весла. В Балыкче он сразу пошел к жене Климова Фаине. Климовский дом стоял в стороне от деревни на берегу зеленой реки Чулышмана. Он принадлежал когда-то монастырю.

Костромин прошел берегом Чулышмана, потрогал руками голенькие, чуть оттаявшие стебельки яблоневых саженцев, выстроившиеся двумя короткими рядами, остановился у серого четырехгранного столбика, сбитого из досок. От столбика был виден дом, где жил Климов, и река Чулышман, и розовые колотые скалы на том берегу.

Одиннадцать фамилий выведено черной краской на столбике. Костромин прочитал их все и подумал, что надо бы теперь приписать сюда двенадцатую фамилию: Климов. Припомнились те одиннадцать. Их зарезали кайгородовские бандиты вон в той монастырской церквушке со сбитым куполом. Припомнилась осенняя ночь и ледяная вода Чулышмана, как подхватила она его и понесла куда-то прочь от смерти. Гавриил Климов плыл тогда рядом с ним.

И еще подумалось, что хорошо бы, когда придет срок,

лечь вместе с теми одиннадцатью под серый столбик. Вместе приехали в двадцать первом году из Питера на Чулышман, вместе гнали из Балыкчи монахов, вместе строили коммуны. Вместе и лежать. . .

После гибели коммунаров Костромин задумался надолго, ссутулился, отошел от людей. Может, страшного увидел больше, чем положено человеку, а может, взяли свое побои и раны и последовавшая за ними тяжелая болезнь. Вытащил его тогда Климов из воды, выходил, и Костромин уехал куда-то, пропадал два года, а потом вернулся. Видно, оставил на озере что-то такое, без чего не стоило жить в иных местах. Вернулся и поступил работать на пост, созданный Новосибирским отделением гидрометеослужбы в урочище Чии. С тех пор стал он там бессменным наблюдателем.

Климов остался прежним, веселым. Женился на красивой алтайке Фаине, помогал строить в Балыкче колхоз, стал работать в нем за агронома, хотя специального образования не имел. . .

Костромин вошел в дом, и Фаина поднялась ему навстречу так же весело и радушно, как умел это делать ее муж. Многому она научилась у мужа — растить яблони, читать газеты и даже улыбаться. Ну да, конечно, это же климовская широкая улыбка проступила на смуглом, резко очерченном лице женщины.

— Здравствуй, Фая. . . — Костромин поставил чемодан и протянул Фаине руку. Она не заметила его руки. . . Что-то такое вдруг случилось с ее лицом. Может быть, заволокло его дымом из трубки, которую Фаина держала в зубах?

Она подошла к чемодану, опустила над ним и потрогала его.

— Да ничего, Фая, может, еще ничего и нет. Неизвестно ведь. Может, обронил чемодан в озеро. Да вот, Гавриил-то Степанович. Подождать надо. Серьезно.

Фаина зашептала что-то на своем алтайском языке. Застонала и изо всех сил прижалась щекой к фанерному ребру чемодана.

Костромин стоял, низко свесив руки, мял ими поля своей синей шляпы. Пришел председатель колхоза Аргамаков. Пришли еще разные люди. Всякий в Балыкче знал Михаила Афанасьевича Костромина, всякому хотелось поговорить с ним и потрясти его руку.

Узнав о гибели Климова, помолчали немного. Но плакать и сетовать никто не стал. Куда-то увели Фаину. Раскрыли климовский чемодан. Нашли в нем размокшие, совсем негодные журналы по садоводству да мешки с яблочными семечками. На мешках растеклись чернильные непонятные слова: «боровинка, «анисовка», «пепин шафранный», «бельфлер-китайка».

Все разглядывали мешочки, качали головами, покуривали, попыхивали трубочками.

— Шибко много семян привез Гаврила Степаныч, — сказал председатель Аргамаков. — Наш народ — горный народ. Скот разводить, медведя скрадывать, кедрашничать — это мы знаем. Яблоко выращивать — это русский народ знает. Мы не знаем. Фаина знает, да что она, слушай, Михаил Афанасьевич, одна сделает? Женщина есть женщина. Как по-русски сказать, баба. Я так думаю, бери ты эти семена. Гаврила Степаныч был тебе друг. Бери, Михаил Афанасьевич.

— Возьму я, — сказал Костромин. — Только условие себе такое поставлю. Да вот перед всеми здесь скажу. Не для красного слова, а так уж, как есть. Сто яблонь я обязуюсь вырастить на озере. В память это, значит, о лучшем друге моем, о Климове Гавриле Степановиче. Да вот и обо всей нашей коммуне тоже. . .

Но яблонь не получилось из семечек, привезенных на озеро Климовым. Может, потому, что семечки отсырели в воде, а может быть, не по вкусу им пришлось земля или ветреная зима. Но одна яблоня вышла. Она не сразу стала яблоней. Сначала это был тоненький стебелек. Сквозь гляцевую его кожицу просвечивала зелень. Землю вокруг стебелька посыпали пеплом от жженных рыбьих костей, поливали разными животворными смесями. Внутри стебелька появилась белая чистая косточка. Тогда стебель косо срезали ножом и привязали к срезу веточку уже плодоносящей яблони. Она приросла понемногу, и стебель превратился в саженец. Саженец высадили рядом с другими яблонями, укутали от зайцев берестой и повесили на него деревянную бирку с надписью: «Бельфлер-китайка».

Яблоня росла, раскрывала весной перепончатые листья-ладошки, ловила в них жаркое сибирское солнце. С каждой весной листьев становилось все больше. Все новые и новые саженцы появлялись в саду. Все они

подставляли солнцу перепончатые, шершавые листья-ладошки.

В одну из весен бельфлер-китайке пришло время зацвести. Она еще только догадывалась об этом, только предчувствовала, а Костромин уже знал. Он привез в ту весну особенно много сытного чулышманского чернозема. И охаживал яблоню, и смотрел на нее как на собственное дитя.

Вдруг пошел снег. Он валился с небес как попало: большими лохматыми клочьями, жесткой перловой крупкой, задумчивыми тополевыми пушинками. Снег грузно, по-хозяйски расселся на беспомощных яблоневого ветках, и они согнулись, горестно закачались. После снега на неделю зарядил теплый дождь. Он сшибал снег с веток, снег шипел и таял. Жаркое солнце довершило дело. Чияхватила через край хмельной весенней водицы и пошла к озеру напролом, не разбирая пути. К вечеру она добралась до костроминской займки, поддела невзначай избу, изба упала, как игрушечный домик.

Семейство Костроминых загоя ушло на горный склон, сбилось там в кучу, кое-как спасалось от дождя и ветра в худеньких своих ватниках и шубейках. Сам Костромин остался внизу. Мокрые волосы облепили лоб. Вода проволокла мимо него драночную крышу его избы. Он поглядел и отвернулся. Загонял колья в землю, крепил к ним яблоневые стволы. Но вода валила и яблони, и колья, и самому человеку трудно уже становилось держаться в ошалелой воде. Он понял бесплодность своего дела, остановился, широко расставив ноги, смотрел, как яблони одна за одной медленно опускаются в воду. Они дрожали, изо всех сил цепляясь корнями за землю. Но земле, уложенной на каменную подстилку, самой не за что было держаться. Сама она плыла, растворялась в воде. Плыли яблони.

Костромин вдруг заметил что-то, рванулся с места и упал. Вода протащила его, но был он еще молод и очень силен тогда, встал, в руках у него оказалась яблонька. Он принес ее на склон, положил на землю и принялся ладить костер, чтоб согреть ребятишек. Ничего не говорил, да и не стоило говорить.

На рассвете стало видно, что к яблоньке, принесенной Костроминим, привязана бирка с расплывшейся чернильной надписью: «Бельфлер-китайка».

К полудню вода ушла. Там, где она куражилась ночью, где раньше был дом и сад, поблескивали чисто вымытые гладкие камни.

Бельфлер-китайку выходили. Посадили на специально отрытой в склоне горы терраске. Снова ее потчевали пеплом и чулышманской землей. Она заглядывала вниз в озеро и вздрагивала от высоты.

Скрипели по утрам уключины на озере. Это Костромин с сыновьями возили с Чулышмана новую землю взамен унесенной рекой. Все шире становилась терраса на горе. Внизу под ней появилась еще одна терраса, а выше еще одна. Валуны, которые приволокла с собой Чия, Костромин калил кострами, поливал озерной ледяной водой, и они потрескались, развалились. Подальше от озера, поближе к горам Костромин поставил новый дом, маленький, меньше прежнего. Появился новый сад. Яблонь в саду становилось все больше, и все они были для Костромина как дети. Такие же белоголовые по весне. Такие же требовательные на заботу, и неизвестно, когда из них выйдет толк. Такие же беспомощные и радостные сызмальства.

...И вдруг Костромин поднял топор на свой сад. Поднял — и увидел друга, мечтавшего о таких яблонях, и сад, и обступившие его горы, и озеро внизу, и яблоки, теплые, смуглые, облаканные сибирским солнцем...

Захотелось догнать фининспектора и дать ему много яблок. Может, он никогда их не пробовал?

На другой день Костромина видели в Балыкче. Он привез ящик с яблоками и два пука саженцев. Саженцы Костромин привозил и раньше, а вот какие на вкус яблоки — здесь не знали.

Оставил груз в правлении колхоза, а сам пошел к дому, где жили когда-то Климов с Фаиной. Постоял на берегу Чулышмана, посмотрел на дом, на забитые его окна, на заглохший сад, посаженный когда-то Климовым, пошел обратно в деревню.

Все, кого Костромин встретил на улице, трясли ему руку.

Всем хотелось с ним поговорить.

— Наш народ — горный народ, — сказал Костромину старый председатель Аргамаков. — На тракторах, на машинах ездить, электростанцию строить — это умеем.

Яблоки сажать не умеем. Шибко долго, слушай, их ждать. Нам надо скоро. Во. . .

Костромин достал из ящика яблоко и дал его Аргамаркову. Председатель жевал яблоко медленно. Лицо его было серьезно, задумчиво.

Съев яблоко, он чмокнул и сказал:

— Сажай мне тоже яблоню. Нет, две яблони.

Костромин каждому давал попробовать по яблоку. Все чмокали и просили его посадить яблоню.

К вечеру Костромин рассадил все саженцы. Ящик с яблоками он обшил мешковиной и снес на почту. Адрес написал такой: «Москва. Совет Министров РСФСР». Поверх яблок положил письмо, в нем было написано:

«Дорогие товарищи! Посылаю вам яблоки, выращенные мной на сибирском озере. Это чтобы вы увидели, что может тут дать земля, если к ней приложить труд. Особенно удался мичуринский сорт «бельфлер-китайка». Урожай у него выше, чем на родине, в Мичуринске.

Сам я уже становлюсь стар, и освоить мне все неподсильно. А люди здесь живут на кладе, и клад надо взять. Прошу обратить внимание и помочь в разведении садов на озере и на реке Чулышмане.

Уважающий вас *М. Костромин*».

Письмо пошло согласно адресу. Его повез молодой балыкчанский почтальон Маруся. Она покрикивала на свою малорослую алтайскую лошадку: чок! чок! Лошадка трусила вдоль зеленого Чулышмана, щипала на ходу скудные, пробившиеся в щебенке травинки. Маруся обязательно заехала бы к родителям в Чодро и погостила денек. Она всегда туда заезжала. Но следом за ней шел пешком Костромин. Он догнал ее к концу первого дня пути, и они вместе ночевали у пастухов. На другой день Маруся решила ускакать вперед, но поздно вечером, когда она уже принялась разжигать костер и развьючивать коня, большой сутулый человек появился из тьмы, и опять они провели ночь вместе.

В Суукташе Костромин дождался почтовой машины. Он сам уложил в кузов свою посылку. Протянул шоферу аккуратно разглаженную десятку. «Вот, — сказал, — возьмите. Это не для взятки, а так уж. Чтобы надежнее довезли. Серьезно. Дело государственное».

НИЗОВКА

Снег на горах начал таять в апреле. Первой заметила это речка Чия. Она подала голос.

Скоро одни макушки гор остались белыми, да белые протянулись к озеру лога и распадки.

Вода в озере прибывала. Раньше наблюдатель поста гидрометеослужбы Михаил Афанасьевич Костромин измерял ее уровень дважды в сутки. Тогда она медленно плескалась под мостками — ржаво-черная, тяжелая. Теперь надо было измерять ожившую, поголубевшую воду каждые три часа. Вода карабкалась по берегу все выше, и неизвестно было, где она остановится.

Ветер-верховик трудился понемногу, вытаскивая из залива льдины.

В один из дней, ясных и теплых, на костроминскую заимку в урочище Чии пришел с севера, снизу, как говорили на озере, катер. У самого берега моторист Родион заглушил мотор, и катерок с разгона ткнулся в береговую щебенку. Спрыгнул лесничий, приехавший принимать у лесников заготовленную зимой клепку. Сошел Родион, кряжеватый, косолапый, как медведь. Глаза у Родиона синие, слинялые. Оглядел костроминское семейство, высыпавшее на берег, спросил:

— Никак у тебя прибыль, Михаил Афанасьевич? Да ты чо с ними делать-то будешь, солить или чо?

Белоголовые костроминские ребятишки сгрудились вокруг матери. Сам Костромин стоял поодаль, большой, костлявый, ссутулив плечи. Кисти рук его, тяжелые, набухшие от работы, казалось, тянули плечи вниз.

Маленькое лицо было сухо, светлые глаза отрешенно, кратко смотрели из-под полей старой фетровой шляпы.

Костромин пожал руки лесничему, Родиону, заговорил тихим, на одной ноте, голосом:

— А я думал, нонче не скоро будете. Да вот лесники сказывали, льда много нанизу.

— Льдом и шли,— сказал Родион. — Низовка бы ударила — и все, подымай лапки кверху. Пятьдесят километров скалы да медведи. На берег, кроме Челюша, нигде не выскочишь.

— Затерло бы, — сказал лесничий.

Костромин не сказал ни слова, пошел к катеру, подсунул ему под тупой нос шест, подпернул повыше на берег. Потом он отдал распоряжения своему семейству.

— Ты, Мотя, накрывай на стол, — сказал он жене. — Игорь, насбирай на берегу щепок, снеси в стайку. Колян, дров наруби, подбрось в костер. Рая, Анюта, вы картошку почистите в уху.

Семейство так и прыснуло во все стороны. И скоро уже поднялся дымок над стайкой — прокопченным сараем, где к потолку была подвешена суковатая палка и на суку висел большой семейный котел. Сварилась в котле уха, и семейство опять собралось за столом, и вдруг оказалось, что есть в этом семействе еще один человек, молоденькая девушка, почти еще девочка. Никак негодились для ее длинных тонких ног голенастые кирзовые сапоги, топорщился на утлых плечиках от старших братьев доставшийся пиджачишко.

А может быть, все это некрасивое и нужно было для того, чтобы увидеть ее только завязавшуюся, пока осторожную красоту.

«Одеть бы девку да свезти в Москву. Побегали бы за ней парни» — так подумал лесничий, в недавнем прошлом городской человек.

— Михаил Афанасьевич, — сказал Родион, — телку ты бы мне сейчас отправил.

— Какую телку?

— Да ведь ты к свадьбе своим девкам все, бывало, по телке давал. Глядь, Надька-то за зиму вымахала. Я бы не против к тебе зятем... Телка-то в хозяйстве сгодится. — Все это Родион сказал просто так, по привычке к балагурству. Но смотреть на Надьку ему нравилось. Никогда раньше не было такого.

Надька махнула своими сплошными ресницами, ее глаза с большими зрачками затаились. Она выскочила за дверь, порывистая, угловатая девчонка. Запела горланно и высоко, смолкла, снова появилась в избе, снова убежала. Без нее Родиону стало скучно за столом.

Семейство споро работало ложками. Костромин угощал проникновенно, от души, немного даже суетливо. Жена принесла уху, а сам он стаскал на стол все, что давали ему земля, тайга и озеро. Вернее, то, что брал он у них своими трудами. Ели хариуса, белого, нежного, утром попавшегося в сеть. Ели копченого тайменя, пахнущего дымком домашней коптильни, ели розовую тайменью икру и пельмени, начиненные медвежатиной, пили брагу, сделанную из березового сока. Говорили, как полагается таежным людям, об охоте.

Ушла жена в омшаник за прошлогодними яблоками, припасенными для гостей, и Костромин взял на руки трехмесячную Люську. Люська была тринадцатой в семействе Костроминых.

Управившись с обильной пищей, разошлись кто куда. Костромин — читать газеты, привезенные Родионом, лесничий — на кордон к лесникам. Родион принес с катера баян, уселся в стайке против истлевшего костерка и заиграл разные песни. Ребятишки слушали, глядели, как заскорузлые Родионовы пальцы нажимают на перламутровые кнопки. Надька прибежала, кинула зачем-то щепку в погасший костер, снова убежала.

— Постой, Надежда, — оторвался от баяна Родион. Не послушала, убежала. Он снова заиграл, потише... Глядел на угольки, слушал, где она так поет, Надежда.

— Надька скоро жениться будет, — серьезно сообщил Колян, босоногий малец в отцовской кепке с большим козырьком. — У нее жених есть, Митька, на кордоне живет. Папка говорил, осенью оженят.

— Митька-то кривой, что ли? — Родион отложил в сторону баян.

— Ну-у Ему один глаз медведь вытащил. Как схватит лапищей-то. А Надьку на нем женят. А она мамке говорит, я лучше с дядей Родионом на моторке убегу.

— Замолчи! — Откуда она взялась, Надежда? — Замолчи, черт! — И еще что-то сказала на непонятном Родиону алтайском языке. Гибкая, потянулась схватить Коляна. Колян съехался, подался поближе к Родиону.

Тот усмехнулся мягко, лукаво:

— Ты чтой-то, Надюшка, как тот рысь. Я прошлый год рыся убил, так он тоже на меня, как ты на Коляшку, нацеливался. Ты, поди, Митьке-то и второй глаз выцарапаешь. Он тогда чо? Какой муж? Ему что ты, что медведица — все равно будет. Не видать ничего...

— Не нужно мне никакого Митьки, — сказала она и вдруг присмирела. — Я лучше в озеро, чем за Митьку. . . — Надежда выскочила из стайки, загремела ведром, побежала к озеру, заела.

Опять играл Родион, и было ему отчего-то приятно. Неужели оттого, что сказал Колян, босоногий мальчишка? Если даже и решилась Надежда бежать из отцовского дома на Родионовом катере, что тут могло быть приятного для него? И все-таки Родиону было приятно.

Слышно было, как стучат уключины на озере. Это Костромин, прихватив Коляна и Надежду, поплыл в ближний распадок за свежей землей для огорода.

Сидел на веслах и выговаривал Надежде:

— Зачем три раза в стайку бегала? Не нужно это. Seriously. Ни к чему. Нехорошо могут подумать. Да вот Родион-то скажет — для него ты это бегаешь. Ведь ты у нас невеста. Осенью к Дмитрию уйдешь на кордон.

Так же тихо, бесстрастно ответила Надежда:

— Сказала уж. Убьешь, так не пойду.

Костромин не услышал этих слов. Продолжал все о том же:

— Говорить с Родионом нечего. Seriously. У него свое, у тебя свое. Говорено тебе было. Не для красного слова, а так, как есть.

И Надежда знала, и все на озере знали цену костроминскому слову. Раз пообещал Костромин вырастить на приозерных клочках земли сто яблонь. Пообещал при людях. Приезжал по весне на лодке-долбленке в Балыкчу, и в Челюш, и в Айру, копал ямки, опускал в них тоненькие, волглые деревца и потом долго не мог с ними расстаться, все охаживал, подправлял. Деревца выживали, но чаще гибли. Осенью Костромин сажал на их могилках новые деревца, весной опять сажал. Тридцатого числа каждого месяца приносил Костромин в Балыкчу на почту месячный отчет о своих метеорологических наблюдениях. Все равно, стоял ли кроткий май, или февраль,

или ноябрь с его страшными низовыми ветрами. Упрямый он был человек.

Сидел на веслах в драном брезентовом пиджаке, в распоротых резиновых сапогах, очень еще сильный, хоть и старый уже человек. Он растил детей, учил их работе, учил брать в озере рыбу, добывать в тайге зверя. Дети росли бесхитростные, как земля и трава. Они не знали игрушек, не знали танцев и веселых вечеринок. За малейшую провинность отец сек их сызмальства вожжами.

Дети выросли и уходили в большой мир за озеро. Никто из них не хотел остаться с отцом или вернуться к нему. Новые морщины ложились на лицо Михаила Афанасьевича Костромина, и жил он из года в год без помощников. Не под силу становилось исполнять свой зарок — растить яблони на холодной сибирской земле. Потому и решил не отпускать от себя Надежду, выдать ее замуж за Дмитрия, объездчика с соседнего кордона. Думал посадить на пустой земле при кордоне еще один сад.

Разве Колян помощник? А кому вести хозяйство, если уйдет Надежда? Жена Матрена, мать тринадцати детей, стала слаба, девчонки — школьницы, живут в интернате в Айре.

Отец решил, и Надежда решила. Не пойдет она на кордон к Дмитрию, одноглазому объездчику. Не будет здесь жить, на заимке, уйдет отсюда. До чего же ей хотелось уехать за озеро. Родион казался ей необыкновенным человеком. Он играл на баяне, а музыка редко звучала в костроминском доме; он управлялся с большим быстроходным катером, — ой, как далеко до этого катера костроминской лодке-долбленке. Наконец, Родион говорил так затейливо, интересно, как не умел говорить никто на заимке и на кордоне. Надежда полюбила Родиона. Она сказала про это под большим секретом сестренке-подружке, пришедшей на воскресенье из интерната домой.

Спать Родиона отправили на пустой сеновал. Это чтобы подальше от Надежды. Дали шкуру медвежью, тулуп, пару подушек. Чего-то не спалось с вечера, курил да все посматривал на дверь избы. Чего посматривал, сам не знал. А может, и знал, да не хотел себе признаваться. Но ничего не увидел.

Утром в пятом часу проснулся от шагов по двору. Было туманно, зябко. Прошел Костромин с веслом, за ним совсем еще спящий Колян.

— Михаил Афанасьевич, — крикнул Родион, — сети снимать? Возьмите меня.

...Тоненькая корочка льда припаялась за ночь к берегу, и на ней узоры следов. Это выдра набродила, охотясь за хариусами. Косач уселся на ближнюю березу, забормотал. Тупорылая, толстая, блекло-зеленая рыбина ускуч первой легла в корзину.

Как начал Родион день вместе с Костроминым, так и не отстал от него до самого обеда. За землей съездили трижды, огород пахали под картофель, дров попилили. Была Родиону в охотку эта простая мужичья работа. Поотвык он от нее, болтаясь по озеру в своей посудине.

Надежда часто появлялась на крыльце и всякий раз взглядывала на Родиона. И вдруг показалось ему, что все здесь свое — и яблони, и огород, и молодуха на крыльчке. Такую силу почувствовал — все бы перевернул и перепахал, обнял бы молодуху — косточки хрустнули.

От работы рубаха прилипла к спине, мокрехонька.

После обеда Родион пошел к озеру сполоснуть жирные после еды руки и губы. Кусты уже расцветшего багрово-розового маральника скрыли от глаз дом и всю заимку. Родион заглянул в озеро и увидел себя, простоволового, в рубахе с косым воротом, с улыбочивыми светлыми глазами. Почувствовал — стоит кто-то за спиной. Обернулся — Надежда с ведром.

— Надюшка, — сказал Родион, — да ты чо, на самом деле за Митьку пойдешь? — И взял ее за руку, тоненькую, угловатую, как рейка. — Надюшка, подумай, что ты наделаешь со своей жизнью? Куда он тебе, Митька?

— А не пойду — так что? Отец все равно жизни не даст, — сказала она печально.

Родион уронил Надеждину руку, не знал, что с ней делать.

— Уехать тебе надо отсюда. Что тебе тут, пенькам молиться? Тайга — она и есть тайга.

— Куда я поеду?

— К нам в лесхоз. С людьми хотя будешь жить.

— А я не умею с людьми, я дикая, — сказала она и убежала к дому, так и не зачерпнув воды.

Родион не пошел больше работать с Костроминым.

Взял баян, играл до вечера, склонив набок голову, будто вслушиваясь в звуки, что рождались внутри истертых мехов. А вечером, на виду у всего семейства, он пошел следом за Надеждой на озеро своей косолапой походочкой. Костромин проводил его глазами. На озере Родион подошел к Надежде. Она хотела шагнуть прочь, да некуда. Взял ее за плечи, притянул к себе, сказал в самые губы:

— Хочешь, так... ко мне пойдем. Запомни, я это тебе сказал. Мне твой батька не закон. Пойдем, Надюшка... — и погладил ее по щеке шершавой, как хлебная корка, рукой. Потом Родион взял ведро, зачерпнул воды, снес в избу, поставил на лавку, со всей силы звякнул дужкой.

Утром пришел лесничий, сказал Родиону:

— Ну, как ты тут? С девкой поиграть надо было. Все равно Митьке достанется, кривому. А он в этих делах теленок. Зря добро пропадает.

...Перед тем как отплыть, Родион отвел Костромина в сторону и сказал:

— Женюсь я на твоей Надьке, Михаил Афанасьевич. Костромин не дрогнул, не удивился.

— Рано еще, — сказал он, — говорить об этом. Несовершеннолетняя еще. Да вот восемнадцать лет только в ноябре исполнится. А сейчас пустой это разговор.

— Ну, смотри. До ноября подождать можно. А случится что...

— Пустое говоришь, Родион. Серьезно. Семейное это дело.

— Вот так. Запомни, что я сказал.

И уплыл. Затарахтел катеришко у подножия больших гор, что расселись кружком вокруг озера и полощут в воде свои каменные подошвы.

На костроминской заимке в урочище Чии стало без катера совсем пусто, кажется, остановилась жизнь. Осталась одна работа, неизбежная, как весна, как лето, как снег в ноябре. Костромин делал эту работу и думал, почему, откуда берутся невзгоды, рушат все сделанное и задуманное. Все задумано было так ладно: новый сад на кордоне, Митькины рабочие руки в хозяйстве, дочка-помощница рядом...

Трижды приплывал за лето Родион. О том, что сказал весной Костромину, не вспоминал. Норовил остаться

с Надеждой вдвоем, но старик следил, и случалось это редко, так что едва ли удалось им о чем-то договориться.

Дмитрий все чаще появлялся на заимке, делал кое-что по хозяйству, помогал Костромину. Встретил его раз Родион, подмигнул: женихуй, парень, женихуй, твое время! Дмитрий смутился.

— Да вот, — сказал он, — лодку с Михаил Афанасьевичем делал. Новая лодка будет. . .

Костромин спешил справить свадьбу. Пришло время. В доме стало худо, беспокойно, даже самые малые ребята забивались с утра в стайку и сидели там, не шли в избу, прятались от отцовских глаз. Костромин все видел, и больно ему было, но иначе поступить не мог.

. . . Пора уже было Надежде идти на кордон. Поднялась с постели болевшая все лето Матрена, завела бочонок бражки, топталась у печки нестойкими, опухшими от болезни ногами. Надежда все чаще бегала за водой на озеро и подолгу не возвращалась. Костромин взглядывал на барометр. У каждого в семье были свои особые, неизвестные остальным желания и тревоги. Барометр падал. Вечером накануне свадьбы он предвещал большое ненастье. Озеро застыло, и рябинки пробегали по нему, как тени от стремительных чирковых стай. В такую погоду не стоило выезжать на озеро. Костромин был рад ненастью.

. . . Катер появился вместе с первыми волнами. И сразу задула, засвистала низовка, застрашала белыми мухами.

Родион прыгнул на берег и с ходу крикнул Костромину, отворачивая рот от летящего снега:

— Возьму я Надьку! Надежду, говорю, с собой заберу!

— Пустое это, Родион, ни к чему. Серьезно. Надежда замуж выдана.

— Врешь. . . — Родион побежал по тропке вверх к дому. Не добежал еще до крыльца, как увидел Надежду в белом новом платье, с ведром. Что сказали друг другу — унесла низовка. Сказали и разошлись. Надежда пошла с ведром к озеру, а Родион, миновав крыльцо, по тропе — к кордону.

Пришел на кордон.

— Ну что, Митя, женишься? Ну, женись. Не забудь только на свадьбу чурбак принести.

— Зачем? — испугался Дмитрий.

— Жену целовать будешь, на чурбак встанешь, а то ведь тебе не достать, однако.

— У-у-у, — обрадовался Дмитрий шутке, засиял. — Достану. Подпрыгну.

Посидели немного, поговорили, как водится меж та-
жными людьми, об охоте. Слышно было, как воет ни-
зовка.

Гудела гора Тоолок, и гудело озеро, глухо им отзы-
валась тайга.

Прибежал Костромин, растрепанный, мокрый, в ру-
ках держал тулку-курковку. Родион заметил, что курки
введены.

— Зачем взял ружье, старик? В кого хотел стрелять?

— Неладно поступаешь, Родион. Куда дел Надежду?
Отдай. Слышишь?.. При людях здесь сказываю.

— Брось, папаша. — Родион поднял голову, но не
встал. — И пушку положи. Ишь ты, вояка, старый хрен.
Курки повзводил... Брось, сказано.

Костромин стоял с ружьем в руках, нижняя его губа
мелко-мелко дрожала.

Старик обшарил дом, чердак и сарай, покликал свою
дочку слабым, дребезжащим голосом, убежал по тропе
обратно. Следом за ним потащился Дмитрий, сзади всех
Родион.

Он вошел в костроминский дом, сел на лавку против
хозяина. Костромин сидел в углу, свесив седую, лысую
голову, бросив руки меж острых, худых колен. Малень-
кий, тихий сидел Дмитрий.

— Так что же, папаша, как же решать-то будем? —
сказал Родион.

— Уйди, Родион. Не знаю я тебя. Столько ты горя
сделал. Не подходи к моему дому. Проклятый ты для
меня человек. И Надежду проклянута. Навсегда вы про-
клятые...

— Ну будет, завел. Скажи лучше, где Надька-то? А?
Надьку-то куда дели? С Митькой пропили? Смотрите, вы
мне за девку ответите.

И вдруг высунулся откуда-то из-под стола укрывший-
ся там от домашних бурь босоногий Колян.

— А я ишо видал. Надька в дяди Родиона катер побе-
жала. Папка ее ищет, а она туда забралась... — Колян
смолк, сбитый на пол материнской затрещиной, заголо-
сил.

Костромин заметался по избе, схватил ружье, да бросил, топор потрогал, не взял. Дмитрий тоже встал, затоптался, замельтешил бестолково руками. Старик вдруг заплакал. Все увидели, что он совсем уже старый.

Летел и летел косой снег. Носились над озером клоуны тумана.

Упершись руками в нос катера, Родион столкнул его, вспрыгнул на борт, взял в руки шест. Завел мотор, катер повернулся носом к волне и пошел, хлюпая, подпрыгивая и брызгаясь, как утенок-хлопунец.

— Утонут, — тихо сказал стоявший на крыльце Костромин и пошел в избу. Побрел по тропке к кордону Дмитрий. Матрена осталась на берегу и долго смотрела, уже ничего не видя, не замечая снежного ветра.

...Никто не утонул. Низовка стихла. Засветило солнце. Пришли морозы. Пушистый снег, словно стая белых куропаток, чутко сел на ветви кедров, готовый сорваться от малейшего ветерка. Стало озеро, и в один из погожих дней малорослая лошаденка, приписанная к гидрометеопосту, сторожко ступила на лед. Была она запряжена в кошевку. В кошевке сидели Колян, укутанный в полушубок, и старый Костромин. К кошевке была привязана телка. Она ставила передние ноги врозь, вилочкой, мотала головой. Она еще ни разу не видела зимы.

Ни разу еще в эту зиму никто не ездил по озеру. Было оно покрыто хрустким снежком, как крахмальной скатертью. Проехала по озеру кошевка — и появилась дорога. Прямая, она протянулась вниз, на север, откуда приезжают на заимку люди, откуда приносятся низовки, где живут Родион с Надеждой.

НА СОЛОНЦЕ

Сосёнки прилепились к горе, круглые, колючие, цепкие, как шишки репея. С них начиналась тайга. Вниз к озеру вела открытая, сплошь заросшая травой и цветами покать.

Снизу было видно, как забралась в сосняжек маралуха, как она бродит там или лежит, как мелькают ее светло-коричневые, седоватые бока и рыжая подпалина на задуге. Однажды под вечер маралуха спустилась к самым крайним сосенкам, вытянула шею, стала смотреть вниз, на займку, притулившуюся подле озера. Она увидела маленький, как улей, черный домишко и около него, и поодаль от него, там, где начиналась гора, белые хлопья снега на зеленых деревцах. Она только пошевелила своими длинными, пугливыми ушами.

Человек в розовой рубашке, в серой круглой шляпе ходил среди обсыпанных снегом деревьев. Он держал в руках лопату и втыкал ее в землю и нагибался. Маралуха заметила человека, и уши ее прижались к голове, затаились. Ею овладел древний, непонятный страх перед человеком. Это был страх ее предков, всей ее звериной породы. И все-таки маралуха осталась стоять. Человек в круглой шляпе ни разу еще не сделал ей худого, и она начинала верить в него день за днем, год за годом.

В начале лета она пришла к займке, чтобы родить пятнистого мараленка. Она пришла сюда уже в третий раз. В сосняжке над займкой ее никто не трогал. Лаяли внизу псы, ходил человек в круглой шляпе, и это отпуги-

вало волков, и выше в горы забирались хозяева тайги — медведи.

Человек заметил маралуху, повернул к ней лицо и стал смотреть, приподняв угловатые, заросшие седой щетиной скулы и сощурив маленькие голубые глаза. Так они и смотрели друг на друга — опасливый зверь, вышедший из тайги, и уставший, немолодой уже человек, ковырявший с утра лопатой землю.

Лайка Динка подбежала, лизнула хозяину низко свесившуюся руку. Рука была соленой на вкус. Динка показала носом на маралуху, и тявкнула трижды, и всем своим видом выразила готовность бежать, лаять, скалить зубы, добыть зверя. И уже рванулась вперед, да хозяин остановил голосом: «Стой, Динка, стой! — Собака оглянулась удивленно и увидела, что хозяин улыбается. — Стой. Ну чего ты? Своя ведь это. Своя корова-то. Да вот прошлую весну-то телиться приходила. Забыла, что ли? Назад, Динка!»

Соль белыми пятнами высыпала по всему склону. Может быть, земле тяжело было цепляться за голые отвесные камни, держать на себе траву и деревья? Может, это пот земли солью проступил на черствой, бурой горе?

Ночью маралы приходили лизать соль. Они спускались к озеру и видели утонувшие в нем черные горы. Где-то на самом дне барахтались звезды. Звери стояли замороженные, и с их губ, с седых ворсинок шерсти звонко падали в озеро капли.

Июньской ночью на солонец пришел мараловать охотник Галлентэй. Вместе с ним пришли на солонец лесник Дмитрий, молодой еще парнишка, щуплый и одноглазый, и друг Галлентэя егерь Параев, известный всему озеру браконьер.

Лодку оставили под каменным кряжем на узкой полоске прикатанных водой камешков. Здесь же сложили костерок из принесенного озером, выбеленного солнцем сушняка, попили чайку, посидели до темноты, не густо перебрасываясь словами.

Параев разглядывал карабин Галлентэя, вскидывал его к плечу, щелкал затвором, не скрывая зависти:

— С таким оружием что не охотиться. Ну-у-у! Нам бы такое оружие, да еще бы прицел оптический...

— Бодливой корове да бог рог не дал, — проворчал

Галлентэй. — Заведись у тебя карабин, через год на озере ни одного паршивого козла не добудешь.

— Да что, Семен Иванович, если уж так считаться, то первый истребитель по здешним местам — это вы и есть. А мы что? Сосунки. Первогодочки.

Параев глянул озорновато на Галлентэя. Тот забеспокоился, зашевелил жесткими усами, свел угрюмые, неровные брови:

— Ты, слушай, Параев, слова-то подбирай. За «истребителя» ты мне и ответить можешь. Понял? Я по законности действую. У меня лицензия. А тебя мы знаем. Ты у нас вот... Понял? — Галлентэй стиснул в кулак короткие, тупые пальцы, искоса глянул на Дмитрия.

Параев усмехнулся:

— Об чем и речь, Семен Иванович. Рука руку...

Дмитрий, по обыкновению, не принимал участия в разговоре. И на охоту он попал лишь потому, что был с делами в Турочаке и сел в попутную галлентэевскую лодку, рассчитывая добраться в ней до своего кордона. Плохая это была, незаконная охота.

...Стемнело. Отсырели камни. Как трухлявый пенёк, развалился костерок. Сверху, от горы Тоолук, надвинулась туча. Она до того набухла дождем, что тяжело спустилась на озеро и задрожала, засочилась миллионами слабеньких дождинок. Охотники поднялись и пошли на солонец.

Галлентэй, пользуясь правом почетного гостя и лучшего стрелка, занял самое надежное место на зверовой тропе, где вся земля была изрыта копытами и где особенно густ был налет соли.

Параев знал, что иногда звери минуют тропу и выходят к солонцу в неожиданных местах. Он быстро определил один из таких возможных подходов, сел на попавший под ноги камень, стал ждать. Дмитрий остался на берегу.

И пошла ночь, наполненная шорохом ленивого и мозглого дождя, глухая, неприятная.

Зачем это надо было Параеву — сидеть в такую ночь на камне? Он любил удобную, легкую охоту. Она всегда была доступна ему, егерю. Параев выругался громко, закурил и пошел на берег. Нашел сухое место под нависшей глыбой, затеплил огонь, стал пить чай. Скоро туда же пришел и Дмитрий. Галлентэй остался на солонце.

Он сидел, широко расставив ноги, обхватив пальцами ствол карабина, не шевелясь.

Марал прошел стороной. Зверь был такой же темный, зыбкий и мокрый, как вся эта ночь. Шум его шагов ничем не отличался от всхлипов и чавканья воды. Зверь был просто куском этой ночи, только более густым и плотным.

Галлентэй выстрелил, но зверю удалось уйти, забрызгав кровью траву, и листья, и землю.

Снова все втроем пили чай у костра. Откуда-то издалека подбиралось к озеру солнце. Его не было видно, но белые вершины гор на западе вдруг порозовели, словно кто-то опрыснул их теплой еще маральей кровью и она впиталась в снег. Кто-то стягивал понемногу с гор серое покрывало, сотканное из ночи, дождя и холода. Горы прояснились, гляделись в озеро и видели там свое колеблюмое отражение, а глубоко, на самом дне, светился, плавился, растекался все шире кусочек солнца.

— Сдохнет все равно маралуха, — мрачно сказал Галлентэй и прихлебнул чаю. — Крови много сбросила. Если бы сразу по следу пойти, добыть можно.

— Да ну, — лениво возразил Параев, — ишо ходить за имя. Сами придут.

Все трое почмокали кусочками сахара.

— Вон к Костромину под самую заимку маралуха уже третье лето повадилась. . . — Параев улегся на спину, зевнул.

— Ага, пришла, — вдруг оживился Дмитрий. — Я видел. В сосняк забралась. Вечером ее видать, как ходит.

— Как ты ее возьмешь? — засомневался Галлентэй.

— С твоим карабином чего думать как, — откликнулся Параев. — Вон выбрал место где ни то на мысу за заимкой и карауль. На шестьсот метров у тебя всегда доберет, а там и того нет.

— Нету там, — с необычной горячностью поддержал Параева Дмитрий. — Какое шестьсот, близко совсем пускает. Подойти к ей совсем близко. Еще прошлый год охотник один хотел стрелить, да Костромин заругался. Убить эту маралуху — ух, он и злой будет, ух, будет злой. . .

— Да ты, однако, и самого Костромина не прочь. . . Слышал, Семен Иванович, как у Митьки прошлый год

невесту увели, Костромина дочку, Надьку? Митька теперь на всех на них как волк.

— Слыхал. Много он берет на себя, Костромин. Многовато. Лишнее берет. За браконьерами следить лесоохрана есть. Когда-нибудь нарвется... А маралуха, говоришь, по вечерам показывается?

Костромин ходил меж цветущих яблонь, рыхлил землю, укутывал берестой тонкие стволы. Яблони цвели так жадно, что Костромину становилось иногда боязно за них и за себя. Вот опадут цветки, и нельзя будет на них смотреть, и волноваться неизвестно отчего, и предчувствовать неизвестно что. Старый он уже был человек, а все волновался, все предчувствовал.

...Топтались на цветках обремененные делом пчелы. Наносило с гор теплые запахи спелой земляники, подсыхающей травы, полыни. Костромин так и не успел к ним привыкнуть за тридцать лет жизни на заимке.

Человеческая фигура мелькнула на мыске, заросшем поверху дикой смородиной и ежевичником. Кусты не могли скрыть стоящего человека. Если скрылся — значит, присел, значит, не хочет, чтоб его видели. Человека Костромин узнал. Это был Дмитрий, лесник. Уж год, как он, минуя заимку, стороной протоптал новую тропку к озеру, не мог простить обиды, что нанесла ему Надежда Костромина.

С Дмитрием были еще двое. Костромин узнал и их. Но виду не подал, продолжал ковырять лопатой землю. Потом медленно, не оборачиваясь, пошел к дому. Что они там замыслили, те трое? Почему не мог он спокойно трудиться в своем саду? Горько-солон стало во рту от обиды. И вместе с обидой зашевелилось властное, угрюмое чувство правоты. Оно было протестующее и злое, это чувство. Оно требовало отпора, действия, борьбы. Оно было такое же молодое, как двадцать пять лет назад, когда речушка Чия вышла из берегов, унесла в озеро дом и сад, слизнула всю землю до камней — и все пришлось начинать сначала.

Костромин вошел в дом и достал из особого охотничьего ларя большой морской бинокль. Забрался на чердак, настроил бинокль и стал смотреть. Те трое залегли в смородинных кустах, тоже смотрели в бинокль.

Смотрели туда, где топорщились на зеленой покати круглые, игластые сосенки. Рядом с Галлентэем лежал его боевой карабин, калибр семь и шестьдесят две сотых миллиметра.

Чуть подрагивал в руках старика бинокль; отчеркнутые круглой рамкой, подрагивали трое людей в кустарнике. Все стало понятно Костромину. Слишком понятно. Он оглядел весь сосняжек, но маралуху не увидел, она куда-то скрылась.

Костромин снял со стены тулку-курковку, заложил в стволы половинные беличьи заряды и пошел, не взглянув на мысок, прочь от него в распадок, где текла речка Чия. Здесь его никто не мог увидеть. И сразу изменилась походка. Исчезла вялая неторопливость. Костромин набычил голову, как старый лось, и полез вверх по распадку, по камням, сложенным речкой на своем пути. Он лез долго, потом выбрался из распадка и скрылся в таежном густолесье. Безошибочно выбрал такое место, откуда видны были мысок, и заимка, и сосняжек. Лег на землю, прополз до большого чешуйчатого камня и затаялся.

В бинокль было видно, как Галлентэй выдвинул вперед свой карабин и прижал приклад к правой щеке. Без бинокля стало видно, как вошла в сосняк маралуха, как она пошевелила ушами и стала глядеть вниз на заимку. Она не таилась, верила живущему внизу человеку.

...Чуть заметно шевельнулись широко раскинутые пятки Галлентэя. Сейчас он будет стрелять. Сейчас совершится скверное, невыносимое для Костромина дело. Он высунул из-за камня свою тулку и выстрелил из обоих стволов. Маралуха застыла на мгновение, изумленная, и тут же обратилась в бег, и бег этот был единственным, что осталось у нее в жизни, что могло спасти эту жизнь и жизнь будущего пятнистого мараленка. От доверия к человеку, скопившегося понемногу, день за днем, год за годом, не осталось ничего. Только бег...

И сразу же ударил третий, сухой и жесткий выстрел. Пули ткнулись в покать и вышибли из нее фонтанчик пыли. Костромин поднялся во весь рост и пошел напрямик к заимке. Те трое, заметив его, пошли туда же. Встретились как раз в саду среди яблонь.

— Браконьерничаешь... — Параев радостно загля-

нул в лицо старику. — Маралух бить вздумал, праведник? Так-так. Семен Иванович, при свидетелях давай акт составим. Солоно тебе придется, Костромин. Все одно что на солонце.

Лицо старика не изменилось, не изменился голос.

— Пустое это все, — сказал он, — ни к чему. Семеркой я стрелял. Так только. Для испугу. Чтобы, значит, вы ее не убили. Нельзя иначе было.

Галлентэй как-то весь забеспокоился. Заерзала кожа на его лице.

— Да ты о чем это? Да ты что это такое? Так ведь, знаешь, можно... Сам браконьерничаешь, понимаешь... Параев, давай пиши акт.

Параев написал что полагалось. Надо было только поставить свидетельские подписи. Галлентэй поставил, а Дмитрий вдруг повернулся и тихо-тихо пошел прочь, втянув голову в плечи. Все посмотрели на него, не понимая еще, зачем он пошел. А он добрался потихоньку до первой березки и словно почувствовал себя вольнее. Распустил плечи и шею, шагнул раз-другой широко и свободно, и пошел, и пошел.

— Митька, — крикнул Параев, — ты куда, пес кривой?

Не оглянувшись Дмитрий, ушел.

— Понял он, — сказал Костромин. — Да вот Дмитрий-то. Нельзя ему было не понять. В тайге вырос... Ну, я пойду. У меня свое дело, у вас свое.

И ушел. Двое хмурых людей остались стоять молча, не глядя друг на друга.

РАННЕЙ ЗИМОЙ

Семен Иванович Орочаков собрался съездить в устье Пыги, потому что снег захватил там колхозных овец; нужно было живей угонять отары за Чулышман, на зимние пастбища в горы. Председатель утром сел на коня, повесил за спину малокалиберную винтовку и полевую сумку и поскакал. На ровной дороге он подымал кобылку в галоп, а в гору она везла его шагом. Мокрели, становились черными бока у кобылы. Слышно было свистение рябчиков. Гроздь померзшей калины свешивалась с высоких кустов к самому рту председателя. Но Орочаков не соблазнялся легкой попутной забавой. Он отпустил уздечку и закуривал папиросу. Дым табака не мешался с кристальным от чистоты и мороза воздухом, ключьями оставался висеть над тропой. Председатель кашлял и громко плевал. Он был одет в покупное, короткое, в клетку, пальто, в большую, с кожаным верхом ушанку, обут в сапоги. Ему шел пятый десяток.

Дела в колхозе ладились. поголовье овец увеличивалось. Все дорожки на лучшие пастбища в Чулышманской долине и в горах были известны Семену Ивановичу. Отец его был чабаном, и сам он в школьные годы свои пас овец во время каникул, а зимовал в интернате при школе, как все сыновья пастухов.

Травы и цветов на альпийских нагорьях над Чулышманом и над озером Алтын-Колем каждый год нарастало густо и сочно. Не нужно было и в зиму заготавливать сено: низовка, как дворник, каждые сутки мела, уносила, съедала снега. Овцы могли пастись и зимою.

Овечье стадо давало колхозу миллионный доход. Конечно, доход в миллион рублей получался в расчете на старые деньги. До нового миллиона Орочаков пока что не мог дотянуть свой колхоз. Но все равно год от году колхоз величали миллионером.

Было в колхозе еще и стадо коров. Но оно не давало прибыли, а только убыток. Коровы паслись, как овцы, в тайге. Доить их, раздаивать или поить питательным пойлом никто всерьез не хотел. Колхозники были сыты бараньим мясом, бодры, скакали на лошадях, стреляли из ружей, ловили тайменей в озере Алтын-Коль. О коровах даже и забывали. Коровы становились похожи в тайге на рогатых диких животных, на яков, на туров. Их не доили, и вымечки усыхали у них.

Крупный рогатый скот был нужен колхозу для плана, спускаемого сверху. По плану колхозу надлежало сеять пшеницу и кукурузу. Но подымался на пашне только ячмень. Ячменное поле скородили и удобряли. И главное — жали. Ячмень нарождался усастый и наливной. Его молотили, веяли и сушили. Зерно сдавали государству, но так, чтобы и себя не обидеть. Колхозники разживались ячменным зерном, в зиму они оставляли зерно на морозе, в аилах, чтобы спасти от мышей.

Аилы были построены из жердей, островерхи, укутаны кедровым корьем. Сквозь кровлю светило небо, а на земле чернели истлевшие угли от многих кострищ. В колхозе все люди, которым перевалило за сорок лет, провели свое детство в аилах и подкоптились в костерном дыму. Председатель Семен Орочаков тоже сохранил свое родовое жилье на подворье нового дома. В аиле у председателя стоял и мешок с ячменем.

Орочаков любил пить ячменный напиток толкан. Хозяйка толкла для него ячмень, и жарила зерна, и заваривала в большом котелке, и круто солила.

Председатель сдабривал пойло сливочным маслом, пил из большой пиалы. Над пиалой подымался вкусный, горячий пар. . .

Все женщины в Чулышманской долине заваривали жженный ячмень для своих мужчин и пили сами, и всем становилось тепло, прибывало силы, не нужно было другой еды. Все говорили про ячменное пойло — чай. Слово «толкан» казалось обидным и низким для лучшего в мире напитка.

...Орочаков поднялся пихтовой тайгой к вершине горы Тоолок, перевалил эту гору высоко над озером и, стоя в стременах, спустился на берег. Копыта залоскотали по укатанным быстрой речкой Пыгой камням.

Тут как раз и стояла отара. Овцы собрались в кучу, семенили ногами, крайние норовили пробиться к середине и малоохольно блеяли.

Пастухи были ростом малы, скуласты и смуглощеки. Они кидали сучья в костер, страшали овец дикими, горными голосами, смеялись, рассказывали председателю о главных событиях жизни на берегу: о выдре, попавшей в сеть, о трубившем марале, о волчьем следе на снегу. И о Михаиле Афанасьевиче Костромине: сколько яблок висело в его саду, сколько денег возьмет он, когда продаст яблоки. Пастухи рассказали наперебой о самом главном событии сентября, о том, как приехали люди снимать в кино костроминский сад, самого хозяина и его детей, и теперь их покажут в кинокартине. . .

Председатель сообщил пастухам, что были запущены в космос три космонавта и возвратились уже, что в магазин завезли одноствольные ружья ценой по двенадцать рублей, резиновые сапоги, и ватники, и яблоки из Алматы. . . Он сказал, что Израиль опять баламутит, а на горе Тоолок полным-полно рябчиков нынешний год. . .

Председатель хлебнул ячменного чаю у пастухов, записал себе в книжку, сколько в отаре овец, и поехал в другую отару. Весь день он провел в седле, и, хотя в последние десять лет ему приходилось больше сидеть за столом у себя в правлении или на стульях районных активов и семинаров, он не спешил расставаться с седлом. Старое тело его припомнило юность. Все же лучшее дело в жизни — это охота и скачка.

Председатель прыгивал с лошади, как молодой, приседал на корточки у пастушьих костров, согревал себе горло и грудь ячменным наваром. Он смеялся, курил и снова скакал на своей кобылке по овечьим следам на снегу.

Овцы все были целы, отъелись, убереглись от медвежьих зубов. Отары готовы отправиться в путь. Пастухи увязывали палатки. . .

С легким, веселым сердцем председатель под вечер приехал на пост гидрометеослужбы, к дому наблюдателя поста Костромина. Разнуздал, привязал свою лошадь и,

громко стуча сапогами, вошел в дом. Громко приветствовал:

— Здравствуйте! Михаил Афанасьевич, ночевать у вас будем. Шибко много снегу нынче в октябре. Раньше я мог, как медведь в берлоге, спать на снегу. Кровь больно плохо греть начинает. На печке, однако, уй, хорошо!

— Ночуйте, Семен Иванович, — откликнулся Костромин. — Младшие дети наши все в школах. Только две дочки с нами живут. Места хватит.

— Сколько их у тебя, Михаил Афанасьевич? Однако шашнадцать теперь набралось?

— Шестнадцать, — сказал Костромин ровным, негромким голосом и кротко улыбнулся. — В зиму-то мы вчетвером будем жить, а летом все собираются вместе.

— Вот тогда весело бывает, а? ..

Жена Костромина Матрена стояла около печи. Еда для семьи и скота варилась в чугунах. Она оборачивалась к мужчинам, но не вникала в их разговор, а только радовалась почтенному гостю, и радость эта была у нее на лице.

— ...Приемник-то есть у нас, — говорил Михаил Афанасьевич, — подарило мне управление к тридцатилетнюю моей работы на посту... Питание кончилось. Сын обещал привезти батареи. А так бы можно послушать известию... ..

— У нас движок свой, — хвастался председатель. — Дизель. Нам хоть сутки радио слушай. Хорошо слышно! Космонатов, однако, теперь чуть не взвод целый будет. Командиром кого поставят? .. — Глаза у Орочакова узки, скрыты натеками веками, но тем острее они взблескивали на свету. Лицо оставалось неподвижным в разговоре, было оно желтокожее, с длинными продольными морщинами, с раз навсегда приподнятыми бровями. Угадать председательский нрав или думу нельзя было по его лицу...

— Странно это слушать бывает, — сказал Костромин, — да вот что Израиль не могут призвать к порядку... Правда...

— Мировой империализм помощь дает, — сказал Орочаков.

— Ужинать собирай, — обратился старик к Матрене. — Пора. Семен Иванович весь день на коне...

День-то короткий в избе только кажется... А на работе или в дороге — он всегда долгий выходит...

— У пастухов был, разговор какой без чаю? Чай обязательно пил... От чаю сытый бываешь, как молодой.

— Пойду снесу пастухам помидоров и яблок, — сказал Костромин. — Да вот им к ужину будет как раз. Ближко они ночевать-то стали. От нашей избы видать...

— Э-э-э! Пастух голодный будет, курдюк у барана отрежет. Ты не думай о пастухах, Михаил Афанасьевич. Баранам мы счет по десяткам ведем. По головам не считаем...

— Схожу я. Правда. На холоде люди будут всю ночь...

Костромин ушел. Обернулся скоро. Как раз подоспела еда. Мужчины продолжили свой разговор. Матрена и дочки ее молчали. Поев, они быстро убрались за переборку.

Старик смахнул своей большой пястью крошки и уложил кулаки на стол.

— Хорошо, Семен Иванович, что вы к нам зашли, — сказал он председателю, словно только его увидел, словно не съели они чугунок картошки и не говорено было о международных делах и о космонавтах... — Я бы и сам побывал у вас в правлении, да сено нужно было с горы доставить... Садик вам мы хотим передать... Ухода он требует большого, а нету сил... Серьезно. Расширить его можно в несколько раз... Работа окупится. Десятки тонн можно яблок брать, крупноплодных сортов... Душа-то у нас к колхозу лежит, чтобы вам наш садик достался. На вашей земле, и удобрение ваше... Террасы у меня построены на горе. Да вот после сходим, я вам покажу. Видать при луне... Цементу бы, можно расширить террасы, а камня много на берегу... Десяток рабочих поставить, я бы взялся им показать...

— Об цементе нет разговора, — сказал Орочаков. — Хоть тонну или две тонны бери. Большое строительство мы ведем, Михаил Афанасьевич. Цемент имеется у нас. Три кошары готовы, однако. Под шифер мы их подвели. По типовому проекту...

— Лишнее это, Семен Иванович, — сказал Костромин. — Овцы не лягут на цементный пол. Правда. Настынет камень зимой. Соломы нужно много в подстилку. Проект, наверно, для тех хозяйств составлялся, где в из-

бытке солома... У нас климат мягкий. Я тридцать лет веду наблюдения за погодой. Озеро климат смягчает. Серьезно. Скоту легко зимовать в деревянных помещениях. Только от снега укрыть, и достаточно будет. А средства бы лучше истратить на обработку земли. Картошка отлично родится на Чулышмане. И помидоры. И яблоками можно весь Горный Алтай накормить...

— Надо конкретно конкретизировать, — сказал Орочаков важным и заскрипевшим голосом. — Наша главная отрасль — животноводство. Укреплять животноводство, однако, первоочередная задача... Конкретно подходить надо. Навоз будем на подстилку пускать. Кизяк сушить...

— Вы извините, Семен Иванович, — сказал Костромин, — больно бывает видеть, когда попусту люди расходуют труд и средства. Ведь мы здесь на складах живем. Правда. Всего нарóбить бы можно на здешней земле — невпроед. А то привыкли люди одним толканом питаться...

— Миллион дохода в нашем колхозе, — сказал Орочаков. — Конкретно нужно конкретизировать... Барашка мы государству даем? Ага? Кино к нам снимать не едут. К тебе зачастили, однако...

Орочаков был известным человеком в Горно-Алтайской области. Портреты свои он видел на маленьких и больших почетных витринах. Он славу любил, и, когда в «Огоньке» напечатали цветные картинки, заснятые в костроминском саду, когда он увидел портрет старика на журнальной странице, председатель обиделся, даже лишнего выпил. Не мог он понять, почему эта слава досталась странному человеку, который всю жизнь ковырялся в земле у себя на заимке, плодил ребятишек.

— Надо конкретно конкретизировать, — опять сказал Орочаков самую вескую свою фразу. — Не подходит нам это дело, Михаил Афанасьевич. Яблочко шибко сладкое в твоём саду. Однако алма-атинский апорт слаще будет. Апорту нам завезли навалом...

— Взять легче у земли. Возвращать ей трудно бывает... — сказал Костромин. — Да вы не посчитайте, Семен Иванович, что это я вам в обиду. Так, к слову пришлось...

— Славу себе заработать хочешь, — строго сказал Орочаков. — Яблочком угощаешь, вот и едут корреспон-

денты к тебе. Напоказ себяставляешь. Кулак ты однако... Вразрез с политикой живешь...

— Как же насчет садика-то решим? — сказал Костромин. — Отдать я думал его колхозу. А если вы не возьмете, тогда уже лесхозу придется отдать. Серьезно. А кулаком меня обзывать — это лишнее все. Серьезно. Обижался я прежде. А теперь только жалко бывает людей, да вот, когда лаются по-пустому. Ложитесь. Постелено вам...

— Однако коня посмотреть надо, — сказал Орочаков.

— Накормлен конь-то. В стайку я его завел. Овса не бывает у нас, а сено хорошее нонче!

Орочаков ушел на волю. Возвратился по-давешнему, с улыбкой.

— Наш народ, — сказал он, — горный народ. Животноводство вести умеет. В полеводстве мало-мало может соображать. Садоводство пока что мы не освоили на сто процентов. Однако процентов на двадцать пять будет. Копаться шибко много надо в твоём саду, Михаил Афанасьевич, как чушка в землю носом глядеть. Механизировать нельзя однако. Не нужно нам это. Мы горный народ. Лесхозу сад отдавай.

Орочаков стянул сапоги, распустил на полу портянки и так посидел, благостно кряхтя и шевеля голыми пальцами.

— Да, этого следовало ожидать, — сказал Костромин. — Горько бывает... Вся жизнь была вложена в садик. Новое это дело в здешних местах... Замерзнете если к утру, Семен Иванович, вот здесь я шубу вам положу. Возьмете.

Костромин поднял со стола лампу и фукнул, ушел за переборку к семье, которая, по дыханию было слышно, не спала, слушала разговор.

ОХОТНИК ГОРЮХИН

Горюхин приплыл с лесничим на мыс Ыдып. Моторку втащили на галечный берег. Лесничий пошел на кедровый хребет проверить, как идет заготовка орехов. Сказал Горюхину, что вернется завтра в обед.

Горюхин остался один и поспал на припеке. Ему привиделась Тоня Большая, научный работник из Яйлю. Он удивлялся лесничему, тот отдавал предпочтение маленькой Тоне, она жила вместе с большой и тоже работала по науке. Большая была настоящая женщина, как называл ее в своих мыслях Горюхин, товаристая.

Он думал о Тоне грубыми словами, чтобы уничтожилась разница между ним и Тоней, чтобы она стала как все, просто баба. Но когда он приходил с лесничим в домик к двум Тоням и брал в руки их толстые книги и читал на переплетах неизвестные ему слова: «энтомология», «фитопатология», когда он разглядывал в Тонин микроскоп свой собственный, желтый от махорки палец и дивился хитрой его конструкции, тогда Горюхин чувствовал зависть к Тоне Большой и свою темноту перед ней. Он думал, что надо будет купить настольную лампу и абажур, как у Тони, и забрать в сельмаге все книги и все прочитать, тогда уже можно будет надеяться.

Горюхин был маленький, костистый, как ерш, галифе его полоскались в резиновых голенищах. На фуражке лесная эмблема — две дубовые веточки. И чуб из-под козырька. Горюхину тридцать четвертый годочек. Молодой, ни избы у него, ни жены, ни коровы.

...Горюхинский сон был прельстительный, грешный;

солнце еще прибавляло жару видению. Но тут он услышал посвист рябчика, и тоненький этот звук разбудил Горюхина: слух его был всегда насторожен, отзывался на всякий таежный голос. Горюхин очнулся от сновидения, мгновенно остыл — и правда, рябчик свистел на елке возле ручья.

Горюхин сломил ветку таволги, обрубил ее ножом, выдал из стебля белую, мягкую сердцевину. Он прорезал в дудке отверстие и стал посвистывать тонко, как рябчик. Тот прилетел, закрутил головой и забулькал. Убивать его не хотелось.

Горюхин спрятал манок и пошел на Колдор порыбачить. Он вынул крючок из подкладки фуражки, достал из мешка коробок, в котором хранились жилки, конский волос и нитки. Пук рыжего волоса он приладил к стеблю крючка, примотал черной ниткой и подрубил ножом. Навязал эту мушку на леску. Обстругал лозняковое удище.

Колдор светло, яснозвучно и чисто катил по долине, его разрезали большие камни, и снова река свивалась в живое, гибкое тело.

Горюхин закинул мушку, повел удищем, на воде обозначился след. Хариус прыгнул за редкой в осеннее время поживой и тотчас взлетел, плюхнулся на берег. Попрыгал и засох.

Горюхин порыбачил, сколько ему хотелось, потом достал из мешка деревянную дудку, обтянутую звериной кишкой. Хотя еще было не время для гона маралов — звери, заслышав дудение, все равно не откликнулись бы и не пришли, — Горюхин приставил дудку ко рту, потянул в себя воздух, предельным усилием глотки, легких и губ добился звучания древесины. Послышался хриплый сперва, а потом все более трубный, высокий звук. Горюхин трубил и трубил, проникаясь звериной страстью. Дудение выражало призыв и угрозу, но главное — страсть. Горюхину хотелось выдуть из трубы такую высокую ноту, какую он слышал однажды на маральем гону. Он до того напрягался, втягивал живот куда-то внутрь грудной клетки, что чуть не свалились штаны. Горюхин всласть надуделся, устал, спрятал дудку в мешок.

Завел мотор и поехал в Яйлю. Там вытащил лодку выше, чем нужно, на берег. Присел над мотором у всех поселковых людей на виду. Лицо его было замкнуто, оза-

бочено. Он отвинтил свечу в моторе, привинтил ее обратно. Многолюдство поселка, хождение возле конторы лесхоза и в научном городке угнетало его, — среди занятых службой людей он почувствовал робость, тоску.

Единственно, чему хорошо научился Горюхин за тридцать четыре года жителя, это охоте. Его отца подстрелили контрабандисты, когда была граница с Тувой, а мать утонула в Чулышмане. Дома, семьи он не знал, рос в интернате в Айре. Там было две комнаты под жилье и две под классы. Кроватей на всех не хватало, их составили тесно в ряд, спали в затылок друг дружке. Если кто поворачивался на спину, его лягали ногами. Больше всех доставалось Горюхину, хотя он самый маленький, тощий: спать любил на спине.

После пятого класса Горюхин пошел пастухом в Балыкчу, в колхоз. Ему дали ружье, он стрелял рябчиков, ловил хариусов, гонялся за стрекозами, казнил клещей-кровопийц, ему было гораздо лучше пасти овец на Башкаусе, Чулышмане, на горах среди трав и цветов, чем жить в интернате. Он смеялся над интернатскими дурачками, которым нужно писать диктовки, спать в затылок друг дружке.

Потом он кормился на разных таежных работах, сшибал, молотил и веял кедровый орех, добывал соболя. Достигши возраста, стал лесником, ходил по тайге, ночами спал у костра, на пихтовой подстилке. В тайге все было, чтоб жить в свое удовольствие. Только невест не было.

...Приплыв на яйлинский берег, похлопотав над вполне исправной лодкой, Горюхин пошел в магазин и долго разглядывал там бутылки с болгарским клубничным сиропом, шампанским и шоколадным ликером. Пить ему не хотелось и не на что было, но он знал, что пойти просто так в домик к научному работнику, к Тоне Большой, не сможет, и купил флакон тройного одеколona.

Он выпил одеколон, немного замутив его озерной водой, и вскоре почувствовал легкость в ногах и руках. Дома поселка словно приблизились к нему, и он припомнил, что в крайнем доме с просевшей возле трубы драночной кровлей живет Катерина Кудинова, что это он пришел к ней первым, когда горела тайга над Колдором и мужа ее задавило камнем...

Он вспомнил: огонь стекал от хребта. Лиственницы и пихты валялись, освобождали вросшие каменные глыбы, камни гремели до самой реки. Пожар мог хлынуть в кедровый массив, и тогда бы тайга умерла. Все лесники сбегались к огню на своих моторках и лезли навстречу камнепаду и жару. Саня Кудинов работал у самого пала. Он резал моторной пилой деревья, чтобы огородить кедровник просекой. Пожар гудел у него за спиной... Камень повалил Саню и убил, и пошел гроыхать до самого Колдора. Саню снесли в холодильник. Пилу взял Горюхин и резал, рубил, копал траншею, пока не одолели пожар.

Горюхина всей артелью снарядили тогда снести весть о смерти мужа Екатерине Кудиновой, потому что он был самый легкий на ногу человек, бессемейный, таежный, ему — как с гуся вода...

Горюхин подумал, что можно пойти в кудиновский дом. Катерина подаст огурцов и капусты. Можно вволю похрупать. Он зубами, деснами, небом ощутил этот хруст и щипкий рассольный холод.

«... Или к Дмитрию Степановичу Рачкину. Он мне должен медовуху поставить. Сам говорил, что мой батяка кровавые панты ему давал, когда он валялся больной в тифу... Я ему мало, что ли, яблонь сажал, когда на Беле лесхозовский сад закладывали? И удобрение возил с Чулышмана — полную лодку, могло вполне опрокинуть низовкой...» Горюхин совсем уже было пошел к начальнику сада на Яйлю. В саду хорошо. Травы много, не кошена. Можно грушевки набрать в карманы, самая сладость в ней...

Но к саду нужно идти мимо конторы лесхоза, и Горюхин стал думать о Зырянове, самом главном на озере человеке. После тройного одеколona директор лесхоза вдруг представился ему человеком близким: директор знает горюхинские заслуги... А как же? Кто ему доставлял маралов — быка и матку — на чучела для музея? Кто первый принес весть про оползень на реке Баязе?...

«... Мог вполне навернуться! — подумал Горюхин. — Что ты?! Такая сила!»

Он поставил тогда петлю на медведя — зверь с кордона овечку унес и запрягал в папоротниках. Дело верное было, петлю Горюхин сделал из нового троса. Ночевать он спустился к устью Баяза. Спал на корнях кедрача, без огня, потому что в тайге было парно и жарко.

На случай дождя он устроил навес из плоских пихтовых лап. Но дождь разразился, зашумел, как водопад Корбу; молнии с дымом и треском входили в сплошной поток падающей воды.

Горюхин родился на озере, но плавать, как и другие озерные жители, не умел. Дождя такого в горюхинской жизни не бывало. Костер погас. Пихтовые лапы придавило дождем к земле. Горюхин испугался, и страх перед водой был равен страху перед вставшим на задние лапы медведем. Того хоть можно стрелять... Горюхин залез на кедрач. Он просидел, обхвативши стволину, всю ночь и еще до полудня. Он увидел такое, что мог бы поседеть, но лохматые кудри его оказались устойчивы перед страхом... Всю ночь поливало гору, расплавился снег наверху, и Баяз хлынул из берегов. Горюхин увидел, как просто, словно кипрей на покосе, падают лиственницы и пихты. Тайга сломилась, погибала в жутком потоке. Только кедрач стоял, напрягался — дрожали иглы на нем, стукали в комель камни. Горюхин прижимался к стволу, дрожал с ним вместе. Соболь спасался рядом на ветке. При молниях виден был страх в соболином глазу и как будто просьба о помощи. Соболя можно было взять в руки.

Завалы деревьев и скальные глыбы закрыли Баяз. Утром Горюхин увидел голую гору на месте кедрового леса, где он вчера охотился на медведя. Только матерые кедры кое-где дыбились на пустом умытом откосе. Не было больше реки Баяза. Горюхин увидел внизу новое озеро и серый песчаник на берегу. Между битых, стоящих отдельно деревьев убегали, уносили последки ночного потопа ручьи, рукава и большие новые русла...

Горюхин спустился в урчащую воду; соболю так и остался сидеть, только глаз не сводил с уходящего человека.

Горюхин подумал, что если бы ночью ошибся деревом, кусали бы его сейчас таймени под Карагаем. Кому рассказать — и не поверят. У костров на таежных ночевках шумели о своих подвигах те мужики, у которых глотки были пошире, чем у Горюхина.

...Изжога стала сильнее от воспоминания о Баязе, а хмель прошел. Горюхин понял, что не пойдет к директору Зырянову. Тот сидит за столом в кабинете, стол у него широкий, не дотянешься руку пожать.

— Юр, ты чо свою лодку, ровно девку, оглаживаешь? По делу приплыл или так не сидится — чешется?

— Меня лесничий прислал. Он в ореховую бригаду пошел на Планду-Коль, а мне с Зыряновым договориться надо насчет рабочих.

— А-а... Я-то думала, медведя накажешь, совсем обнахалился: третьего дня нашу телку задрал на Полом ручье, да жрать-то не стал, а к бому утянул и там валежиной забаррикадировал. Петька Нечунаев с Валентином Пивоваровым, с армии они демобилизовавши, ходили за им, лабаз ставили или чо... Подрали, говорят, да где... Это ему только раз дай спуска. Коровы все в тайге на отаве. Он быстрехонько мясопоставку наладит себе.

— На Полом ручье? — быстро переспросил Горюхин.

— Ну! Аккурат под бомом он ее решил. В лопухах.

— Так!.. — сказал Горюхин. Прижал подбородок к вороту форменного лесниковского френча. Задумался... — Медведя стреляли, кровил он, когда уходил?

— Да не... Говорят, только рывкал сильно. Уходит, а сам все ревит...

— Это он мог осерчать и рывкать... Он не любит, когда его с мяса сгонят. Нечунаев с Пивоваровым еще пойдут сидеть на лабазе?

— Валька-то, я видала, пьянехонек был с обеда, а Петька рыбачить уплыл... Мужики все кто в орехах, кто где. По тайге разбежались.

— Телку собаки не учухали? А то растащить все могут...

— Собаки путные все с мужиками ушли. Телку мы увезли. Зырянов лошадь давал. Кишки одни там и есть.

— Ага, — сказал Горюхин, — навряд ли второй раз придет. Он сытый сейчас на орехе. Так-то можно бы сходить... Времени нету у меня. Медведь большой?

— Да ведь, знаешь, глаза-то у страха по плошке... Большой, говорят, пудов восемнадцать.

— Так, — сказал Горюхин, — может, схожу, если время останется.

— Сходи уж. Кроме тебя, кого попросить? Медвежатник известный.

— Сразу если бы. А так опасно. Хуже нет, когда обозлили медведя. Он может первый напасть...

— Это конечно. Не всякий рискнет...

— Один был у меня убитый в Пыге на восемнадцать пудов с половиной...

— Ну-у? Я и говорю, на тебя вся надежда.

Горюхин шел по тайге и уже не думал о Тоне Большой, о директоре Зырянове. Он глядел на тропу, на каменную крошку, просеянную ручьем.

Его ноздри были растворены широко и вбирали запахи спелого леса. Живот Горюхин втянул, сердце гнало по телу кровь, и тело радовалось работе. Он прижимал к себе двустовлку и ставил ноги на землю мягко, чтобы его не услышал медведь. Он долго стоял над медвежьим следом, округло, сильно впечатанным в сохлую грязь.

Медведь походил по тайге, не скрывался, ступал как хотел; огромный пятипалый след повешал о силе зверя.

Теплый ягодный запах сентябрьского леса, тропа, рябинки — все словно исчезло. Горюхин видел теперь только медвежий след, пошел еще тише, нагибался, ловил чуть внятный запах загнившего мяса, крови, медвежьих невысохших куч.

Заря освещала верхушки леса, понизу стало черным-черно.

К шматку засиневшего мяса Горюхин не стал подходить. Он выбрал сырую ложбинку, заросшую лопухами, и лег на живот. Ружье Горюхин нацелил на сильный падальный запах, часто подымал голову, слушал.

В тайге ухал филин да иногда окликали друг дружку вопрошающим свистом крысы-пищухи.

Лежать на земле было холодно, плохо, но Горюхин ничего не замечал: стужа, текущая снизу, была ему ни почем, знобило только от страха; от долгого настороженного глядения в темноту ему казалось, что березы толпятся, кружат, а елки то приседают, то поднимаются в медвежий рост.

Горюхин лежал, дожидался большого зверя и думал о сынишке, о пацане. Всегда он думал о нем на медвежьих охотах. Как сядут они на шкуру, пацан его спросит: «Папка, а в которое место стрелил?» Он отыщет в мохнатом ворсе круглую дырку и скажет: «В сердце». Он чуял кудрявые мягкие волосы сына, а кто мать сынишки, не знал. Только мечтал о сухом, теплом вечере,

чтобы сидеть на шкуре вдвоем с пацаном и чують в своей ладони его мягкие волосы. . .

О Тоне Большой он мечтал на рыбалке, в спокойное время, а на медвежьей охоте только о пацане. Чтобы сынишка его дожидался, а после бы мог похвастать везде, какой у него медвежатник папка.

...Медведь подошел за полночь. Свой приход он не скрывал — хрупал и хрястал. Потом затихал, обнюхивал место. Горюхин сжимался, горло его становилось твердым, узким для судорожных глотков. Он говорил про себя одно слово: «Сынишка, сынуля, сыночек. . .»

...Горюхин стоял теперь на коленках. Затылок немел, будто в темя вогнали иглу с морозильным лекарством. Очень хотелось нажать на курки.

Медведь не дошел до мяса, поворотил к Горюхину морду и рывкнул. Горюхин остался, как был, на коленях, только посунул вперед стволы. Медведь рывкнул в другую сторону и шастнул к духмяной приваде.

Он схватил требуху, зачавкал, и Горюхин увидел не зверя еще, а движение черного сгустка в ночи. Охотник встал на ноги, и медведь повернулся к нему всей массой зверячьего тела, вскинулся на дыбки. . . От выстрела он опал, но не умер — рычал, уходя.

Горюхин забрался на елку, просидел до рассвета. Спустился, пошел по крови, раздвигал кусты, подлесок, медленно шел, прощупывал дорожку от дерева к дереву. Дорожка могла для него стать последней.

Он шел так полдня — на запах медвежьей крови. Зверь уносил последки своей жизни в глушь, в бурелом. Охотник отыскал его под выворотнем на согре и выстрелил круглой пулей.

Вторая дыра на шкуре уже не кровила.

Горюхин встретил лесничего на Колдоре; дожидаясь его, он стоял под кустом лозняка и дудел в деревянную дудку безо всякой надежды услышать звериный ответ, просто так. Первым делом сообщил:

— Я медведя тут шлепнул. Ага!

— Ну, брось заливать, — усмехнулся лесничий.

— Гад буду, шлепнул. В Яйлю хоть кто подтвердит. Горюхин боялся, что лесничий не поверит ему.

Да и сам он, казалось, не очень верил в возможность такого поступка.

ДАМБА

Дамбу насыпали поперек Бии еще зимой, в январе. Тогда я не знал, для чего это, а теперь можно было ходить через Бию по мягкой оранжевой подстилке, смотреть, как вода все больше берет верх надо льдом. Мне каждый день приходилось пересекать Бию: я работал собкором краевой газеты по городу Бийску и жил в Заречье.

Бийск — большой город, но, когда я останавливался посреди реки и смотрел на него, все его дома и бийская гора казались малыми кочками в сравнении с уходящими в непостижимую высь и ширь массаами голубого воздуха. И даже большая телевизионная мачта, поставленная на горе, была все равно что крохотная заноза, воткнувшаяся в край неба.

Повсюду вольготно расположились небеса. Они обрушивались на меня своим откровенно счастливым, подвижным светом. Посреди реки мне нечем было укрыться от этого света. Я скидывал шапку и расстегивал шубу.

Я ходил по улицам, приезжал на заводы, посещал учреждения, выполнял свои дела и каждую минуту готов был влюбиться. Я был совершенно к этому готов.

И возможности для этого были. Как пестрые птицы, стрекотали на новых кирпичных стенах ленинградские девчонки, приехавшие в Бийск на стройку. Неразличимо завлекательны были официантки в ресторане «Бия», куда я ходил обедать. Любовь должна была состояться вот-вот.

Однажды я встретил на улице Таню. Я знал ее, она

работала экономистом в строительном тресте. Таня была очень красивая женщина. Наверное, у нее был муж, а если мужа не было, то мало ли в Бийске прекрасных парней, молодых специалистов? Не могла она быть свободной от любви на таком большом неустанном солнце.

В этот раз Таня выглядела необычно. На ней был надет серый трепаный макинтошик, на голове просто повязан грубый платок, а на ногах старомодные боты с отворотами, похожие на ушастых черных щенков. В этой одежде она казалась неожиданной, новой. И понравилась она мне не как прежде: вовсе не таинственная красавица, можно просто ей улыбнуться и взять за руку.

Я сказал без самолюбивой настороженности:

— Здравствуйте. Хорошо, что мы встретились.

В самом деле, это было хорошо. Не нужны мне многозначительные красавицы, не нужны. Но хотя макинтош скрыл желанную для меня и греховную Танину стать, глаза ее были прежние, я засмотрелся в них и сказал:

— Пойдемте в кино.

Она быстро взглянула на меня, будто все поняла, и сразу согласилась.

— Я по делам вообще-то, — сказала Таня. — Начальник в город послал, в РЖУ. А в кино что идет?

Мне не вспомнить, что тогда шло в кино. Я смотрел на экран зря. Я потянул к себе Танину руку, едва лишь погас свет, и все прикасался к ней своими руками то чуть-чуть, то покрепче. В чем-то мне надо было поклясться, о чем-то рассказать, что-то попросить, и пожаловаться, и похвастать. Всю свою жизнь хотел я поведать ей, вложить в ее руку. Как я все езжу и езжу по алтайским дорогам, как лежу по ночам в маленьком заречном домике, и не сплю, и чего-то жду. Как я жду любви.

Таня тоже пожимала мою руку, и я задышался от благодарности к ней. Я еще не верил, не смел верить, что будет любовь. А вдруг она будет. Вдруг...

После кино я не отпустил Таню и не отпустил ее руку. Идти по улице, взявшись за руки, было неловко, и я сунул свой большой кулак вместе с ее подсохшей изнутри, чуть шершавой ладошкой в карман ее макинтоша. Тесно было в этом кармане. Мы шли, не глядя друг на друга, немного торжественно, ставя ноги не впадал. Я очень был взволнован, она, кажется, тоже.

Мы сидели на скамейке возле Бии. Лед уже оторвало

от берега. Вода праздновала свою первую победу. Она весело и жестоко тащила отбившиеся ледышки, и стучала их о берег, и крутила, и урчала от удовольствия. Мне казалось, что сейчас она подхватит нас с Таней и тоже закрутит и понесет. Казалось, уже подхватила, уже несет. Все было живое, стремительное, все сорвалось со своих привычных, установленных мест.

— Танюшка, — говорил я, — что же нам делать? Ведь взорвут дамбу, и я останусь там, в Заречье. Как же я там буду? Танюшка, вон видишь, изба? Она маленькая. Но нам хватит. Ведь хватит? Вот бы нам в ней пожить. Пока пройдет лед. Я бы ловил рыбу, а ты бы варила уху. Танюшка, это была бы хорошая жизнь. А? Как ты думаешь?

— Слишком хорошая, — сказала она.

На Бии рвали лед. Рабочие закладывали в лунки заряды, рысью трусили прочь. Над рекой неторопливо и прямо взлетали клочья льда вперемешку с водой и так же неторопливо, шипя, опадали. Ближе всех к берегу на реке стоял прораб. Он тоже заложил в лунку заряд, чиркнул спичкой, отвернулся и пошел прочь. Он шел по голому пузырчатому льду, как ходят только в замедленном кино. Он сдерживал свои ноги, которым хотелось бежать. Это было хорошо заметно на пустой реке. Его широкая угластая спина закаменела.

Я сидел на сухом, теплом берегу, держал Танину руку, и мне стало немного не по себе от этой храбрости прораба. Я попытался представить самого себя там, на льду, но ничего не вышло. Не хотелось мне идти на лед. Наверное, прораб был храбрее меня. Я покосился на Таню: вдруг она заметила это? Я почувствовал ревность.

— Храбрится паренек, — сказал я. — Пойдем походим.

...Когда стемнело, мы поцеловались на автобусной остановке, прямо посреди асфальтовой дороги, проложенной от центра до стройтреста. Возле Таниного дома, в Северном поселке, в квартале «А», мы целовались долго, никак не могли оторваться. Таня смотрела на меня близко и влажно, глаза ее начинали косить, сползались вместе. Я знал, что так бывает от любви. От любви ко мне. Я не мог ошибиться.

Воздух был шершавый от морозца, приправленный бензинным духом. Я не сел в автобус, а шел все

двенадцать километров от стройки до дамбы, и ничто не могло меня удивить. Вся обычная жизнь словно отступила на шаг, оставила меня одного. Для меня открывалось такое, важнее и лучше чего нет на земле.

Посреди Бии жужжала машина. Я не удивился этому, хотя машины не могло быть на Бии. Но она там была и жужжала.

Назавтра машина исчезла. Я не заметил этого. Я слишком спешил прожить весь день до вечера, чтобы пойти к Тане.

У Тани оказался сын Серега, молчаливый, серьезный мальчик с большой головой и кривыми ногами. Сереге было полтора года. Он все смотрел на меня и ни разу не улыбнулся. Мои ухищрения понравиться ему были жалки. Он отверг их. В комнате едко пахло пеленками.

Когда мы целовались с Таней, Серега начинал беспокоиться. Ему явно не нравилось это дело. Он полз по дивану и норовил сесть между нами. Таня хватала его, прижимала к себе и целовала отрывисто, хищно.

— Сержик, я тебя люблю, — говорила она ему и смотрела на него потерянными глазами; и отсаживала его подальше от нас.

Мы снова целовались, потому что я не знал, что говорить, Серега снова полз к нам поближе.

Я встал, подошел к форточке и долго там стоял.

— Скоро я уложу его спать, — сказала Таня. Сказала откровенно и, мне показалось, зло.

Я вернулся на диван, и Таня рассказала немного о своем муже. Он работал инженером на стройке, год назад попал под машину, умер и теперь спокойно смотрел на нас со стены. И я тоже вдруг стал спокойный.

— Он был хороший, — сказала Таня. — Он ко мне так относился... просто... не знаю...

— Ну что ж, — сказал я, — опять замуж выйдешь.

— Да... какие там мужья... — Сказала с тоской, а я вдруг подумал о себе как о щенке, малолетке. Нельзя мне было вмешиваться в эту жизнь, что совершалась рядом со мной, в жизнь чужой мне женщины, Тани.

На стройке кончался день. Уже кто-то распахнул окно, и к нему приникла радиолы, и привычно завладела пространством и воздухом модная песня «Муча». Воздух розовел. Голоса перемешались. Ленинградские девчонки в лыжных штанах, в беленных известью ватниках и ко-

кетливых косынках пробежали мимо окна. С достоинством прошли парни в одинаковых, воробьиного цвета кепочках. Тонко гукнул паровозик, привезший с четвертого участка три вагона девчонок и парней.

Я оглянулся. Комната мне показалась темной. Таня по-прежнему сидела на диване. Серега тоже сидел. Я почувствовал вдруг, что все зря.

«Придумал, опять придумал. Ничего нет. Ничего не может быть», — сказал я себе.

Мягко гомонила за окном стройка. Мне очень захотелось туда. Но уйти теперь было нельзя. Я сидел и ждал. И Таня тоже ждала. И оба мы знали, чего ждем, и знали все друг о друге. И нельзя уже стало ничего говорить, потому что все бы было не то.

А рядом, за форточкой, совершалась иная, моя прежняя легкая жизнь. До чего она была легкая. Зачем я ее бросил? Зачем? Если бы мне опять туда, чтобы просто идти и смотреть на небеса.

Далеко ухнул взрыв. Рвали лед на Бии.

— Пойду, пожалуй, — обрадовался я. — А то дамбу взорвут, ночевать негде будет.

— Вы можете ночевать здесь, — сказала Таня с отвлечением.

Я стал надевать пальто. Теперь я уже не мог остаться. Не надо ей было ничего говорить.

Опять, как вчера, я шел пешком все двенадцать километров и удивлялся себе, своему целомудрию, и встречным лицам, и уцелевшим по краям дороги соснам-одиночкам и умилялся. . .

У входа на дамбу висело объявление о том, что ее взорвут завтра, в воскресенье, в десять утра. Я без раздумий спустился по лесенке и пошел против течения людей, покидавших Заречье. Я все думал, думал, что надо мне побыть одному, поработать. Я искал себе оправдания, потому что шел один наперерез люду. Я говорил: «Поработаю, поработаю, поработаю». Все это было кстати, хорошо и правильно. Но, перейдя Бию, я остановился на берегу, отгороженном от реки перилами, и постоял немного. Показался мне город Бийск большим праздничным кораблем. Вон сколько народу спешит попасть на него по узенькому трапу. Сейчас корабль тронется и пойдет, пойдет. Вон уже гудок взлетел над трубой мясокомбината. А я останусь в Заречье, посреди маленьких домиков со

слеповатыми окошками. Я испытал легкую и грустную зависть провожанья. Наверное, и другие зареченские жители, стоявшие рядом со мной, испытали то же.

«Ладно, — сказал я себе. — Хватит. Ничего не может быть. Все уже было. Работать надо. Работать. Работать». И пошел в свой домишко.

И правда, я поработал. Под утро лег, но не спал, а думал. «Дурак, — говорил я себе. — Дурак!»

Утром, едва встав, я помчался к дамбе. Я не видел ни неба, ни солнечного дня, занимавшегося над Бией. Я видел только два женских глаза. Они косили, сползались вместе от любви ко мне. Ко мне!

Дамбу уже взорвали в трех местах. Милиционеры, отбившие натиски зареченцев, которым, как и мне, была необходима дамба, теперь отдыхали. Воронки были наполнены белым ледяным крошевом. Каждый кусок льда в воронках шевелился сам по себе, ерзал и шуршал. Я потрогал крошево подошвой своего сапога и пошел через Бию. Милиционеры сразу же меня поймали. Я заплатил штраф и пошел через Бию в другом месте, где раньше ходили машины, прямо по воде. Здесь можно было идти, милиционеры охраняли только дамбу.

Вместе со мною пошел шофер, он рвался домой, в Бийск. Только приехал издалека, — хоть вброд...

Мы зашли по щиколотку в воду и остановились.

— Парень, — позвал шофер зареченского жителя, празднично стоявшего на льду, — пройди передом. У тебя сапоги. Не бойся...

— А у тебя чо, — сказал парень, — тапочки?

Мы вернулись на берег. Я побежал вниз по реке, туда, где Бия встречалась с Катунью и открывалась Обь. Я бежал до тех пор, пока не увидел чистую воду. Она синела широко, по всей Бии. По воде быстро, густо шла шуга.

Парень на берегу чинил лодку.

— Перевези, друг, — сказал я парню.

— Да ну, — лениво ответил тот, — какой теперь перевоз?

— Попроберемся, слушай, не затрет, — сказал я жалостно.

— А хотя бы и затрет.

— Слушай, друг, ну, за четвертную...

Парень еще больше наморщил лоб, и мы поплыли.

Берег сразу же подался влево, все зашуршало, понеслось.

— По Бии, — сказал он, — не поплаваешь — жизни не узнаешь.

— Да, — сказал я. — Правым давай, правым, льдина идет. — И незаметно для парня вцепился пальцами в борта.

...У Тани сидел мой знакомый крановщик со стройки. Я писал о нем очерк и фотографировал для газеты.

Сергея серьезно смотрел на него и на меня.

— Пришел интервью брать? — сказал мне крановщик без заметного дружелюбия.

— Да, — сказал я, — пришел братъ. — А сам все старался посмотреть особенным взглядом в Танины глаза и получить ответный особенный взгляд. Нет, не вышло. Ее глаза все в сторону, в сторону от меня...

Я почувствовал злость, даже ярость. «Зачем, — твердил я про себя, — зачем мне все это?»

Крановщик был спокоен.

— Ну, — сказал он мне, — все пишешь? — Он взял со стола бутылку с пивом, подцепил двумя пальцами железную пробочку и сколупнул ее на сторону.

— Пойдем, — сказал я Тане, — погуляем.

— В кино поехали, — сказала она и посмотрела на меня и на крановщика.

Я не мог этого вынести. Сказал:

— Сейчас приду, — и пошел вон из комнаты, старательно ставя ноги.

Таня вышла за мной на лестницу.

— Пойдем, — сказал я ей. — Пойдем. Ну, пойдем.

— Ты хороший парень, — сказала Таня. — Только какой-то ты... Все работают, а ты чего-то ходишь... Он за меня, знаешь, душу отдаст.

Я медленно пошел по лестнице, потом по улице. Все казалось, что сейчас меня догонят и позовут обратно. Но никто меня не позвал. Я вышел на берег и стал смотреть. Что-то показалось на Бии знакомое — оранжевые опилки. Показалось и унеслось прочь. Уплыла дамба. Я побежал было за ней следом, да скоро бросил. Наплывали все новые, незнакомые мне льдины. Все они торопились в новые, неизвестные места.

Я стоял и смотрел. Рядом со мной стояли сосны. Ветки на них шевелились, на ветках шевелились иглы.

УДАРЕНИЕ НА ПЕРВОМ СЛОГЕ

Его звали Ростиславом. Он родился в тридцать первом году в Ленинграде. Не очень любил свое имя. Сына назвал Алешкой. Сына рождения пятьдесят пятого года. Но не в этом суть дела. До двадцати четырех Ростислав ходил в Славках. Потом стал Ростиславом Сергеевичем.

Ростислав Сергеевич Слепов, научный сотрудник отдела докембрия, начальник семнадцатой партии, летит теперь в Алыгджер на самолете ЯК-12.

Он думает о многом сразу. Ему кажется, нужно держать баланс, сидеть прямо и неподвижно. Если нарушить баланс, ЯК-12 ковырнется набок, как лодка, скиф-одиночка.

Ростислав вспоминает о скифе, о веслах марки «Рудер». «Теперь научились, наверно, — думает он, — сами делаем приличные весла. А может, по-прежнему, нет лучше «Рудера»? И скифы были немецкие. Какие теперь, интересно?»

Рядом с пилотской спиной впереди за стеклом — спина в замшевой куртке. Короткая, крепкая шея. Берет на затылке.

Слепов кричит, покрывая дрожь мотора, соседу, коллектору Грише:

— Сидит, как Будда!

Гриша чуть-чуть улыбается. Он тоже думает о человеке с широкой замшевой спиной.

...Было время садиться в кабину. Пилот грел мотор.

ЯК-12 дрожал, легонький, узкий, ширококрылый работа-га-самолетик.

Слепов и Гриша грузили имущество партии. Весело, возбужденно грузили и слушали ЯКа. Воздух летел от винта, травинки шарахались наземь, белели, ложась, теряли беспечную прозелень.

Геолог Максимова Оля, юная девушка, горный инженер, стояла поодаль, ждала, когда позовут садиться. Она никогда еще не летала на таком маленьком самолете. Очень хотела лететь и боялась, конечно.

Никто не заметил, откуда вдруг взялся начальник отдела перевозок. Вместе с ним пришел мужчина в замшевой куртке, в берете, в ботинках на рубчатых толстых подметках. Начальник замахал руками пилоту. Пилот снял газ.

— Возьмете с собой товарища! — крикнул начальник и указал головой на мужчину в берете.

Пилот свесился через борт, возразил:

— Я беру только троих.

— Ну конечно, — сказал начальник. — Товарищам придется кому-нибудь подождать. — Он повернулся к Слепову и строго прибавил: — Больше двухсот пятидесяти килограммов на один рейс не положено. Вот товарищ полетит в первую очередь, иностранец...

Слепов держал в руках тюк. Он бросил его на траву и чуть-чуть вскинул подбородок. Подбородок в юности был белый и круглый, а теперь потемнел, отделился от нижней губы резкой морщиной. Слепов поднял правую бровь. Светлая, незаметная бровь обозначила вдруг себя. Он сказал:

— То есть как? Мы не можем больше ждать. Вы понимаете это?

— Ничего не могу сделать, — сказал начальник. — Отправим следующим рейсом. Такие есть распоряжения.

— Ах, распоряжения? Значит, интересы геологической партии — это чепуха?..

Человек в берете слушал. Лицо у него было крупное, угловатое, с желто-серым налетом усталости. А может, болезни. Или тоски... Смотрел он мимо всех стоявших вокруг. Потом медленно забрался в самолет, сел в кресло рядом с пилотом. Только шея его порозовела немного, но вскоре и это прошло.

Геолог Оля Максимова осталась стоять на летном

поле. Девочка в лыжных брюках. Ничуть она была не похожа на горного инженера. Не верила еще, что лететь не придется, что осталась одна на чужом, пустом поле. Стояла не шевелясь.

Гришу Слепов взял себе в помощь: нужно заключить договор с колхозом на аренду оленей, выючиться, точить топоры, сухарей насушить. От женщин мало проку в этих делах. И от инженерских дипломов — тоже...

Злым, раздраженным отправился в Алыгджер начальник партии Ростислав Слепов.

...ЯК-12 с надсадом ревел на лету. Снизу он казался, наверно, плавной большой стрекозой в летнем небе.

В окошке кабины виднелась земля. Она колыхалась немного, все на ней было красочно, крупно: бурые, серые — горы, в пепельной зелени — лес, светло-зеленое — поле, речка — длинная, синяя густо, до черноты. Голубой воздух был напитан солнцем, подвижен. Ни одна тень не пятнала его. Непокрытый, густоволосый затылок пилота казался молодым, спокойным и дружеским.

Слепов не мог долго оставаться сердитым. Бровь его распрямилась, стала совсем незаметной на лице. Что бы там ни случилось, он был рад этому утру. Рад небу, земле, утратившей мелкие очертания, солнцу, едва ощущаемому привкусу риска. Он любил такую жизнь.

Летел. Вспоминал что придется. Нужно было держать баланс на сиденье. Слепов думал о скифе. О спорте. О гребле. О Косте Речкалове, олимпийском чемпионе. Они начинали когда-то вместе в учебной четверке. Хорошая это вещь: шелест воды о днище, запах ее, близкий и свежий, слитные ходы весел, рук, спин.

После первого курса Слепов уехал в Саяны. В октябре возвратился, пришел в клубный эллинг. Боцман его не узнал. А может, узнал, только говорил на «вы» и строго. Не разрешил садиться в гоночный скиф. Назывался тот скиф странно: «Мистификация». «Кто их так называет?» — подумал Слепов и улыбнулся. Вспомнил, как в клубе ему говорили: «Будешь работать — поедешь на первенство Союза, а там в Югославию, в Лондон, на Хейнлейскую регату...» Много раз говорили об этом. Предрекали спортивную славу. Слепов был выше, сильнее Речкалова. Но удивить Лондон ему не пришлось. Он ездил лето за летом в кузнецкий Ала-Тау, на полуостров Таймыр, в якутскую тундру.

А Речкалов наматывал километры. На Крестовке, на Невке, на узкой мазутной Ждановке, на взморье, вдоль лахтинских камышей. Он греб по утрам, когда на воде встречались только буксиры. По вечерам ставил лодку бортом к косой волне от бегущих речных трамваев. Волна вскидывала узкий скиф, вальки вырывались из рук, нужно было цепляться за воду веслами.

В осенних потемках Речкалов ходил с фонарем на носовом фальшборте. Греб часами, годами. Греб, греб... Стал чемпионом Союза, Хейнлейской регаты, Европы и Олимпийских игр.

Слепову очень хотелось в Мельбурн, на Темзу, на озеро Балатон. Он читал о Речкалове все, что писали газеты. Читал и твердил себе: «Мог бы и я, мог бы и я...» Губы его сжимались, округлялись в иронии: «студент Речкалов». Так писали три, и пять, и одиннадцать лет — студент.

Последний раз они встретились осенью на Крестовке. Это было года четыре назад... Слепов только вернулся из экспедиции. Вода казалась черной уже, и листья плыли не густо. Грустно, тревожно тянуло из парков дымом. Дымом особым, осенним. Слепов, чуть-чуть подгребая, плыл на учебном спуннинге. На воде и на берегах было пусто. Только чей-то скиф-одиночку потихоньку сносила Крестовка. В скифе сидел человек в синем свитере с белым кантом. Он держал одной рукой вальки весел — для баланса, другую свесил до самой воды. Поднял лицо, плывя мимо. Все на лице было выбелено: брови, губы, глаза, даже в морщинках у рта белела соль морей, или пыль ветров, или еще что-то такое. Очень спокойное, знакомое лицо.

— Здравствуй, — сказал Слепов и вдруг заволновался.

— Привет.

Лицо не изменилось нимало.

Слепов еще не придумал, что сказать олимпийскому чемпиону. Что-нибудь очень простое, детское даже, чтобы отлетели годы, прошедшие разно, осталась только улыбка двух поживших, уставших немного людей и эта осень, черная вода внизу, дым сгорающих листьев лета.

— Ну что? — сказал Речкалов. — Все на спуннингах ходишь? Учишься грести?

Слепов сломал свою бровь, ему захотелось сказать

что-нибудь обидное Речкалову, но слов таких не находилось, и вдруг вспомнил прежнего Речкалова. Был он в юности тонконогий, щекастый и слабый. Превратил себя в самого сильного в мире гребца. Победил поляка Коцерку, американца О'Келли и австралийца Вуда. Добыл славы не только себе — стране.

Слепов ничего не сказал тогда, гребнул посильнее, прочитал на носу речкаловской лодки: «Мистификация».

Слепов припомнил все это и улыбнулся. Сказал себе: «Еще года два продержится Костя и сойдет. В тренеры подастся, наверно. Ну что же, поглядел хоть на белый свет». Подумал без зависти, без прежней иронии, даже с сочувствием. Сам он давно уже мог поехать куда-нибудь. В Африку, например. Никуда не поехал. Только в Сибирь. Чем больше он ездил в Сибирь, тем сильнее хотелось ездить.

«Нужно себя ограничивать в чем-то, — сказал Слепов, — или спорт, или дело». Сказал и бросил думать о прошлом, о лодках. Стал думать о будущем, о древнем саянском докембрии, об оленях, о сухарях, о рабочих — наймешь ли их теперь в Алыгджере?

— Чегой-то его несет в Тофоларию? — крикнул он в ухо Грише, кивнув на замшевую спину.

— Кто его знает, чистый Будда, — улыбнулся Гриша.

— Ну, мы его не будем обожествлять.

2

Есть такое место в Сибири — Алыгджер. Когда-то был здесь райцентр, потом его перенесли в Нижнеудинск. Остались на память лишь административные здания: бывший потребсоюз, бывшая милиция... Не осталось только въезда в деревню. Его и не знали здесь никогда. Не знали ни ворот, ни дороги, ведущей в иные места. Была седловина в горах, окруживших деревню. В ту седловину метили пилоты. Быстро гасили скорость и высоту. Негде кружиться над Алыгджером. Рулили по сочной траве к аэропорту — большой избе с трехступенным крылечком. Начальник порта шел не спеша навстречу машине. Крепкий, присадистый, голубоглазый сибирячок в аэрофлотской куртке с угольчатым шевроном на рукаве. Дочку

начальник держал на руках, а сын уже сам научился встречать самолеты.

Начальник аэропорта улыбался, встречая. Поднимется хмарь над горами, закроет небо, будет висеть неделю, а может, месяц, будет сочиться дождем или сыпаться снегом, никто не прилетит по такой погоде. И приехать нельзя в Алыгджер: горы вокруг, лиловеющий камень, красно-кирпичные осыпи, кедры у нижней границы снегов, ягель, излюбровы тропы.

Начальник всем улыбнулся: пилоту, Грише, иностранцу. Сказал:

— Придет сельповская лошадь — вещи отправим до места.

С пилотом пошел оформлять бумаги. Дочка крепко держалась за отцовскую шею. Сын остался стоять неподвижно, глядел на самолет. Много он их повидал за свои восемь лет. Не было для него погоды ненастной, теплой или туманной. Была только летная и нелетная. Все нелетные дни казались ненастоящими, проходили не в счет.

Иностранец вылез из самолета и сразу уединился, ушел в сторону ото всех. Принялся рассматривать горы. Гриша со Слеповым быстро скинули вещи. Сели перекурить. Завернули махорку. Уже началась особая, «полевая» жизнь: взять клочок газеты, всыпать щепоть махры, туго ее завернуть и курить с треском, особенным жаром и вкусом. Докурив сигарку, Слепов крикнул вдруг иностранцу:

— Чего вы сбежали от нас? Идите сюда, покурим.

Иностранец тотчас же обернулся. Его замкнутое крупное лицо вдруг изменилось. Перемена случилась мгновенно, будто он ждал слеповских слов. Иностранец улыбнулся. В улыбке все растворилось: серый налет на лице, медлительность взгляда, непричастного к подробностям жизни. Улыбка вышла смущенной и доброй. Он сразу шагнул поближе, сказал:

— У меня сигареты. Я могу вам предложить. Да? — Он достал измятую пачку «Байкала». Слова выговаривал робко, с заминкой, ударения делал на первых слогах: «Я móгу».

— Постойте, — сказал Слепов, — я знаю, кто вы такой. Вы же венгр. Чего же вы сразу нам не сказали?.. И зачем вы курите эту дрянь? Курите махорку. Вот нате.

— О-о-о! — воскликнул иностранец. — Ма́хорку... Да, да, я уже ку́рил ма́хорку... Нет. Кури́л... Так?

— Ну конечно, так.

— Она по́падает... Нет, как это? Она сы́плется... Так?

— Так.

— Она сы́плется в рот и мо́бает... Нет. Кру́тит. Она сы́плется в рот и крутит голову.

— Крутит? — Слепов вдруг весело засмеялся. Впервые за весь этот день.

Гриша смеялся еще веселее, чем Слепов. Он давно уже был готов и рад подружиться с иностранцем. «Почему Слепов решил, что он венгр?» Иностранец тоже смеялся. Говорил он много и радостно:

— Этнография. Такая наука. Вы, может быть, не слышали?

— Немножко слышали, — сказал Слепов. — Чуть-чуть.

Иностранец перестал улыбаться.

— Мне не надо было лететь, — сказал он печально. — Я должен был уступить место женщине. Но не было... как это? Выхо́да...

— Выхо́да.

— Да, да. Выхо́да.

— Что у вас за неотложное дело? Если не секрет, конечно.

— Я венгр. Этнограф. Венгерский язык очень близкий языкам сибирских народов. Ханты и манси... Буряты. Тофолары. Это очень мало изучено.

— Ну как же, — сказал Слепов, — это известно: финно-угорская группа языков.

— Да, да. Финно-угорский... Как это? Я хочу написать монографию о языках сибирских народов. Нет... Это большое счастье. Этому мало жизни. Просто мечта... Мне надо уезжать. Я приезжал на один месяц. Уже пошел тринадцатый месяц. Мне нельзя терять больше ни один день... Так вышло.

— Ничего, — сказал Слепов серьезно и твердо. — Пожалуйста. Мы на вас не в претензии.

Иностранец вскинул на плечо рюкзакишко, обыкновенный зеленый мешок со шнурками, собрался куда-то идти.

— Подождите, — сказали Слепов и Гриша вместе. — Чего вам спешить. Сейчас придет лошадь, погрузимся и поедем.

Венгр покачал головой.

— Времени нет. — Тряхнул мешком. — У меня есть магнитофон. Я хочу записывать песни. Старые тофоларские песни. Я хочу искать шаман. О-о-о! Древность... — Венгр пошел по дороге, прорезанной вдоль тележными колеями.

Слепов крикнул вдогонку:

— Ну, дай вам бог стопроцентного шамана! Приходите к нам. Мы в школе остановимся. В интернате. Спросите — вам покажут.

— Спасибо.

Когда венгр отошел подальше, Слепов сказал:

— Вот это да! Другой придет в командировку, первым делом — что? Харчиться. Причем основательно, не как-нибудь. Потом — отдохнуть. Коечку получить. Ночку скоротать как следует. А потом уже — за работу.

— Да-а-а, — сказал Гриша. — Деловой венгр.

— Подвижник какой-то. Чтобы лететь в Тофоларию за шаманской песней? .. Такое не часто встретишь. Ну, а мы с тобой вот что. Сейчас отвезем имущество на склад и займемся немножко бытом. Не будем подвижничать?

— Не будем. А как ты угадал, что он венгр?

— Да пришлось мне один раз вступить в контакт с этой национальностью. Был такой случай. .. Черт, только жалко Максиму. Когда она теперь прилетит? Вот ведь идиотская манера делить людей по сортам. Почему этнографу первая очередь, а геологу вторая?

3

Оля Максимова не думала о том, кому какая очередь. Она еще не умела отделять свои горести от себя, судить, обобщать, выносить приговоры.

Ей было грустно видеть, как уменьшается самолет в небе, как он сближается с черной, рубленой кромкой гор. Вот он исчез на мгновение, снова мелькнул отдельно от гор и стерся — теперь уже навсегда.

Оля тихо, бесцельно пошла по аэродрому. Он казался ей неприязненным — пустое, огромное поле. Кузнечики

прыгали из-под ног, пускали в ход крылья, взлетали, звеня, шелестя, в меру сил подражали хозяевам поля.

От здания аэропорта ехал мотоциклист. Он догнал Олю возле ворот, чисто выбритый, вежливый парень в синей куртке и галстуке, — видно, летчик. Он остановил мотоцикл, и тот зафыркал реденько, вразнобой.

— Вы разве не улетели? — спросил летчик, словно был давно озабочен Олиной жизнью. — Ведь ЯК-12 пошел в Алыгджер, Команев полетел, Вася.

— Какого-то иностранца посадили. — Оля не смогла скрыть обиду.

— Да, я знаю, — сказал летчик, — еще вчера командир отряда хотел отправить иностранца вне очереди. Согласно законам гостеприимства. Гроза помешала... А за вас мы не беспокоились. У вас ведь в экспедиции есть мужчины. Можно же было уступить вам место в самолете. Или это мне показалось — что есть мужчины?

— Места уступают в трамваях, — строго сказала Оля, — и то не всегда...

Она пошла дальше. Нельзя же было ей, горному инженеру, стоять возле незнакомого парня и ждать чего-то. Но идти не очень хотелось. Идти одной по пустому полю. Слова летчика были неожиданны, приятны ей. Значит, кто-то здесь думает все же о ней и о партии Слепова, на этом аэродроме.

— Садитесь, нам по пути, — вежливо предложил летчик. Он тихонечко тронулся следом за Олей.

Оля остановилась.

— Что ж. Везите.

Устроилась на заднем сиденье.

— Вы в город едете? — Летчик обернулся. Оля увидела совсем близко его твердое и доброе молодое лицо, улыбку.

— Я еду в Алыгджер. Только в Алыгджер. — Оля тоже улыбнулась.

— Тогда все в порядке, — обрадовался летчик. — Идем одним курсом.

И они куда-то поехали.

Впервые в жизни села Оля на мотоцикл. Старалась сидеть прямо, иначе, казалось, получится крен.

День был недавно жаркий и неподвижный. Теперь он ожил весь, засвежел, рвался навстречу упруго, прохлад-

но. Лишь иногда возле сосен он вздыхал мягко и знойно, наносил запах хвои, смолы, цветущего лета.

Ехали широкой песчаной дорогой, обгоняли машины. В них сидели люди в рубашках — белых, синих, праздничных. Было заметно, что им не сидится, людям, в этот воскресный день. Они пели, махали руками.

Машины катили быстро, густо пылили. Оле было немного страшно в этой сумятице тракта. Страшно и весело. Близко, рядом совсем сидел летчик, мотоцикл лез вперед уверенно, ходко. Спина у летчика была широка, надежна. Нет, не страшно было Оле рядом с таким человеком.

— Наглотались пыли? — крикнул он, обернувшись. — Сегодня все едут в Дунькину рощу на гулянье. Каждое воскресенье ездим.

— Мы не туда поехали! — крикнула Оля. — Алыгджер в другой стороне.

— Туда. В самую точку. Алыгджер от нас не уйдет. Я вас туда запросто увезу. Между делом... — Он засигналил идущему впереди МАЗу.

Тот ехал себе, будто не слышал. Шофер в красной воскресной рубахе выпростал плечо из кабины, глянул насмешливо, двинул рукой: «Давай нажимай, если можешь».

Летчик прибавил газу, свернул с укатанной колеи в песок обочины. Мотоцикл мотнуло. Оля выпустила скобку поручня, обхватила за талию летчика, прижалась к нему. Иначе нельзя было ехать теперь.

Шофер убрал плечо из окошка кабины. Он не хотел выпускать вперед крохотную машинку на двух колесах.

Но МАЗ отставал понемногу. Гладкая колея снова пошла под колеса, чистый, без пыли воздух рванул навстречу. Весело стало Оле, совсем не страшно.

— Не стыдно вам, — крикнула она летчику, — ездить наперегонки с такой неуклюжей машиной?

— Не могу, — крикнул летчик, — душа не позволяет, чтобы шофер пилота обогнал!

Можно уже было не держаться за летчика, но Оля держалась. Так и въехали в Дунькину рощу. Летчик пристроил мотоцикл в скопище разнообразных машин и повел Олю по роще. Люди лежали на траве, ходили, смеялись. Цвел одуванчик, солнечно-желтый и долгостволый,

всюду белела россыпь ромашек, вздрагивал колокольчик от неслышных другим дуновений. Цвел иван-чай, глушил всякое мелкоцветье, ярко-лиловый и узколистый. Кое-где стояла красotka сибирских полян — саранка...

Люди гуляли в этом мире цветов, берез, солнца, ольховой, рябиновой тени. С машин продавали вино, пироги. Крепкие юноши в белых майках играли в волейбол... «Волетбол», — говорили болельщики.

Ревели медные трубы. Оле вдруг показалось, что все здесь так, словно это открытие парка под Ленинградом. А может быть, не совсем так...

Оля знала другую Сибирь: маршруты, маршруты, длиннорукий молоток, злые брызги разбитого камня, приторный запах комариной мази — диметилфталата, усталость, ночевки на голой земле, где-то в метре от вечной мерзлоты, и снова работа, маршруты... Много работы в Сибири. Некогда отдыхать.

И вдруг эта Дунькина роща. Совсем как гулянье в парке.

Кто-то вдруг крикнул на Удинской протоке:

— Спасите! Тону!

Может быть, так, в шутку крикнул. Но «волетбол» прекратился, ларьки на колесах свернули торговлю, даже трубы умолкли. Люди бросились в реку: в ботинках и кепках, в отглаженных к воскресенью рубашках, мелькнул в воде фиолетовый галстук... Летчик, правда, успел снять форменный пиджак, брюки с голубым кантом, бросился тоже.

Стало тесно в Уде. И совсем непонятно, кого же спасти, кто тонет. Все плавали долго в холодной воде, ныряли, искали, пытались друг друга спасти. Никто не хотел вылезать, и никто не сознался, что тонет.

После удинского крещения в Дунькиной роще стало еще веселее.

Оля и летчик вместе со всеми смеялись, пили вино, бродили по роще, а может быть, уже не по роще, в пустынных местах, где трава росла непримята. Летчик держал Олину руку... Летчика звали Гоша, Георгий.

— Гоша, — сказала Оля, — мне очень нравится в вашей Дунькиной роще. А почему она называется Дунькиной?

— Я не знаю точно. Хотите, я завтра вам точно узнаю?

— Да нет, зачем же. Наверное, просто какой-нибудь Дуньке понравилась эта роща, и она утопилась вон там, в Уде, от любви.

— Может быть, и так. Ничего нет удивительного, — сказал летчик странным, изменившимся голосом.

— Конечно. Я вполне понимаю эту Дуньку.

— Нет, я этого не понимаю — топиться... Если можно жить, летать... И любить. — Летчик говорил медленно, смотрел на Олю, вдруг стиснул ей руку и потянул к себе.

Воздух набух солнечным зноем. Пахло сосной, земляникой и клевером-кашкой. Глаза у летчика были чисты, сини и близки. И все здесь в Дунькиной роще было близко Оле, казалось родным, забытым и найденным вновь...

«Сейчас он меня поцелует», — подумала Оля. Она знала, что надо быть гордой, противиться. Или не надо?

— Оля, — тихо позвал летчик. — Оля...

Ей хотелось сказать ему доверчиво, кротко только одно чуть внятное слово: «Что?»

Но она взяла себя в руки.

— Оля-то Оля, — сказала она, — только когда эта Оля попадет к себе в партию, в Алыгджер?

Летчик сразу же стал серьезным. На его гладком, юном лице обозначились крепкие скулы.

— Я сейчас занят вообще-то, патрульные полеты над тайгой. Пожаров много. Завтра не обещаю. А послезавтра, может быть, между делом свезу. Поговорю с командиром отряда...

4

Посредине комнаты стоит железный ящик на кирпичной подставке: летняя печка — чай кипятить. Труба подведена к отдушине большой, зимней печи. Зимой здесь интернат, летом он пустует. Школьники улетели в Иркутск, на областной сбор юннатов. Тофоларские школьники. Дети самой маленькой нации в мире. Всего двести тофов живут в Саянах. Может, немного больше.

Маленькая страна, маленький народ, темный еще недавно, лесной. Детей его берут сизмальства в интернат, кормят и учат бесплатно. Пусть подрастает народ... В конце октября тофолары уходят в горы, в тайгу,

белкуют, бьют из тозовки-малопульки соболя. Мех — валюту — дает Алыгджер государству.

Слепов и Гриша постелили спальные мешки на интернатские койки и лежат теперь, разговаривают. Откровенно говорят, не столько друг с другом, сколько каждый сам для себя. Разговор волнующий, медленный, тихий. Нельзя иначе говорить в стране Тофоларии. Семь тысяч верст до дому. Слышно урчание быстрой, холодной воды. Этой воде нужно катить четверо суток, чтобы к шуму ее примешались звуки идущих машин, паровозов, большого хозяйства людей.

В вечернем, тускнеющем окошке видны скалы, стесанные временем, водами, ветром, розово-чистые и прямые. Виднеются темные горки, белые облака, длинные к вечеру. Облака тянутся на ночлег в распадки, жмутся к вершинам. Не могут они висеть всю ночь без опоры.

— Вот черт, досадно, — сказал Слепов. — Нет в сельпо натурального кофе. Залезем тысячи на две метров в горы, кофе там — незаменимое подкрепляющее средство.

— Водку возьмем? — спросил Гриша.

— Максимум две бутылки. В добавление к аптечке.

— Как лекарство для души? ..

— Какой там у твоей души недуг? Часов двенадцать полазаешь по горкам с образцами да со шлифами в рюкзаке, всякая хворь отпадает к черту. Ни бессонницы, ни посторонних мыслей.

— Да нет, ничего, — сказал Гриша. — Лечиться мне, в общем, не надо. Совсем ни к чему. Я даже боюсь: вдруг вылечусь, в самом деле? Очень боюсь.

— Влюбился, что ли? — Слепов спросил это без усмешки.

— Не знаю.

— Так. Ясно...

Помолчали.

— ...Я ехал нынче через Москву, — начал Гриша. — Как всегда, остановился там на сутки. Познакомился с потрясающей женщиной. .. Галя ее зовут.

— Да ну? — усмехнулся Слепов. — Такое редкое имя... И тебе хватило суток?

— Ни черта мне не хватило. Мы познакомились с ней в кафе на улице Горького. Она сидела за столиком. Я к ней подсел, понес всякую ахинею... Вышли мы вместе, тихонько побрели вверх, к Пушкинской площади. День

теплый, асфальт нагрелся, липки по моде подстрижены, город огромный, чистый, яркий и какой-то добрый катит навстречу, и шум на улице мягкий, веселый. Я очень люблю Москву. Вот так приехать и подышать столичной жизнью.

Да. Ну, свернули, конечно, на бульвар. Сели. Напротив старикашка какой-то спит. Из прошлого века банковский служащий. У пальтишка бархатный воротник. На трость оперся, кожа на руках розовая, прозрачная, в морщинках. И синие жилы. Шляпенка на самый нос сползла. Проснулся, взглянул на нас, глазки совсем уже голубенькие. Пошевелил губами. «Счастливая молодость!» — говорит. Потом посидел, подумал, заулыбался. «Скоро, — говорит, — лето. Бобочки будем носить...» Понимаешь? Старость, умирание и полное возвращение в детство. Я о себе стал вдруг жалостно думать. Какая там к черту молодость: двадцать шестой год. И Галочку обнять хочется дико. Я руку вытянул вдоль скамеечной спинки. Она вдруг голову запрокинула, положила ее мне на руку и зажмурилась. Я тоже закрыл глаза, начал что-то бормотать невнятное. «Вот, — говорю, — Галочка, люди стареют, а ничто от них не уходит. Ничто. Плохо, когда ничего не приходит». Выдал такую загадку и жду... Она открыла глаза, долго смотрела на меня и говорит:

«Я вас слушаю, а ничего не слышу и не понимаю. Странно, мне вдруг показалось, что вы совсем не чужой для меня человек...»

Ну, и потом пошло. В кино мы сидели, на всяких бульварах, в кафе. Убей, не вспомнить, где мы бродили, чего говорили... Да...

У нее отдельная комната. Одна живет. Ночью мы шли к ее дому. А поезд хабаровский в семь утра. Понимаешь? Я думал, как бы не опоздать. Опоздаю, думал, а там, без меня, контейнер придет в Нижнеудинск. А у меня накладная. Придется платить за простой... И я сказал ей такую глупость... Спросил: «У тебя есть будильник?»

— Так. Будильник, говоришь? Это, братец, не слишком красиво. Это, по-моему, запрещено.

— В том-то и дело... — Гриша замолчал, припомнил, недавно все было, память свежа. Галя сказала ему: «Ты хороший. Мне с тобой хорошо. Но тебе уезжать завтра». Галя стояла рядом, и было так, словно она уходит все дальше. Остаться без нее одному посреди чужой москов-

ской ночи Грише казалось невыносимо, страшно. «Зайдем на минуту, — сказал он ей наконец. — Я выкурю сигарету и сразу уйду. Даю тебе слово». Галя сказала: «Нет».

Вскоре прихлопнулась старая дверь, обитая клеенкой. И ничего не осталось. Ни благожелательной летней столицы, ни победы — для настоящей мужской биографии. Ничего.

Кое-как Гриша дотянул ночь в набитом людьми Ярославском вокзале. Ехал мрачный почти до самой Перми. А из Перми вдруг послал телеграмму на Сретенку. Вдруг понял, как важно ему все, что случилось в Москве. Как дорого, как хорошо, что именно так случилось, как страшно, что все это может забыться за четыре месяца гор и тайги.

Из Свердловска он тоже послал письмо. Из Омска и из Тайшета.

— Григорий! — позвал Слепов. — Надо бы чай подогреть. Сейчас венгр должен прийти. Ведь он еще не ел ничего. Голодный, как койот. . .

— Сейчас подогреем.

5

Пришел председатель колхоза «Красный охотник» Киштеев Семен, человек тощий, мрачного вида, озабоченный своей властью, говорящий с достоинством, без лишних улыбок.

— Семен Тимофеевич, я вас очень прошу, — сразу взялся за председателя Слепов. — Отправьте сегодня же каюров в стадо. Чтобы завтра к вечеру они вернулись с оленями. С таким расчетом, чтобы в четверг мы уже могли выючиться.

— Как выйдет, — сказал председатель. — Олени сильно теперь одичали. Ёрсят.

— Ну, с оленями как-нибудь справимся. Лишь бы каюры не ёросили.

— Это от вас зависит.

— Семен Тимофеевич, — вступил в разговор Гриша, — вы тоже вот здесь, в этой школе учились?

— Здесь. Восемь классов кончил.

— Да, так послушайте, Семен Тимофеевич, — опять вмешался Слепов. — Каюры у нас будут надежные люди? Охотники?

— В Тофоларии все охотники. Охотничья национальность.

— А вы сами убивали медведя? — Это спросил Гриша.

— Ходил раньше. Теперь некогда. Дела хватает.

— Да, еще вот что, — заметил Слепов, — к вам обращался, наверно, иностранец. Венгр. Он занимается этнографией, изучает язык и культуру сибирских народов. Венгерский язык, кстати, похож на тофоларский. Ему нужно помочь. Переводчика подыскать.

— Я знаю, — невозмутимо сказал Киштеев. — Венгерский язык, тофоларский — это одно и то же. К нам ученые часто приезжают. В райкоме им письма дают, чтобы содействие оказывать. У этого нет письма. Но мы не против, однако. Закрепили за ним девушку, переведет что надо.

Горят в печурке лиственничные чурбаки из интернатской поленницы. Дверца прикрыта неплотно. Свет пламени рвется наружу, вздрагивает, мечется по полу возле печурки. Трое людей сидят в темноте, курят махорку, разговаривают. . .

— Семен Тимофеевич, — сообщает Гриша, — венгру нужен живой шаман. Найдется у вас хоть один?

— Не думаю, чтобы нашелся. Если кто и шаманил раньше, теперь не сознается. Счастливо вам отыскать полезные ископаемые, — сказал, подымаясь, Киштеев. — Мне тридцать восемь лет, однако. Каждый год ищут. Не помню, чтобы кто находил.

— Найдем, — сказал Слепов. — Так, Семен Тимофеевич, нажимайте вы на каюров. Ей-богу, нам некогда ждать.

— Шибко спешить будешь — людей насмешишь. — Киштеев улыбнулся впервые за весь вечер. — Ну, счастливого пути. Ни пуха ни пера, как говорится.

— К черту, к черту, — замахал руками Гриша.

— К черту, — подтвердил Слепов.

Опять остаются в комнате двое. Тоненько вдруг занял чайник, будто младенец спросонья. Закипает вода.

— Ну и венгр. . . — беспокоится Гриша. — Может, он совсем не придет, устроился ночевать где-нибудь?

Слепов думает о своем.

— Ты вот что не забудь сделать завтра, — наказывает Грише. — С утра найди продавщицу и попроси ее порань-

ше прийти в магазин. Чтобы до открытия все получить по фактуре.

— Ладно... Я все больше о венгре думаю. Он уже тринадцать месяцев в Сибири, лазает по тофоларским да по нанайским избам. Ты знаешь, тут всякие избы есть. Интересно, что он думает о нас, я имею в виду — о всей России?

— Это меня сейчас не волнует, — сказал Слепов. — Гораздо больше меня волнует, где он, этот венгр, не принесли ли его какие-нибудь подпольные шаманы в жертву своим духам? У венгров это какая-то национальная особенность — не вовремя исчезать.

— Откуда ты так хорошо знаешь венгров?

— Ты достань-ка палатку. Венгр придет, пусть на полу постелет, а сверху — спальник.

— Хорошие нынче спальнички достались, — Гриша потянулся в охотку. — Просторные. Благодать. Что, они двуспальные, что ли?

— Теоретически — одиночные. Но — в случае нужды...

— Да-а... — Гриша опять потянулся. — Черт бы его побрал, этот будильник.

— Знаешь что, Григорий, ты брось о будильнике. Со мной не случалось таких историй. Хотя... Между прочим, у меня была одна знакомая венгерка...

6

— Ее звали Ружи... Ружи, Ружи... Какая-то у нее была трудная фамилия. Забыл. Я работал в тот сезон про-рабом в разведочной партии в Казахстане. Жара, пыль, перфораторы ломаются — трудный там очень грунт. Работяги все случайные люди попались. Нормы проходки не выполняются изо дня в день. Снабжение скверное, хлеб выпекают наподобие кизяка... Да. И вот как-то выпало мне ехать в Павлодар по начальству. Просто нельзя стало дальше работать. Позарез необходим был бульдозер, десяток рабочих, действительно знающих толк в бурении, иначе квартальный план наверняка бы полетел.

Вот, значит, сел я на мотоцикл. Был у нас в партии старенький, облезлый «ИЖ». На нем давно зареклись ездить. А я его весь перебрал, сам цилиндр расточил, рас-

предкоробку поменял, еще кое-что сделал. И он у меня тарахтел. Между прочим, «ИЖ» вообще надежная машина.

Так вот, значит, венгерка... Она была красивая. — Слепов дожег сигарку, швырнул окурок к печке. — Я не знаю, может, это не то слово — красивая. Красивых много. Ее я встретил единственный раз. Она училась в Московском университете. На факультете журналистики. Проходила практику в областной газете. Я ее встретил в редакции. Зашел к Витьке Еремину. Ты его знаешь, наверно. Его все знали в университете. Он стихи писал. Потом уехал в Казахстан.

— Знаю, ну как же.

— Он там чем-то заведует в газете. К нему на выучку попала эта девушка. Ружи... Он меня познакомил с ней. И при этом как-то странно себя вел. Смущался, что ли? Смотрел все время на нее. Разговаривал по телефону, а сам все смотрел на Ружи. Мне было тогда не до этого. Я только что развязался с делами, достал все-таки бульдозер для партии. С огромным трудом. Теперь-то я понял, что Витька был безнадежно влюблен в Ружи.

В двенадцать дня мы познакомились с ней, а в двенадцать ночи она уезжала в Москву... Целый день буйного помешательства. Мне до сих пор иногда кажется, что я потерял в тот день что-то самое главное для меня. Понимаешь? Я четыре года женат, у меня сын, работа, которой я предан, и опыт, и уверенность, и какое-то положение, черт возьми! И наконец, я верен своей жене. Она прекрасный человек. А иногда в маршруте я вдруг начинаю думать об этой венгерской девчонке. Стою где-нибудь на гольце, высоко над миром, в облачном киселе, ни с чем не связанный, ни от кого не зависящий, сам себе владыка... И вдруг начинаю думать: что же мне нужно от мира, что бы я взял сейчас, немедленно, вот сюда, на этот чертов голец? Понимаешь? И всякий раз я начинаю думать об этой венгерке. Она потерялась давно. Я ее искал. Ничего не вышло. И ничего не забылось. Пожизненно это, что ли? Вот, Гриша.

Слепов умолк, отстранился, может быть, предался мечтам. Он был тремя годами старше Гриши, и то, о чем они говорили в ту ночь, представляло для них соль жизни.

Слепов думал о том, что сказал бы венгерке, если б встретил ее сейчас. Ведь может он встретить ее? Ведь та-

кое бывает. Он бы ей рассказал обо всем, что случилось в тот единственный день в Павлодаре. А может быть, сочинилось потом, в одиночестве маршрутов, в снах.

«...Ружи! — сказал бы Слепов. — Помнишь, мы вышли из двухэтажного деревянного дома, и я тебе предложил: «Садитесь. Куда вас свезти? У меня полный бак бензина. Я могу увезти вас на двести километров. Хотите, я вас увезу?» А ты сказала: «Двести километров? Так мало? Вы такой большой, и у вас так мало бензину?» Ты ставила ударения на первых слогах. Говорила и смеялась. В твоём смехе была нежность. В тебе не было ни единой грубой черты. Все в тебе было мягко, женственно, живо. Я крутил рукоятку мотоцикла, ехал быстрее, чем нужно. Ты сидела за моей спиной, прикасалась ко мне. Я отвык от женских прикосновений. Выжимал все, что мог дать мой «ИЖ».

Слепову нравился такой разговор с венгеркой. Она слушала благосклонно. Он рассказывал ей не о том, что было тогда в Павлодаре. Было чувство силы в руках, сжимающих рукоятки. И нельзя дать волю рукам...

Была дорога через пшеницу. Взгорки. Вверх, вниз... Холодеющий от скорости воздух...

Потом Слепов лег на ржавую травку и стал смотреть в небо.

«Помнишь, Ружи, близко от нас зрела пшеница. Небо подрагивало под солнечным напором, высылось, голубело. Все было огромно в мире, незыблемо. Именно так, как было нужно нам с тобой. Ты сказала мне: «Ростислав, вы, кажется, уже уехали на двести километров от реальности». Я сказал тебе: «Может быть. Это ничего не значит. Поехали еще дальше». Ты вдруг сказала серьезно: «Я бы поехала, Ростислав. Да. Вы такой большой. С вами не страшно ехать. Но мне надо ехать в Москву. А потом в Венгрию...» Я сказал: «Вам нравится у нас в России?» Ты ответила: «Да. Мне очень нравится».

— Ростислав! — вдруг позвал Гриша. — А фамилию той венгерки ты помнишь? Спроси у нашего венгра, вдруг он с ней знаком?

— Не помню. Да, собственно, я и не знал.

— Наверно, Урбан. У них в каждом фильме обязательно хоть один Урбан да есть.

Огонь в печке погас. Чайник умолк.

— Нет, — сказал Слепов. — Не буду я ни о чем спрашивать этого венгра. Все это блажь.

Однако он долго еще не мог расстаться с венгеркой Ружи. Гонял на «ИЖе» по городу Павлодару, купил шампанского. Они пили шампанское в комнате Витьки Еремина. Венгерка пела маленьким, верным голосом, по-венгерски и по-русски. Она смотрела на Слепова и тихо смеялась. Говорила: «Какой вы большой! Как вы все это едите и пьете!»

Слепов отвез ее на вокзал. Сел на цоколь ограды. Ружи стояла рядом с ним. Он не видел ее. Только чувствовал, что она стоит.

— Ростислав, — позвала Ружи. — Мне уже надо идти... Ростислав!

Он пошел с ней рядом. Возле вагона сказал:

— Ружи, останьтесь. Не уезжайте...

Она сказала:

— Я была очень рада узнать, что в России живете вы. Но у меня есть Венгрия. Я не могу не ехать сегодня в Венгрию.

Она поцеловала Слепова в губы. Слепов качнулся вслед за уходящей Ружи. Она стояла на ступеньке вагона. Махнула рукой...

— Я ее проводил, — сказал Слепов Грише. — Не дождался даже, пока тронется поезд. Завел мотоцикл и рванул черт знает куда. Как не свернул себе голову — удивительно. Отмахал километров полтораста по тракту. Весь бензин сжег. Чуть-чуть в себя пришел, когда мотор заглох. Тишина вдруг такая наступила... Потом до самого утра тащил «ИЖа» по тракту. Пришел в себя наконец.

За окном саянская ночь. Что-то в ней неумолчно звучит, погрохатывает. Лают собаки. Сползают осыпи. Сочится дождь.

7

Венгр пришел совсем поздно. Гриша поднялся, едва хлопнула дверь. Он зажег свечку, шепотом рассказал венгру, что нужно съесть и где спать. Венгр от еды отказался, прошептал:

— Я кушал тофоларские блюда. Оленье молоко.

Спать устроился быстро, притих.

Утром на улице, под окном девушка крикнула: «Вирмош!» Так доверчиво кличут знакомых людей.

Венгр поднялся быстро, пригладил свои курчавые, густые волосы и быстро, в одной майке, вышел на крыльцо.

Увидел саянское утро. Ночное урчанье невидимых, недобрых сил сменилось звонким разноголосьем. Влажно и мягко пахло лесом, хвоей, мохом. Облака выползали из распадков. Матовый от тумана, розовел гранитный лоб на берегу Уды. Неподалеку, возле забора, стоял олень. Его голову низко притянули к ноге веревкой. Другой олень лежал. Были они малы, облезлы, тщедушны, совсем не похожи на полезных в хозяйстве животных. Казалось, что вовсе они не олени, а странно выросшие травяные жуки.

Венгр увидел все это и улыбнулся девушке, стоявшей на крыльце. Сказал ей смущенно:

— Я — как это? Прóbспал. . .

— Я нарочно пораньше, — сказала девушка, — нам ведь идти далеко. Километров двадцать до стада. Вы не спешите. Я подожду.

Девушке было лет восемнадцать. Тонкая и рослая, с каленым, смуглым и в то же время нежно-румяным лицом, с чуть раскошенными ярко-карими глазами, она казалась метиской.

На голове у девушки был платочек, юбка длинная, а под ней еще синие лыжные брюки вправлены в голенища кирзовых сапожек. На черном жакетике комсомольский значок.

— Пожалуйста, Саша, — сказал венгр, — пять минут еще. . . Я себя немножко помою.

Венгр достал из мешка смятое полотенце, побежал с ним к Уде. На крыльцо вышел Слепов, мельком оглядел небо, горы, тайгу, двух олешков у изгороди.

— Эх! — сказал он себе и девушке Саше. — День хороший. Жалко его терять. А каюров наших все не видно. Не знаете, это чьи олени?

— Охотовед ездил в тайгу, — сказала Саша. — Собоям ревизию делали. Двух оленей с собой брали: быка и важенку.

— Григорий! — крикнул Слепов.

Тот сейчас же откликнулся:

— Ау. . .

— Кончай ночевать. Возьми у меня в планшетной

сумке фактуру и беги в магазин, а я тут пока чай вскипачу, надо венгра хоть покормить до отхода. А то он костью ляжет вместе со своей этнографией. . . — Слепов опять повернулся к девушке. — Вас, кажется, Сашей зовут? Сашенька, как имя этого венгра? Вы должны его знать. Вы, кажется, с ним уже в большой дружбе.

— Да нет. . . — Саша смутилась. — Меня назначил председатель колхоза с тофоларского на русский переводить. У него имя Вирмош. А фамилия сложная — Рио-сеги.

— Рио-сеги? Вы уверены в этом? — быстро спросил Слепов.

— Не знаю. Он мне так назвал. . .

— Григорий, — строго сказал Слепов вышедшему на крыльцо коллектору. — Ты скажи продавщице, чтобы она хорошенько посмотрела, нет ли кофе. Только обязательно натуральный. Помню, года два назад мы вели двухсоттысячную съемку на Таймыре. Там вообще невозможно без кофе. Дров нет, керосин на себе тащишь для примуса. Ветер ледяной, голый камень. Бредешь, как ишак, с выюком, свалишься от усталости, заваришь кофе покрепче — опять можно двигаться. Так вот была у нас там одна геологиня. Перед отправкой поручили ей кофе купить. Ну, она там купила что-то. Мы запаковали, не посмотрев. Пришло время заваривать, глядим, на пачках написано: «Натуральный желудевый кофе». Мы накинулись на геологиню: «Ты что купила? Мы же тебе говорили — натуральный нужен». Она очень удивилась. «Я, — говорит, — купила натуральный. Вот же здесь написано».

Саша слушала Слепова. Ее лицо было внимательно и невозмутимо.

— В Тофоларии кофе мало пьют, — сказала она и вдруг застенчиво улыбнулась: — Чай любят пить.

— Чай и водку, — сказал Слепов.

— Да, — согласилась Саша, — пьют еще лишнее.

Пришел венгр, ширококостный, белотелый, с мокрыми, глянцевыми волосами.

— А-а, вот и вы, — сказал Слепов. — Будем знакомиться наконец. Ростислав. — И протянул руку.

Венгр крепко стиснул ее.

— Вирмош.

— Очень приятно, — сказал Слепов. — Вы не

вздумайте уходить без завтрака. Сейчас я затоплю печку, и будем чай пить.

— Спасибо, — сказал венгр. — Я хочу попробовать тофоларские кушанья. Оленье мясо и молоко. Это мне будет нужно знать.

— Да? — вскинулся Слепов. — Вы уверены? Ну, смотрите, ради науки чего только не съешь. Я писал диссертацию на тему: «Архей бассейна реки Дотот». Пока собрал для нее материал, мне довелось и беличьего мяса отведать, и бурундучьего. Оленина — это, в общем, даже деликатес.

— Да, — сказал венгр, — наука — как это? Всеядна. Все кушает.

Оба весело захохотали. Саша тоже посмеялась.

— Науке всегда все мало, — сказал венгр. — Я написал диссертацию: «Словообразование в нанайском языке». Четыре года работы. Одна миллионная часть того, что нужно сделать. Что нужно — это очень много. Это больше, чем одна жизнь. Да?

— Да, конечно, — согласился Слепов.

— Я читал протоколы инквизиторских судов в Венгрии. В них есть общие слова с шаманскими песнями обских угров. Я сделал карты распространения шаманства, библиографию по шаманству — тысячу двести карточек. Читал византийские, китайские летописи. В Улан-Удэ читал бурятские документы. Это история жизни людей. Общность истории, языка. Как разделились народы в мире? Что происходит с их языком, культурой? Нет, не все народы. Все — это слишком много для меня. Только финно-угорская группа. О-о-о! Это тоже очень много. Очень. — Венгр совсем разволновался, закурил сигарету «Байкал».

— Слушайте, — сказал Слепов, — бросьте вы курить эту дрянь. Вот берите лучше «Беломор».

— «Байкал» — это дешево, — сказал венгр и улыбнулся. — Венгерская академия наук послала меня в Сибирь в командировку на месяц. Я уже живу тринадцать месяцев. Мне можно курить уже — как это? Мох... Да? Мои деньги не могут меня догонять. Мне посылают в Салехард, а я в Улан-Удэ. Нужен, как это? Постоянный записка?

— Прописка, — подсказал Слепов.

— Да, да, прописка.

Опять посмеялись.

Слепов пошел за дровами. Сказал, уходя:

— Только смотрите, не убегайте без завтрака. Через двадцать минут все будет в порядке.

— Спасибо, — сказал венгр.

8

Ушел он без завтрака. Нес магнитофон, фотоаппарат на грудь повесил, волосы спрятал под берет. Саша сказала:

— Давайте я понесу магнитофон.

— Спасибо, — сказал венгр. Магнитофона не отдал.

Шел и думал, по-венгерски. Скоро сядут батареи. Скоро кончится пленка. Скоро кончится лето. Посольство в Москве уже напоминало: пора домой. А нужно еще побывать в Туве. Неужели придется уехать, не услышав тувинского языка?

Дорога за околицей Алыгджера превратилась в тропу, повела лиственничным лесом. Венгр думал об этом лесе: какая нежная, влажная хвоя у лиственниц. Лес был прохладен, свеж, невелик ростом; поодаль, меж темных хвойных стволов, виднелись березки, поляны с цветами желтой саранки. Идти лесом было славно, а еще лучше стало на косогоре, когда открылась Уда внизу.

Венгр смотрел на идущую перед ним девушку Сашу. Он думал о ней. Она обернулась. Венгр улыбнулся.

— Красиво, — сказал он и закинул голову, посмотрел вверх, туда, где травянистый склон плешивел, увенчивался скальными гранями. — Красиво, — опять сказал венгр. — Это очень красиво. Это редко увидишь в европейских странах: красиво без вмешательства человека...

— У вас в Венгрии, наверно, еще красивее, — сказала Саша. — У нас климат плохой. Сегодня ничего, правда, а так все время дождь.

— О, — сказал Вирмош. — Я прожил в Венгрии тридцать пять лет. А в Тофоларии всего один день. Я не видел в Венгрии таких гор.

— А вы поживите у нас подольше, хотя бы месяц, — сказала Саша.

— Хотя бы месяц... — повторил венгр. — Это было бы прекрасно — месяц.

— Вирмош, ну давайте я понесу магнитофон...

— Нет, спасибо. — Он прошел еще немного и сказал неожиданно для себя, о чем думал давно, все утро, с тех пор как увидел черноволосую девушку Сашу.

— Саша, — сказал венгр — вы похожи на мою сестру. Я смотрю на вас и вижу сестру, Ружи...

— Она у вас работает или учится? — спросила Саша.

— Она умерла.

Тропа соскользнула в глубокий распадок к ручью. На дне топорищились ржавые плахи снега. Видеть его рядом с цветением летней земли было зябко.

Вспорхнули рябчики. Молодняк попрыгался где попало, а матка села на голый кедровый сук. Она топталась, ерошила перья, отчаянно свистела. Не ждала она добра от идущих людей. Сидеть открыто ей было страшно и неудобно. Но птица все не слетала, кудахтала, чтобы люди ею занялись, забыли о выводке — малых, бесхвостых, плохих летунах. О детях.

— А я кончила нынче десятый класс, — сказала Саша, — хотела в Иркутск поехать, поступать в медицинский, а потом так вышло — осталась. В колхозе теперь работаю. На ферме — дояркой.

— О-о-о! — сказал венгр. — Дояркой.

— У нас вообще-то колхоз охотничий. Вот приезжайте осенью, в октябре. Никого не найдете в Алыгджере. Ни людей, ни собак. Все уйдут на промысел...

— Спасибо, — сказал венгр. — Я постараюсь приехать... — Он видел черные Сашины волосы, чувствовал юность девушки, ее родственность этим горам, и цветам, и лесу. Он думал о своей сестре Ружи.

Представил ее посреди саянской страны Тофоларии. Она шла уверенно и легко. Она ничего не боялась, Ружи.

Недавно, весной, Вирмош был в Павлодаре. Ружи ему говорила про этот город. Про его зной, про степь, про пшеницу, про людей: какие у них большие плечи и руки, как они одержимы своим трудом. «В Павлодаре есть бульвар, — говорила Ружи. — Ни один мужчина по нему не гуляет. Само слово «гулять» означает «выпить».

Вирмош гулял по этому бульвару днем. Единственный праздный мужчина на всем бульваре. Сидел на скамейке и слушал голос рабочего города. Голос был негромок, ненавязчив и деловит: без шарканья ленивых подошв и

шин. Звуки возникали, уносились куда-то мимо. Протарахтел мотоцикл.

Вирмош представил Ружи на мотоцикле, с большим русским парнем. Она говорила об этом парне.

Пока Ружи была жива, Вирмош не думал о ней по долгу. Она росла самостоятельной девочкой. В шестнадцать лет курила сигареты, пела в концертной бригаде и возглавляла какой-то там комитет.

Воспоминания о Ружи незаметно для Вирмоша привели его к мыслям о собственной жизни. Однажды его увезли на войну в большом немецком грузовике. Ему не дали автомата. Он должен был рыть окопы для немцев, двадцатитрехлетний студент-филолог. Он должен был слушать команды немцев, повиноваться. Под первой русской бомбежкой Вирмош бежал. Он думал: «Я венгр. Это не моя война».

Русские наступали, и негде было укрыться от их снарядов и бомб. Внезапно все стихло. Время остановилось. Очнулся Вирмош от боли. «Молодость, только молодость тебя спасла», — сказали ему незнакомые старики. Они принесли полумертвого парня к себе в землянку. Разжимали ему челюсти и вливали в рот кислое прошлогоднее вино.

Когда Вирмош впервые встал на ноги — это было очень больно. Ноги слабые, кости хрустят. И никак не вспомнить название своей улицы в Будапеште.

Дом, где жила семья Риосеги, был разрушен бомбой, остался стоять один угол — две сцепившиеся друг с дружкой, ненужные теперь стенки. Все остальное ссыпалось наземь: битый кирпич, исковерканное железо, хлам порушенного жилья. Внутри стоящего домового угла были видны обои: синие девочки верхом на оранжевых лунах. Обои маленькой комнаты Ружи.

Вирмошу показали могилу родителей. Ему сказали, что Ружи жива, но никто не знал, куда она подевалась.

Однажды Вирмош сидел на кладбище у могилы своих стариков. Возле ограды играли мальчишки. Кидали в небо белый лоскут, смятый в комок. Лоскут расправлялся в небе и падал. На тонких, ниточных стропах к нему был привязан камень. Падал он быстро, крохотный парашютик. . . Серьезная девочка в белом платье смотрела на эту игру. «Ружи!» — тихо позвал Вирмош. Девочка обернулась. «Ружи! . . .»

Ружи быстро повзрослела... Вирмош окончил университет, был принят ассистентом в Институт этнографии. История языка и культуры Венгрии стала его профессией. Наука вела к человеческой древности, к первооснове сообщества людей, к единству слова и мира.

Сестренка Ружи росла сама по себе.

«Я хочу учиться в Советском Союзе, — сказала она однажды брату. — Ты этого, может быть, не поймешь. Ты разрешаешь себе переходить венгерскую границу только по страницам древних книг. А граница сейчас совсем не то, что прежде. И единство людей складывается новое. Не общие корни — общая цель...» — «Поезжай, — сказал Вирмош. — Я могу тебе помочь. Только, пожалуйста, не забывай, что все венгерские слова начинаются с ударного слога...»

Приехав на каникулы домой из Москвы, Ружи сказала брату: «В России очень спешат построить свой новый мир. Там все заняты делом и говорят только о деле. Россия — это прекрасно для тех, кто любит работать. Но Венгрия — это Венгрия. Надо строить новый венгерский мир тоже».

Вирмош думал, что надо бы Ружи построить еще и собственный мир, семейный. Ей исполнилось двадцать три года. Пора... С нею рядом всегда был кто-нибудь: то певец, то врач, то посол какой-то державы, то поэт. Последний раз она познакомилась брата с мотогонщиком Йожефом. Они погибли вместе, на мотоцикле, вечером на шоссе. Должно быть, Йожеф слишком быстро ехал...

Вирмош узнал об этом спустя полгода. Он был тогда в Монголии, лазал с магнитофоном по монгольским плоскогорьям.

В Будапеште на кладбище его привели к обелиску с короткой надписью: «Ружи Риосеги. 1931—1956».

«...Я приехал в Россию, — думал Вирмош, сидя на жарком, с маленькой тенью бульваре города Павлодара. — Это Россия. Здесь училась сестренка Ружи. Училась строить прекрасную Венгрию...»

Он не разрешал себе думать о Ружи подолгу. Посмотрел на двух павлодарцев, севших невдалеке на скамейку. Заставил себя думать о них. Они были молоды, парень куда-то спешил, смотрел на часы и размахивал правой рукой, говоря. Левую руку он положил на спинку скамейки. Что говорил он девчонке, Вирмош не мог по-

нять. Заметно лишь было, что парень взволнован, спешит рассказать девчонке о чем-то своем, чужом для нее. Вирмош поймал в этой речи такие слова, как «целина», «совхоз», «трактор», «пшеница».

Девчонка слушала молча, смотрела на парня, вдруг отвернулась, откинула голову и положила ее на спинку, на лежавшую там голую руку парня...

И парень умолк. Лицо его изменилось, застыло.

Вирмош встал и пошел прочь по бульвару. «Между делом, — думал он. — У русских есть такое выражение: «между делом». Главное — это дело. Всю жизнь дело, а между делом — любовь. Нельзя менять дела на любовь. А можно ли жить одним делом, без любви? — спросил себя Вирмош. И ответил: — Можно... — И еще погодя немного: — Только лучше не надо... О! — сказал он себе. — Это гораздо лучше — любовь вместе с делом. Дело вместе с любовью. Любовь и дело. Нет, это неправильно: «между делом». Это не может так быть!»

9

Олени ушли высоко к снегам от жары. Там нет комара.

Ручьи текут вниз из круглых озер. Озера глядятся в небо, синеют.

Горы лиловые, вздыблены грубо, над ними вихрятся тучи. Мечутся над горами. Горы и небо... Саяны.

Павел Киштеев, старый пастух оленьего стада, прежде — по слухам — шаман, построил себе жилище у кромки гольцов, осыпей и снега, у крайнего кедра тайги, и живет там. Днями спит, или дует заваренный круто плиточный чай, или поет потихоньку все, что знает и помнит.

К оленям можно сходить раз в неделю. Ягеля хватит. Павел не зря пригнал сюда стадо.

Раз в неделю Павел седлает ездового быка. Это хороший, послушный бык. Никогда он не уросит. Стремена у Павла старинные, дедовы, с узорной насечкой. Сейчас таких стремян не достанешь нигде.

Седло у Павла маленькое, с крутыми луками. Седлая оленя, Павел кладет ему на спину шкуру. Шкуру умершего оленя на шкуру живого, а потом седло.

Он едет в пастушью избу за чаем и за махоркой.

В дороге, под вечер, манит кабаргу. Пикульки у него всегда есть в запасе. Он делает их из бересты. Едет и манит. Где-нибудь есть же в тайге кабарга, слышит она пронзительный, жалостный писк, думает — кабаржонок отбил. Думает так и трусит к кабаржонку. Надо его покормить. Такой кабарожий закон — сообща поднимать детенышей.

В пастушьей избе Павел Киштеев слушал приемник, крошил таблетки стрептоцида — лечить свеженатертые ссадины на спине ездового оленя. Если случалась в избе недопитая бутылка, он выпивал, хмелел, уходил, шатаясь, камлать во тьме, потаенно от всех. Он вспоминал слова своих древних камланий. Эти слова он обращал когда-то к злому духу, сберегал от него луну. Злой дух всегда помышлял украсть ее с неба.

Так вышло и в этот раз... Луна светила, возле нее таяли облака, розовели и голубели в ее невидимом свете. Луна плавала в багряной полынье на льдистом, мятущемся небе.

— У-у-у-кхой! — затянул Павел свою шаманскую песню. — О-о-у-у-кхой! — Это он упреждал злого духа, что знает о нем, слышит, видит и не боится его. Что власть песни и слова страшна, велика.

Но песня оборвалась. Может, забылась за давним сроком, а может, хмель замутил память шаману. Павел притопывал резиновыми чунами, глядел на луну в полынье на облачном, торопливо летящем небе. Надо было спешить, камлать хорошенько. Злой дух был виден на небе Павлу. Он крался к луне с зимней, белой оленьей шкурой. Хотел задушить луну.

— О-о-окхой! — крикнул Павел Киштеев. И прибавил вдруг еще одно русское слово. Павел знал много русских слов.

— Дядя Павел, — вдруг кто-то его позвал, — ты чего материшься?

Павел примолк, испугался. Голос был знакомый ему, похожий на голос Амостаевой Саши, его алыгджерской соседки. Но он не поверил слуху. Конечно же, это дух пошел на такую хитрость, чтобы смутить шамана. Поняв все это, Павел еще свирепее закричал:

— Собака! У-у-у-кхой!

И вдруг увидел рядом с собой девчонку в белой козырьке, Амостаеву Сашу.

— Дядя Павел, — сказала она, — не ругайтесь, пожалуйста. Пойдемте в избу. К вам в гости пришел иностранный ученый. Он хочет послушать, как вы поете, и записать вашу песню на пленку. Пойдемте скорее, а то уже поздно. Он устал в дороге. Не привык ходить по горам.

Павел заворчал сердито по-тофоларски, не очень еще доверяя тому, что видит и слышит, но все же пошел вместе с девчонкой. Нельзя ей было видеть его шаманство. Племя шаманов кончилось в Тофоларии.

В избе не было пастухов, ушли, должно быть, охотничать на ночь. Свечка в консервной банке горела узким, желтым огнем. Чуть слышно играл приемник, совсем ослабел, сели батареи. Незнакомый мужчина приложил к приемнику ухо и слушал. Он улыбнулся Павлу и Саше, сказал:

— Хороший концерт. Фортепьяно с оркестром. Рахманинов. Это очень — как это? Странно и хорошо — слушать Рахманинова в тайге. . .

Павел не понял, о чем говорит человек.

Саша сказала:

— Я тоже очень люблю слушать песни. Особенно песни советских композиторов.

— Саша, — сказал венгр, — пожалуйста, пусть он споет старую тофоларскую песню. Попросите его.

Саша заговорила по-тофоларски. Павел слушал. Его усталость, старость обозначились в складках лица, набухли в тяжелых, свисающих веках. Веки прикрыли глаза. Большие, желто-синие капли. Скоро им время упасть. А может, не очень скоро. Тофолары живучи. Глаза у Павла еще поблескивали. Поднятые у висков, раскосые глаза азиата.

— Не помню, — сказал Павел. — Забыл, однако.

Это была правда. И в то же время обман. Не хотел Павел Киштеев выдавать свою жизнь этому неизвестному человеку. Свою прежнюю жизнь.

— Дядя Павел, — сказала Саша по-тофоларски, — Семен Федорович Киштеев велел вам передать, что колхоз вам заплатит за вашу песню. Начислит два трудодня. Как за три беличьи шкурки. Вот он вам прислал для здоровья.

Саша достала из сумки четвертинку московской водки. Председатель Киштеев, дальний родственник Павла, тут был ни при чем. Саша сама прихватила бутылку.

В своих переводческих интересах. В интересах Вирмоша Рюосеги, венгра.

Венгр слушал тофоларскую речь, и концерт Рахманинова, и невнятные звуки ночной тайги, и томительный звон усталости в теле. Он не понимал, что говорит старику Саша, что ей ответил старик. Но эти чужие слова его волновали. Они были будто бы не чужие.

Тянулось кверху пламя свечи. Шелестела за дверью саянская ночь. Венгр не мог быть спокойным в этой избе.

Павел Киштеев подвинул к себе стоявшую на столе алюминиевую кружку, налил водки, молча выпил.

— Скажи этому человеку, — сказал он Саше, — председатель Киштеев сродный брат моему свояку Петру. А милиционер Кеша женат на моей племяннице Вере. С милиционером Кешей мы сколько раз вместе гуляли! О-о-о-у-кхой! — Павел затянул свою песню. Он опять захмелел.

И песня вспомнилась вдруг. А все остальное забылось. Старая песня про небо, про горы, про оленье стадо: важенок-матух и ездовых быков, про соболя, колонка, горноста и белку. Про луну. Долгая песня...

Павел притопывал чунями и встряхивал кисти рук, вспоминал звон бубна. Местами песня его напрягалась до хриплого крика: «О-о-о-у-у-кхой!» — Павел пугал злого духа, защищал оленей, родное село Алыгджер.

Венгр сидел неподвижно. Крутился диск на магнитофоне. Микрофончик стоял на столе, задрал ухо, ловил звуки киштеевской песни.

— О-о-у-кхой! — пел Павел Киштеев.

Провод от микрофончика тянулся к зеленому чемодану. Венгр слушал старческий голос, гораздо более старый, чем сам человек, певший песню. Голос минувшей жизни. И не только минувшей. Венгр слышал в этой странной песне живые созвучия венгерского языка. Все представилось неразделимым: бульвары Пешта, изба посреди саянской ночи, и песня в избе, и Россия, обступившая эту ночь на тысячи километров. Венгр думал об этом и волновался. Вдруг, неожиданно для себя, он взял бутылку и вылил остаток водки в стариковскую кружку.

— За ваше здоровье, — тихо сказал по-русски Павлу Киштееву. И выпил.

Старик не шелохнулся. Он пел. Жил своей песней.

Пилот Георгий летит на ЯКе-12 в Алыгджер. Он отвез почту в Нерху. Командир разрешил ему на обратном пути сделать посадку на Алыгджерском аэродроме, забросить туда отставшего от партии геолога.

— Нашел время, — сказал командир Георгию, — катать девиц... Как она хоть, ничего?

— Ничего.

Георгий держит рукоять управления, движутся стрелки приборов, пляшет на чутких пружинках серая коробочка — барограф. Все знакомо пилоту. Пилот спешит.

Перед самым вылетом из Нерхи он получил радиogramму: «С юга идет гроза». Юг вон там, с правого борта. Низкая туча стоит над горами, темно, лилово. Тянется ближе, растет... Георгий глядит на тучу, опять на приборы. Осталось еще шестьдесят километров. Полчаса лету...

Узнав об идущей грозе, Георгий сказал радисту аэропорта:

— Проскочу. Успею.

Оля не видит тучу. А если видит — что ей за дело? Подумаешь, невидаль — дождь. Оля страшится лишь одного: скоро конец полету. Кончится это дрожание тоненьких стенок, стремительно-плавные ямки, восторг впервые отведенной птичьей жизни.

Нет, это совсем не страшно — лететь. Гораздо страшнее ехать на мотоцикле, в обгонку с грузовиками. «Пускай бы туча быстрее подошла, — думает Оля. — Задеть бы ее: как там, внутри?»

Она смотрит на Георгия. Вот он надел наушники, быстро шевелит губами. Слов не расслышать. Вот он взглянул на Олю. Отвернулся. Взглянул на тучу. Опять на Олю. Что-то новое в его взгляде: пилот озабочен.

«Ну еще бы, — думает Оля, — это, наверно, так кажется, что легко управлять самолетом. На самом деле — какие нужны тут выдержка, навык, расчет?!»

«Оленька, — думает Георгий, — протянуть бы еще пятнадцать минут. Неужели не протянем? Неужели запоремся в тучу?»

Туча теперь близко. Заметно ее движение и тусклые проблески молний. Туча погительна для самолета. Для

каждого самолета — большого и маленького. Машина коснется тучи, оглохнет, ослепнет...

— Иду долиной Уды на северо-восток, снизился до двухсот метров, — сообщает Георгий в мембрану и слышит в ответ командирский голос:

— Сворачивай быстро на север. Успеешь еще уйти. В Алыгджере можешь не сесть. Ты меня понял? Прием...

Георгий взглянул на Олю.

— Что, уже пошли на посадку? — крикнула она ему.

...Он ничего не ответил... Тянет на северо-восток... Видит, чувствует тучу... Кажется, слышно урчание грома.

«Десять минут, — думает Георгий, — десять минут — и я сяду. Еще десять минут».

Он ничего не отвечает командиру. Он летит в Алыгджер. Ждут его беды: в лучшем случае — гнев командира, в худшем... Что в худшем? Какой еще худший?..

— Да! — кричит он Оле. — Да! Садимся!

И чувствует дрожь в самолете, первый натиск грозы... Неба больше не видно, только сизый мятущийся мрак. Зато внизу распались вдруг горы, явились улицы, избы, дольки возделанных огородов.

Георгий, не заходя на круг, тотчас же сбросил скорость, скользнул полого вниз, ткнулся колесами в землю где-то у края поляны. Подрулил к аэропортовской избе, прыгнул в траву, посадил Олю.

— Спасибо, — сказала Оля, — огромное вам спасибо, Гоша. На мотоцикле мне понравилось с вами ездить, а на самолете в тысячу раз лучше.

Он вытер лоб рукавом пиджака, сказал без улыбки:

— Если вам еще придется лететь и увидеть рядом вот такую тучку, можете прыгать вниз головой безо всякого парашюта...

— Не надо так страшно шутить, Гоша, а то я испугаюсь задним числом.

11

В алыгджерском клубе шел фильм «Память сердца». Люди вышли из клуба во тьму, медленно двинулись вдоль удинской протоки. Протока все отражала в своей застывшей зеленой воде: луну в полынье на небе, смятенные облака, снежные жилы на ближних горах, темные

складки лиственницы на склонах. Черное, белое, розовое в дремучей зеленой воде. Страна Тофолария в зеркале.

— Вот так-то вот, — сказал вдруг Слепов.

Венгр шел медленнее всех. Остановился возле протоки.

— Это очень красиво, — сказал он тихо. — Это нигде больше нет. Так красиво. Нигде...

— Да, — сказал Слепов. — А все-таки фильм хороший.

— Прекрасный, — откликнулся Гриша. — Просто прекрасный.

— Тебе понравилось, да? Мне тоже очень понравилось. — Это сказала Оля Максимова. Она все же успела в кино.

Пилот Георгий пошел на радиостанцию разговаривать с командиром.

— Очень уж грустный, — сказала Саша. — Жалко, что ее убили. Просто не знаю, до чего ее жалко. — Саша стала своим человеком в партии Слепова.

— Жалко, конечно, — сказала Оля. — Но ведь это искусство. Искусству все разрешается. В том числе и смерть. Лишь бы подействовало на зрителя.

— К сожалению, в жизни смерть тоже не под запретом, — сказал Слепов. — Не только в искусстве. В прошлом году в одном нашем институте погибло семь человек за сезон...

— О! — сказал венгр. — Семь человек — это много. Один человек — это тоже много. Как это по-русски? Единственный...

— А вам не встречалась в Будапеште девушка по имени Ружи? — Этот вопрос задал Гриша. Ему надоел разговор о смертях. — Ей сейчас сколько, Ростислав? Лет двадцать шесть?

Слепов ничего не сказал.

Венгр тоже долго не отвечал Грише. Лицо, и плечи, и руки его были неразличимы во тьме.

— Мою сестру звали Ружи, — сказал он. — Ей — как это? Было бы? Да? Ей было бы двадцать шесть лет...

Никто больше не произнес ни слова до самого интереса. Думали — кто о чем. Об очень далеком теперь доме. О матери. О жене. О близких людях. О венгерской девочке Ружи. Почему ей «было бы» двадцать шесть? И о венгре думали тоже.

Слепов подозвал к себе Гришу, отвел его в сторону, сказал:

— Нужно как-то помочь венгру. Что это за дикость — курить «Байкал». И обедать все-таки человеку нужно хоть раз в декаду. Нужно ему предложить что-нибудь в долг. Только как он к этому отнесется? Может, обидится?

— Черт его знает, все может быть, — сказал Гриша.

— Ну, как бы там ни было, это необходимо сделать. У тебя есть какая-нибудь наличность?

— Рублей сорок осталось. Ты же знаешь, завтра мы уходим из Алыгджера. В поле деньги не принято брать.

— У меня столько же примерно. Как же быть? Может, есть у Оли? Оля! Иди сюда на минутку. У тебя есть с собой какие-нибудь деньги?

— У меня есть сто рублей. Я хотела купить себе завтра ватник. А то у меня ничего теплого нет. А что, вам деньги нужны?

— Нам-то они ни к чему. Мы хотели дать немного этому венгру. Понимаешь, у него нет ни копейки денег. Ему высылают деньги в Салехард, а он в Павлодаре. Ему в Хабаровск, а он в Алыгджер ускакал. Он — подвижник науки.

— Берите, — сказала Оля. — Конечно, берите. Какой может быть разговор? — Она достала из кармана ковбойки, защеппенного булавкой, сложенный вчетверо сотенный билет и протянула Слепову.

Тот колебался еще. Но все же взял.

— Ладно, — сказал, — я отдам тебе свой свитер. У меня есть еще фуфайка в мешке.

Придя в интернат, затеплили печурку и свечи, поставили чайник. Стали просить венгра проиграть записанную им шаманскую песню.

Венгр не спорил. Он раскрыл зеленый чемоданчик, подключил все, что надо, завертелись два диска, мотая узкую ленту.

— О-о-у-у-кхой! — послышался голос Павла Киштева. Голос его, отторгнутый от бледных старческих губ, не казался особенно старым. Голос клекотал, сливая слова в речитатив. Он напрягался, местами звучал угрозой, местами бежал спокойно, как малый ручей. И вдруг он сорвался, умолк на мгновение. Шаман облегчил душу матерным словом. И снова потек речитатив...

— Ты смотри, — воскликнул Слепов, смеясь. — Вполне современный шаман!

Гриша смеялся, глядя на Слепова. Уже давно он посматривал на него и думал: «Что такое с ним случилось? Почему он не спросил у венгра о Ружи, о той девчонке?»

Венгр улыбался. Саша смутилась и отвернулась. Оля глядела невозмутимо — горный инженер.

Песня кончилась вскоре.

— Скажите нам, Вирмош, — вдруг попросил Гриша. — Вы провели в Сибири тринадцать месяцев. Больше года. Много повидали. Скажите, что вы думаете ну обо всем этом... О нашей жизни. О нашей стране. Это нам очень интересно. Вот мы вас сначала, откровенно говоря, ругали, когда вы сели к нам в самолет вместо геолога Оли, а теперь наше мнение изменилось...

Венгр вдруг смутился, даже забыл все русские слова. Он приложил к груди левую руку и стал кланяться Оле. И все заметили вдруг, что он не железный подвижник, а добрый, усталый, должно быть, человек.

— Простите, — сказал венгр Оле. — Простите. — Больше он не помнил сейчас ни слова по-русски.

— Ну что вы, — сказала Оля. — Пожалуйста. Я даже очень рада была. — Она тоже смутилась. Никто не понял, чему она была рада. Лицо геологини стало вдруг откровенно юным. Даже в желтом, пугливом свете свечей был заметен румянец на нем.

Венгр успокоился понемногу, вспомнил русский язык.

— Это прекрасно — ваша страна, — сказал он Грише. — Для тех, кто любит работать. Это прекрасно. Я был в Швейцарии и видел там человека. Он гулял по улице. Нет. Тогда не шел дождь. Просто дул маленький ветер. Он гулял в плаще и в галошах. Но это ему было мало. О! Слишком мало. Он держал над головой — как это?

— Зонтик? — подсказал Гриша.

— Да, да, зонтик.

Все посмеялись, представив себе швейцарского человека с зонтиком в сухую погоду.

— Нет, — сказал венгр, — это нехорошо — слишком долго сидеть под зонтик.

— Под зонтиком, — поправил Гриша.

— Да, да, под зонтиком. Ваши люди совсем другие. Они очень много заняты делом. Очень мало собой...

— Ну, почему? — сказал Слепов. — Можно многое

успеть между делом. Вот у нас Григорий, например, покорил между делом самую красивую женщину в Москве. Венгр чему-то обрадовался.

— Да, да, — сказал он, — я это знаю: «между делом».

— А зонтик нам ни к чему, — сказал Слепов. — Мы на первой же переправе вымокнем до нитки. Есть такая русская поговорка: «Не сахарные — не растаем».

Гриша удивлялся Слепову. Почему он не спросит о своей венгерке? Сам он писал письмо в Москву, Гале.

«Ты меня слышишь, Галя? — писал Гриша. — Завтра мы уходим в тайгу. Там бывает очень неуютно, если знаешь, что тебя не ждут и не помнят. Начальник нашей партии Слепов когда-то влюбился в одну венгерку. Она живет в Будапеште и не знает об этом. Он до сих пор ее забирает с собой в тайгу. Мне тут не прожить без тебя. Ты слышишь? Мне будет слишком холодно. Я решил тебя взять в Тофоларию. Ты не можешь мне отказать в этом. Нас разделяет семь тысяч верст. Твой отказ не имеет для меня силы здесь, в Саянах...»

— Вирмош! — позвал Слепов. — У меня есть к вам дело. Пойдемте со мной на минуту. — Он поднялся и вышел первым за дверь. Следом — венгр.

Гриша поглядел на них, подумал: «Ну, наконец-то».

На крыльце было темно. Влажный, теплый воздух пах деревенским дымом, свежестью близкого леса, туманом. Вздыхали, топтались, звякали колокольцами где-то рядом олени. Луны не было видно.

— Покурим, — сказал Слепов и чиркнул спичкой.

Венгр прикурил от нее.

Стояли молча. Слушали ночь...

— Вирмош, — сказал Слепов. — Прежде всего о деле. Слушайте меня и не возражайте. Возьмите эти деньги. Завтра купите не «Байкал», а хотя бы «Дукат». Будете в Ленинграде, найдете меня, отдадите. Вот, держите. И кстати запишите мой ленинградский адрес...

Слепов зажег фонарик.

Венгр взял деньги. Он не мог их не взять, потому что Слепов вложил их в его невидимую во тьме руку. Венгр сказал: «Спасибо» — и записал слеповский адрес. Что-то начал еще говорить, извиняться...

— Ладно, не будем больше об этом. Это же — элементарная вещь. Я приеду в Венгрию — вы мне поможете...

У меня есть к вам еще один вопрос, Вирмош. Так сказать, между делом... Ваша сестра Ружи Риосеги училась когда-нибудь в Советском Союзе?

— Да, — сказал венгр, — она училась в Московском университете.

— Почему вы сказали: «Ей было бы двадцать шесть»? Она жива?

Венгр медленно покачал головой. Едва заметно во тьме.

— Нет. Она не жива.

— Так... — Слепов бросил окурок. Сказал очень тихо: — Не надо мне говорить, как это было. Мне нужно привыкнуть к этому. Я знал вашу сестру.

— Я так думал, — тотчас откликнулся венгр. — У нее был знакомый. Она говорила много о нем. Я очень хотел увидеть его. Очень... Я думал... Я думал, что это, может быть, вы...

Слепов вдруг положил свою руку на широкое плечо венгра.

— Я любил вашу сестру, Вирмош. Мне ее никогда не забыть.

Два человека стояли близко друг к другу.

Из-за двери позвала Саша:

— Вирмош, Ростислав Александрович! Идите чай пить.

— Слушайте, Вирмош, — сказал Слепов, — вы записали мой адрес. Можете считать, что у вас есть дом в Ленинграде. Это навсегда.

— Спасибо, — сказал венгр и что-то тихо произнес по-венгерски.

— Идите, пейте чай, — сказал Слепов. — Я еще постою немного. Завтра мы очень рано выйдем из Алыгджера.

— Я буду вас провожать, — сказал венгр.

ДВА ТОЛИ

1

По вечерам в ново-полоновском леспромхозе — танцы. Баянист знает все новые песни. Особенно ему нравится играть «Тишину». Под нее танцуют танго и вальс — кто что. В зале нелюдно. Парни в новых рубашках, что вчера привезли в магазин. Штиблеты у всех остроносые, и пряжки красиво блестят на ходу.

Самый первый танцор — Толя Маленький. Так его зовут не за рост. Ростом он выше всех в клубе. Но есть еще один Толя. Того называют Большим, хотя он одного с Маленьким роста.

Маленький глядит на всех весело и смело, будто уверен, что все ему рады. Губы у него пухлые, а под глазами мошка накусала. Когда Толя щурится, взгляд у него взрослый. Толе Маленькому восемнадцать лет.

На скамейке у стены сидит Томочка, Толина любовь. Глаза у нее ясные, как утренняя вода. Рядом с ней Соня, девочка с тонкими, поднятыми бровями. Она что-то важное шепчет Томочке и невидяще смотрит в зал. Соня с недавнего времени — жена Толи Большого.

В зале нет света, кроме оконного, вечернего; по-домашнему белеют полы, из углов вырастают потемки. Каждый чувствует себя как дома: кто танцует, кто ходит или смотрит в окно. И музыка словно сама для себя, не для танцев: «Ти-ши-на...»

Только пьяные колготятся, шумят. Пьяных четверо. Все они новички, утром приехали в Ново-Полоново по вербовке. «Сегодня наш день...» — так они сказали. Им сегодня кажется все возможно, легко. Какая чалдонская

девчонка устоит перед ними, всесторонне развитыми людьми с запада? Так они думают о себе.

Один из них подошел к Томочке, встал к ней вполоборота.

— Спляшем...

Томочка глянула на Соню, словно прося у нее заступы, но поднялась, крепенькая, небольшая, пошла танцевать. Соня взглянула на нее озабоченно. Уже чуть-чуть заметно, что у Сони будет ребенок.

Кавалер повлек Томочку по залу наискось и не в такт. Ноги его несколько подгибались, в широких штанинах проступали коленки. Томочка держалась на расстоянии от кавалера, исполняла ногами все, что требует правило танца: раз-два-три, раз-два-три... Два шага прямо, один в сторону.

— Это же танго, а вы фокстротом водите, — сказала она кавалеру.

— Все возможно, — сказал кавалер, запинаясь на стыке двух половиц. И тут же попытался преодолеть Томочкину самостоятельность в танце, забормотал: — Ну чего ты? Ну давай...

Томочка отстранилась обеими руками.

— Если вы такие пьяные, то можете выйти из клуба.

Руки у Томочки пахнут смолой, как ветки у сосен. Томочка с весны работает в химлесхозе, бродит одна по тайге, собирает смолу из шиферных стопок, прилаженных к сосновым стволам. Ей легко управиться с кавалером.

Он остановился, неуверенно, неохотно забрался и хлестнул Томочку вялой рукой по щеке.

Толя Маленький в это время шатался по залу, не танцевал, с кем-то болтал, чему-то смеялся на весь клуб: ха-ха-ха... Вдруг он умолк. И все четверо новых в леспромхозе людей, приехавших сегодня утром, потянулись ближе друг к дружке. В сомкнувшейся тишине каждый почувствовал: быть драке.

Маленький Толя пошел к Томочке, но его опередил Толя Большой. Он был необычайно широк в плечах, в талии, а икры едва помещались в хромовых голенищах.

— Ну, ты чо размахался? — дружески сказал Толя Большой Томочкиному кавалеру. — У нас это не полагается. У нас закон — тайга, медведь — прокурор. — Он тихонечко вытеснил кавалера на крыльцо, словно бы вынес,

ловко расправился с ним. Но этого не хватило Толе Большому. Его душа требовала еще многого. Он взялся за остальных новичков. Бил без пощады, все более увлекаясь побоищем. Под курткой у Толи Большого морская тельняшка — служил, говорит, на флоте. На запястьях наколки — посидел за что-то в тюрьме. Чего бояться такому человеку? Кто ему указ? Какие ему преграды?

Толя Маленький все пытался сунуться в драку, мешал своему большому другу. Тот сказал ему злобно:

— Не лезь, Толик, сам уделаю. — И даже занес на него кулак.

Но Маленький лез. Щеки его горели. Не мог он стоять в стороне, ревновал.

Все весело и азартно глядели. Всем по душе Толя Большой. Все признавали его превосходство. На крылечке поодаль стояла его жена Соня. На ее маленьком бледном лице восторг, преданность. Вся она подалась вперед, ближе к драке. Ее детские, потрескавшиеся губы раскрылись и что-то счастливо шептали.

2

Утром над Ново-Полоновом брякают позывные иркутской радиостанции, выводят древний мотив. Он вобрал в себя самую суть сибиряцкой жизни: тоску глухотных пространств, побеждаемую надеждой, движением к людям. «Славное море, священный Байкал...» С позывных начинается день, словно это звуки огромного камертона в руках у всевышнего побудчика.

День начинается в трудах, в трудах же он и погаснет. Первыми отправляются в тайгу изыскатели. Они гонят трассы будущих лесовозных дорог, метят их просеками. Построят плотину на Ангаре, поднимется Братское море, зайдет в ручьи и пади возле Ново-Полонова, запустит прохладные щупальца заливов в душную от мошки и зноя, перестойную тайгу.

Толя Большой и Толя Маленький работают в изыскательской партии. Техник Сема задает им направление по теодолиту, и они рубят просеки. Их лица скрыты черными сетками накомарников. У Толи Маленького в сетке дыра — курить папиросы и забрасывать в рот ягоды красной смородины-кислицы.

Рубить нужно все подряд: гибкие черемухи, ивняк, ольшаник, сизые осинки, завалы палых хвойных стволов, голые, черствые елки, лиственницы, сочно-хрупкие сосны, крепкий подлесок.

Все срослось, перемешалось, ушло корнями в мох, в воду, в камни. Сема-техник поет целый день: «Ландыши, ландыши, белого мая цветы-ы...» Иногда он произносит с чувством любимую свою присказку: «Ах, Клабочка, и как вы попали на этот курорт? Интересуюсь».

— Начальник! — кричит Толя Большой в урочное время. — Перекур!

— Вот противные, — говорит Сема. — Никогда не забудут про перекур. — Он ломает березнячок, ложится, кладет охапку на голову — от мошки. Спустя мгновение начинает храпеть. Он не курит.

А два Толи пускаются в спор. Они очень дружны — Большой и Маленький. Маленький тянется к Большому, к его силе. Он пока еще ценит ее превыше всех ценностей в мире. Но быть переспоренным он не любит. У него есть свой опыт жизни. За свои восемнадцать лет он плотничал в приволжских селах, учился отцовскому ремеслу, потом удрал в город Сочи, поливал там розы в саду «Дендрарий». Ходил с геологами по Каракумам, однажды заблудился и чуть не умер в песках. Но — выбрался. Сам выбрался. Поехал на Ангару. И еще поедет, если захочет; выберется, если случится беда. Места много в стране — чтобы ездить, силы довольно — чтобы работать. Семь классов кончены между делом, девочки засматриваются в большие Толины глаза, и топор лежит как надо в толстопалых, пестрых от ссадин ладонях.

— Этот вербованный-то, — говорит Толя Большой, — которого я вчера метелил... Ты, говорит, челдон. А сам еще не знает, что это такое. Не челдон, а чалдон, во-первых. На Волге раньше лодки были такие, чалки. На них к баркам подплывали еще, чтобы воровать. Поэтому и называли чалдонами.

— Брось ты, — возражает Маленький Толя. — Чалдоны — это ну вот кто в Сибири сроду живет.

У Большого вдруг вздуваются ноздри и шевелится нижняя губа, живая, розовая.

— Я горжусь, что родился в Сибири, понял? Иди ты... — Маленький отбивается. Оба матерятся во всю мочь.

А через пять минут начинается новый, дружеский спор, даже не спор, а так — щебетанье...

— И для чего вот столько этой всякой пакости, комаров, мошки? — говорит Толя Большой.

— Чтобы птичкам корм был, — уверенно отвечает Маленький.

— Да ну уж, птичкам... В других местах этого комара и сроду нет, а птички все равно ведь живут, их еще больше нашего...

Спор быстро крепчает, перескакивает с предмета на предмет, наконец заходит в неразрешимый тупик. Толя Маленький пытается взять верх с помощью своего громкого, наливного голоса.

— Чево-о? Думаешь, ты меня старше, так в тебе силы больше? В Ульяновской области мне приходилось знаешь какие бревна пилить! По двенадцать часов пилу из рук не выпускали, школу к первому сентября строили.

— Не хвались, Толик. Это тебе так кажется, что в тебе силы много. Ты еще в армии не служил. Армия — вот та дает человеку силу. Там каждое утро как пробежишь два километра, а потом еще марш-бросок да физподготовка. Сначала доходишь, а потом уже начинаешь вытягиваться. До армии это все ерунда.

— Ну, давай, как попадется толстый листвяк, попилим, кто скорее выдохнется.

— Смотри, Толик, не надорвись, а то мне придется еще Томочке долг отдавать натурой.

— Как бы мне не пришлось Сонечке отдавать.

Сема-техник проснулся, взглянул на часы.

— Ну ладно, — сказал он обиженно. — Что вы на самом-то деле? Еще километра не прошли. Толя Маленький, сруби пару вешек. Совсем распустились.

— Ничего, начальник, сейчас мы дадим марш-бросок.

В конце рабочего дня дорогу загородил листвяк, именно он и был нужен друзьям для решения спора. Стоял как труба завода: толстенный, прямой, округлый, темно-кирпичный, затерявшийся вершиной в небесах. Толя Большой и Толя Маленький преклонили колени перед этим деревом, взятым ими себе в судьи. Пила запрыгала по его шероховатому, крепкому боку. Пила сопротивлялась, не шла в дерево, словно была против покушения на столетний листвяк. Но друзья быстро ее укротили, она притихла, пригlohла, опилки просыпались наземь, как

мука из-под жернова. Двигались лопатки под сношенной тканью комбинезонов. Горячим и шумным стало дыхание пильщиков. Как шатуны пригнанной, точной машины, ходили их руки. Дерево долго держалось, но наконец крикнуло, осело, зажало пилу. Толя Маленький первым содрал с лица накомарник. Щеки его были румяны, как на морозе. Толя Большой тоже снял сетку. Его лицо было бледно, брови сошлись еще теснее, чем всегда. Каждый теперь выдергивал к себе пилу, помогая плечами, грудью, даже шеей и головой.

— Ну, кончайте вы, — сказал Сема. — Толя Маленький, давай-ка, подруби...

Маленький не ответил, не оторвался от рукоятки. Была его очередь дергать. Он согнул слегка руку, весь сжался, собрался над пилой, рванулся, но пила осталась в стволе, рукоять торчала, как сучок из коры.

— Хха! — выдохнул Маленький и снова дернул без пользы. Тогда он встал, взял топор и пошел куда-то прочь. Он ударил стоявшую тихо березку с такой отчаянной силой, что она скользнула со своего пня, не качнувшись, стоймя коснулась земли.

— Ну чо, Толик, — крикнул Большой, — не хочешь больше, наелся? — Он взялся за рукоять и выдернул пилу одним коротким мощным движением рук. Последняя щепоть опилок порскнула из-под зубьев.

— Ничего, начальник, — сказал он. — Сейчас мы ее положим. Ляжет — и лапки врозь. — Толя Большой всадил топор в лиственницу.

Она легла вскоре. Изыскатели двинулись своей просекой к дому. Идти было светло, чисто — совсем не то, что прежней душной тайгой. Просека рассекла тайгу и впустила в нее солнечный, ветреный воздух.

Маленький Толя шел позади всех, хмурился и молчал.

3

«Сно-ова цвету-ут кашта-аны, слы-ышится пле-еск Днепра-а».

Толя Маленький старательно, сколько хватает духу, вытягивает гласные. Так принято петь в концертной бригаде, где он первый солист. Ночь. Горит костер у реки. Томочка сидит на траве, слушает. Нежность переполняет

Томочкино сердце. Томочка не может больше оставаться одна. Она тихонько зовет:

— Толик...

И он идет к ней, в белой рубашке с распахнутым воротом, с темнеющей грудью и шеей. Он высок. На него надо смотреть снизу вверх. И костер дружески заглядывает ему в лицо, и бегущая мимо вода одобрительно булькает, ткнувшись на мгновение в берег и поспешая дальше, в Ангару, в Енисей, в море.

Толя опускается на колени и берет прохладными руками Томочкино лицо. Он держит его перед собой, и долго смотрит в него, и тихо несет к себе, и сам движется ему навстречу...

Томочка вздрагивает, встретившись с чуть шершавым мужским подбородком, прижимается к нему и шепчет:

— Толечка, родненький, миленький, хорошенький...

Толстые, глупые окуни смачно бьют хвостами о воду, передразнивая поцелуи.

Потом идут разговоры, шелестящие, беззаботные...

— Ой, Толенька, смотри-ка, что у тебя делается. Все щеки мошка изъела. Хочешь, я тебе свой накомарник отдам? Нам в химлесхозе новые выдали. А я себе сошью.

— Да ну, — произносит Толя лениво, как подобает мужчине. Он лежит, протянув ноги, положив голову Томочке в подол. Она водит пальцем по его лицу, рисует странный бесконечный узор и говорит, говорит...

— Ой, знаешь что, Толька твой вчера опять чего-то на Соню ругался. Как так можно жить? Соня вроде собачки за ним бегают. Толик да Толик. Все ему позволяет. А он зато себя и выставляет таким самостоятельным. Соню поманил — она и прибежала. Не дружили, не расписались, ничего. Я бы никогда такого не позволила.

— Ты-то уж не позволила. Подумаешь. — Толя щурит глаза и выпячивает губы. Он вскакивает на ноги и подымает Томочку, вертит ее в воздухе, и тащит к костру, и хвастает своей силой, и сам радуется ей. Оба смеются и жарко дышат.

Потом опять слышно, как фырчит, слабея, костер, как шлепают по воде окуни...

— Мы запрошное воскресенье в Падун ездили, — рассказывает Толя. — Ну, что было! Все деньги пропили, даже на автобус нет. Толька говорит: «Поедем на такси». Ну, потеха! Сели в «Волгу», до старого Братска доехали,

шофер говорит: «Платите, ребята». Толька его за плечо берет: «Ты таксист, говорит, и я таксист, понял, давай как таксист с таксистом...» Ну, что было! Так и доехали бесплатно. — Толя хвастает другом. Он не знает, чем еще похвалиться перед своей любовью. Не знает, что не надо ему хвалиться.

Томочка начинает зябнуть, ежиться.

— Толик, — говорит она, — зачем ты ушел из бригады, связался с экспедицией? Вчера наряды закрывали, в вашей бригаде, говорят, по семьдесят рублей за день у всех обошлось... Бригадир у вас такой хороший человек был. Толька Большой зато от него и ушел, что он пьяницам не дает спуска. А ты тоже за ним потянулся...

— При чем он здесь? — оскорбляется Толя Маленький. — Я не Сонечка. Сам знаю, что делаю.

— Толик, я читала в газете, когда построят Братское море, в Ново-Полонове пристань сделают, поедем тогда с тобой на пароходе в Иркутск?

— Поедем. В каюте «люкс». Толька плавал в «люксе». Ну, рассказывал, красота. Все в коврах. Мы с тобой еще в Сочи поедем. Там такое дерево есть в «Дендрарии», самшит называется. Вот из него топорища крепкие выходят! Я тебе, хочешь, дом построю? Знаешь, мы с ба-тей какие дома строили? Каждую досточку выстругаю. Выкрашу все. Уголки заделаю как по линейке. Террасу пристрою. Наличники выпилю узорчатые. Ну, красота! — Толя Маленький счастливо засмеялся... — На первом этаже сами жить будем, а на втором я комнату сделаю, туда Тольку пустим с Сонькой. У него все равно дома никогда не будет. Он все пропьет.

— Толик, — тихонько сказала Томочка, — ты не замерз в одной рубашке? Хочешь, я тебе свою жакетку отдам? Мне ничуть не холодно.

И еще спустя немного:

— Толенька, миленький, ясненький мой! Откуда ты такой взялся?

Пора было ехать на работу. Все ждали Толю Большого, сидя в кузове машины, поминали тяжелый день понедельник и особое молодоженское положение Толи. Но, пропустив все сроки, пошли стучать к нему в дверь.

Дверь Толиной квартиры была сбита с петель двухметровой чуркой. Чурка лежала тут же, на пороге. Все перешагнули через нее, вошли в квартиру осторожно, как входят в покинутый дом. Под ногами что-то хрустело. Плита в кухне была порушена, каркас ее скосило набок, кирпичи выбиты и расколоты на полу. Всюду лежали обломки стульев и табуреток. Пол был усыпан крупой. Здесь же валялись смятые банки леща в томате, черепки посуды и куски сахара-рафинада. В комнате были разбросаны тряпки, должно быть, платья и кофты. Их тоже рубили. Все носило следы дотошной, тщательной рубки. Не дикого буйства, нет... Порублен был также стол, подушки и одеяла. Сломанный хребет кровати касался пола.

Посреди этих бывших вещей лежал Толя Большой в сапогах, в фуфайке, прижав в груди топор. Он проснулся и вскочил быстро, внимательно оглядел вошедших, будто хотел дознаться, простят ли его, можно ли было ему делать то, что он сделал. Убедившись, что можно, он повеселел и сказал:

— Я опять юноша. Холостой, неженатый... — И снова посмотрел на всех, дожидаясь себе приговора.

Толя Маленький плюнул сквозь зубы, усмехнулся криво, выругался и вышел. Не мог он видеть этого поковерканного жилья, очень знакомого ему, вчера еще чистенького, прибранного и красивого. Он почувствовал что-то вроде жалости к другу, словно друг вовсе был не большой, словно не бил вербованных в клубе, не пилил столетний листвяк на спор...

— Вот противные, — сказал Сема-техник. — Ну что ты, паразит, натворил?

— Ничего не помню. Ночью пришел, а Сонька домой не пускала, что ли. Я взял дрын и пошел шуровать. Что ты — совсем косой был. — Толя Большой развел руками, приглашая понять его.

— Эх, Клабочка, — сказал Сема, — и как вы попали на этот курорт? Ну ладно, поехали.

— Поехали. — Толя Большой зашепшил, подхватил свой топор. — Мы тебе, начальник, сейчас все сделаем в лучшем виде. Километра полтора рванем.

Но рабочий день не получился. Он кое-как дополз до середины.

— Начальник! — позвал Толя Большой. — Отпусти опохмелиться. Не могу, душа горит. Я тебе завтра два-

дцать часов отработаю. А сегодня отпусти. Дурак я, что наделал... — И опять он посмотрел на всех, доискивая себе сочувствия, прощения или приговора. Но сочувствовать и тем более судить никому не хотелось.

Да никто и не знал этих слов. Не было их и у техника Семы. Было задание — двадцать два километра трассы. Закончить — и ехать домой, в город, к жене, в крепко построенный быт без драк и мата. Сема очень любил этот быт и жену, очень спешил закончить трассу.

С полдня Толя Большой ушел из тайги. Не хотел больше ни этой работы, ни этих людей, свидетелей его жестокого и жалкого буйства. Скверно было Толе Большому.

Вместе с ним ушел Маленький Толя. Он знал точно, что друг не вернется больше в Ново-Полоново, что дружбе их, видно, приходит конец. Что-то хотелось сказать, услышать в ответ. Думалось, можно вернуть, удержать уходящую дружбу.

На первой попутной машине оба уехали в Братск. Возле женского общежития они видели Соню и Томочку. Толя Большой не пошевелился. Маленький встал в кузове и тотчас же сел, отвернулся.

Дорога из поселка шла широко. Сосны, елки, лиственницы, росшие здесь недавно, были убраны бульдозерами. Их повалили, растолкали, покидали друг на дружку. Тайга поддалась, не сдюжила. Ехать такой дорогой было приятно, все равно что идти вечером просекой, рубленной утром своими руками.

От быстрой езды, от дороги, от ветра, от того, что рядом едет Маленький Толя, Толе Большому становилось лучше. Зачем-то он был нужен ему, этот щенок.

— Ничего, Толик, — сказал Большой и положил Маленькому на плечи свою руку. — Сегодня наш день. Не хуже людей проживем. Вот посмотришь.

Плечи были теплые. Они замерли на мгновение под рукой у Толи Большого, поежились и вдруг столкнули эту руку.

Деревню бог весть когда прозвали Пьяновом. Видно, были на это причины. Деревня жила богато. В закуску у пьяновцев шла ангарская стерлядь, таймешек, обиль-

ная рыба елец. Ангара кормила деревню, страшила разливами, топила рыбацкие лодки в порогах, учила людей своей широкой повадке. А потом пришло время людям научить реку своему разумному делу: трудиться, строить, давать свет. Люди написали белилами на диабазовой глыбе: «Мы покорим тебя, Ангара». Люди не тратят зря белил. Пришло время разлиться Ангарскому морю.

Деревня Пьяново медленно двинулась по длинному взвозу вверх, ближе к тайге, прочь от грядущей большой воды. Деревня побросала негодные избы да закутки, а заодно бросила и свое прежнее непочетное имя. Деревня двинулась в дальний путь на высокий берег.

Нового имени для бывшего Пьянова еще не подыскали. Толя Большой привез в эту безымянную деревню своего друга. Он провел его вдоль порядка новых домов. Толя Маленький оглядел их скептически.

— Разве это дома? — сказал он. — Вот мы в Ульяновской области деревню строили — избы все как игрушки вышли. Все с резными наличниками, тесом обшиты под шпунт...

Вошли в пятистенный дом с двумя рябинами в палисаде. На пороге Толя Большой потопал сапогами и крикнул:

— Есть кто живой?

— Никак Анатолий Романыч? — послышался голос. Вышла женщина, полная, крепкая, дородная. Глядела она внимательно, с достоинством и открыто. Поздоровалась за руку.

— Ты чой-то, зятек? — сказала женщина. — Никак один прибыл? Сонюшку не привез?

— Нас вот с ним в командировку в Братск начальник послал, — сказал Большой. — Инструмент получать.

— Какой инструмент-то, по лесному делу или же у вас в экспедиции особое что? — Это спросил высокий, сухой мужчина с голубыми глазами, с лицом обветренным, смуглым, посеченным морщинами вдоль.

— Особое, — ответил Толя Большой.

— А-а-а... А я думал, может, ты там узнаешь, где пилу «Дружбу» купить. Я от лесхоза на заготовку иду, хоть сейчас бы взял «Дружбу». Такое удобство: что там бензину — плошку плеснул и пошел пиловать. Хоть в лесу, хоть по дому что поделать. Вот надо дров напасти...

— Это, папаша, я могу запросто. У нас в леспромхозе «Дружбы» навалом лежат. У меня самого она дома под кроватью валяется. Я Соню учу на ней работать. — Толя Большой весело поглядывал и подмигивал Маленькому.

— Да ты чой-то? — всполошилась хозяйка. — Ты Соню сейчас от всякой тяжелой работы избавь. Ей ничем таким нельзя заниматься.

— Какой может быть разговор, мамаша. Ты нам с другом достань-ка полбутылки. А то мы вчера уже крестины справлять начали. Подлечиться надо.

— Не рано ли, зятек, начали? — сказала хозяйка с тревожной заминкой в голосе.

— Лучше справить успеем. . .

Друзей усадили к столу, заставив, однако, снять сапоги у порога. Сияние крашенных половиц было заглушено половиками, лишь кое-где прорывалось в щели. Весь дом был крепкий, чистый. Ни одного изъяна не смог обнаружить маленький Толя своим плотницким глазом. Для всякого дела в доме имелась нужная справа. В сенях висели хомут и дуги. Похоже, хозяин был конюх. Густо свисали сети с берестяными поплавками. В целый чурбак была загнана бабка: бить косу. В своих ячеях на стенах торчали сверла, стамески, рубанки. В кухне белели пестики и мутовки. Крутобокая зеленая кадка стояла в углу, укрытая круглым щитом с узорной ручкой. На особом крюке висел цинковый ковшик.

Толя Маленький не мог оторваться от этих вещей и орудий. В нем чуть внятно рождалась зависть к их основательной, целесообразной жизни. Ему хотелось снять орудия с их привычных мест, пустить в работу. Особенно часто он взглядывал на топоры, видневшиеся в раскрытых сенцах. Их было два: один с длинным, прямым топором — рубить дрова, другой с коротким, кривым — плотничать. Оба заклинены крепко, оба синеют отточенной сталью.

Хозяева отлучились. Толя Большой опять подмигнул:

— Погуляем у тестюшки. Не обеднеют. А потом махнем в Падун. В Иркутск поедем. . . Ты только молчи, мне поддакивай.

На стол принесли огурцов в рассоле с укропными палками, вилок капусты, сквашенный целиком, кастрюлю жаркой картошки и стопки, конечно.

— Кушайте, молодой человек, не знаю вашего имени-

отчества... — сказала хозяйка. — Анатолий Романыч, угощай товарища. И сам угощайся. Отец, иди к столу.

Толя Маленький сидел у стола в этой хозяйской избе, хрупал медленно огурцами, морщил кожу у глаз. Не нравилось ему это дело. Зачем он здесь? Какой он тут гость? Он вспомнил свой дом, родителей, таких же вот стариков, свое общежитие в Ново-Полонове, Томочку... Он вдруг подумал, что не стоило ехать сюда. Взглянул на Толю Большого коротко, с неожиданной злобой.

— Так как же мы с пилой-то сделаемся? — проговорил хозяин. — Тебе деньги дать, или же свою привезешь, раз, говоришь, она у тебя без применения? ..

— У моей кольца сгорели.

— А-а-а, вон что... Мать, будем брать новую «Дружбу» или как?

— Не знаю, — сказала хозяйка лукаво. — Богатый, так бери.

— Нету у него никакой «Дружбы». И нигде ее не купишь, только по леспромхозам дают. — Это сказал Маленький Толя, не глядя ни на кого.

Большой встал. Его нижняя губа выпятилась вперед корытцем.

— Толик! — еле выговорил он, шепелявя от гнева. — Лезь под столик! — Он ударил Маленького, но не так сильно, как бы хотел, потому что хозяйка подступила к нему стремглав, стала вплотную. Рядом с ее массивной грудью, с ее плечами, с крупной седой головой Толя Большой не казался таким могучим.

— Да это что же такое? — быстро заговорила хозяйка. — Да у меня ни один пьяный мужик не посмел в доме драться. А этот ведь зятем считается...

— Никакой он вам не зять, — сказал Толя Маленький и сморщил кожу у глаз, стал взрослым. — Соня от него в общежитие убежала. Он весь дом порубил.

Хозяйка еще ближе подошла к зятю. Глаза ее округлились, посветлели от негодования.

— Отойди от него, мать, — предложил спокойно хозяин. — В милицию лучше заявим, пусть пятнадцать суток отсидит.

— Ничего, отец, семерых людьми сделали, без милиции обходились, и с этим управимся сами. Ты что же поделал с Сонюшкой, ирод? Да ты как же такое посмел?

— Спокойно, мамаша, спокойно.

— Ишь чего захотел, спокою... А ты о Сонюшкином спокое много ли думаешь? У-ух ты зверь, чалдонское отродье!

Пощечина у хозяйки вышла звонкой, прикладистой.

Толя Большой дернулся весь, руки его мотнулись, схватились за стол и опустились. Он повалил ногой табуретку и пошел к дверям.

Его не стали удерживать. Хозяйка засобиравлась в дорогу, в Ново-Полоново.

Маленький Толя ушел втихомолку. Он догнал Большого на выходе из деревни.

— Ну что ж ты, сука? — сказал большой устало и равнодушно.

— Я не сука и, по крайней мере, не собираюсь ею быть...

— Ну, ладно, Толик, кончай. У меня гроши есть. Поехали в Падун.

— Чего я там не видал? — Толя Маленький пошел вниз по дороге, ведущей к Ангаре. На дороге еще было светло, а в широкой котловине над бывшим Пьяновом уже потемнело. Тьма колебалась, словно это вода, словно море...

БЛИЗКО МОРЕ

1

Саша Варягин лежал на пляже, глядел на небо, на самолеты. Шло воскресенье, огромный день. Саша цедил между пальцев песочек.

Самолеты летели низко над пляжем. Направлялись они в Иркутск.

— Не надо спешить, — сказал себе Саша. — Спокойно.

Он медленно перекатился со спины на живот, прижался к песку грудью и подбородком. Время едва подвигалось. Теплый, сонный пойменный ветерок вдруг перебивало резким, пахучим вздохом реки.

Саша сел, оглянулся. Окуша бежала бойко — солнечно-мутный рукав Оки. Не той Оки, что сливается с Волгой под Горьким в распевах идущих судов, в белизне трехэтажных палуб, в плеске, в проблесках флагов. Есть в Сибири другая Ока, нелюдимо несет оловянную воду, возле устья дробится на малые речки. Устье низко, песчано. Синей, холодной и яркой гладью обрезают его Ангара. Сколько в нее ни гонят тусклой воды окинские протоки, Ангара не меняет ни хода, ни цвета.

Жаркий день! Люди выбрались на Окушу погреться, поплавать. Много людей на пляже города Братска, и все будто знакомы, сродни друг другу.

Вот подчалаила лодка с мотором. В ней пятеро мужиков и женщина в макинтоше. У всех сапоги из добротной кожи. Накомарники набекрень. Руки, плечи — крупные.

Сильные люди. Спрыгнули прямо в Окушу, лодку впили на пляж. Самый быстрый слетал на базар. Снова все поместились в лодке. Хрустнули огурцами. Вкусно пахло духмяным укропным рассолом, дегтем, бензином, смолой — чалдонской, таежной жизнью. И спиртом, «сучком».

— Хорошо! — сказал себе Саша. Потянулся. Погладил ноги в синих, багровых разводах возле лодыжек. Лезет мошка в сапоги. Саша посыпал ноги жарким песочком и снова стал поглядывать по сторонам.

Всюду на пляже валялись чурки, сосновые бревна в лохмотьях коры. Ока лишь недавно опала. Июньское солнце уже переплавilo снег в нагорьях. Притихло кипенье льдистых подснежных вод по распадам. Окинские отмели выставили под солнце мелкую чешую белесых спин. В пойме, на мелях, повсюду осталась лежать древесина. Гуси поплыли через Окушу прямо и чинно.

Явился на пляж человек в спецовке, с моторной пилой на плече. Прикинул, примерился, выбрал посуше полено, дернул шнурок в моторе.

Пила торопливо застрекотала, но стоило зубьям доклеваться до крепкой пищи, как появилась зудящая нота.

Пришли мальчик и девочка, дети пильщика, стали таскать дровишки домой, к видневшейся на угоре большой избе.

Медленно въехал на пляж тракторище. Он втоптывал траками бревна, приглаживал мелкий песок, весь скрежетал, пытел соляжкой. Люди подвигались чуть-чуть в сторонку. Никто не вставал, не глядел, не спешил. Экое диво — трактор...

Тракторист заехал в речку по самые блоки. Выключил дизель. Сел на порожке своей кабины. Зацепился за трак и сдернул сапог. Он свалился в Окушу. Следом пошел и второй.

Тракторист разматал портянки, расстелил их вдоль гусеничного хода. Босые пальцы его шевельнулись в блаженном испуге. Он быстро стянул кепку и майку, белокожий, здоровый, большой, как трактор. Взмахнул кургузо руками и с отчаянной, сладкой истомой воскликнул:

— Эх-хь!

Прыгнул в Окушу. Поймал сапоги. Макнул их, встряхнул и снова макнул. Закинул в кабину. Присел, всполошил мелководье руками и ринулся дальше, вглубь.

Отплыл немного, лицо запрокинул к солнцу, и Саша увидел его улыбку, сияние детского, полного счастья на мужском, чумазом лице.

— У-у-у! — повестил тракторист побережье. — Тянет, зараза! Не хуже трактора! У-у-у!..

Пришел бухгалтер экспедиции, лысый, невозмутимый, лобастый, сказал Саше:

— У тебя хорошая фигура. Что ж ты один лежишь? Здесь у следователя в милиции есть дочка, вполне для тебя подходящая. И другие тоже есть.

— Не надо спешить, Анатолий Изотыч, — сказал Саша, — главное — не спешить. . .

— Это верно, — согласился бухгалтер, — только ты ведь во времени ограничен.

...Приехала на пляж милиция в синем фургоне с красной полосой — праздничной опояской.

Пять машин привезли строителей Братской ГЭС.

Парень с бородкой и сумкой въехал на пляж верхом на гнедой кобыле.

Бабы затеяли стирку прямо в Окуше.

Ближняя баба в подоткнутом сарафане, с розовеющими в воде икрами, повернулась к Саше и похвалила речку:

— Самое сегодня удовольствие купаться. Вода настоящая. Мужиками пахнет.

— Чего ж ты? — сказал Саша. — Купайся, пока не поздно.

— Постираться надо. Нам ведь только раз в неделю можно из леспромхоза выехать. Да и то не всегда. А в колодцах вода плохая. . .

Этим кончился разговор о воде. Саша не мог его продолжать. Он заметил идущую девушку. Она приближалась. Ей было лет двадцать. А может, семнадцать?

Саша прижался щекой к песку, зажмурился и стал дожидаться. «Ну куда же ей еще идти? . .»

Девушка в самом деле пришла. Села возле Саши на бревно. Раскрыла толстую книжку с глянцем и золотом на обложке.

Саша поднял голову, смотрел на девушку, молчал, но чувствовал то же, как если бы сказал: «Здравствуй! Я рад тебе. Посмотри же скорее, пойми, как я тебе рад!»

Книжка вздрогнула на коленях у девушки, прикры-

лась. Остался в книжке только прищемленный палец, словно залог для возврата, спасенья. . .

— Я знаю, — сказал Саша, — у вас папа следователь.

— Да, — сказала девушка, — а разве похоже?

— А я исследователь. Я вас давно исследую. Что вы читаете?

Девушка вынула пальчик из книжки. Показала обложку Саше: «Эмиль Золя. Нана».

— Вам это нравится? — спросил он.

— Да. . . В общем.

Саша немного отполз от остывшего места, снова прижался к песку. Прыгнул оранжевый бойкий огонь в глазах и будто вдруг осветил все разом: древние избы на взгорье, в них, верно, жили еще ясачные людишки, первопоселенцы Московского государства; самолеты над избами полого уходят в небо; люди лежат на пляже, уставшие люди, строители; блестит Ангара; шуршит Окуша, девочка в сарафане читает толстый роман прошлого века. . .

Плечи и руки у девочки были смуглы и тонки, а глаза темны.

«Ей лет семнадцать, не больше. . . — подумал Саша. — Ребенок еще. Хотя. . .»

— Бросьте вы эту «Нану»! — сказал он. — На черта вам это нужно?

— Вам не нравится?

— Нет. Когда я читаю книги, мне мало узнать — как. Я хочу знать — что. Вы меня понимаете?

— Да-а-а, — протянула девочка.

— Там все очень подробно расписано — как. Юнцы, старики, — целый набор всяких развалин. А что происходит с людьми? Чем они все-таки живы? Нет, мне не нравится такая литература. Бросьте вы это читать.

— А что вам нравится? — спросила девушка. — Что, по-вашему, нужно читать?

— Что читать? . . — Саша вдруг понял: сразу ему не ответить. Что же читать, в самом деле? Вспомнился почему-то Антон Павлович Чехов.

— Читайте Чехова, — сказал Саша неуверенно. И сделал серьезное лицо.

— Что, «Каштанку», да? . .

Саша долго удерживал на лице серьезность, не знал, что сказать.

— Как вас зовут? — спросил он наконец с облегчением.

— Марина.

— Знаете что, Марина, завтра мне уезжать в четыре утра в тайгу. В лучшем случае, на две недели. А то и на месяц... Сейчас я уйду. Меня начальник экспедиции дожидается... — Сказав это неожиданно для себя, Саша и сам поверил, что его дожидается начальник экспедиции. — Давайте с вами встретимся еще раз. Вечером на лесозаводе зажгут фонари, они все в Ангаре видны, вон оттуда, с горки, глядишь — и кажется, будто зарево большого города плавает. Пойдемте посмотрим. Ладно? Я буду вас дожидаться за крайней избой на дорожке, знаете, она через кладбище в тайгу идет...

Девушка неопределенно, не то покорно, не то печально, закивала в ответ головой.

«Шут знает, — подумал Саша Варягин, — может быть, вовсе она не ребенок».

2

Тропа обегала голый, иссохший пригорок. На нем виднелись кресты и дощатые пирамидки. Кресты спустились уже к подножию горки, а самая нижняя могилка притулилась подле тропы. Насыпанный бугорок ополз в дождь, а в жару заскорузла глина. В бугорок воткнута рейка. Может быть, к рейке была прибита прежде поперечная перекладина. Может быть, крест был.

Тут Саша остановился. Ему была видна вся дорожка. Невдалеке она переходила в улицу. Весь город прошили продольные улицы. А поперечных нет. Никому неохота было лишние рейки тратить, углы выводить в ограде; ставили забор в забор. Временное поселение, город-временка.

Скоро сниматься городу. Придет Ангара. Вода нахлынет, пыль сядет на дно, улицы затянет илом. Город-временка сгинет.

И кладбище — тоже временка. Нет у него ни большого забора, ни маленьких, личных оградок.

«Скоро и мертвым переезжать, — подумал Саша Варягин. — Ведь их не оставят на дне, с собой заберут. Не

всех, конечно. Вон этого, над которым рейку поставили, его, пожалуй, не тронут. Останется на дне.

Солнце коснулось верхушек леса, перестало быть круглым, превратилось в зарю. На заре почернели стволы, ветки; даже хвоинки обозначились аспидно-черно на чистой, жаркого накала солнечной глыбе. Заря быстро опустилась вдоль стволов, и воздух сразу стал сиреневым. Звуки вдруг обособились, выпали из дневной толчеи, шелестенья и гула. «Беру!» — донеслось с волейбольной площадки. Чей-то зычный, накатистый голос: «Ну, мальчики, взялись! А ну, ощетинились!.. Валечка, режь! Ведь резать же надо! Ну что же ты? Эх... На три паса давайте!»

Лошади громко дышали, жевали засохшую травку, двигались тяжело, стукали спутанными ногами в заскорузлую землю.

Саша ждал девушку и немножко боялся: вдруг не придет? Ему в этом сезоне исполнится двадцать два года. Он не считал себя молодым. После армии кончил курсы топографов, ездил на изыскания в Сибирь.

Теперь вот сидел на окраине кладбища в Братске. Ждал девушку Марину. Нет, он не знал, что случится с ним сегодня, и не хотел знать.

Он думал о том, что завтра, в четыре утра, бросят ребята карты, кончится преферанс. Жидкий туман забьется под ватник. Гошка-шофер, свирепый с похмелья, нажмет на железку. Это все будет завтра. Сегодня он пришел на свидание...

Вдруг Саша понял, что ей пора, что он ждет ее больше часа. Должно быть, она не придет. «Конечно, зачем ей сюда приходить?.. Ну ладно! — Саша вдруг обозлился. — Ну ладно...»

Он не заметил даже, что девушка пришла, рядом уже, тихонько идет по тропинке в белом платье, клипсы сияют в ушах.

Варягин встал ей навстречу, и так сильна была его радость, и так пустынно было это место у края тайги, что он сказал ей «ты».

— Ну вот, — сказал Саша, — ну, здравствуй! — Он протянул ей руку, и она прикоснулась к ней прохладной, безучастной ладошкой. — Ты крепче держись, — сказал Саша. — Вот так. Это, в общем, надежная штука. —

Варягин поверил своим словам. Рука требовала себе применения.

— Вы уверены в этом? — спросила Марина. Вопрос был спокойный, просто так.

— Ты верь мне, — сказал Варягин, — честное слово, мне некогда притворяться, скоро уезжать в тайгу.

Они прошли обочиной кладбища, поднялись к железной дороге, выше полезли по склону, мимо первых бережок — зеленых мысков тайги.

Девушка молчала, ни разу еще она не взглянула Саше в лицо. Он вел ее за руку, мало считался с коротеньким, щупким шагом девушки в туфлях на каблуках. Он тащил ее за собой вверх по щебню, по травке — в тайгу. Был упругий, как юноша, и в то же время взрослый, третий мужик.

«Конечно же, она ребенок, — думал Варягин. — Просто дичится меня немного. Славный, хороший ребенок...» Он положил ей руку на плечо, сжал пальцы. Плечо все уместилось у него в горсти.

Уже потемнело. Запахло дымком. Тайгу сжигали повально, готовили днище моря. Не видные днем огоньки медлительного пожара проявились во тьме, и даже слышался треск.

3

— Мне не нравится такое имя — Марина, — сказал Саша Варягин. — Я буду тебя звать Маша, ладно? Честное слово, это лучше. Ты мне верь. Ты веришь мне хоть немножко?

— Немножко, — сказала Марина.

— А во что ты веришь твердо?

— Не знаю. Я знаю только, во что я не верю.

— Ну, скажи мне.

— В благие намерения мужчин.

Она сидела на палом стволе. Дерево ссохлось, стало гладким, костяным. Поверхность его была прохладна. Или руки у Саши горели. Он прижал ладони к древесине. Ощущение холода было приятно ему.

Невдалеке тлела лиственница, огромное, сильное дерево. Огонь подобрался к ней низом, по торфянику. Он полыхнул по смоляной одежке ствола, сжег ее и загас.

Дерево осталось стоять, и днем не видно, что оно занялось изнутри и уже прогорело. Теперь, в темноте, обнаружилось пламя, торопливо сквозило в прожженные дупла. От черного дерева несло настоявшимся, угольным зноем.

— Знаешь, чего мне очень хочется? — сказал Саша. — Мне очень хочется увидеть, как придет море и утопит пыльные улочки, жалкие домишки, грязь — все... И девочек, не верящих в благие намерения, тоже.

Марина посмотрела на Сашу. В глазах ее будто отразилась крошечная тьма и потайное пламя этой ночи.

— Девушек будут спасать принцы? — спросила она.

Саша не смог ответить сразу. Слишком многое заключал в себе такой вопрос. А может, ничего в нем нет. Но все равно ночь вокруг, тайга горит, и глаза у девчонки светятся непонятно... «Кто их будет спасать? — подумал Саша. — Я бы взялся спасать эту девчонку?..» Ответить себе сразу Саша не смог. Он сказал вслух первое, что пришло в голову:

— Нет. Их никто не будет спасать. Пусть они выплывают сами. — Прижал ладони к дереву, но оно уже не казалось холодным.

Огонь прорвался у комля горячей лиственницы. Словно топку распахнули в жерло гудящей печи.

Марина промолчала.

Долго они сидели так. Появилось тоскливое беспокойство. Обдавало летучим жаром, калило глаза и щеки...

«Что бы, что бы такое сказать, — думал Саша, — надо что-то говорить, в конце концов... Ведь как хорошо все было вначале...»

Он встал, подошел к горячей лиственнице, пнул ее носком ботинка, и в дереве засветилась новая дыра. Саша ударил еще раз. Посыпались искры. Угольное нутро лиственницы мерцало багровым, белым и синим жаром.

Саша присел на корточки и протянул зачем-то руки к огню.

— Марина, идите сюда, — позвал он. — Черт знает что здесь творится. — Сказать ей: «Маша, ты» — он почему-то не мог сейчас.

Она пришла и присела рядом. Сидеть на корточках

было неудобно и жарко. И все же лучше гораздо, чем минуту назад на голом, холодном полене.

Ноги затекли. Марина покачнулась. Саша вскинулся.

— Ну что, неудобно? Устала?

Подхватил под мышки, поднял и остался стоять, не разнимая рук. Она стояла близко. Очень близко она стояла.

Большой жар горящего дерева не мог перебить идущего от ее щек особенного, маленького тепла. Она коротко, часто дышала. Ее губы послушно раскрылись от поцелуя.

...Саша знал, слышал от ребят, что так бывает: без слов о любви и без самой любви, сразу. С ним это не случалось никогда. Жалость, и нежность, и страх за эту девочку, такую маленькую посреди ночи и леса, охватили Сашу.

Ничего не говорила эта девочка, не ласкала, не глядела, а только слышно, как дышала...

Потом Варягин ушел в темноту, прижался к сосне и долго стоял так. Казалось, сердце толкается прямо в жесткую деревяшку. Кора у сосны была шершава, покрыта пылью. «Ну вот, — сказал Саша, — ну вот...» Ночь будто ожила и двигалась, наплывала сзади. Все шло вперемешку: тайга со своим пожаром, звезды вверх, и небо, и тьма. Хотелось смешаться с ночью, и пускай она унесет куда-нибудь далеко. «Ну вот», — опять сказал Саша. Его рука соскользнула вниз по коре, и он вдруг почувствовал, что дерево не живое, ствол холодный, корявый. Саша отвалился от сосны, расставил пошире ноги. Оказалось, что можно стоять и так, без опоры.

Темь как будто поредела. Стали различимы стволы и пригорок, посыпанный хвоей. «Ну вот, — сказал Саша, на этот раз будто бы с облегчением. — Ну вот». Он быстро пошел обратно, к горящей лиственнице.

Девчонка сидела на земле. Сидеть ей было неловко, и такая горечь, несносная одинокость была в ее неприкаянной позе, будто сломалась девочка, приткнулась наземь и самой теперь ничего не поделать. Саша почувствовал вину и стократ сильнее — нежность до слез. Такую нежность, что можно себя позабыть, умалить до ничтожества или возвысить до счастья.

Он быстро сжал ладонями ее щеки, поцеловал один

глаз и другой. Глаза были сухи. Саша стал быстро, порывисто, молча гладить ее голову.

— Ну что ты, Машенька? — сказал он тихо. — Ну что ты?

Он поднял девчонку, обнял и бережно повел по тайге.

— Бежим скорее! Живей! Живей! Вон, видишь, машина едет? Может быть, нашей экспедиции. Этой дорогой через кладбище только Гошка ездит. Он нас отвезет. Бежим!

Быстро бежать она не могла. Саша первым выскочил на дорогу. Машина остановилась. Гошка за рулем. Рукой помахал.

— Саша, привет! Ты что, к мертвецам на гулянку? Троицу справляешь?

— Ты один, Георгий?

Начальник экспедиции приоткрыл дверцу.

— Садитесь, Александр Павлович. Если по пути, конечно...

— Маша! — крикнул Варягин. — Поехали! Тут все свои!

Никто не отозвался ему. Девчонки не было видно.

— Я сейчас, подождите, — сказал Саша и прыгнул в кусты. — Я тут не один.

— Все ясно, — произнес Гошка.

Девчонки не было видно ни в кустах, ни на тропинке. Саша искал ее, кричал... Вернулся к машине.

— Ну ладно, езжайте!

— Смотри, — сказал Георгий, — а то кто-нибудь подберет твою земляничку.

Варягин догнал Машу на кладбище, возле той самой сиротской рейки.

— Ну где же ты?

— Нет, — сказала она, — я не хочу ездить на вашей машине.

— Это почему же?

— Так...

4

Утром грейдер темный — в росе. Влажно шуршат колеса.

С Тулунского тракта машина свернула на глинистый, сохлый проселок. Он был хоть иссечен по дождю

колеями, зато прям и с кюветом. Проскочили березнячок, попали в пшеничное поле...

— Мы изыскивали эту трассу, — сказал топограф Сема.

— Вы до Ново-Полонова дошли, — подхватил Саша, будто обрадовался, — а мы после вывели ее в Мокрый Луг и дальше, до Черемшанского леспромхоза.

Саша ездил тут и прежде, но вся дорога, и поле, и лес, и кусты на обочинах казались ему сегодня осмысленно-прекрасными существами. Он будто слышал их голоса, обращенные к нему.

Низкие кустики пыли прорастали следом за машиной и на глазах опадали. Пшеничному полю все не было края. Потом пошли покосы, в траве густо краснела земляника.

«Вот Сибирь, — подумал Саша, — если уж земляника — так земляника, если поле — так степь, лес — тайга, на охоту собрался — так это охота!..» Мысли будто имели запах и вкус и были свежи, как утро, летящее навстречу.

Посреди поля, у дороги, показалась изба-заимка, прибежище косарей. Окошки в избе были затянуты марлей. Мужики собрались на косьбу. Тут же сгрудились кони. Спасались от гнуса вблизи жилья. Глядели на редкую в этих местах машину.

Пахло первым сеном, дымом, овчиной. Опрятно и строго белело оконце закопченной, осевшей избы. Мотали хвостами кони. Пошел шестой час утра.

Избушка быстро отстала, а Саша глядел на нее, и после, когда ее заслонил березняк, он все еще будто видел кусочек бодрой, приветной крестьянской жизни, такой же ясной, как это утро в большом, изобильном сибирском поле.

Дорога пошла красноемлем. Мелькнула у обочины угловая вешка: березовая палка с расщепленным концом — недолгий памятник изыскательскому труду. В кузове обрадовались этой вешке. Саша, наверное, был больше всех рад ей. Он вспомнил про вешку; поблизости не нашлось годных березок, и Толька — рабочий — сходил на болото, принес целый пук гладкоствольных и белых, остро затесанных жердинок.

«Скоро увижу Тольку», — подумал вдруг Саша, и, хотя Толька был пацан и матерщинник, подумалось о

встрече с ним счастливо. Так много было у Саши Варягина счастья в это утро. Его хватило бы для всех, для каждого человека.

5

Только позавтракал в столовой и взял еще с собой на день две котлеты, «двойного» чаю нацедил в бутылку. Котлеты он обернул в «Комсомольскую правду» — выписал с получки на полгода. Сунул еду за ворот комбинезона. Сверток провалился до пояса, там завяз. Пояс Только затягивал глухо. Майку под комбинезон не надевал.

Сидел на крыльце столовой, дожидался начальника отряда Варягина. Сюда же пришел Николай, мужичонка пропойный, болтливый, лет сорока. Пришла еще Гутя, жена тракториста, известного в леспромхозе по прозвищу Рыжий.

Весь отряд Варягина в сборе: два рубщика, речница. Только начальника нет. Разглагольствует Николай:

— ...У нас у Витебске то же самое: этой «Лесной воды» — залейся. Ну? Семь рублей бутылка. Ноль семьдесят пять. Ну? Мне никакого ликеру или, допустим, бенедиктину против ее не надо, ни за что б не променял. У ей там спирту не меньше полста процентов. Ну? Узаял, допустим, бутылку — и пьяный, и гроши остались... А здесь приходится «Ландыш»... В тайге живем.

— Ха-ха-ха! — Только весело слушать Николая. — Ты и сам-то сроду ландыш. Ха-ха-ха! — Только обхватил пальцами обушок топора, правит оселком жало.

Гутя прячет в платочек рот. Брови у нее реденькие, белые. Глаза голубенькие тоже прячет. Словно и нет ее здесь вовсе...

— Ты лучше про аиста расскажи, подсолковыш! — Только поглядел на Николая с выражением превосходства. Только пошел девятнадцатый год. Он зовет Николая «подсолковышем» с тех пор, как тот в первый раз произнес это слово. Голубь-вахирь загуркал тогда на березке. Николай тотчас же объяснил: «Это не соловей. У соловья первое дело поскирскать, или как там еще? А этот — подсолковыш: кур-кур... Ну?»

— Как там аист порядок наводит? Ха-ха-ха!

— Ну-у? Он не хуже ротного старшины дает разгон. Если там что не по ём, или, допустим, кого не полюбить, или гнездо ему кто нарушить, он сейчас — ага! С первого же кострища берет у клюв уголь и — пырх-пырх! Прямо чешет у ту хату, ну кто его, значит, обидел, и уголь у сено кладет или куда там еще посуше. Усё спалить под самую завязку. Это — закон.

Лицо у Николая обтянутое, сухонькое и кожа как плохо отглянцованная фотография: местами в обтяжку, блестит, а местами вялая, тусклая. Глаза непрерывно в движенье, в работе, как будто нечист человек, боится, должен себя охранять, другим не давать приглядеться. Как будто накручена туго пружинка внутри человека.

— ...А вот интересно, почему Русланову не берут у Большой театр?.. — Хитрый мужичонка Николай, заметно. Что там у него спрятано за слинявшими добела глазами?

— За что ты сидел, подсоловыш? — Толька плюнул на топорик — фш-ш. Шепеляво, кругами пошел оселок по металлу.

— Ты, — сказал Николай, — семилетку закончи — узнаешь. Я полное среднее получил, понял? Беспредельщина... — Глаза Николая вдруг сделались остры и неподвижны, челюсть посунулась вперед, и говорок бело-русский будто пропал.

— Подумаешь, — сказал Толька и плюнул мимо топора. — Образова-ание. Почти что профессор... Подсоловыш... — Еще раз плюнул.

Гутя натянула платочек поверх рта, до самого конопатого носика.

Николай выругался длинно.

— Выпить же надо было, ну? Трансформаторы унес из инструменталки. Я после войны слесарем-механиком в Витебске на автобазе работал. А в войну всю Германию прошел и Польшу тоже, Чехословакию... Я старший лейтенант — ну?

— А мой водку и в рот не возьмет, — вдруг сказала Гутя низким голосом в платочек. — Не курит, ни чо...

— Ха-ха-ха! — закатился Толька. — Рыжий тебя сроду и не поцеловал.

...Свернула к столовой Гошкина машина.

— Поехали! — крикнул из кабины Саша Варягин. — Вы тут давно сидите? Я уже боялся, как бы вы не раз-

бежались. Пока другие отряды развозили на работу... Прорубим сегодня зимник, и еще там останется дня на два нивелировки да съемки... Это мы вдвоем, с Толей и Гутей, сделаем. А ты с завтрашнего дня, Николай, можешь быть свободен. До среды. В среду мы начнем перебираться на Черемшанскую трассу.

— А кто же платить будет? — спросил Николай и растянул свой щербатый рот. — Нет, начальник, так для меня не подходит. Это что же, значить, сегодня горбатиться сверхурочно, зимник рубить, а завтра зубами ляскать? Не-ет.

— Запел, подсолковыш, — сказал Толька.

— Ну, — сказал Гошка, — в сборе инвалидная команда? Вперед, на запад! — И нажал на железку.

6

Зимник, дорога-временка, должна привязать лесосеку к большой лесовозной трассе, должна быть кратчайшей прямой, пролегать по ровному низкому мосту. Зимник прихватит морозом — пойдут трактора.

А сейчас тут тайга, черемушник растет по низине, ольшаник. Перестойный лес, палые стволыны, и заново все проросла повсюду жадная зеленая молодежь. Пospела, рдеет в потемках кислица. Подспудно, чуть слышно живет ручеек. Мшары, топи. Мошка.

Отряд Варягина намазал носы, ладони, брюки, закраины голенищ диметилфталатом. Пахучее, едкое зелье! Течет по лицу вместе с потом, саднит глаза. Отряд натянул накомарники: панамки-каскаетки с вуалями до плеч.

Саша сверился по планшету. Толька вбил колышек — «точку» — в месте сращения зимника с трассой. Поставил теодолит. Подравняли его, чтобы носик контрольной гирьки пришелся как раз над «точкой». Саша принял к своему прибору. Толька выставил первую вешку...

— Право! — потребовал Саша. — Немножко левее! Вот так вот, стой! Да нет же, левее. Сто-о-ой! Хватит..

В створ первой вешке поставили еще одну. Срубили, свалили березы, осинки, кустарник. Пошли...

— Братцы! — сказал Саша. — Тыщу восемьсот метров рубиться. Осилим?

— Ты что, начальник? Это же не то что, допустим, по лесу пройтись. В такой густере — это полкилометра, считай, хорошо. Ну?

— Ха-ха-ха! — Тольке опять весело.

Пошли. Толька первым. Для Тольки рубиться — не просто работать. Ему это радость — ударить стоящую прямо лесинку косым, смертельным ударом, увидеть, как дерево, стоя, соскочит с обрубка-пенька.

Саша рубится рядом и смотрит на Тольку, как часто и точно взлетает топор над правым, над левым плечом, как ходит топорик по самой земле и косит подлесок. Саша умеет и любит рубиться, но все же удар слева у него не тот, что у Тольки. Толька не видит: Саша старается вскинуть топор вот так же свободно и ударить. Неловко получается, неточно, не то...

Толька не глядит на соседей. Он рубит просеку. Он знает: лучше, чем он, нет рубщика в отряде. А в лес-промхозе? «Подумаешь, — шепчет Толька, горячась. — Не то что какой-нибудь Рыжий. Ему и трактор-то дали КТ-12, не трактор, а самовар...» Толька смеется. Рубит черемушник — гибкие, крепкие плети. Топор пружинит и скачет, черемушник хочет жить. А Тольке надо рубиться, пробить дорогу к делянке. Нечем дышать под вуалью накомарника. Мокрец пролезает сквозь сетку, ползет по плечам, по шее, шевелится на губах. Жарко, смрадно, мокро в ручейной низинке. Комариная мазь жжет глаза. «Вж-жах! Вж-жах!» — злобятся топоры.

«Ну что же ты? — думает Толька. — Ну что ты тут можешь?» Чувство власти над черемухой, елкой, осиной, над лесом, мошкой, над болью, над всем этим миром, в котором он, Толька, не зря, охмеляет его. «М-м-м!...» — Толька мычит от азарта. Он сдернул каскетку — уже недохнуть, мошка забила под накомарник. Хлебнул непроцеженный воздух. Он густ, в нем кишит и визжит ядовитое семя... Толька свирепо потрянул накомарник, тотчас его натянул, выкроил всего два полных вдоха.

Обернулся. Просека чисто и прямо прошла заросль. В ряд стали вешки. Видеть просеку было отрадно, но сколько метров в этом коротком прогалке с березовым реденьким частоколом?

Николай подошел, зашептал Тольке в лицо:

— А что мы, обязаны, что ли? Это где хочешь возьми, на любом производстве: пятьдесят минут отстучал,

а десять — перекур. Ну? Отдай, не грехи! А разве мы тут так вкалываем? Тыща восемьсот метров! Разве же за день пройдешь? Покалечишься тут!

Только сунул в рот папиросу. Для этого он всякий раз, получив накомарник, протыкал пальцем в сетке дыру. В июле дыра годилась еще для кислицы, а ближе к осени — для голубики. Он ничего не сказал Николаю. Было заметно сквозь сетку, как морщится кожа под глазами у Тольки. Прикинул по вешкам направление, пошел рубиться дальше.

Николай еще стоял некоторое время один. К нему подошла Гутя. Она была нагружена самыми разнообразными предметами изыскательского труда. Зажатая под мышкой, волочилась рейка. Металлический обруч с мерной лентой был надет на плечо. На другом плече бог весть как держалась пила. Еще Гутя несла в кошелке Толькины две котлеты и «двойной» чай. Свой завтрак Николай тоже отдал ей с утра на хранение. Навьюченная этой поклажей, Гутя набрала все же в кружку кислицы.

— Дядя Николай, берите, кислица ничо...

Тот взглянул на девчонку и грязно выругался. Поддал обушком топора в донце белой кружки с маками на боку, кислица взлетела, обсыпала Гуте каскетку, вуальку. Гроздь осталась лежать на широких полях, зацепилась за краешек сетки.

Кружку Гутя не выпустила из рук.

Саша видел все, — как был, с топором, побежал к Николаю, схватил его правой рукой за грудь.

— Ну что же ты, — с одышкой, едва произнес Варягин. — На кого же ты поднял руку?

Только уже стоял рядом с Варягиным, морщил кожу у глаз.

Гутя присела, вдавила для прочности кружку в мох, принялась собирать просыпанную кислицу.

— Послушай, Николай, — сказал Саша, — ты пойми одну вещь. Нам нет дела, кем ты был и что там у тебя за прошлое. Ты для нас — человек, понимаешь? Если тебе этого не понять, мы просто выкинем тебя отсюда... — Саша сдернул накомарник. Лицо его было разъедено мошкой. Тонка кожа у техника Саши Варягина. — Мы тебя вы-ки-нем!.. Понимаешь? — Саша сказал, куда они выкинут Николая.

Гутя наслышалась много всяких таких слов в своей леспромхозовской жизни, один только начальник Александр Павлович их никогда не говорил. Гутя взглянула на начальника. Ей стало жалко чего-то, обидно и в то же время приятно: начальник вроде как все. А дядя Коля — чего с него ждать? Дурак дураком.

— Тут бы у пору, — сказал Николай, — буханку хлеба да бульбу с салом. Флакончик «Ландышу» для аромату. А она кислицей дразнить...

Саша надел накомарник.

— Пойдем, Толя. Надо кончить сегодня ус.

Гутя собрала ягоду и быстро поволочила свою рейку, заспешила поближе к Тольке и Саше. Толька обернулся к ней, взял с ее панамки висящую там гроздь кислицы...

— Ты будешь по лесу шататься, сама как куст становишься. На тебе ягода нарастет. Рыжий трактор забросит, будет всю дорогу ягоду с тебя общипывать. Ха-ха-ха!

— Да ну уж, прямо... — сказала Гутя низким своим голосом. — Восемь классов кончил, а ума ни грамма нет. Все бы надсмеивался.

...Большая сосна стояла как раз в створ вешкам, заслонила просеку. Пришлось пилить сосну Саше с Толькой. Николай не участвовал в деле. Стоял, отвернувшись, на прежнем месте, дымил.

...Пила вспорола сосне темный, замшелый бок, порскнули жестко опилки. Пошла вгрызаться в дерево. Но скоро приглохла — зажалю пилу.

Саша поднялся первым.

— Подышим.

— Давай. Ослабел начальник.

Саша был серьезен.

— Вот как корежит людей это прошлое, — сказал он. — Ведь Николай мужик-то ничего. Раз споткнулся, а теперь никак не распутаться. Ведь ему тоже хочется жить человеком, а вот нет-нет и прорвется прошлое.

— Да ну, — сказал Толька, — хочется ему... Ему «Ландышу» хочется. «Лесной воды». Подумаешь... Со мной в комнате Генка Коряшев живет, тоже в заключении был. Вышел и взял себя в руки. Дай бог — какой парень стал. Нам бы его... Просеки рубить.

— Ну, пыльнем, что ли?

Едва дернули пилу по разу, подошел Николай.

— Давай, начальник, мы допилим, а ты взгляни по карте, чтобы нам точно попасть у делянку. Ну-у? А то залезем у болото. Давай.

— На, бери. — Варягин отошел в сторону, занялся пикетажной книжкой, поглядывал на пильщиков и думал: «Он все равно всегда прав. Он прав, этот радостный волчонок Толька. Никакое прошлое не имеет над ним силы. А как же быть с Николаем? — думал Саша. — Может человек совсем, начисто отрубить свое прошлое? А вся Сибирь? Разве у нее нет прошлого? Что оно значит сегодня?»

Иногда приходили в голову Саше отвлеченные мысли. Ему бы в университет поступить. Способностей бы у него хватило поступить и без трудового стажа. Сашины родители были интеллигентные люди. Саша поехал в Братск, потому что лучше доли, чем Братская стройка, он не мог для себя отыскать. Теперь рубил просеки. Додумывать здесь до конца свои мысли, которые остались от школы, от разговоров в семье или же приходили во время перекуров и по ночам, Саша не успевал.

— Вы мне, смотрите, сосну на просеку не положите! — грозно крикнул начальник отряда Варягин своим рабочим.

7

За полдень выбрались на угор, в редколесье, устроили передышку. Толька забрал у Гути котлеты, поставил на землю бутылку с чаем и предложил:

— Рубайте!

...Устали. За работой не думали об этом и даже не знали, но стоило сесть — непривычно бездельные руки словно прибавили в весе, даже пальцы, казалось, огрузли и стали бесчувственно толсты.

Лежать хотелось на теплой земле, на хвое, прижаться к земле, почувствовать ее жесткость, надежность, увидеть небо и там большие, вполнеба, зеленые с проседью лапы сосен. Очень хотелось раскинуть тяжелые руки, чтоб каждый палец, и локоть, и плечи имели себе опору.

После отдыха стало труднее. Азарт увял, уже не валяли березку одним ударом. Зато появилась привычка, что ли. Жарко, чадно от гнуса, хочется пить, воздуху

хочется, вздохнуть... Болото, болото... Непролазно и бесконечно.

Саша взглянул на планшет. «Может, плюнуть, не мучиться так? Завтра дорубим... Ладно. Пусть ребята сами решают. Спрошу сейчас. Скажут «хватит» — пойдем домой».

«Мбрамм! — У Гошкиной машины медноголосый, с дрожью сигнал. — Мбрамм!»

Николай едва услышал, кинул топор.

— Начальник! Отбой! Ну-у? Что же он, дожидаться нас будет? Погудить и уедет. Ну-у? Пешим вкалывать я не согласен.

Только распрямился, заслышав гудок, постоял минуточку, и снова пошел захлест его топор... Весь отряд глядел ему в спину. Белели лопатки от пота на Толькиной широкой спине.

Саша стоял, ни единой мысли не было у него в голове. Он вдруг понял, что качается. Его мотнуло вперед, он удержался, и тотчас же его повело назад. Начальник отряда техник Варягин совсем не обязан был рубить эту просеку. Он мог замерять углы, глядеть в стекляшку прибора, не в тайге топором, в пикетажке, карандашом вычерчивать трассу — зимник.

— Начальник! Уедет Гошка.

Саша стоял, потихоньку качался, видел Толькину спину, все доходило до него смутно: хряст топора, сигнал машины, слова Николая. Он сжал топориче и сказал неизвестно кому:

— Ладно! — Еще раз повторил: — Ладно!

Догнал Тольку, встал рядом с ним, замахнулся... Даже не понял, что это за дерево. Удар получился неточный. Дерево мотнулось, но устояло. Он добил его злыми тычками и пошел рубиться дальше.

Гошка перестал гудеть — должно быть, уехал. Николай, наверно, ушел, а может быть, рубился тут же рядом. Саша ничего не видел, не знал и не хотел думать.

Только рубил, не оглядывался. Он-то знал, что нужно пройти до конца, до последней елки, этот проклятый зимник. Срубить елку и оглянуться... Не первый год тюкал Толька топориком по деревяшке.

...Когда-то, пожалуй лет пять назад, Толькин отец, плотник, подрядился строить для колхоза дом. Тольку взял себе в помощь и в обучение. Долгое, скучное это

занятие — бревна тесать. Сегодня и завтра бревна, опилки, мозоли, а домика нет... Тольке начинало казаться иногда, что и не будет этого домика. Разве так нужно строить? В городах вон целые стены кранами поднимают, а тут топориком: тук-тук... Разве это профессия? Очень хотелось Тольке податься на Братскую ГЭС или еще куда-нибудь в этом роде. Стал в разговорах с батькой морщить кожу у глаз. Еще и стропил не вывели в доме, а Толька совсем уже собрался в дорогу. Батька не спорил, однако поставил условие: «Отстроимся — уедешь». «Начал дело, — сказал батька, — забей последний гвоздь! Некончено дело — не дело! Человек без дела — не человек».

Домик подрост к октябрю. Однажды Толька вгонял гвозди, тес пришивал к стропилам. Бил обушком с потяжкой, стукнет — и нет гвоздя, одна шляпка блестит. Навострился Толька в плотничьем ремесле.

Дотемна проработал. Шел домой и вдруг обернулся. Первый снег падал. Окна мягко светились в избах, а на новом, Толькином доме белела тесовая кровля. Домик казался выше, стройнее соседних, весь он словно светился своей чистой и строгой новизной. Толька вернулся тогда и пощупал шершавые затесы на углах, обошел вокруг дома, и еще раз обошел. Уже совсем стемнело. Никто в деревне не видел, как Толька Ладейщиков, плотник, сын плотника Ивана Ладейщикова, подпрыгнул, проскакал по улице, снова подпрыгнул... Он спросил в тот вечер у батьки: «Этот кончим, а чего потом будем строить?»

...На полянку врубилась внезапно. Толька шел набычившись, словно в драку. За ним следом Николай. Саша не отставал от своего отряда. Но вдруг посреди полянки он вспомнил. Еще не поверил, но радостно крикнул:

— Гутя, тащи скорее сумку с планшетом!

Едва развернув хрустящую кальку, Саша восторженно, громко сообщил:

— Ребятки! Кончайте! Шабаш! Прорубились!

Все мигом сошлись, стояли близко друг к дружке, дышали, смотрели на кальку. Никто ничего не понял в неразберихе синих линий на вощенной бумаге, но все долго глядели, топоров не выпускали из рук.

— Может, это не та поляна? — сказал Толька.

— Ну как же, вот, видишь? — Саша ткнул пальцем в кальку.

Поляна была большая. На ней хватило места березам, стогам, ручью, и даже маленьким ветром тянуло; можно вздохнуть! Толька набрал ручейной воды, бутылка помутнела от холода.

— Подсоловыш! — крикнул Толька. — Я тебе лесную воду нес.

Все глотнули, не обтирали горлышка. И Гутя тоже.

— Я ничего не говорю, — сказал Николай, против обыкновения тихо и примирительно, — усякому свое время...

— Да брось ты — время... Пей вот — вода!

«Мбрамм!» — совсем близко гукнул Гошка. Вдруг машина вылезла меж березок. А казалось, и дороги сюда нет.

Гошка раскрыл дверцу, долго смотрел голубыми, от-
роческими глазами на варягинский отряд, наконец вы-
молвил:

— Так...

Еще поглядел, не мигая. Казалось, занят человек умственной какой-то своей работой. Вдруг улыбнулся:

— Варягин стал на бивак...

Толька уже бежал к машине, и Николай, и Гутя. Уже голоса смешались, рейка стукнула в кузове...

«Мбра-а-амм!» — На прощанье Георгий дакнул — от души — на сигнал.

8

Леспромхоз понастроил довольно жилья. Изыскателям отвели целый дом, белостенный, сосновый, под шифером, на четыре семейства, в четыре крылечка.

Варягин и Сема Баулин раскладушки поставили в одной комнате, но не рядом: каждому хочется немного, хотя бы самую малость, побыть с глазу на глаз с самим собой. Кончить вечерние дела — камералку, собрать планшеты и пикетажки, дунуть на свечку, расстегнуть в спальнике ворот пошире, забраться в мешок, закурить и почувствовать тихий покой.

— Эх, Клабочка, — сказал Сема, — и как вы попали на этот курорт? Интересуюсь... В Черемшанах в палаточках будем жить. Теперь уже скоро. Как вам это

улыбается, Александр Павлович, а? Вы ведь романтик в душе, а? Александр Павлович?

— Я с удовольствием в палатки, — сказал Саша.

Полежали молча в темноте.

— Мы вчера ус добили, — сказал Саша.

— Не вы, положим, а Толька. А? Хе-хе, мы пахали. Толька у меня в отряде работал, мы с ним по два километра в день прорубали на судовых ходах. Переманиваете лучших рабочих, Александр Павлович, а?

— Люблю я Тольку, — сказал Саша Варягин.

— Ну еще бы, такой парень, я думаю.

...Днем не слышать, как лопаются древесные волокна, морщины режутся вдоль тесаных белых стен в новом доме. Ночью можно услышать кряхтенье, вздохи, будто горят сосенки, вчера живые, смольные, трещат, как в большом кострище. Притихнут еще не скоро. В доме по ночам пахнет жарким июльским лесом.

— Ты что, заснул, Александр Павлович?

— Нет.

— Что-то бессонница, хе-хе, бессонница... Тебя домой не тянет? Нам бы сюда по женщине... Домой приедем, я себе приличный костюм сошью. Черный. Материал у меня еще в прошлом году куплен. Уже был бы готов костюм. Я хотел себе все по моде сделать, брючки — двадцать два сантиметра, пиджак короткий, хе-хе, пиджак... А мы живем с моей половиной у ее родителей. Они — ни в какую: «Что ты, хочешь стилигой заделаться? Шей брюки минимум двадцать восемь». А знаешь, со стариками спорить... Жена у меня современная женщина. Она, конечно, за узкие брюки. Так и остался лежать материал. Эх, Клабочка... — Сема зевнул. — Поспим, что ли?

Саша лежал, протянувши руки поверх спальника. Он отвечал Семе, но вроде и не слышал слов, не знал, о чем у них разговор. Он слушал звуки ночного дома. Было так, словно это кряхтит, и трещит, и вздыхает его, Сашино, уставшее тело. Оно отдыхает, уже отдохнуло, и оживает память, стертая за день в тайге, в «тальвеге» — сыром, непролазном русле ручья.

Ему вдруг стало жарко в мешке. Он выпростал ноги из спальника. Приподнялся, сел...

— Семенчик! Постой, не спи, знаешь, какая у меня в Братске девочка?

Скрипнула раскладушка под Семеновым кургузым телом. Похоже, он повернулся к Саше.

— Ты что, у нее был вчера ночью?

— Да понимаешь, все произошло как-то странно и неожиданно. — Подумал: «Не стоит об этом рассказывать Семе».

Но молчать было нельзя. Сему не видно. А рассказать надо. Вроде как самому себе. Рассказать — все равно что заново пережить.

Очень темно, и тепло, и надежно в потемках. Ус прорубили за день. Почудилось Саше: счастье, удача его — вот она, рядом, руку протянешь — и можно коснуться...

— ...Я познакомился с ней днем на пляже, думал, ей лет девятнадцать от силы. Губы пухлые, глазенки черные, просто негритенок. И читает роман Эмиля Золя «Нана»... Поболтали с ней о том о сем.

— Хе-хе... Ну-ну...

— Да. Я без всякой задней мысли пригласил ее вечером погулять по горочке, знаешь, где тайгу жгут, ну за кладбищем. Она пришла. Клипсы прицепила.

— Постой. А как ее зовут?

— Марина.

— У нас в экспедиции секретаршей работала Маша Круглова. Похожа, как ты описываешь. Негритенок. Хе-хе...

— Знаешь, как ночью лиственницы красиво горят? Снаружи черно, а внутри ствола пламя гудит. Черт знает что! Просто удивительная получилась ночка...

— Слушай, она немножко картавит, «л» не выговаривает? И на левой руке у нее нет большого пальца.

Саша долго не отвечал Семену. С пальцами у Марины как будто все в порядке. Впрочем... А вот «л» ей не выговорить. Это точно. Она говорит: «успева», «пришва», «читава». Саше очень не хотелось признаваться в этом Семену. Не может знать Семен эту девочку, Саша сам ее отыскал...

— Да, — сказал Варягин, — она картавит.

— Это же Маша Круглова, слушай! Она ведь к нам в экспедицию поступила еще совсем девчонкой. Мы с ней и обращались, как с маленькой. Я над ней шефство взял. Слушай! Это было два года назад. Сезон отработали, потом приезжаем на будущий год — что такое?

Совсем не узнать. Испортилась девочка. Все видали, она к Ардашевичу по ночам бегала. Это же у нас в экспедиции каждый знает. Потом Ардашевич уехал, она его адъютанту досталась, Севе Самовалову. Ее уволили. Так вот ты, оказывается, с кем. А я думал, действительно... Маша Круглова... Хе-хе...

Варягин ничего не сказал на это Семену. Остаток ночи, до четырех, молчал — почти не спал.

9

Подосиновики росли у самой дороги. Ножки их были толсты и сдобны, в белой, ворсистой обертке, а шляпки малы, аккуратны и красны. Каждый гриб являлся Саше Варягину чудом, подарком. Он их подымал и нанизывал на сучки у дороги. Пускай шоферы подберут.

Варягин пешком топал в Братск. Ребятам сказал: «Объект закончен. Пора отчитываться. Собирайте документы, я отвезу. Сяду на водовозку, до Большеокинско-го, а там, на переправе, машин всегда полно».

Ребята доверили Саше свои бумаги, остались ждать Гошку: грузить в машину треноги, нивелиры, кипрегели, рейки, палатки, кастрюли да раскладушки.

...Несколько машин уже обогнало Сашу. Заслышав их, он сворачивал в лес и таился. На любую машину, конечно бы, взяли его, и даже не нужно просить, подымать руку. Шоферы все знакомы Варягину, а если и незнакомы, разве они проедут мимо попутного пешего парня в комбинезоне? Всякий остановит свой лесовоз, ЗИЛ полтора-два первый...

Варягин шибко шагал по песчаной дороге. Мошка отстала. Сетку накомарника он засунул внутрь панамки. Поля парусили при быстрой ходьбе. Иногда Саша пускался бежать, пробегал двадцать пять, тридцать шагов. Воздух казался настоящим крепко на сосне, на грибах, на вечно мокром, прохладном мхе.

Сторонами вдоль дороги шел бор: сквозная, привольная, хвойная жизнь; солнце и тени. Бульдозеры повалили ближние сосенки, они запрокинулись навзничь, их приняли на себя живые кроны соседок. Выворотни вздыбились. Саше было не жалко погубленных сосен. Эти

потери казались малы, незаметны в спокойном от своей огромности лесу.

За полдень пришлось идти вырубками. Деревья теперь отступили на самый горизонт, стояли там ровненько, в ряд. Издали они казались тонкоствольными, без отдельных веток, с пушистыми шапками вровень. Вроде не лес, не тайга — роща бамбука.

Вдруг дождя нанесло. Он тихо, тепло просочился из мягонького, просвеченного солнцем облака. Будто парное молоко процедили сквозь сито. Солнечный блеск помягчал.

И тотчас все снова переменялось. Ветер ударил холодно, резко, клочья туч полетели, пригасили солнце. Дождь стал жестким, косым. Надбавил. На рыхлой, жаркой еще за минуту дороге вспухли и лопнули с шумом пузыри. Сосенки у горизонта привстали на цыпочки, замахали верхними ветками, будто они журавли, уже потянулись лететь друг за дружкой.

Машина попала навстречу Саше. Шофер знакомый, недавно из армии, носит значок на гимнастерке: «отличный шофер». Утром он обогнал Варягина на выезде из поселка, рукой пригласил: «Поедем!» Вез древесину на нижний склад. Саша тоже ему помахал — дескать, рад бы, да куда ехать с тобой.

А теперь лесовоз полз порожний, месил размытую вдырг дорогу, шофер поглядел на бредущего мокрого Сашу и сплюнул в окошко. «Я же звал тебя. Ты не поехал со мной. Значит, ты дурак. Пускай тебя дождик приведет в чувство». Так, наверно, подумал шофер. А может, вообще ничего не подумал: была нужда думать о разных там пешеходах. Надо лес возить.

Саша был рад дождю, как всему в это утро. Его промыло, продуло, даже ударило градом. Град просыпался крупкой, вдруг покрупнел, полетели ледышки с небес. Саша пустился бежать. Шагов он теперь не считал. Но все же солнца еще успел хватить, и даже зноя.

В поселке направился прямо к столовой, без раздумий забрал в буфете три салата из свежих огурцов. Свалил их на одну тарелку, солью посыпал и принялся есть.

Было это таким же чудом, как гриб подосиновик на дороге, как утро, и солнце, и сосны, и град, и двадцать три километра лесом. Саша в этом сезоне еще не пробовал огурца.

На окинской переправе он сел в кузов машины, часа через полтора был в Братске, протянул шоферу монету.

— Да ну, — сказал шофер, — свой же брат, работага...

10

Первым встретился Саше на улице Братска бухгалтер экспедиции Анатолий Изотович. Он шел как раз с пляжа, очень любил купаться. Саша пригласил его в чайную выпить. Спокон веку велся такой обычай: считалось, коль хочешь полевые, зауральские, транспортные и прочие надбавки получить сполна, без утряски — выпей с бухгалтером. Много не надо. Бухгалтера пьяным не видел никто. Но свои полтораста граммов бухгалтер возьмет. Он это любит.

Саша вообще относился спокойно к своим зауральским. Никогда он с бухгалтером не выпивал. Но в этот день рад был всякому человеку. К тому же лобастый и старый, смешной в своих хитроумных расчетах бухгалтер не был просто встречный, а свой, товарищ по экспедиции, земляк.

И еще была одна причина пойти в чайную с Анатолием Изотовичем. Саша помнил, конечно, об этой причине, но заставлял себя думать о транспортных, зауральских — о вполне осязаемой пользе выпивки и разговора с бухгалтером. А сам все думал о том, что теперь уже скоро, совсем скоро он встретит Машу. А встретит ли? Месяц прошел... Варягин боялся немного и решил — в облегчение — выпить.

Он знал, что девчонка работает машинисткой в редакции. Больше он ничего не знал. Месяц — огромное время. Она красивая. Ходила на окушинский пляж. Транзитные, смелые, наглые парни смотрели. Не могли они не посмотреть...

Саша выпил стакан абрикосовой настойки, потом еще стакан, не понял и не запомнил, что говорил ему бухгалтер экспедиции Анатолий Изотович.

А что говорил бухгалтер? Как всегда, о самом заветном: «Я ведь сам архангельский, да. А это все, знаешь ли, мне — тьфу! У меня и дед и отец лес рубили. Да. И справа и слева. Это не всякий может слева ру-

бить. Не-ет. Что ты? Не так-то все просто. Нужен природный навык. Да. А ты что думал? Уже в природе самой должно это быть. Не то что там что-нибудь. Не-ет...»

Анатолий Изотович не заметил, как Саша Варягин ушел из чайной. Разговор свой о рубке леса он не прервал. Повел его с новым соседом.

Варягин отправился разыскивать Машу.

Он шел, смотрел на дома, на людей, был взволнован и в то же время уверен в себе, даже не спрашивал встречных, где редакция. Ему казалось, сейчас все совершится само собой, все найдется и состоится. Не зря он хватил абрикосовой.

Вошел в длинный приземистый дом с вывеской «Типография». Молоденькие линотипистки выглянули, хихикнули: парень был бородат, в затертом до белых ниток комбинезоне, с полевой сумкой через плечо и улыбался. Похоже, выпивши.

Худая скуластая женщина с раскосыми глазами, видать, бурятка, спросила Варягина:

— Вы что хотите?

— Мне нужна редакция, — сказал Варягин.

— Вы материал принесли? — Женщина заметно заинтересовалась Сашей. — Критическое что-нибудь? Или объявление о разводе? — Женщина стала суровой. — Можете мне оставить.

— Мы с вами лучше в редакции поговорим, — сказал Варягин, а сам все улыбался.

— Редакция напротив клуба помещается, знаете? Только сейчас там уже нет никого.

— Спасибо, — сказал Саша, прибавил многозначительно: — Нет — значит, будут...

В редакцию вела наружная деревянная лестница. Саша медленно ступил на первую ступеньку, на вторую. Сквозь подметки просочилось тепло нагретой за день деревяшки. Варягин шагнул еще на ступеньку. Очень медленно подымался он по редакционной лестнице. Там, наверху, его ждут не дождутся. Иначе быть не могло. Ведь он работал. Тайгу рубил. Прорубился. Пешком пробежал за двадцать три километра.

Дверь редакции вдруг раскрылась, и Маша Круглова, Марина, девчонка в ситцевом платье, быстро сбегала к Варягину.

Он взял ее руку, стиснул и отпустил. Сказал лишь:
— Ну, здравствуй.

Она все так же растягивала слова:

— Здра-а-вству-уй.

— Ты меня помнишь?

— Да-а-а.

— Ты знала, что я к тебе приду сегодня?

— Да-а-а.

И Саша сказал еще раз:

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй, — сказала Маша Круглова, или Марина, и посмотрела Саше в глаза.

11

— Пожалуйста, — сказал Саша, — возьми словарь русского языка и выучи из него хотя бы одно ласковое слово. Ну, там, какое-нибудь. Выучишь? Ладно?

— Я знаю много ласковых слов... Одно время мне казалось, что я их забыла.

— А теперь? Теперь ты их вспомнила?

— Я еще не знаю точно.

Девчонка была ростом чуть выше изгороди, прислонилась плечом к жердине. Саша положил ей на плечи ладони. Надо было сжать пальцы в две горсточки, а то руки просто свалились бы с маленьких плеч. Саша тихонько подвинул к себе плечи.

— Не надо, — сказала она.

Саша удивился немного, но тотчас же согласился, вроде даже обрадовался.

— Ладно. Хорошо. Не будем.

Плечи откатнулись на прежнее место.

— Расскажи мне про себя, Машенька. Что-нибудь расскажи. Все равно что. Ты ведь не похожа на сибирячку. Откуда ты здесь взялась такая?

— Я не сибирячка, — сказала Маша. — У меня южная кровь.

— Насчет своей крови ты будешь объяснять, когда станешь донором. Ладно? Договорились?

— Нет, у меня папа был с юга... А мама — полячка. Я не видела ни папу, ни маму ни разу. Они умерли, ко-

гда я еще только родилась. Меня местные взяли к себе. Вот так у них и живу...

Саша погладил ее по голове. Волосы рассыпчато-жестки и сухи. Он погладил ей лоб и щеку. Жилка билась у нее на шее. Саша ничего не сказал.

Было очень темно, и лица девчонки не видно. Только видно: внизу, в Ангаре, плавают длинные клинья огней.

Начав, девчонка не могла уже бросить рассказ о себе, о значительном в своей жизни...

— Десять классов кончила, — сказала она, — пошла на лесозавод работать. А я спать по утрам ужасно люблю. Ну просто не могу ничего с собой поделать. В первую смену мы с шести часов начинали. Как придешь, да еще после танцев, ходишь по цеху, спишь на ходу. А у меня близорукость, зрение ноль пять. Рука под пилу попала — вот видишь, калека теперь на всю жизнь. Никто замуж не возьмет... — Девчонка взглянула на Сашу, подняла свою левую руку. Кисть была узенькая, острая.

Саша взял руку, обнял девчонку, зашептал:

— Ничего, ничего, у тебя девять пальцев, да у меня десять. Деятнадцать на двоих. Нам вполне хватит. Как ты думаешь? Хватит? Да?

— Да.

— Все будет так, как ты хочешь. Ты веришь мне немножко?

— Да.

Саша отшагнул в сторону и долго молчал, повернулся к Ангаре. Темно, тепло от земли, свет на воде, вон паровичок свистнул на лесозаводе, девчонка стоит, прислонилась к изгороди...

— А потом я поступила к вам в экспедицию, — сказала Маша. — Секретарем. Во-от. Со мной такое там сделали — лучше не вспоминать...

— Вот именно, — вскинулся Саша, — давай не будем мы вспоминать с тобой об этом.

— А что ты знаешь? Кто тебе рассказал?..

— Скоро приедет Ардашевич. За ним послали в Иркутск катер...

— Когда он приедет? — девчонка оттолкнулась спиной от изгороди.

— Не знаю. Ардашевич — это по твоей части.

— Ардашевич для меня ничего не значит. Мне абсолютно все равно, придет он или не придет. — Девчонка что-то хотела доказать Саше Варягину или себе.

12

Ардашевич вызвал в Иркутск катер экспедиции, стоявший неделями в дальнем углу Братской речной пристани. Это был мощный, быстроходный дизельный катер по имени «Ладога». Его команда — капитан Олег Перебойных и моторист Генька — давно уже плавала вместе, сначала на катере «Свирь» таскали гонки леса по ладожским каналам, по Неве и Невкам. Неженатые оба, вскладчину купили тогда телевизор, поставили его в каюте «Свири». Геньке нравилось все на экране. Капитан же старался не пропускать футбол и балерин.

На Ангару экипаж «Свири» решил перемахнуть после одного телевизионного журнала. Он назывался красиво: «Голубые дороги Сибири». Реки взблескивали, неслись во весь экран телевизора «КВН». Обрывы, пороги, плесы, тайга по берегам... И рыбка ловится — не чета невской салаке. И Братская ГЭС... Стройные девушки в цветных косынках запросто обращаются с могучей техникой. Затосковал капитан по голубым дорогам.

Ладожский парень Генька тосковать еще не умел. Первую навигацию плавал полноправным начальником над дизелями. Но капитан Олег Перебойных был другом Геньке, а может быть, даже братом. И дом был у них один — каюта «Свири», и телевизор общий. К тому же Геньке, конечно, хотелось если не строить, то хоть увидеть Братскую ГЭС. Где-то там, в тех краях, работал один давний Генькин знакомый Александр Павлович Варягин. Послали ему письмо. Ответил Варягин скоро, написал, что можно легко все устроить, мотористы нужны и зарплата — дай боже.

Так очутились Генька и капитан Олег Перебойных в Братске. Экспедиция как раз получила новенький катер. Приняли его в Иркутске, вывели на носу белые буквы: «Ладога».

Телевизор продали, правда, с убытком. Купили в Братске приемник «Байкал». Но разве сравнишь прием-

ник с телевизором? И рыбка оказалась в Ангаре ненамного богаче невской, большей частью елец. Братскую ГЭС с пристани не видать. И катер не бросишь без примотра, и работы все не предвидится. Очень рада была команда «Ладogi» сплавать в Иркутск.

...От Иркутского дебаркадера отчалили в шестом часу утра. Приемник «Байкал» как раз отбивал позывные на иркутской волне: «Слав-но-е мо-ре, свя-щен-ный Бай-кал...» Первый трамвай громыхнул по мосту. Ангара была совсем гладенькая, ночная, ее еще не пахал ни один киль, не колупали весла, даже окурка никто не успел кинуть с дебаркадера.

След «Ладogi» — полукружье беспокойной воды на гладкой реке — снесло вниз по течению. Генька наддал оборотов, волна запоздало толкнулась в стенку пристани, лодка спасательной станции потерлась бортом о мокрые доски причала — вверх, вниз, — и все опять стало тихо на Ангаре.

Ардашевич вынул из большого чемодана особый маленький чемоданчик с ячеями и мягкой обивкой внутри. «Где он такой достал, специально, что ли, заказывал?» — подумал Генька, увидев впервые чемоданчик. В ячеях лежали бутылки коньяка. Ардашевич не очень-то доверял периферийным торгующим организациям, добрым коньяком запасался в Ленинграде.

Выпили: Олег Перебойных из стакана, Ардашевич налил себе в серебряную стопку с насечкой, Сева Самовалов, помощник, или, как чаще его называли, адъютант Ардашевича, тоже извлек стопочку, не серебряную, правда, алюминиевую, складную. Геньку звали и коньяку поставили наравне с капитаном, но пить он не стал.

Закусывали омулем, не тем, что подают в ресторане «Байкал», тот больше похож на поржавевшую селедку. Накануне Олег Перебойных и Генька возили на своей «Ладогe» директора рыбтреста к байкальским рыбакам. Директорский катер сломался, и «Ладoga» очень кстати пришлась: директор был Ардашевичу не то что приятель, просто оба они, крупные люди, не могли разминуться в Иркутске, встречались в обкоме, на активах, случалось, и за столом, бывали полезны друг другу.

Омулей Ардашевичу принесли в номер. Зажарил их ресторанный шеф-повар. Это стоило денег, конечно. Но соразмерять привычки, уклад и размах своей жизни

с листками авансовых отчетов Ардашевич не хотел. Он вел большое дело. Он знал это дело — от березовой вешки на изыскательской просеке до настроения в Госплане. Он был честен, Ардашевич; выслушивая упреки главбуха по возвращении в Ленинград, стискивал крепче челюсти...

— Генька! — крикнул Ардашевич вниз, в машинное отделение.

Генька появился чумазый, курносый и конопатый.

— Давай-ка попробуй хоть омулька.

— Спасибочка, — сказал Генька, — вы кушайте, надо еще клапана продуть...

— Ну ничего, успеешь ты продуть, постоим, если нужно. Иди-ка быстро, садись.

Генька, светлоглазый парнишка из ладожской деревни, был добродушен, да упрям.

...Главный инженер проекта Ардашевич и Сева Самовалов выбрались на палубу. Капитан Олег Перебойных в своей маленькой рубочке покручивал колесико-штурвал. Катер бежал во все свои лошадиные силы, и все же было заметно, что несет его шибкая, ярая, солнечно-бурая Ангара.

— Голубые дороги Сибири... — Капитан Перебойных усмехнулся.

Ардашевич ничего не сказал капитану. Он обратился к своему адъютанту Севе с неожиданным здесь деловым разговором.

— Вчера на активе, — сказал Ардашевич, — Кондрашов вдруг выступил в поддержку затопления без лесочистки. Он недавно вернулся из Москвы. По-видимому, там его обработали в министерстве. Накаряков идет сейчас напролом. У него, ты знаешь, крепкая поддержка. Сейчас наш главный козырь — это Даймышев. Я его понимаю, у него очень сложное положение. С одной стороны, нажимает министерство. А с другой — у него в прошлом Вогульская ГЭС. Ведь ты знаешь, как там случилось? Затопили леса, через некоторое время всплыли хлысты, у плотины в течение каких-нибудь суток вырос страшной силы затор. Даймышев мне рассказывал сам. Если бы плотину снесло, он бы застрелился. Так то Вогульская ГЭС. А здесь, представляешь, какой может получиться подпор? Ведь шлюзов нет, плотина глухая. Думаю, мы найдем общий язык с Даймышевым.

Приедем в Братск, я сразу же отправлюсь к нему. Нужно будет, по-видимому, составить подробнейшую, детально аргументированную докладную. Накаряков думает об одном: как пустить ГЭС и отпрапортовать. Мы для него просто досадная помеха... Ну ладно, посмотрим...

Капитан подивился стратегии главного инженера и стал думать о своей работе: конечно, не тот размах, но зато на Ладожском озере все облазил и по Ангаре как-нибудь не хуже других...

Так же внезапно возвратился Ардашевич к безмятежности. Пообещал:

— В Заярске мы, братцы, заедем к Ивану Фаддеевичу — это отец шофера нашего, Гошки. Он нам такую рыбалку закатит... Надо ведь таймешка собственного улова отведать. В позапрошлом году мы с Иваном Фаддеевичем выудили на двенадцать килограммов красавца. Иван Фаддеевич — великий мастер. Я еще на прошлой неделе звонил, с Гошкой договорился. Гошка предупредит своего папашу. Будет и бражка, и огурец малосольный, и черт те что еще. Очень хозяйственный мужик. Гошка весь в него удался.

Олег Перебойных к этому времени порядочно запьянел. Он вроде бы слушал главного инженера, а может быть, нет. Смотрел на ангарскую воду и видел только ее, как будто нет вовсе низкого левобережья с медленным дымом фабрик над черными трубами и правобережья тоже не видно. Он видел живую, подвижную воду. Форштевень «Ладоги» взрезывал ее надвое, катер будто лез в гору, к горизонту. Но горизонт оставался неизменно далек и высок. Только воду и горизонт видел Олег Перебойных. Нет берегов... Казалось капитану, что вовсе это не катер — огромный морской теплоход. «Луначарский»...

— Проблемы... — сказал Олег Перебойных и повторил: — Проблемы... — Подумал про себя: «Пьянею... Нужно держаться». — А что проблемы? — спросил Олег, не глядя ни на кого. — Вот мы ходили на «Луначарском» в Индонезию. Сошли на берег. Да? Ну, идем, осваиваем культурные ценности. Все чинно, так сказать, согласно международному кодексу благородства. А женщины там... Ну, знаете... Не женщины, а сплошной Гоген и Ван-Гог. У ребятшек челюсти поотваливались и вторая

сигнальная система работает с перегрузкой... Да. А вы говорите — проблемы... — «Ну, понесло, ну, хватит», — сказал себе Олег Перебойных.

Он правда был в Индонезии, но только единственный раз. Учился тогда в мореходке, попал в большое плавание впервые, и оказалось оно последним его большим плаванием. Нет, он не посрамил экипаж «Луначарского» и флаг страны. Просто слишком поразили его воображение мулатки. Потом уже, дома, он дружески выпил с помполитом «Луначарского». Однако училище ему пришлось оставить. Но передвигаться в своей жизни он хотел и мог только по голубым дорогам.

Большая ангарская вода вздымалась к высокому горизонту, Олег не хотел видеть ее берегов. Но нужно было следить за створными знаками...

— Ты с Эпикуром незнаком? — спросил Ардашевич. — Вы с ним примерно на одной позиции стоите.

Олег уже потрезвел от ангарского воздуха.

— Я хочу плавать, Иван Робертович, — сказал он. — Я моряк. Большое плавание не получилось. Ладно. Я буду плавать с Генькой по Ангаре. Перевозить индивидуальные контейнеры с коньяком. Ладно... — Олег Перебойных начинал злиться. Что-то ему не нравилось в главном инженере.

— Ого! — сказал Ардашевич. — Давайте обобществим коньяк, я согласен. Ну-ка, Севочка, распорядись.

— Генька! — крикнул Олег Перебойных. — Иди, выпьем с начальником.

— Спасибочка, — откликнулся Генька.

— Без Геньки я не буду, — Перебойных отодвинулся от коньяка. — ...Вот у нас пишут, что бабы во всем виноваты, — это капитан повел дальше свой разговор. — Дескать, ах, эти общественно вредные существа не дорожат своей честью и вообще мешают нам жить... Вон в Иркутске на главной улице я видал, портрет выставлен в сатирической газете. Девочка снята. Она мешает жить иркутянам. Ах, ах, бедные иркутяне! А ведь к ней, к этой дурочке, приди сейчас, скажи: «Вот, на тебе мою руку, крепко держись и верь мне». И доказать, что можно верить. Она же станет самым высокоморальным явлением. Ей же не надо больше ни черта, только бы надежную мужскую лапу... Ведь у нее был когда-то свой, первый мужик. Она верила в него, в первого. Тогда

она еще просто не умела не верить. Это потом ее научили...

— Что-то ты противоречишь себе, капитан, — сказал Ардашевич.

— А-а-а! — Перебойных махнул рукой. — Подержи штурвал. Пойду к Геньке. Без него вроде и катер чужой.

13

Неделю Варягин не приходил вечерами на кладбище: засиживался допоздна в конторе. Ардашевич приехал, пришлось проверять заново все планшеты и пикетажи. Днем Саша занимался срочной работой: ему поручили снять площадку под поселок Братского леспромхоза. В шесть утра Георгий отвозил варягинский отряд за четырнадцать километров на пологий угор, заросший березняком, хвойным подлеском, осинками да ольшаником. Меряли теодолитом углы, рубили просеки, вывешивали оси будущих улиц, на перекрестках загоняли в землю столбы.

В отряде работал, конечно, Толя Ладейщиков, верный варягинский друг и рубщик. Остальные рабочие были наняты вновь. Ни Саша, ни Толька не надевали накомарников, хотя мошка свирепела к полудню. Они говорили друг другу и, в особенности, новичкам:

— Ну, это что, вот в Ново-Полонове...

Саша очень спешил все эти дни. Куда, к чему он спешит, Саша не думал. Жизнь с приездом главного инженера ускорилась, что ли. В общем, переменялась, другая пошла жизнь.

Ардашевич был добродушен, ровен, одинаков в обращении с начальником экспедиции, Сашей или шофером Гошкой. Он обыгрывал в шахматы перворазрядника Борю Светловского. Бухгалтер Анатолий Изотович не садился с ним за преферанс, боясь убытка.

Главный инженер тотчас разглядел малейшие неувязки в Сашиних отчетных документах. Он отнесся к ним так, словно был соучастником, вместе с Варягиным делал промашки, а теперь нужно скорее все поправить. Глядел Ардашевич открыто, глаза у него ясные, даже как будто добрые. Но когда он наклонялся над планшетами и Саша видел его затылок, большой, гладкий, на-

чинала работать память, или воображение, или что-то еще... С такой ненавистью глядел Саша в затылок главному инженеру, так крепко стискивал кулаки, что Ардашевич оборачивался, приглашал к работе: «Александр Павлович, смотрите, здесь ведь подъем больше пятидесяти тысячных...» И снова сидели рядом два товарища по работе, доверчиво взглядывали друг на друга.

Много было работы, все срочно, неотложно: Братское море ближе день ото дня. Не мог, не успевал Варягин думать о главном инженере как о своем враге, сопернике.

Были недели работы, знойные, потные. Они кончались, эти недели, и Саша сразу про них забывал. Будто их не было вовсе, одни только вечера: ожидание, тревога, радость: идет девчонка, пришла.

14

...Съемку площадки закончили в неделю. Ехали с ветерком в Братск, стояли в кузове тесно, в обнимку, пели. Ветром обдавало, песню срывало прямо с губ, каждый пел для себя, не слышал, что там поют соседи. Ветер пахнул бензином, пылью, дымом, зноем полдня и дальней ангарской прохладой. Саша держался за Толькины плечи и чувствовал у себя на плечах руки друзей по работе, и знал, что сделано дело, и пел... Саша был совершенно счастлив. Он возвращался к верной и ждущей его девушке. Разве могла она не ждать? Варягину казалось, что он победитель.

В Братске поехали сразу на пляж, на Окушу. Здесь было жарко, но пусто: не пляжное время. Усталость рабочей недели под действием окушинских вод обращалась в телесную бодрость: тела у всех были крепки, поджары. Стоило только раздеться, сбросить кирзовые сапоги, портянки, комбинезоны, стоило только дорваться до этого полдня на пляже — все ощутили вдруг, что летом копилось не утомление — сила; надо скорее ее потратить... Варягин боролся с Толькой, но побороть не смог и сам не поддавался. Мячик забрали у ребятешек, стали в кружок... Купались взахлеб. Просто так стояли, подставляли себя большому солнцу.

Варягин первым оделся: спешил в редакцию, к Маше, сказать, что сегодня в десять будет там, где всегда.

Маша отстукивала на новой машинке «Рейнметалл» передовицу в номер под заголовком: «Твое рабочее место». Она кивнула Варягину, но стук не прекратила. Саша подошел близко, прочитал заголовок.

— Ты скоро? — спросил он.

— Редактор еще только одну страницу дал перепечатывать. Сидит, пишет.

— Про твое рабочее место?

Маша утвердительно, серьезно и даже печально покивала головой, не отрываясь от машинки...

— Приходи сегодня на наш уголок, — сказал Варягин.

Маша опять покивала.

Быстро, сутулясь от спешки, вышел из кабинета редактор, в черном костюме, хмурый, в очках, гладковолосый. Сунул листки на Машин столлик.

— Вот здесь, — сказал, — вставка, вот, а здесь начнете с абзаца. Вот это: «Следует всемерно бороться...» — и дальше, как здесь написано. Концовку я принесу.

Редактор зыркнул на Сашу из-под очков и скрылся за дверью.

Саша улыбался.

— Машенька, — сказал он и положил ей на плечи ладони.

— Не надо, — Маша передернула плечами, — редактор, наверно, уже дописал концовку.

Варягин убрал руки, отодвинулся.

— Ого! Ты всемерно борешься за чистоту своего рабочего места. Ты молодец. Тебе передовая пошла на пользу.

Саше было очень весело, легко. Редактора жаль: мужик молодой, а весь безнадежно поблек, брюками пол подметает. Девчонка что-то неласкова. Служба так действует, что ли? Все равно весело Варягину, руки в карманы запустил, улыбается...

— Машенька, — сказал он, — я пойду. Не буду осквернять твое рабочее место. Только не знаю, как мне дожить до десяти. Может, пораньше придешь? В девять?

Маша опять кивнула, все тюкала по клавишам «Рейнметалла».

— Ну ладно, пошел, только дай я тебя поцелую, сил нет до вечера терпеть. — Варягин шагнул к рабочему месту секретарши редакции, запрокинул ей голову и чмокнул в губы. Очень он был сегодня уверенный человек, победитель.

15

Шел седьмой час. Саша забежал в общежитие переодеться, а дальше не знал, что делать до девяти. Нужно было доложить начальнику экспедиции об окончании съемки, но идти заниматься делами не хотелось после пляжа и поцелуя возле редакторской двери. В общежитии тоже оставаться не стоило: ребята придут, разговоры, преферанс затеют... Саша решил сыграть в волейбол, направился к стадиону, тут как тут попался на встречу бухгалтер.

— К следователю на именины иду, — сказал он. — Тебя тоже приглашали, — ты неженатый, я им говорил, а у них дочка — невеста. У тебя образование и заработок, все же коэффициент один — шесть... И пьешь только в компании...

Дочка была белотелая — судя по вырезу уголком на сиреновом платье, — белокурая и смешливая, быстро взглядывала на всех, тотчас отворачивалась и прыскала поочередно в левое или в правое плечо.

— У вас борода своя? — спросила она у Саши. — Или это вы мочалку приклеили? — И прыснула в левое плечо.

— Да ты чой-то? — вмешалась мать. — Александру Павловичу нравится, вот они и запускают бороду.

Следователь уже подвыпил, в быстрых, таких, как у дочери, глазах его сияло всезнание и превосходство.

— Ну как же, — сказал он и подмигнул, продолжал, видно, прежде начатый разговор, — майор Тупицын на месте сидит. Знаю я майора Тупицына. Я их всех как облупленных знаю. Ну? — Следователь налил себе полстакана водки, добавил шампанского до краев. — Ну? — Он потянулся водочной бутылкой к Сашиному стакану.

Саше вдруг стало впервые за этот день как-то не по себе.

— Нет, — сказал он, — я только шампанское пью, больше ничего.

— А вот, пожалуйста, — хозяйка взялась за большую

бутылку. Бутылка была тяжела, но пуста. — Всю уже выдул? Да ты чой-то, следовательно? Может быть, пива, Александр Павлович? Знаете, как у нас с пивом. Настя в ларьке у почты оставила хозяину на именины. Все же хозяин у нас в городе заметная фигура... — Горделиво выговорила хозяйка это слово: «фигура».

«Нужно смываться», — подумал Саша.

— Нет, спасибо, — сказал он вслух, — я только шампанское признаю.

— А я сейчас сбегая к Леле в дежурку...

И побежала.

Анатолий Изотович уже вел разговор о рубке дерева слева и справа. Следовательно слушал его и как будто соглашался, но говорил в ответ невпопад.

— Конечно, — говорил следовательно, — нужно посылать в космос человека выдержанного, проверенного. Но ведь надо и риск в расчет принимать. Ну?..

— Людей отбою не будет, — согласился Анатолий Изотович. — Вот я, к примеру, первого года рождения. Скажут лететь — полечу. А как же? Я сам из Архангельской губернии родом... С детства в лесу...

«Надо смываться», — сказал еще раз себе Саша Ворягин.

Дочка заводила патефон, все меняла пластинки.

Хозяйка вернулась.

— Вы нас извините, Александр Павлович, — сказала она, — нету в дежурке шампанского ни грамма.

— Пожалуйста, — сказал Саша, — ради бога... Только извините, мне нужно идти. Мы сегодня закончили съемку площадки. Начальство меня дожидается. Простите. Честное слово, не могу.

— Ну конечно, — хозяйка обиделась, — конечно, у нас все по-простому. Мы люди простые — сибиряки. Вы привыкли к иному...

Очень вышла неловкая, никчемная минута на именинах у следователя: стульями громыхали, слова бормотали, стаканы звякали. Но и это тоже прошло. Саша сбежал по лестнице. И по тротуару бегом — дальше, прочь от дома следователя. Остановился, тряхнул головой, дохнул и услышал: «Валечка, режь! Ощетинились, мальчики!» Саша обрадовался этим словам, во весь дух припустил.

По пути заглянул в дежурку, к Леле. На полках у

Лели стояла рябина на коньяке да шампанское: красное, полусухое и сладкое.

— Дайте-ка мне вон ту, с серебряной головкой. Вот-вот. Красное...

На волейбольной площадке Саша кричал:

— На три паса! Ну, мальчики, взялись! Ощетинились!...

Сашина команда выиграла.

Сашу просили остаться, еще поиграть, но он накинул пиджак, тяжелый по правому борту — бутылка в кармане, — и быстро пошел по дороге прочь из поселка, к тайге.

16

Может быть, к этой рейке была прибита когда-то поперечная перекладина, а может, фотография была приделана. Теперь только гвозди торчат посредине рейки.

Саша привык за лето останавливаться именно здесь, возле этой могилки. Ему даже казалось, что он знает того человека, в память по ком поставлена рейка. Покойник представлялся Саше понятным, своим человеком, ровесником. Конечно же, он работал на изысканиях. Поэтому, наверно, и поставили над ним рейку: вроде как вешка стоит. Машина могла свалиться на каком-нибудь взвозе. Глина везде. Как размочит дождем... Может быть, на Братской ГЭС в котлован оборвался... Мог и подраться. Парень он был заводной, длиннорукий, морда худая, скулы все обтянуло и подбородок торчком. А улыбался он по-доброму. Голубоглазый. Да, конечно, техник он был. Геодезист.

Саша приветствовал издали рейку. Подымал руку, говорил: «Ну, привет, старикан!», или: «Здорово!», или просто и деловито: «Здравствуй!» Один раз он даже принес на кладбище букет саранки. Ехали с Гошкой из Ново-Полонова. Тот знал все полянки с цветами. Набрал букет — Гале своей. Саша тоже привез цветы. Когда шел с ними вечером знакомым путем, конечно, не думал о рейке и парне, но, увидев тонконогий, нелепый памятник человеку, он сказал: «Здравствуй, парень!» — и рассыпал свой букет по голой глиняной кочке. Саранка засохла к утру, так и осталась лежать — будылья, ботва, длинные, вялые стебли.

...В девять Маша не пришла. До десяти Варягин ждал ее спокойно. Лошади всхрапывали и стучали в землю передними спутанными ногами. Саша знал, что это лошади, но всякий раз озибался в надежде, и потом надо было сидеть, остывать, отдуваться.

«Ее задержал редактор, — думал Саша. — Она придет. Придет». Он бубнил вполголоса, обращаясь к ровеснику:

— Вот так-то, братец, все сидим. Вот так-то. Вот так-то.. — Эти бессмысленные словечки уводили его далеко от ровесника и от этого вечера. Они отдавались гулко, кроме них ничего в голове... Пустота. — Вот так-то.

В одиннадцать Саша сидел все там же, на травке. Слова все позабылись, только стрекот какой-то в левом виске и сердце заболело. И тревога: что-нибудь с ней случилось. В половине двенадцатого Саша достал из кармана бутылку, ободрал с нее серебряную бумажку и проволочную оплетку. Посреди тишины, черноты и мерцания белых крестов это было, наверное, странно — хлопнувший выстрел пробки. Но Саша не слышал, не видел, не чувствовал тьмы и покоя ночной, кладбищенской жизни...

Он потянулся бутылкой и стукнул стекляшкой по рейке.

— Ребятки, — сказал Саша пришедшее в голову слово, — ребята! — Отпил сколько мог и встал. — Ничего... ничего, ничего...

Медленно, шаркая, пошел Саша Варягин прочь с кладбища в поселок.

17

«Я ей поверил, — думал Саша, — м-м-м! — Он мычал, и тряс головой, и стискивал зубы. — Я не хочу, — говорил он себе. — Мне не нужен обман, грязь, нечестность... Я ведь ее люблю. М-м-м... Как быть? Неужели нельзя отбросить прошлое? Ух, как я ненавижу!»

Он пошел быстрее, тверже, произнес вслух:

— Ну ладно.

Поднял камень.

Так и шел, нес булыжник в одеревенелой руке.

...Окошко у Ардашевича светилось. Саша открыл ка-

литку, тихонько миновал дворик и заглянул. Ардашевич улыбался. Бумаги грудкой были сдвинуты на край стола. Против Ардашевича сидела Дарья Аркадьевна. Экономист. Дочку свою, Светлану, высокую, серьезную девочку с темной косой, Дарья Аркадьевна отправила вчера в Ленинград: в школу пора, в седьмой класс. Мужа у Дарьи Аркадьевны нет.

Говорил Ардашевич, рука его двигалась в помощь словам внушительно, сильно и как бы утомленно. На столе стояла бутылка и разная снедь.

— Он мне понравился, капитан катера, — говорил Ардашевич. — В нем есть достоинство и гордость. Он все на меня таким ретивым индючком поглядывал. В Заярске у нас с ним вышел крупный обмен мнениями. Он наотрез отказался везти нас с дедом на рыбалку. Я вам, говорит, не гондольер. Ну, настаивать я не стал: бог с тобой. Причем, понимаешь, она ведь не натуральная, эта гордость, вычитана вся в современных повестушках. Я вот летел из Москвы, купил во Внукове такую книжонку, даже не взглянул на название, сунул в карман, думал, надо же что-то почитать в стратосфере. А потом раскрыл, гляжу — «Все впереди» называется. Ну, знаете, это чтение не для меня. Даже обозлился немного. Какого черта, думаю, людям голову морочат: «Все впереди»? А сегодняшний день, вот эту, нашу с тобой жизнь, что же, прикажешь сбрасывать со счетов? Отказываться от элементарного, причем заработанного давным-давно комфорта?

Дарья Аркадьевна смотрела на Ардашевича, лицо у нее было напряженное, робкое, что ли. И улыбка. Она кивала главному инженеру.

Саша набрал сколько мог воздуха,дохнул с наслаждением. «Ее здесь нет, — подумал он. — Нет и не могло быть...» Запрокинул лицо и долго стоял так с камнем в стиснутом кулаке.

Опять заглянул в окошко. Ардашевич разливал коньяк. Саша увидел его руки. Одна обхватила горлышко бутылки, другая держала стакан. Большие, неторопливые, чистые руки. Они двигались заученно, точно. «Умеет, — подумал Саша. — Научился... И ей вот так же наливал...»

Отступил от окна, быстро пошел по улице, неся камень.

— Сиди, сиди, — говорил он и шепелявил от ненависти. — Досидишься! Коньячку захотелось... Ведь за все отвечать придется. За все расплачиваться нужно. За все! — Он говорил это окошку Ардашевича, сидящей там Дарье Аркадьевне, но думал о себе. — За все нужно расплачиваться. Ничто хорошее не дается в жизни так просто, даром...

И вдруг пришла мысль, простая, наивная даже: «Разве нужно платить за любовь?»

Все объяснения, все слова о расплате, все натужное, придуманное вдруг исчезло.

— Разве нужно платить за любовь? — громко сказал Саша в потемках, посреди города Братска. Опять повернулся к дому Ардашевича.

Окошко в доме сквозило оранжевым светом, жило в потемках отдельно, само по себе.

— Так, значит, комфорт? — сказал Саша этому окошку. — Комфарту тебе захотелось? — Он повернулся, медленно пошел к оранжевому свету, поднялся на крыльцо и стукнул в дверь камнем.

Открыл Ардашевич. Он хотел пропустить Сашу впереди себя, сказал по-домашнему тихо, неудивленно:

— Заходи, Саша.

Варягин качнулся и мутно повел глазами, будто пьян. Так, ему казалось, проще.

— Мы в штабе экспедиции тебя ждали, — сказал Ардашевич, — ну а потом поняли, что сегодня тебе уже не до дел. Завтра поедем принимать площадку. Заходи.

Поддаться домашнему голосу Ардашевича, войти в его дом Саша не хотел. Он знал, что нужно ему сделать сейчас. Уже тогда, ночью, в леспромхозовском доме, после разговора с Семой Баулиным, техником, он думал о том, как придет к главному инженеру и скажет ему... А что скажет? Как он ударит его своей тяжелой и грубой рукой рубщика. Он думал об этом все лето. Он слышал, ему говорили друзья и так, любопытные люди: «Маша Круглова пришла девчонкой. После Ардашевича вон что с ней случилось. По рукам пошла».

Там, над ангарским откосом, подле неласковой, смуглой, будто зачерствевшей девчонки Саша думал, как жестоко он рассчитается с главным инженером. Она подняла тогда руку, ладсшка у нее острая, большого пальца

нет. Откачнулась от изгороди, услышав фамилию Ардашевича... Стала чужой.

— Думаешь, тебе позволено все, да? — выговорил, кривя губы, Варягин. Он сильно качнулся. Так легче. Так можно даже и ударить Ардашевича. Увидел близко лицо главного инженера, темную, глубокую морщину от носа к подбородку. Старое лицо, спокойное и большое. — Думаешь, позволено, да?

Ардашевич потянулся к дверной ручке, притворил дверь, сам остался стоять на крыльце, близко к Саше. Нагнулся к нему, будто хотел разглядеть, опознать.

— Ты что это так набрался? — спросил он доверительным голосом. — Может, все-таки зайдешь?

— Ты думаешь, тебе все позволено? — на этот раз Саша говорил тихо, потому что ненависть его кончилась.

— Далеко, брат, не все. — Ардашевич будто пожаловался Саше.

Варягин теперь не качался. Он тосковал. Добродушный человек стоял на крыльце, главный инженер. Его нельзя было ударить, стыдно. Стыдно было Варягину, сам себе казался жалким, зачем полез со своим камнем в чужой вечер, в чужое окошко?

— Ну, ты давай тут кирай, — сказал Саша, как мог замутил глаза и закачался. — Мы еще с тобой посчитаемся...

Кто это «мы» — Саша не знал, но так безнаказаннее и смелее было сказать: «Мы».

Он спустился с крыльца, стукнул калиткой. Добрался до полной тьмы, только там пошел тише. Очень нужны были Варягину потемки. Ему хотелось потеряться, исчезнуть, ничем не выдать себя. Он все шел, шел, легонько ступал, чтобы не было звука. Скверно было ему.

Хождение это было бесцельно, и улицы все равно какие. Уже близко к утру он выбрал себе нужную дорогу и повернул в известный переулок, к речке. К избе, в которой живет Маша Круглова.

После десятого класса Маша Круглова жила двойной жизнью. Может быть, это началось еще раньше, в девятом или в восьмом. Она вдруг поняла, что не похожа

на сверстниц, и жизнь у нее будет не такая, как у них. Какая будет у нее жизнь — Маша еще не знала, подолгу стала разглядывать себя в зеркале. В классе девчонки звали ее Кармен. Завидовали, наверно. Маша засматривалась в свои черные глаза, запускала пальцы в жесткие космы, взбивала их, сдвигала на лоб и щеки, казалась себе жутко красивой, роковой женщиной. Кармен... Своим знакомым, а их становилось все больше, народу прибывало в Братске, она говорила о себе: «Я выросла в цыганском таборе».

Она купила клипсы и колечко с блестящим камешком. Сшила платье, декольте вырезала, как в журнале нарисовано. Прочитала роман Мопассана «Жизнь» и еще роман Ремарка «Три товарища».

Это словно отдалило Машу от ее обыденной жизни, от избы на берегу Окуши, от матери Ефросиньи Кругловой.

Мать провела всю жизнь у русской печки, в стайке за коровой ходила, мужу, Ивану Круглову, бражку варила на Первое мая, пельмени морозила к Новому году.

Иван служил в милиции конюхом. Ночами рыбачил. Мотор купили — еще больше втянулся Иван в эту рыбалку. Пил редко, но иногда злился без причины и мог, под руку, больно прибить.

Маша, нет, не Маша — Марина, возвращалась домой со службы, с танцев, стучала каблучками по тротуарным доскам, научилась покачивать бедрами, глазами поводила — самая лучшая в Братске, Кармен. Открывала калитку, Руслан звякал навстречу ей колечком по проволоке. Двор был большой, огорожен высоко и глухо. Она подымалась на крыльцо, уже не стучала каблучками, уже не Марина — Маша. Отец курил по ночам, а если и не курил, Маша знала, он не спит. Она притворяла за собой дверь, и сразу будто отзывались пружины отцовской кровати. Они скрипели протяжно, с угрозой. Маша чувствовала вражду к этой скрипучей постели, к русской печке, нелепо огромной, вполизбы, к незрячим оконцам, укутанным ставнями...

Подружки шептали Маше, расширив зрачки: «Ой, знаешь, дядя Иван и тетя Фрося тебе никто. Они тебя так, в дочки взяли». Это было давно, в детстве. Маша плакала тогда и спрашивала дома. Мать говорила ей: «Да ты что это, дочка? Нашла кому верить. Ты же у нас

единственное дите. Утешеньишко ты наше. Не верь ты и забудь. Мало ли ково тебе наметет это мелево».

Отец говорил: «Ну, будет. У тебя метрика есть. Документа зря не выдадут». Он доставал из комода шкатулку. В ней хранился план дома, облигации займов, вырезка из газеты «Знамя коммунизма», там описано, как конюх Иван Круглов выудил в Оке тайменя на четырнадцать килограммов двести граммов. И еще свидетельство о рождении: Круглова Мария Ивановна, родилась в 1938 году, 4 мая...

Когда Маша пришла из больницы с перебинтованной, узкой левой ладошкой, бледная, взрослая, она подолгу тихо лежала у себя в углу, за цветной хламидой — занавеской. Мать иногда приходила к ней, сидела в ногах, делилась своей заботой: пора Липу вести к быку, как бы яловой не осталась, огурцы нынче пошли в пустоцвет, соседский зять Колька-шофер, пьяный, грозился Руслана застрелить...

Один раз Маша спросила у матери: «Это правда, мама, что все говорят про меня, будто я сирота?» Спросила без слез.

Ефросинья говорила долго, будто не для дочки, для себя вспоминала: «...Елизавета Прокофьевна, мать-то твоя, я ее, правда, в лицо не видела, Иван говорил, худенькая такая женщина. Двух месяцев после родов не прожила. Так и не вставала. Отец твой, имя у него не наше было, Светозар ли, что ли, как-то так. Он с Иваном видался. «Ты ей, говорил, про нас не давай намека. Пусть она у вас растет как родная...» Он болел сильно. Ты-то здесь выросла, вроде как сибирячка. А им с непривычки тяжело было. Ну и... Дожить бы им, теперь под реабилитацию попали».

Двойной жизнью жила Маша Круглова, Марина. Вставала она раненько, еще пастух не трубил. Выходила во двор и улыбалась. Все радовалась. Молоденькая еще совсем. Чистила стайку. Корова дышала ей в лицо тепло и дружески. Маша гладила корову по ребристому боку и приговаривала: «Ли-ипушка, тебе хорошо-о, ты в поле пойдешь».

Ближе к вечеру Маша начинала мечтать. «Мне все равно, — думала она. — Я выше плебейской жизни. Во мне аристократическая кровь». Маша придумала для себя отца и мать и мечтала о них. Они были прекрасны,

не походили ни на одного братского жителя. Представить себе ясно, увидеть их лица и одежду Маша не могла, потому что нигде, кроме Братска, еще не бывала.

Когда приехал в экспедицию, где работала Маша, главный инженер Ардашевич, он показался ей недосыгаемо великим человеком. У него было благородное и мужественное лицо, густая шевелюра с сединой и перстень на безымянном пальце. Никогда бы Маша не решилась сама заговорить с ним. Таких людей она не встречала в Братске. Она смотрела на главного инженера и думала о своем отце. Да, конечно, он был такой же высокий, еще не старей, а уже седой.

Однажды она засиделась в конторе, печатала для Ардашевича сводный отчет. Во всем комбинатском доме не осталось уже ни души. Часу в десятом вдруг зашел Ардашевич, до отчета даже не дотронулся, хотя с утра торопил. Сказал: «Ты еще стучишь, Машенька? Не ужинала, поди? Я тоже с этим отчетом совсем замотался. Давай-ка мы с тобой перекусим. У меня как раз помидоры есть. И таймешек копченый. Помоги-ка мне ужин сварганить. Кофейку заварим...»

Главный инженер говорил с ней так приветливо и просто, словно он ей отец.

...Сидеть в комнате Ардашевича было немножко жутко вначале, а потом стало легко. Хорошо было слушать его уверенные речи и прихлебывать шампанское. Был он очень большой человек, Ардашевич. Совсем не великий. Простой и добрый. «У меня был папа похож на вас, Иван Робертович, — сказала она Ардашевичу. — А мама у меня была известная польская киноактриса».

...Маша бежала в эту ночь домой по гулким братским тротуарам и ликовала. Она ничего-ничего не позволила Ардашевичу. «За ним в Москве, наверно, красавицы бегают, а мне хоть бы что».

Полтора месяца пробыл Ардашевич тем летом в Братске. Маша еще приходила к нему. Ей было плевать на бабьи наговоры. «Пусть пошипят. Я выше этого». Домой она возвращалась поздно, отец перестал разговаривать с ней, а мать, Ефросинья, вздыхала.

Ардашевич улетел, и вскоре начальник экспедиции отдал приказ об увольнении Кругловой. «Так будет лучше для тебя, — сказал он. — И для коллектива тоже.

У нас огромный объем работ в этом сезоне. Я не допущу в экспедиции разных сплетен!»

Некуда стало уходить по утрам. Прежде ей всегда сладко спалось за цветной занавеской. Теперь она лежала ночью в самом надежном на свете месте, в своем углу, но чувство защищенности уже не приходило к ней, она не поджимала колени к подбородку и не улыбалась от счастливых предчувствий.

На танцы Маша не ходила. По вечерам, чтоб не ложиться подольше, она помогала матери щипать перья на перину. Разговорчивой стала. Отца провожала до моторки, канистру с бензином таскала. Даже попросилась однажды: «Возьми меня порыбачить». Необычайно приветливой стала Маша. Готова была говорить с любым, задобрить, что ли, хотела, только бы одной не остаться, только бы видеть: вот рядом свой человек, без подвоха.

Однажды ей повстречался на улице Сева Самовалов, адъютант Ардашевича. Видела Маша плохо, издали не узнала, а то бы свернула. Он как будто обрадовался ей: «Здравствуй, Маринка. Где же ты запропала? Тут Сема Баулин приехал, про тебя спрашивал. А я и сам толком не знаю. Как ты живешь-то? Не работаешь? Может быть, тебе помочь устроиться?..»

Это он привел ее в редакцию «Знамени коммунизма». Ответственный секретарь был ему приятель. Держался Сева уверенно. Спокойно-благожелательный, большой человек. Совсем как Ардашевич.

Вместе с ним Маше было легко. Маша иногда взглядывала на Севу быстро и вопрошающе. Сева улыбался ей, было видно — человек все понял как надо, все хорошо. Они будто оба участвовали в бессловесном и грешном заговоре.

Однажды они зашли в чей-то дом. Сева достал ключ и отпер дверь. Все вышло будто случайно. Только озираясь Сева, опасался.

В комнате были составлены в угол треноги, валялись нивелирные трубки, пустые чекушки, на столе — последки пиршества, на стенке распяты цивильные пиджачки, галстуки брошены на раскладушку.

Маша встряхивала кудлатыми своими волосами, чтобы слетело скорее это детство, эта провинция. Ей было

стыдно, ей было противно и страшно. Но хуже всего, ей казалось, если Сева поймет ее страх, ее детство...

Уходили они из комнаты порознь. Сева сказал, что ему еще нужно остаться.

Через две недели его вызвали в институт, и он улетел из Братска.

...Маша отстукивала на машинке передовицы, отрывки из повестей приносили в редакцию проезжие люди, свидания назначали, дарили плитки шоколада, рисовали смешные картинки на листках редакционной бумаги, читали стихи, и надо было высказывать мнение о стихах, и она научилась этому.

Домой она теперь возвращалась всегда за полночь. Утром старалась уйти пораньше. В стайку вовсе не заходила. Отдавала матери две трети зарплаты. На все домашние разговоры она отвечала крохотными словами: «А... Пусть. Ну и что же?..» Или совсем не отвечала.

Только иногда, наедине, нужно было встряхивать головой и саму себя убеждать: «Пусть!» Да еще вопрос жужжал в голове: «Что же делать, что же делать?»

...Когда Саша Варягин сидел с ней на пригорке, и плечо ее все умещалось в его руке, когда они смотрели на плавающий огонь в Ангаре, она словно возвращалась в свое давнее-давнее. В ту пору, когда можно было выйти поутру на крылечко и улыбнуться солнцу, псу Руслану, воробьям на крыше...

Саша не сказал ей ни разу: «Я тебя люблю», а если сказал бы, она, наверное, засмеялась бы или съежилась, потому что ее любовь началась в чужой комнате, чужие галстуки висели на раскладушке, соглядатаи-окна были всевидящи и ехидны. Она приходила на пригорок, чтобы отдохнуть около Саши от своей греховности там, внизу, в городе. На пригорке она становилась застенчивее раз от разу. Варягин брал Машину руку, и это волновало ее больше, чем первые их объятия у пылающей лиственницы...

Когда приехал в Братск Ардашевич, Маша ходила к нему под окошко, но там была сметчица Дарья.

Сева Самовалов встретил Машу, будто вчера расстались, он не забыл ее, обрадовался, а ведь целый год не видал... Он чмокнул ее в щеку прямо на улице, сказал: «До чего же ты похорошела, Маринка...»

Саша Варягин рубил где-то там свою дурацкую тайгу.

Маша тряхнула головой и сказала себе: «Пусть».

19

К дому на берегу Окуши Варягин подходил за ночь несколько раз. Дом был срублен на славу — пятистенный, за глухим забором, окошки ставенками прихлопнуты. «В таких теремках еще ясачные людишки жили», — сказал однажды Варягин Маше. «Как жили, так и живут», — ответила она.

Пес Руслан таял на Сашины шаги, вылезал наполовину из-под забора, но, узнав, возвращался обратно, позевывал вслух.

Встретился Саше адъютант Ардашевича Сева Самовалов. Саша как раз направлялся к дому Кругловых, на берег. Сева шел навстречу. Миновали друг друга молча. Стало совсем плохо, тяжело Варягину ходить по ночному Братску после встречи с адъютантом главного инженера.

Рано, едва рассвело, он снова пришел к избе над Окушей. Повернул кольцо, и калитка, крохотная лазейка в гладкой стенке ворот, растворилась. Двор был просторен, проволока с угла на угол протянута — собаке бегать, стеречь. Крыльцо в пять ступеней — широкие, выскобленные добела плахи.

Едва Саша поднялся на крылечко, как вышел из дому мужчина в домодельной рубахе на одну застежку, в резиновых литых сапогах с завернутыми голенищами. Он не удивился Саше, не поздоровался, едва поглядел на него и сказал:

— Какая теперь пахота? Вчерась приплавились с Мокрого Лугу, а там — кого? Только и было — по-над Окой пахать. Теперь считай, что затопят, пойма-то вся под море уйдет. Да что там!.. — Мужчина плюнул и замолчал.

— Да, — согласился Саша. — Мокрый Луг кончился. Амба! Маша дома, вы не знаете?

— А... я не знаю. Никого их нету, что ли? Иван-то рыбачить уплыл с вечера, Фрося встретить пошла. Мотор-то ему одному не унести. И девка с ней, что ли... Мы-то сами с Мокрого Лугу.

Саша сбежал к речке. Навстречу шли люди: мужчина похож на того, что с Мокрого Луга, женщина — крепкой, дородной стати, Маша едва поспевает за ними. На плече у мужчины мотор «Москва», женщина тащит большую кошелку, прикрытую сверху ольхой, у Маши канистра, тяжелая, видно с бензином. Маша кажется маленькой, бледной рядом с хозяйски степенными людьми, на ней жесткий большой макинтош, она семенит, лицо с кулачок, по плечам, не прибраны, цыганские космы.

Руслан бежит сбоку, морда в землю, не глядит, при хозьевах...

Хозяева прошли мимо Варягина, Маша глянула быстро, не прямо и тотчас отвернулась.

— Я тебя тут подожду, — сказал ей Варягин.

Она еще больше понурила голову, будто кивнула.

Пришла через полчаса. Опять глядела мимо и не сказала ни слова. Стоять вдвоем против большой избы на угоре с прозревшими поутру оконцами было неловко. Саша молча и быстро пошел по мокрой траве, вдоль Окуши. Он не оборачивался, но знал точно, что девчонка тоже идет.

Так и шли они. Казалось со стороны: большой бородатый мужик вовсе не знает о семяющей следом тоненькой девчонке, спешит, своим чем-то занят, а ей боязно одной остаться.

Далеко ушли. По песку шагали, по завалам древесного хлама, по гальке. Саша обернулся. Изба высоко поставлена над Окушей, видно ее. Оконца словно скосились, следят зорко, с ухмылочкой.

Варягин остановился. Маша стала поодаль, принялась ковырять носком парусиновой тапочки галечник. Пристально глядела на эту свою работу.

— Ну вот и пришли, — сказал Саша. — Хватит.

Она не подняла глаз.

— Иди, — сказал Саша, — уходи. — Он заглянул ей в глаза: а вдруг еще что-нибудь объяснится? Вдруг?..

Она глядела себе на носок.

— Ну что ты стоишь? — сказал Саша. — Иди! — говорил он грубо, прятал за грубостью свою надежду, свою боязнь. Он боялся остаться один. Ведь совсем один. Кто ему ближе этой патлатой цыганочки? Машеньки... Сейчас она уйдет. Варягин подумал о друге Тольке Ладей-

щикове. Но это не помогло ему. Нет, не годился здесь Толька.

Маша повернулась молча, пошла. Рукава в макинтоше были подвернуты и все же болтались, длинные. Лишь розовые кончики пальцев выглядывали наружу. Лодыжки белеют внизу. Ступала она неверно и торопливо.

Варягин глядел на нее, и все становилось мало-помалу чужим, как будто враждебным: речка в голых, обгрызенных берегах, осклизлые чурки в ошметках коры, белесое, низкое небо, избы, жидкий ивняк по овражку, и девчонка, совсем чужая, завернута в грубую парусину, шагает, торопится прочь. Он знал, что можно ее догнать, поворотить к себе, даже обнять можно. Побежал было. Но остановился. Он бегал все лето. Осень уже. Чего ж теперь бегать?

Девчонка ушла, маленькая, потерянная, что с ней случилось? Состарилась, что ли, за лето? Поздно за ней бежать.

— Вот так вот, — сказал себе Саша. И пошел прочь с берега, в гору, в Братск.

20

Варягин попросил начальника экспедиции перевести его из Братска в Тургуй, в дальнюю таежную партию. Начальник согласился: не часто просились техники в тайгу. О причинах не стал расспрашивать. Только сказал:

— Ты вот что... В Падуне давно не был?

— С начала сезона.

— Ты съезди. Походи по стройке. Приглядишься и подумай. Это очень полезно, я по себе знаю.

...Вместе с Варягиным поехал Толька Ладейщиков, друг, работяга. Он как раз купил в Братске костюм, серый, брюки широковаты. Обузил их сам, отгладил. Даже смущался немного, до того стал красив.

С автобуса пошли прямо по Енисейской. Улица широка в новом городе, дома — соснового бруса, в три этажа. Живые сосны. Белые цистерны расставлены вдоль сосновой опушки: молоко. Падунцы подходят к цистернам, пропустят стакан молока — и дальше.

Попался навстречу мужчина, плечи покатые,

тяжелые, икры едва поместились в голенищах сапог. Спечка в машинном масле — нараспашку.

— На, держи, — сказал мужчина Саше и протянул толстопалую лапу, будто спасательный конец каната, будто нужно Сашу спасти, тонет парень. Пальцы у мужчины едва согнулись, тесно им в пятерне, тиснули Сашину руку.

— Что-то я тебя не видал, — сказал мужчина. — Работать устроился? Если надо, поможем.

— Ха-ха-ха! — Тольке смешно. — Он тебя сам еще лучше устроит. — Толька с каждым на «ты». Все свои ребята.

— Он меня, я его — без этого Братскую ГЭС не построишь, — мужчина пошел себе дальше — видно, на смену пора.

— Пойдем в кино, — сказал Толька. — Чего без толку деньги швырять? Там «Война и мир» идет, не видал?

— Нет, не видал.

— Пойдем, все равно делать нечего.

— У меня тут друг работает, нужно его найти.

— Повесь объявление: «Друга ищу». Ха-ха-ха...

Я в кино. Ты как хочешь.

Толька пошел, свернул в Дом культуры. Глазеть на привычное дело, на стройку, ему не хотелось. Куда интереснее в кино.

Саша спустился по дороге к Ангаре. Вода остро светлела издали. Забрался на эстакаду. Глянул вблизи на Ангару. Вода летела, валилась, будто со снежных высот, била в бетонные мысы. Ребра мысов вспарывали тяжелую реку, пластали ее на зеленые, гибкие плахи. Река рокотала и выла, вбегая в студеное жерло. Эстакада дрожала...

— Ага! — громко крикнул Саша. — Ага! — Перекричать реку он не мог, и это было хорошо, весело.

Он перебежал по эстакаде через рельсы бетоновозной трассы, к нижнему бьефу. Вода после прыжка кружила тут пьяно и пенно. По эстакаде полз громадина кран. Саша задрал голову, но разглядеть крановщика в поднебесной будочке не смог. Девчонки в цветных косынках и спортивных брюках хихикнули на Сашину бороду:

— Дяденька, приходите к нам на сварку, мы вас вмиг опалим.

На Ангару девчонки не глядят, идут по эстакаде, словно это для них перекинут мосточек над речкой.

Саша улыбнулся девчонкам. Застеснялся своей бороды. Он ее запускать бережно и любовно в тайге, а здесь, на юру, на высоком, открытом месте, где трудятся крапы — макушками в небо, где красивые девчонки смелы и остры на язык, где Ангару покорили, Саше вдруг в первый раз захотелось содрать бороденку, поднять голенький подбородок к солнцу, пусть он скорей запечется.

«Пора мне, пора!» — вдруг подумал Саша, идя по бетоновозной эстакаде Братской ГЭС. Куда пора — Саша не знал точно, но от этих слов ему становилось лучше.

Он опять глядел на ангарскую воду вниз, подымал лицо к застекленной, взблескивающей на солнце будке крана. Он видел небо и слышал дальний гул Падунских порогов. Дыбились скалы по берегам. Медлительно, с достоинством поводили шеями экскаваторы. Перфораторная дробь сыпала в котловане. Пыхали фейерверки сварки. Вздрагивал высокий мост над Ангарой от взнузданной мощи стихий...

«Хватит! — сказал себе Саша Варягин. — Пора!»

...Друга своего Тольку Ладейщикова он встретил под вечер в столовой.

— Я знал, где тебя искать, — сказал Толька. — Я тебе рябчика взял. Ха-ха-ха! Хоть раз в жизни начальника рябчиком покормить... Может, при расчете дождевые припишет... Как подсоловыш дождевые требовал... Ха-ха-ха... Друга-то ты нашел?

— Нашел.

— Ну, рубай, а то остынет... Ты где весь день-то был?

— Да в разных местах. Понимаешь? Я сделал очень важное для себя открытие.

Толька поглядел серьезно и с любопытством.

— Я сегодня понял, что здорово вырос в последнее время. Понимаешь? Длиннее стал...

— Ха-ха-ха! — Тут уж Тольку совсем прорвало. — Длиннее стал... Ну, дает начальник. У нас же лента мерная есть, взял бы дома померялся. Ха-ха-ха... Зачем было ехать в Падун? Я хоть кино посмотрел...

Саша посмеялся вместе с другом.

— Да нет, понимаешь, — сказал он, — мне последнее время начало казаться, что небеса ниже стали. Низкие

небеса — и все тут... А сегодня я понял, что все это ерунда. Небеса как были, так и остались. Просто я сам подрос. Понимаешь? Это очень важно для меня.

— Ну давай, — сказал Толька, — рубай рябчика, еще подрастешь на сантиметр.

21

Провожать Варягина на пароход Толька не пришел. Саша и не звал его, потому что — зачем же звать? Сам ведь должен... Работали вместе. Друзья.

Саше хотелось, чтобы лучший рубщик в экспедиции, красивый, в новом костюме, Толька Ладейщиков проводил бы его на пристань. Можно бы даже выпить с ним, и уплывать было бы легко. Гораздо легче уплывать, если на берегу остался свой человек, стоит, глядит на тебя, а потом уйдет, чтобы жить дальше на этом месте. Немножко жалко его, а все равно хорошо: раз есть тут родная душа — значит, можно еще раз причалить. Или письмо написать.

«У него и души-то, наверное, нет, — подумал про Тольку Саша Варягин. — Ему жить — все равно что елки рубить. Он веселый, а черствый. Волчонок».

Может быть, думать так о Тольке было и несправедливо, но Саша уезжал в одиночку. Казался ему такой отъезд посреди равнодушного к нему будня большим поражением.

О Тольке он, в общем, думал недолго. Он сказал себе несколько раз в день отъезда: «Надо остаться. Бросить все, прийти к ней, у нас может все хорошо получиться». Он говорил так, но слова эти не побуждали его не только к действию, но даже к шагу или жесту. Это были старые, давешние слова, а то, как ему теперь жить, Варягин не знал. Ему хотелось жить разумно, свободно и чисто, на уровне наивысших достижений современности. Он уезжал в дальний леспромхоз, но это был временный план. Очень хотелось Саше стать под горячий душ и стоять там долго-долго, чтобы горячая вода смыла с него воспоминания и вину, чтобы потом надеть белую рубашку, галстук повязать и выйти в каменный город двадцатого века. И еще хорошо бы в университет поступить.

Саша чувствовал свою вину, и боролся с ней, и

знал — переборет, только надо еще поработать в тайге, а потом уже ехать в город, готовиться к университету. Он чувствовал также и свою правоту. А Маша Круглова останется здесь. На что же ей понадеяться?..

Варягин радовался своему отъезду, но также и подозревал себя в бегстве. Ему очень был нужен Толька или еще кто-нибудь. Чтобы не одному уезжать, не в одиночку.

Но Толька с утра надел свой новый костюм, пошел себе, руки в карманы. Даже и попрощаться забыл.

Саша вызвал с катера Геньку, тот радостно, громко приветствовал его:

— Здра-авствуйте! Я слышал, вы уезжать собрались, да? А мы на той неделе в Иркутск. Вы бы на моей койке в каюте могли если что, я все равно с дизелями буду... Поехали-те с нами...

Саша увел Геньку за склад и там тихо с ним разговаривал. Генька с усердной готовностью кивал ему и обещал: «Ага! Ладно! Я ее дождусь, если что...»

Проводить Сашу приехал бухгалтер Анатолий Изотович. Он купил в пароходном буфете два кренделя и десяток яиц, донес все это до Сашиной каюты. «Что ты, — сказал, — еще как пригодится в дороге». И сошел на берег. Помахал немного.

Варягин остался стоять на палубе, крепко держался за поручень-леер.

Он думал о Маше и о своей жизни серьезно, напрягал волю, чтобы думать об этом...

Пароход на прощанье крепко прижался кормой к дебаркадеру, так что хрустнули доски, нос отвалил, и пошел разворачиваться город Братск, выставлять поодиночке напоказ свои серые избы.

Саша крепко стоял на палубе парохода и сжимал в кулаках леер. А берег уходил чужим, как будто и не работал Варягин на этом берегу, и не было ни любовного счастья, ни утренней ясности жизни, ни прорубленных трасс. Пароход близко, борт в борт, прошел мимо экспедиционного катера «Ладога». Катер был пуст. Саша двинулся вдоль борта, перебирая руками леер. Ему не хотелось расставаться так быстро с «Ладогой». Пароход был невелик, леер вскоре повернул вправо: корма.

Варягин спустился в буфет. Под самым буфетным окошком частили по воде плицы большого колеса. По-

брякивала посуда, и машина внутри парохода стучала мосластыми шатунами в пол.

Саша сидел за столиком, ему хотелось совсем притихнуть, жить отдельно от растущего увеселения людей. С реки донесся какой-то новый звук. Варягин повернулся к окошку. Возле парового колеса шел катер «Ладогога». Капитан Перебойных крутил штурвал. Генька стоял на палубе.

Варягин пролил пиво, так быстро вскочил. Хлопнул лбом в притолоку низкой дверки. Рассиялся, свесился к «Ладогоге».

Генька ему доложил:

— Алекса-андр Павлович! Я к ней зашел на работу, а она на машинке печатает, — срочное, говорит...

Веселые пассажиры оставили на время буфет, чтобы поглядеть на катер. Саша прыгнул на палубу «Ладогоги» через леер.

Если бы он остался на пароходе, то, наверное, заплакал бы. Ребята катер пригнали... Ребята...

Варягин прыгнул на палубу «Ладогоги», и Генька сказал ему:

— Мы пароход всегда догоним, а если хотите, завтра с нами поехали-те.

3



О ЧЕМ СВИСТНУЛ СКВОРЕЦ

Весной у меня было плохое настроение. Что тому причиной — я не стану рассказывать. Человеку нельзя зависеть от тех или иных причин. Человек должен знать свою цель и каждый день хоть что-нибудь, хоть немного делать такого, чтобы самому к цели приближаться или цель приближать к себе. Тогда у него не может быть плохого настроения.

И еще очень важно не разделить свое чувство на несколько частей. Если уж полюбил, допустим, одну девушку, то нельзя отвлекаться никуда. Может вдруг захотеться, чтобы у девушки, которую ты полюбил, оказались такие качества, которых у нее нет, которые есть у других, тоже знакомых девушек. Лучше это желание сразу позабыть.

Вот я полюбил одну девушку очень сильно еще в восьмом классе. А другая девушка, тоже из нашего класса, знает наизусть шестую главу «Евгения Онегина». Она прочитала ее нам вслух, когда мы ездили большой компанией кататься на лыжах в Ушково. У нас был ключ от дачи, Витька Фоломов взял, у его родителей там дача. Мы всадили ключ в скважину, повернули, да так, что он сломался.

Уставшие все такие были, промокшие. Хотели в окошке стекло вынуть, замазку отколупали, но постеснялись в последний момент. Нехорошо все-таки: Витькины родители дом построили, а мы испортим. Я хоть тоже замазку колупал, но первым сказал, что не надо.

В общем, залезли в баньку, битком, двое на тазу уместились, четверо ноги свесили в котел, кто на полке, кто на ведрах. . . Печку истопили, съели, что взято было, сидим, благодать. И вдруг она нам шестую главу. . . Кое-кто хихикать начал, а потом все утихомирились, серьезные стали и задумчивые. Как она прочитала эти строчки:

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок. . .

Если бы в классе или со сцены на вечере, так ничего особенного нет, а здесь сугроб на дыбы встал чуть не во все окошко, мы сидим, ноги поджали, и будто никаких родителей у нас нет, вольные люди, ватага. . .

Никогда бы раньше мне и в голову не пришло, что можно столько стихов наизусть знать. Я даже подумал, может быть в первый раз, о смерти: а что, если вдруг? И еще о храбрости. Как-то странно все повернулось, необычайно. И хорошо.

С той девушкой, которую я полюбил в восьмом классе, мы потом не раз ездили на лыжах. У нее крепление свалилось, она дулась на меня, что я плохо приладил. А мне хотелось, чтобы она прочла наизусть шестую главу «Евгения Онегина». Но она ничего не знала наизусть, я думал о той девушке, которая знает, и мне было вовсе не стыдно, что я так плохо привинтил крепления.

А настроение у меня все равно портилось, потому что от моего единственного чувства, от моей большой любви словно отломили кусочек, и теперь это не целая любовь.

Надо хозяином быть своему настроению. Иначе никак.

Если я, допустим, живу в каком-нибудь месте, нужно это место полюбить. А если еще другие места понравятся, надо все взвесить и сделать выбор. Чтобы не разламывать свою любовь на куски.

Я вот люблю жить в деревне. Где-нибудь на берегу реки. Одно лето мне повезло на Свири пожить у знакомого моему отцу человека. В этой реке еще водится настоящая рыба форель. Я бы купил себе байдарку и плавал бы от Ладожского озера до Онежского. У меня были бы всегда крепкие мускулы на руках и на плечевом поясе. А ноги бы я мог развивать велосипедом или пробегал бы

каждый день три тысячи шагов. Работать бы я устроился в леспромхоз, или в колхозе бы выучился на тракториста, или егерем...

Я живу пока что в городе на Подковыровой улице, но как только кончу школу и смогу заработать денег, я сразу же заведу сберкнижку и, как скопится триста рублей, начну потихонечку строить дом на реке Свири.

Можно бы купить готовый дом, но я так не хочу. Я сам буду строить. Конечно, под руководством настоящих плотников, но сам.

Каждый человек должен построить дом, воспитать ребенка и посадить дерево. Это есть такая индийская мудрость. Одно дерево я уже посадил около дачи Витьки Фоломова в Ушкове. Я не знаю точно, что это за дерево. Мне хотелось посадить рябину, но уже осень была и все до листика облетело с деревьев, а по стволу или по веткам рябину не отличишь от ольхи. Я выбрал одно маленькое деревцо, потому что под ним на земле валялся высохший весь, как рыбий скелетик, рябиновый лист. Могло его откуда угодно с настоящей рябины занести, а это вовсе и не рябина...

Но больше ничего подходящего я не нашел, выкопал деревцо, а вернее прутик, вместе с мохом и брусничником, быстренько его притащил к даче и там посадил. Никто, даже Витька, не знает об этом. Листья еще не выкинулись, и я не знаю: прижилось дерево, не прижилось? Мне больше негде его было посадить. Я поехал в Ушково под вечер, никто меня не видал.

Думаю, прижилось. Только хорошо бы — рябина, а не ольха. Правда, полить я не смог, потому что ведра не было, но дня через два пошел длинный октябрьский дождь.

Так что дерево одно посажено.

А когда я построю дом, кто знает, как сложатся дела, может быть, жить мне на Свири не придется, но все равно будет дом. Одним домом больше на земле. Жилья для людей прибавится.

Но все же настроение у меня никак не могло наладиться в марте, хотя я и приехал на каникулы к Витьке Фоломову на дачу. Витька тоже собирался жить на даче, мы много разговаривали с ним о том, как будем систематически тренироваться на лыжах, каждый день проходить по десять километров, а потом как выступим

на районных соревнованиях и возьмем призовые места, — кто еще так тренировался, как мы? Договорились мы съехать со Лба — там есть такая отвесная горка, с нее только один человек за зиму съехал, по следу видать, да и тот внизу растянулся.

Еще мы собрались как следует заняться музыкой, потому что у Витькиных родителей на даче есть пианино. Витька знает ноты, я, правда, не знаю, он бы мне показал, и мы бы вполне могли за неделю выучить песню «Хотят ли русские войны?». Мы купили песенник, где есть и слова и ноты.

Хотели мы к тому же и денюжат заработать. Это вполне можно было сделать, потому что как раз лед заготавливали на заливе. Работа тяжелая, мужская. А ведь все мужчины или на производстве, или по учреждениям. Ту-неядцы не станут пятипудовые ледяные чушки из залива выковыривать. А мы тут как тут.

Деньги, заработанные на заготовке льда, я собирался израсходовать не на себя, а для подарков. Первым делом мне обязательно нужно купить фиников моей бабушке. Ей уже восемьдесят шесть лет, а я ни разу ее ничем не побаловал. Сколько раз она меня выручала. «Родненький, — скажет, — на тебе рубль, больше-то у меня самой нету, а ты ведь теперь у нас уже совсем взрослый...»

Витька Фоломов приехал со мной к себе на дачу, мы с ним начали жить, как намечали. Со Лба, правда, решили съехать в самом конце каникул. Намазали лыжи пятым номером мази, эта мазь для мороза, а уже и марту конец. Первый номер нужен. Нет первого номера. Не взяли.

Десяти километров не прошли при таком плохом скольжении, вернулись на дачу, а там холодно. На улице солнце, но ведь сколько времени ему надо греть, чтобы стены и крышу разморозить.

— Ты плиту затопляй, — сказал мне Витька, — а я поеду в город, куплю там первого номера и, может быть, у стариков проигрыватель уведу, а пластинки у Нельки есть, завтра все приедем и устроим пляс.

Но никто не приехал, и я жил один все каникулы. Самое трудное для меня было вставание с постели. Под одеялом я мог надышать себе сколько угодно тепла, лишь бы голову не высовывать. Но разрушить это тепло

и ступить босыми ногами из блаженства прямо в муку и ад ледяного пола мне никак было не решиться. Я чувствовал в себе тихую покорность и все лежал, цепенел и слушал часы. Мое время уходило от меня, а вместе с ним и моя цель, все дальше, все дальше, и мне казалось, что я — вот, уже умер. Если не физической смертью, то моральной.

К двенадцати часам пополудни мне так становилось плохо лежать на кровати, что хуже быть не могло, и я опускал ноги на пол. Оставаться в неподвижности с босыми ногами на полу я не мог ни секунды, начинал действовать, одеваться и бранить себя наихудшими словами, то есть я оживал. Я клялся себе, что завтра встану в семь тридцать. Я бегал на лыжах, обтирал тело снегом, топил плиту и в третьем часу уже мог припевать песенку «Хотят ли русские войны?».

Но все же настроение у меня не могло установиться.

На книжной полке я взял у родителей Витьки Фоломова книгу «А. С. Пушкин» и решил выучить не только шестую главу, а всего «Евгения Онегина» наизусть. Я читал, читал, но запомнить ничего не мог, потому что за окном была весна, а в даче — как в погребе.

Я оставлял Пушкина на столе и выходил наружу, на солнышко. Я шел по насту, жмурил глаза и подставлял солнцу ладонки и выпрастывал шею из воротника, чтобы больше открыть для солнца моего голого тела.

Но оставаться на солнце подолгу я не мог. Бабке на финики, ясно было, уже не заработать. Со Лба все не хотелось ехать. Неизвестно, что с тем человеком, который съехал со Лба. На откосе его лыжный след есть, а внизу оборвался. Пешком он, что ли, ушел, на лыжи обиделся, или же его унесли санитары?

В плохом своем, неуверенном настроении я взялся делать скворечник. Пусть хоть одним скворечником будет больше, хоть для скворцов жилья прибавится.

Пилу-двухручку и зазубренный интеллигентский топор — родители у Витьки интеллигенты, и у меня тоже интеллигенты — я отыскал в баньке. Две доски отодрал от террасы, окошки там забили с осени от воров, а я в воров вообще не хочу верить, и потом на дворе весна, скоро лето. Гвозди повытаскивал клещами из кухонной стены. Стена без гвоздей глаже, опрятнее на вид.

Скворечник сладился легко и ловко, я стучал да стучал обушком по черенку кухонного ножа, как по стамеске. Получилась дверца — лазейка в птичье жилье. Выстругал палочку-насест, нашипил ее на гвоздь пониже дверцы. . .

Очень мне понравился мой скворечник, и я даже забыл про финики, и про бабу, и про то, что я не построил дом и не воспитал человека.

Но все равно, все равно я чувствовал свою вину, свою неправильную жизнь, свои поздние вставания с кровати, которых теперь ничем не наверстать. Да мало ли что еще? Я поддался своему плохому настроению и покрыл скворечник крышей козырьком вниз.

Все скворечники, которые я повидал, — козырьками кверху, как парни — душа нараспашку. Но такие парни известны больше по кинофильму «Большая жизнь», а теперь надвигают козырьки на брови.

Плохое у меня было настроение, хотя я его поправил немного работой над скворечником. Но все же поддался себе, стены стесал поверху так, что крыша легла полого, наклонно к передней стенке. И оттого выражение лица сделалось у скворечника насупленное и скрытное, только замка не хватает, будто почтовый ящик висит на двери.

«Хоть один мрачный скворец да найдется», — убеждал я себя и горько усмехался при этом. Не мог себя пересилить. Повесил скворечник на тополе и уехал к себе на Подковырову улицу.

А когда, я так подумал, пора быть скворцам, потому что все встречные девушки на улице и в трамваях стали красивее в полтора раза, чем были зимой, я поехал в Ушково. Витькины родители уже раздели терраску, она поблескивала после зимы непрозрачно и черно, как новые боты. Заходить на усадьбу я не стал, мне было все видно из-за сосенки.

Скворцы быстренько налетели. Трое скворцов. Они искали себе жилища почему-то втроем. Один сел на покату крышу моего скворечника, другой остался на палочке-насесте, а третий сунул клюв в лаз и сам туда прыгнул. Он долгое время не появлялся, а двое, что остались снаружи, все вертели головками, похаживали, совали клювы в щелки и как бы делились между собой мнением о скворечнике. Тот скворец, что обследовал

внутренность дома, наконец показал из дверцы белый клюв, и двое его сотрудников по приемочной бригаде замерли, стали ждать, что он скажет. Он поднял клюв к небу и поглядел. Но увидеть небо не смог, потому что его заслонил козырек крыши. Тогда он поглядел на землю и сразу выпорхнул из скворечника.

Я дожидался скворцовского суда над своей работой, очень сильно переживал и чувствовал страх и тоску, ведь скворцам здесь жить, белоклювым, гладкобоким птахам. Они хотят хорошо жить, чтобы, чуть глянул на волю, тут тебе и небо. А неба-то не видать...

— Ну поживите, — шептал я. — Конечно, я не так сделал. Ну простите меня. Только не улетайте... — Я не подумал ни о каком мрачном скворце. Не может быть он мрачным.

Главный скворец посидел, посидел, да и свистнул. Длинно свистнул, презрительно, как человек. Дескать, пошли, ребята. Тут несерьезное дело. Только время потратили.

И унеслись три скворца. Как не бывало. А я остался. И скворечник на тополе. Птицам нужен был дом для быстрой, певчей, пернатой жизни. Мой скворечник им не сгодился.

СТО РОЯЛЕЙ

Иван Емельянович Кораблев, начальник цеха по производству роялей, после встречи Нового года и после длинного гостеванья на первое января, второго проснулся с докучной нерадостной мыслью.

Он был немолод, лет сорока семи, и чувал в себе тугую тяжесть прожитых годов. Он прожил долгое время, его долгота состояла в работе — с железом, с медью, с латунью, и с деревяшкой, и с чугуном. Все время было железным, чугунным. Оно зудело в ногах и в спине, как басовые струны в рояле.

Начальник цеха лежал после Нового года в постели и думал о профессоре консерватории Сосновском. Двадцать лет Кораблев проработал в рояльном цехе. Он был фрезеровщиком, столяром седьмого разряда, модельщиком тоже был и начальником БРИЗа. И с прошлого года — начальником цеха. Как помнил себя Кораблев, профессор Сосновский являлся всегда на приемку роялей — очкастый, здоровый мужчина. Он был председатель приемочной тройки.

Профессор грузно и прочно садился к роялю, лупил по клавиатуре большими руками, и весь рояль наполнялся обиженным, грозным ревом. Сосновский давил на педаль, и лупил, и шпынял, и склонялся над белым оскалом рояля. Казалось, сейчас он надавит тяжелой грудью, локтями, плечами — рояль надорвет себе связки от рева и вовсе помрет.

Но Сосновский вдруг отталкивался руками от клавишей и задирал подбородок кверху, и только один мизин-

чик шустрил по правому краю, по дискантам. Верхние ноты журчали, как будто синички. Профессор склонился ухом и слушал. Потом воцарялся на стуле прямо и каменно твердо, вздымал указательный палец, как молоток, и ударял им по каждой клавише, и рояль ошалело выкал...

Во время приемки начальник цеха стоял поодаль, и каждый вскрик инструмента мучил его. Он ненавидел дюжую спину Сосновского и клешневатые его лапы. Белые кости рояльных клавиш и струны, ревущие от тычков, — все это было живое тело, родимое чадо Ивана Емельяновича. Он чувствовал боль от профессорских экзекуций. Он слышал в рояльном реве голос ожившего организма — он создал его из мертвой железки, медяшки, фанеры, латуни, кости, пластмассы и чугуна. Он его породил...

Но то, что слышал в рояле профессор — высшую математику гамм и аккордов, интегралы искусства, — Иван Емельянович слышать не мог. Он знал, что не мог, и молчал. Профессорский суд был для него непререкаем.

...Наутро второго января начальник цеха думал о производственном плане — ста роялях в год. План был остоном, мерой жизни для Кораблева. Похмелье и нездоровье — все это Иван Емельянович мог пересилить, унять. Он не стал бы страдать и кряхтеть после Нового года, а встал бы, засунул пустые бутылки в сетку, сходил к окошку за гастрономом и сдал. И выпил бы пива, потерся в жужжащей и дружеской толчее у ларька. И пиво было бы поверху теплым, а ближе к донцу — холодным. Все боли бы отлетели, и можно бы похвастаться перед соседом, как трудно вытягивать план, как весь декабрь штурмовали...

Но план был выполнен только на девяносто девять процентов. Сосновский не принял последний рояль... Иван Емельянович застонал, чтобы слышно стало жене и жена пришла бы к нему. Он сказал бы тогда жене, что сердце — не шутка, что надо проверить его, что когда проверяли на военной комиссии в сорок девятом году, уже и тогда давление было сто шестьдесят на девяносто. Он сказал бы жене, что теперешняя работа ему вконец расшатает нервы, что работа вся — нервотрепка, что он не лечил свой радикулит с самой финской войны и едва ли ему дотянуть до пенсии...

Но жена не откликнулась, значит, ушла в магазин.

Кораблев свесил ноги с постели. Он думал, насколько теперь поднялось у него, в сравнении с сорок девятым годом, давление крови, что надо поехать в Цхалтубо и там посидеть хорошенько в лечебной воде. Он думал о раке, гипертонии, стенокардии и об инфаркте. . . «А кому же еще и болеть, как не мне? — разговаривал сам с собой Кораблев. — Две войны, всю блокаду прошел, и работа такая нервная. И тем — хоть рассыпся, а выдай план, и этих нельзя обидеть. Инфаркт от расстройства бывает. Расстроишься сильно — и хватит. Да плюс к тому еще климат гнилой. Гипертония, наверное, и так уже заработана. И стенокардия. . .»

Он стал вспоминать еще и другие болезни и прикладывать их к себе, примерять. И все болезни казались впору, такая простудная вышла жизнь. Кораблев сидел на кровати в исподнем и старался себя пожалеть, но жалость не наступала; позабыться и оправдаться болезнью было нельзя. Профессор Сосновский не подписал последний приемочный акт. Девяносто девять роялей отправлены были заказчикам, а сотый остался висеть на начальнике цеха. . .

Другие два члена приемочной тройки готовы были принять. Иван Емельянович видел: они садились к роялю, и головы их тряслись от усердия, так сильно они ударили по клавишам. Широко разгоняли в стороны руки, потом сводили их вместе. Руки были похожи на галочки крылья. . .

Два члена комиссии говорили профессору, Иван Емельянович слышал, что можно принять, что пиано звучит хорошо, что разве только форте выходит несколько глухо, и то почти незаметно. Профессор слушал своих коллег по комиссии и наклонял к ним ухо, и даже снимал очки, как будто так ему было слышнее. Когда они кончили говорить, профессор вдруг вскрикнул: «Крецендо!» И подшагнул вплотную к коллегам, стал боком в боксерскую стойку и произнес:

— Крецендо не может глухо звучать! Крецендо должно быть органным, баховским! Только одно крецендо нас вынесет к небесам! Нам оторваться нужно, взлететь! Восторгу нам не хватает, чтобы подняться.

— Ярослав Станиславович, — сказал тогда Кораблев профессору, — вы подпишите приемочный актик, а мы

наладим рояль. Дотянем. Еще время есть. И крещендо подгоним, и все будет в лучшем виде. Мастера у нас, вы же знаете, лучше их вряд ли где есть...

Это было еще за декаду до Нового года. И три последних рояля из ста мерцали матовым глянцем. Иван Емельянович вытянул цех из прорыва. Цех выполнил план. Кораблев уже думал о премии, прогрессивке. Он заготовил слова для победного рапорта...

Начальник приемочной тройки профессор Сосновский сказал ему:

— Ваши рояли способны производить музыку. Они хороши. И даже прекрасны. И мастерам вашим нет цены. Я вас понимаю, Иван Емельянович. Вы честный и преданный своему делу человек. Вы сделали все, что могли. И наша придирка ничтожна в сравнении с вашей работой. Ведь вся загвоздка в микронной, неуловимой доле не звука даже, оттенка звука. Можно бы этим и пренебречь во имя вашего плана. Пренебрегаем же мы материальными величинами. Целые дома принимаем с трещинами на стенах. И ничего. Ведь живем. И радуемся. В жизни всяко бывает, Иван Емельянович. Но согласитесь, жизнь не может быть вся измерена только цифрами плана. Ведь мы с вами занимаемся редкостным делом. Мы производим духовную ценность в ее абсолютном обилии! Гармония — вот наш продукт!

Иван Емельянович слушал профессора и понимал уже, что акт останется неподписанным, и скучал...

Два рояля профессор все-таки принял, один решили оставить до тридцать первого декабря.

Сразу после приемки Иван Емельянович вызвал к себе бригадира сборщиков Миханкова и настройщика роялей Лоренца. Он сказал, что последний рояль не чистый по звуку, что премия может сгореть и сгорит прогрессивка, если к Новому году не дотянуть.

— Кровь из носу, а нужно сделать! — сказал Кораблев.

— Разве раму чуток угнуть... — подумал вслух бригадир. — Бывает, глушит, глушит, а в раме угол изменишь, как будто горло прополоснул.

Настройщик роялей Лоренц, высокий мужчина в песочно-лиловом костюме, в крахмальной манишке, костистый, желтоволосый эстонец, был выглажен весь, отутю-

жен, казалось, даже скрипел. И кожа была лиловой на лице у настройщика.

— Неладно как-то выходит, Эдуард Юрьевич, — сказал ему Кораблев. — Я этих тонкостей всех не знаю, в консерватории не учился... На мне производство и люди... А вы же могли уловить до приемки... Сказали бы: так и так, крещендо глушит...

Настройщик стоял высоко над начальником цеха, был весь лиловый и строгий, с квадратными, темными стеклами вместо глаз.

— Ф нашем рояле то — это всекта то, а ля-бемоль — это ля-бемоль, — сказал настройщик. — Мошно нерфы натякифать челофеку, и челофек будет шить и шить. А струны если натякифать польше, чем мошно, струны лопнут. Не тот металл... Токта нато пило не сто роялей, пять роялей телать в кот, чтобы вышел высокий класс...

— У нас рояли неплохие, — сказал Кораблев. — Вон румыны прислали заявку, и скандинавы интересуются... В общем, нужно будет сотый рояль досдать. Чтобы кровь из носу, а к Новому году вытянуть план.

— Токта пило лучше... — начал фразу настройщик, но не закончил и повернулся идти.

...Тридцать первого декабря день был рабочим наполовину. Все покуривали и поглядывали в глаза друг дружке и видели в них непременно и близость наибольшей в году, законной, всеобщей гулянки. И улыбались, мягчили лицом. Все ждали приемочную тройку, и это тоже было причиной, чтобы не слишком стараться пилить, точить, паять, шоркать и шабрить...

Тройка явилась за полчаса. Начальник цеха уже истомился ее дожидаться. И бригадир Миханков. И лиловый настройщик Лоренц. И слесари и столяры потянулись поближе послушать работу профессоров.

Сосновский сел за рояль и взял аккорды мощного, полного звука. Это были Чайковский, Шопен... Иван Емельянович слушал, и звуки, казалось ему, валяются, рушатся, словно стены. В грохоте чудились фальшь и подвох. Становилось больно сердцу от слишком громкой, обломной этой музыки. Хотелось скорее уйти от нее, сесть в трамвай и приехать домой, стать к столу, шинковать огурцы и вареную свеклу для праздничного стола.

Великая музыка была для Ивана Емельяновича несущим в себе опасность производственным шумом. Он слушал Чайковского и Шопена, как механик слушает мотор на испытательном стенде. Он не мог отделить наполнившую цех музыку от медяшки, железа и древесины, от Лоренца, Миханкова, металлостов и столяров — от своей работы. Он ненавидел профессорскую дюжую спину, и кургузые взмахи профессорских рук неприятны были ему. Он отвергал заведомо все придирки профессора. И знал, что отвергнуть нельзя ничего. И нету слов, чтобы спорить.

Иван Емельянович выслушал все, что исторг из рояля профессор, и с болью в сердце, кося от недоброго чувства глазом и дрожа левым веком, подошел к нему, чтобы принять приговор.

Профессор Сосновский встал от рояля, развел руками и сказал Кораблеву:

— Нет, нет, Иван Емельянович, я не возьму себе на душу этот грех. Звуковые возможности в этом рояле не выявлены до предела. Чего-то здесь еще нет. Он — как петушок молодой: горластый, а песенку нотка в нотку с матерым кочетом ему еще не вытянуть. Нужно его натаскать, подучить, голос ему поставить... Давайте не будем спешить... А то ведь придется с нечистой совестью Новый год встречать. А музыки хватит, Иван Емельянович! Мы с вами столько уже ее выпустили в свет — танцуй хоть до двухтысячного года...

Кораблев не улыбнулся профессору и не поспорил с ним, а поспешил распротиться.

Вскоре затем наступило и новогоднее гостеванье.

Наутро второго января Иван Емельянович Кораблев посидел на постели; переболел с новой силой все боли минувшей декады, поднялся, разыскал по квартире пустые бутылки, сложил их в авоську и вышел на улицу, на мороз. На улице сразу ему полегчало, потому что такие же люди, как он, несли пустые бутылки на сдачу. Весь город теперь просыпался и выходил из квартир на волю, как на всеобщий бульвар. Небосклон наморожен был, нарумянен. Снег пополам с песком скрипел под ногой. И каждый несущий бутылки глядел в лицо своему собрату, соседу по городу, с глубоким участием, с добротой.

Бутылки несли в основном мужчины, а женщины попадались навстречу с кефиром, с картошкой, хлебом и малыми свертками колбасы — для семьи, для дальнейшей жизни. Они подымали глаза навстречу идущим сдавать бутылки своим и чужим муженькам, глядели строго и с укоризной. Муженьки все вышли на улицу продлить свой праздник. Для женщин праздник был кончен, они исполняли работу.

И тем дороже был для мужчин их сговор, мужчины жались друг к дружке. Поодиночке им было не совладать с наступающей трезвенной женской верховной правдой.

Приемщица молча гребла бутылки и уносила их в темноту, и выносила оттуда рубли и медяшки. Сдающие люди топтались и балагурили сколько могли. Плечистая старая женщина в валенках и калошах, с лоснящимся от душевного здоровья лицом, с крепким, как пятка, подбородком говорила известные всем аксиомы:

— И чего в ней находят доброго? И пьют, и пьют... И сами мучаются, и жены, и дети... Хотя бы совсем ее запретили.

Никто не перечил старухе, и никто не соглашался с ней, потому что старухины аксиомы обыденны были, давно пережиты... Щипался мороз. Приемщица молча брала бутылки и выдавала малую мзду.

Иван Емельянович слушал старуху и думал, что верно, пускай бы ее запретили. И в цехе работать было бы проще. И в городе с хулиганством бы можно покончить. Иван Емельянович был готов согласиться с запретом, с сухим законом. Но не сегодня, не сразу после Нового года.

Приемщица вышла наружу из темноты — нерадостная женщина, пальто ее взгорбилось на спине, потому что поддета была телогрейка. Она прихлопнула ставню на окошке, и в самом стуке сказала обида женщины на свою участь: должно быть, она была вдовой. Приемщица обратила лицо куда-то вверх, к окнам пятого этажа стоящего против дома, и неожиданно закричала:

— Закрыто на перерыв. Не видите, что ли? И так целый день на ногах... На обед закрыто!

Очередь постояла еще, как была, и с тихим гудением голосов распалась.

Иван Емельянович подождал, пока стронется с места

стоявший перед ним в очереди негр, и пошел, не выпуская негра из глаз. Он чувствовал как бы ответственность перед иноплеменцем за порядки в своей стране. К нему в цех приходили алжирцы, румыны, и турки, и шведы. Директор его наставлял: «Смотри, Кораблев! Чтобы все было на уровне высших международных стандартов! Держись как полпред СССР!» И Кораблев выходил навстречу туркам и шведам и приглашал их к рядам разверстых рояльных туш. Зарубежные гости исполнены были почтительного внимания к словам начальника цеха. Он был серьезен, скромен, приветлив и сведущ — полпред великой державы. Он высоко держал марку советской фирмы. Он был государственный человек.

Иван Емельянович сблизился с негром, потрогал его за рукав и сказал:

— На Климовом переулке принимают посуду. Там перерыв с двух до трех... Вот на этом трамвае нужно ехать: раз остановка и два остановка... — Он показал негру на пальцах, сколько нужно ехать ему на трамвае: раз и два.

Негр поглядел на Кораблева. Сферические, глянцевые негритянские глаза были темным-темны; морозность, снежность и праздная толчея на улице не вызывали в них отзвука.

— На Климовом переулке... Там примут... Там перерыв с двух до трех... — еще раз сказал Кораблев.

Он сел в трамвай. Там ехали семьи с детьми, курсанты военных училищ, студенты, молодожены. Все были трезвы, веселы, спешили в кино, на каток и на елку. Иван Емельянович прятал бутылки от этих достойных людей. Ему было совестно, плохо. Он вышел на Климовом переулке и сразу увидел незапертый пункт по приемке посуды и кинулся прямо к нему.

Он брякнул бутылки о прилавок. Внутри за прилавком виднелся спокойный и толстый мужчина в белой для гигиены, уже пожелтевшей тужурке, надетой на ватник. Он невнимательно, свысока оглядел и как-то не сразу, не вдруг произнес:

— Мы только черные принимаем.

— Как черные? — вскрикнул Иван Емельянович. — Здесь, чай, не Африка, все же Россия...

— Наш магазин не торгует водкой, — сказал приемщик посуды, — только шампанское продаем и вино.

— Да что вам тут, делать нечего? А ты для чего поставлен, как дед-мороз?..

Приемщик посуды приблизился туловищем к Ивану Емельяновичу и сказал ему:

— Видишь, я тоже так думаю, у них ничего с этим делом не выйдет. Без водки торговля ихняя прогорит... Но — белые не берем. Такое распоряжение. Ты вон туда, за угол давай. Там ларек, там берут. Там всю посуду берут.

Иван Емельянович сгреб свою сетку и с яростью, с болью в сердце пошел, не видя домов и людей. Он прикрыл свою ярость напухшими веками, глаза его закосили. Новый проспект выводил его от фабричных оград, от отечных и стареньких послевоенных строений, от чудом себя сохранивших кленов и лип, от котлованов будущих жилмассивов — в устроенный многооконный и крупнопанельный город. Тут гуще валило людей. Ларек был закрыт на обед.

Кораблев пересек проспект. Он долго шел по панели, достиг моста через черную зимнюю речку. На середине моста Кораблев повернулся грудью к перилам, приподнял авоську и вытряхнул в реку свое добро. Прохожие остановились взглянуть на сердитого человека, на чудака. Бутылки утянуло под ржавый ледок. Прохожие усмехнулись и разошлись, ничего не сказав.

Иван Емельянович скорой, решительной походкой пустился дальше в глубь города, в скопище равновеликих и одноцветных домов. Он шел мимо детских площадок, облитых водицей горок, качелей, гигантских шагов, доставал блокнотик, листал, читал номера и названия улиц. Наконец углубился в искомый подъезд.

Подымался по лестнице щупким, нешустрым шагом. Перед выбранной дверью он постоял, успокоил дыхание. Тогда надавил на звонок. Услышал скорое шлепанье туфель за дверью...

Профессор Сысновский предстал перед ним в зеленых байковых брюках, в линялой ковбойке — короткошейей, большоголовой, носастый, лобастый, с подвижной силой в мужичьих плечах. Он улыбался.

— Проходи, Иван Емельянович, — сказал профессор так, будто Кораблев был ему соседом и сердечным

дружком. Он помог Кораблеву войти, и приобнял его, и принял его пальто, и сразу провел на кухню.

— Жена моя Шура, — приговаривал он при этом, — пошла собаку прогуливать, пойнтер у меня, подружейный пес, медалист... А нам еще без нее и лучше. Нам женщин не нужно. У нас с тобой свой разговор. У женщин свое. Они нас с тобой не поймут. Ты хорошо, что пришел. Ты обиделся на меня, я знаю. Сейчас мы выпьем с тобой. У меня грибки — таких ты нигде не найдешь... Я сам их мариную...

Иван Емельянович слушал и примечал: на кухне у профессора пол был выстелен линолеумом в зеленых разводах, на стенах висели добротные сколоченные из фанерованных досок полки, поддонье раковины тоже забрано было такими досками; стоял холодильник «Ока». На другой стороне прихожей, на чистой профессорской половине, Иван Емельянович разглядел просторное зало, беккеровское пианино с медными канделябрами. Везде развешаны были картины: собаки, зайцы, рыбы и рысаки.

— У меня здесь свояк живет, на Лизы Чайкиной, — сказал Кораблев. — Я к нему заходил спроведать, мимо вашего дома шел, Ярослав Станиславович, и вспомнил, вы адрес давали, думаю, дай зайду, с Новым годом поздравлю. А то тридцать первого декабря с делами этими закрутились...

— Да, да, да, — сказал профессор Сосновский, — любить друг друга мы разучились совсем. Любить — ведь это тоже работа, Иван Емельянович, а нам все некогда. Текучка нас заедает. Сейчас картошка вмиг поджарится, и мы не будем себя томить...

И правда, картошка явилась на сковороде. Она была маслена и румяна. Профессор был не ленив, хлебосол. Он шлепал от холодильника до стола. И приседал, добывал какие-то стопки, колбаски. Вываливал из большого жбана в тарелку грибы. Все было вкусно, всего было вдоволь на профессорской кухне.

Иван Емельянович солодел, становилось ему утешно. И главное, не было женского глаза, надзору. Бутылка вся запотела от стужи. Вся жизнь представлялась удобной, устроенной до конца.

«Живут же люди, — думал Иван Емельянович. — Умеют».

— А что, Ярослав Станиславович, — сказал он, чувствуя, как растет в нем любовь к профессору, — полки эти вам на заказ делали, или где продаются такие?

Профессор остановился в своем вращенье по кухне, посунулся к Кораблеву, навис над ним. Кораблев был некрупен и сух, а Сосновский кряжист.

— Это я сам все сделал, — сказал Сосновский. — Ведь мы с тобой столяры, маляры, Иван Емельянович. Мастеровые мы люди. Трудяги. Художники мы с тобой. Вот эти руки нас кормят. . . — Он протянул и показал Кораблеву свои широкие кисти, напряженные пальцы. — Мы с тобой — мужики! Мы жизнь начинаем. Зачинатели мы. Нам руки нужны мастеровитые и царь в голове. Царя нам нужно в башке своей выращивать! — вскрикнул профессор Сосновский и постучал кулаком в свой вместительный череп. — Без царя в башке такого наломать можно — и щепок не соберешь.

Он сел к столу против Ивана Емельяновича и налил по стопкам водку. И вовсе сделалось хорошо Кораблеву, как редко ему бывало. Все полнее он отдавался чувству свободы — от своих вседневных хлопот, от семьи и от производства.

— Нашу работу нельзя равнять, Ярослав Станиславович, — сказал он с почтением, но также и с достоинством. — Вы артист, а я производственник. У вас талант плюс образование. А я приехал в тридцатом году из Подпорожья — у нас район осиновой чуркой богат да еще от картошки брюхат. . . В фабзавуче откормился немножко, слесарить стал по четвертому разряду. Тут как раз финская кампания. До контузии довоевался и еще радикулит получил. На фабрике мне путевку дали в Пятигорск. Там только подправили меня на курорте — опять получил винтовку да подсумок патронов. . .

Пока Иван Емельянович говорил, была выпита первая рюмка. Кораблевский рассказ стал богатеть подробностями.

Профессор слушал, склонялся к собеседнику, подставлял ухо. Он налил еще. Кораблев, возбужденный воспоминанием о войне, нацелился выпить, залить себе душу. Но Сосновский остановил его жестом и голосом:

— Не будем гнать лошадей, Иван Емельянович. Не нужно спешить. Водка подхлестывает нам мысли и память, но может и совсем загнать их вконец. Нам нужно

рюмку уметь придержать. Мы слушать друг друга перестаем за водкой. А ведь главное-то наше наслаждение — в разговоре. Я слушать тебя хочу. Мне все это интересно, что ты говоришь. Мне знать тебя интересно, жизнь твою, душу. . . Я богатею от этого. . .

— У русских какой разговор без выпивки? — сказал Кораблев. — Русский Иван без пол-литра не очень разговорится.

— Да, да, да, — закивал профессор. — Для таких мужиков, как мы с тобой, — это слону дробина. Жена моя Шура придет, она нас жареным мясом покормит. Она мастерица по этой части. Она у меня биолог, доцент. . .

Оба выпили свои рюмки. Сосновский приблизился грудью к столу, к сотоварищу. Глаза его без очков были темны, что-то проблескивало в них, будто даже искрило.

«Быстро пьянеет, — подумал Иван Емельянович. — Что значит интеллигенция. А мне хоть бы что. . .»

— Я у себя, Ярослав Станиславович, в цехе в рабочее время сухой закон объявил. Чтобы никто ни грамма, ни ни. . . Производство у нас такое, со спиртом дело иметь приходится. . . Девяносто девять роялей мы выдали за год заказчикам. Могли бы сто. . .

— Да, да, да, — тихо и покаянно забормotal профессор. — Я понимаю тебя, Иван Емельянович. Из-за меня ты не выполнил план. . . И тебе неловко перед самим собой, и перед семьей, и перед дирекцией, и перед государством. И ты сердит на меня. . .

Профессор словно нажал на педаль. Крещендо слышалось, рык, рокотанье. . .

— Один рояль! Мы недодали с тобой человечеству один рояль! Тысячу Лунных сонат! Мы оставили тысячу человек без Прокофьева и Рахманинова! Без Гершвина и Цфасмана! Без Каца и без Андрея Петрова. . . — И опять говорил профессор тихонько, чуть рокотал: — Человечество вытерпит, обойдется. Для серьезной музыки трезвость нужна. . . Высшая трезвость! — рявкнул профессор. — Наши девяносто девять роялей работают сейчас на человечество с полной нагрузкой. И не фальшивят. Мы люди мастеровые. Мастеровитые. . . Мы с тобой — мужики!

В это время послышался шелк отпираемой двери и радостное лоскотанье собачьих когтей по линолеуму. И пегий, губастый, гладкий, слюнявый от доброты и

преданности пойнтер вбежал и тыкался мордой в колени, и желтый глаз его выражал готовность к любви и усердию.

Вошла на кухню востроглазая, крепкая женщина в брюках, лет сорока четырех. Она сказала без видимой дружбы и радости: «Здрасьте». Быстро, с хозяйским решительным видом, а также с брезгливостью все оглядела...

— Вы что же это, картошку-то без луку жарили? — сказала женщина.

— Это товарищ мой, начальник цеха по производству роялей Иван Емельянович Кораблев, — отрекомендовал профессор. — А это моя жена, Александра Сергеевна...

— Очень приятно, — привстал Кораблев.

— Чего же приятного-то? Не терпится, что ли, вам? Могли бы хозяйку дожидаться...

Глаза у женщины были светлы, и пристальны, и недобры, подбородок и нос своевольны, приподняты вверх. Жена была широка в кости, готова к сраженью. Она убрала со стола сковородку с готовой, несъеденной картошкой, принесла другую, свою сковородку...

Сама не присела к столу. Отступила к стене, подбоченилась там и стояла.

— Давайте выпьемте с нами, — сказал Иван Емельянович жене профессора.

— Не хочется что-то, — сказала жена. — Не тянет меня на пьянство. Наверно, порода такая.

Професор как-то набычил шею, поник.

— Ну ладно, — сказал он без прежней уверенности. — У женщин своя задача. У нас своя...

Профессор хотел уже взяться за рюмку, но женщина совершила рысый выпад к столу и схватила, сграбастала эту отраву и выплеснула ее через плечо в раковину. И опять отступила к стене и подбоченилась...

— Я биолог, — сказала она. — Я знаю, что происходит у тебя сейчас в мозгу от этой водки. Бред сивой кобылы там происходит. Ты убиваешь клетки в коре. Ты интеллект убиваешь. Для тебя это смерть. Ты сам в себе истребляешь личность. Талант и пьянство — это несовместимо...

Профессор припал грудью к столу и замер...

Жена стояла уперев руки в бока. И торжествующее

презрение излучали ее глаза. И была в ней рысиная хищность.

Иван Емельянович вышел меж тем из кухни и быстро стал надевать пальто. Пойнтер его провожал, и любил, и тыкался доброй мордой в колени.

Иван Емельянович вышел на волю. На мосту через черную зимнюю речку он остановился на мгновение и поглядел в то место, куда упали его бутылки. Там было пусто, черно. Он повернулся опять к проспекту, к трамваю и понял вдруг, что день закончился, вечер уже, завтра вставать в семь утра — на работу.

ПРОКАТИЛИ

Отчетно-перевыборное собрание в садовом коллективе фабрики, или, лучше сказать, в коллективном саду, назначили несколько поздновато, в октябре, когда убрали даже зимние сорта яблок и только у Романа Марковича Линника антоновка все падала, падала наземь и не могла опасть; три яблони стояли огруженные, без подпорок. Роман Маркович с женою съехали с дачи, оставив добро без завещанья, на волю ветра и птиц.

Рассчитывать на явку всего коллектива, на кворум председатель правления Иван Емельянович Кораблев, конечно, не мог: во многих домах уж и окна заколотили. И члены правления сомневались, стоит ли переизбираться, когда зима на носу. Но председатель поставил на своем.

Главной причиной тому явился разговор с Сергеем Сергеевичем Безуховым. Вообще-то Безухов редко с кем говорил, только «Здравствуйте!» глуховатым, но зычным, как в железную бочку, голосом. Здороваясь, голову он склонял, кончиками пальцев касался полей серой фетровой шляпы. В гости он ни к кому не ходил, на соседских посиделках, само собой возникавших ежевечерне в саду, не бывал. Выступал он только на собраниях, сходках, хотя бы и неназначенных, стихийных, у ручья ли, у пруда во время поливки, на садовом проспекте, когда назревала проблема в масштабе всего садоводства — насчет пасынков для подгнившего электрического столба, или список членов кооператива, вывешенный на воротах, смыло дождем, или насчет удобрений, химикатов, достав-

ки баллонов с газом, — проблем в садоводстве хватало всегда. Высказывался Сергей Сергеевич обычно в критическом духе.

Ему хотелось, чтобы дело в саду велось, подобно фабричному производству, на должном научно-техническом уровне, чтобы сорта яблонь на каждом участке улучшались посредством скрещивания, а урожаи росли. Он предлагал провести в саду агрономический семинар, пригласить ученого агронома. Никто не перечил бывшему главному инженеру, но всякий, послушав его взыскующие речи, стушевывался, подавался к себе на участок. На фабрике следовало исполнять указания главного инженера, в саду можно было и уклониться.

Когда Безухов вышел на пенсию, казалось, что пост председателя в коллективном саду уготован ему — кому же еще-то? И сам он тоже так думал, готов был принять этот пост и работать на нем, как работал на фабрике, — с полной отдачей. Но на первых же выборах Безухова прокатали; в правление выбрали, а председателем поставили другого человека, хотя этот человек не обладал и малой долей безуховской инициативы, опыта руководства людьми.

Когда Безухова прокатали на выборах, он обиделся и не понял, почему прокатали. Роман Маркович Линник пытался ему объяснить, после собрания он взял Сергея Сергеевича под руку, проводил его до безуховского участка, мягко втолковывал ему:

— Мы вас прекрасно знаем, Сергей Сергеевич, слава богу, отработали вместе двадцать пять лет. Вы — требовательный человек, бескомпромиссный. Вы — максималист. И люди вас уважают за это. Но здесь же не фабрика, Сергей Сергеевич, милый человек, здесь же сад. Здесь мы старики на даче, на заслуженном отдыхе. Кому охота в земле ковыряться — и на здоровье. А вот я, например, и без яблочек и без клубнички этой обойдусь за милую душу. Или хозяйку на рынок пошлю... Я в сад приезжаю воздухом подышать. Воздух у нас чудесный — и слава богу. Малость вы лишкухватили, Сергей Сергеевич. Воздухом можно и так, и без плана дышать.

— Нет, Роман Маркович, с этим я не согласен, — сказал Безухов. — У нас здесь не дача. Фабрика нам помогла сад заложить. На дикой земле мы его вырастили, одних валунов десятки тонн наворочали. Без фабричного

транспорта, средств, стройматериалов нам бы одним ничего не поделать. Кто позабыл об этом, у кого появляются дачные настроения, в гамаке полежать, я так считаю, надо таких товарищей из нашего коллектива исключать. Скатертью дорожка. Пусть дачу снимают и дышат.

Сергею Сергеевичу все же дали пост председателя — в комиссии по благоустройству. Он созывал садоводов на расчистку и углубление пруда, на расширение центрального садового проспекта. И тут без конфликта не обошлось: кусты черноплодной рябины на каждом участке разрослись, выкинули ветви на проспект. Безухов требовал ветви срубить, проспект расширить и спрямить по шнуру. Хозяевам черноплодной рябины рубить не хотелось по живому, из черноплодки варили они варенье, консервировали с сахаром; черноплодка давала полезный при гипертонии, и для здоровых людей тоже полезный, освежающий вкусный сок. Но Безухов первым свою черноплодку и порубил, подравнял. Пришлось и другим по нему подравняться. Проспект спрямили, сад обрел ухоженный, благоустроенный вид.

Сергей Сергеевич и яблоки предлагал сдавать в общий фонд — для фабричного детского сада. Конечно, не весь урожай целиком, а хотя бы какую-то долю. Садоводы не возражали, но яблоки не спешили сносить в общий фонд. Дети их отслужили в армии, переженились, замуж повыходили, а внуки тут же паслись, оглашали сад смехом или ревом.

...Нынешним летом, вернее осенью, в сентябре, Сергей Сергеевич как-то приехал вместе с председателем правления Иваном Емельяновичем Кораблевым, в одной электричке. Вместе они пошли со станции в сад. По дороге Безухов сказал Кораблеву, что при других председателях тоже дело неладно велось, и другим не хватало ответственности, но такого еще не бывало, чтобы за лето одно собрание, а правление вовсе не собиралось...

— Сад у нас называется коллективным, — укорял Кораблева Безухов, — а на практике получается, что только вывеска и осталась. Каждый уткнулся в собственную грядку... Если так дальше пойдет, то, глядишь, начнем друг от друга заборами отгораживаться... Дело пущено на самотек, и вы, Иван Емельянович, как председатель в полной мере несете за это ответственность...

Вначале они шли рядом по ровной дороге, посыпанной гравием. Затем Иван Емельянович стал отставать от Сергея Сергеевича; тот, не оглядываясь, ушел вперед своим ровным напористым шагом — прямой, рослый, широкий в плечах, в серой фетровой шляпе, в отглаженном костюме, при темном галстуке.

Иван Емельянович остановился, закурил, подождал, пока Безухов сгинет, исчезнет. И некое в нем созревало не решение пока что, только порыв, потребность в самоутверждении. Вот так же, быть может, и президенты держав, узнав о недовольстве своих сограждан, ставят в парламенте вопрос о вотуме доверия, назначают досрочные выборы... Кораблев не докурил папиросу, кинул ее в сердцах и направился напрямиком, через еловый подлесок, на участок к соседу Снедаеву, члену правления сада. Жена кричала ему с крылечка:

— Иван, ты куда? Надо смородину обречь...

Иван только буркнул в ответ:

— Успеется.

Он взошел на террасу к Снедаевым, хозяин как раз занимался дегустацией крыжовенного вина своего производства. Вино, несмотря на молодость, уже оказывало то действие, какого и ждут от вина. Иван Емельянович отведал вина и сказал, что надо бы провести перевыборы.

— А куда спешить, Иван Емельянович? — возразил Снедаев. — Я вот на пенсию вышел, слава богу, чуть ли не сорок лет баранку крутил. Теперь наше дело стариковское. Вы-то когда на пенсию?

— С весны пойду, — сказал Кораблев. — С весны пойду... Такие мнения есть, что мы работаем плохо, наше правление... Пожелания высказывают, что надо бы нас переизбрать. Пусть другие...

— Ну что же, — сказал Снедаев, — если кому охота, пускай. Можно и перевыбраться. Я теперь человек свободный. — Весь снедаевский облик именно свободу и выражал, освобожденность, исполненность жизненного плана, вступление в лучшую пору, когда вращены и созрели плоды, только протягивай руку. Снедаев был гладок, именно в гладости, в яблочной румяности щек сказались годы садовой жизни. Щеки у Снедаева налитые, такого цвета, как яблоки «мельба». В силе, в мускулах рук и плеч сказались годы работы на тяжелых грузовиках и автобусах.

— Небось опять Безухов воду мутит, — по своему обыкновению громко, так, что слышно было у Кораблевых, да и у Безуховых тоже, пожалуй, слышно, воскликнула тетя Клава Снедаева. — Вот же нейметса старому черту!

— Ну и что ж что старому, — примиряюще сказал Снедаев. — И мы с Иваном Емельяновичем не юноши. Тоже и его можно понять.

Иван Емельянович договорился с соседом о собрании, в следующее воскресенье, в двенадцать часов, и отправился к тете Тосе, тоже члену правления.

— Перевыборное собрание будем проводить, Антонина Никитична, в воскресенье, — сказал Иван Емельянович.

— Чегой-то ты переизбираться задумал, Иван Емельянович? Нешто переутомился?

Тетя Тося носила очки, росту она такого же, как Кораблев, но пошире в плечах, помассивней, покрепче. Что-то было бетонное в тете Тосе, даже скулы ее — бетонные: человека лепит, кует, чеканит профессия. По профессии тетя Тося — бетонщица. Лицо и шея ее покрыты вечным заггаром — весенним, летним, осенним, зимним заггаром. Она живет в саду круглый год. Мощь, бетонность, мужественность в ее облике сочетались с мягкостью, добротой, женственностью взгляда. Глаза у тети Тоси карие, лучатся теплом. Голова платком повязана, из-под платка выбились каштановые вьющиеся пряди. То ли ей пятьдесят, то ли уже шестьдесят — по виду не скажешь...

— Смотри, Иван Емельянович, прокидаешься председательской-то должностью. — Тетя Тося разговаривала с председателем, как добрая мать с непутевым сыном, улыбалась при этом. — Прокатят тебя за милую душу, после будешь локти кусать. Ты ведь всегда у нас на руководящей должности — то в фабкоме, то еще где...

— Председателем был фабкома, освобожденным... — гордясь, напомнил Иван Емельянович.

Мысль о том, что его прокатят на выборах, правда, не приходила ему в голову. Последние лет пятнадцать он занимал посты хоть и не главные, но почетные, на виду. И начальником цеха, и председателем фабкома, и вот теперь — заместителем начальника ОТК. Иван Емельянович думал, что пост председателя в коллективном саду предназначен ему — кому же еще?

Он обошел всех членов правления, да и не только членов, весь сад обошел. Всюду его привечали и потчевали плодами, напитками, настоящими на плодах. Домой он вернулся повеселевший, разговорчивый, совершенно убежденный в единодушном своем переизбрании на председательский пост.

Воскресенье выдалось теплым, солнце нагрело маковки валунов у пруда. Те садоводы, что первыми пришли на собрание, и расселись на валунах, другие принесли с собою стулья и табуретки. Большую часть доклада Иван Емельянович посвятил больному вопросу — о стороже. Сторож поступил на свою должность в саду будучи старым, но теперь состарился настолько, что уже, как говорится, мышей не ловил. К тому же на зиму он собирался к дочери в город, сад некому сторожить. И неясно, как поступить с домом, построенным на общественные средства для сторожа. Надо бы дом отобрать. Но как отберешь: дед вырастил сад возле дома, обстроился, сам врос в эту землю... На сложном вопросе о стороже Иван Емельянович споткнулся, доклад его словно и прекратился, растекся в общую беседу, в прения. Вечевая лужайка у пруда загудела, как потревоженный пчелиный рой. Говорили об участии сторожа с пониманием и сочувствием. К деду привыкли, и обижать его не хотелось. Табачный дым плыл над седыми, лысыми головами садоводов. Лужайка долго гудела, куда забухал, как в бочку, Безухов:

— Тут смешивают два разных вопроса. Первое — это надо сторожа пригласить на правление, и пусть он подаст заявление об уходе на пенсию. На основании этого заявления выплату зарплаты сторожу прекратить, все оформить, назначить самый кратчайший срок, чтобы дом был освобожден, вещи вывезены. Вот как надо действовать, по закону. Что касается огорода и яблонь, которые вырастил сторож, то земля эта наша, нашего коллективного садоводства. На нашей земле сторож выращивал яблоки и сам их реализовал в своих интересах. Вложенный им в землю труд окупился...

Сергей Сергеевич замолчал, и тихо-тихо стало в саду. Только трещали дрозды, стрекотали сороки,

— Какие еще будут мнения? — спросил Иван Емельянович как бы не своим, механическим голосом.

Кто-то вздохнул, кто-то лысину почесал, садоводы закашляли, зачиркали спичками. Кто-то промолвил:

— Чего уж тут говорить? Все ясно.

И снова молчали. Томительно, тягостно сделалось. Как говорят, струна натянулась. Но тут появился Роман Маркович Линник. Он показался из-за кустов бузины, седенький, светлый, в светлом плаще и светлой синтетической шляпе-панаме. Следом за ним шла простого вида женщина, видимо нанятая для сбора яблок. Собрание обрадовалось Линнику, как ангелу-спасителю.

— Ну конечно, заседают! — воскликнул Роман Маркович. — Больше им делать нечего! Вместо того чтобы воздухом подышать, они весь сад прокурили...

Собрание весело, облегченно вздохнуло. Вскоре над разноголосицей и смехом опять воцарился окрепший, набравший новой силы голос Ивана Емельяновича. Председатель теперь говорил об успехах и достижениях за отчетный период.

Закончив доклад, Иван Емельянович сложил с себя полномочия, стушевался, и безвластие наступило в саду; садовое вече примолкло, садоводы уронили плечи и головы, облокотились на колени, сосредоточились, готовясь к главному действию — смене правления. Казалось, тяжесть давит на этих людей: легко ли назначить новую власть над собой взамен старой, привычной... Без заговяда обдуманного списка, самим назначить и утвердить...

— Какие будут мнения в части оценки работы? — громко спросил председатель собрания.

— Какие мнения... — грудным свежим голосом пропела тетя Тося. — Работали, что-то делали... И ничуть не хуже других. Конечно, всего не успели, так ведь Иван Емельянович и на фабрике и тут... Пенсионера надо председателем ставить, тогда с него и спрашивать...

— Удовлетворительной признать работу! — выкрикнул кто-то.

— Поступило предложение признать работу удовлетворительной, — сказал председатель собрания. — Какие будут еще предложения?

Предложений больше не поступало. Председатель собрания один стоял поверх голов, как распорядитель аукциона с поднятым молотком...

— И то слава богу, живем, ни над кем не каплет, — проворчал из последнего ряда, с периферии, Роман Маркович Линник. — Конечно, удовлетворительная работа. Спасибо, что хоть такая работа есть. А что после нас, после стариков, останется?

— Какие еще будут предложения? — бесстрастно, как и положено на собраниях, произнес председатель.

— Разрешите мне, — поднял руку Безухов.

— Пожалуйста. — Председатель собрания сел.

Безухов поднялся, в серой шляпе, при галстуке.

— Работу правления никак нельзя признать удовлетворительной, — начал он свою речь...

На субботу и воскресенье к Ивану Емельяновичу на дачу приезжали дочка с зятем и внучкой. Пока шло собрание, они отобедали и ушли в лес погулять. Вернулись под вечер. Старики собирались на поезд, укладывали во व्यюки яблоки, банки с вареньем. Обыкновенно они уезжали утренним поездом в понедельник, с первым солнцем уходили по рося...

— Ну как, Иван Емельянович? — спросил зять, предчувствуя недоброе. Тесть натянуто, криво улыбался. Он суетно передвигался по дому, закуривал, против обыкновения, не на крыльце, а тут же в хоромаш...

— Прокатили, — сказал Иван Емельянович.

— И Сергея Сергеевича тоже прокатили, — тогчас добавила, как бы в оправдание своему мужу, теща. — Его вообще даже и в правление не выбрали. В комиссии благоустройства он был бессменный, можно сказать, председатель. А сейчас и двух третей голосов не собрал...

— Не знаю, — сказал Иван Емельянович, горько усмехаясь, — что, зачем, почему, чего хотят. Им виднее.

— Кто же председателем-то теперь? — спросил зять.

— Не знаю... Новое правление решало. Мое дело сторона.

— Ну как же, Иван, ты говоришь, что не знаешь? — вмешалась теща. — Все знают. Снедаева выбрали. Он на пенсию вышел, а так еще в силе мужчина. Здоровый. Вот и выбрали.

— Не знаю... — насупился Иван Емельянович. — Кому надо, тот знает, а мне все равно.

Тесть и теща вскоре ушли, Иван Емельянович впереди, супруга его за ним следом. Тяжко им было нести земные плоды, и путь не близкий до электрички. Едва за ними стукнула садовая калитка, как показался Сергей Сергеевич. Жить бы ему да жить в саду до первых морозов, так нет... В обеих руках он держал по тяжелой ноше плодов и варений, но груз его не согнул, не ссутулил...

В соседнем доме Снедаевых между тем разгоралось веселье, запевали песни, крепили голоса. Но все шло нестройно, не в лад, покамест жена Снедаева, тетя Клава, не затянула, не повела за собою весь хор: «...все отдал бы за ласки-взоры, и ты б владела мной одна».

Ночь выдалась теплая, как в начале осени, и кромешно черная, без звезд. Окна в доме шофера Снедаева, ныне председателя садоводства, горели ярко, как пламя костра.

ХОЛМЫ ДА ОЗЕРА

Николай Авдеичев жил против церкви, которая ночью одна возвышалась бело и красиво над Озерешней, а днем не хотелось глядеть на церковь, до того неухожена была она и уродлива в своей никому не нужной старости. И кладбище около церкви, хотя сохранило десятка два с половиной сухоньких серых крестов, уже не давало мысли о смерти или о жизни, оно изжило себя и скоро должно было кануть, оставить место траве и кустам сирени. В деревне забыли уже, кто сподобился быть погребенным в церковной ограде.

В церковное зало валили — до заморозков — картошку, а перед севом совхоз завозил семена.

Бросовый и давно зачужевший в деревне кладбищенский этот холмишко заявил о себе недавно печальным или, может быть, смехотворным образом. Когда ушиблялись дорогу — за семь километров под Белашовской горой начали брать на болоте торф, — бульдозер отрезал ножом порядочный кус от холма в Озерешне. Вместе с дерниной и суглинком он уволок целый скелет человека. Косточки, конечно, разрознились, но ребятишки все до одной повытаскивали из отвала, составили скелет как надо, сустав к суставчику прикрутили проволокой. Скелет они прислонили к березе, он стоял над дорогой, шоферы притормаживали и вылезали из кабин посмотреть, Вначале лица шоферов были растеряны, а насмотревшись, они кривили губы и что-то истово бормотали.

К скелету долгое время не прикасался никто, озерешенские бабы поеживались, старухи крестились, а

мужиков в Озерешне человеческой костью не удивишь. В сорок первом году тут заперли между озер нашу дивизию и положили ее. Фронт ушел, но стреляли еще три года — здесь был партизанский край.

Коля Авдеичев, плотник, пастух, огородник, кузнец, а точнее сказать про него — крестьянин, или, как сам он рекомендует себя, — безответный мужик, этот Коля Авдеичев присвоил откопанному при постройке дороги скелету имя: Костя Костеев. Так его и звали все в Озерешне.

Скелет стоял до тех пор, пока не наехал директор совхоза и не нашумел на Надежду Ивановну, бригадира. Надежде Ивановне было двадцать два года. Она закончила в области курсы, ее направили в Озерешню. Ей очень хотелось поднять производство в инвалидной да стариковской своей бригаде. Быть может, она скучала в неприсоединившейся пока что к большому селу деревеньке среди холмов и озер — никто не думал об этом, не знал.

Авдеичев Коля высказался однажды о бригадирше: «Ни кожи, ни рожи в нашей Надёже, один диплом, хоть кусай его за столом; а не выкусишь толку — и зубы клади на полку». Эту Колину прибаутку Надежде Ивановне донесло деревенское радио — скорый бабий язык. Радио бунчало по Озерешне без перебоев: в которой избе гуляли, бранились или что-нибудь замышляли купить в хозяйство — ведомо становилось всем. Коля сказал про Надежду Ивановну хотя и обидно для девушки, но не со зла, а так, по мужичьей привычке почтить начальство балагурной отметиной. И вся Озерешня с Колиной легкой руки величала свою бригадиршу: Надёжа.

Директор сделал Надежде Ивановне выговор за слабо идущую косовицу, а также за безобразие около самой дороги, за этот дурацкий скелет. Надежда Ивановна сразу, как только уехал директор, нашла в чемодане свой городские перчатки, натянула их и, проглатывая слезную обиду, отправилась к церкви. Робея, она подошла к скелету, взялась за ребро и потянула. Скелет легонько, будто с охотой качнулся к ней и сронил с плеч маленькую головку. Надежда Ивановна так и прыгнула от него...

Коля Авдеичев все наблюдал из окошка. Нога у него была ранена в партизанах, не гнулась в коленке и что-то с вечера тосковала, наверно к дождю. На покос Коля решил не ходить, а сел с утра постругать мутовку, жена

Зинаида давно уже принесла из лесу сосновую лапу-рогульку, да было все недосуг ее очинить.

Зинаида работала вздымщицей в химлесхозе. Она выстругивала особым железным резцом на сосновых боках длинные зазубрины — карры, и сосны становились похожими на сержантов-сверхсрочников с золотыми угольниками на рукавах. Зинаида подвешивала к зазубринам шиферные рюмки, и в них до краев набегала смола.

Когда Николай завидел в окне бригадиршу, то решил уже было прилечь, покряхтеть на случай ее прихода в избу. Еще он подумал, что лучше всего бы ему закатиться с утра на озеро — только жалко, что спиннинга нету, — там никто бы его не трогал, не попрекнул...

Николай наблюдал, как Надёжа шпыняет скелет на пригорке. И стало ему обидно, нехорошо. Он положил свое рукоделье на лавку, проворно заковылял из избы. С крылечка он крикнул Надёже:

— Куда ты Костю-то Костеева? Человек ведь тоже был... Как и не мы. Ишшо, может, сознательнее нашего брата... Сейчас я тебе подмогну! — крикнул Коля. — На пару-то мы его поскладней унесем. А так по деталям всего растеряешь.

Коля полез напрямую в гору, большую ногу свою волочил. Он выкрикивал упреки бригадирше, но были они также и утешения для нее...

— Также ведь человек был... А голову потерял — уже полчеловека. — Коля подхватил упавший череп. Главный костяк он приобнял рукой и поволок скелет с горы к себе на усадьбу.

Для чего он нужен ему, Николай не смог бы ответить. А если бы кто предсказал ему загодя такое дело, он плюнул бы и ругнулся. Но он волок этого Костю Костеева, было трудно ему спускаться по крутизне и ломиться через кустарник, и чем больше потел он и уставал, тем неоспоримее казалась ему взятая добровольно работа. И росло в Николае уважение к самому себе, и еще какие-то добрые и жертвенные чувства подымались в нем.

Надежда Ивановна двигалась следом за Николаем. Она несла отскочившую ногу скелета. Николай не обращался к ней, а только иногда произносил уже говоренную много раз неотступную свою идею:

— Также ведь человек был...

На своем дворе он уложил скелет наземь, вооружился топором и пилой-ножовкой, измерил костяк валявшимся тут же черенком от лопаты и раскроил по этой метке два горбыля. Больше строительных материалов не нашлось на усадьбе у Николая Авдеичева; которые были доски, он все пустил на пристройку к сеним — сдавать городским на лето.

Коля просунул топорик в паз и отодрал от пристройки одну доску, а потом и другую. Он действовал с необычной для него нервной торопливостью. Навытаскивал гвоздей из стены собственной хаты и принялся сколачивать гроб...

Надежда Ивановна маялась недалеко от калитки, хотела она уйти, отвязаться от этих костей, да нужно было еще наказать косы отбить для приезжих рабочих, которых директор сулился прислать. И к Ганькину Гришке тоже надо зайти постыдить балбеса: один здоровый парень на всю Озерешню, и тот наладился в лес по чернику, а после в город на рынок.

Но бригадирша не уходила, сама ведь затеяла, и все оставить теперь на Колю Авдеичева было неловко.

— Дядя Коля, а может, так бы его зарыть где-нибудь за деревней? — сказала Надежда Ивановна.

— Зарыть-то бы можно его, — сказал Николай. Он взял один из гвоздей, которые держал во рту, приставил, где нужно, и тюкнул обухом. Гвоздь был ржавый и согнулся пополам. — Зарыть-то зароем, — сказал Коля, — и сверху еще песочком присыпем... — Он вытянул изо рта следующий гвоздь и вогнал его в горбыль. — Человек ведь тоже, Надежда Ивановна, — сказал Коля Авдеичев. — Как и не мы. На жилплощадь и тут права имел, и там ему обязаны домовину предоставить. Человек ведь был... Лошадку вот только надо бы, на кладбище его увезти...

Бригадирша обрадовалась такому случаю уйти с Колиного двора, пообещалась прислать лошадку и побежала со всех ног по озерешенской улице.

...А там уже старушки-домушки, калеки да няньки, да малютки-козявки прослышали зовы озерешенского радио и начали сползаться, охать, креститься, шмыгать носами, советовать, всхлипывать и даже плакать навзрыд. Прибежала из черники и Колина дочка Алевтина, весь рот у нее как чернильная клякса, губы отцовские выво-

рочены наизнанку, десны видать, и нос конопатый — картошинкой — как у Коли. Дочка кончила второй класс. Она стала все трогать, и щупать, и спрашивать:

— А ты его на кладбище, что ли, понесешь? А поминки справлять мы будем? А почему у него в носу дырка? В носу косточки не бывает, что ли?

— Лошадь Надёжа сейчас подгонит, — сообщил Николай Авдеичев дочке, а также и другому малому да старому населению Озерешни. — Человек ведь был. Может, бедняк какой безлошадный, так пусть хоть посмертно прокатится. У совхоза тягловой силы хватит...

И правда, каких-нибудь два часа спустя приехала подвода, за вожжи держался не то Васятка, не то Мишутка. Длинный и узкий ящик готов уже был, заключен вглухую, без крышки, совсем непохожий он вышел на гроб.

Коля Авдеичев установил на подводе ящик, забрался и сел на него. Алевтина тоже залезла в телегу. Мишутка или Васятка огрел вожжами лошадь, громко зачмокал на нее, подвода покатила по мягкой летней дороге.

На главное кладбище нужно было проехать через ржаное поле и через сосновый лес, а после подняться в гору, к рябинам, березам и липам, посаженным в прошлом веке. Там было прохладно, зелено, славно, и очень много травы и цветовросло на холме. И небо рядышком было с пригорком. И солнце не напекало. И кресты и красные пирамидки были равного роста друг перед дружкой. А каменных монументов, гранита и мрамора, и прутьев железных решеток и вовсе не было.

Воздух был легкий, душистый на главном кладбище Озерешни. О смерти не думалось тут. Пел черный дрозд на рябине. Жужжали шмели. И на одном тополевом кресте проросла живая, с листьями ветка. Непонятная в своей тишине и сосредоточенной благодостной радости совершалась тут неременная жизнь.

— Это наша центральная усадьба, — сказал Коля Авдеичев задумчиво и немного шепелявя — у него изрядно недоставало зубов. Он вырыл яму, спустил туда ящик, засыпал землей и охлопал лопатой холмик. И снова задумался вслух: — На троицу люди сюда придут... Поплачут... И подерутся... И песню споют... И песню споют, — еще раз сказал Коля Авдеичев.

Все уселись на телегу и весело покатили с холма,

ДЛИННАЯ ДОРОГА С ФУТБОЛА

В то лето «Уран» играл плохо. Но все же играл. Он бы мог. Он вел в игре с тбилисским «Динамо» два — ноль, но зазнался и бросил играть. И грузины забили ему два мяча. И ростовское СКА забило, хотя «Уран» наседал и сломил оборону, и вел с преимуществом в два мяча. В игре с московским «Динамо» и вовсе вышло досадно: Мигалкин промазал пенальти. Маленький, рыжий, он разбежался, а Яшин и не глядел на него. Лев Яшин медленно шествовал вдоль ворот. Походка его была львиной. Ося Мигалкин заячьим скоком подпрыгнул к мячу и будто запнулся. Мяч порскнул мимо ворот и укатился на гаревую дорожку. Лев Яшин даже не потянулся к нему. Он, подбоченясь, стоял в воротах, в черной футболке и кепке, вратарь сборной мира. Трибуны свистали. Мигалкин трусил к центру поля...

И все же «Уран» бы мог. Он справился с минским «Динамо». Он выиграл у «Спартака». Мигалкин мчался вперед, по краю. Как солнечный зайчик, металась по полю его голова.

Центрфорвард «Урана» Коля Бывалов... Да что теперь говорить о Коле? Бывалов нарушил спортивный режим, и в центре пришлось играть Осе.

— Мигалкин-Пугалкин! — кричал стадион. — Поли-ва-ай!

Ося старался, но не хватало ему заряда для пушечного удара. Ося был бумерангом, лишь залетал на штрафную площадку врага и опять возвращался.

Алябьев тоже старался. Но что — Алябьев? Ему уже

минуло тридцать. Противники были плечистей, моложе, наглей. Их шеи были потолще и ляжки крепче. Алябьев терялся в толпе. Толпа его затираала, валила наземь. Алябьев уже не годился, сошел.

Телепенин держался на поле, будто он прима-тенор из королевской оперы, будто его пригласили в провинцию на гастролы. Он исполнял свою партию на свободном пространстве, отдельно от труппы. Он щадил свои длинные стройные ноги, чурался схватки возле ворот. Он демонстрировал технику, издали бил по воротам. «Стасик! — кричал стадион. — Замастерился! Бойтся, что ногу отдавят! Интеллигентным стал...»

Поблескивал нажитой раньше срока лысиной Бать-новобранец. Он прибыл из Краснодара и выделялся в «Уране» южной смуглостью, крепостью тела, здоровьем. Стадион кричал ему: «Бать, давай! Квартуру получишь!»

Стадион кричал: «Шайбу! Судью на мыло!» Стотысячный стадион на бугре по-над морем. Он грохотал пустыми бутылками по каменным лесенкам меж рядов. Стадион относился к «Урану» со скепсисом, с укоризной, но готов был поверить в «Уран», полюбить.

— Дави-и их, Боря! — кричал стадион. — Неси-и!

Чуть косолапая, как подобает асу, капитан «Урана» Борис Кузьев бежал по полю, пугал нападающих хладнокровной игрой. Он забирал у них мяч и сам шел в атаку, навешивал на ворота. Но некому было в «Уране» подправить — достать головой. «Уран» подобрался весь малорослый.

— Сам, Боря, сам, — умолял стадион. — Сам делай штуку!

Но Боря, навесив мяч, не глядел, что будет с ним дальше. Он неторопко бежал обратно в защиту. Он был защитником сборной страны, сходил в Рио грудь в грудь с самим Пеле. На кой был Боре этот «Уран» — команда из нижнего ряда турнирной таблицы?

В «Уране» играл Куликов. Он однажды ввалился в ворота «Торпедо» совместно с мячом. Судья засчитал этот мяч, и «Торпедо» едва отыгралось. Куликов стал героем важнейшего матча сезона. Быть может, он получил поощрительный куш за достигнутый гол. Кто знает, какие доходы у футболистов? Какая у них прогрессивка?

Куликову свистал стадион. Куликов надоел. Он кидался на мяч невпопад и бежал с ним к своим воротам.

Вратарь Расторгуев едва поспевал уберечь ворота от Куликова. Куликов был спокойный, неторопливый, светловолосый, широкогрудый детина.

Владик Николин, болельщик, даже не то что болельщик, а просто юноша лет тридцати с небольшим, горожанин, младший научный сотрудник, кандидат в кандидаты наук, автор трех публикаций по различным техническим темам, хозяин кооперативной квартиры в одну комнату, женатый, но внутренне все еще несогласный с несвободой женатой жизни, приходил на футбол, и свистал Куликову, и ахал вместе со стадионом, когда урановский мяч трепыхался в сетке ворот «Черноморца».

Николин любил эти празднества на зеленом холме над морем, трепыханье флажков, и пенье Эдиты Пьехи в динамиках, и лимонад с горячими пирожками, и черные «Чайки» на асфальтовом пяточке, и прозелень Вольного острова, и белые небоскребы в двенадцать этажей на острове Декабристов, и «метеоры» в устье реки, и мачты яхтклуба, и рейсовый ТУ-104 заходит к городу с моря... Владик Николин ходил на футбол, один из ста тысяч, он покупал рублевый билет на двадцать девятый сектор. Возраст, зарплата, близкая теперь защита кандидатской диссертации — что сразу скажется на зарплате — давали ему это право. Владик был благодушен, в японской рубашке цвета асфальта после дождя. Он был пригожий, крупный и ладный, делал утром зарядку, играл двухпудовой гирей, плавал в бассейне, катался на лыжах, курил болгарские сигареты. Жизнь шла у Владика по порядку и складно. После сидячих занятий в своем институте он любил поддаться движению массы, забраться в автобус и ехать в мужской толчее, улыбаться, блестя глазами, кидать пяточки в железную урну, отрывать билеты и посылать их с улыбкой вперед и назад. Потом бежать по широкой аллее, среди бегущих людей и слышать алчущий рев стадиона, подняться на холм, задохнуться простором, сесть на скамейку и ждать чего-то, забыться, кричать: «Дави их, Боря! Мигалкин, давай!»

Люди на стадионе дерзостно, вопрошающе взглядывали друг дружке в глаза, присматривались. Будто сошлась в условное место ватага — и скоро набег. Все

были без жен, без детей, без девушек. Мужское дело. Ристалище. Гладнаторский бой.

Владик Николин во время матчей глядел на часы. Время быстро скакало, несло. Падал наземь подбитый Непонимаев. Суетился Садыев. Защитник Кудрейко не мог угнаться за Метревели. «Кудряш, не спи!» — кричал стадион. «Еще пятнадцать минут, — думал Владик Николин, — еще двенадцать минут... Ну и что? Ну и что же тогда?» Он думал, что город весь взбаламучен, слегка захмелел, сойдясь в зеленую пиалу стадиона, — рабочий город, мужчины... Мужчинам надобно зрелища, схватки, работы для нервов. А это разве команда? Это разве игра?

«Неужели среди трех с половиной миллионов жителей нашего города, — думал Владик Николин, — не могут найти Малофеева или Стрельцова? Не могут набрать команду... Какого черта? Весь город сегодня не будет спать до полночи, и если «Уран» проиграет, то завтра мужчины станут к станкам с тяжелыми головами...»

«Уран» нападал и сшибался с атаки. Загольные мальчишки подавали мячи. «Уран» демонстрировал волю к победе, он мог победить... Как вдруг расслаблялся и бегал с опущенными плечами. Что-то было в «Уране» не так. Что-то было не то в гладиаторском бое на ярко-зеленой арене.

Владик снова глядел на часы и скучал, потому что теперь предстояло идти, уходить с торжества в разобщенной, нахмурившейся толпе. Толпа не уступит дорогу машинам, и машины смолчат, потому что толпа недобра, потому что ее обманули. Она не увидела боя, победы, а лишь суетливую беготню. Толпа вернется в трамвай, стеснится и будет молчать. И будут молчать пешеходы. Никто не взглянет в глаза друг другу. И долгой, долгой будет дорога. И черной, серой — толпа. Только шарканье ног и трамвайные лязги и звоны...

Но если «Уран» добудет себе победу, дорога наполнится голосами: «...Он может, Ося. Он еще — будь здоров... Бать молодец. Только вот Куликов им подпортил... Почему Куликов? Куликов свое дело знает... Телепенин танцует, как балерина... Эх, если б им да Бывалова Колю... Ну, подумаешь, выпил... С кем не бывает... Так он же еще подрался, дебош устроил. Неправда это. Парашу пустили. Это не Коля подрался,

а Вартанян. Да... Алябьев уже старик... Старый конь борозду не испортит... Вот же Яшин играет — дай бог... И Стрельцов не мальчик. Он сколько в тюрьме просидел?.. А что в тюрьме? На пользу ему пошло. Серьезнее стал к себе относиться...» Дорога короче за разговором. Лишь бы «Уран» победил. Или хотя бы ничью...

Владик Николин идет, не садится в трамвай и троллейбус. После матча ему бывает грустно немножко, чего-то ему не хватает, и рано домой. И будто не было никакого матча. «Уран», «Черноморец» — не все ли равно? Для чего он спешил, горячился и хлопал в ладоши, свистал? Для чего проносились здесь сотни автомобилей? Какие-то люди варили железо, сверлили, паяли и нарезали болты и гайки. Конвейер двигался в заводском пролете. С него съезжали автомобили. И вот пронеслись по городу, по аллее, уткнулись носами в барьер стадиона. Стояли, как овцы, потом поползли по домам. Какой в этом смысл? Для чего?..

Владик думал о своей диссертации по теории полимеров и немножко о девушках: «Пусть бы хоть девушки приходили на матчи, а так и вовсе тоска». Он думал, что сборы на праздник всегда приятней, чем праздник. Праздник короток, он обманет. И вина не те, и закуски, и танцы, и гости, и разговоры. И долго, долго потом добираться домой.

В отпуск Владик собирался пойти в сентябре, купить надувной матрас и ружье для подводной охоты, поехать на Черное море с женой, загореть, похудеть, наплаваться вволю. Конечно, лучше бы без жены. Но ладно — с женой... Владик думал, что надо до Нового года защитить диссертацию, получить кандидатскую ставку. Когда построят завод в Тольятти, то можно будет купить «фиат». Владик думал, что надо съездить в Польшу, привезти себе оттуда слаломные лыжи и хорошо бы двухместную байдарку. Палатки тоже у поляков лучше, чем наши... Только валюты не хватит. Надо в Варшаве еще посидеть в ночном баре...

«Вот почему, почему, — думал Владик, — у нас под запретом ночная жизнь? Мужички после проигрыша «Урана» все равно спать не смогут, скинутся на полбаки, будут витийствовать в подворотнях. Им некуда деть

ся. Кафе все закроют в десять часов. И рестораны закроют... Хватит, — говорил себе Владик Николин, — хватит с меня «Урана». Неврастеническая команда — противно смотреть. И нечего тешить себя надеждой. Ничего не может случиться. Нужен тренер другой, и команда другая, и отношение городских властей, и климат, и темперамент... Бог с ним, с «Ураном», я больше сюда не ходок...»

Но «Уран» возвращался из Еревана, Ташкента, Баку, Кутаиси — и город опять подымало, как ветром выхлестывало на взморье. Люди садились все скопом в такси, не делясь на пары и семьи. Трамваи сбивались с маршрутов и шли к стадиону. Бежали студенты, майоры, наборщики, штукатуры и слесаря, кандидаты наук, архитекторы и солисты балета. Город мчался на стадион. Он соскучился по «Урану», ему хотелось подняться на холм, бросать в воздух кепки, орать во все горло: «Боря, дави-и их! Неси-и!» Город немножко завял без футбола. Нужно ему встряхнуться.

И Владик сажился в автобус... «Уран» добивался ничьей с «Пахтакором».

«...Они еще разойдутся будь-буди, — говорили мужчины на долгой дороге домой с футбола. — Вот Куликова бы заменить... Не в Куликове дело... Садыев — молодец, и Соловей катается колобком... А-а-а! Ни черта с них не будет проку. Надо варягов набрать где-нибудь в Ереване или в Алма-Ате... Года на два им южного румянцу хватит... Все равно отсыреют... Климат не тот... Шашлыками их надо кормить... Алябьев старается. Молоток! Вот Ваня играл, Комаров... А это разве футбол? А вот Бутусов...»

Владик Николин, как собирался, поехал с женой в отпуск на Черное море. Но не сразу на Черное море. Вначале туда улетела его жена. Он усадил ее в самолет, сам поехал в Москву. Он сказал жене:

— Нужно в редакции нашего вестника потолкаться. Может, главу удастся пристроить. Публикации мне нужны позарез... И на юге я тоже буду работать. Вставить часов в пять по утрам, до жары... Ты комнату поищи, где потише, и дай мне в Москву телеграмму.

— Я поищу, — сказала жена. — Постараюсь. Только, наверное, все забито.

Владик ехал в жестком купейном вагоне «Красной стрелы». Он курил у окна, и другие мужчины курили, жужжали бритвами «Харьков». Мужчины по виду все были главные инженеры. У всех имелись портфели, добротные папки, компактные саквояжи, плащи. Все были в белых рубашках и синтетических галстуках, в начищенных ботинках. Все взяли у проводницы квитанции на белье, и Владик тоже взял, хотя в квитанции не нуждался. Он держался на равной ноге с пассажирами «Красной стрелы», деловыми людьми, читал «Вечерку», заказывал чай с сухарями.

На платформе вокзала в столице он увидел главного инженера проекта Жужуленко. Тот стоял, поседевший уже, непричастный толпе, встречал ранний поезд, «Стрелу», и Владик подумал, что, может быть, он встречается свою любовь, сейчас она выпрыгнет из вагона... Николин хотел обойти Жужуленко, не спугнуть тайну утренней встречи, но Жужуленко заметил и жал Николину руку.

— Где можно выпить в Москве с утра коньяку, — говорил Жужуленко, — так это в «Стреле». Я ее тут дождаюсь, как маменьку родную.

И правда, в буфете экспресса нашелся коньяк.

— Хорошо, что ты мне повстречался, — говорил Жужуленко, — знаешь, как одному в чужом городе... Мы вчера с ребятами посидели в «Будапеште», да потом еще в гостинице добавили. Так до самой «Стрелы» и маюсь. Ты надолго в Москву?

— Да нет... — отвечал Николин. — Я в Куйбышев вообще-то, потом на Кавказ.

— В Куйбышеве будешь в нашем филиале, — говорил Жужуленко, — передавай привет Мовсесяну — хороший парень, мы с ним вместе работали в Гипрометзе. Сейчас мы с тобой немножко подправим себя и поедем в «Националь». Он как раз и откроется. Можно будет как следует посидеть.

— Не рано ли? — сомневался Владик Николин.

— Ну почему? Вполне нормально. Дóма — это другое дело. Тут — столица. Другой размах.

В «Национале» Владик жевал кетовую спинку и натуральный бифштекс. За столами сидели депутаты Верховных Советов союзных республик, с флажками на лацканах пиджаков, в тубетейках. За окошком был виден взвоз на Красную площадь, пестрели машины, гуртились

и непонятно о чем гомонили туристы. Курили девушки сигареты «БТ». Стоял у стены метрдотель — иссохшая длинная дама в пиджачной паре и туфлях без каблуков. Как неподвластный искусству стражник, как евнух в гареме, она наблюдала чревоугодническую жизнь. Не осуждала, но в то же время как бы и упреждала о том, что есть неусыпное око, что трезвые, тощие, строгие люди, хотя позволяют резвиться гурманам, но наблюдают за ними, следят. Дама являла собой торжество аскетизма над чревоугодьем.

Владик Николин глядел на даму, на девушек в синем дыму сигарет, на главный в стране перекресток, гудевший вблизи за окном. Все лучше ему становилось, свободней, хотелось новых знакомств, добрых слов. Жужуленко, покончив с бифштексом, исчез, но Владик остался еще посидеть, и метрдотель наблюдала за ним внимательным взглядом.

Когда он вышел наружу, улица хлынула, заиграла, угрела его. Владик двинулся медленно, жмурил глаза, но видел, что девушки все высоки, хороши, жизнь прекрасна, легка. Он выпил в кафе-мороженом бокал шампанского, а в шашлычной стакан мукузани. Столица текла, чуть плескалась, ласкалась. Он заглядывал девушкам в лица, но девушки проносили мимо него свою красоту. Все побывали на Черном море и загорели.

Он выпил коктейль в молодежном кафе и пива в каком-то сквере. И разговаривал с кем-то, кто-то слушал его, потом исчезал. Идти ему было все время в гору, остановиться нельзя. Владик шел по бульварам, проспектам и кривоколенным проездам. Заходил во дворы и садился на лавочки к пенсионерам. Пенсионеры укрывали от него руками своих внучат. Он заворачивал на вокзалы и рынки. «Это я так гуляю, — говорил себе Владик. — Я иду, шагаю по Москве».

Он думал, что видит столицу особенным зрением, данным ему одному. Во дворах натянуты были веревки, сушилось белье. Ребятишки месили в песочницах яркий песочек. Первозданно шершавы и красны были тыльные стены кирпичных домов. Хотелось погладить теплую деревяшку старых московских строений. Дервяшка сомле-ла, потрескалась, краска вся сшелушилась, но домики жили. Окошки наполнились зеленью олеандров, алоэ, гераней и фикусов.

Владик гладил лениво моргавших гулящих собак. Он первым побежал к автомату звать «скорую помощь», когда в переулке упал гражданин. Дежурный спросил его, как проехать и как называется переулок, но этого Владик не знал... Он говорил человеку с усами, который читал на бульваре газету:

— Не нужно бояться модерна в архитектуре, модерн не разрушит старинных ансамблей. Жизнь требует обновления... Модернизируют же Париж, не боятся. А нам-то чего бояться? Если расти городам, то кверху. Зачем же им расползаться, как тесту в квашне?..

Владик немножко поспал на скамейке. Когда он проснулся, то рядом с ним сидел старичок.

— Лучше всего освежает, — сказал старичок, — газированная вода. Я был начальником добровольной дружины. Мы как задержим пьяного — в штаб его приведем и газированной водой отпаиваем. Помогает... Я не сторонник применения грубой физической силы...

Владик подумал, что надо бы отвязаться от старичка и от штаба народной дружины. Он спросил, где ближайший киоск с газированной водой. Стричок порывался его проводить, но Владик сказал спасибо. И шагал по аллее, как по единственной половине.

Уже загорались огни ресторанов, кафе. «...Я люблю этот город вязевый, — думал Владик Николин. — Пусть обрюзг он и пусть одрях...»

Перемещения Владика Николина по столице могли бы показаться со стороны беспорядочными, лишенными внутренней цели. Просто загулял неустоявшийся парнишка, закутило его, замутило. Но цель, однако, была, не известная никому и не осознанная самим Владиком, но неперемнная, важная цель: завтра в волжском городе предстояло «Урану» играть с местной командой «Крылья Советов». Владик решил быть свидетелем этого матча. Решил внезапно и не позволил себе колебаться: «Нелепо? Никчемно? Экстравагантно? — И ладно! И пусть!»

Москва была только вынужденной посадкой. Хотелось скорее взлететь. Совсем уже поздно, в смутной, сполхнутой проблесковыми огнями ночи Владик ехал во Внуково.

Машина вкатилась на асфальтовую лужайку, остановилась на свету, который проливался сквозь стеклянные стены аэропорта. Владик отдал шоферу пятерку и поду-

мал при этом, что уже не купить надувного матраса, ни палатки, ни байдарки. Ему захотелось вдруг в утренний поезд, где главные инженеры пьют чай с сухарями, где пахнет чистым бельем, табаком и «Шипром»...

Населяющий Внуково перелетный народ сторонился нетвердого человека. Отпускные солдаты лежали на лавках, раскинув руки, сронив фуражки, в беспамятстве юного сна. Отдельные граждане ночевали в окружье вещей на полу. Транзитный, курортный, командировочный люд пил кофе, пиво, кефир.

Как вдруг появился и вовсе шаткий мужчина лет тридцати пяти, в ковбойке, висючей куртке, в простроченных красной ниткой брюках в полоску, в берете, в пыльных ботинках на толстых подошвах и с полевой сумкой через плечо. Он двигался прямо к буфету и был невесел, понур.

Владик весь потянулся к нему, как ребенок к ребенку в компании взрослых. Они посмотрели друг другу в глаза, как соплеменники на чужбине...

— С ребятами загуляли малость вчера, — сказал человек в берете. — От самолета остался. Ребята сели, и шмутки все мы вместе сдавали. Монтируем генератор в Курган-Тюбе... Бежал я, видел, как трап отъехал. Кричал, руками махал — ничего!

— Ты не горюй, — сказал Владик. — Живи в столице, пока живется. Мне тоже в Куйбышев надо, в командировку... Во Внуково я приехал, а самолеты туда из Шереметьева летят.

— Да я уж вижу, — сказал человек в берете, — наш брат кирюха сидит, кукует... Главное, грошей нет у меня доплатить за билет... Крайний срок завтра утром ребята пришлют перевод... И поправиться не на что.

— Пойдем, — сказал Владик.

Они поднялись на антресоли к буфету.

И долго потом пожимали друг другу руки, хотели расстаться, но что-то сводило их вместе, держало. Затем человек в берете ушел и больше не появлялся. Быть может, он улетел в Курган-Тюбе монтировать генератор.

Ранним утром, держась за сердце, куря, мечтая о пиве, Владик Николин переместился из Внукова в Шереметьевский аэропорт, который еще не достроился, не

совсем пробудился. Пивом буфеты не торговали, ни шампанским, ни коньяком.

Людей не много летело в Куйбышев, человек всего шесть или семь. Самолет был АН-10, пузатый, вместительный, как вагон. На лету он ревел, дребезжал. Ни единое облачко-перышко не запятнало рассветное небо над русской равниной. Не предвиделось горных вершин и морей. По всей равнине светлело и серебрилось жнивье. Пospели яблоки в густо-зеленых садах — опоясках полей. Сияли нешибкие, тихие, синие реки. Желтели песчаные берега. Все крыши как будто покрасили наново только вчера. Всю землю обрызнуло чистой росой и обдало щедрым, незнойным солнцем.

АН-10 мчался по ясному небу и грохотал, как автобус по мостовой. Владик Николин лежал в откиннутом кресле, в безлюдье, на холодке. Стюардесса ему принесла минеральной воды и пакетик для авторучки. «Ну вот... — думал Владик. — Мужчина имеет право однажды сойти с набитой дорожки, исчезнуть, скрыться от неусыпного ока жены и начальства. Вольно плавать в пространстве. Болтаться. Как это Пушкин сказал?.. «...А я, гуляка, вечно праздный, потомок негров безобразных...» Уолт Уитмен тоже думал об этом: «Сорваться со всех якорей и зацепок! Вольно мчаться! Вольно любить! Кинуться прямо в опасность!» Я понимаю ненужность, нелепость этой моей поездки, — думал Владик Николин. — Но — пусть! Я лечу. Мне открывается утренний мир. Я вижу небо и землю. И это нужно, нужно увидеть, чтобы быть вполне человеком. Ведь аргентинцы летают в Лондон смотреть футбол. Тбилисцы летают в Москву».

Самолет быстрехонько долетел до места и сел. День уже раскалился. Город Куйбышев отстоял далеко от своих небесных ворот. Придорожные стенды напоминали прибывшему пассажиру: «Стране нужны трубы!» Изображенные на фанере трубы целили жерлами в пассажира.

Солнце лелеяло землю, в лощинах между холмами свежо зеленели дубовые рощи. Шофер такси говорил, что Мигалкин — опасный игрок. Владик отдал шоферу пятерку и мельком подумал, что денег теперь не хватит лететь обратно в Москву. Спустился по узкой и людной

улице к Волге. Волга чуть шелестела о камень. Афиши на тумбе сообщали о матче «Крылья Советов» — «Уран». Сообщалось также, что объявляется конкурс на замещение вакантной должности в цыганском ансамбле.

Город Куйбышев жил беззаботно, по-летнему жарко, хотя начинался сентябрь. Все женщины были русы и сероглазы. «Волжанки, волжанки, — думал Владик Николин, — красавицы, русские павы, истоки подлинно русских кровей...»

«Уран» размещался в Центральном отеле, на Ленинградской улице. Владик видел, как у подъезда отеля остановилось такси и в подъезд сиганули два парня в плавках, а следом две девушки, тоже в плавках. Они приехали прямо с пляжа, были мокры от волжской воды. Но никто не задержал их, не свистел. Город Куйбышев был чуть одет, голоног, гологруд. Город бурно дышал, хохотал и лужгал подсолнуховые семечки.

Владик спустился на три ступеньки в подвальчик напротив отеля. Вывеска повешала: «Шампанское, кофе-глясе, коктейли, охлажденный чай». В подвальчике было довольно темно. На прилавке виднелись банки с зеленым горошком, венгерским лечо и молдаванскими баклажанами. Стояла также большая бутылка «старки». И стопки, и мерный граненый стаканчик — мензурка. Владик выпил, заел огурцом. Внутри у него загорелось.

— Нельзя ли подать охлажденного чаю? — спросил Владик у хозяйки этого погребка, сероглазой, дородной, спокойной и ласковой женщины в белой курточке, не сошедшейся на груди.

— Какое нам тут чаи распивать, — сказала хозяйка. — И так-то еле план выполняем. — Говоря, она улыбалась. Владик видел, что зубы у нее ровны и белы.

...Тренер «Урана» жил в бельэтаже. Он сидел у стола босиком и в длинных трусах, в каких выходил на поле в тридцатые годы Бутусов. Икры, живот, и плечи, и руки, и шея у тренера были круглы. Тренер был плотен, немолд и чем-то расстроен.

— Я из вечерней газеты, — соврал Владик Николин. — У вас найдется десять минут?

— Что, специально приехали смотреть нашу игру?

— Не то чтобы специально, — сказал Владик. — Отчасти.

Тренер сказал:

— Извините.

Пошел и лег на постель поверх одеяла. Лежал, как римский патриций, с голыми икрами и плечами.

— Ну, как там у вас в газете Семенов? — спросил у Владика тренер.

— Да ничего. Такой же, не изменился.

— Семенов знает футбол, — сказал задумчиво тренер. Он перекинулся на бок. Екнуло деревянное ложе под ним. Лежал, подставив под голову руку, додумывал длинную мысль.

— ...Ну что же мы ждем от сегодняшней встречи? Мы надеемся на ничью. Мы выиграли два матча, нам нужно хотя бы одно очко — и как-то можно поотдыхать, позволить себе какой-то эксперимент...

— Нападение бы усилить в «Уране», — скромно заметил Владик Николин.

— А что мы можем сделать? — сказал тренер с выражением трагической предопределенности. — В газетах пишут, что наша тактика, дескать, такая: четыре-два-четыре... А нам не до тактики, нам бы хоть как удержаться... Мигалкин плетет кружева, Алябьеву не хватает мощи... Алама я ставлю, Алам бежит. Экстерьер у него красивый. Стадион ему аплодирует. Но он играет в футбол сам с собой. Он не видит поля, команды, не чувствует стратегию игры... Он с мячиком играет в дриблинг, мельчит... Нам Коля Бывалов нужен. У Коли — умная голова. У него есть боковое и даже заднее зрение. Он — главная часть в организме команды, руководящий нервный центр... Мы и строили нашу тактику в расчете на Бывалова. И вот сорвался Коля... Да что об этом говорить. Латаем теперь на ходу команду. Трудно! Трудно!

— Куликова бы вам заменить, — сказал Владик Николин, — и Телепенин что-то не очень...

— Знаем мы, знаем, — сказал тренер, лежа в трюсах на постели, являя собой спокойствие, силу и зрелость, опершись на мощную руку седым виском. — Мы все это знаем. Но что мы можем поделать? Ведь тренер не властен вывести игрока из команды или пригласить в свою команду нового игрока. У нас слишком много хозяев. Я иногда хватаюсь за голову от обилия инструкций и на-

гоняев. Нами руководит Центральный совет общества, республиканская федерация и городской спортсовет, и профсоюз, и, конечно, хозяева города... Ведь их-то, хозяев-то наших, — десятки, а я-то один... Да еще одиннадцать игроков и круглый мячик... Вот и все. Что я поделаю с Куликовым?

— Да, — сказал Владик, — ничего не поделаешь с Куликовым.

— Вдруг я заменю Куликова — и мы проиграем? Вся команда восстанет против меня. Где я возьму гарантированную замену в середине сезона? Набаловались нынче игроки, заелись... Никто не дорожит своим местом в команде. Из одной команды его отчислят, в другой с удовольствием подберут. Попробуй заставь его нынче потренироваться сверх положенного. Он точно знает, и медицина его в этом поддерживает, какой ему полагается отдых... А мы в тридцатые годы, помню, по три матча играли на дню. Да еще занимались легкой атлетикой, греблей, ежедневно по восемь часов нагрузки... И ничего, играли... И на здоровье не жаловались... Трудно стало работать в футболе, — сказал тренер «Урана», — очень много всякой деятельности вокруг футбола ведется, без понимания нашей специфики. В работу тренера может вмешаться всякий, и это порой сводит работу на нет. До курьезов доходит... Тут вызывает меня как-то Сергей Иванович к себе в кабинет. «Ну что, говорит, сколько у тебя очков?» Я говорю: «Одиннадцать». — «А у «Торпедо» сколько?» Я говорю: «Двадцать одно». — «Так что же ты, говорит, не можешь десять очков нагнать, что ли? Смотри, говорит...» Вот так-то: смотри...

— Да-а-а, — сказал Владик.

— Со стадиона едешь после игры, — сказал тренер «Урана», — стыдно! Спрятался бы куда-нибудь с глаз долой... Я не пью, не курю, а то, наверное, напивался бы после каждого проигрыша... Да и так до инфаркта дойдешь.

Владик вышел на жаркую, людную улицу уже не тем, каким вступил в Центральный отель. Он словно теперь приобщился к невидимой с улицы сфере. «Какое счастье, что я сюда прилетел, — думал Владик Николин, — я прикоснулся теперь к футболу с другой стороны». Город казался ему по плечо. Трамвайчики бегали, несерьезно звенели. Дома расселись вдоль улиц приземисто,

непричастно прогрессу, как бабы, лузгальщицы семечек. «Самара, — думал Владик Николин, — провинция-матушка, самаритяне. . .»

Он обратился к двум девушкам:

— Девушки, где тут находится стадион?

Стадион был пока что не нужен ему, и девушки поняли, что не нужен, но рассказали подробно дорогу, внимательно глядя при этом на Владика.

Он назвал этим девушкам город, откуда приехал, и что-то мелькнуло в глазах у девушек — вспышка неясных мечтаний.

— Я репортер, — сказал Владик Николин. — Мне надо писать о футболе, о сегодняшнем матче эпохи: «Крылья Советов» — «Уран».

— Мы не ходим смотреть футбол, — просто сказали девушки. — Это нам неинтересно.

Девушки разнились цветом волос и глаз. Одна из них была темнокудра, с клипсами в мочках ушей. При виде ее вспоминалось монисто, стучание каблучков, дрожание плеч, высокого тембра контральто: «И-эх! Да поцелуй, обойми, приголубь!» Владик подумал о конкурсе на замещение вакансии в цыганском ансамбле.

Другая, с крутыми скулами, обтянутыми матовой, яблочной кожей, была волжанка. Глубинно русский женский характер светился в ее широко посаженных серых глазах, во внимательном, без жеманства, взгляде. Подбородок у девушки был основателен, как мезонин в старой русской даче, волосы русые, нос немножко припух и являл доброту. . . Волжанку звали, как жену Чернышевского, Ольгой, цыганку же — Галей.

— Вы, девочки, уж простите меня, — говорил Владик Николин, — что я к вам бесцеременно так привязался на улице. Просто я тут приезжий, чужой. . . Мне хочется как-то найти с вашим городом общий язык. Я много слышан, что на Волге живут самые красивые девушки в стране. . . Существует такое мнение, что жениться надо ехать в Куйбышев или в Саратов.

И снова что-то набежало в глазах у девушек, промелькнули тени несказанных и укромных мечтаний. Девушки были просты, не избалованы своим городом, старой Самарой.

— Единственное место, — сказала Оля, — куда бы мне хотелось поехать, это Ленинград. Москва — проход-

ной двор, все несутся, вылупив глаза... В Ленинграде — музеи, театры, мне так Райкин нравится, Товстоногов...

Галя молчала, только изредка поднимала глаза и как бы обволакивала Владика южной, восточной, цыганской знойностью. Они шли по горбатой улочке, под тополями, и между Олей и Галей уже возникало силовое поле ревности. Галя немножко прищелкивала каблуками, чтобы Владик смотрел на ее стройные до сухости цыганские ноги. И Владик смотрел.

Он вскоре узнал, что Оля и Галя — студентки-медики, что Оля живет в этом городе с мамой, а Галя приехала из Краснодара, снимает угол, что хозяйка Галиной комнаты вчера уехала в отпуск и поэтому Галя — одна... У Олиной мамы есть домик и садик в окрестностях города, завтра Оля и Галя поедут туда снимать урожай зимних яблок. Мама же не поедет. Оля с Галей будут на даче одни.

— Если хотите, поехали нам помогать, — сказала Владиду Оля. — Яблок много — кошмар. Мы с мамой не знаем, что с ними делать...

— Давайте встретимся после футбола на этом углу, — предложил девушкам Владик.

Галя сказала:

— Я не смогу. Оле одной придется... Желаю успеха.

«Уран» прогуливался возле автобуса — юные парни в тренировочных синих костюмах. Некоторые толкались, возились, как школьники перед поездкой в колхоз на уборку картошки. Мальчишечьи лица были смешливы у футболистов «Урана», а шеи тонки.

Отдельно от всей команды стоял капитан Кузьяев, храня на лице ответственность и заботу. Куликов выделялся могучим своим костяком. Мигалкин вблизи был такой же, как и на донышке стадиона, с подсолнухом-головой.

Явился тренер «Урана», седой, в темно-сером костюме, с почетным значком в петлице. Он пригласил Никола в автобус и сообщил команде:

— Нашу игру приехал смотреть корреспондент.

Команда оборотилась к Владиду. Он радостно засмущался, подумал: «Ну вот, приехал не зря. Теперь они будут стараться».

— Как настроение? — бодро спросил он у молодого парнишки, сидевшего ближе к нему, Непонимаева или Садыева. — Какой будет счет?

— У тренера спрашивайте, — сказал парнишка.

Автобус вскоре въехал на стадион. Команда ушла в раздевалку. И тренер ушел. Владик двинулся по окружиию поля. Стадион наполнялся мужчинами в белых рубашках. Мужчины несли под мышками пиджаки. Милиция выстраивалась в проходах, Владик чувствовал на себе ее взгляд. Он сел на низенькую незанятую скамейку, вынесенную к самому полю.

Владик видел траву на поле, мог различить незатоптанный подорожник и одуванчик. Тут грянул судейский свисток, и «Уран» навалился на «Крылья Советов». Не стало смешливых мальчишек, неслись по полю готовые к бою мужи. Алябьев частил ногами по левому краю, по правому краю бежал Кузьев. Обманывал вражеских стопперов Ося Мигалкин. Урчал стадион. Садилось солнце. Сочилась багровость заката. Станислав Телепенин в падении схватывал мяч ногами, выкидывал его Куликову. Куликов сносил попавших навстречу хавбеков «Крыльев Советов». В двадцать тысяч глоток свистал стадион. Тут не было иронических объективистов. Все болели за «Крылья Советов».

Только Владик Николин, сидя на низкой скамейке у края поля, кричал Мигалкину:

— Ося, давай!

«Уран» нажимал. Защита его прибежала в центр поля. Кизяев с мячом доходил до вратарской площадки. Взлетали над скопищем футболистов угловые мячи. Метался вратарь. Стадион заходился разбойничьим свистом. Этот свист выражал не презрение к дрогнувшим «Крыльям Советов», а как бы угрозу: «Нас двадцать тысяч! — свистали мужчины. — Наш город вам не позволит! Мы все против вас!»

...Атака нахлынула, захлестнула штрафную площадку «Крыльев Советов», Станислав Телепенин вышел с мячом на свободный прогалок и шпажным ударом воткнул его прямо в ворота. Стадион поперхнулся свистом, примолк. Владик хлопал в ладоши и вскрикивал: — Браво, «Уран»!

Как вдруг появилась откуда-то боль. Будто пчела укусила в шею. Он отмахнулся, поймал чью-то руку:

мужчина, сидящий за ним, воткнул в его шею горящую папиросу. Мужчина оскалил зубы. Его соседи тоже оскалили зубы. Они смеялись.

— Ты что это делаешь? — сказал Владик мужчине. — Ты где находишься?

— Извините, — сказал мужчина, — хотел в урну кинуть, да не попал.

— А ты чего это, парень, «Урану» хлопаешь? — сказали с верхнего ряда. — Мы тут все болеем за «Крылышки». Ты нам не мешай. Мы это не любим.

Владик ссутулил спину, смолчал. «Уран» теперь оборонялся. Куликов откатывал мяч своему вратарю. Телепенин пулял как попало. Мигалкин плел кружева. Мяч то и дело выскакивал с поля на гаревую дорожку, залетал на трибуны. «Уран» тянул время...

«Боже мой, — думал Владик Николин, — ведь они проиграют... Пускай бы лезли в атаку...»

Воспалюсь закатное небо. Мужчины надели на плечи черные пиджаки. Все труднее было держаться «Урану». Все чаще свистел на поле судья. «Как я выберусь, что со мной будет?» — думал Владик Николин. Он не хлопал теперь в ладоши, не подбадривал Осю и Боря. «Крылья Советов» забили ответный гол.

Наступил перерыв. По-южному скоро сгустились потемки. Не стало видно трибун стадиона. Прохлынул сверху пыльный и синеватый прожекторный свет. И снова забился мяч в воротах «Урана»... Свистал стадион. От свиста, казалось, рождается ветер. Ни яхты на море, ни рейсовый самолет, ни песни Эдиты Пьехи не отвлекали мужчин от футбола. Город Куйбышев жаждал победы, расправы. Он свистел в сорок тысяч пальцев.

«Уран» сбился в кучку, махал руками. Было видно, что это мальчишки, что им неприятно под свистом, под светом прожекторов. На табло появились новые цифры: два — один. Стадион весь полнился грозной радостью. «Крылышки» победили. Двадцать тысяч мужчин понесли свою радость по теплым, черным, тополевым улочкам. Всюду слышался смех и говор, шелестели шаги и пыхали папиросы.

Оля шагнула навстречу Владику. По-новому были прибраны ее волосы, каблучки стали выше и тоньше. Оля покрасила губы, подрисовала глаза. В свете люминес-

центных фонарей лицо ее представлялось напудренным, подсиненным, немолодым. Оля вышла навстречу Владiku в строгом костюме, красивая, крупная женщина, доктор.

— Вы не узнали меня, я вижу, — сказала Оля. — Мне стыдно, что я преследую вас...

— «Уран» проиграл, — сказал Владик. — Весь этот футбол — чепуха. Десятки тысяч людей занимаются самообманом. Стране нужны трубы — вот в чем состоит соль момента.

— Вы разочарованы вашим «Ураном»? — сказала Оля.

— А, черт бы его побрал... Мне не нужно жениться в волжском городе. Я женился на другой реке...

Вдруг появилась Галя, тоже с новой прической, в костюме и с сумочкой через плечо. Она пошептала о чем-то с Олей, сказала Владiku: «Извините» — и растворилась во тьме.

— Вы, наверное, думаете, — сказала Оля, — что мы с Галькой только и делаем, что охотимся на кавалеров?

— Да нет, почему же?..

— Мы только вчера с ней приехали с практики, никого еще наших нет. Вот мы и слоняемся, бездельничаем. Отвыкли от города, приятно с ним повстречаться. Все же город у нас хороший, старый, добротный, купеческий город — Самара... С каждым домом поздороваться надо: родня. Тем более нам последний годочек остался, а там прощай Самара-городок...

— Ну и куда же? — спросил Владик Николин.

— Мне очень хочется в Ленинград, — сказала Оля и посмотрела на Владика прямо, весело, чуть лукаво. — Но я отлично понимаю, что это — несбыточные мечтанья. Поеду в Заволжье, в Чувашию. Я была там на практике, на сахарном заводе, в маленькой больничке. На заводе девушки одни работают. По вечерам мы с ними выйдем, бывало, за околицу. Закаты чистые-чистые, лимонного цвета. И голоса у девчонок чистые, красивые. Сядем и поем протяжные песни. И грустно, и хорошо! И вся жизнь там какая-то чистая, прозрачная, медленная. Как песня... Я решила уже, поеду туда работать.

Так они шли мимо садов и беленых домишек, присаживались на пристроенные к оградам скамейки, курили,

болтали. Жители домов притаивались, выключали радио, слушали.

Оля проводила Владика на вокзал.

Поезд был пассажирский, тащился по истомленной летом, белесо-желтой равнине. Было душно, и пыльно, и голодно ехать. Старуха в длиннополой с оборками юбке везла младенца и цацкалась с ним, утирала огромным своим подолом, кормила мякишем хлеба, намоченным в молоке. Старухе ехать было в Житомир и дальше. Младенец ей доводился внучком. А дочь ее со своим чоловіком жила в уральских степях, они поднимали целинные земли. Старуха к ним ездила гостевать. Теперь молодые решили податься куда-то совсем далеко.

— Хиба ж я знаю куда, — горевала старуха. — От дитятко кинулы на мэнэ — шоб вин сказывся.

Ехал в отпуск здоровый, с вороной шевелюрой сержант. Он говорил, что когда отслужит, то не вернется к себе на родину, в Закарпатье. «Как малые дети все там калякают, шо красиво. А шо — красиво? Сады? Так та же красота мне не светит. Больше семидесяти пяти рублив на цей красоте не зробишь в місяц». Сержант говорил, что он расстался без сожаления еще до армии с родимой землей и уехал в Томскую область. Там он получил профессию тракториста, работал в тайге на трелевке и каждый месяц имел по двести двадцать, по двести тридцать. Он говорил: «Мне шо город, шо сельская местность, шо жить у лисе — разницы нет никакой. Кинофильмы одни показывают, а жизнь я себе построю какую мне надо — хоть где». Сержант говорил, что служит уже два года и служба ему легка, потому что его назначили в полку комендантом учебного корпуса. Он живет независимо от распорядка, имеет приемник «Спидолу», только ночует в казарме, а так сам себе голова. Он дал себе слово, что водки не выпьет ни грамма, пока не отслужит. «Девушки есть, конечно, сколь хочешь бери, — рассказывал пассажирам сержант, — да только походишь с ней, потанцуешь, поговоришь, шо и как — и видишь: не то. Она замуж пойдет, а кушать сготовить не знает, с ней надо идти в столовку, в ресторан... И в сельскую местность она не поедет, ей в городе надо. Похо-

дишь, посмотришь — и думаешь: нет, не пойдет... Успею еще».

— Куда же спешить, — одобряли сержантову тактику пассажиры, — успеешь намучиться...

Владик Николин глядел в окно, пейзажа не замечал; глаз его устремлялся к прилавкам станционных буфетов, к цыплятам и помидорам. Хотелось хлебного мякиша с молоком, и кукурузного початка, и варенца. Но приходилось терпеть. Владик ехал в Москву, возвращался с футбола. Хрустела пыль на зубах, стучали колеса. Плакал младенец, выплевывал хлебный мякиш. Сержант излагал свои взгляды на жизнь, исполненные мужской основательности. День полз со скоростью пассажирского поезда. И все города, водоемы и рощи, фабричные трубы и села расположились где-то поодаль от этой дороги. Казалось, что и столица останется в стороне.

Поезд будто лез в гору, сбивался с хода и лязгал. Владик задремывал, но не спал и чувствовал телом эту натугу, усталость поезда на длинной железной дороге. И мысли, которые приходили ему, оставляли железный привкус во рту. «Для веселия планета наша мало оборудована», — думал Владик Николин и радовался такому уместному правильному стиху. Он думал о жизни как о долгой, жесткой железной дороге. Все рестораны, и стадионы, и девушки — Оля и Галя — все это короткие остановки, видения на экране. «Жизнь очень, очень серьезная штука, — думал Владик Николин и усмехался: — Ах, ах, Владислав Константинович, какая оригинальная мысль!»

Поезд сплющивался, скрипел, подходя к остановке. Топали по вагону люди. С перрона пахло отхожим местом, борщом и каменным углем. Владик прислонялся затылком к жесткой перегородке и думал: «Все суета, суета... Только поддайся этим соблазнам двадцатого века — этим матчам, полетам и девушкам на вечерних панелях — понесет тебя. И пыли от тебя не останется». Владик думал, что жить ему надо серьезно, весомо и скромно, сжиматься в комок и бить в одну точку, не тратить себя...

«Надо бороться с этой буржуазностью, — думал Владик Николин, — с этой привычкой развлекаться, услаждать себя зрелищами. Вся жизнь — это труд, только труд, а радости коротки, неощутимы...»

Ему представлялся далекий заводик где-то в чувашском Заволжье, чистый лимонный закат, и девушки пели грустными, чистыми голосами. И все было чисто и скудно вокруг. «Я мог бы там жить, — думал Владик, — преподавал бы химию в школе. Оля была бы врачом. Нас бы уважали в поселке...» Думая так, он не верил, что это может сбыться. Но тем заманчивей было мечтать о заново начатой жизни трудов и чистых радостей.

Владик подумал о тренере, о седом несчастливом мужчине. Тренер, должно быть, не спал эту ночь, но не пил, не курил. Команда, наверно, гуляла. Команда глупа, молода. Тренер думал о длинной и жесткой дороге: надо идти день за днем, все идти, и подхлестывать команду, и удерживать ее в узде. И работать, работать. Чтобы куда-то прийти. Но — куда? И — когда?

Поезд, хотя был медленный, пассажирский, но все дальше увозил Владика от волжского города, от футбола, от «Урана» и «Крыльев Советов», от Мигалкина и Кудрейко, от несчастливого тренера и двадцати тысяч ликующих местных мужчин. Хотелось Владiku выпить кефиру и съесть пирожок. Голод томил его, жал. Но откуда-то шло облегчение. Надо было что-то решить — и наступит свобода. Какое-то разрешительное слово рождалось в сознании Владика.

«Ну вот и ладно, — подумал он вдруг. — И хватит с меня футбола». Сразу стало ему легко, впервые легко за двое суток суетной, дерганой жизни. Подумав, он радостно удивился простоте и очевидной, непререкаемой верности своего решения. «Попрыгал — и хватит. И все. И довольно. Мужчина, а не кузнечик».

Тут как раз прозвучал женский радиоголос: «Поезд номер четыреста двадцать восьмой прибывает в столицу нашей родины, город-герой Москву». Вещей у Владика не было никаких, он первым спрыгнул с подножки и скорым, напористым шагом на что-то решившегося человека зашагал по пустому еще перрону.

ДВА ПОДЛЕЖАЩИХ В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Вадим Кудасов стал заниматься борьбой еще в школьные годы, во Дворце пионеров. Его первый учитель, мастер спорта, борец Шукаев, ему говорил: «Вот, смотри на меня. Я был сосиской. Меня дразнили сосиской. Я был весь как палец. У меня плечи и руки болтались, как кисточки. А теперь я стал уже сарделькой...» Шукаев показывал Вадиму свои теперешние руки, свой торс — эту медь, эту бронзу — стальное, античное тело мужчины. «Мужчина должен быть сильным, жестоким, — учил Вадима мастер Шукаев. — Но он должен быть и нежным. Жестоким — и нежным».

О, эта наука наших первых учителей! Эти первые формулы жизни: «Я был сосиской, а стал сарделькой...»

Вадим занимался в школе классической борьбой, а когда поступил в институт, то выбрал себе борьбу самбо. И мастер спорта по самбо Улахин ему говорил: «У классиков главное — это шея. Они сойдутся и жмут на загривок друг другу — кто кого пережмет. А в самбо сила нужна плюс воля, плюс резкость и плюс интеллект. Это женщины любят. Они подчиняются силе, воле и интеллекту. Бабы любят самбистов. Они покоряются нам. Они должны покоряться. Такая у них природа...»

Улахин учил Вадима, как надо сражаться с плохим человеком, с бандитом — на тротуаре в ночном бою. Он говорил, что нужно хряснуть бандита сверху по подбородку. И хорошо, когда у бандита волевой подбородок торчит вперед, когда развита нижняя челюсть. Она отвалится от удара, как трухлявый карниз...

Вадим со злорадством думал об этих воспетых Джеком Лондоном и Редьярдом Кипплингом мужских волевых челюстях. С жестокой нежностью он обнимал на ковре своих волевых соперников. Он побеждал их — сначала в среднем, потом в полутяжелом весе. До тяжелого Вадиму не хватало всего полкило. Он был сосиской, а стал к четвертому курсу сарделькой.

В команде вуза, в котором учился Вадим, тяжелолюбов всегда не хватало. Студенчество было тощим во все века. И в нашем веке оно выступало в наилегчайшей, полулегкой, легкой, полусредней и средней весовых категориях. В тяжелом весе некого было ставить, кроме Вадима.

Он нарастил себе мышцы борьбой, стал здоровым и рослым детиной. Его дружки по спортивному клубу, баскетболисты и теннисисты, ему говорили: «Сколько можно валяться в пыли и в поту? Чего ты елозишь мордой по грязной тряпке? Не надоело тебе пыхтеть и кряхтеть и обниматься на ковре со всякими кретинами?..»

Эти доводы разъедали железные формулы тренеров по борьбе. Кудасов стал пропускать тренировки. Ему больше нравилось ездить на лыжную базу в Кавголово. Тренер лыжного спорта Иосиф Гаврилович Шпак говорил перед строем команды: «Лыжи — это как первая любовь. Потом вы можете заниматься в жизни хоть чем, но без лыж вам уже будет скучно. Лыжный спорт развивает не только мускулы, но и сердце. Борец уткнется носом в волосатую грудь своего противника, какого-нибудь там Кукишвили, — и вот весь его горизонт. Баскетболист прыгает, как блоха в кармане, — и в этом весь его спорт. А лыжник имеет дело с небом, солнцем, ветром, с пространством. Его кровь насыщается кислородом. Кто не стал в жизни лыжником, тот себя обокрал и обидел...»

Вадим Кудасов слушал тренера Шпака, и сердце его заходило от счастья первой любви. Он влюблен был в лыжницу, в члена сборной команды...

Но когда наступило время первенства вузов по самбо, Кудасова заявили за команду в тяжелом весе. Больше не было в вузе тяжелых ребят. Команда могла получить баранку.

Кудасов отправился на соревнования пораньше, чтобы прикинуть свой вес до официального взвешивания. Если бы вдруг не хватило каких-нибудь граммов — то

еще оставалась возможность выпить бутылку-другую сидро и добрать недостачу...

По дороге в спортивный зал он заехал к тетушке на Васильевский остров. Тетушка долгое время болела. У нее был рак легких. Мать Вадима решила перевезти тетушку к себе домой: пусть живет, что осталось. Мужа тетушка потеряла давно; заболев, стала чаще плакать по мужу. Ее дочка Нина закончила вуз и уехала в Северный Казахстан. Кроме Вадима, некому было снести тетушку вниз по лестнице до такси и после снова взять на руки, как младенца, поднять на четвертый этаж, в куда-совскую квартиру.

Вадим пришел к тетушке и сказал, чтобы она потерпела еще немножко, что он отборется на соревнованиях и приедет за ней. Но тетушка не хотела этого слышать. Она истомилась сопротивляться своей болезни и говорила, что вот все покинули ее, обманули...

— Какая борьба, — говорила Вадиму тетушка, — чего она стоит, твоя борьба, когда я здесь одна помираю. Твоя мать, моя сестра Надежда, мне может делать уколы, колоть алоэ, у нее хорошая рука; и я еще, может быть, тогда встану на ноги. Алоэ мне помогает, но эта сестричка из поликлиники неправильно колет. Алоэ не попадает мне в кровь, а все растекается под кожей. Она ничего не умеет. Она не любит свою работу. Да еще участковый врач ко мне приходит — недоразуменье божье... У него ширинка всегда не застегнута. Какой же помощи может ждать больной человек от сиволапого мужика, который не научился застегивать себе ширинку? Не люди кругом, а какие-то гоголевские герои с повышенным РОЭ... Только Надя поставит меня на ноги. Я в нее верю. У нее счастливая рука. У меня не может быть рака. Я просто слишком переутомилась за зиму. Твоя мать обещала найти мне массажистку. У меня немеют руки. Смотри, какие появились на фалангах пальцев желваки... Мне срочно нужен массаж... А ты позволяешь себе оставлять меня тут одну, и у тебя хватает совести говорить о какой-то мерзкой борьбе... Это просто бесчеловечно...

— Но, тетушка, — говорил Кудасов и нервно, натянуто улыбался, — спорт, он требует жертв...

— Боже мой, боже мой... — горестно восклицала тетушка, — все разучились говорить по-русски. Ну разве

же это по-русски: «спорт, он?» Почему ты не скажешь просто: «Спорт требует жертв?» Почему ты в одно простое предложение втискиваешь обязательно два подлежащих? И все, все стали говорить так. По радио только и слышишь: «литература, она... искусство, оно... наука, она...». Только неучи и серые люди могут позволить себе строить простое предложение с двумя подлежащими...

Тетушка преподавала в школе русский язык и литературу.

С неестественной, жалкой улыбкой Вадим уходил из тетушкиной комнаты, он понукал себя уходить, он опирался на формулу своего отрочества: «мужчина должен быть жестоким...».

— Вернись, — звала вдогонку тетушка. — Пожертвуй ради меня своим спортом...

— Я приду за тобой через три часа, — отзывался Вадим из прихожей. Он убегал, убегал и кому-то уже грозился: «Ну ладно, я вам всем покажу!»

До тяжелого веса Вадиму не хватило четырехсот граммов, он выпил бутылку брусничного лимонаду, снова встал на весы, и все сошло хорошо. Вадим обулся в борцовки, надел борцовскую куртку, перепоясался и сел на скамейку участников. На ковре боролись крепкие пареньки. Их подсечки, подножки, зацепы, перевороты, полусуплесы и мельницы не занимали Вадима. Он рассеянно, отстраненно глядел на борьбу, как захожий по случаю зритель. Он не думал о тетушке, но что-то осталось в нем оттуда, от тетушкиной сумеречной комнаты, от ее сухоньких засиневших пальцев с желудями раковых метастазов под тоненькой кожей. Осталось чувство чуть тепленькой, слабой и родной человеческой жизни. И вина перед ней, и упрек...

На ковре кряхтели, и тужились, и ломали, давили, крутили друг дружку все более крупные парни. Зал вскрикивал, хлопал в ладошки и обмирал. Виднелось много девчонок...

Кудасова вызвали на ковер — и ряды, и хлопки, и девчонки вдруг отодвинулись от него и выравнились в сплошную смутную занавесь. В сознании всплыли наказы учителей: «На ковер выходишь — гляди орлом! Не замечай своего противника! Дави на него презрением!

Презирай его всеми фибрами существа! Психологически на него воздействуй!»

Вадим почувствовал, как подтянулся и затвердел у него живот. Противника он не видел, противник двоился, троился в глазах Вадима. Но Вадим уже знал, что весу в противнике сто килограммов, что куртка ему тесна, что ляжки его розоваты. Он знал, что противник сырой, что тело его не обработано спортом, что мышцам не хватает нервности...

Кудасов набылся, растопырил руки и шагнул на встречу противнику. От того уже пахло потом. Он боялся Вадима. Кудасов грубо взял его за воротник куртки, чтобы вконец подавить своим презрением. Противник уцепился за рукав Вадимовой куртки. Он был очень силен.

Кудасов сделал вид, что хочет его пересилить, зацепил стопой ногу противника и стал опрокидывать навзничь. Все эти движения были обманны, но противник не понял. Он уперся ногами в ковер и жал всем весом. Кудасов внезапно отступил вбок и сделал подножку. Противник споткнулся, не устоял. На лету Вадим его придержал и перевернул на спину. Все судьи подняли руки.

Это была азбучная комбинация в самбо: передняя подножка от зацепа стопой. Противник Вадима еще не освоил азбуку. Судья на ковре объявил чистую победу Кудасова. Схватка длилась минуту и восемь секунд.

Когда Вадим встал на углу ковра — победитель, — когда он развернул плечи и поднял подбородок, он вдруг увидел посреди неясного, слитного шевеления зала лицо своей девушки — лыжницы. Она смотрела на Вадима. Он не звал ее смотреть, потому что бегал всю зиму на лыжах и редко ходил в зал самбо. Лыжи были их первой любовью.

Кудасов медленно посмотрел на девушку и отвернулся. Заставил себя позабыть про нее. Ему предстояло еще бороться...

Вторым противником у него оказался восьмипудовый толстяк. Опрокинуть его подножкой или подсечкой было не так-то просто. Он возвышался громоздко, неколебимо, как камень под Медным всадником. Тогда Вадим просунул руку ему под мышку и за спиной ухватил его за кушак. Толстяк повторил все то же, что делал с ним Кудасов. Он стал протискивать свою лапу под мышку Вадиму, хватать за кушак. Кудасов этого и хотел от

него, заблокировал его руку, уперся ему стопой в лодыжку и повалился на ковер. Толстяк упал вместе с Вадимом, обрушил на него свои восемь пудов. Вадим не успел вывернуться, лежал немножко под грузным дядей; он чувствовал дурноту, слабость и медленное кружение в голове...

Но все-таки вылез и уложил толстяка на ковре и оседлал его. Толстяк переваливал живот влево и вправо, сучил ногами. Вадим продержал его двадцать секунд. Судья засчитал очко за удержание. Тогда Кудасов схватил белую круглую ногу толстяка и стал давить запястьем на ахиллово сухожилие. Это был болевой прием. Толстяк испугался, забился, задергал ногой. Он хотел отнять у Вадима свою ногу, но Вадим не давал. Он давил партнеру на ахиллово сухожилие, и толстяк не знал, как ему защищаться. Вадиму было не жалко его: «мужчина должен быть жестоким...».

Судья склонился над ними и ждал, когда толстяк сообщит о своей капитуляции хлопком руки по ковра. Но толстяк все терпел. Быть может, он забыл о хлопке или решил помереть, но не сдаться. Судья остановил схватку и объявил победу Кудасова. Он сообщил, что Кудасов победил болевым приемом «ущемление ахиллового сухожилия».

И опять посреди туманной мешанины зрительских лиц для одного Вадима вдруг засияло лицо его девушки. Любовь и восхищение доходили к нему сквозь ряды, над головами судейской коллегии. Но он не поддался любви и ничем не ответил на взгляд. Чувство власти и воли, желание снова бороться, ломить, побеждать овладели сполна Вадимом. Он бурно дышал, поводил сощуренными от страсти очами. Лицо любимой девушки всплыло и сразу же кануло...

В третьем круге бороться с Кудасовым вышел перворазрядник Забудько, студент философского факультета, белобрысый плечистый парень с высоким лбом, сильной челюстью, с голубыми глазами — философ, гоголевский герой Хома Брут. На первенстве города он победил по очкам мастера спорта Картузошвили. На тренировках Забудько трудился как лошадь, и если проигрывал на ковре, то оспаривал мнение судей. Убедить его в поражении было нельзя. Он поставил себе задачу, наметил программу — превратить свое тело: плечи, бедра,

живот и шею — в агрегат для побед, в нечувствительную к боли, к соблазну, к морозу машину без нервов.

Всю зиму Забудько ходил в одной гимнастерке. Он имел железную волю, как немец Пекторалис в рассказе Лескова «Железная воля». Он медленно, многотрудно шел год за годом к своей вершине. Он поднялся до тяжелого веса. В нем было восемьдесят пять килограммов мускулов и костей. . .

Забудько вцепился в рукава кудасовской куртки; Вадим почувствовал жесткость, железную хватку машины. Он близко увидел холодную ясность Забудькиных глаз. Забудько притянул его к своему торсу, приобнял и повалился с ним на ковер. Забудько был наверху, над Вадимом. Он блокировал ему шею и плечи, чтобы Кудасов не встал на мостик, не увернулся. Он методически раздвигал Вадима и подавлял любую его уловку. Он все умел и предвидел, ему хватало силы играть с Вадимом. Четыре года Забудько ходил на все тренировки — в одной гимнастерке в пургу и в ноябрьский дождь. Он удержал Кудасова двадцать секунд распростертым на ковре, заработал себе очко и стал разнимать сцепленные Вадимовы руки. Ему нужна была одна рука, он хотел ее взять на рычаг и победить болевым приемом. . .

Но Кудасов терпел, не давал свою руку Забудьке. Было очень больно терпеть, но он говорил себе: «Ничего. Ему хуже. Тянуть труднее, чем держать. . . Не отдай, не отдай, не отдай! Он сдохнет. Он должен сдохнуть. Ему не хватит дыхания. У меня разработаны сердце и легкие, я всю зиму ходил на лыжах. Он возился в пыли, в духоте. Он должен сдохнуть. . . Держись!»

Забудько силился отобрать у Вадима руку. Он цеплял ее острым ребром своего запястья, костяшкой — так было больнее. Он рвал, напрягался, работал всем телом, всем весом, но Вадим не давал. Он все же вывернулся со спины на живот, уткнулся носом в ковер и страдал и терпел. Ему слышно было, что Забудько уже начинает сопеть. Забудько таскал Кудасова по коврику и мучил его, но предстояло еще бороться много, много, много минут. Забудько должен был задохнуться. . .

Судья дожидался, когда Забудько завладеет рукой Кудасова, возьмет ее на рычаг и станет ломать — когда ему удастся болевой прием и он одержит победу. Но

Вадим не давался Забудьке, судья подошел и скомандовал: «В стойку!»

Забудько стал спорить с судьей. Кудасов встал. Ему дышалось привольно и тихо. Судья объявил Забудьке предупреждение за спор...

Философ снова кинулся на Вадима. В груди у него — было слышно — уже kloкотали мехи. Он ухватился за воротник куртки Вадима. Он подавлял психику своего противника грубой, жестокой борьбой. Философ был методичен, привержен системе, упрям. Он работал технически однообразно, но мощно, свирепо. Кудасов безнадежно проигрывал по очкам. Забудько рвался к чистой победе. Кудасов лежал лицом на пропитанном пылью и потом ковре и думал о длинной, чистой, снежной лыжне... Судья объявил, что минуло семь минут схватки. Вадиму дышалось легко. Забудько хрипел...

Опять они поднялись из партера. Оставалось еще три минуты... Забудько на этот раз не шагнул к своему противнику. Он словно позабыл о непременной обязанности победить. Он, кажется, покачнулся... Он жил все годы на стипендию да еще прирабатывал в натурном классе Академии художеств. Юные художники и художницы рисовали его рельефную грудь и поджарый живот. Он никогда не катался на лыжах, кормился тощей столовской едой. Он ходил всю зиму в одной гимнастерке. Забудько хотел победить — системой и волей. Но оставалось еще три минуты...

Вадим пошел к Забудьке и крепко схватил его за воротник. Он свалил его боковой подсечкой на ковер и сел верхом на него. У Забудьки была красная, мощная шея борца и могучая нижняя челюсть. Голубые глаза и железная воля. Он был Пекторалис. Он был Хома Брут. Он победил грузина Картузошвили...

Кудасов надавил Забудьке пястью на подбородок, прижал его затылком к ковра, чтобы унижить. Это было ненужно и грубо, но Вадим не мог удержаться. «Мужчина должен быть жестоким...» Судья их поднял. Кудасов кинулся к Забудьке. «Мужчина должен быть нежным...» Он обнял его, подержал в объятиях и кинул через бедро. Да еще помог себе махом ноги... Забудько обрушился на спину. Кудасов остался стоять над ним...

— Броском через бедро с отхватом, — объявил

судья, — за девять минут сорок восемь секунд победил Кудасов.

Судья развел противников по углам. Забудько не спорил с судьей. Казалось, что он не понял еще своего поражения, не знает о нем и не видит судью... Зал аплодировал студенту Кудасову...

Перед залом разыгран был драматический поединок двух сильных мужчин — гладиаторский бой... Но в этот раз Кудасов не увидел в зале лица своей девушки: позабыл про нее... Он подошел к судейской коллегии и попросил его отпустить.

— Я доборюсь последнюю схватку завтра утром, — сказал Вадим судьям. — Меня дожидается очень больной человек. Он может скончаться, если я не приду к нему сейчас и не перевезу его в больницу.

— Ну что же, — ответил главный судья, — мы не можем вам отказать... Вы хорошо поработали — три чистые победы. Не опоздайте завтра на взвешивание...

К Вадиму кинулся тренер Улахин, увел его в сторону и зашептал:

— Ты можешь сейчас работать как зверь. Ты не выложился еще. Ты в самом разгоне. Ты сейчас можешь подсечкой телеграфные столбы валить. Ведь одна схватка тебе осталась... Доборись до конца, а после хоть пьянствуй всю ночь, хоть с бабами развлекайся...

— Нет, я никак не могу, — сказал Вадим тренеру. — Мне нужно отвезти одного человека в больницу. Я обещал.

...И он вышел на улицу, в город.

Были весомы и гулки шаги Кудасова в весеннем вечернем городе. Он не первый год занимался борьбой, побеждал в среднем весе и в полутяжелом. Немало схваток он проиграл на ковре — по очкам и чисто. Но побеждать трижды подряд в один вечер в тяжелом весе Вадиму еще не случалось ни разу.

Его глаза не встречались с глазами прохожих. Он видел только значительные предметы: Исаакиевский собор, Петропавловский шпиль, вздыбленный над Невой Дворцовый мост, Адмиралтейство... Нужно было идти на Васильевский остров к тетушке, но в той стороне город был ниже ростом, темнее. По мосту сновали люди, ма-

шины, трамваи. За мостом начинался Невский проспект — средоточие жизни, страстей и веселья. Проспект победителей...

Кудасов поглядел на нелюдимо темнеющий вдалеке Васильевский остров и зашагал прочь от него. Он взошел на Дворцовый мост. Ему показалось, что город ложится к его ногам сплошным борцовским ковром. Он перешагивал через поверженных корифеев. Мекокишвили, Картузошвили и Даушвили валялись в ногах у Вадима. Город хлопал в ладоши Кудасову.

Чувство победы переполняло его: победа уже совершилась и будет всегда. Такой борец, как Забудько, не мог проиграть случайно...

Кудасов уходил все дальше от тетушки, он не ждал, не искал свою девушку и не корил себя, не винил. Победа казалась ему единственно стоящей сутью и целью. Победа оправдывала все. Он был жестоким в борьбе и вышел в город — жестоким и горделивым. И абсолютно свободным от обязательств, от сострадания и любви.

Кудасов шел по проспекту и отправлял в партер, на ковер встречавшихся ему студентов, доцентов, майоров, юнцов и солидных мужей. Он кидал их через бедро, валил подсечкой, подножкой, отхватом, совершал мельницу, ножницы, перевороты. Юнцы и майоры не знали об этом, но все валились кулями, где проходил Кудасов. В городе не было равного ему мужчины.

Так он вошел в ресторан «Европа». Там сидели его знакомые баскетболисты с очень красивыми девушками. Днем этих девушек Вадим никогда не встречал. В его институте, в коридорах, на семинарах и на комсомольских конференциях эти девушки не бывали. Они появлялись по вечерам в ресторане «Европа», их приводили баскетболисты и теннисисты. На баскетболистах были надеты синие, в белую полосу, пиджаки с ниспадающими плечами, а на девах — вечерние платья с подолами до пят. Такие платья входили в моду во времена кудасовской юности. За столиком девушки больше молчали, курили, проглатывали коньяк с шампанским, танцевали и часто, парами, бегали в туалет и долго не возвращались оттуда. Они семенили пальчиками, сшибали пепел с сигарет, хотя пеплу не успевало еще нарасти...

На Кудасова поглядели, но коротко, вскользь, и опять поглядели. Он подумал, что надо бы как-то блеснуть,

рассказать анекдот. Но припомнить не смог ничего и подумал, что ладно, пускай. Все равно он три раза подряд победил...

— Я прямо с первенства вузов сюда, — сказал Кудасов и всех одарил открытой улыбкой. — Я там боролся. В тяжелом весе. Троих уломал. В одном килограммов сто двадцать было... Я ему сделал переднюю подсечку с падением, сам упал, а он на меня плюхнулся своим пузом. У него пузо тугое, как баскетбольный мяч...

— Фу, как невкусно, — сказала курившая справа брюнетка, со шрамом на щеке.

— Ва-ам даду-ут о-орден за ваши заслу-уги? — сказала, растягивая слова, курившая слева беленькая девушка в палевом блестящем платье с тряпочной розой в углу декольте.

Баскетболист лениво сказал скабрёзность по поводу ста двадцати килограммов. Брюнетка стряхнула пепел пунцовым коготком. У блондинки ногти окрашены были в палевый цвет, как платье. Она тоже стряхнула пепел...

— Борьба самбо, она... — сказал Кудасов и сгреб со стола сигарету, хотя никогда не курил, — она дает нам силу и власть. — «Два подлежащих в одном предложении... — вдруг вспомнилась ему тетушка. — Борьба самбо, она... Для чего мы ломаем язык?.. Только неучи, серые люди...»

Тут заиграла музыка и солист запел:

На заливе закат догорал.
Шли, обнявшись, влюбленные пары,
А-а-а я сердце свое потерял
На широком Приморском бульваре.
А-а-а я сердце свое потерял...

Вадиму очень нравилась брюнетка. У нее было все же не слишком длинное платье, он видел ноги брюнетки в чулках с черной пяткой, хотя старался туда не смотреть.

Но блондинка нравилась ему больше. Он видел в ней грацию, утонченность...

Его девушка, лыжница, член бюро комсомола, ходила всегда в пиджаке с комсомольским значком и в прямой грубошерстной юбке...

Вадим привстал, наклонился к брюнетке и пригласил

ее танцевать. Она казалась попроще, поближе, чем блондинка, — платье у нее без шлейфа и шрам на щеке. «В чьих-то лапках уже побывала пташка...»

Брюнетка сказала:

— Извините, я не танцую.

Вадим ухмыльнулся, припомнил о трех победах и потянулся к блондинке:

— Разрешите вас...

— Простите, — пропела блондинка. — Я не танцую.

Тут встали баскетболисты, высокие парни, лощеные франты, стилиги; их волосы были уложены с бриолином, плетеные рижские галстучки были узки и пестры; их лацканы были украшены круглыми бляшками чемпионов «Науки» по баскетболу...

Кудасов сидел в непраздничном пиджачке, его толстая шея борца не обернута галстуком, он ободрал лицо о ковер, не помылся в душе после борьбы, его волосы все сваялись и были потные...

Газеты тогда начинали кампанию против стилиг. Кудасов подумал про девушек и баскетболистов: «Стилиги!» Он крикнул официантке:

— Девушка! Сто граммов водки, селедочку и бутылку боржомии.

Он думал при этом: «Зачем? Что я делаю? Ведь я не хочу. Мне завтра бороться...»

Вернулись баскетболисты с подругами. Вадим выпил водку и очень внимательно, пристально действовал вилок над блюдом. Компания села, задыхалась, заговорила на языке полуслов, полуфраз, междометий и полуулыбок. Она занялась шампанским и коньяком.

Кудасов приподнял глаза от стола, стал смотреть на умолкнувший оркестр, на солиста, присевшего за роялем, и тихо заговорил:

— Прыгать за мячиком — это занятие для козлов и для шпицев...

Разговор за столом продолжался, как будто и не было сказано этих слов. Но брюнетка, Вадим заметил, взглянула на него ненавидящим, черным с прожельтью взглядом, и блондинка тоже махнула ресницами на него...

— В баскетбол играют только пижоны и стилиги, — сказал Кудасов. — Это несерьезное занятие. Не мужское дело. Трое самбистов среднего веса разделают любую

баскетбольную команду. Вся команда будет лежать на полу и повизгивать...

— Ты выпей боржоми, — сказал знакомый Вадиму баскетболист, — это помогает... У тебя что-то с желудком не в порядке. Или выпадение прямой кишки... Налегай на боржоми, это способствует.

— Вас не звали сюда садиться, — не вытерпела брюнетка. — И можете оставить ваши морали при себе. Они здесь вовсе никому не интересны.

— Разве вы не видите, — запела блондинка, — он же борется со стиля-ягами. Он же борец.

— С селедкой он справляется хорошо. Это ему как раз по силам, — сказал баскетболист.

— Что ты, что селедка, — сказал Кудасов, — только икру метать мастера...

— Пошли вниз, прошвырнемся, — предложил баскетболист своему приятелю, — охладим немножко самбиста.

Тот согласился:

— Пошли...

— Пошли, — взвился Кудасов. — Потолкуем!

— Ни за что не ходите с ним, — вмешалась брюнетка. — Он вас провоцирует. Он провокатор. Он вас втянет в какую-нибудь гнусную историю...

— Ничего, — сказали два чемпиона по баскетболу, двое рослых, надменных парней. — Мы его быстро устретим.

— Они же мужчи-ины, — пропела своим канареечным голосом беленькая девица с палевой розой в углу декольте. — Им надо подра-аться. Пускай они подеру-утся... Им это ну-ужно для му-ужества...

Они выходили из зала — трое рослых парней, гренадеров, атлетов. Ресторан поворачивал головы к ним, на них смотрела «Европа». Они проходили плечо в плечо. Сила каждого, стать и заносчивость юных годов увеличены были втрое. Им было славно идти втроем...

Они вошли в туалет, в просторный и тусклый подвал со сводчатым потолком. Вадим надвинулся на своих одноклассников, на друзей, на врагов... С шаловливой, дурацкой улыбкой он дернул незнакомого ему чемпиона «Науки» за пестренький галстук... И тотчас же парень ударил его в лицо...

Удар был сильный и точный, и, кажется, брызнула

кровь, но Вадим не почувствовал боли; толькожданная им свобода вдруг снизошла на него. Он не видел уже кабин, писсуаров, белых раковин и гальюнщика-старика. Он будто вышел опять на ковер, на открытое игрище мышц и страстей... Наступила развязанность рук...

Кудасов подсечкой кинул баскетболиста на кафельный пол. Другого ударил, и тот откатнулся к стене... Человеческая природа была не так уж крепка. Нужно было только себе разрешить — и валить, и давить; человеческая природа поддавалась жестокости, силе... Кудасов все больше хмелел...

Но тут в туалет вломились новые люди, они держали Вадима, крутили ему руки, он не противился им, а только напружинивал мышцы и косил глазом. Гальюнщик кричал:

— Вот он, вот он его первый ударил... — Он тыкал пальцем в баскетболиста. — Они пришли все втроем чин по чину, не так чтоб и пьяные были... А этот ему — хлобысть! А он уж тут и давай возить одного и другого. А что же делать? Не он же первый. Они бы так-то и совсем могли его заклевать...

Их повели. Подруга баскетболистов, брюнетка, ввела вешающуюся:

— Он пьяный уже явился и сел за наш столик, ко всем приставал, оскорблял. Мы его вовсе не знаем. И знать не хотим. Мы сидели своей компанией... Еще надо проверить, откуда он взялся. И проучить его по заслугам... А эти двое не виноваты ни в чем.

...Милиция — старший сержант — загибала Вадиму за спину руку. Милиция изучила боевой комплекс самбо и применяла его против злостного драчуна. Три года назад Кудасов выиграл у этого старшего сержанта схватку на первенстве города по третьему разряду в среднем весе. Старший сержант тогда был рядовым милиционером. Он нападал на Вадима все десять минут. Он очень хотел победить. Судьи спорили после схватки и порешили, что в активе у Кудасова больше на четверть очка. Милиционер ушел с ковра, не пожав противнику руку, главный судья объявил ему выговор за некорректность...

Теперь старший сержант заводил Кудасову руку за спину, брал ее на излом, устрашал его, вел вестибюлем «Европы»... Он был дюжим, нахмуренным, преданным делу блюстителем...

Вадим повернулся к нему и сказал:

— Здорово, Гусаров!

На широком, неприспособленном для поспешных движений сержантском лице чуть шевельнулись брови.

— Иди, иди, — сказал он и прихватил Вадима покрепче.

Они вышли на запыленную майскими сумерками улицу. Гусаров отвел Вадима подальше от людного места и отпустил.

— Понял теперь, как бороться с милицией, — сказал он Вадиму. — Я бы мог тебе сейчас не четверть очка, а три года строгаща схлопотать. Вот так-то... И судья бы тебе не подсудил. Ты понял теперь?

Кудасов радостно отвечал:

— Так точно, товарищ старший сержант! Я понял. Только ты неосторожно со мной работал. Я мог откусить тебе нос. Я ведь тоже кое-что понимаю в боевом комплексе...

Они поговорили еще немножко о борьбе самбо. Вадим показал сержанту пару новых приемов.

— Ну ладно, до встречи, — сказал Гусаров. — Мы еще с тобой встретимся на ковре...

— Наращивай вес, — улыбнулся Кудасов, — я втяжелом теперь работаю...

Когда Вадим возвратился — по первому солнцу — домой, под аркой его дожидалась мать. Он миновал ее твердым шагом и взбежал на четвертый этаж. И дома, в квартире, мать говорила с Вадимом не много. Она только сказала, что весь вечер его ждала тетушка Вера, что они ждали вместе, и Вера была приготовлена в путь и помыта, и необычно бодра, весела. Но он не пришел, и Вера осталась в слезах, а мать встречала его. «И вот доводстречались до половины четвертого...»

Вадим сказал матери, что всех победил и занял первое место.

— О каких победах ты мне говоришь? — сказала мать, проглотила табачного дыму, сощурилась... — Ты обманул и обидел смертельно больного человека, твою родную тетку, ты сделал ей очень больно, травмировал и без того надломленную психику. А говоришь о каких-то победах. Им грош цена, этим твоим «победам». Они — бесчеловечны.

Ответить на это Вадиму было нечего. Он не мог сказать матери о жестоком праве мужчины переступить страдание и родство для высших радостей жизни. Он поскорее уединился под одеялом и стал вспоминать все победы, одержанные в этот вечер и в ночь. Но прежнее чувство свободы, счастья и превосходства не приходило. Он заснул не сразу. Вскоре стал просыпаться дом.

Кудасов встал вместе с домом, поскорее сложил в чемоданчик трико и борцовки, тихо прихлопнул дверь на французский замок... Он шел утренним городом, мимо парковых кленов, лип и берез. Ему почему-то хотелось сказать: «Простите меня, березы и клены...» Какая-то томность, задумчивость и печаль владели им...

Так и вышел он на ковер. Его противник, курсант мореходки Безместных, мосластый, жилистый, остроглазый верзила, с рыжими волосинками на торчащем подбородке, очень мягко и шупко поводил Кудасова по коврику и вдруг взметнулся. Он рванул к себе руку Вадима, и, падая, Кудасов отдал ему руку. Вадим не успел приготовить себя к этой схватке. Он воткнулся лицом в ковер и чувствовал кровь на губах и в носу. Безместных трудился теперь над ним. Он ломал его руку, он взял ее на рычаг. Вадим похлопал ладонью по коврику. Он сдался. Судья развел противников по углам, собрал протоколы и объявил, что Безместных одержал чистую победу болевым приемом за минуту сорок секунд.

...Кудасов вскоре вышел на улицу, не уняв даже кровь, и любимая девушка догнала его на углу. На девушке был суконный черный пиджак и прямая широкая юбка, на лацкане был привинчен комсомольский значок.

— Чего же ты так? — спросила Вадима девушка.

— Как — так?

— Позволяешь себя побеждать...

— Ты меня осуждаешь за это?

— Вчера ты был лучше. Ты и выглядел иначе. Со всем другой человек. В тебе что-то античное было. Такой, как вчера, ты мне больше нравишься. Куда это ты вчера подевался?..

— Да так... — сказал Кудасов. — Женщинам нравятся победители. Вот я и решил попользоваться случаем...

— А-а-а... — сказала девушка. — Ну и как?

— Да ничего...

— Ну, пока, — сказала она и сжала губы в полоску. И заспешила наискосок через улицу, ветром сносило ей волосы, юбку. Она пригибалась немножко к ветру, и горбила спину, и прикрывалась рукой. И побежала... Кудасов глядел ей вслед и шептал: «Возвратись! Ну, вернись же. Пойми же меня, как мне плохо. Стань мягкой. Стань женщиной. Не бросай меня. Будь со мной...» Она уехала на автобусе...

Кудасов пошел на Васильевский остров. Он очень спешил.

Ему навстречу попался прыгун Коля Збруев.

— Чегой-то у тебя красные сопли? — спросил Коля Кудасова.

— Да, понимаешь, я боролся вчера, три схватки выиграл... Вчера бы я и четвертую выиграл, а я пошел выпил, и вот продул... Борцовкой мне в нос заехали...

— Кто же пьет во время соревнований? — строго заметил Коля. — Если не можешь сдержаться, так лучше не лезь. Зачем же себя позорить?

Збруев тоже был членом бюро комсомола.

Вадиму попалась дворничиха со шлангом. Она поливала панель. Вода шибала в асфальт и в гранитную стену, фырчала, брызгалась, окатила ему ботинки. Дворничиха поглядела на Кудасова и увела струю в сторону.

— Молодой человек, у вас кровь из носу, — сказала она. — Ты намочи-ка вон носовой платок-то, да прижми, поддержи на носу. Перетрудился, должно быть... Заучился совсем... И блокада дает себя знать. Кости мясом-то обросли с блокады, а все равно уж люди не те. У кого кровь с носу, а у нас вон на лестнице с тридцать шестой квартиры жиличка заговариваться стала. На Пряжку ее свезли, в психбольницу. У всех у нас, у ленинградцев, хоть что-нибудь да не так в организме. Нам бы нужно друг дружку жалеть, по-людски обращаться друг с дружкой... А тут того и гляди матюгом тебя приласкают... Ты поддержи, поддержи платочек... Уймется кровь.

Кудасов послушался дворничиху, постоял рядом с ней. Он шептал про себя: «Боже мой... как я мог... как мне жить... как мне жить... Люди болеют, страдают, люди все смертны, мы смертны... Надо жить друг для друга... Нужно быть человеческим. У нас же советская власть... Ах, как стыдно, как скверно... Как я мог вчера позволить себе обмануть мою тетку...»

Он утерся мокрым платком и заспешил по пустынному в утренний час тротуару.

Тетушка Вера не стала корить Вадима за вчерашний обман. Так сильно ей хотелось спасти от одиночества, так заждалась она, что только ласково говорила:

— Ну вот, спасибо тебе, сыночек. Не бросил старую тетку. Не позабыл про нее. У Надежды я скоро поправлюсь. Я верю в ее врачебный талант. Это у нее в крови. И бабка твоя всегда врачевала, всю деревню пользовала. И дед все умел. И роды принимал, и даже коров от ящура вылечивал... Бери меня, сыночек. Я легкая стала. Тебе нипочем...

Вадим поднял тетушку на руки. Правда, она была уже почти невесома. Ее тело уже не несло в себе тяжести плоти и жизни. Было боязно держать ее на руках. Хотелось плакать. Кудасов быстро сбежал к такси. И быстро поднял тетушку Веру к себе на четвертый этаж.

— Спасибо тебе, сыночек, — сказала она. — Как хорошо, что у тебя хватает сердца возиться с больной тетушкой. Вон какой ты стал сильный. Ты только никогда не употребляй свою силу для жестоких поступков... Я в жизни своей никогда не болела даже ангиной, пока был жив Павлик, мой муж, твой дядя. Это все чепуха, что рак происходит от алюминиевых ложек и от бензиновых паров. Люди болеют от горя.

Вадиму скорее хотелось уйти от тетки. Он не слушал ее, не думал. Он позабыл своего дядю Павла. Он занимался спортом, влюблялся, учился, на лето ездил в спортивный лагерь в сосновый лес. Его юность была предначертана для него и легка. Счастье было для всех непременно, как воскресенье в конце недели, а горя в этой счастливой жизни не стоило замечать.

Вадим потоптался и сделал веселое лицо.

— Ну что ты, тетушка, — сказал он, — жестокость иногда бывает просто необходима... Вот возьми хотя бы — Петр Первый, он был жестокий, потому что иначе было нельзя.

Тетка вытерла слезы и усталым голосом сказала:

— Только, пожалуйста, никогда не употребляй в одном простом предложении двух подлежащих. Никогда не говори: «Петр Первый, он...» Это совсем не по-русски.

ТРИДЦАТКА

Уваров яростно, жадно, с каким-то даже сладострастием катался на лыжах в парке, который был теперь близко, метров триста всего от парадной. Дом построился наконец — жилкооператив «Гвардеец». Хотя далеко до работы, зато можно кататься, кататься на лыжах. Уваров бегал одновременным стилем, попеременным, он ничего не забыл. Однажды он встретился в парке с Ленькой Шкулевым, Ленька прокатывал своего пацана. Леньке было под сорок, а пацану лет десять. Ленька взглянул на Уварова, и Уваров взглянул на Леньку Шкулева. Но они ничего не сказали друг дружке, потому что не виделись лет семнадцать и Уваров не был вполне уверен, Ленька ли это. И Ленька Шкулев сомневался, Уваров ли этот мужчина с седыми висками. Правда, Ленька не поседел, только лицо его еще округлилось с тех пор. Оно и тогда было круглым, но с годами стал бóльшим радиус Ленькиного лица.

Ленька взглянул на Уварова, толкнулся палками и пошел накатистым, чемпионским, кузинским шагом. Он отмахивал палками, подымал за собою маленькую метель. Его пацан остался глядеть на папу. И Уваров остался глядеть. Ленька прошелся попеременным шагом, повернул, толкнулся двумя палками и вмиг прикатил обратно. И опять ничего не сказал Уварову. И Уваров ничего не сказал Леньке. Уваров толкнулся палками и пошел чемпионским, кузинским шагом. Он знал, что Ленька глядит на него, и думал: «Ну вот, нам теперь под сорок, но мы еще ребята ничего. Мы еще ничего».

Ленька Шкулев был в институтской команде третьим, а то и вторым. Он ходил десятку за тридцать семь минут, а Уварову не вылезти было из сорока. Тридцатку Ленька бегал за два часа. Уваров — за два двенадцать. Уваров жил в самом дымном и людном районе города; вокзалы были все далеко, и парки далеко. А Ленька жил в общежитии около парка, он каждый вечер бегал на лыжах. И чемпион института Жохов там жил. И Коля Бельды, Семен Тумали, Прохор Санжер — их нанайские ноги были чуть кривоваты, тонки и резвы. Весу не было никакого — ни в Коле, ни в Сене, ни в Прохоре. Они катили по снежным полям, как песцы. Десятку они покрывали за тридцать восемь минут. Зато на полста километров им не хватало силенок. В их жилистых, сухоньких, смуглых телах не доставало калорий на марафонской дистанции.

Впрочем, все это было давным-давно, семнадцать лет Евгений Аркадьевич Уваров не катался на лыжах, то есть катался, но мало, неинтересно, в каких-то пригородных рощицах, вместе с отцами семейств и с матерями семейств, одетыми в зеленые байковые костюмы, которые почему-то назывались лыжными. Уварову неприятно было смотреть, как люди волочат лыжи по снегу, как им не нужны эти лыжи, мешают. «Ну шли бы пешком, для чего себя мучить?»

Евгений Аркадьевич часто ездил в командировки. За семнадцать лет он стал ведущим конструктором эскабэ. Машины его конструкции изготовляли заводы в южных городах. Там снегом не пахло. Все дальше Уваров отходил от лыжного спорта, впрочем, и от юности тоже отходил. Когда же припоминал эту юность, и беспричинную заячью радость гонки по белым снегам, и себя в коротеньких лыжных порточках-гольфах, казалось, что это вовсе не он, не Уваров, другой человек, немножко знакомый, но очень далекий, пожалуй, такой же далекий и малопонятный, как эти нынешние парни с их гитарами и транзисторами.

Жилкооператив «Гвардеец» поставил свой дом на опушке Соснового парка. Парк был для города как воротник, — накинута на плечи; зеленая хвойная шкурка. За парком тянулись поля, чернел по оврагам ольшаник; можно было катиться полями до лиловеющих вдалеке холмов.

Уваров купил себе новые лыжи и вечерами гонялся по парку и в поле. Был март. Лыжня лоснилась, несла, как рельсы. Днем в поле ползали трактора, и к запаху мартовского снега, к запаху разогретой солнышком сосны примешивался живой дух органических удобрений. Ивняк опушился, сережки, бородки развесились на ольхе. И самолеты летели над полем, стреляли огнями. И красная, синяя, желтая телебашня вонзалась в небо, как пламенный шлейф от взлетевшей ракеты. Уваров носился, в нем оживали какие-то клетки, все тело его, неслышное, скрытное, тихое тело горожанина, кричало, как хорошо, как славно нестись, напрягаться, дышать кислородом, как это нужно ему.

Уваров возвращался домой счастливый, купался в ванне с хвойным экстрактом, бывал веселый и добрый, обещал жене взять ее с собой в южные города. Он брал жену крепче, чем прежде, когда они жили в центральном дымном районе. Но не так крепко, как в давний мартовский день после гонки. После тридцатки, когда он пришел четвертым: Жохов, Шкулев, еще один парень, а четвертый Уваров...

— Ты помнишь, — говорил Уваров жене, — мы еще не женились тогда, я тренировался как зверь, весь стал сухой, как нанаец, в марте гонка была у нас, тридцатку мы бегали... На другой день утречком я к тебе рано явился... Ты помнишь?..

— Ой, лучше не вспоминать, — сказала жена. — Так здорово было, даже неправдоподобно. Так не бывает...

— Бывает, — сказал Евгений Аркадьевич Уваров, — вот я побегаю здесь на лыжах, окрепну, отдышусь, устрою себе тридцатку. И мы тряхнем стариной. Еще припомним, кто мы такие.

— Как интересно, — сказала жена. — А кто мы такие?

...Тренер добыл тогда на всю команду единственный тюбик финского синего «свикса». Такая была драгоценная мазь. Она досталась Жохову и Шкулеву, Санжеру, Бельды, Тумали. Уварову не хватило «свикса», и он намазался двойкой, а под опорную площадку положил пятерку, чтобы не отдавало. Солнце сильно пекло. В низинах снег был морозный, а на макушках холмов поплыло. Двойка не помогала Уварову и пятерка не помогала. Подмазанные «свиксом» лыжные асы орали ему: «Хоп!»

И он уступал им лыжню. Он едва волочил свои лыжи. Солнце слизывало пот с лица, сушило ковбойку, и снова Уваров весь обливался потом. Он думал: «Откуда столько воды? Какая-то лужа, не человек». Тоска предельной усталости подступала к сердцу. Уваров тащился один по пустынным холмам, ему начинало казаться, что он заплутал, идет не туда, никуда. И это было ему все равно: не надо теперь торопиться. Но флажки желтели вдоль трассы.

«Сдохнуть просто, Евгений Аркадьевич. Ты должен добраться до финиша, хоть к вечеру приползти...»

Но почему так пустынно, и сколько еще так мучаться?..

Уваров отмахивал палками, двигал ногами, не думал уже ни о чем. Хотелось ему глотнуть холодного снега. Но и об этом желании он позабыл. О себе позабыл...

Когда он поднял глаза от разбитой талой лыжни, то увидел вдруг гонщиков с номерами. Восемнадцать, шестнадцать, двадцать... Уваровский номер был тридцать один. Гонщики подымались по длинному тягуну. Уваров кинулся догонять, застучал лыжами в укатанный бок холма. Восемнадцатый номер был Прохор Санжер, он взглянул на Уварова и отвернулся. Уваров пробежал мимо Санжера. Шестнадцатый был Тумали. Он обошел Тумали. Двадцатый был незнакомый парень. Уваров крикнул: «Хоп!», и парень мотнулся с дорожки в сторону.

...Быть может, солнце подплавilo снег по низинам или двойка стерлась совсем и голая деревяшка скользила теперь по лыжне, — но стало Уварову легче, он выдох, поту в нем не осталось, а только ярость. «Надо их на подъемах делать, — думал Уваров. — Сердечки у них слабоваты...» Он взбегал на холмы, а они отставали: десятый, седьмой, и тридцатый, и двадцать второй.

На каком-то километре тренер кричал Уварову: «Хорошо, Евгений, идешь в первой десятке, давай!» Тренер бежал вровень с Уваровым и протянул ему стаканчик с горячей, сладкой овсянкой. Уваров выпил, кинул стаканчик на снег. На тренера он не посмотрел. Сила в нем прибывала. И злоба. Казалось, что он бежит уже очень давно и может еще бежать и бежать. «Так волки сутками рыщут, — думал Уваров. — Надо стать волком. Я стану...» Он обошел двух асов в белых порточках и рывкнул

на них: «Лыжню!» Коля Бельды частил своими тоненькими ногами в клетчатых гетрах. Уваров хрипло и страшно крикнул ему: «Хоп!»

Он финишировал после Жохова и Шкулева, четвертым. «Еще бы два километра, и я бы всех сделал, я бы достал, — думал Уваров. — Хотя они и на «свиксе». Что-то есть у меня такое, чего у них нет».

Он будто и не устал на тридцатке, только чувствовал твердость, силу и возбуждение. Он весь стал твердый, железный.

Таким он пришел наутро к своей однокурснице. Он явился в такое время, когда папа и мама ее ушли на работу. Однокурсница не проснулась еще. Он ее разбудил. Он взял ее, теплую, из постели и долго носил на руках. Сердце его незаметно, ритмически билось, как хорошо отлаженный механизм. После этого солнца и белых холмов, после этой нагрузки, победы — он стал железный. И нежный. Он обнимал свою девушку, и она говорила ему: «Ты железный». Он весь прокалился. В нем не было поту, воды. И не было страха, сомнений, раздумий, а только чувство победы и близости счастья. И счастье принадлежало ему.

Он был железный, и девушке нечем было себя уберечь. Она даже всплакнула. Он говорил ей: «Не надо. Мы любим. Зачем нам мучить себя? Мы будем вместе. Сказали, что будем, — и будем»..

Когда он пришел к своей девушке, только светало. Потом развиднелось. И солнце катилось по белым холмам. Уваров летел с крутизны, подымался к вершине и снова летел. Солнце валилось на него слепящей громадой, накатывали потемки. Пахло вербой, подтаявшим снегом. Время не шло никуда... Но день окончился, смерклось, прищелкнула дверь. Это девушки́н папа вернулся с работы...

Вскоре Уваров женился на своей однокурснице.

Через семнадцать лет погожим мартовским утром Уваров бежал полями. Ему повстречался в парке Ленка Шкулев, и это порадовало Уварова: «Мы еще ничего ребята. Мы еще ничего». Лыжи были узки, невесомы, туги, и намазаны были они синей мазью ничуть не хуже финского «свикса», летели шурша по лыжне. Такой же, как в юности, ас в коротких белых штанишках догнал Уварова и перегнал. Уваров пристроился к асу и продер-

жался за ним с километр. Ас рассердился, надал. За ним поднялась метелька. Уварову стало смешно. Хорошо ему было бежать и заново чувствовать свою юность. Такой и была его юность: попеременным широким, накатистым шагом прошел он ее по белым холмам.

«...Человеческий организм рассчитан природой на предельные нагрузки, — думал Уваров. — Без этого невозможны сильные эмоции. Надо почувствовать в себе жизнь, черт возьми. А мы чуть теплимся, еле котим. Надо сегодня пройти тридцатку... Как тогда, в молодые годочки. Поджарый стану, как волк. И страстный, как тетерев. Весна... То-то старушка моя удивится...»

Лыжня постепенно сошла на нет, наст истончился к полдню, ломался. Все поле иссечено было тракторными дорогами. В колеях стояла вода, чернела земля. Уваров шагал через поле к чуть видной горбушке холмов. Мазь стерлась, и лыжи отяжелели. Он взглядывал на часы: «Километров по восемь в час прохожу. Это точно. Значит, уже шестнадцать прошел. И обратно шестнадцать. Итого тридцать два...» Но он не поворачивал обратно. Холмы приманивали его и обманывали, как Кавказские горы. И пусто, пусто было в полях. Уваров промок и озяб. Солнце задернуло облаками.

Но он уходил все дальше от дому. Дошел до холмов и забрался наверх. Постоял. Съезжать ему не хотелось. Поехав, он вдруг испугался, так быстро его понесло. Уваров упал у подножия, и хрупнула лыжа. И тело Уварова отозвалось на эту лыжную травму, все заболело, заныло. Сразу приблизился вечер. Ударил мороз.

Домой он шел на полуторах лыжах. Дорога была не видна, а только одна телебашня лучилась и словно ломалась, падала набок. Черные тени носились по полю, плясали столбы и кусты. Уварову виделись миражи, какистолюди, заборы, собаки. Он забывался, но сразу к нему прикасался мороз.

— ...Ну наконец-то, — сказала жена, когда Уваров, стуча деревяшкой, весь обросший изморозью, ввалился в свой дом. — Я тебя ждалась. Уже начала волноваться.

— Чего ж волноваться! — сказал Уваров. — Я лыжник. Лыжи — это моя стихия. Для меня кататься на лыжах — все равно что зайцу бегать по полю — естественная потребность.

— Я понимаю, — сказала жена, — катайся себе на здоровье. Но заяц-то бежит в шубе, а ты посмотри, весь промерз. Садись-ка скорее в ванну.

Уваров сел в ванну и сразу стал засыпать. Засыпая, он видел как бы картину: кто-то сидит, свесив руку и уронив голову, в ванне. Кажется, это Марат.

— В воде спать полезнее, чем на суше, — сказал Уваров коснеющим языком. — Усталость вся растворяется.

— Ну нет уж, — сказала жена. — Еще захлебнешься. Давай я помою тебя — и в кровать.

Уваров не слышал, что говорила ему жена. Он ехал по белым холмам, валился в потемки, и красная, желтая, синяя телебашня стояла, как огненный сполох. И словно что-то ей угрожало. Будто кто-то мог ее погасить. Уваров спешил. Он спал, но веки его, и плечи, и пальцы подергивала легкая судорога переутомления.

«Вот ведь неугомонный, — думала, стоя над ним, жена. — До такой степени укатался».

Рука Уварова свешивалась из ванны. Голову он уронил подбородком на грудь.

ПОНЯЛ...

Итак, больница... Внезапная боль в боку, в подреберье, озноб-лихоманка, крупная дрожь. «Неотложная помощь». Я не хочу в больницу. Ночь на дворе. Дежурный врач откровенен со мной, он мой ровесник, нам обоим по сорок: «Я тебя не отправлю сейчас в больницу, а вдруг летальный исход? Мне за тебя отвечать. Мы с тобой не мальчишки, сам понимаешь...»

Вместе с костюмом и ботинками сдаю на хранение самолюбие, здесь оно мне не нужно. Получаю пижаму. Брюки короткие, широки. Больничная одежда шита в расчете на мужчин того возраста, когда объем талии увеличился.

Палата наша на четверых: один ходячий, двое лежащих, я тоже записан в лежачие, но могу и ходить.

Направляюсь в курилку. Лег спать здоровым, новый день встречаю бог знает где, в курилке районной больницы, среди пижамников. Пижамники после бессонной ночи — в больнице не очень-то спится — смолят папиросы и сигареты в больничном клубе-курилке, спешат поделиться ночными думами...

— Они говорят: инфаркт, лежать надо, — сообщает курящей братии широкогрудый, но очень тощий, с землистого цвета лицом, лысоватый и седоватый пижамник. — Откуда у меня инфаркт? Я — грузчик. В порту работаю. Это раньше приходилось на себе поднимать грузы, а теперь у меня домкрат... Это они всех под одну гребенку чешут: инфаркт да инфаркт. Говорят, лежи.

А чего мне лежать? Когда прихватило, тогда конечно, а теперь я не чувствую ничего.

— Смотри, после инфаркта надо лежать, — напутствуют грузчика те, что постарше.

— А я его видал в гробу, в белых тапочках, этот инфаркт, — упорствует грузчик.

— Они меня хотят выписать на амбулаторное лечение, — дождавшись паузы, берет слово парень с одной ногой в зеленом носке, с пристегнутой булавками пижамной штаниной, с лихорадочными кровяными глазами, со шрамом наискось по щеке. Слово «амбулаторное» он произносит с таким ожесточением и сарказмом, будто это имя врага, ну, скажем, имя судьи, который только что присудил ему незаслуженный срок. Даже не самое слово, а первую его частицу «ам». — Они меня выпишут, а я хожу в поликлинику, высиживай в очереди по шесть часов...

Безногий высказался и застучал костылями по плиткам пола, звук двоятся, синкопирует. В открытую дверь видно, как высоко подбрасывает он на сильных руках свое легкое тело, как резво скачет, какой он крепкий и молодой.

— Молодой, — вздыхает кто-то из пижамников. — Под трамвай угодил.

— Что, по пьянке? — кому-то хочется классифицировать трагическую частность, низвести ее до всеобщего, бытового. Трагедия требует если и не сочувствия, то хотя бы внимания, интереса. А тут все равны, все в пижамах.

— Да нет, не по пьянке. С работы ехал, час пик, городской транспорт — сам знаешь... Вот я на Гражданке живу, каждый день без пуговиц домой приезжаю. Ну а он с ветерком ехал, снаружи висел... Это раньше у трамвая хоть колбаса была, а теперь ухватиться не за что. Изнутри поднаперли — кому-то там выходить потребовалось — он и сыграл ногою под колесо...

— Еще повезло, что одну отрезало.

— Да, парень, видать, везучий...

— А вот у нас на фабрике, ребята, помню, — начал очередную бывальщину малый, добродушный на вид, белобрысый, толстый, в байковой черной пижаме, — планы квартальный перевыполнили, поавралили, профсоюзное собрание, значит, подведение итогов. Ну, значит, речи говорят, кому положено говорить, поздравляют с произ-

водственным успехом, все прочее. Теперь, значит, премии, прогрессивка... У нас в бригаде работал Витя, мужик шепутной, любил на собраниях выступать — хлебом его не корми, только дай ему выступить... И обязательно чтобы какую-нибудь бяку сказать, обедню испортить. И тут он, значит, руку тянет: прошу слова. Ну, ему, конечно, дают, все такие радостные, уже, можно считать, у всех премии в кармане... Он на трибуну взошел и говорит: «Я предлагаю все наши трудовые премии передать в фонд мира». Мы со смеху падаем. А он все серьезно так — артист...

— Ну и что же? И как? — оживились пижамники, глядят в рот рассказчику. Это им интересно.

— А что? Куда денешься? Рабочий класс предлагает — это закон. Так и записали: в фонд мира. Благородный почин...

— Вите-то этому что потом было?

— С него взятки гладки. Он — слесарь-наладчик высокой квалификации. Его везде с руками оторвут...

— Да... Это конечно... Ну и работать с ним — не сожмешься...

Рассказам и рассказням нет конца, пока не является нянька со шваброй, обернутой мокрой тряпкой, в тапочках на босу ногу, молоденькая, громко, но не сердито кричит:

— Опять собрались? Опять пепел на пол трясете? А я за вами ходи подтирай! У-у-у, проклятушие. Марш отсюда! А ну пошли по палатам, а то сейчас дежурного врача вызову.

В палате моей, № 4, пока что тихо: один читает — ему, должно быть, за шестьдесят, с седыми усами. Другой лежит, вперив взор в потолок. Он не просто лежит, а с лечебной целью. Ему назначено врачами — лежать, он и лежит, и весь его вид говорит о том, что он не встанет до той минуты, когда ему встать разрешат. Лежащему тоже за шестьдесят.

Третий, то есть четвертый, если считать меня самого, обитатель нашей палаты полулежал на подоткнутых ему в изголовье подушках и, судя по беззаботному выражению довольно круглого его лица, не только не страдал, но скорее наслаждался своим лежанием. Было ему лет, может быть, сорок. И что-то очень знакомое я увидел в его лице. Знакомое издавна, с детства. Ну да, конечно,

такой был актер до войны. Он был и в войну, и после войны, но я запомнил его по кинофильму «Трактористы» — Алейников, Ваня Курский, кажется, так его звали в кино, круглолицый, с круглыми же глазами, невинными и одновременно лукаво-смышлеными, со вздернутыми кверху уголками рта, с губами, будто созданными природой специально для того, чтобы вкусно и складно говорить.

Похож был мой сосед на Алейникова, каким я запомнил его, — и я обрадовался этому сходству (насколько можно обрадоваться с коликami в боку). Сосед, наверно, почувствовал мою радость, меж нами нечто возникло, взаимное тяготение. К тому же он заметно томился молчанием, отсутствием слушателей.

— У тебя что? — спросил сосед.

— Еще неясно. Колики... А у тебя что?

— Инфаркт, понял? — Он сказал «поял». — Двенадцатый день лежу, завтра посадят, на баян сяду... Надоело на судне плавать... Усы! — обратился он к усатому, читавшему книгу, строгому на вид старику. — Тебя на который день на баян пустили? ..

— Дело не в баяне, — строго сказал старик, — и потом, оставьте при себе ваши прозвища и не тыкайте, пожалуйста. После инфаркта полагается лежать три недели, двадцать один день... .

— Да брось ты, — сказал мой сосед, — это раньше после инфаркта держали в постели, а теперь, наоборот, считают, что надо двигаться, поял... Это вон Дачника и силком не стащишь с постели. А? Дачник! Вставай, пойдем по бабам...

— Ну, это ты уже тово... думай, что говоришь, — забеспокоился лежавший напротив меня старик, полный, багроволицый, — ты мне в сыновья годишься...

— От дает, поял... Папаша нашелся... Ты пока лежишь, у тебя в Васкелове с дачи все барахло унесут и дачу сожгут.

— У меня на даче сын с невесткой, — сказал «папаша», с заметной, однако, тревогой в отношении своей дачи.

— Ты на Алейникова похож, на актера, — сказал я соседу. — Помнишь, до войны такой шел фильм — «Трактористы»? ..

— Мне все говорят, что я на Кирилла Лаврова похож. На народного артиста. Я ремонт у одних делал, он профессор, она доцент. Они в театр два раза в неделю ходят, это закон, а то и три. Я им паркет циклюю, они мне говорят: «Вы вылитый Кирилл Лавров».

— Я этого не понимаю, я просто не могу понять, — вдруг закипает старик с усами, — как может столяр высокой квалификации, который делает мебель, как он может циклевать паркет, шабашничать... Он ни за что на это не согласится.

— От дает... Почему это не согласится? Я делаю то, что мне выгодно. Если мне это невыгодно, я говорю «привет» и ухожу. Зачем мне делать, если невыгодно? Дурных нема, поял... Я на мебельной фабрике работал — столяр-краснодеревец, по-новому — пятый разряд...

— Никогда, никогда не поверю, — кипятится ревнитель профессиональной чести, — что настоящий мастер сможет размениваться на халтурку...

Сосед мой не обижается и не спорит. И мне сдается, мне слышится, что ли, актерство в его речах. И откровенья его, и цинизм, и даже словечко «поял» — на публику, для эффекта. Недаром же он похож на двух знаменитых артистов: Алейникова и Лаврова (хотя меж собою они весьма разнятся — Алейников и Лавров). И кажется, есть какой-то еще другой человек внутри моего соседа, пока что неведомый мне...

— Я работал на Третьей мебельной фабрике... А у меня дядька был, у дядьки друг, у друга машина была. Вот он заезжает, друг-то, утром за дядькой, потом за мной. Мы едем на Шуваловское кладбище. Там самая выгодная работа была — это раковины ставить. Тяжелая работа. В день мы раза по четыре выпивали, по пять — дядька мой, этот мужик, у которого машина, и еще другие были. Грамм по сто пятьдесят. Выпьешь — усталость снимает. Вечером каждому по сто рублей выходило. Это на старые деньги. Тогда сотня не то, что сейчас десятка. В карман сотню кладешь, и порядок, поял... Четыре или пять месяцев я так работал. Потом вызывают в суд. С мебельной подали, дескать, прогульщик, то, другое. Я говорю, ничего подобного, поял. Я работал на законном основании. Там же тоже артель, на кладбище. Я говорю профоргу нашему: «Я на тебя тоже в суд подам — за клевету, поял». Это он на меня составил бумаги. А он

трусоватый был. «Что такое?» — говорит. «Вот так», — говорю... А когда у меня мать умерла, я на Шуваловское кладбище ее привез, там мужики все знакомые — и ни хрена. Ободрали меня как липку. Я говорю: «Да вы что?» А они: «А нам, говорят, один хрен».

— Как ты можешь, как ты можешь все это рассказывать, как у тебя поворачивается язык? — Усы перешел с моим соседом на ты, совсем он расстроился и разгневался, и нельзя ведь ему расстраиваться — после инфаркта.

— И мать родную не пожалеют... Они такие... — забулькал Дачник...

Содержание жизни больничной — болезни, о болезнях и говорят — о болезнях телесных, а затем переходят к житейским болезням, к больным вопросам. Больница располагает к откровенничанью. Люди вернутся домой и попридержат язык. Здесь же можно немножко и распоясаться (пояса сданы вместе с одеждой). У каждого мера, конечно, своя.

Сосед мой распоясывается чуть выше дозволенной меры. Но для чего? Я не знаю пока.

Задремаваю. В сознание проникают, царапают чуждые голоса. Вот голос Артиста:

— Я бросил курить, поял, на восемь килограмм поправился. Куда к черту, думаю. Не нагнуться. Надо опять начинать...

«Что начинать? Для чего начинать?»

Женский голос... Сестра принесла лекарства... Всем лекарства, а мне еще нет...

— Петя, смотри-ка, лысеешь. Это от чужих подушек...

«Подушек, душек, ушек...»

— Я в зоопарке работал, поял. Ну, там клетку починить, остеклить что надо...

«Кто работал? В каком зоопарке? В зоопарке разве работают? Ага, это голос Артиста... Алейников... Лавров... Его зовут Петей».

— Там рыба, поял.

«Какая рыба? Там — звери...»

— Из Невы-то она заходит в канавку, тут корм. А мы чистили эту канавку. Рыбе нечем дышать, она носы высовывает, ходит, видно... Сначала крупную брали, потом уже всю. Утята, поял... Гусей — тех считали, а утенка

возьмешь, шею ему свернешь, перья все в кочегарке сожжешь, поджаришь. А ты думал? Там можно работать...

— Больной! Вам дать снотворное?

«Кто больной? Да это я больной. А вдруг летальный исход? Летальный — летательный. Но куда же я полечу?»

— Ну что же, — говорит мой доктор, — у вас двусторонняя пневмония, плеврит. В общем, вы попали в больницу к шапочному разбору. Кризис перенесли на ногах. Поколем вас еще, продолжим курс стрептомицина, пенициллина. Курить придется бросить — совсем, навсегда. Поездки на юг исключаются. С такими заболеваниями, как у вас, живут в Ленинграде тысячи людей... Живут, что поделаешь, климат...

Вот сейчас схожу в курилку, в последний разок накурюсь и брошу.

В курилке меня узнают:

— Малость повеселел. А то совсем был кислый...

Безногий сидит, где сидел, в одном зеленом носке, в одной тапочке, с сумеречными глазами, со шрамом на щеке, думает вслух:

— Умереть-то ерунда. Все равно как заснуть. А вот жить — как?

Сказал и зацокал копытцами-костылями.

Грузчика не видать, того, что инфаркт свой видел в гробу, в белых тапочках. Где он и что с ним — об этом не вспоминают. Это не принято здесь — вспоминать. Встретились, разминулись... Каждому свое — кому инфаркт, кому двусторонняя пневмония. И рыхлого белобрысого наладчика в черной пижаме не видно. Зато есть новые лица...

Ну вот, накурился. Надо бросать. Тысячи людей с моей болезнью живут в дурном нашем климате. И не курят, наверное. Хотя, с другой стороны, сосед мой Петя бросил — и раздобыл на восемь килограммов. Собирается снова начать.

Сколько он успел нарасказать, пока я не слушал? Вообще, сколько времени нужно болтливому человеку, чтобы выболтать всю свою жизнь? Велика ли жизнь-то? Да и память не безмерна...

— Ну что, Петя, как твой инфаркт?

— Тут приходили, поял... Ты припухал, не слышал. Предлагали меня в клинику к Колесову перевести. Аорту пересаживать будут. Я подходящий кролик для них... Операция еще не отработана... Я говорю: «Нет, ребята, дурных нема». Я себя нормально чувствую, на баян два раза садился, завтра в галльон пойду...

Нянька оперлась на швабру, слушает, сообщает новость — не по времени новость, а по значимости среди больничных событий:

— В шестой палате один сидел на баяне и отдал концы...

Это сообщение не нравится усатому. Усатый морщится, сдвигает на лоб очки, укоризненно смотрит на няньку и опять углубляется в книгу.

— Инфаркт без стенокардии — это еще ничего, — рассуждает Петя. Все-то он знает, тертый калач. — А если стенокардия — тогда все, поял, прижмет... Стенокардия, ребята, это бывает пострашней, чем инфаркт. Как прихватит... Когда холестерину в сосудах много, тогда все. Как макароны ломаются. А когда мало холестерину, тогда все нормально, сосуды эластичные...

Разговор о холестерине, сосудах и стенокардии весьма интересен моим соседям. Я не участвую в нем, у меня двусторонняя пневмония, плеврит — разные спецификации. Это существенно в наше время узких профилей. Какая, кажется, разница — помереть от плеврита, от стенокардии или попасть под трамвай? («Умереть просто. Как заснуть».) А вот же есть разница. И тут — узкий профиль...

— Плотник умирал, — сказал Петя, — говорит, всех прощаю, а еловый сук не прощу. Ну, сұка этот еловый сук. Клины вышибает. Как железный.

Петя рассказал притчу о плотнике и еловом суке задумчиво и рассеянно, будто струны подтягивал, прежде чем главную песню запеть. Но притча эта понравилась Дачнику (его Петровичем кличут, он из военных, на пенсии двенадцатый год), подвигла его на рассказ из собственной жизни.

— Самая тяжелая работа, — сказал Петрович, — это бревна продольно пилить. На доски. — Сказал и заволновался. Что-то забулькало, захрипело у него в груди. — Я — до армии — семь лет пилил. Сначала три года снизу гирей болтался. Потом уже наверху...

— Да-а, ребята, — сказал Петя по ходу собственных мыслей, — до сорока лет все клетки в человеческом организме заменяются, поаял. А после сорока — уже все, не заменяются. Каждый остается при своих... Я, помню, танцевать любил, а теперь не то. Мы в прошлом году с Мишкой, с другом, пошли на танцы. Ну, можно найти, с кем. Находятся. Танцуешь, но нет уже такого чувства. Не то. Я говорю Мишке: пошли отсюда. Ну он, правда, уже пристроился, с толстыми ляжками одна там была. А я вижу, что нет, не то. Так все я могу танцевать, современные — эти, конечно, нет, а так могу, поаял. Бывало, танцуешь, сам себя чувствуешь нормально, как летишь все равно... А тут не то.

— Чем бы дитя ни тешилось... — сказал старик с усами — Усы. (Его имени я не знаю, он ни разу его не назвал, не опустился до равенства, панибратства. Он всю жизнь ремонтировал самолеты — технарь. Теперь, конечно, на пенсии. На заслуженном отдыхе.)

Петя не поддается на реплику, он как будто исполнен сознания собственной правоты, праведно прожитой жизни. А может быть, он защищает, прячет в себе сокровенного человека.

— Я на студии телевидения работал. Ну там декорации надо было поставить, по столярному делу... Эдиту Пьеху там записывали, я вот так вот, как до тебя, Усы, стоял — отлично, просто красота!

— Сколько ты мест поменял — за рублем гонялся? — пробулькал Дачник — Петрович.

— От дает... У меня жена не работала, ребенок один и другой. И дачу строили. Ты знаешь, как дачу строить. А жить-то надо. У меня по-новому пятый разряд... Я в любое место приду, мне сто двадцать — сто тридцать рублей обеспечены. Я этого не боюсь, что без работы останусь. У меня принцип: я с энтузиазмом ничего не делаю. А что там к коллективу привыкнуть, так я через неделю уже в доску свой. Я двенадцать лет на Третьей мебельной фабрике отработал.

— А я тридцать четыре года в одной организации, — сказал технарь — Усы.

— От я и говорю, теперь меня туда не заманишь. Это утром бежать, перед табельщицей выпендриваться. Правда, мне ничего такого за опоздания не было — люди свои.

Только что с меня хватит, поял. А то еще под суд отдавали за опоздание...

— И правильно делали, — заволновался Петрович. Как только заходит речь о чем-нибудь таком, государственном, он тотчас и заволнуется. Уж как себя бережет от движений и от волнений, а не стерпеть. Будто слышит старый солдат трубу — и кидается в бой. Ему разрешили ходить, он ходит, встает и идет, неся свой инфаркт, как иконостас орденов на груди. — Надо было людей к порядку призвать!

Заглянул к нам из коридора больной по фамилии Лифшиц. К нам часто заходят — послушать Петю. Не в каждой палате такой артист. И безногий станет в дверях, повесит плечи на костыли, послушает, пошевелит скулами, ничего не скажет, зацокает прочь.

— Я токарем работал, когда этот закон ввели, — встречается в спор Лифшиц. — Помню, бежал, опаздывал...

— Ага, вот опаздывал, — произносит, вздымая очки на лоб, старик с усами. Звук его голоса металлический, как у кассового аппарата. — А я не опаздывал. За пятнадцать минут приходил. И Петрович не опаздывал...

— Да я-то что, — разводит руками Лифшиц, — я мальчишка был. Добежал. А в первые две недели, как этот закон ввели, сколько хороших людей пропадало. По тридцать лет отработали, за две минуты шли под суд...

— Зато был порядок.

Разгорается спор — беспощадный, поистине самоедский, бессмысленный больничный спор, трепыхание нервов, изношенных, дребезжащих... К счастью, тут и обед.

После обеда в больнице спится не то чтобы сладко, но спится. Ночью не спится, а в мертвый час спится.

В палату вдруг впархивает стая девиц. Белые крылья их шелестят, пахнет духами, мимозой, губной помадой, мартовским снегом, весной. Девыцы на практике — школа медсестер. Коленки их егозят, девыцы стреляют глазками безотчетно, бесцельно. Их глазки подведены, ресницы густы, черны, халаты выше, гораздо выше коленок; голенища сапожек наполнены крепкой, розовато-смуглой, обтянутой капроном плотью. Девыцы пришли, чтоб лежачего обтереть спиртом. Лежачий — Петя-Артист.

И вот они его обтирают. Торс Петин скульптурен, могуч. Петя щурится от блаженства.

— Поправимся — приходите!

Девушки хихикают. Натирают они неумело и как-то двусмысленно, не всерьез. Они еще не умеют войти в мир больницы, болезни. Больница для них — это место, где много мужчин, которые смотрят на их коленки. Девушки упархивают, никого, даже Петю, как следует не увидев.

Тут технарь обращается к Пете, клокочет, кипит:

— Вы думайте, что говорите! Несете бог знает что. Всякую ахинею. Стыдно слушать. Привыкли, что вам поддакивают. Бубните бог знает что.

И Петя, наш олимпиец, наш скептик, мастер устной новеллы, столяр районного ателье по ремонту квартир, свято следующий заповеди: ничего не делать с энтузиазмом, наш Петя нахальным, противным и угрожающим тоном, как перед дракой у пивного ларька, гундосит:

— А ты что, поял? А ты кто такой?

— Я гражданин Советского Союза! — рычит Усы.

Он закрывает лицо руками, лежит измученно, изнеможенно, как после наркоза.

Тихо-тихо в палате. В окошко ломится солнце — весна за окном, — и не вломиться: двойные рамы, и даже сквозь рамы слышен вопев воробьев.

Берусь за книгу, читаю Генриха Гейне «Путевые картины» и тотчас останавливаюсь на высказанной Гейне мысли, как нельзя лучше отвечающей настроению данной моей минуты: «Ах, собственно, ни против кого в этом мире не следовало бы писать. Каждый сам достаточно болен в этом огромном лазарете, и многие полемические статьи невольно напоминают мне отвратительную ссору, случайным свидетелем которой мне привелось быть в маленькой краковской больнице: ужасно было слышать, как больные насмешливо выставляли на вид один другому свои недуги...»

Читаю и чувствую: кто-то смотрит. Петя смотрит. Пете нужен сообщник, то есть ровесник, чтобы поговорить на одном языке. Со стариками Пете не сговориться. И молчать он не может. Ну вот, поглядели друг другу в глаза. Хоть разные мы с ним люди, а поколение наше — одно. Петя, правда, постарше меня года на три.

— Я у Зинки, у библиотечарши, книгу брал — «Вишневый омут», — сказал Петя. — Полезная книга, поял. Там столяр возвратился с войны покалеченный, только левая рука у него. Табуретку он сделал... Так-то помнил,

знания есть; высокого класса столяр... А сделать как следует нечем, поял. Вот он принес табуретку — ну, семье своей показал. Они ничего не говорят. Ну ясно, плохо он сделал, топорно. А ему охота, чтобы похвалили. Полезная книжка, надо прочесть.

Петя лишку хватил в споре с Усами. Сам понял, что лишку. Вот рассказал историю, нравственную по сути. В книге ее прочел. Обнаружил в себе начитанного человека. Провинился и тут же исправился. Петя простой, но и сложный. В нем видятся разные лики. Он может себя так или эдак поворотить.

...— Ну, как дела? — Это пришел мой доктор. — Температура у вас стабилизировалась... Головных болей нет? Стул нормальный? Спите хорошо?

— Домой меня, доктор, отпустите. Я дома лучше вылечусь.

— Я бы не советовал вам торопиться. Спайки в плевре рассасываются медленно... Ну что же, смотрите сами. К понедельнику приготовим вам документы. Дома сразу вызовите врача... Ну а у вас, Петр Андреевич, как дела?

— Давит маленько, протромбин, наверно, высокий, поял.

— Протромбин? М-м... Да... — Доктор вполголоса говорит сопровождающим его коллегам: — Здесь инфаркт миокарда, рубцевание идет хорошо... Так... Присьядьте, Петр Андреевич.

— Все нормально, поял. На баян сажусь. Сходить бы на телевизор, фигурное посмотреть...

— Ну что же, попробуйте... Только не увлекайтесь... — И совсем уже тихо, коллегам: — Тут еще и аневризма в левом желудочке...

Петя пропустил «аневризму» мимо ушей. «Протромбин» он знает, «холестерин» знает, «аневризму» не знает.

Зато я слишком хорошо знаю это словечко. Отец лет пять ходил с аневризмой. Ходил, ходил — и сваливался, задыхался, хрипел, синел, помирал — и снова вставал, шел на службу. «Аневризма» стала нашим семейным словечком, страшилищем, пугалом. Я понимал аневризму как язву в сердце, нарыв. Нарыв набухает, а лопнет — и амба, каюк. Отец мой не верил в свою аневризму, ничуть ее не боялся. Он был у меня молодой, до шестидесяти не дожил. Поднявшись после очередной больничной отлеж-

ки. он не подчинялся предписаниям докторов. Он думал, что можно еще заставить сердце работать. Только надо гулять — сначала двести шагов, потом триста, потом километр, и все войдет в норму. Столько в нем было еще всяческой силы и жажды пожить, что он не поверил в болезнь, не согласился с нею, как тот грузчик в больничной курилке. Он думал, что если каждый день начинать с холодного душа (в первые три четверти жизни такая мысль ни разу не пришла ему в голову), то можно окрепнуть и закалиться, и разгрузка, разгрузка: кефирный день, яблочный день, погулять, похудеть и пожить наконец. А то все некогда было.

Однажды отец пошел в душ — и шумела вода, и шумела она, и шумела. Мать слушала шум текущей холодной воды, мать знала, что значит отцовская аневризма, и постоянно прислушивалась к отцу, стерегла, стояла на страже. Отец не знал, а мать знала. Она вдруг кинулась в ванную, будто звонок там прозвенел, — и опоздала...

Отца хоронили на огромном, безбрежном, апокалипсическом городском кладбище. Артель могильщиков (такая же, как Петина артель на Шуваловском кладбище) — пьяные, голые по пояс, загорелые, с красными рылами мужики — вырыла яму. Стандартную яму для стандартного покойника среднего роста. Но и тут мой отец не согласился, — с болезнью не соглашался и со смертью не согласился: гроб в яму решительно не влезал. Могильщикам не хотелось рыть лишку, им хотелось покончить дело и выпить, но ничего не вышло у них, сколько они ни бились, покойник был нестандартный, не соглашался лечь в яму средней величины. Пришлось этим пьяницам снова взять в руки заступы...

Отец мой умер до срока, израсходовав смолоду жизненный ресурс, ничего не оставив на старость. Всю жизнь он трудился на производстве с энтузиазмом. Его безвременную смерть можно отнести за счет издержек энтузиазма.

Но Петя-то как схлопотал себе инфаркт с аневризмой? В теле его ни жиринки, в нравственном его облике не углядишь ни грамма энтузиазма. Петя доски стругает фуганком, циклюет паркет, стекла в рамы вставляет, приклеивает на стены обои, он любит «сшибить халтуру» и выпить, питает слабость, то есть, точнее

сказать, проявляет активность по части женского пола. При этом он добрый семьянин, надежный кормилец и вообще добрый малый и собою пригож. Петя наш — оптимист, нервы у него крепкие, как манильские канаты, эмоции его по преимуществу положительные.

Но и отец мой тоже был оптимистом. Спокойный, покладистый был человек, компанейский. Вообще, я замечал, дольше живут и меньше болеют люди желчные, черствые, нетерпимые, постоянно конфликтующие с порядком жизни, брюзжащие, нервные, несносные для компании, непьющие. Вся их жизнь вроде бы состоит из отрицательных эмоций, но они живут и живут. А добряки, выпивохи, эпикурейцы, оптимисты, светлые личности умирают без времени. . .

Покуда я размышлял о происхождении, или, как выражаются медики, этиологии, аневризмы, Петя рассказал еще одну новеллу из собственной жизни — с завязкой, концовкой, энергичным сюжетом и вполне определенной моралью. К этому Петиному рассказу сам собою просится заголовок: «Первая получка».

— Первую получку я когда получил, ну, после работы взяли с ребятами две полбанки. стакан один был на всех. Разлили, немножко не до краев получилось. Выпили. Добавлять не стали. Все же с первой получки. Надо домой. (Вот видите, Петя прежде всего семьянин. Ну не прежде всего, сначала компания, но и о семье не забыл.) Домой прихожу, все деньги на стол положил, все до рубля. Баба моя не глядит, шлея под хвост попала, унюхала, водкой все же несет от меня. Закуски, считай, никакой у нас не было, огурец один на всех да хлеб на занюшку. Ну ладно, она на меня зверем глядит, и я молчу. Она к столу подошла и деньги мои все на пол смахнула. Вот так вот, наотмашь, поял. И на меня: «Глаза, говорит, налил». Я ничего, ладно, думаю, ага. Собрал все деньги, пересчитал, не завалилась ли куда трешка. В карман их положил, пальто надел, по Олега Кошевого дошел до угла. Там теперь молочная столовая, а было кафе-автомат. Захожу туда, «старки» взял сто пятьдесят грамм, сосисок. Сел, сижу. Гляжу, мой тесть заходит в двери, ко мне пробирается. А людно было, после работы там всегда народу полно. Место такое. Я ему говорю: садись. Он сел. Я говорю: сколько брать. Он что-то такое мне начал, поял. Я говорю ему: брось. Пол-литра взяли «старки», закуски,

ну чтобы ему закусить. Выпили, я говорю: пойдём в ресторан «Приморский». Он это туда-сюда, я говорю: брось ты. В общем, набрались. Ночью уже, не помню как, домой явились, тесть вместе со мной тогда жил. Утром я просыпаюсь, с похмельюги рано всегда просыпаешься. Деньги собрал, что остались, положил на то место, куда всю получку ложил. Сам лег опять, в сон потянуло. На работу идти, проснулся, гляжу — денег нет. Баба взяла. С тех пор — все, амба. Больше на эту тему у нас с ней разговоров не было. Сообразила, поял, что к чему...

Ладно, послушали и эту Петину притчу. Может быть, так все и было, как он рассказал, а может быть, и не совсем так. Петя — автор собственной жизни, и режиссер, и исполнитель заглавной роли. Сегодня вечером он надеет пижаму и пойдет на большую аудиторию, в холл, где стоит телевизор, где мужчины стучат в домино. Глаз у него сегодня веселый, нахальный...

На нашем районном рынке торгует мочалом Вася, малый лет сорока. Считают, что Вася — того, с приветом, чокнутый, но в глазах у Васи смышленость и, главное, наглость, веселая наглость, нахальство. Вот как у нашего Пети. Вася торгует мочалками, надранными из рогож, пританцовывает за прилавком целыми днями, месяцами, годами и зазывает: «Мочала-борода, борода-мочала — дrrrr!» Рядом с ним стоят торговцы мочалками, растущими на кустах, мужчины в кепках, каждая из которых величиною с пресную лепешку — лаваш. Они торгуют мочалками молча, надменно, не снисходя до покупателя. Вася скоморошничает: «Мочала-борода, борода-мочала — дrrrr!»

— Але, Дачник! — Вот же неймется Пете, все он лезет, все пристаёт к старикам. — Ты, пока здесь прокантуешься, и картошку в Васкелове не посадишь. Нынче весна дружная, поял.

Картошка — большое место у Дачника. Чем ярче солнце в окошке, чем явственнее весна за окном, тем чаще и горше вздыхает он, сетует:

— Провалиюсь — картошка останется непосажена...

Но зачем берeditь большое место, зачем наступать человеку на любимую мозоль? Зачем? Я не знаю.

— Тебе-то, Петя, какая забота о чужой картошке?

— Расхаживать ему надо. Инфаркт быстрее рубцует... А он лежит... Пойдем-ка, Дачник, на Невский

проспект. — Так зовут в больнице лестничную площадку — место прогулок: «Невский проспект». — Это анекдот такой есть. Один говорит другому: пойдём по бабам — а оба старые, поял, доходяги, еле на ногах стоят. Тот говорит: пойдём. Если только ветру не будет. . .

— Тебе надо, ты и иди, — пыхтит Дачник. — Вон обряджайся в пижаму и дуй. А нам это не надо. . .

Усы в книгу уткнулся. Дачник закрыл глаза. И лучше бы Пете остановиться. Но для чего-то он продолжает. Для чего? . .

— Я к одной заказчице пришел, симпатичная такая женщина, не старая еще, плаванием занимается. На кухне я ей ящик делал под раковину, стол там — в общем, гарнитур. Она мне говорит: поехали в лес за грибами. У меня, говорит, машина есть. Ну, я говорю, что нет, спасибо. Времени нет. . . А так баба фигуристая. . .

Петя опять подождал. Старики тяжело, обреченно молчали.

— Дело не в том, что какой темперамент, поял. . . Все от мужчины зависит. Женщина никогда не потолстеет, если мужчина около нее. Конечно, если он сам спит, как сурок, она жиром обольется, поял. . . Женщина не должна высыпаться, всегда чтобы сонная ходила. . .

— Замолчите! — пронзительно вскрикнул усатый технарь. — Я вас прошу замолчать. Бубните свою глупость. Мне тяжело. Я себя плохо чувствую.

И Петрович вместе с Усами, заодно. В каждом поколении — своя круговая порука.

— Несет разное, стыдно слушать. Молодым бы, а нам уже все это стыдно слушать.

— От дает. . . Да я не просто так, чтобы что-нибудь сказать. Я знаю. Я ремонт у хирургов делал — гинекологов. Мы выпивали с ними. Они всерьез мне рассказывали, поял. Так и так, говорят. В этом главное, а не что-нибудь там такое.

На Кирилла Лаврова Петя, в общем, не так уж похож. Он похож на Васю с нашего рынка: «Мочала-борода, борода-мочала — дррр!»

— У меня приятель Колька, — торопится Петя. (Куда он спешит?) — Тоже в нашем ателье работает, маляр, поял. У него жена в ночь работала, или где-то там, поял. Колька рассказывал мне. Он приходит домой, ага. . . Теща с ними жила. Он четыре года женат был. Ну тут при-

ходит поддавши. Он в щеку ее поцеловал, ну так просто, дорогая тещенька, говорит...

— Это — скотство, по-скотски, — захлебывается, булькает Петрович. Кроме инфаркта есть у него диабет, астма, плеврит.

Усы спустил ноги с постели, сидел с минуту, стиснув виски ладонями, встал, покачнулся, высокий, тощий, прямой, и судорожно, рывками вышел вон из палаты, только дверь не хлопнул, поскольку следом за ним понес свой инфаркт-иконостас Петрович.

— Петя, зачем стариков дразнишь? Им раньше, чем нам с тобой, помирать.

— Да ну... Этот, Дачник, тоже мне... майор в отставке... И этот, Усы... Выставляет из себя, поял. Рабочая интеллигенция. Знаем мы их...

Вот сколько в Пете злобы, в широкой его натуре. От зависти? От водки? Что-то в Петинной жизни не так, какой-то выверт. Злоба в нем, как нарыв, набухает, свербит, точит душу... И еще аневризма в желудочке сердца.

Старики удалились в знак протеста, но вскоре вернулись, некуда себя деть. В клубе-курилке им нечего делать. Легли носами к стене.

Петя молчал. Но долго молчать он не сможет. Выбирает, должно быть, какую поставить пластинку. Провинился — надо исправиться. И вот завертелась пластинка, вначале вхолостую — Петя в легкие воздуха набрал и начал:

— Меня с Дороги жизни в армию брали. Из Ленинграда на Дорогу жизни, там отъелся, поял. Ну и работал. Семнадцать лет мне было. В разведку ходили. «Красную Звезду» получил, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Ну, в разведке, конечно, надо, чтобы все мог сделать, чтобы физически был всесторонне развит. Чтобы врезать, скрутить... А как же иначе? Батальонная разведка, полковая разведка — выше уже нельзя. Выше — много знать надо, в памяти держать, на слух. Туда не всех, поял. А так в основном за «языком» ходили...

— Где ходили? — не выдержал, обернулся к Пете Усы.

— От дает, где ходили. В этой, как ее? Ну, за Сестро-репком. Одного здорового привели. Ну, правда, и они наш дозор взяли. Те и вякнуть не успели... Раз и мы офицера

взяли. Офицера в исключительно редких случаях. Раз приволокли одного, солдата правда... Пока волокли, пульс был, все нормально. Ну, где-то врезали мы ему. Дал дуба. Мы как пираты были тогда. Ну и они тоже... Правда, кто приходил из разведки живым, к награде всех представляли. Кто не приходил, тех не представляли. Земля им да будет пухом.

Старики теперь лежат носами в потолок, слушают Петю.

— После войны мы тут недалеко стояли, наша саперная часть. Разминировать нас на машине возили, вот в эти места: Мга, Назия, Жихарево. В других местах были карты минных полей, а тут наши ставили мины, потом немцы, потом опять мы. Миноискатель, он ищет металл, а тут поле боя, тут все металлом засеяно. Где осколок, где целый снаряд или каска... Миноискатель тут не давал эффекта. Не знаю, может, в других местах, а тут: Мга, Жихарево, Назия — тут исключительно мины сабаки искали.

— Ничего не было толку от собак, — высказывается Петрович, всегдашний Петин оппонент.

— Ты слушай меня! Я как есть говорю, поял, — рокошет Петя, как капитан на мостике в трубу.

— Я сам сапером не был, — тотчас соглашается с Петей Петрович под напором командирского его голоса, — но слышал, что ни хрена.

— Не знаешь, значит, молчи. Я сам разминировал, тут все мины и были: Назия, Мга, Жихарево. По пятьдесят мин до обеда находили. Мы с Орликом. Орлик был у меня, овчарка. Не так чтобы очень большой, но сытый. Средний. Кормили их лучше, чем нас, солдат. Придешь туда, на собачью кухню, там мясо, перловка, суп варят. Только без соли и без лаврового листа, а так все то же. Нахлебаешься там собачьего супа, поял. А то и ног не потянешь. Такой там план был: до обеда нужно пятьдесят мин найти. Вот идешь, флажками метишь, где шел, Орлик впереди бежит, по норме полагалось иметь поводок такой длины, чтобы, если собака подорвется, тебе живым остаться. Ну мы ходили как придется. Иной раз совсем на коротком поводке. Быстрее, поял. Собаки ученые были, учили их месяцев пять. Не то что учили, а так, подучивали, чтобы тол они искали. А мы уже их доучивали. Тол в землю зароешь — ищи. Он унюхает тол, ты

ему мяса кусок. Натаскивали. Собаки всякие были, и лайки тоже, разные. У меня Орлик, овчар, вот он идет, чует — мина, значит, сядет, вот так вот, грудью показывает. Щупом проверишь, а когда и не проверял. Флажок поставил, дальше идешь. Собака тол чует. Хоть на полметра в землю зарой, она покажет: что-то такое тут есть. Ну, ты ей мяса даешь. Мину найдет, ты ей мяса. А мы, бывало, мясо это на водку меняли. Тогда она уже смотрит: ага, раз ты ей мяса не дал, другую мину она уже лениво ищет, оглядывается. Три мины покажет, и все. Без мяса не станет работать. Что ты, поял. Собаки отлично искали мины. В Петродворце мы, помню, работали. В здание я поднимаюсь, на третий этаж. Орлик сел грудью к стене. Значит, что-то уж есть. Для проверки другую собаку ведем. И она тоже показывает: что-то есть. Третью собаку пускаем — и она тоже садится. Значит, мина в стене замурована. Толлом пахнет — она тебя все равно приведет. Я же знаю. Работал на этом деле. — Петя так и сказал: «на этом деле». — До обеда по пятьдесят мин находили, да после обеда еще. Орлика я просил, чтобы мне отдали, ну, списали по возрасту, когда демобилизовался. У меня с ним уже был общий язык, умный пес исключительно. Старшина не против был, я поллитру ставил ему. Ну а потом — куда я с собакой? Ему надо мясо, а я и сам не знал, как себя прокормить...

Вечером Петя встал, облачился в пижаму. Росту он не большого, но и не маленького. Средний. Как пес его Орлик. Пижамы на нем висит, как архалук на огородном пугале. Покуда лежал на подушках, лицо его было благообразным и даже полным, румяным. Поднялся — и заметными стали мертвенная землистость, помятость лица, мешки под глазами. Весь Петя потертый, подержанный, лысоватый. Похож он, конечно, не на артиста — на работника, из тех, что любят ораторствовать у пивного ларька. На столяра из районного ателье по ремонту квартир он и похож. Из рукавов пижамы торчат здоровые, толстопалые, с широкими ногтями лапищи.

Петя вернулся после отбоя. Не пришел — приволокся. Наговорился досыта, в домино настучался, устал. Лица на нем не было вовсе. Петя словно обуглился, по-

чернел. А глаза его побелели. Он молча улегся. Ночью мне не спалось и ему не спалось. Я спросил его шепотом:

— Что, Петя, не спишь?

— Жмет, поял. Протромбин, наверно, высокий.

Утром Петя лежал молчаливый, задумчивый. День прошел незаметно — субботний денек, без обхода. После обеда в палату к нам стали заглядывать разные личности, звали Петю сыграть в домино. Петя кряхтя поднялся и пошел, старики отговаривали, не одобряли эту Петину прыть. Петя стоял на своем:

— Надо разгуливаться, тренировочку сердцу давать.

В воскресенье к нему пришли жена с дочкой-десятиклассницей, принесли апельсинов, в разговоре с семьей — разговаривал Петя громко, как подобает главе семьи, — он употреблял любимое слово «поял». Гнусное, сорняковое это словечко в Петиной речи, будто клеймо от болячки на теле, невыводимо. Вечером Петя стучал в домино.

В понедельник я дожидался, когда за мною придут, и сведут меня в гардероб, и выдадут бюллетень — и прости-прощай палата № 4.

Петя мне на прощанье говорил:

— Ремонт будешь делать в квартире, со мной посоветуйся, поял. А то я знаю, у нас в ателье такая братва, напортачат только держись... Главное — это линолеум настелить. Самое милое дело. Плитка всякая — все ерунда. Чешский серый линолеум в клеточку тряпкой протер — и вся лавочка, никакой заботы. Но только, слушай меня, стелить его надо с умом, поял. Сначала надо картон, а после уже линолеум, чтобы ровно лежал, а то перекосится весь, быстро сносится, а деньги не маленькие... Ты мой телефон домашний запиши, — говорил мне Петя. — Я сам не подхожу, много звонят, поял, всем надо ремонт делать... Телефон жена или выключает совсем, или спрашивает: кто, по какому делу. А так невозможно, поял. Ну ты скажи, что вместе в больнице лежали...

Вот как нынче трудно пробиться к столяру районного ателье по ремонту квартир. Даже по личному телефону.

Говорил Петя в этот расстанный раз как-то трудно, с придыхом. Сильно он изменился за месяц, что мы пролежали с ним рядом. Был белый, румяный, а сделался пепельный, серый, перегорел.

Но я уже шел по мартовской улице, по солнечной сто-

роне, жмурился, грелся. До свидания, Петя, пока, будь здоров, если сможешь. Держись, поправляйся! Сегодня я плохо вижу тебя, чуть различаю, я уже далеко, далеко...

Появился в дверях одноногий, зеленый носок.

— Что, выписываешься?

— Выписываюсь.

Одноногий повисел на костылях, пошевелил скулами, ничего не сказал, упрыгал, зацокал копытами.

— Поправляйтесь, Петрович, и вы поправляйтесь! — Это я руку пожал Усам. — Желаю вам поскорее вернуться домой.

Я вернулся домой и забыл о четвертой палате. Вспомнил о ней как-то утром на рынке, медленно пробираясь в толпе, к тому краю рядов, где торгуют картошкой. Вижу Васю, мочального мага, волшебника нашего рынка; Вася поет, как бывало: «Мочала-борода, борода-мочала — дrrrr!» Это его «дrrrr» — как трель весеннего дятла. Мочалки все в той же цене (о, это бесценное постоянство!). У Васи круглые, нахальные, пеплом присыпанные бездонные глаза. Посмотрел на Васю и вспомнил Петю: надо бы позвонить моему соседу по палате № 4.

Набрал Петин номер и слушал гудки в квартире, в апартаментах столь важной персоны — столяра районного ателье по ремонту квартир. И волновался: сейчас меня строго спросят, как спрашивает секретарша в приемной ну если не министра, то все же высокого чина, — кто я и по какому делу. И дело-то личное у меня..

Ответил мне девичий, девочкин голос:

— Петра Андреевича нет...

— Он из больницы вышел?

— Нет, не вышел...

— А когда выйдет?

— Он не выйдет. Он умер, — ответила девочка. И чего-то ждала от меня, дышала в трубку.

Я не знал, что сказать. Ни одно из обыденных слов, которыми заканчиваются телефонные разговоры, к этому случаю не подходило. Нельзя сказать ни «спасибо», ни «передайте ему...», ни «когда позвонить?», ни «до свиданья»... Я медленно отнял трубку от уха и, все еще слыша в трубке дыхание девочки, осторожно, как яичко в закипающую воду, опустил ее на рычаг,

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Книга Фарли Моуэта «Не кричи, волки!» попала ко мне не совсем обычным путем. Она изрядно потрепана, корешок подклеен, иначе обложка бы отвалилась. Портрет автора на обложке затерт, поцарапан; лицо как будто подернулось морщинами, борода — сединой. Фарли Моуэт... Бороды бы его хватило на добрый десяток модных ныне шотландок и эспаньолок.

Собственно, это не моя книга. Хозяйку книги зовут Розита. (Редкое имя, не так ли?) Розита по специальности, видимо, химик: она брала пробы в ручьях и речках близ одного северокавказского курорта и затем производила анализ в лаборатории. Не в стационарной лаборатории, а в походной; ее бутылки и реактивы помещались в маленьком домике местных жителей, даже не в домике, а в кладовке, на берегу реки Геналдон. Исследовательской работой Розиты руководил гидрогеолог Антон. Я же в ту пору лечил свои кости на водах, исследуемых Антоном и Розитой.

Прибыв на курорт, я первым делом пошел к главврачу с просьбой поместить меня не в общей палате на четверых, а отдельно, особо. Нельзя же писателю не работать целый курортный срок — двадцать шесть дней. (Помните: «Не спи, не спи, работай, не прерывай труда, не спи, борись с дремотой, как летчик, как звезда...»?)

Главврач пошел мне навстречу, меня поселили в комнате горничной-нянечки. Отданная мне комната выходила окном на крыльцо, где постоянно толклись и галдели курящие мужчины. Дверь комнаты, фанерная, тонкая

дверь, вела в вестибюль, там стоял круглый стол, за которым народ играл в домино и карты. Игра продолжалась до позднего вечера, до отбоя, — и после отбоя игра прекращалась не вдруг. Стук костяшек о стол доносился ко мне с телесной осязаемостью. К тому же игра собирала толпу отнюдь не безмолвных болельщиков. (Тут надо иметь в виду коэффициент темперамента: дело происходило хоть и на Северном, но на Кавказе.)

Итак, с одной стороны, я жил уединенно, имел для работы свой собственный стол, но, с другой стороны, за спиной у меня бубнили: «Вот этот вселился, один живет, как барон, а нянечку выселили...» Под самой дверью моей без умолку стучали костяшки, под окном на крыльце звучали транзисторы и велись тары-бары — мужской разговор.

Пришлось работу прервать, не успев ее и начать, и пуститься повыше в горы, благо подъем туда начинался сразу же за крыльцом. В горах дул ровный, горячий, пропахший цветами и травами ветер, звенели цикады, внизу урчала река Геналдон.

На первой, ближайшей к санаторию вершине расположилась невидимая снизу деревня, нежилая, пустая, брошенная, похожая в этом смысле на наши деревни где-нибудь в вологодской или новгородской глубинке: хозяева поразъехались, переселились в другие места, а деревня осталась. Впрочем, во всех других смыслах деревня в кавказской глубинке, то есть на вершине пока что безымянной для меня горы, разительно отличалась от русских селений. Была она каменной, глинобитной, приземистой; на окраине высилась башня, надо думать сторожевая, четырехгранным конусом сложенная из каменных плит и с бойницами.

В одном из дворов осетинской деревни, в загонке, парень стриг большими ножницами поваленную и стреноженную овцу. (Впоследствии я познакомлюсь и даже подружусь с этим парнем, имя его Аслан, а деревня его называется Тменикау.) Я мельком взглянул на деревню, на стригаля, на испуганную, страдающую овцу и поспешил дальше в горы, поскольку жаждал безлюдья и одиночества.

Путеводительным ориентиром я выбрал русло реки Геналдон, то спускался к самой реке, ломал ноги в завалах камней, то набирал высоту, то терял. Нисходящий

в реке склон горы, или, вернее, цепи равновеликих гор, весь был истоптан овцами. На протяжении десятилетий, а может быть и веков, овцы топтали гору не как придется, а по своей овечьей системе. Тропы овечьи расположились параллельными ступенями, восходящими от подножия к вершине. Гора представляла собою лестницу к небу и могла быть показана в кинокартине «Воспоминания о будущем» как еще один аргумент в пользу версии о посещении нашей планеты обитателями иных миров.

Вначале я шел прогулочным шагом, не ставя перед собой каких-либо целей, не назначая конечного пункта путешествия. Идучи долиной горной реки, я удалялся от санатория, от моего одноместного номера — и радовался удалению. Но к чему приближался? Долину реки вдали запирала гора со снежной вершиной и сползающим по склону отрогом ледника. Казалось, что можно дойти до горы и увидеть начало реки Геналдон — ее ледниковый исток.

Почему бы и не дойти? Пропущу санаторные ванны и процедуры? Но разве полезней купаться в мелком бассейне, в чуть теплой, мутной воде среди голых туш, чем двигаться в солнечном мареве, плыть по горной долине, залитой доверху целебным настоем трав и цветов? Разве ходьба по горным тропинкам не лучшая процедура?

Конечно, идти до истока реки, до ледниковой горы, оказалось гораздо дольше, чем представлялось вначале. Известное свойство горного окоема — обманывать зрение, обольщать. Ледник (впоследствии я узнаю его название: Майли-Хох), по мере того как я к нему шел да шел, надавая ходу, вроде как и не приближался. С меня стекли те самые сто потов, помянутые во многих описаниях жаркой работы. Я охлаждал себя родниковой водой, вначале погружал в нее руки, и стужа проникала до плеч, затем окунал в стужу губы, она вливалась в гортань и в желудок. Но, как известно, вода — даже и родниковая, чистая, студеная вода — плохой помощник в походе.

В пути случилось со мной и опасное приключение: из прилепившегося к горному склону длинного овечьего стада выкатился с лаем большой лохматый шерстяной шар. Я узнал в нем сторожевую кавказскую овчарку — опасного, сильного зверя — и даже увидел вблизи оскал, сморщенный от ненависти ко мне нос и обрезанные уши. (Уши

сторожевым псам на Кавказе обрезают в щенячестве, дабы не за что было ухватиться волку.) Пес изготовился укусить меня, выбирал подходящее место, и я не мог найти способа защититься. Но тут из стада выделился пастух, не громко, но внятно для меня и для пса позвал: «Тобик, Тобик...» Тобик немножко еще порычал и с демонстративно подчеркнутой неохотой потрусил к своему хозяину.

Долго ли, коротко ли я шел, неважно. Солнце побегровело, изменилась окраска местности, и рельеф стал другой: широкая долина сошлась в каньон, река пенилась, скалила зубы, как Тобик, овечий сторож. Навстречу мне попало еще одно стадо овец, шустро трусящее по своим делам, ведомое сивобородым козлом.

Тропа забирала кверху, река все круче падала вниз. Еще немножко, и я увидел начало реки, исток: река вытекала из ледникового зева, из пещеры в рыхлом, просевшем, будто присыпанном пеплом снегу.

Отправляясь вверх по реке Геналдон, я загодя знал (из справочника-путеводителя по курорту), что река приведет меня к дикому целебному источнику, к ванне, в которой содержание лития, натрия и железа несравненно богаче, чем в санаторной купальне. Поэтому я не боялся в дороге устать, надеясь, что литий, железо и натрий верхнего Геналдона вернут мне силы, омолодят.

Вблизи истока я увидел парня и девушку с пробирками и бутылками в руках. (Это были Антон и Розита.) Привыкший в странствии к одиночеству, соответственно и одетый, то есть раздетый, в одних трусах, я ничего не сказал исследователям, даже «здрасте».

Поднялся еще немного, покуда не прекратилась тропа. Геналдон уперся в ледник Майли-Хох. Тут внезапно открылся мне страшный хаос — последствия оползня. Повсюду валялись камни, обломки скал и каких-то бетонных сооружений. От источника, ванны не сохранилось даже следа. Только чавкала под ногою, дымилась, парила, пузырилась почва. Единственным признаком некогда бывшей здесь жизни служил уцелевший фундамент строения — может быть, в нем помещалась купальня.

На фоне этой удручающей картины разрухи и запустения, в багровом свете низкого солнца неподвижно, безмолвно сидели люди. Мне показалось, много людей. Некоторые стояли, с биноклями у глаз, озирали окрест-

ные горы. Тут же были оседланные, навьюченные поклажей кони. На обломке скалы сидела женщина. Разглядел я также прислоненные к фундаменту винтовки. Отдельно от всех находился мужчина, сплошь одетый в нейлон, в синей кепке-касметке, в высоких ботинках на толстой подошве.

Обескураженный такой неожиданной встречей, я некоторое время молча вглядывался в пантомиму. Никто не промолвил ни звука. По-видимому, появление мое показалось компании необязательным, во всяком случае не обрадовало никого. Пантомима затягивалась, молчание делалось томительным. Тучный усатый мужчина в галифе и хромовых сапогах, видимо главный в компании, налил из черной бутылки в большой рог и сделал мне знак подойти. Я приблизился, он молча мне подал рог. Я так же молча его осушил. Пойло имело вкус самогона, только слабее. (Позже я узнаю, что это была арака, кукурузная осетинская водка.) Выпив, я сказал: «Хорошо!» Женщина перевела по-английски — для нейлонового человека: «Вери гуд!» Он кивнул головой, слегка улыбнулся.

Правда, выпив целый рог араки, я почувствовал себя значительно лучше. Теперь мне достанет сил на обратную дорогу, и пусть будет ночь — не беда! Подымаясь по Геналдону, я рассчитывал на литий, железо и натрий, но издревле прославленный своей целебной силой источник здоровья и молодости одарил меня аракой, что вовсе не хуже лития и железа. Я пристроился возле переводчицы, спросил, кто такие, зачем, почему. Переводчица ответила мне с не допускающей откровенности сухостью:

— Американец приехал охотиться на туров. Первый американец в здешних местах...

Получив этот минимум информации, я поспешил удалиться. Смеркалось, пора.

Овечье стадо с его знакомым мне сторожем Тобиком спустилось к реке. Тобик лежал на прибрежной скале. Я двигался низом, чтобы не сбиться с тропы, прыгал с камня на камень. Тобик равнодушно посмотрел на меня. Стоящий с ним рядом пастух сказал вполголоса, зная, что горы придадут его тихим словам нужную громкость и донесут их до меня:

— Что скоро вернется?

Я поделился полученной информацией:

— Там на охоту приехали. На туров.

- Кто приехал?
- Американец.
- Что, у нас своих охотников нет?
- За деньги, за доллары.

Пастух улыбнулся. Зубы у него такого цвета, как ледник Майли-Хох в верхнем ярусе, не посещаемом охотниками на туров.

Утром, едва позавтракав, я побежал на верхний Геналдон. Именно побежал, боясь упустить что-то важное, нить сюжета. Мой творческий метод: вначале пройти сюжет по тропе, тогда записать на бумаге. В селе Тменикау мы поздоровались с овечьим стригалем Асланом как старые знакомые. Он мне сообщил, что охотники проехали рано утром, повезли с собою туры рога.

Аслан навьючивал на ишака не совсем обычную поклажу: колченогие деревянные кóзлы для пилки дров. Это мне показалось забавным: козел, хотя бы и деревянный, поедет верхом на осле. Я посмеялся, и Аслан посмеялся. Он мне сказал, что осла зовут Васькой. Кóзлы нужно везти на верхний Геналдон в экспедицию: Розита с Антоном будут пилить дрова. Дрова им тоже возит ишак Аслана Васька, арендованный экспедицией. За работу Ваське, то есть его хозяину, экспедиция платит четыре рубля в день. Сам же Аслан работает в разведочной партии на буровой. Он недавно вернулся с флота, служил на Балтике, на торпедных катерах, — старшина первой статьи.

Ваську пришла проводить в дорогу его подруга, ослица Машка. Верхом на Машке Аслан съезжает с горы на буровую, на берег реки Геналдон. А Васька и сам, без погонщика дойдет до верхнего Геналдона. Надо только поставить его на тропу и задать ему начальную скорость — непременно дойдет, а к вечеру прибежит обратно.

Я не стал дожидаться, пока завьючат моего длиннорухого попутчика Ваську, и побежал — по росе, по утреннему холодку.

Экспедиция, то есть Антон и Розита, жарила на керегазе турью печенку. Тут же сушилась на солнце и турья шкура.

— Шкура и мясо ему не нужны, — сказал Антон. — Только рога — для коллекции.

— Его зовут Билл Пейкинг, — сказала Розита, — ему предлагали выпить, он наотрез отказался. Говорит: «Если узнает отец, он меня убьет».

— Ему сорок лет, — сказал Антон, — у него отец фермер, доход фермы — шестьдесят тысяч долларов в год... Отец считает его молодым, дела не доверяет ему. Он пока что занимается охотой, был в Африке, в Южной Америке, на Аляске...

— Он говорит, — сказала Розита, — что такой красоты, как здесь, нигде не видал.

— Мы сюда в марте приехали, — сказал Антон, — еще снег лежал. И вот утром горные индюки слетались к палатке, такие танцы устраивали — прелесть...

— А еще говорят, — сказала Розита, — что сюда прилетают большие бело-розовые птицы, похожие на фламинго. Исполняют ритуальные танцы... Мы с Антоном не видели, но многие говорят...

— Это тебе Аслан заливал, — сказал Антон. — Его только послушай...

Палатку — Антонов с Розитой дом — поставили на цементном полу разрушенного селом строения. Здесь же была и цементная ванна-бассейн — пустая. Когда я пришел, Антон застегнул вход в палатку на все пуговицы.

— Вот этот клочок земли у истока реки Геналдон, — сказал Антон, — в свое время купил у царского наместника — за бесценок — дед Аслана Царахов. Сюда съезжались на ослах обезножившие калеки, а отсюда уходили на своих двоих. Царахов брал с них плату за лечение, возил сюда дрова и провиант, изрядно разбогател... Как папаша Пейкинг...

— У потомка Царахова тоже есть эта жилка... — сказала Розита. — За своего несчастного осла Ваську он такую цену загнул...

Мы насладились турьей печенкой. Принесенного мною сухого вина Антон выпил с удовольствием, Розита чуть пригубила.

— Меня папа убьет, как того американца, — сказала она, — если узнает, что я выпиваю в мужской компании. У нас, осетин, это не принято...

Антон, я заметил, порою взглядывал на свою сотрудницу с какой-то восторженной робостью. Розита обладала спокойной плавностью и девственной свежестью форм. Она носила очки, и взгляд ее преломлялся в круглых сте-

кляшках, не выходил наружу; создавалось впечатление непроницаемости. Антон ростом поменьше Розиты, и некое беспокойство сквозило в его движениях, жестах. Посреди застольного разговора с турьей печенью и вином он вдруг умолкал, отстранялся, и я понимал, чувствовал: мне пора уходить, Антон считает минуты столь нужного ему времени...

Но я сидел, хотя опустела бутылка и печень у тура невелика. Не очень-то мне хотелось плестись по острым камням, среди хаоса, сотворенного селевым потоком. (Ослу Ваське за это хоть платят четыре рубля.) И возвращаться в мой насквозь простукиваемый костяшками домино одноместный номер тоже мне не хотелось. Вот так бы сидеть и сидеть за столом на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, в окружении снежных гор, населенных турами, горными индюками и странными бело-розовыми птицами, похожими на фламинго, выглядывать иногда с безотчетным, неожиданным трепетом на Розиту...

Во время одной из все более удлиняющихся пауз я взял лежавшую на столе книгу: Фарли Моуэт. «Не кричи, волки!»

— Вы это читали? — быстро спросила Розита.

— Нет, не читал.

— Ну что вы... Такие вещи надо читать.

— Да, вещь стоящая, — подтвердил Антон.

— А что, беллетристика или научно-популярное?

— Ни то и ни другое, — сказала Розита. — Нечто большее. Просто ее написал настоящий человек. Нет, нет, не писатель, а именно человек.

Тут я заметил, что Розита подчеркивает зазор между этими званиями — «писатель» и «человек».

— Эту книгу написал настоящий ученый, — сказал Антон.

— Не в этом дело, — перебила его Розита. — Я могу вам дать почитать, только с условием, что вы вернете. Я этой книгой дорожу. Ее нигде не купишь...

— А как же он вернет? — испугался Антон. — У нас кончается полевой сезон. Через две недели мы уезжаем. Я поспешил успокоить Антона:

— У меня сезон только еще начинается. Я принесу! Дорогу знаю! В санатории все равно мне скучно сидеть.

— Да уж, не завидую вам, — сказала Розита. — Я бы

и двух дней не выдержала... На всякий случай запишите мой телефон в Орджоникидзе.

Пока я записывал телефон Розиты, Антон смотрел на меня, как я на пса Тобику, когда он внезапно выкатился ко мне из стада с рыком и лаем. Росту Антон небольшого, лет ему тридцать или чуть больше.

Книгу Фарли Моуэта я прочел весьма скоро, она, правда, понравилась мне, я вполне согласился с оценкой Розиты. Но сбегать к истоку реки Геналдон так и не собрался, проникаясь мало-помалу сознанием благодетельной непременности санаторного режима: ванны, массаж, ультразвук, лечебная физкультура...

По утрам на зарядку, вместе с санаторной публикой, страдающей заболеваниями опорного аппарата, радикулитами, спондилезами, артрозами, хондрозами (местные ванны помогают также и от бесплодия), приходили из окрестных селений ослы и ослицы. Длинноухих привлекала именно зарядка. Они располагались вокруг заряжающихся, с нескрываемым насмешливым любопытством созерцали данное действо, порой обмениваясь впечатлениями от увиденного на весьма звучном, трубном ишащем наречии. Полюбоваться зарядкой, я видел, прибегали из села Тменикау ишаки Аслана Васька с Машкой...

После зарядки и завтрака больных отвозили в автобусе к ванному зданию на берег реки Геналдон. Я добирался туда своим ходом, опять же через село Тменикау, сначала вверх, затем вниз. Однажды я повстречался на этой дороге с Розитой. Она брала пробы в ручье одна, без Антона. Мы обменялись с нею впечатлениями о прочитанной книге Фарли Моуэта «Не кричи, волки!». На ванную процедуру я опоздал. Книги у меня с собой не было. Заходить ко мне в санаторий Розита сочла неудобным.

...Когда по прошествии санаторного срока я позвонил Розите из телефонной будки в Орджоникидзе, трубку взял папа Розиты, интеллигентным голосом, с чуть уловимым кавказским акцентом, спросил, кто я, откуда, какого рода дела у меня с Розитой. Я ответил подробно, чистосердечно, мне нечего было скрывать. Папа Розиты назвал точное время, когда Розита придет домой. И правда, когда я позвонил, она тотчас подошла к телефону.

Мы встретились с ней, Розита меня пригласила на премьеру спектакля «Час пик». Сославшись на жару, я вежливо отказался и пригласил ее в ресторан.

— Вообще-то я эмансипированная девушка, — сказала Розита, — но сразу идти в ресторан — в нашем городе это слишком. . . Боюсь, как бы у вас не вышло неприятностей. . . Осетинские мужчины ревнивы и воинственны, это у них в крови. . .

Мне захотелось спросить, каково же тогда Ангону, но я удержался.

Отказавшись от театра и ресторана, мы погуляли в парке по бережкам текучих и стоячих вод, среди южных растений; цветы источали сильный сладостный запах; по газонам вольно гуляли, кричали резкими голосами павлины. . . Мгновенно стемнело, но парк хорошо освещался лампами дневного света. Как люстра, сиял сплошь остекленный ресторан «Нар».

И сколько бы мы ни гуляли по чудному парку, этот главный источник света привлекал нас и завораживал, как ночных бабочек. В конце концов Розита согласилась на компромисс: мы зашли не в ресторан, а на террасу — в кафе. Женщин здесь, правда, не было, только мужчины. Розита держалась храбро, просто и независимо.

На террасе, в баре ресторана «Нар», среди посетителей выделялся особенной красотой, мощью и статью один человек. Он был по-мужски абсолютно красив. Таких красавцев дарит миру кавказский народ — по ту сторону Крестового перевала или по эту. Лоб у него высок, кудри густы, посеребрены сединою, усы ухожены, подбородок массивен и раздвоен; мощная шея — как ствол платана, плечи развернуты так, что на белой, с накрахмаленным воротом сорочке — ни складочки; галстук парижской марки. . . Только один был изъян в костюме красавца, в общем незаметный: широконосых его черных ботинок, обязанных глянцеветь и сиять, что-то давно не касалась щетка; свойственный этим ботинкам лоск лишь угадывался под слоем заскорузлой грязи и пыли. Похоже, что эти ботинки ступали по лужам. Но отчего же красавец, щеголь, ревниво следящий за своей внешностью, не обратился к чистильщику? Их довольно в Орджоникидзе, как и в других южных городах. На этот счет у меня сразу явилась догадка. . .

Красавец скучал, его томило одиночество, чувство превосходства над всякой мелюзгой, ошивавшейся в баре. Он посмотрел на нас с Розитой долгим и, скажем так,

несколько тяжеловатым взглядом. Что-то мелькнуло в его восточных, южных глазах — интерес. Он пригласил нас за свой столик. Мы приняли приглашение.

Я еще раз близко взгляделся в ботинки красавца. Нет, не мог он себе позволить так просто их запустить...

— Ну что? — спросил я. — Пьешь, наверно, четвертые сутки подряд?

С неподдельным, искренним изумлением красавец воскликнул:

— Откуда ты знаешь, слушай? Точно! Четвертые сутки! Из Тбилиси приехал на симпозиум по биофизике — мой главный доклад. Доклад сделал, потом один банкет, другой банкет... Друзей много, слушай, в горы везут, шашлыки жарят. Невозможно жить! Еле вырвался — отдохнуть надо.

Я указал взглядом на ботинки профессора биофизики. (Как выяснилось впоследствии, красавец — профессор, доктор наук.)

— Хомо сапиенс, — сказал я, — на вторые сутки пьянства не чистит зубы, на третьи не бреется. Ботинок он не чистит в течение всего похмельного цикла — синдрома. — В разговоре с человеком науки я старался употреблять научную терминологию.

Мы посмеялись, отведали легких кавказских вин. Розита сказала, что завтра папе станет известно, как она прожигает жизнь в мужской компании «у трактирной стойки». «У нас такой город: все знают всё про всех...»

Книга, ради которой и состоялось наше с Розитой свидание, лежала в моем кармане. Слегка возбужденный винами, духотой, потемками, запахами и звуками южного города, я позабыл о книге. И Розита, видимо, позабыла.

Обрел я книгу лишь в самолете, летящем из Минеральных Вод в Ленинград. Решил, что сразу, вернувшись домой, отправлю ее Розите по почте.

Прошли годы, уже года три... Книга лежит у меня на столе, та самая книга, доставшаяся мне у истока реки Геналдон, на отроге ледника Майли-Хох, отчасти благодаря удачной охоте на туров американца Билла Пейкинга... Ее написал канадец Фарли Моуэт — «Не кричи, волки!».

Но это я забегаю вперед.

По возвращении в Ленинград с северокавказского курорта я повстречался однажды с моим старым товарищем. Мы спросили друг друга, как это заведено у людей, склонных к странствиям, кто где побывал.

— Я был в Канаде месяца два, — сказал товарищ сдержанно, скромно, как и подобает говорить о странствиях такого масштаба.

— Слушай, — воскликнул я, — ты не знаешь в Канаде писателя Фарли Моуэта? Он написал прекрасную книгу «Не кричи, волки!».

— Я был гостем Фарли, — ответил товарищ, значительно поблескивая темными стеклами очков, которыми обычно прикрыты его глаза от солнца. — У него есть вила на озере Онтарио, я там и жил. А в прошлом году Фарли с женой Клер были у меня в гостях в Ленинграде. Фарли скоро приедет опять, мы с ним отправимся в путешествие по нашему Северу — в Якутск, Магадан... Я тебя с ним познакомлю. Он парень хороший.

Товарищ все это высказал просто, но под внешней простотой, конечно, угадывалась торжествующая гордость открывателя и хранителя никому не ведомых ценностей.

Книгу Моуэта я решил подождать возвращать Розите, поскольку появилась надежда получить автограф Фарли. (После заочного представления я стал звать про себя канадского писателя — Фарли. Друг моего друга — мой друг.)

Что касается самой книги, она посвящена волкам. (Это явствует из заголовка: «Не кричи, волки!») Автор книги Фарли Моуэт, биолог по образованию, в начале шестидесятых годов отправился на север Канады, в тундру, где обитают олени-карибу, пасомые немилосердными пастухами-волками. (Заметим сразу: уже тогда он испытывал неясную, априорную, но явную, побуждающую к действию симпатию к волкам.) Задачей своей экспедиции (в экспедиции был один человек — Фарли Моуэт) он поставил выяснить дебет и кредит, урон и выгоду взаимодействия волков с оленями. То есть задачу такую Моуэту поставили соответствующие инстанции, во власти которых было казнить волков или миловать, имея в виду интересы оленьих стад.

Исследования Фарли Моуэт проводил согласно

данной ему инструкции, но выводы его резко разошлись с горячим желанием инстанций убивать волков как можно больше, извести всех до одного и таким путем достичь процветания в царстве карибу.

Фарли нанял самолет, старенький, плохонький самолетик. Хозяин-пилот доставил его в центр или, может быть, на окраину оленьего, волчьего мира — к самому логову зверя. Неподалеку от волчьего логова Фарли поставил свою палатку и принялся с волками жить. (Вторую часть пословицы я не хочу применять в отношении Фарли. Может статься, ему и хотелось порою завывать по-волчьи с тоски, но от этого бесполезного дела незваного соседа волков уберегло непреходящее чувство юмора. Юмор Фарли — шотландский, разумеется на канадский манер. Предки его — выходцы из Шотландии.)

Фарли прожил с волками около года. Было бы преувеличением утверждать, что соседи жили во взаимной любви, но дело ни разу не дошло до распри, если не считать мелких пограничных конфликтов. Вглядываясь в волчью жизнь, Фарли проникся глубоким уважением к ее законам, которые существовали от века и неукоснительно исполнялись. Ему довелось быть свидетелем волчьего жениховства, свадьбы, появления в семье потомства, детских игр и забав, воспитательной родительской системы. Ему выпала также возможность воочию убедиться в том, что, конвоируя стада беззащитных карибу, волки чураются кровожадного мародерства, добывают пищу себе и потомству за счет больных и слабых олешков, недостаточных бегунов. Таким образом осуществляется если и не слишком милосердная, то в гигиеническом смысле оправданная профилактика оленьего сообщества — из стада удаляются разносчики болезней.

Идея «подвижного равновесия» в живой природе, где равно необходимы пескарь и щука, не нова. Но для доказательства ее Фарли Моуэт ставит эксперимент, единственный в своем роде: он обрекает себя на долгое время отшельничества, одинокого противостояния миру зверей и пустынных пространств; это — время стоических усилий в борьбе не только с враждебной природой, но и с самим собой, время терзаний, раздумий о месте человека в царстве природы, о праве жить или быть убитым на потребу непрекращающейся жизни, о гармонии и диссонансе...

Я привожу здесь неполную, хотя и пространную аннотацию на книгу Фарли Моуэта «Не кричи, волки!», чтобы подчеркнуть мое особенное волнение в предвидении встречи с ее автором — легендарным героем одиссеи в волчьем краю. Сколько бы Фарли ни подтрунивал над собой в своей книге, а все равно одиссея...

Он приехал в гости к моему другу в шотландской клетчатой юбке и общеупотребительном пестреньком пиджаке, в обыкновенных же ботинках, но в шерстяных гольфах, натянутых на крепкие, толстые, малость волосатые икры. Голые коленки Фарли — квадратного сечения, здоровые, гладкие, загорелые. Юбка у Фарли широкая, с плиссировкой. Глядя на эту обыденную для шотландцев и странную в условиях нашего городского жилища особенность туалета, я почему-то стеснялся.

В колоритном облике шотландца-канадца прежде всего бросалась в глаза борода, разросшаяся величиной в добрый веник, вольная, дикая, рыжеватая. Из бороды торчала короткая трубочка, Фарли то и дело подносил к ней синее длинное пламя зажигалки. Глядел он пристально, открыто, светло.

Я протянул канадцу его собственную книгу, привезенную мною с горы Майли-Хох. Он написал на форзаце: «...с наилучшими пожеланиями» (best wishes) и подписал поставив: Farley Mowat.

Фарли сопровождал в путешествии его соотечественник, фотохудожник Джон де Виссер, мужчина крупный, величественный, тоже бородатый, голубоглазый, весь замороженный, зимний, как айсберг. (Мало-помалу напитки согрели Джона, и он оттаял.) Переводил разговор приданный Фарли в Москве переводчик Коля.

Разговор, когда сели за стол и объяснились в дружеских чувствах, пошел на ощупь, с оглядкой на соседа. (Гостей собралось порядочно, притом не очень знакомых друг с дружкой.) Фарли Моуэт говорил громко, свободно. Джон де Виссер помалкивал. Коля переводил.

Кто-то спросил у Фарли, как он относится к Хемингуэю. Да я и спросил. Надо же знать, как они там, бородачи, на американском континенте делят меж собой литературную славу.

— Но, — покачал головою Фарли и залился длин-

ной тирадой, похожей по звучанию на клекот белохвостого орлана.

Коля перевел:

— Фарли говорит, что у Хемингуэя много этого... пиф-паф, много крови. Ему не нравится, когда убивают... рыб, быков... и людей тоже... Культ убийства... Фарли говорит, что он против убийства... даже мухи...

Тут, пользуясь паузой в речи Фарли Моуэта, слово взял один из гостей. Он сказал, что вот здесь, в Ленинграде, в блокаду погибли сотни тысяч мирных людей. И если бы тогда следовать заповеди «не убий», не убивать бы фашистов, то, наверное, не пришлось бы нам всем принимать нашего дорогого гостя вот за этим столом, а, скорее всего, пришлось бы лежать в земле...

Фарли внимательно выслушал эту реплику в Колином переводе и тотчас ответил, чуть Коля умолк:

— Yes, of course, — сказал Фарли. — I understand...

— Фарли говорит, — перевел Коля, — что он понимает... Он сам воевал и, может быть, убил... одного фашиста... Да, точно, одного убил... И, может быть, еще одного... или двух, потому что стрелял... из автомата... И ничуть не жалеет об этом. Он говорит, что не признает убийства... ради сведения счетов и спорта... Он... терпеть не может корриду... Он говорит, что видел, как американские охотники расстреливают с самолета карibu, то есть оленей. — Тут я вспомнил Билла Пейкинга и съеденную мною печень тура. — Фарли говорит, что, если бы у него был зенитный пулемет, он бы с удовольствием расстрелял охотников...

Фарли широко, во всю бороду улыбался: «All right».

Сидя против канадца за людным пиршественным столом, я думал, как бы мне выманить его — для особой, нашей, с глазу на глаз, беседы. Какие-то я ощущал в себе преимущественные права на Фарли. (Надо думать, я вынес это ощущение с ледника Майли-Хох вместе с зажатой под мышкой книгой «Не кричи, волки!».) Но Фарли Моуэт в равной мере принадлежал всем гостям, хозяину дома, а также и читающей публике всего мира.

Тут вдруг пришло мне на ум, что хорошо бы канадцев свозить за грибами, показать им наш лес. Застольные разговоры везде одни и те же, музеев они навидались, а вот за грибами их никто не свозит, кроме меня. Поздно-вато, октябрь, но ситники, горькухи, моховики, обабки

еще попадались. И красноголовые подосиновички продавались на рынке — рубль кучка.

Я поделился мыслью насчет грибов с хозяином, тот обратился к Фарли и Джону. Они закивали: «Да, да, конечно! Mushrooms, mushrooms. . .» То есть грибы, грибы. . .

Назавтра утром я поставил моего «Москвича» у тротуара против дома и стал дожидаться гостей. Гости прибыли на двух интуристовских «Волгах». Фарли первым проворно выскочил ко мне (на этот раз не в юбочке, в брюках), пожал руку, как старому другу, и с видимым удовольствием уселся на переднее сиденье «Москвича». Следом за ним перебрался ко мне и Джон де Виссер. Ну и Коля, конечно. . .

Рассчитывать на грибы близ пригородного шоссе особенно не приходилось. Канадцы бормотали: «Mushrooms, mushrooms. . .» А какой там «машрум», когда все вокруг выхожено, вытоптано, изрыто. . . Идея поездки за грибами сама по себе завлекательна и прекрасна. Но где их найти — хотя бы на маленькую жареху? . .

Ладно, отступать было некуда, я ехал да ехал. . . Остановился у Чертова озера, широким жестом пригласил гостей в лес, будто в собственные угодья. Лес был, к счастью, хорош в погожий октябрьский денек. Джон де Виссер стал прилаживать к аппарату трубу телеобъектива, Фарли тоже занялся фотографией. Правда, снимали они не столько лес, сколько дочку моего товарища.

Я же, едва войдя в лес, тотчас принялся по нему рыскать в челночном поиске. Грибов, конечно, не было в этом лесу, только грибные очистки: все взято, унесено, засолено, сжарено, съедено. Но чем дольше я рыскал, шарил в подлеске, нюхал, тем становилось (как в детской игре) теплее, жарче: должны быть грибы, найдутся. С детства мне валило грибное счастье. Рыба не бралась на крючок, зато без грибов я из лесу не возвращался.

В этот раз на карту ставился кроме моей репутации грибника еще и престиж единственной страны в мире, употребляющей в пищу не только луговые шампиньоны, но и лесные грибы (mushrooms). В Канаде грибы едят только карibu. . .

Ладно. Основой моего грибного счастья служило правило, полезное во всех родах деятельности: не выбирай дорожку «протоптанней и легче», спускай семь шкур, проливай сто потов — и будешь с грибами.

Грибов я, правда, нашел на жареху, даже два белых... Грибы мы сжарили у меня дома, выпили под грибы, беседа пошла по-домашнему просто. Канадцы всю улыбались, вспоминая грибную охоту. «Mushrooms, mushrooms...»

Тут-то я и спросил у Фарли, то есть у Коли:

— Коля, пусть Фарли скажет, с волками-то все-таки страшно ему было жить?

Коля спросил, Фарли в ответ рассказал что-то смешное, рассмеялся даже невозмутимый, как айсберг, Джон.

— Фарли говорит, — сказал Коля, — что в прошлом году он был в Советском Союзе с женой Клер... И они ездили на Кавказ. И там все время им приходилось бывать на банкетах, и все говорили тосты... Под каждый тост полагалось выпивать... На одном банкете было особенно много тостов... После банкета Фарли и Клер везли в отель на машине... Было очень темно... Клер была в брюках, а Фарли в юбке... Он тогда еще не успел загореть, ноги его светились... как свечи... И один из грузинских друзей... погладил его по коленке... нежно и страстно... Он принял Фарли за Клер... или еще за кого-то... Что неудивительно после такого количества тостов... Фарли говорит, что в сравнении с тем, что он пережил в ту ночь, волки ему кажутся не страшнее ягнят...

Тут мне вспомнился почему-то профессор биофизики, мужественный его подбородок, усы и четверо суток нечищенные ботинки...

Время от времени Фарли отрывался от нашей застольной беседы, залазил под стол, лаял на разные собачьи голоса и кусал за коленки мою дочку — ей было тогда три года. Дочка тоненько визжала от полного, абсолютного удовольствия.

Когда настало время нам расставаться (уже под утро), Фарли Моуэт пошел на кухню, подвязал передничек моей жены и в мгновение ока вымыл всю посуду.

Прошло три года, порою дочка спрашивает меня:

— Когда к нам еще приедет дядя Фарли?

На память о Фарли осталась книга «Не кричи, волки!» — «...с наилучшими пожеланиями» (best wishes).

Надо думать, что я уже не верну книгу ее хозяйке Розите, надеясь, что оправданием мне, хотя и слабым, послужит вот этот чистосердечный рассказ.

ВДАЛИ ЗА ГОРОЙ

В ту осень мы забрались с женой на Телецкое озеро в такую пору, когда туристов там не бывает: поздно. И дивно было нам видеть празднество красок, ярусы разноцветного пламени на прохладном ультрамариине горных хребтов. Вдруг сделалось тихо, настолько, что мерный голос неведомой птицы звучал тревожно, как метроном... Дунул ветер со снегом, смешал все листья, все краски...

Нам не хватило трех дней восвояси убраться, покуда осеннее ведро. Катера уже не ходили, путь оставался один: долиной реки Чулышман до перевала Катунь-Ярык; подняться — а там уже просто.

На перевале в горах устоялся мороз, такой, каким надлежит ему быть зимою в Сибири. Жена моя слишком легко оделась для зимней прогулки по горной тайге. И слишком рано пала зима... И если бы не курная пастушья избушка, то я и не знаю, сколько пришлось бы нам мыкать горе на стуже...

Изба топилась по-черному, мы с женой хорошо прокоптились, наплакались. (Ладно, хоть были спички.) И тут появились вдруг на конях пастухи, молодые ребята, алтайцы, с веселым гиком, свистом и шуточками (шутили они со вкусом, солью, на незнакомом мне языке), вмиг посадили жену на лошадь. Свободного седла у них не нашлось, жена поместилась на вьючном железном каркасе. Мне тоже дали коня без седла. Сами же пастухи сели по двое на коня. Они засвистали еще сильнее, загикали, замахали кнутами — и мы помчались, взвих-

ряя снег. (Впоследствии эта скачка внахлест, и тем более на вьючном седле-каркасе, будет долго и ощутимо напоминать о себе.)

Проехав какую-то часть пути, на подъеме, где кони перешли с рыси на шаг, я спрыгнул в снег и сказал:

— Езжайте, ребята, я лучше пешком. . .

Пастухи опять пошутили и умчали мою жену, как полоненную княжну во времена татаро-монгольских набегов.

Вечером она встречала меня у околицы алтайского села, отдохнувшая, накормленная, напоенная ячменным чаем-толканом, сдобренным маслом. Силы к ней возвратились вполне, щеки порозовели, только порою с гримасой боли она хваталась за то место, на котором ехала во вьючном седле.

Ночевали мы в доме одного из пастухов-джигитов и, окончательно отдохнувшие, утром бежали по снежной прикатанной дороге в направлении еще большего, чем то, в котором мы ночевали, села Улагана, районного, или, как говорят на Алтае, аймачного центра. На склонах паслись табунами кони, добывая копытами из-под снега траву. Мы глядели на белые горы, на солнце и на коней, клялись друг другу, что никогда не забудем эту картину и еще повидаем много таких картин, не убоявшись дорожных тягот. Чего бояться, если мир так прекрасен и живут в нем веселые, добрые пастухи.

Наша радость в то утро, на вкусно похрустывающей снежной пустынной дороге, вполне понятна: мы одолели не маленькие препятствия и сознавали себя молодцами. А то, что ждало нас впереди, представлялось таким же ровным и гладким, как эта дорога.

За полдень мы добежали до Улагана. Солнце изрядно грело, снег таял, запахло весной. У входа в улаганский раймаг образовалась лужа. Население Улагана, видимо не очень занятое в эту пору на полевых и других работах, было представлено на магазинном крыльце довольно полно, от мала и до велика. Собачье же население было представлено все целиком и вело себя так, будто март на дворе, не октябрь.

В магазине мы запаслись компотом в банках и хлебом. В продаже имелись также болгарские сигареты «Опал» и венгерский коньяк «Будафок». Население сле-

дом за нами вошло в магазин — поглядеть, что мы купим. Оно посмеялось тому, что мы тратим деньги на дорогое и слабое курево. Отдельные представители населения советовали:

— Вон, берите коньяк.

Но коньяку мы не взяли. И зря. (Потом придется исправить эту ошибку.)

Выйдя на крыльцо, мы не знали, куда нам теперь податься, где ночевать, да и не думали мы об этом. Крыльцо было поместительное — целая галерея — и чистое. Приискав местечко, мы стали закусывать хлебом с компотом. Солнышко пригревало. Население вскоре утратило к нам интерес, отвернулись даже собаки. Болгарский табачный дым казался особенно сладок, приятен в алтайском селе Улагане на вольном воздухе, пахнущем — не по сезону — весной.

Но начинало и примораживать. Пора было задуматься о прибежище, о ночлеге. Жена беззаботно прихлебывала компот, вполне полагаясь на меня как на главу экспедиции, как на старосту группы. Я задал жене вопрос — бессмысленный, беспредметный, единственно для того, чтобы вывести себя из этой расслабляющей беззаботности, понудить к действию:

— Ночевать-то где будем?

— Уж если там не пропали, наверное, здесь-то не пропадем, — сказала жена с вполне оправданным оптимизмом.

Я достал из кармана бумажник, вынул бумажку с печатью, прочел. В ней излагалась просьба Союза писателей к местным властям — оказывать всяческое содействие писателю имярек в сборе материала, бытовом устройстве и передвижении. Речь шла обо мне, но я уже десять дней как не брился. Куртка моя прогорела, и сапоги прогорели. И запах конского пота (я скакал на коне без седла), дыма, сенной трухи (из той, пастушьей избушки) исходил от меня; я с этим запахом сжился, сроднился. Бумага пахла иначе, и я прочел ее отчужденно, как неприложимый ко мне документ.

— Можно в таком виде являться к местным властям, ничего? — спросил я жену.

— Почему бы и нет? — отвечала она по-женски, с легкомысленной самоуверенностью. — По крайней мере

сразу видно, что ты действительно жизнь изучал. Настоящий писатель...

— Ну ладно... — Я тяжело вздохнул и пошел.

Секретарь райкома принял меня спокойно, серьезно. Разговор у нас зашел вот о чем. (Я привожу содержание разговора с секретарем Улаганского райкома, надеясь на сущую пользу печатного слова.) Однажды, маршрутом с Телецкого озера, проходили через Улаган студенты Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. Они обратились в райком с предложением: сделать проект дороги из долины реки Чулышман на Улаган, через перевал Кату-Ярык. Разумеется, на общественных началах. Пообещали и, видимо, позабыли...

— Такая дорога нам нужна позарез, — сказал секретарь райкома. — Вы сами знаете, как добираться к нам из Балыкчи или Коо... — Он посмотрел на мои сапоги, улыбнулся. И я улыбнулся.

— Знаю.

— Заплатить за изыскания и проект у нас нет средств, — сказал секретарь райкома, — но если бы студенты приехали к нам, мы бы им помогли оборудовать лагерь и обеспечили бы питанием — на весь сезон... Вот хорошо бы им напомнить о данном обещании — через прессу.

Я обещал напомнить. (Напоминаю.)

Когда пришло время спросить о насущном моем личном деле: где ночевать в Улагане, когда я задал этот вопрос, секретарь райкома ответил:

— Зайдите к председателю райисполкома, он вам подскажет. Если хотите, завтра утром можете со мной уехать до Чибита. Приходите к райкому к семи утра. Место в машине будет.

В самом радужном настроении я вошел в кабинет председателя райисполкома (аймакисполкома) и сразу натолкнулся на председательский настороженный и неприветливый взор. Председатель глядел на мои сапоги, как я ступаю по ковровой дорожке его кабинета. (Дальше все пойдет, как в хорошо отработанном литературном сюжете — о человеческом секретаре райкома и бюрократившемся председателе райисполкома.) Председатель

прочел мою бумагу, оглядел меня, не приглашая садиться (я сел и без приглашения), потянул носом воздух. Тут мой запах — конского пота, дыма и сенной трухи — сделался особенно сильным, я и сам его ощутил.

— Чего не бреетесь? — спросил председатель. — Или это у вас, писателей, заведено — бороды отпускать? — Должно быть, ему насолители писатели или же он составил мнение о них на основании предвзятой информации. Во всяком случае, симпатии к этого рода личностям он не питал, неприязни же ничуть не скрывал.

Я объяснил, что бритва моя электрическая, а штепселей на кедрах и лиственницах не имеется и что мне надо переночевать в Улагане.

— Гостиниц у нас пока что нет. — Председатель развел руками. — Завязывайте знакомство с местным населением. Это вам будет полезно — с народом пообщаться...

Я подумал, кто же он сам, председатель-то, почему бы нам с ним не завязать поближе знакомство. Но промолчал, поднялся уходить — согласно его совету, искать контакта с местным народом. Председатель сказал:

— К нам приехал один... тоже, как вы, с запада («с запада», как говорят в Сибири, — стало быть, из-за Уральского хребта)... молодой специалист... Мы его районным ветврачом назначили. Дом новый дали. Обратитесь к нему, с ним скорее найдете общий язык. Вон по улице направо идите — увидите: новый дом, изба-пятистенка...

Я поблагодарил и пошел направо по улице — новый дом выделялся в порядке своей новизной. На всякий случай я посчитал в нем стены: вроде как пять. Постучал, не дождавшись отзвучива, толкнул дверь, очутился в сенях. Подергал еще одну дверь и вошел в самый дом — в кухню, затем в горницу.

В новой избе-пятистенке, рубленной из мелкого лесу, должно быть из пихты, пахнущей новизною, свежесрезанными бревнами, смолой, сидел за столом человек, приехавший с запада. Он читал очень толстую книгу. Когда я вошел, человек книгу закрыл, оставив в ней указательный палец. Я прочел заголовок: «И один в поле воин». Человек был на вид лет тридцати с небольшим, и весь его вид наводил скорее на мысль о востоке, нежели о западе. Человек был черноволос, черноглаз, в глухом чер-

ном свитере, с горбатым носом, с торчащим вперед раздвоенным наполеоновским подбородком. Он так же смотрел на мои сапоги, как недавно смотрел на них председатель аймакисполкома. Пол в комнате был намыт и застелен половиками.

Я сбивчиво, торопясь, объяснил хозяину дома — про себя, про жену, про цель моего прихода. Человек с запада, молодой специалист (хотя и не первой молодости), сказал мне на это такую фразу:

— Я боюсь, что я вам помешаю. — Учтивость этой фразы, как видим, вполне на восточный манер.

Тут я несколько растерялся. Человек с запада повернулся ко мне орлиным профилем, выражающим непреклонность. Мы оба молчали, наш разговор был закончен, аудиенция исчерпана. Но если не в этой избе-пятистенке (из горницы, я видел, дверь вела в спальню), то где же нам ночевать-то? Я мялся, хозяин скучал, не вынимая пальца из книги. Вот тут я и вспомнил об — увы! — некупленном коньяке «Будафок»...

И прибегнул к последнему, верному — я это чувствовал — средству.

— Жена у меня сидит на улице, — сказал я хозяину дома. — Может быть, вы позволите, я ее приведу сюда, она тут побудет, пока я ищу ночлега. А то она замерзнет совсем.

Что-то дрогнуло в профиле ветврача, впервые он посмотрел на меня с интересом.

— Пусть посидит. — Он говорил с кавказским акцентом. — Сейчас я плиту затоплю. — Он встал над толстым томом романа «И один в поле воин», как судья над Библией, вынул из книги палец, протянул мне короткопалую, сильную, с густой черной шерстью на запястье руку: — Рафик Мовсесян.

Я познакомился с Рафиком Мовсесяном, пожал ему руку и опрометью кинулся за женой, пока Рафик не передумал. Забежал в магазин, сунул в карман бутылку «Будафока», сгреб жену в охапку...

— Ну что? Все в порядке? — спрашивала жена на бегу. — Куда мы бежим-то как на пожар?

— К человеку с запада... К Рафику Мовсесяну... — отвечал я таинственно, непонятно. — Бежим скорее, а то он передумает...

Моя жена произвела на Рафика именно то впечатление, на какое я и надеялся. Рафик преобразился, он распустил хвост, как павлин в парке кавказского города. На нашу бутылку «Будафока» он ответил целой шеренгой бутылок. Сбегал в магазин и принес их, прижав к груди, как носят поленья к печи. И поленьев он наносил, под плитой загудело пламя, на плите что-то забулькало, зашкварчало. Рафик сыпал любезности и без конца извинялся — за то, что не может нас так угостить, как угостил бы в Армении, в Дилижане, откуда он родом, за то, что коньяк не армянский и нельзя приготовить по-настоящему, по-восточному, кофе. Рафик просил прощения за то, что холодно встретил меня. Тут он поминал какую-то комиссию, едущую из области. Мысль о комиссии вызывала в нем нечто вроде внутренней судороги...

— Они хотят из меня сделать козла отпущения... Бочку на меня катят... Только у них ничего не получится... Я их предупреждал: кони сдохнут при таком обращении... Медикаментов не завезли. Теперь виноватого ищут...

И опять Рафик распускал хвост павлина:

— За наших гостей! За нашу гостью! Чтобы почаще к нам приезжали!

...Но комиссия ехала, приближалась. Рафику не сладить было с мучившей его судорогой. Она отражалась на лице ветврача, лицо подергивалось.

— Нас здесь никто не поймет, — жаловался он нам, — а мы — люди оттуда, с запада, — всегда пойдем друг друга...

Мимо дома проехала первая за весь день машина, газик с брезентовым верхом. Рафик поднялся со стаканом в руке (пил он мало, чуть-чуть, только губы мочил) и сказал:

— Нам надо держаться друг за друга... оказывать содействие. Мы здесь для них как чуждые элементы... Они нас поодиночке хотят давить... бочку катят... Только у них не получится... За нашу дружбу!

Я понял из отрывочных высказываний Рафика, что ему нужна не только наша дружба, но еще и сообщничество, что ли. Я понял также, что одним из первых итогов его недолгой ветеринарной практики в Улаганском аймаке явился падеж коней в колхозном табуне. И что

теперь предстоит Мовсесяну голгофа разбирательства и возмездия. Когда я вошел к нему первый раз в новый дом-пятистенку, Рафик был погружен в сплошной мрак одинокого ожидания комиссии. Быть может, он даже отчасти и упивался своим одиночеством, как заложник во вражеском стане, ни единой близкой души на тысячи верст окрест, от Алтайских гор до гор Кавказских. Быть может, толстый роман «И один в поле воин» Рафик читал для того, чтоб укрепиться духовно в предстоящей одинокой борьбе...

— Ну, я пошел, — сказал Мовсесян. — Комиссия приехала... — Он сказал это так, как говорят очень мужественные люди, уходя в такое место, откуда не возвращаются. — Чистое белье у меня вот здесь, в шкафу... — Он вошел в спальню, распахнул шкаф, показал нам чистое белье. — Вот постель... — Он указал на широкую постель с никелированными спинками. — Можете располагаться... Меня не ждите... Я, может быть, задержусь... У знакомых переночую... Вода вот, в ведре. Дров хватит, можете плитку топить, если холодно будет... — Рафику не хотелось идти. Он тянул время, вводя нас в курс своего нехитрого домашнего хозяйства. — Уходить будете, дверь запирать не надо. У меня все имущество, что на мне... — Это прозвучало совсем уж печально.

Рафик ушел — небольшого роста, с очень широкой грудной клеткой, с крупной, крепко и горделиво сидящей на короткой шее непокрытой головой, с наполеоновским профилем — человек с запада.

И вскоре вернулся — на газике, вместе с комиссией.

Комиссия состояла из двух человек. Один, постарше, представлял собою тип областного начальника средней руки, привычного к разъездам, командировкам. То есть, может быть, в области он никакое и не начальство, зато на местах, несомненно, начальство: уполномоченный. Одежда уполномоченного не поддается веяниям времени, моды: черный френч, галифе, сапоги. Другой член комиссии — комсомольского возраста, со следами недавно снятых многих спортивных значков на суконной сержантской гимнастерке, жестковолосый, смуглый, скуластый, поджарый, как те пастухи, что увезли мою жену во вьючном седле. Узкие темные глаза его отличались не-

обыкновенной живостью; казалось, что в них отражается некий пламень, отблеск костра...

С торжественностью мажордома Рафик Мовсесян представил нас комиссии:

— Это — мои друзья... Писатель из Ленинграда... Его жена...

Мы обменялись рукопожатиями. Старший сказал: «Иванов». Младший сказал: «Кильчаков». В глазах старшего я прочел некоторое замешательство: встреча с целой группой «людей с запада» была для него неожиданной. Во взоре младшего проблеснуло любопытство, охотничий интерес.

Затем наступила пауза: уж слишком разные цели и обстоятельства свели пятерых людей поздней осенью в избе-пятистенке аймачного ветврача за Алтайским хребтом.

— Мы пойдем погуляем, пожалуй, — сказал я, делая знак жене одеваться.

— У нас хорошо было месяц назад, в сентябре, — сказал Иванов.

Кильчаков загадочно ухмылялся.

— Погуляйте, — милостиво разрешил Мовсесян. — Сейчас шашлык заделаем. Товарищи с дороги проголодались. Сегодня — никаких дел! У нас в Армении это закон: сначала гостей накормить, напоить, потом уже за дела... Как в русской пословице говорится: голодное брюхо — плохой помощник...

— Нет такой пословицы, — дернув шеей, сдавленно, тонко, по-птичьи, видимо стесняясь и делая усилие над собой, сказал Кильчаков.

Мовсесян не услышал его.

В короткое время от полдня до сумерек я повидал Мовсесяна отшельником-мизантропом, и дамским угодником с пышным павлиньим хвостом, и жертвой, мужественно принимающей несправедливую кару, и вот теперь — тамадой на пиру...

Когда мы с женою вернулись с прогулки, плита особенно сильно пылала, гудела, шкварчала и булькала. Шеренга бутылок на столе пришла в движение, подобно строю фигур на шахматной доске. Иванов по-домашнему расстегнулся, отпустил живот, весь вид его выражал

покой и телесную радость от хмеля, еды и тепла — после долгой тряской езды на морозе. Кильчаков, напротив, нахохлился, как ястребок, помещенный в неволю. Глаза его стали как угольки.

Когда мы вошли и пристроились у стола, Мовсесян поднял тост:

— В наших горах есть закон: кто входит в дом, тот — друг этого дома! Все равно, откуда бы ни приехал: из Ленинграда, из Еревана, из Москвы, из Горно-Алтайска... У меня везде есть друзья...

— Волки тебе друзья! — птичьим голосом вскрикнул Кильчаков.

Мовсесян не услышал, даже не удостоил Кильчакова взглядом.

— Предлагаю выпить за наших друзей... За тех, что сидят за столом... И за тех, что в Москве, в Ленинграде, в Ереване... Этот тост полагается пить до дна. Кто не выпил, тот, значит, зло затаил. Такой закон у нас в Армении...

— Нет такого закона, — с отчаянием и ненавистью, как всхлипнул, сказал Кильчаков.

Тут Мовсесян в первый раз сумеречно посмотрел на него. Он стоял над столом, широкий, квадратный в обтянувшем его черном свитере, с наполеоновским подбородком. Кильчаков приподнял плечо, стараясь уменьшиться, сжаться, исчезнуть из этого дома, куда поневоле попал...

— Пьем до дна! — приказал Мовсесян.

— Чего уж... конечно... — сказал Иванов. — Сегодня можно. Такую дорогу отломали... — Это он попросил своего младшего товарища, коллегу, подчиненного по комиссии, не портить компанию.

Кильчаков внял просьбе старшего, с отвращением выпил коньяк «Будафок». Поперхнулся, но справился, допил до дна. Мовсесян внимательно проследил за прохождением коньяка по непривычному кильчаковскому горлу с острым движущимся кадыком.

— Когда я работал заместителем управляющего животноводческим трестом, — начал Рафик рассказ из собственной жизни, тоже, видимо, неспроста, а с прицелом, — у нас был случай...

— Не работал, не было случая... — вскрикнул Кильчаков.

Мовсесян спокойно выслушал реплику, подождал и начал рассказ сначала:

— Когда я работал заместителем управляющего... — Он посмотрел на своего оппонента Кильчакова, тот смолчал, только злобно блеснул сощуренными глазами.

Суть рассказа была проста, поучительна, наподобие притчи: в бытность Рафика Мовсесяна заместителем управляющего (пост немалый!) кто-то в чем-то его незаслуженно обвинил. И сразу сыскались добрые силы: министр, зампред Совмина, член ЦК республики — Мовсесян был спасен (он сказал: «ре-а-би-ли-ти-ро-ван»); справедливость торжествовала.

— В тюрьме твое место... Наших коней погубил... — сказал, как ножом по железу проскрежетал, Кильчаков.

— Ну... чего уж... сразу и в тюрьме... Тут надо еще разобраться, — возразил Иванов. Он держался единственно удобной для него в этот вечер политики соглашения.

— За наших отцов! — Мовсесян поднялся со стаканом в руке. Стаканов у него было два: в одном кофе, чуть подкрашенный коньяком, в другом коньяк, он искусно жонглировал ими. — Если бы не было наших отцов, то не было бы и нас...

— Не было у тебя отца, — проскрипел, как дерево на ветру, Кильчаков.

Тут все засмеялись.

— Ну это уж ты не того... — Колыхался живот Иванова. — Как же без батьки-то?.. Он есть... Без него никак...

Улыбнулся даже Кильчаков. Улыбнулся, впрочем, не от веселого расположения духа, не от доброго нрава. Быть может, так улыбаются звери (я сам не видел, но в книгах читал — улыбаются), скажем лисы или же соболя.

— За женщин! — Хозяин дома поднял стакан с черным кофе, подкрашенным коньяком.

— Да подожди ты, не гони лошадей, — взмолился глава комиссии Иванов. Его стакан непрестанно наполнялся одним и тем же напитком — коньяком «Будафок». Иванов решительно терял силы.

Но Мовсесян именно гнал лошадей, настегивал, попукал без пощады и передышки.

Он посмотрел на мою жену, и все посмотрели туда же.

— Наш стол сегодня украшает всего одна женщина. . . — Мовсесян сделал долгую, со значением паузу. — Но нет на земле такого места, чтобы мужчина женщину не нашел, когда он захочет. . . Женщины украшают нам жизнь. . . За женщин!

— Все врешь, никому ты не нужен, — продолжал дудеть в свою дуду, гнуть свою палку Кильчаков.

В это время залязгала дверная щеколда, кто-то затопал в сенях сапогами, вошел. Мы повернулись к двери: в кухне стояла женщина, будто вызванная заклинанием Рафика, его магическим тостом, — в сером платке, в серых же телогрейке и юбке, в резиновых сапогах, с испитым, отцветшим и сероватым, как ее одежда, лицом. Рафик вышел навстречу гостье, оттеснил ее в кухонные потемки к плите и пошептался там с ней.

Пока хозяин с гостьей шептались в углу, мы молча ждали какой-нибудь перемены в рутине нашего затянувшегося и, надо признаться, тягостного застолья. Но Мовсесян явился как ни в чем не бывало и сделал очередной ход черной пешкой-бутылкой. Пешка был проходная. И сам гроссмейстер, должно быть, понял, что партию можно не продолжать. . .

— Ну что, — сказал он, — отдохнем. . . В шахматистишки сыграем.

Он сдвинул бутылки в сторону (но не убрал), принес шахматную доску, расставил фигуры.

— Кто хочет побаловаться? В Улагане мне не с кем играть. Совсем разучиться можно. Забудешь даже, как рокировку делать. — Он сказал: «ракировку».

Посмотрел на меня как на наиболее достойного партнера. Я покачал головой, будучи игроком никудышным. Кильчакова Мовсесян обошел своим взглядом. Оставался один Иванов.

— Да я. . . так только. . . ходы знаю, и все. . . — слабо сопротивлялся глава комиссии.

— Знаем мы, как вы плохо играете в шахматы, — приговаривал Мовсесян. — Все так говорят. . .

Обреченность Иванова не вызывала сомнений, и сам он ее понимал. Однако первым двинул пешку, не двинул, а ткнул пальцем. (Он играл белыми.) И началось. Кильчаков все так же сидел, нахохлясь, как ястреб в зоо-саду. В глазах его отражался давний, может быть, тысячу лет назад зажженный костер. И мог он так просидеть

до утра. Мовсесян разделявал Иванова, «как бог черепаху». Но при чем же здесь бог и при чем черепаха? Мовсесян унижал своего противника, и эта потребность причинять унижение не убывала в нем.

— Зачем так пошел? — говорил Мовсесян. — Так пойдешь, а я так и вот так. Шах и мат... Тигран ко мне на квартиру зайдет, сядем за шахматшки, он спрашивает: «У тебя никого нету?» — «А что?» — говорю. «Не хочу, чтобы знали, что Петросян Мовсесяну проигрывает».

— Врешь! — викал Кильчаков. — Петросян с тобой не играл. Ты жулик!

Рафик и усом не вел на злобную хулу своего оппонента. Он погонял по доске ивановского короля, сделал мат Иванову, подлил ему еще коньяку и снова расставил фигуры. И опять Иванов не нашел в себе сил отказаться от унижения. (Мовсесян стал играть без коня и слона.) Он хватался за свой «Беломор» (ленинградский), но Мовсесян всякий раз заставлял его взять сигарету «Опал» и тотчас подносил к ней зажигалку. За долгий вечер избу-пятистенку так просмолили табачным дымом, что, кажется, даже новые стены ее померкли, подернулись копотью.

— Не могу больше, нечем дышать, — пожаловалась моя жена. — Пойдем на улицу.

Мы вышли на крыльцо.

— Боже мой, сколько можно, — сказала жена. — Это какой-то садизм.

— Ничего, — сказал я, — завтра они все припомнят Мовсесяну. Они ему еще покажут, где раки зимуют...

Рафик поставил очередной мат Иванову, смешал на доске фигуры, поднял голову, убедился в том, что общество решительно ословело, и объявил, как милость пожаловал:

— Ну ладно... Хватит! Теперь отдыхать. Чтобы завтра свежие головы были... Мои друзья, — он посмотрел на нас с женою, — пусть здесь ночуют... А мы получше местечко найдем... — Он подмигнул Иванову: — Ты к Машке пойдешь. — И Кильчакову подмигнул: — Ты к Верке.

— Ну... зачем... как-нибудь уж... в тесноте — не в обиде... — забормотал Иванов, смущенный неожиданным предложением Мовсесяна. Тот уже надевал на него полусубок. Сопротивляться глава комиссии не умел, да, похоже, и не хотел. Он одевался послушно.

Принес Мовсесян и кильчаковскую одежду, сержантскую фуражку. Кильчаков оскалился и пролаял:

— Никуда не пойду! Сам к Верке иди!

Казалось, мгновенье — и Кильчаков укусит, так и цапнет за палец. Мовсесян даже руку отдернул.

— Людям отдохнуть нужно, — обратился он к совести Кильчакова. — Люди пешком с Чулышмана пришли... А ты — как собака на сене. Нехорошо! Одевайся! Идем!

Рыча, огрызаясь, блистая глазами, Кильчаков оделся.

— Пошли! — приказал Мовсесян. И вывел комиссию из дому в непроглядную тьму, на мороз.

Я подумал, что, кроме как к Машке и Верке, комиссии некуда будет податься.

Мовсесян на минутку вернулся, чтобы сделать напутствие нам:

— Уходить будете, дверь прикройте. На замок я не запираю... У меня все имущество — что на мне...

Утром мы вышли в потемках на волю, прикрыли за собою дверь избы-пятистенки. Выпал снег, пахло корочкой свежее испеченного хлеба. Мы торопились, бежали, боясь опоздать на райкомовскую машину. И пили — большими глотками — вкусный утренний горный воздух. И то, что было с нами минувшей ночью, выветривалось, растворялось, как дурнота сновиденья...

Возле райкома пофыркивал газик, секретарь, видимо, только пришел, весь домашний, добро поспавший, попивший чаю.

— Ну как ночевали? — радушно спросил он.

— Хорошо, спасибо, — ответили мы, залезая в машину. Машина пошла и вскоре поравнялась с избой-пятистенкой аймачного ветврача Мовсесяна. Ее окна были темны. — Вот здесь мы и ночевали, у ветврача...

Я ждал, что секретарь райкома что-нибудь скажет о ветвраче Мовсесяне. Может быть, он и сказал бы, но раньше заговорил шофер:

— Вот интересное имя — Рафик. Как все равно в детском саду: Вовик, Шурик, Рафик... А как его по-настоящему-то звать?

— Это — армянское имя, — сказал я неопределенно. — Впрочем, может быть, и от Рафаила...

— Нет! — с убежденностью и даже каким-то воодушевлением сказал шофер. — У нас в роте был Рафик Мнацаканян... Рафик — и все. А еще одного я знал — Тофиком звали.

— Это хорошо, — прервал нашу с шофером болтовню секретарь райкома, — что к нам приезжают молодые специалисты... с запада. Мы стараемся создать для них все условия... Но, к сожалению, отдача пока что меньше, чем нам бы хотелось...

Дорога шла в гору, зудел мотор. Чем выше мы поднимались, тем явственней проступала заря, розовели окошки. Вскоре навстречу хлынул сплошной заревой разлив — сполохи холодного пламени. Машина остановилась.

— Перевал у нас называется переломом. На переломе принято постоять, — сказал секретарь райкома.

Мы постояли на переломе, на самой кромке ночи и дня. Ночь вся осталась под нами, внизу, чернота ее обрела еще большую плотность; ночь стала как угольный пласт; над ним занимался, алел, багровел, пламенел новый день.

Постояли мы молча на переломе и покатали под гору — полого, легко, с ветерком.

ВНИМАНИЕ: МЫШИ

1

Этот остров — маленький в сравнении с другим, большим островом. Чтобы попасть на маленький остров, надо вначале прилететь на большой — на большом самолете, — пересесть тут на маленький самолет и еще лететь часа два. С высоты поверхность океана представится застылой, недвижимой, со всей своей рябью, и зыбью, и белыми гребешками — будто разлившаяся лет сто шестьдесят назад вулканическая лава. . .

Я называю точную цифру: сто шестьдесят, потому что именно сто шестьдесят лет назад в последний раз извергался Вулкан на маленьком острове. Но, я повторяю, остров можно счесть маленьким только в сравнении с соседним, большим. Остров вообще изрядный, и Вулкан на нем — дай бог, не такой, конечно, как Ключевская сопка, но настоящий Вулкан, живой, огнедышащий. Я пишу его с большой буквы: Вулкан. Сто шестьдесят лет он молчал, то есть едва ли уж так и молчал, наверное, из чрева его доносились какие-то звуки, что-нибудь там шипело, урчало и грохотало, быть может, дымы и газы вздымались из кратера, и, может быть, даже иногда вылетали наружу вулканические бомбы — фумаролы. Я не бывал на Вулкане, не знаю (мне хочется сказать: бог его знает, но бог не знает).

И вот он нынче взорвался — Вулкан. И говорят (опять-таки говорят), что несколько дней и несколько ночей в окрестностях Вулкана было темным-темно, тучи застили Солнце. Не солнечный свет, а именно Солнце — Светило, как будто оно погасло. И первой мыслью у непосвященных людей, проплывавших в ту пору на кораб-

лях вблизи острова, была мысль о том, не началась ли атомная война, потому что столп пепла над Вулканом имел форму гриба...

Когда же все несколько поразвезалось, прояснилось, когда к подножию Вулкана слетелись, съехались, сползли вулканологи и взяли необходимые пробы, произвели анализы и сделали умозаключения, то появилась на свет новая версия о происхождении жизни на Земле. Именно в вулканических газах и прочей дряни, выплюнутой Вулканом в небо, ученые обнаружили нечто такое, изначальное — жизненное — вещество, какие-то аминокислоты, содержащиеся в клетках живых организмов.

И значит, что же? А то и значит, что, может статься, первый намек о жизни на Земле, гипотезу, первый вздох жизни подали именно вулканы сколько-то миллионов лет назад, когда еще и земли-то не было, только магла и плазма. Вот какие дела.

С этими мыслями я подлетал к небольшому острову в океане, вперясь в круглый иллюминатор небольшого самолета местной линии, созерцая расprostертую внизу океанскую зыбь, похожую на застывшую лаву. В воображении моем рисовался облик новорожденного нашего мира, Вселенной — в ее первозданной незавершенности, исполненной нерастратенных грозных сил и шорохов. Мне предстояло увидеть — впервые — вулканический остров, пробный камень мироздания.

Этот остров к тому же еще получил известность после выхода в свет повести «Тысяча девушек». Содержание этой повести, ее сюжетные линии, узелки и прочие хитрости я позабыл (очевидно, автор писал свою повесть не столько в расчете на вечность, сколько на мгновенный рекламный эффект). Однако осталось в памяти: есть в океане земля, где обитает тысяча девушек. Именно тысяча!

Девушки съехались отовсюду — поработать на путине, то есть во время путины, когда рыбаки ловят рыбу, а девушкам надо изрезать ее на кусочки и уложить в жестяные баночки. Работа — для маленьких и проворных девичьих рук. А заработки на острове, когда идет сайра и скумбрия, — мужские. Вот эта нужда в девичьих руках, а также и возможность для девушек хотя бы на время сравняться с мужчинами в заработке (есть отрасли, где женщины обогнали мужчин), ну и, конечно, естествен-

ная в молодости потребность увидеть мир, заодно показав ему и себя, поднимают их, тысячу, с насиженных мест, увлекают на остров, как стаю перелетных белогрудых птиц (да простится мне этот эпитет: «белогрудых»)...

Я думал о девушках, не о какой-нибудь одной из них, а именно о тысяче девушек. В мое сознание, напичканное всякой всячиной, внедрилась и эта абстрактная формула, гипотеза — намек на сюжет, разумеется литературный, об острове тысячи девушек.

Один и тот же литературный сюжет может быть разработан многими авторами — у каждого свой аршин. Однажды я видел в кино, в документальной картине: девушки, день-деньской отстояв у конвейера с консервными баночками, вечером, с гулом в руках и ногах от долгой и монотонной работы, отправляются в общежитие, спят. И вот они спят, разметавшись и разрумянившись (картина цветная), а в это время уходят в море сейнеры и траулеры. Море расцветивается огнями, как карнавальная площадь. Рыба сайра идет на огни. Ее вычерпывают из моря. Работают парни: матросы и капитаны, тралмастера и рыбаки. Парни работают, девушки, уработавшись, спят.

Ранним утром приходят в спящую гавань с полными трюмами рыбы сейнеры и траулеры. Матросы и капитаны, тралмастера и рядовые рыбаки — молодые ребята, — намертво схваченные мгновенной дремотой, валятся навзничь. Сладостно спят в своих кубриках, скинув на сторону одеяла, мускулистые, загорелые, в полосатых тельняшках...

В девичьих многоместных теремах звенят будильники. Как просыпаются девушки и потягиваются со сна — этого в фильме нет. Они стучат каблучками по деревянным тротуарам — в коротких юбочках или в брючках, спешат стать к ленте конвейера, изрезать и запечатать в жестяные баночки пойманную парнями сайру. Тысяча девушек...

Я летел на остров в такое время, когда путина кончилась и девушки, скорее всего, уже упорхнули, — в позднее, хотя и теплое, ясное время: золотая осень на Дальнем Востоке прелестна, долга. Летел я в командировку, меня послал мой журнал, чтобы я огляделся и рассказал бы читателям журнала, что там и как. Самим читателям не добраться: далековато, дороговато.

Ничего пока что толком не зная, не ведая о маленьком острове (как большинство читателей журнала), понятно, я обращался мыслью к заметным ориентирам: к Вулкану и тысяче девушек. Но Вулкан, извергнувшись, замолчал бог знает на сколько столетий (не знает, не знает); девушки потянулись на материк.

Я как-то прочел, что если, допустим, ты собрался на рыбалку, приехал в такое место, где ловится ну, скажем, кумжа, то ход этой кумжи закончился за день до твоего приезда. Тут некий закон обязательного опаздывания к удаче, огорчительный для рыбака и спасительный для рыбы. . .

2

Вообще я мог бы и не летать на маленький остров: в командировке моей, как пункт назначения, назван остров большой; для читателей журнала что маленький, что большой — все в тумане. Я полетел не столько из интереса к вулканической деятельности и тысяче девушек, сколько потому, что на маленьком острове поселился мой старый товарищ по имени Павел. Павел Андреевич, скажем так. . .

Тут надо оговориться: я дал моему товарищу новое, литературное имя. Став героем произведения, он, да и не только он, любой имярек, уже автору не товарищ (гусь козлу не товарищ), а прототип. Прототипы бывают терпимыми и понятливыми, но, бывает, лезут в бутылку. Чужая душа потемки, даже и душа товарища.

С товарищем мы не виделись, может быть, лет пятнадцать, но старая дружба, если она завязалась в отзывчивом на дружеские и другие чувства возрасте, не только не отменяется с годами, но будто наращивает проценты, как срочный вклад в сберкассе. (Старый друг лучше новых двух.)

Быть может, вначале и дружбы-то не было никакой — так, повстречались, сбегали в магазин, чего-нибудь пошумели, поспорили ни о чем. Возможно, съездили на рыбалку, ход рыбы закончился накануне; пообещали писать друг другу, да все недосуг. Но осталась зарубка в памяти, затесь — и смолой она затекла, и корой заросла, но можно довериться этой зарубке, сколько бы лет ни

прошло; как в дремучем лесу приведут тебя затеси к лесниковой избе, так и старая дружба...

Павел Андреевич по званию лесник, лесничий, а по должности, в годы первого нашего с ним знакомства, он был директором лесхоза на большом острове и славился в округе тем, что на вырубках и пустошах сеял, выращивал, высаживал и высаживал сосну.

Вначале, взойдя на грядке из семечка, сосенка походила на морковный хвостик и требовала к себе того же внимания, что и всякий огородный овощ: и пропалывали сосновую грядку, и поливали ее. Ну а потом из ростков вырастали маленькие деревца — саженцы. Их переносили в открытый грунт, и здесь они перли ввысь и вширь, становились округлыми, колючими, упругими, густо-зелеными.

Павел Андреевич похаживал по сосновым плантациям, любовался и радовался: за какие-нибудь десять лет сосенки догоняли директора лесхоза в росте и даже перегоняли. Росту он небольшого, невелик, но плечист. И хорошо ему было похаживать в молодых сосновых лесах: на дальнем острове в океане своими трудами он создал такую экологическую среду, как у себя на родине, на Брянщине. Конечно, не в одиночку создавал, а во главе коллектива лесхоза, зажег коллектив идеей, повел за собой. Без среднерусских, брянских сосенок он, может быть, заскучал бы на острове среди сопok, лиственниц и зарослей карликового бамбука.

С приездом на остров (на большой остров) Павла Андреевича в здешнем лесном хозяйстве начинается новый период: «сосновое летосчисление».

Тут к месту будет цитата из учебника лесоводства: «Сосна обыкновенная растет быстро. К столетнему возрасту стволы сосны достигают 30—35 м высоты. Продолжительность жизни ее 300—350 лет. Сосна дает высококачественную древесину, используемую в виде брусьев, балок, пиловочника, строительных бревен, телеграфных столбов, свай, мачт, балансов, рудничной стойки и многих других сортиментов и сырья для химической промышленности. Из живицы сосны вырабатывается канифоль, скипидар и другие вещества. Хвоя сосны служит сырьем для получения витамина С, хлорофилло-каротиновой пасты, соснового масла, сосновой шерсти и других продуктов переработки. Пни и корни используются для смоло-

курения и сухой перегонки...» Цитату можно продолжить, но, думаю, хватит и этого. Выгоды начинания Павла Андреевича несомненны, хотя они и скажутся в полной мере спустя сто лет, когда сосны вырастут до своего потолка.

Человек вмешался в дела природы. А что же природа? Она сама знает, где быть сосне, где бамбуку. Природа хотя и уступчива, но строга. У нее есть свои — крылатые — разносчики семян, сеятели: ветер и птицы. Здесь опять-таки лучше всего обратиться к свидетельству знатоков. В книге В. Нечаева «Птицы Южных Курильских островов» сказано по этому поводу следующее: «Распространением семян многих ценных деревьев, кустарников и лиан птицы приносят неоценимую пользу лесному хозяйству в возобновлении лесов на местах лесоразработок и после пожаров. К распространителям семян бархата сахалинского на Южных Курильских островах относятся черный, большой пестрый и белоспинный дятлы, большеклювая ворона, рыжеухий бюль-бюль, дрозды Наумана и оливковый, обыкновенный свиристель и некоторые другие птицы. Ягоды аралии высокой и сердцелистной поедают большая горлица, черный, большой пестрый и малый острокрылый дятлы, большая и тисовая синицы, поползень, рыжеухий бюль-бюль, японская зорянка, оливковый дрозд, сойка, короткокрылая камышевка, японская желтоспинная мухоловка и долгохвостая чечевица.

К распространителям семян реликтового растения магнолии обратнойцевидной относятся черный и белоспинный дятлы, ореховка и, по-видимому, сойка. Семена ценного дерева тиса остроконечного распространяют белоспинный дятел и сойка. Плоды вишни сахалинской поедают и косточки разносят по лесу зеленый голубь, сойка и большеклювая ворона. Ряд птиц является распространителем семян винограда Кэмпфера, актинидии, коломикты и аргуты, бузины Микеля, скиммии ползучей, краснопузырьника щетковидного, смородины бледноцветковой и других плодово-ягодных лиан и кустарников».

В приведенном выше длинном перечне не упоминаются семена сосны: ни одной птице — ни большеклювой вороне, ни рыжеухому бюль-бюлю — не долететь от Брянских лесов до океанических островов. Сосновое семя принес на острова человек — Павел Андреевич, уподобив-

шись птице. Правда, птицы разносят семена и сеют их бессознательно. Павел же Андреевич сеял со знанием: для чего.

И все-таки мне мерещится сходство этого человека с птицей: птица всегда весела, потому что трудится с пользой для жизни, для всяческой жизни и красоты на земле: птица поет, славит жизнь; и Павел Андреевич тоже сеет, сажает, выращивает леса — и вдруг может заговорить стихами, то есть запеть, опять же во славу жизни, как птица. Стихи у него подобны сосенкам-саженцам: строки-ветви растут непричесанными, топорщатся как попало. Судите сами:

Раз — мотыгой,
Два — мотыгой,
Три — рукой оправлю.
Там, где были гарь и выгарь,
Я деревья ставлю.
Шустрый, тонкий мой лесок,
Уцепись корнями
За коричневый песок,
За небо — ветвями...

Павел Андреевич выращивал на острове сосновые леса, — я сам их видел, дышал смолистым воздухом, трогал колючие лапы сосен. Уживется ли сосна с коренным населением острова — с лиственницей, тополем, бамбуком, бересклетом, рододендронам — об этом директор лесхоза не думал. Если понадобится кого-то там потеснить, можно и потеснить. Лучше пусть будущее принадлежит сосне, чем какому-нибудь бамбуку (бамбук на острове не тот, из которого делают лыжные палки и шесты для прыжков, он малорослый, никчемный, сорный).

Правда, сосна, выросши из детства и отрочества, подавила докучный, непроходимый, колючий бамбуковый подлесок. Бамбуку в бору не светит. Зато Павлу Андреевичу пожаловали звание заслуженного лесовода республики, он его заслужил, сосновый бог с бородою и песенкой на зубах — на любую погоду, про каждый день:

Травы, тронутые ветром,
Не шумите,
Ладно?
Эй, вы, сопки крутоверхие,
Эй, ключи прохладные!
Солнце, солнце —

Благодать,
Тоненькие лучики!
Хорошо ручьи глотать
Пенные, гремучие.
Я травинку в рот возьму,
Клейкую и сочную,
Муравьиную возню
Изучу воочию.
Разгляжу в ручье лесном
Юркий штрих форелевый,
А в ракитнике густом
Черешок свирелевый...

Павел Андреевич не только сочинял и пел свои песенки, играя на свирельке, подобно буколическому пастушку, он записывал их. Сочинив должное количество виршей, не забывал отнести в издательство. Не сразу в издательство: сначала на радио, затем в газету, в журнал — и тогда уже в книжку. Выпустив сколько положено по уставу Союза писателей книжек, Павел Андреевич в этот Союз поступил, рекомендованный и обласканный видными — даже с самого дальнего острова — поэтическими величинами.

Так что времени он не терял: стал заслуженным лесоводом, признанным поэтом. Приведенные выше стихи Павла Андреевича не потому приведены, что они лучшие или выдающиеся стихи — я цитирую наугад, полистав одну из книжек, — а потому, что эти стихи написаны в свободное от лесоводства время или, быть может, заодно с лесоводством. В этом их особенность и существенное отличие от стихов, сочиняемых поэтами-профессионалами: те пишут стихи в рабочее время.

Мой товарищ жил на острове так долго, что мерой его островной жизни стали даже не годы, а десятилетия; он жил по сосновому летосчислению. Детей своих он проводил — в армию, в институты и встретил — из армии, из институтов. Дети стали на ноги, повыходили замуж, переехали. Сосновые боры стали неотъемлемой частью пейзажа на острове.

Время от времени на прилавках книжных магазинов появлялись тоненькие книжки стихов островного лесничего. Портреты автора свидетельствовали о том, что борода его сделалась еще более сивой. Но поэт глядел на портретах по-прежнему молодцом, жизнелюбом.

Стихи его внушали уверенность в том, что, как в песне

поется, «на острове нормальная погода». И если бы книжки Павла Андреевича, его песенки-вирши, вдруг перестали доходить до меня, если бы поэт-островитянин почему-либо замолчал, то это все равно, как если бы замолчал над рекою в роще весной соловей. Ну не соловей, то хотя бы певчий дрозд замолчал. Умолк единственный, сокровенный, только этому месту присущий голос, значит, что-то не так...

Вообще я замечал, что каждая местность — пусть она невелика и незаметна — может разговаривать со всем миром на языке искусства, одинаково внятном для многих. Если язык искусства в данной местности почему-либо не развился в достаточной мере или заглох, то и местности суждено прозябать в немоте. Пусть даже это густонаселенная и обширная местность.

Что бы мы знали, к примеру, об острове Исландия, если бы не прочли романов Лакснесса? Что в Исландии из-под земли валит пар? Так мало ли где он валит...

Или вот остров Муху. Островок-то весь с копеечную монету, а написал Юхан Смуул свои «Диалоги», и остров Муху, до той поры безмолвный, немой, не ведомый никому, заявил о себе (на языке мухумцев, возведенном писателем в степень искусства), услышан — и возник в общечеловеческом культурном обиходе как равноправная личность.

Так то остров Муху. На нем если что и растет, разве грибы маслята...

Примерно через три года на четвертый я покупал новую книжку Павла Андреевича, и стихи его успокаивали меня, даже отчасти утоляли мой интерес к островной жизни: «на острове нормальная погода».

Как вдруг... Ну вот, обязательно «вдруг». Нет чтобы сюжет развивался бы гладко, герой бы дожил до глубокой старости в однажды избранном месте, наслаждаясь плодами своих трудов, пользуясь заслуженным почетом, нянчил бы внуков, складывал песенки и сказочки-бывальщины... Достиг бы вершины своей судьбы и подольше бы там держался, покуда время настанет тихо сойти в долину и быть похоронену где-нибудь на берегу звонкоголосой реки, самым вечным своим движением отрицающей смерть...

Так нет: человек взойдет на вершину, взлезет, вспол-

зет на нее, чуть отдышится — и начинает высматривать другие вершины и снова лезет, забывая о том, что меж вершинами есть ущелья, каньоны и даже пропасти. . .

Однажды я узнал о том, что Павел Андреевич уехал с острова на материк. Ну что же, уехал и уехал. В конце концов все уезжают на материк. Волка сколько ни корми, волк все смотрит в лес. Но на острове — самый и лес: сосновый, смешанный, всякий, какой угодно — тайга. Из лесу-то лесник и рванул в свои обезлесевшие, но родные места. Аналогия с волком хромает на обе ноги. Песенка о бродяге, бежавшем с известного острова, здесь вовсе не к месту.

Павел Андреевич, как заслуженный лесовод, получил на материке ту же должность, что имел на острове, — директора лесхоза. Притом в наилучшем месте, чуть ли не под Москвой.

Узнав все это, я пригорюнился — не за Павла Андреевича, а за себя: вот, надо было съездить на остров, в гости к моему товарищу, хозяину леса. Он бы мне и лес показал, и свозил бы на океан. . . Но, как говорится, хозяин — барин, ему и карты в руки, где жить, как быть. Жаль, что одним певчим горлом стало на острове меньше. Но нельзя же, в самом деле, осудить певчего дрозда, если он вдруг не приживется в сосновом бору и перелетит в кленовую рощу.

Павел Андреевич уехал с острова, как в воду канул. На острове каждый замечен сам по себе, а на нашем богатом людьми материке, особенно в его середине, — попробуй сыщи человека, пусть даже он и заслуженный лесовод и поэт. У нас заслуженных пруд пруди. Не говоря о поэтах. . .

Когда же я наконец-таки прилетел на остров (большой), мне тотчас сообщили последнюю новость: возвратился Павел Андреевич. Чего-то ему не пофартило на материке, как говорится, не климат. Вот тебе и на! Место его в лесхозе — директорское — оказалось, понятно, занятым. Встретили Павла Андреевича на острове без особенного энтузиазма — это подчеркивалось в разговорах о нем: летунов здесь не любят, даже и заслуженных. Некоторое легкомыслие нашего героя, свойственное поэтическим натурам, и подавно не принималось в расчет. Единственно, что ему предложили, это должность техника, то

есть лесного объездчика, на маленьком острове. Павел Андреевич согласился и убыл.

И я вслед за ним. То есть не вслед, а навстречу.

3

Послал телеграмму Павлу Андреевичу, не очень веря, что он получит ее: лесной человек, где-нибудь шастает по лесам. Но в горстке встречающих и улетающих на аэродроме маленького острова тотчас увидел его, узнал. Он держался особицей, поодаль от всех.

Тут мне предстоит самое трудное: портрет героя. Трудность заключается в том, что надо принимать в расчет амбицию прототипа. Хотя герой у меня и назван другим именем, нежели прототип, портрет я пишу с натуры. Тут самое уязвимое место: не знаешь, как угодить прототипу, оставшись верным жизненной правде.

Однажды я получил письмо от сестры созданного мной литературного героя, то есть от реальной сестры реального прототипа героя. Сестра пеняла мне за то, что я неправильно описал нос ее брата. В моем описании нос вышел значительно больше и горбатее реального братина носа. Я попытался объяснить этой женщине, что нос ее брата тут ни при чем, что литератор имеет право на художественное преувеличение, что я использовал только некоторые черты, а остальное дорисовал из воображения и что вообще мой герой не ее брат — разные лица, разные имена. Но понимания я не встретил. Здесь — стенка, глухая, непробиваемая...

Павел Андреевич бороду сбрил. Первое, что мне пришло на память при виде безбородого Павла Андреевича, это стишок из студенческих лет, из нашей факультетской стенгазеты, о нерадивом профорге Коркине: «Коркин бороду взрастил — профработу запустил. Коркин бороду побрил, но профоргом уж не был». Ни о каком уподоблении здесь, конечно, не может быть речи — так, почти неуловимая ассоциация. И все же существовала некая связь меж бородой и продвижением человека по должностной лестнице вверх-вниз...

Неожиданно молодым показался мне Павел Андреевич. Был когда-то, пятнадцать лет назад, почтенный, сивобородый директор лесхоза, и вдруг — как огурчик,

свежий, бритый объездчик. Словно время стояло на месте и даже двигалось вспять, нарушив привычное соответствие между абсолютным возрастом и его телесным обликом.

Вообще представления наши о возрасте нуждаются в некоторой, что ли, поправке. В романах прошлого века если герою за сорок, ему уже нечего ждать от жизни. «Уже как мне теперь сорок лет, то мне в это время все источники жизни должны затвориться». Так изъясняется герой в одном из сочинений Н. С. Лескова. Правда, не герой, а героиня, но это все равно.

Или возьмем Ф. М. Достоевского, монолог одного из его героев: «Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет — это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно!»

Нынче не то. Изменились условия жизни — в несравненно лучшую сторону, пища сделалась калорийней и полноценней. В результате юность постигла акселерация, то есть бурное, невозможное в прежние времена раннее созревание по всем статьям. Но ведь условия жизни изменились не только для юности. И в среднем, и во всех возрастах люди пользуются благами социального прогресса. И что же? Юность опережает в развитии свои годы. Если эту логику ускоренного развития, акселерации, продолжить и в средний возраст — что тогда? Юноши вырастают в мужей, но в кого вырастать сорокапятилетним мужчинам? Быть может, акселерация в определенном возрасте приобретает обратную функцию: приостановить поступательное движение, законсервировать достигнутое, сохранить тела и души ну если не молодыми, то хотя бы моложавыми.

...— Здравствуй, Паша, — сказал я.

— Здравствуй, — сказал Павел Андреевич.

— Я узнал, что ты здесь, вот и прилетел. Вообще-то не собирался.

— И правильно сделал, — сказал Паша. — Ты все такой же, ничуть не изменился.

Оно и хорошо, что не изменился: молодец, сохранился. Молодец-то молодец, но неужто за пятнадцать лет не посетили меня сомнения, разочарования, муки мысли, думы не прочертили борозд на челе? Неужто годы мои протекли безмятежно, без бурь и страстей, пощадили

меня, сохранили, словно какую-нибудь картину в музейном искусственном климате?

— Да и ты, Паша, вроде помолодел.

Так мы обменивались комплиментами, таящими в себе шипы, впрочем неопасные, вроде колючек репея.

Мы подождали, пока все сядут в маленький автобус — его бока свидетельствовали о нелегкой, бездорожной жизни на острове. Еще приехала к самолету машина ветеринарной службы. В нее никто не сел, должно быть, ветеринарное начальство не прилетело. У шофера было такое выражение, словно он приехал на вспышку эпидемии ящура. Однако он нас пустил к себе в машину.

Дорога оказалась долгой, и мы с Павлом Андреевичем привыкали друг к дружке, обменивались испытующими репликами, катали пробные шары.

— Ну, как тут у вас Вулкан-то извергался? Тряхнуло вас, поди.

— Было малость... Между прочим, он выплюнул в море изрядный шматок магмы. Целый остров. Пока что остров еще никем не аннексирован. Хочешь, подарю?

— Спасибо...

— Чего спасибо? Завтра можем отправиться к Вулкану, оттуда и твой остров видать.

— Я завтра думаю улететь... По прогнозу тайфун ожидается — «Нора»...

— Зачем тогда прилетел? Стоило киселя хлебать. Тайфун у нас обычное явление. Все равно что у вас в Питере насморк...

Павел Андреевич, сеятель, подобный птице, разносчик семян, заронил в мою душу семечко: правда, стоило ли забираться в такую даль всего на один денек?..

— Вернешься домой, будешь локти кусать. Другой раз не соберешься... Здесь бы мы с тобой в сопки сбегали, форели наловили. Или на горячие ключи. Здесь такие есть ванны — горячий пляж на берегу моря. Или в Лебяжью лагуну махнем. К рыбакам... Сейчас самый ход у кеты...

Сеятель, заронив семечко, теперь взрыхлял почву, вносил удобрения, поливал, ждал всхода.

— Паша, ну а жизнь-то правда произошла из вулкана?

Он понимал меня с полуслова.

— А ты что, не видишь? Разве у вас на материке

жизнь? Одна колгота. Ты посмотри — вот жизнь. На гору подымешься — внизу под тобой океан. В ясную погоду можно увидеть Хоккайдо. Реки бегут, в них форель играет. Рябчики свистят. Медведей навалом. Растительность — ты такой в жизнь не видал. Летом цветет магнолия...

— Обратнойцевидная...

— Угу. Она самая. Книгу Нечаева прочитал?

— Прочитал... А как насчет тысячи девушек, Паша?

— Тысячу не обещаю. Это надо было раньше приезжать. Сейчас — так, кое-какие поскребыши остались...

Тут у нашей ветеринарной повозки спустило колесо. Водитель ничуть не удивился, не огорчился. Выражение его лица осталось прежним — карантинное выражение. Такая, видно, работа в ветеринарной службе: ящур, бруцеллез... Запаски у водителя не было. Он принялся перемонтировать колесо, не выказывая признаков спешки.

Мы вылезли из машины, поднялись по склону сопки и оказались под сенью — именно под сенью — невиданных деревьев, в пестром, многокрасочном мире. Привел меня в этот мир лесничий, то есть не лесничий, а техник-объездчик; у лесника обход, у техника объезд, у лесничего лесничество; на самом верху — директор лесхоза; ну а кто еще выше над ним, тех не видать из лесу...

— А ты говоришь: «завтра улечу»... — продолжал выращивать семечко, зароненное в мою душу, Павел Андреевич. — Вот это, видишь, как на японской гравюре, это — бархат амурский. Это — пузыреплодник. Повыше — там тис. Когда из тебя песок посыплется, собственные ноги перестанут держать, ты мне напиши. Я тебе пришлю палку тисовую. Отличная будет палка! Это — черная ольха. А вот это — ель Глена. У нас японцы лес покупают, и вот увидят в штабеле ель Глена, откладывают ее в сторонку. У нее древесина мелкослоистая и цельная, без сучков. Ей в музыкальной промышленности нет цены. Вот это белокорые пихты... Смотри, как будто березы, а на самом деле пихты. Знаешь, как пихту от елки отличить? Не знаешь? Вот смотри: у пихты каждая хвоя раздвоена на конце. У елки остроконечные хвоины, а у пихты раздвоенные. Слушай, запоминай — пригодится. Это — белокопытник. А вот эта травка с красными ягодами — как наша костяника — это дёрен канадский. Ягоды жесткие, с хвойным горьким привкусом. Он в

тундре растет, на Чукотке, — и здесь. Вообще здесь крайности сходятся: северная флора и субтропическая. Тут тебе и кедровая шишка, и виноград... Удивительный остров! И самое главное — нет людей. Ни одного лесонарушителя. Даже туристы пока что не добрались...

Мир — без людей — был синим, багряным и золотым. Поражали своею насыщенностью, чистотою его тона и оттенки; и синева океана — материальная синева, акварин, — отличалась от бесплотной синевы дальних гор...

Поднявшись по склону, мы обогнули сопку и оказались в распадке на берегу реки, и — боже! — в реке шла кета. Первый раз в жизни я успел к рыбьему ходу, не опоздал. И не хотелось эту рыбу ловить. Только стоять на берегу нерестовой речки и смотреть... Пословица: без труда не выловишь и рыбку из пруда — здесь не годилась. Какой же труд — взять рыбину из воды, на выбор, любую... И вóроны над рекой: «крок... крок...».

— Ну вот, а ты говоришь, — сказал Павел Андреевич.

— Я молчу.

— Ну то-то. — Павел Андреевич раздул шею, как собравшийся заболмотать индюк, набрал воздуха в широкую, округлившуюся грудь, припустил веки на выпуклые глазные яблоки и принялся декламировать:

На островах сосну сажал,
Не ведал счета дней.
Но срок настал — и я сослал
Себя, где потрудней...
Сослал-послал я сам себя
В курящийся туман.
И у меня один судья —
Великий океан.

Ну как?

— Да так, не очень... В нашем журнале не пойдет.

— Я первое время, когда приехал сюда, не писал ни строчки. Погода мерзкая стояла почти все лето... Хочешь, еще почитаю?

— Читай.

Павел Андреевич поднял кулак и принялся им энергически тюкать в воздухе, рубя стих, как рубят дрова:

Не потеряюсь в бытие,
Не разлюблю дела мирские.

Воскресли помыслы живые
В моем теперешнем житье.
Я новым лесом исцелен.
И старый лес моя подмога.
Моя таежная дорога
Преодолела крутосклон.

— Это уже лучше. Но не для нашего журнала.

— Ну и наплевать мне на ваш журнал! — рассердился Павел Андреевич. — Я прозу буду писать.

Он как ванька-встанька: его повалят — хоть на спину, хоть на бочок — он обязательно встанет. С верхней ступеньки по службе скатился на нижнюю. И хоть бы что. Стихи не пойдут, он прозу напишет. Напишет! Он своего добьется!

А чего ему добиваться? Лесной человек, служит в лесу. Лес равен со всеми, будь ты директор или объездчик (техник). Объездчику даже лучше, сподручнее, ближе общаться с лесом. Его место не в кабинете — в лесу, вот здесь, под сенью вековых деревьев, на берегу реки с плещущей в ней рыбой...

А сколько у объездчика помощников в здешней тайге, похожей на джунгли (она отчасти и джунгли!)... В знакомой уже нам книге В. Нечаева «Птицы Южных Курильских островов» поименованы эти помощники: «Неоценимую пользу лесному хозяйству в борьбе с вредными насекомыми оказывает большой козодой. Он питается преимущественно ночными бабочками и жуками, вылавливая их в полете над лесными полянами. Восточные ширококрылые полезны своей удивительной способностью охотиться в верхнем ярусе леса и над кронами деревьев за пролетающими крупными жуками и бабочками. В желудке птицы, добытой 10 июня 1963 года, были обнаружены хрущи, пилильщики, щелкуны и другие насекомые, являющиеся вредителями деревьев и кустарников.

На островах обитают глухая и обыкновенная кукушки. Польза от них огромна. По содержимому желудков убитых кукушек установлено, что они питаются исключительно волосатыми гусеницами бабочек-шелкопрядов.

Очищают леса от насекомых-вредителей ополовники, большие синицы, московки, тисовые синицы, гаички, поползни, пищухи, королики, синехвостки, японские зорянки, соловьи-свистуны, пестрые и оливковые дрозды, блед-

ноногие и светлоголовые пеночки, короткохвостые камышевки, пестрогрудые, ширококлювые, желтоспинные и синие мухоловки, японские сорокопуты, аспидные и седоголовые овсянки, рыжие воробьи, чижи, дубоносы.

Значение хищных птиц — истребителей вредных грызунов — общеизвестно. К ним относятся сарыч, мохноногий канюк, ошейниковая совка, белая сова. Они уничтожают красно-серую полевку, серую крысу и домовую мышь».

Давайте запомним эти последние строчки цитаты — насчет мышей и антимышей. Они еще нам пригодятся — в конце рассказа.

... — Паша, ты один тут живешь, без жены?

— Да вот вчера только ключ получил от квартиры. В новом доме трехкомнатная квартира. Ванная, горячая вода — все... Дом на берегу океана. Жена придет, не знаю, как ей покажется... Пока квартира пустая. Хочешь — живи. Я тебе целую комнату выделяю, окнами на океан...

Кинуто семечко, удобрена почва, вот-вот проклюнется росток. Я уже чувствую: вот-вот...

4

Водитель ветеринарной службы привез нас в некий город, столицу маленького острова, когда совсем уже глухо стемнело. Сверху, с дороги, мы увидели россыпь огней. Их насыпано было гуще у моря, в самом низу, и на море тоже, в аспидной влажной черноте, плавали сгустки света, зеленые, синие, красные огоньки. Стадо огней подымалось по склону, самые верхние светляки казались отделившимися от тверди земной, бесплотно мерцали в космическом мраке.

Будто мы приехали в южный портовый город. Да и теплынь была южная, и море пахло, как пахнет оно на юге. То есть запах был терпче, острее; искушенный в запахах нос, конечно, нашел бы в нем и нюансы, и специи, и приправы, свойственные только этому морю — океану. Но для меня море морем и пахло. Я прожил на острове с полдня до вечера, остался в ночь и, кажется, не уеду завтра...

— А что, Паша, тайфун-то надолго?

— Это уж как госпожа «Нора» соблаговолит. Бывает, по две недели дует... Да ты не бойся. Осень здесь самое благонадежное время.

— А самолеты в тайфун летают?

— Едва ли. Да ты не спеши. Сейчас мы зайдем в одно местечко, мне обещали матрац простегать. На матраце переночуем за милую душу. Не знаю только, свет подключили или нет, дом вчера приняли... Дом деревянный, но трехэтажный, из бруса, из сосны материковой... Обживусь маленько и заведу сосновый питомник. Сосна здесь должна прижиться. Ну вот, пришли.

Матрац, правда, оказался простеганным, но узковатым. Мастерница, стегавшая матрац, угостила нас чаем с вареньем из местной ягоды клоповки. Павел Андреевич утверждал, что клоповка имеет свойство уравнивать кровяное давление. Если давление выше нормы, то после чая с клоповкой оно упадет, а если ниже — поднимется.

Уравновесив давление, мы отправились в путь с матрацем под мышкой. Путь оказался нелегок. Трудность его состояла в том, что поселок (городом он казался сверху, издалека), как большинство приморских поселков на островах, выстроили в два яруса. С нижнего, прибрежного яруса в верхний вела крутая, с множеством ступенек, деревянная лестница. Главное назначение лестницы — аварийное: если станция службы цунами вдруг предскажет цунами, объявит тревогу, то население первого яруса должно мгновенно взбежать по лестнице наверх, в безопасное место.

Без матраца в безветренную погоду подъем по лестнице посилен для любого островитянина, будь то даже ребенок или старик. (В аварийной ситуации, когда на пятки тебе наступает громада волны — цунами, резвость каждого островитянина, понятно, удесятеряется.) Но матрац парусил на ветру, а ветер задувал с тою силой, какая и подобает близящемуся тайфуну. Пришлось обернуться в матрац и медленно совершать восхождение, будто в тигровой шкуре (матрац, как положено, был полосатый). Укутанная матрацем верхняя половина туловища, шея и голова нещадно взопрели.

Шли мы долго, с перекурами (что было рискованно для матраца). В доме, точно, не оказалось света, а также воды. Зато ключ, полученный накануне Павлом Андреевичем, подошел к замку; хотя было темно, в квартире

мы насчитали три комнаты. Пахло в доме смолистой сосной и непросохшей краской. Из постельных принадлежностей кроме матраца нашлись газеты, центральные, свежие, утром купленные мной в аэропорту большого острова. Но что особенно нам помогло в первую ночь, так это оптимизм моего товарища. Ночь прошла в задушевных разговорах, воспоминания о былом переमेжались с планами на будущее.

— Знаешь, — рассказывал Павел Андреевич, — на материке мне дали лесхоз в двухстах километрах от Москвы — на воскресенье можно съездить в столицу. Хозяйство накатанное, отработанное, в лесу каждый пенек на учете. Я пожил, посмотрел — и такая меня тоска взяла за глотку... по нашей здешней вольной волюшке. Здесь вулкан выплюнул в море остров — я тебе могу его подарить. А там что? Зарплата сто восемьдесят рублей. Да... Три дня оставалось: просрочил бы — и непрерывный стаж работы на острове нарушился, и надбавки бы островные псу под хвост. Я их двадцать лет зарабатывал... В общем, давай бог ноги. Сел в самолет, прилетел, предложили мне сюда техником, я плащ в охапку — и вот... Плащ у меня в лесхозе, завтра сходим возьмем, сгодится на подстилку...

Всю ночь новый дом покряхтывал, на чердаке и на кровле что-то брякало и свистело. Тайфун вполне обозначился именно как тайфун, а не какой-нибудь там свежий бриз.

5

Утром директор местного лесхоза, начальник Павла Андреевича, принес нам на завтрак литровую банку красной икры. Он был лет на пятнадцать моложе своего техника. В его — директорские — года Павел Андреевич тоже был директором лесхоза. Мы позавтракали и вышли на волю.

Островитяне не придавали тайфуну особого значения, шли кто куда. День был субботний. Навстречу нам попадали девушки и парни. Численного преобладания девушек над парнями я не заметил. Автор повести «Тысяча девушек» малость преувеличил. Художественные преувеличения полезны для сочинителя, именно в них приманка. Преувеличил и автор фильма, когда представил мужскую

жизнь на острове как исключительно ночную, а девичью жизнь — как дневную, тем самым исключив возможность общения девушек и парней.

Мы прогуливались по улицам главного города острова (раз главный, значит, все-таки город), пересекли этот деревянный, в основном одноэтажный город и по красивой лесной дороге вышли к морю. Сразу можно было увидеть, что здешний пляж правда горячий: над пляжем курился пар.

Ванны выдолбили в скальном грунте, у самого моря, так, чтобы горячие минеральные воды можно было смешать с холодными водами моря. Вот мы разделись, зашли по колено в море (буквально: море было нам по колено), подняли маленькую волну (большие волны, поднятые тайфуном, не доходили сюда), смешали воды, залезли в ванны — каждый в свою, отдельную ванну — и сидели до тех пор, пока не сделалось горячо. Тогда мы повторили процедуру смешения вод и снова погрузились в ванны (в нирвану).

Можно бы так сидеть до скончания века. Нет нужды кого-либо убеждать в том, насколько это прекрасно — сидеть в целебной теплой воде, поправлять здоровье и в это время видеть перед собою Великий океан, вздыбленный тайфуном, слышать радостные, хищные клики чаек (буревестников) и при этом вести неторопливые философические беседы.

Но нужно было успеть закупить кое-какие предметы первой необходимости: одеяла, раскладушки, табуретки, ложки, кружки, миски, кастрюлю, чайник, электроплитку (свет дали и воду дали). Ну и, конечно, чай-сахар, и хлеб насущный, и масло, и мало ли что еще.

— Ты приезжай на будущий год, — приглашал меня Павел Андреевич (все наши планы этого года само собою отменялись, поскольку тайфун), — я кабинет отделаю — окнами на океан, кресла выдолблю из цельных стволов ильма, стены задрапирую бамбуком...

Стекла в окнах дребезжали. Под ударами тайфуна дом словно порывался взлететь. Тайфун «Нора» выл, как волчица, надсадно, с повизгиванием. Должно быть, эта самая Нора была особа скандальная, может быть, даже злющая ведьма.

Однако вторая ночь прошла благополучнее и уютнее первой. Наутро третьего дня Павел Андреевич собрался

на стадион сдавать нормы ГТО. Я отнесся к этому его намерению недоверчиво. Мне казалось, что ни один здравомыслящий человек не отважится сдавать нормы ГТО, когда на дворе дует тайфун. Но это я плохо знал островитян, то есть совсем их не знал.

Над стадионом хлопали и мотались стяги. Лесники, объездчики и лесничие (в этот день сдавали нормы ГТО работники лесхоза) явились все как один — рослые, крепкие мужики с задубелыми на ветру лицами, в резиновых с длинными голенищами сапогах. Пришли с ними жены, тоже крепкие, в теле женщины, в туфлях на высоких каблуках, в костюмах джерси. И еще набежала стая любопытных беспородных собак.

На стадионе хорошо подготовились к приему норм ГТО. Все было размечено, повсюду висели таблички: «Подтягивание», «Отжимание», «Толкание ядра», «Метание гранаты», «Прыжки с места», «Сгибание и разгибание рук в упоре». Лесные люди весело, споро взялись за дело. Ядра они кидали, как мяч кидают, играя в лапту. Павел Андреевич, годящийся любому из этих дюжих молодцев в отцы, тоже кинул ядро, и не ближе, чем остальные. Он и отжался, и подтянулся, и прыгнул с места, и гранату метнул.

Один лесник прыгал, держа в руке фуражку. Другой прыгал с искрящей на ветру папиросой в зубах.

На стометровке завязалась нешуточная борьба. Тайфун дул в спину бегущим, и, если бы не мешали резиновые сапоги, кто знает, какие фантастические секунды могли быть показаны в этот день на стадионе самого дальнего нашего острова. Один лесник бежал в паре с директором лесхоза и все вырывался вперед, но, понимая субординацию, запинался и отставал.

Жены лесников, объездчиков и лесничих бежали сотку на высоких каблуках, в облегающих костюмах джерси. По бровке беговой дорожки, не отставая от этих лесных фей, веселой гурьбой бежали здешние псы. . .

Тайфун продул еще несколько дней, мы с Павлом Андреевичем всласть наговорились в нашей холостяцкой обители. Когда же утихло и прилетел самолет, я поспешил в аэропорт: приближалась пора затяжного ноябрьского ненастья. На прощание мы поцеловались с Павлом Андреевичем. Я пообещал прилететь на будущий год и с тем улетел.

Тут можно поставить точку в затянувшемся, как и поездка на острова, рассказе. Но читатели могут спросить, где мыши. Мыши, как помним, обещаны в заголовке. И, может статься, читатели, принимаясь за чтение, ожидали от автора неких сравнений, уподоблений, сопоставлений из мира людей и из мира мышей. Бывают ведь в человеческом мире и писк, и возня, и мышинные страсти, и всякие кошки-мышки. . .

Но читатели обманулись в своих надеждах на ассоциативную прозу. Автор строго придерживался в своем повествовании фактов, не выходил за пределы опыта, приобретенного во время поездки на острова. И если мыши, то это — сущие мыши, вредные для лесного хозяйства грызуны, с мышинными острыми зубами, ушами и хвостами. . .

Я сделал остановку на большом острове, чтобы побывать в сосновых лесах, которым положил начало Павел Андреевич. В лесхозе, куда я приехал, меня встретил его ученик, ныне директор лесхоза. Когда я назвал ему имя Павла Андреевича, он сразу проникся ко мне братскими чувствами. Ученик был моложе учителя, и посеянные им леса моложе тех лесов, что посеял мой друг.

Леса, главным образом лиственничные, радовали глаз игрой красок. Японская лиственница пожелтела, даурская держалась по-летнему молодо, зелено. В сосновых же лесах юношеского возраста что-то было не так. Как-то невесело, не по возрасту сумеречно глядели сосенки. . .

Вот здесь и настала пора сказать о мышах. Первым заговорил о них директор лесхоза:

— Лет до двенадцати сосны росли хорошо. Как будто здешняя природа присматривалась к ним, терпела. Но до поры терпела. Когда сосны подросли и стали теснить других коренных жителей здешних мест, на них набросились мыши. Да, да, именно набросились. Полчища мышей появились в сосновых насаждениях. Будто им нужно было отомстить этим непрошеным гостям. Понимаете? Нарушился биогеоценоз — естественное равновесие в природе. И нарушение повлекло за собой ответный удар природы. Возмездие. . . Мы сначала не понимали, почему гибнут сосны. А потом видим: господи боже мой, мыши. . . Павел Андреевич еще этой напасти не знал, они недавно появились. А мы пока что бессильны. . .

Вот как: люди бессильны против мышей. Первая моя мысль была, конечно, о кошках: сильнее кошки зверя нет. Но какие же кошки в тайге?.. Тут я вспомнил о сарыче, о мохноногом канюке, об ошейниковой совке и белой сове. (Именно их рекомендует в своей книге В. Нечаев как истребителей мышей.) И что же? Допустим, мышей изведут эти хищные птицы. Не станет мышей, но каково будет совам, совкам, мохноногим канюкам и сарычам без продуктов питания?

Каково?

— Вот думаем, соображаем, как сделать мышам укорот, — прочел мои мысли директор лесхоза. — К науке обратились. Чего-нибудь придумаем... Ну а как там Павел Андреевич? Устроился? Ничего?

— Ничего. Не унывает. Сдал нормы ГТО.

— Он такой. Он как ванька-встанька.

НАКАТ

Ф. Ф.

Много лет я знаю этого человека. Он с двадцать шестого года, я с тридцать первого. Разница, в общем, невелика. Но те, кто с двадцать шестого, в войну успели навоеваться, а те, кто моложе, остались дома. Тут между нами, меж нашими поколениями, и проходит водораздельный хребетик, рубеж. С годами его, конечно, размыло, сровняло, но все же он есть.

Мой товарищ ушел на войну студентом ВГИКа, учился он там на кинооператора. Сначала рыл под Москвой траншеи. И сам он родом москвич, и семья его оставалась в Москве, за спиной у него, у защитника, мать, братья и сестры. Закончил войну он где-то в Восточной Пруссии, в дивизионе гвардейских минометов, то есть «катюш», шофером.

Согласитесь, карьера немалая: от студента, копающего траншеи под Москвой, до шофера «катюши» в Восточной Пруссии. Благодаря каким качествам, свойствам, достоинствам этого человека совершилась его карьера на театре военных действий, не знаю. Но, наверное, качества были, характер, главное, был, ну и, конечно, силенка. Слабака не посадят за руль «студебеккера» с установленной на нем самой мощной, непревзойденной в войну, смертоносной, к тому же и секретной реактивной установкой — «катюшей».

После войны человек этот стал кинооператором, как и замышлял в юношестве. И почему-то, не знаю, уехал на Дальний Восток. Там я и повстречался с ним, на острове Сахалине. Он сидел за рулем приспособленной для

киносъемок, открытой, со снятым верхом машины — здоровый детина в полушубке (дело было ранней весной), в операторском синем берете. В расстегнутом вороте полушубка красовалась его не укрытая шарфом или галстуком мощная шея. Когда он вылез из машины, то оказался ростом, ну, эдак без пятнадцати сантиметров два метра.

Мы с ним не то чтобы сразу и подружились, но что-то возникло меж нами, как говорят, родство душ. Куда-то, не помню, мы ездили, где-то сидели, что-то пили, закусывали, по дальневосточному обычаю, красной икрой и крабами — крабы тогда продавались на рынке.

Он был оператором кинохроники, работал в самом дальнем на Дальнем Востоке корпункте. По прошествии лет получил еще и диплом режиссера. Картины он делает сам, сам снимает, по своему режиссерскому сценарию. Только текст ему кто-нибудь пишет. Вот я иногда и пишу. Снимает он Дальний Восток, живет на Дальнем Востоке, но обрабатывать пленку, перемонтировать и еще что-то делать приезжает каждый год на кинофабрику в Ленинград. Здесь мы встречаемся с ним и обязательно смотрим его картины, еще не вышедшие на экран, — где-нибудь в кинозале, ну, скажем, в Доме кино, в неурочное время нам показывают эти картины, мы вдвоем сидим перед широким экраном и смотрим.

И, случается, плачем, потому что картины его обладают особым свойством воздействовать на какие-то чувствительные центры. Ну вот, например, у дверей пароходства, на берегу Великого океана, вывешен график прибытия судов из дальних многомесячных рейсов. Приходят женщины: матери, жены, невесты — читают, читают, читают график прихода судов к причалу; на этих судах приплывают домой их мужья, сыновья, женихи. Оператор засел со своею камерой где-то в укромном местечке — и снимает, снимает, снимает женские лица, движения губ и бровей. . .

Или снимет морской прибой, океанский накат на острове Беринга. Тот же самый прибой, тот же самый накат, в том самом месте, где помер в землянке командор Витус Беринг.

Или снимет кита, как уходит кит от погони, и не уйти, и гарпунер на носу китобойца у пушки, азарт на лице гарпунера — и выстрел, море побагровело от крови кита.

Или снимет хорошего человека, ну, например, поэта Лебкова. Лебков — директор лесхоза, сажает сосенки на Сахалине. Землю попашет, посеет сосновое семя, вырастит колючие саженцы, выходит их — и напишет стихи. И почитает, не надо долго просить. Қолышется борода у Лебкова и пар изо рта, потому что зима...

И опять океанские волны, накаты, лесные дебри, льды Арктики — и лица людей крупным планом: любое лицо отдельно и самоценно, не затерялось в толпе. Жизнь просторна, есть где разгуляться. И ветер, что ли, гуляет в зале, брызги морские... Мы смотрим кино, в глазах наших саднит, выжимает слезу.

Когда я бываю на Дальнем Востоке, то обязательно там встречаюсь с моим товарищем оператором-режиссером. Первым делом мы идем в кино смотреть его новый или старый, почему-либо не увиденный мною фильм. Сам он тоже, в который уже раз, настороженно смотрит — чужими, то есть моими, глазами. Он любит свои картины и боится за них, робеет перед чьим-нибудь судом, как молодой живописец перед лицом выставкома, первого в жизни...

Так было и в эту осень: я приехал на Дальний Восток, на самый дальний наш остров, встретил там моего товарища, и он пригласил меня посмотреть новый фильм, короткий фильм, длиной в одну часть. Пригласил он в кино посмотреть на себя и героя этого фильма. И, само собою, пришла киногруппа: директор картины, ассистент режиссера, шофер.

Герой, главный хирург островной области, Игорь Петрович Игнатьев, пришел в велюровой шляпе, в светлом плаще с подстегнутым мехом, в тупорылых ботинках с подошвой такой толщины, что ее не стопчешь за целую жизнь. Лицо героя обрамляла большая курчавая борода, широко расставленные темные глаза были исполнены внимательной зоркости, блеска. Облик этого человека навел на мысль об идеальном, пожалуй и не виданном никем никогда цыгане, который из табора, от костра, по длинной-длинной винтовой, спиралью восходящей лестнице поднялся на вершину цивилизации и наук... (Авторам фильма герой сообщил, что отец у него был цыган.)

Хирург смотрел кино о себе самом, но выражение его лица в потемках пустого, свежеевыметенного и опрысканного водой зала (фильм прокручивали в кинотеатре

«Восток» рано утречком, до начала первого сеанса) не выдавало каких-либо чувств, кроме, пожалуй, любопытства. Фильм о хирурге Игнатьеве не был еще озвучен, он шел, как в пору немого кино, в тишине; только стрекотал где-то позади киноаппарат. На широком экране — крупно — двигались, шевелились, что-то делали руки хирурга. Погружались во что-то, чего не следует видеть и знать никому, кроме него самого.

Борода Игнатьева, нос и рот были укрыты марлей. Взор сделался медленным, тяжким и грозным. Камера наезжала все ближе, ближе к операционному столу — руки хирурга, глаза хирурга...

— Ну как? — первым спросил директор картины, самый молодой в киногруппе, когда в зале зажегся свет.

— Немножко неловко, — сказал хирург, — получается что-то вроде саморекламы... Впрочем, у меня претензий нет, вам видней... — он посмотрел на главу киногруппы — на моего товарища, режиссера-оператора. Тот задумчиво произнес, глядя на хирурга малость выпученными, светлыми, с кровяными прожилками на белках глазами:

— Мне показалось, Игорь Петрович, чего-то пока не хватает. Черт его знает, изюминки нет. Биографический очерк получается. Хотелось бы найти какой-нибудь поворот... Вот если бы героя фильма вывести разок на люди, чтобы он пообщался с людьми... У вас же, наверное, есть такие больные, которых вы оперировали... Вы же встречаетесь с ними? Вот бы снять эпизод — встречу со спасенным вами человеком. Весь фильм бы по-новому заиграл, появилась бы в нем человечность...

— На Каменном мысу живет моя пациентка, — сказал Игорь Петрович. — На маяке. Я ее оперировал лет уже шесть назад. Тяжелый был случай, я считал его безнадежным... Я позвоню, там чилимов наловят. Поехали? Решайте.

Он посмотрел разом на всех нас, на группу, но и на каждого в отдельности. Взор его выражал дружелюбие, даже ласку, но главное — решимость к движению, к действию, поступку. Очевидно, определяющим в его характере было действенное, моторное начало.

— Чилимы под пиво — это вещь, — сказал мой товарищ, режиссер-оператор. — Только, черт его знает, неудобно: к незнакомым людям такой оравой...

— Это не ваша забота, — сказал герой кинофильма. — Значит, что же? Сегодня у нас четверг, в пятницу у меня операционный день... Вечером в пятницу можем выехать.

— В субботу, — сказал режиссер-оператор.

Собрались мы в субботу только за полдень, дело было уже в октябре; в первую половину пути светило встречное солнце. Синели сопки вдали, а ближние склоны, поросшие даурской лиственницей, сплошь озолотились. Когда же в глаза ударила синь и прозелень моря, солнце макнуло край диска в воду и утонуло. Сразу нахлынул темный октябрьский вечер, дорога словно пропала совсем; машина — автобус кинохроники — то ехала ровным местом, то прижималась к береговому откосу, то спускалась в лога, то подымалась куда-то, то увязала в грудях морских водорослей. Наконец взобралась на открытый увал над морем, остановилась возле маяка. Луч маячный, исходящий из самой маковки башни, вращался; его синеватый проблеск то набегал, выхватывал из потемок пихты с заломленными ветром ветвями, то касался поверхности моря, и разбуженная вода оживала, струилась и будто дымилась на свету.

Игорь Петрович вылез из машины, воскликнул:

— Василий! Анна! Принимайте гостей!

И сразу вышли навстречу люди, распахнулись двери в низком строении с плоской крышей и каменными стенами. Раздались приветствия, выражения взаимной радости по случаю встречи. Радость, и правда, была; у нас, у приехавших, точно, была: после долгой тряской дороги, после крошечных потемок мы жмурились на свету, грелись у топящейся плиты, на которой булькал чугунок с картошкой, рассаживались у стола и у телевизора с большим экраном: передача шла из Москвы по первой программе, по системе «Орбита». В Москве был полдень, а здесь, на маяке, на Каменном мысу, шел девятый час вечера.

На стол собирала хозяйка, Анна, худая, высокая женщина с бледным, сухим лицом, с просинью в глазницах. Она улыбалась гостям, привечала их, приглашала к столу, но не заискивала, а лишь исполняла работу гостеприимства с тщанием и даже страстью, как, видимо, исполняла она и любую другую свою работу.

Муж Анны, хозяин маяка, начальник его, Василий, топтался, смущался, спешил услужить, и все не впопад, он нес ахиною, смысл которой (если бывает смысл в ахи-нее) не удавалось никак уловить. Он был заметно ниже ростом своей жены.

Когда наконец стол сплошь заставили, завалили яствами и все уселись вокруг него, нить общего разговора сама собой оказалась в руках у Анны. Говорила Анна свободно, громко, о самом главном — для нее самом главном, для Анны. Все слушали, так получалось, что жизнь незнакомой покуда Анны, заботы ее и тревоги равно важны для каждого за столом.

— Раньше мы на Ломероне служили, — говорила Анна, обращаясь разом ко всем, — тоже на маяке, четырнадцать лет. А теперь здесь... седьмой год. Как раз в тот год, как вы мне, Игорь Петрович, операцию сделали, мы сюда переехали. — Тут она посмотрела на Игоря Петровича, и взгляд ее был таков, что всем стало ясно: видит она сейчас одного человека и больше нет для нее никого, ни души.

— Когда же это было, Анна? — спросил Игорь Петрович, так спросил, будто вдвоем они с Анной за этим столом. — Когда я оперировал тебя? Неужели шесть лет прошло?

— Шесть лет, Игорь Петрович. У меня тогда старший только в армию ушел... Сейчас он тоже на маяке, на Светлом мысу, там у них радиомаяк. Он — заместитель начальника. Звание у него капитан-лейтенант. Это теперь у нас вроде как фамильное: мы служим кораблям... А ты откуда это бутылку достал? Тебе, Вася, хватит! — Анна смотрела только на Игоря Петровича, но видела также и мужа Васю. — Сказано было — хватит! Да ты что это, опять за свое?

— Такое дело, Анна... — забормотал в оправдание Вася. — Игорь Петрович к нам приехал, он тебя спас... Я как в больнице у тебя тогда побыл, домой вернулся — и плачу как дите малое. Мне без тебя бы не жить. Я совсем бы пропал... Ну, Анна, еще по рюмочке, вот за Игоря Петровича...

— Шесть лет, Игорь Петрович... Мне как направление дали в онкологический диспансер, у меня буквально так ноги и подкосились... Я и раньше подозревала, но все же надежда была, вдруг язва. На двенадцать кило-

грамм похудела. А бумажку мне эту дали, как все равно приговор... Взрежут, думаю, и зашьют.

— Ну что ты, Анна, так плохо думаешь о врачах. Медицина пока что, увы, не всесильна, но кое-что мы умеем, научились кое-чему.

— Я, Игорь Петрович, — продолжала Анна, — как вышла из кабинета врача, вижу, диванчик стоит, повалилась на него, и сил нет идти. Врач попросила машину — как раз в поликлинике оказалась секретаря горкома жена, на рентген приходила. Она меня и свезла в больницу, и там меня положили в палату хорошую — на троих. Думали, что я оттуда, от них, направлена... И записали на очередь к вам, Игорь Петрович. Так-то всем свои, местные хирурги операции делали, а мне говорят: вот Игнатьев должен приехать и мы вас — к нему...

— Я помню, Анна, ты молодая тогда была. Да ты и сейчас еще — вон, совсем молодая... Четыре с половиной часа операция шла... Шесть лет уже минуло, говоришь?.. Ну, теперь-то до золотой свадьбы с Василием наверняка доживете. А ты, Василий, благодари бога, что тебе досталась такая жена. Смотри, какая она у тебя красавица да хозяйка!

— А все на ней и держится, Игорь Петрович, — с готовностью подхватил Василий, — она и вахту стоит на маяке, и ребятишки — все же трое у нас — теперь все взрослые, и так по хозяйству за что ни возьмись — и корова, и постирать надо, и баню стопить, и в лес сбегать за груздями или вон за лимонником, за черникой...

— Черника — человек, — вдруг сказал молчавший до сих пор юноша Володя, который глядел на незнакомых ему приезжих людей, обсевших стол, с таким дружелюбием, и доверием, и готовностью послужить, какие могут родиться только в истосковавшемся по общению юношеском сердце. Володя приехал на Каменный мыс, на маяк, я его расспросил, после армии, нынче летом. Володе двадцать два года, но можно на вид ему дать восемнадцать. С собой он привез молодую жену и дочку Свету полтора лет.

Дочка тут же сидела, за столом, на коленях у мамы, с серьезным и даже нахмуренным взглядом. Она занималась делом: ела чилимов. Тянулась ручонкой к эмалированному тазу, стоящему на столе; в тазу чилимы, их сварили в морской воде, с морской же травкой, — кровати

в пунцово-лаковых панцирях, морские кузнечики... Света отламывала чилимам головки и, чмокая, пуская пузыри, высасывала сладенькое, нежное,пряно пахнущее морем чилимье мясо.

Володя сказал про чернику и замолчал, опять надолго, нимало не мучаясь молчанием, не смущаясь. Каждый из сидевших за столом улыбнулся Володе, и Володя улыбнулся в отдельности каждому. Глаза его излучали такое количество света, будто маленький маячок светил.

— Да вы ешьте вон грузди, сметаной их хорошенько поливайте, — потчевала гостей Анна. — Картошку берите. Надо — мы еще сварим. Картошка своя. Икру-то вы ложками ешьте, чего ее размазывать. Нынче год рыбный, горбуши было полно, а кета вон и сейчас еще идет... Чилимов берите. Правда, мелковат чилим, если бы вы пораньше предупредили, Игорь Петрович, что приедете, Василий бы в Крабовую бухту на Чиже съездил, там чилим крупнее. А так — Василий только успел до отлива — вот здесь, под маяком, и ловил. Здесь чилимы мелкие.

— Что же вы, Анна, крупных-то всех попричесали? — пошучивал, подтрунивал Игорь Петрович.

Он, должно быть, усвоил себе этот тон в обращении с хозяевами маяка. Но глаза его — я-то видел, я помнил эти глаза в прорези марлевой маски, тревожные, грозные глаза человека, держащего в руках нить жизни другого человека — именно нить, волосок...

Игорь Петрович разговаривал со спасенной им однажды и поэтому доверившейся ему всецело и навсегда женщиной именно так, как разговаривают с тяжелыми своими больными лечащие врачи: он малость играл, брюзжал, насмешничал, попрекал Анну и особенно мужа ее Василия, нападал, понуждая их защищаться. Он, конечно, шутил, но, может быть, ему хотелось немножко позлить хозяев маяка, чтобы они наконец перестали глядеть на него умиленно, как на благодетеля. Впрочем, как знать...

Игнатьев сидел за столом вальяжно, почетным гостем, генералом.

— Это уже непорядок в хозяйстве, — выговаривал он Анне. — Я помню, раньше к вам приезжал, чилимы были — во! — как тигры.

— Так ведь что, Игорь Петрович, — серьезно, нимало не поддаваясь на шутки гостя-спасителя, отвечала Ан-

на, — судите сами: сегодня вы приехали, с вами еще люди, мы вам, конечно, рады. Теперь у нас на маяке все лето геофизики живут, к ним тоже приезжают, тоже чилима охота попробовать. Завтра, из управления звонили, придет наше начальство, опять без чилима никак. И пограничники ловят чилимов, и кто их только не ловит... А чилим — он что? Он кузнечик... Где же ему уберечься от всех ловцов?

— Нет, Анна, не в чилиме дело, а в ловце. — Игорь Петрович вполне вошел в роль, даже малость куражился. — Что-то у тебя ловец подраспустился. А? Василий? Я говорю, подраспустился ловец. Уже и мышей, должно быть, не ловит. Не то что чилимов. Разве это чилим?..

— Ваша правда, Игорь Петрович, — принимая правила игры, преданно закивал Василий, — чилим никакой... А как же? Он тоже... соображает. Вода почнет уходить — и трава вся ложится, и чилим тогда усики опускает, хвост поджимает, спит. Тут-то его и не взять. Чиж у меня на что конь проворый, и на чилима нюх у него... Он ух какой злой на чилима. Когда прилив, сам в море бежит, чилимницу тянет, как трактор; мы с ним все дно перепашем, чилим весь наш... Прилив идет, вода-то травку подымает, колышет, расчесывает, чилим, за травку ухвативши, тоже морду к солнышку обращает, усами шевелит, пузыри пускает... А как же? В прилив его и берешь. Раньше-то бы за день сообщили, что будете, и чилимов бы поймали как следует. А то я вахту стою на маяке, Анна бежит, говорит: с заставы звонили, передавали, вечером Игорь Петрович приедет. А мне и вахту нельзя оставить, и отлив начинается... Ладно, Анна меня подменила, Чиж в сопки ушел, его искать еще надо. А вода уходит... Я Чижа разыскал, гоню его в море, чилимницу подпрягаю, а он на меня смотрит, как на шизохренника: что же, дескать, посуху-то пахать, дурья твоя башка? Чиж у нас шибко умный. А вы, Игорь Петрович, другой раз поедете к нам, дак за день хотя сообщите. Тогда можно и в Крабовую сгонять.

— Чилим — человек, — сказал Володя, и снова маячный свет его глаз обжегал весь застольный круг. — Завтра утром, хотите, в сопки сбегает, рябчиков — полно. — Володя каждому подарил по улыбке.

— Василий! — скомандовала Анна. — А ты чего не смотришь? Угощай людей лимонником. Сбегай-ка наце-

ди! Да и люди-то все какие! Будто личности ваши мне знакомые. По телевизору вас случайно не показывали?

— Все может быть, — уклончиво-скромно ответил за всех директор картины.

— Вы меня извините, конечно, — обиделся Вася, — четыре раза бегал, четыре жбана лимонника нацедил... Бочка-то тоже не бездонная.

— Ну это ты брось, Вася, брось, — рокотал Игорь Петрович. — Я тебя, слава богу, знаю. У тебя, наверно, пять бочек лимоннику запасено... Я предлагаю выпить за наших гостей! Себя я гостем не считаю. Мы здесь люди свои...

Игорь Петрович встал, заросший по самые глаза кучерявой, каштановой с проседью бородой, лобастый, плечистый, массивный, но в то же время легкий, в свитере тонкой шерсти, в замшевой куртке, в джинсах. Темные, влажные его глаза отблескивали на свету.

— За наших гостей! Они оторвались от своих дел, которых там, на материке, ничуть не меньше, чем у нас, а может быть, и больше... От своих семей... И приехали к нам...

Мой товарищ, облысевший за время нашего с ним знакомства, с головою, похожей на кабачок, несколько утолщенный книзу, с укоротившейся шеей, собственно без шеи, с длинными, тонкими, словно сведенными судорогой пальцами пианиста, сказал:

— За хозяев бы надо.

— За хозяев успеем еще... Хозяева — люди нашенские. Не первый раз мы у них, бог даст, не последний... За наших гостей!

— За нас что пить? — сказала горестно Анна, и горесть была столь же свойственна ей, как синева под глазами. — Мы тут на краю света живем, раки-отшельники... А тебе хватит, Василий! Сколько раз говорить? Тебе завтра чуть свет в сопки бежать за Чижом. Надо же товарищам по приливу чилимов поймать — с собой увезти. И баню надо стопить, дрова не колоты... Пусть Игорь Петрович попарятся, и еще, может, кто любитель... Да поставь ты рюмку-то, кому говорят!

— А чего за Чижом бегать? — бодрился, вскидывал подбородок Вася. — Он у нас как собачка. Я свистну — он тут как тут.

— Под такую закуску, да еще лимонником запи-

вать — это можно литр выпить и не заметить, — с воодушевлением высказался водитель.

— А вот у меня, Игорь Петрович, — пожаловалась Анна врачу, — никакого вкуса нет к еде. На эту икру я и смотреть не могу. Как похудела тогда на двенадцать килограмм, так с тех пор ничуть не поправилась, ни грамма не прибавила в весе. Так... за день молочка выпью да кашку себе сварю, а больше ничто не идет... Вы бы мне сказали, Игорь Петрович, теперь-то уж время прошло, что было-то у меня?

— А то и было, чего теперь нет, — ответил Игорь Петрович, именно то ответил и так, что и как должно ответить врачу своей пациентке. — Об этом думать не надо. Ты, Анна, для жизни предназначена. Без тебя жизни никак... А что не толстеешь — и слава богу! Тощему легче. Вон Василий у тебя, гляди, будку нарастил. Балуешь ты его, за все дела сама хватаешься...

— Дак я что, Игорь Петрович, — забормотал, заспешил Василий, — я, конечно... мне как позвонили тогда на Ломерон, на маяк, что Анну в больницу взяли, я выскочил сам не свой — ладно, там дорога рядом, машины ходили... Старший сын в армию ушел, средний в училище мореходном, дочке что тогда было? Пятнадцать лет... Она одна на маяке и осталась. Я в Шахтинск примчался не помню как... Посмотрел Анне в лицо, а лицо у нее другое сделалось, будто и не ее лицо. Нос вострый... Я смотрю на нее, а сам плачу. И к вечеру на маяк мне надо вернуться. Анна мне говорит: «Поезжай, Вася, маяк пора зажигать».

— А как же? — сказала Анна. — У нас это первое дело. Мы служим кораблям.

Тут встал мой товарищ, взгромоздился над столом, лицо вровень с лампочкой. (Впрочем, лампочки две над столом висело, на одном шнуре, без абажура, — одна большая, другая маленькая. Когда работал движок, большая горела, когда же питание поступало от аккумуляторов, горела маленькая, большая гасла.) Плечи у оператора-режиссера — в пору бы грузчиком быть с такими плечами, а пальцы истончились на творческой работе. Такими бы пальцами на рояле октавы брать...

— В сорок четвертом году, — сказал режиссер-оператор, — в конце уже сорок четвертого года, я был шофером — комбата на «додже» возил, в дивизионе «ка-

тюш». И помню, ночью мы въехали в тихий-тихий немецкий город в Восточной Пруссии. В маленький городок. И до того он был тихий и совершенно целый, этот немецкий город, как будто и не война. И нужно нам было найти в этом городе дом для ночлега. Городок весь уснувший: темным-темно, нигде ни души. И чувство такое было, что кто-то видит тебя, следит за тобой. Покружились мы по этому городу, потыкались в кривые улочки, остановились около одного особняка. Комбат говорит: «Сходи, Леша, посмотри». Я автомат взял, пошел. Дверь в особняке не заперта. Я внутрь тихо-тихо шагнул, и какая-то мне почудилась чертовщина. Будто весь этот особняк кричит и дышит. И часы в нем тикают, как в часовом магазине. И половица скрипнула... Я фонариком посветил, ничего не видеть. Но стало мне вдруг до того тошно в этом немецком особняке, что я давай бог ноги. Вскочил, машина стоит, мотор работает... Залез в кабину, гляжу: комбат мой вроде заснул, голову на плечо уронил. Я думаю, ну его к черту, надо ноги уносить отсюда куда-нибудь поближе к своим, к братьям-славянам... Я еду, а комбат спит, привалился ко мне... И что-то тепло моему плечу стало. Я потрогал — плечо-то мое в крови. И комбат мой, смотрю, мертвый. И выстрела я не слышал. И находились мы по эту, по нашу сторону фронта, хоть и не в глубоком, но все же в тылу. И комбат был парень хороший, совсем молодой... Я предлагаю выпить за то, чтобы войны не было. Не будет войны, будем живы мы и наши дети — а остальное приложится!

— Это правильно, — призадумалась Анна. — Это вы очень хорошо сказали. Самое главное, чтобы войны больше не было никогда. Все остальное приложится... За это и я даже выпью... А ты, Василий, сходи-ка чилимов-то еще принеси. Еще целый таз есть, сварены, на холод выставлены. Чилимы как семечки, начнешь их шелкать и не оторваться... Я-то, правда, их не ем, а мужчины, как дети, любят. Особенно с пивом...

В это время отворилась на волю дверь, свет уперся в сплошные отблескивающие потемки. Это вернулась жена Володи, она относила домой свое уснувшее чадо.

— А чилимов всех Пират съел, — сообщила жена Володи, и смех в ее голосе боролся с сознанием плачевного смысла происшествия.

— Неужто всех? — первым огорчился директор картины.

— Всех, это уж точно, — будто гордясь своим псом, подтвердил Василий. — Он у нас что хошь съест. В отлив весь берег обегает, медуз всех сожрет. Картошку, брюкву сырую хрупает, как боров. Кету, горбушу — на берегу сидит, как медведь, лапой ловит. И морскую капусту тоже — хоть что!

В подтверждение этих Васиных слов на пороге возник сам Пират. Передними лапами он наступил на порог, лапы у него с большими когтями, лохматые, львиные лапы. Мягкие уши Пирата болтались как попало, должно быть, он гончей породы. Во всяком случае, кто-то в его родословной гонялся за зайцем и за лисой. Пиратский хвост-гон ходил ходуном. Пират вытягивал нос в направлении стола, нюхал и слюнки пускал. Желтые его собачьи глаза выражали одну неизбывную радость существования, преданную любовь, а также готовность к школе.

— Он молодой еще, глупый, — сказала Володина жена, погладив Пирата по рыжей большой башке. Она просила у общества снисхождения к разбойнику. Пират полез ее обнимать, целовать.

— А что, он чилимов-то съел так прямо, со всей оболочкой? — осведомился директор картины.

— Чисто. Даже таз вылизал.

— Ну молодец! — воскликнул Игорь Петрович. — Из этого пса будет толк. Настоящий охотник. А ты, Василий, чилимов не уберег, значит, завтра тебе двойной план дается.

— Да я что, Игорь Петрович, я — пожалуйста! У чилима бы тоже надо спросить. Ему ведь тоже, поди, не больно охота в тазу вариться. Как первый год мы тут жили, он дуром в чилимницу валил. А теперь ученый стал, профессор...

— Чилим стал ученым, значит, ты перед ним должен быть академиком, — поучал Василия Игорь Петрович.

— Может, кто хочет маяк посмотреть, на башню подняться? — старалась Анна развлечь гостей. — Сейчас-то темно, а днем далеко видно... Другого берега, правда, не видать, море у нас большое — океан...

— Великий тире Тихий, — сказал мой товарищ, который малость отяжелел. — Мы подсветку захватили? —

спросил он у директора картины. — Вот бы снять это застолье, все как есть, в натуре...

— Директор студии материал посмотрит, — улыбнулся директор картины, — скажет: «Опять пьянствуют».

— Вот я и говорю, нам бы другого директора студии, мы бы и не то еще сняли... — вздохнул режиссер-оператор.

— Ну, с нашим директором жить можно...

— Пойдемте, кто хочет маяк посмотреть, — позвала Анна, — я свет включила...

— Идем, Анна, веди нас, — поднялся Игорь Петрович. — Пойдемте, товарищи. Посмотрим в натуре маяк. Неизвестно, представится ли вам еще когда такой случай... — Игорь Петрович следом за Анной пошел. Володя вперед умчался.

Анна вела экскурсантов по длинному коридору:

— Здесь у нас переход из жилых помещений к маяку, стены в нем бетонные. Это чтобы зимой, когда нас снегом засыплет по самую крышу, можно было пройти. А здесь вот машинный зал...

Машина работала, старенькая машина, таких не бывает теперь. Столько она уже наработала, что никто и не помнит, когда впервые стрельнули ее клапана. Масло отблескивая, вращалось большое колесо-маховик. Можно бы эту машину вот так целиком поместить в музей маячного дела — служения кораблям — как некий реликт, пример долгосрочной бессменной вахты — на износ. Впрочем, машина вовсю гудела, стучала, урчала, хлюпала, и голос ее был иной, чем у нынешних машин. И молодой машинист Володя уже успел перепачкать руки и вытирал их ветошью, похаживая вдоль машины, как надлежит машинисту.

Из машинного зала по винтовой лесенке поднялись на маячную башню, где помещалась люстра, что ли, — многогранная, составленная из линз сфера. Внутри нее находилась лампа. Сфера вращалась, плавала в ртутном подшипнике, собирая свет в два пучка, направляя его в окошки-амбразуры. Один луч скользил по поверхности моря, в это время другой успевал обождать грядущих сопков, поросших пихтами, — и тоже касался воды. И так непрерывно шло круговращение двух лучей — в подмогу штурманам невидимых с берега кораблей. Стоять близко к источнику маячного света больно было глазам...

Володя врубил сирену, вначале голос ее был сиплый, прерывистый, но прочистилось горло — сирена тонко завывала.

Оглушенные и ослепшие, мы вернулись к столу...

Ночлег нам приготовили в отдельном помещении, постелили на пол перины. Отдельное это помещение соединялось с жилым помещением, так же как и машинный зал, и башня, коридором с бетонными стенами. Все помещения на маяке составляли единый забетонированный блок — убежище от бурана. Первым лег на перину, укрываясь тулупом режиссер-оператор. Ноги его выметнулись за пределы перины и тулупа — огромные голые ноги в коротеньких безразмерных носках. Он пошевелил пальцами, тяжело вздохнул и произнес хоть не длинную, но все же речь, монолог.

— Люди живут нормальной, естественной жизнью, — сказал режиссер-оператор на сон грядущий. — Мы для чего-то к ним приезжаем, чего-то нам надо от них. Они нас сажают за стол, угощают икрой и чилимами. Мы наедаемся, напиваемся, ложимся на их простыни и подушки. А наши семьи, наши жены в это время бог знает где. Им скучно без нас, они любят, когда мы под боком у них... И все это для чего? Все ради искусства. Чтобы снять один эпизод. А после эпизод этот вырежут, скажут, что нетипично... Эх-хе-хе... Не надо было ночевать оставаться. — Режиссер-оператор сказал и уснул. Природа наделила этого человека не только ростом и мощью телесной, но и спасительным свойством мгновенного перехода от бодрствования к неколебимому и безгрешному сну.

Я устроился под бок к моему товарищу, далее в ряд — ассистент режиссера (он ничем не обнаружил себя за вечер — молод), директор картины. Василий с водителем подбрасывали в печь уголь, не прерывали громкого разговора, в котором поди улови суть да нить...

Игорь Петрович остался беседовать с Анной — наедине...

Чуть свет послышался его голос, свежий, как утренний океанский прибой:

— Подъем! Выходить строиться!

Вскоре он сидел верхом на Чиже, внахлест, без седла. Чиж мотал головой, как конь крестьянский на пашне, без страха ступал по ниве морской, держал борозду, по грудь в зеленой воде, волочил за собою по дну кошель-чилимицу. Ноги седока, обутые в бежевые резиновые японские сапоги, погружены были в море. Бороду его заносило ветром на сторону.

Ветер дул сильный, прямо с востока, откуда всходило солнце. И ветви пихт на склоне прибрежной гряды заломило под ветер.

Над баней уже курился дымок. Дрова и воду таскала в баню жена Володи. Видно было, как водитель с Володей ползут вверх по сопке с ружьями. Режиссер-оператор, накинув тулуп на плечи, примеривался к камере на треноге. . . Всяк нашел себе дело.

Анна с утра нарядилась — в предвидении киносъёмки — в платье-джерси, обула туфли на каблуках, и ноги ее оказались сухи, стройны, фигура тонка и легка; годы жизни, долгие годы, вся жизнь на дальних, недостижимо дальних мысах — на Ломероне, на Каменном мысу — не согнули, не огрубили ее. И только в холодном, ясном утреннем свете еще заметнее стали тени в глазницах у Анны. Глубокие, синие до черноты.

Вернулись с моря ловцы чилимов, приехали на Чиже, запряженном в телегу. И начались киносъёмки. Игорь Петрович, статный красавец, в тирольской шляпе, сдвинутой на затылок, с пером, в техасских штанах, в замшевой куртке, взял под руку Анну, высокую, тонкую даму, повел ее от обрыва над океаном, мимо маячной башни, на стрекочущую камеру. Анна пошла свободно, с каким-то врожденным и, может быть, не понадобившимся ей в жизни изяществом. И муж ее Вася, корявый маленький мужичок в кирзовых сапогах, стоял в сторонке, смотрел это кино, и ветер выжимал у него из глаз слезы. Он утирался рукавом ватника.

Океан служил фоном. Живой океан — изменчивый, разноцветный, окраска его, тона непрестанно менялись: он был то лиловый, то голубел, как небо, то зеленели на нем лужайки, то темнели бездонные омуты. Океан прищурился на солнце, хмурился, морщился, тек, дрожал, делался то стальным, то свинцовым, закипал и вновь остывал. Он был покатый, сферический; дальний край

его высоко, как туча, вздымался — выше утеса, на котором ярко, свежо белела башня маяка.

— Кто первым в баню пойдет? — звала Анна. — Баня готова...

Напарились сколько кто мог, утирались и отдувались, прикладывались к жбану с напитком из лимонника, так прямо из жбана и пили. Жбан опоражнивался и опять наполнялся. Казалось, что черпают эту живящую влагу в неиссякаемом роднике. Стол снова ломился от яств: таз полон был только что сваренных, теплых чилимов, в тарелках рдела икра, и грузди в сметане, и кета, и горбуша, и над картошкой вздымался парок. Будто скатерть на этом столе — самобранка...

Мужчины благодушествовали, и разговаривать вроде не о чем стало. И тосты все сказали вчера. И чилимы уже не шли... Только Анна, темнея глазами и стараясь каждому услужить, напоить, накормить, говорила в охотку, как говорят прямодушные люди, найдя себе слушателей после долгой уединенной жизни вдали.

— Зимой здесь у нас воздух, должно быть, такой: ни микроба в нем, ни бактерии, — внучонок жил, младшего сына сын, Федя, — младший у нас на СРТ старпомом плавает, сайру ловит на Кунашире, — так он всю зиму раздетый бегал, в одном свитере. В снегу кувыркается — и хоть бы что, не болел ни грамма... А внучка Оленька жила, дочкина дочка... Дочка у нас в Корсакове замужем, тоже муж у нее плавает... Оленьку прихватило у нас, горло ей заложило, задыхается... А как раз буран был, связь порвалась с заставой. Я говорю Василию, чтоб вызвал по рации пограничников, спросил, когда у них вертолет будет... Оленька посинела вся, страшно смотреть на нее, и помочь не знаю чем. Горячим молоком ее пою, горчичные обертывания делаю, водкой натираю, тетрациклин, сульфадимизин даю — ничего не помогает...

— Ну что же, лечение проводилось вполне грамотно, — сказал Игорь Петрович.

— Сама я не своя, с ума схожу, Чижа запрягли в сани, завернула я ее в тулуп — и поехали. Зимой мы прямо по морю ездим, по льду. А тут намело торосов. Чиж у нас конь хороший, умный, привычный. Он как ледокол себе путь торит, и я ему как могу подсобляю...

На заставу приехали, ждем вертолета, а дело к вечеру уже, его все нет и нет. Потом сообщили, что вертолета не будет, видимости, что ли, нет... На заставе ночевать оставаться? Начальник говорит: у меня ночуйте. А я думаю, нет, все-таки дома лучше. Опять завернула Оленьку в тулуп — и домой. Назавтра опять на заставу, и опять вертолет не прилетел. Я ни есть не могла, ни спать, не отходила от Оленьки, дыханием ее своим согревала, по капельке ей горячее молоко в рот вливала. Только на третий день вертолет пришел... Ну слава богу, выжила Оленька...

— Это ты ее, Анна, спасла, — сказал Игорь Петрович.

— Скоро должны ее привезти, — так я соскучилась по ней, и не знаю. Федька, бывает, и надоест, и отшлепает его, а эта кроха, беспомощная, кровиночка моя... Как вспомню, что мы тут с ней пережили... А детей своих как растили? Они же у нас все маячные дети... Это теперь вертолеты да вездеходы, а на Ломероне мы жили — заметет бураном, и связи с внешним миром совсем никакой; случись что — никто тебе не поможет. Только по радио... Да и здесь тоже: после бурана откапавшись, вылезем наружу, снег выше крыши, стеною стоит. Да плотный, ветер его спрессует. Кажется, ни за что не пробиться. Это глаза боятся, а руки делают. Начинаем рыть помаленьку тоннель, а там, глядишь, уже с той стороны пограничники к нам дорогу бьют, вездеход ползет... Вот так и живем...

— Ты у нас, Анна, молодец, героическая женщина.

— Да ну уж, будет вам, Игорь Петрович. Меня бы и совсем в живых не было, если бы не вы...

— Вот подожди, посмотрим в кино, как мы под ручку с тобой гуляем... А что? Хорошая пара!.. А, Василий? Повезло же тебе, такую жену оторвал...

— Да я что?.. Я ничего...

— А ты чего это опять к рюмке присосался? Тебе же на вахту... Да ты никак и водителю налил? Не знаю, как ваше имя-отчество.

— Вадим Павлович, — охотно представился водитель.

Никто и не заметил, когда он успел под шумок повеселеть. Укорять его в этом не стали. Но пора была ехать, прилив начался. И порешили на общем совете, что лучше садиться за руль оператору-режиссеру: раз всю войну

за баранкой проехал, в дивизионе «катюш», — наверное, опыту хватит. Старый конь борозды не испортит.

Мой товарищ залез на водительское место, баранка оказалась меж колен у него. Попрощались, пожали руки всему населению маяка, даже Володиной дочке пожали. Население осталось стоять малой кучкой, махало руками. Анна стояла поодаль от всех. Как будто зимовщики провожали последний в этом сезоне самолет, вертолет, вездеход...

Когда маячные люди скрылись за поворотом, все мы разом вздохнули и громко заговорили, живя уже тем, что предстояло нам: большой город, гостиница, ресторан. Маячная башня еще виднелась — заноза в плоти океана. Потом и ее не стало.

Автобус кинохроники по размытой потоками воды лощине осторожно съехал на лайду, на берег морской, то есть на дно морское — в отлив оно влажное, твердое, как асфальт после дождя, — и припустил. И долго, долго мчался у самой пены прибоя, покуда натешилась шоферская душа моего товарища, режиссера-оператора. Вдруг он затормозил и отдал приказ:

— Ребята, а ну давайте камеру, будем накат снимать, проезд сделаем — пригодится!

Проворные ребята, ассистент с директором картины, мигом пристроили камеру таким образом, что можно снимать на ходу, в открытую дверцу. Водитель сел за баранку, режиссер-оператор уткнулся в камеру. Машина поехала, камера застрекотала. Океан накатывал пенно-зеленые валы во всю ширину горизонта.

— Ну, хватит, ребята, — сказал режиссер-оператор и вылез наружу, направился к океану, ступил ботинками в пену и стал укорять океан: — Ну чего ты накатываешь? Чего шебаршишь? Чего ты от меня хочешь?.. Я из Москвы уехал — зачем? У меня квартира в Москве пропадает. И мама одна живет. И жена меня поедом ест, в Москву тянет... А я накат снимаю... вот уже двадцать лет... — Он погрозил океану пальцем: — Ну чего колготишься-то? Ну чего? Чего расшумелся?..

Мой товарищ вернулся в машину, вздохнул и в каком-то раздумье сказал, без враждебности, впрочем, скорее с любовью:

— Ужасное все-таки дело — этот океан...

Никто ему не возразил. Ребята моментом убрали камеру. Поехали. След машинный остался на лайде до вечера — до прилива.

И еще остался, как говорится, след в душе. Ну если и не в душе, то во внутреннем зрении — образ. Закрою глаза и вижу: где-то у Тихого тире Великого океана стоит человек высокого роста, и разговаривает с океаном на «ты», и грозит ему пальцем. И океан — ничего, не ропщет, чуть шебаршит...

Я вижу (при закрытых глазах). Я помню. В памяти тоже, как в океане, бывают накаты. Говорю себе: я там был, что-то пил и закусывал морскими кузнечиками-чилимами. (По науке они называются «шримсы».)

СОДЕРЖАНИЕ

1

Излука	7
Други мои	51
Около океана	71
Шелковица	91
Живые люди	107
Саранка	127
Девчонка свое возьмет	141
Заездок	153
Сестренка	171
В тридцать лет	178
Лебединая жизнь	188

2

Лучший лодман	199
Хлеб и соль	207
Меньший брат	215
Бельфлер-китайка	223
Низовка	231
На солонце	241
Ранней зимой	248
Охотник Горюхин	255
Дамба	263
Ударение на первом слоге	270
Два Толи	308
Близко море	322

3

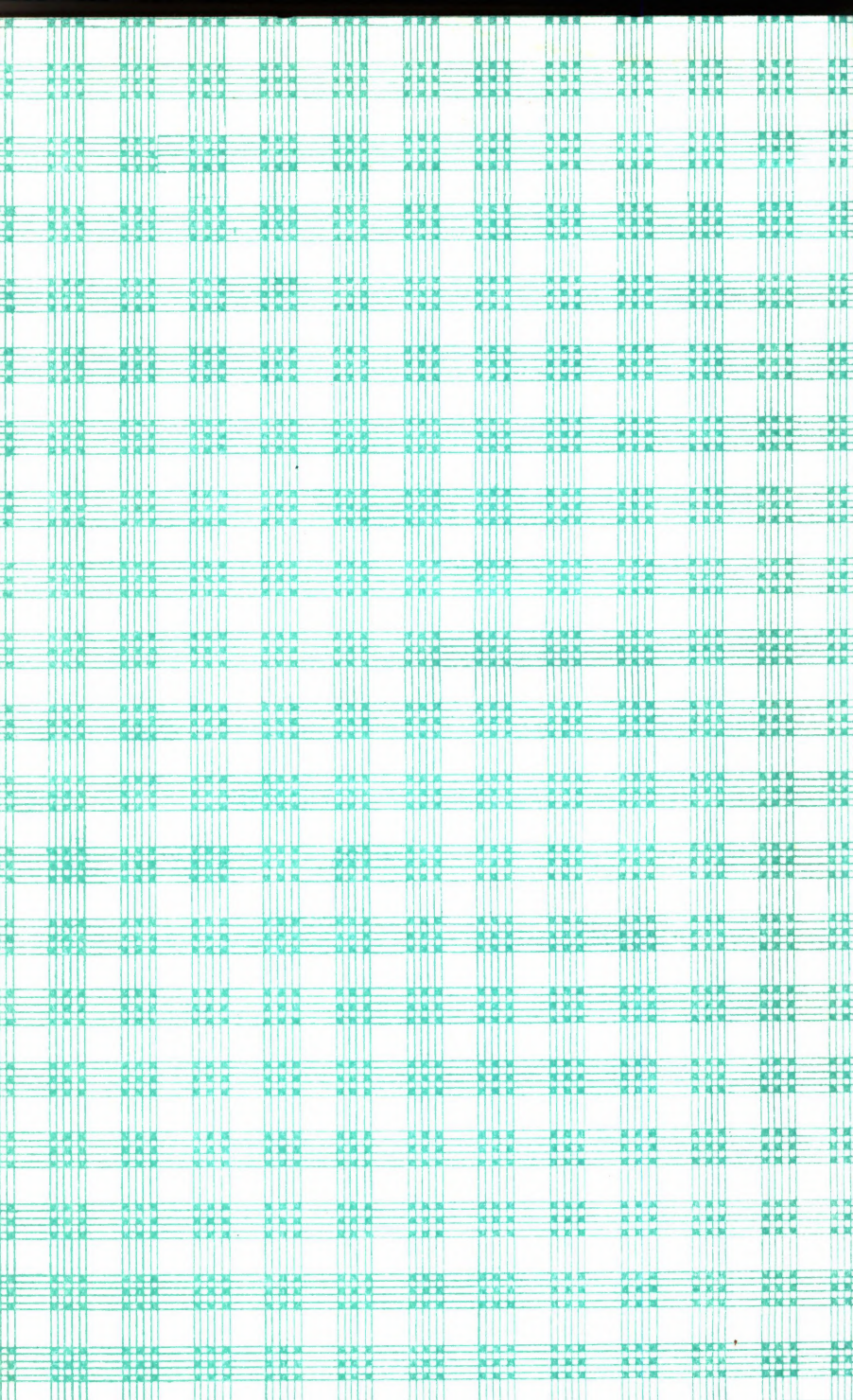
О чем свистнул скворец	381
Сто роялей	388
Прокатили	402
Холмы да озера	411
Длинная дорога с футбола	416

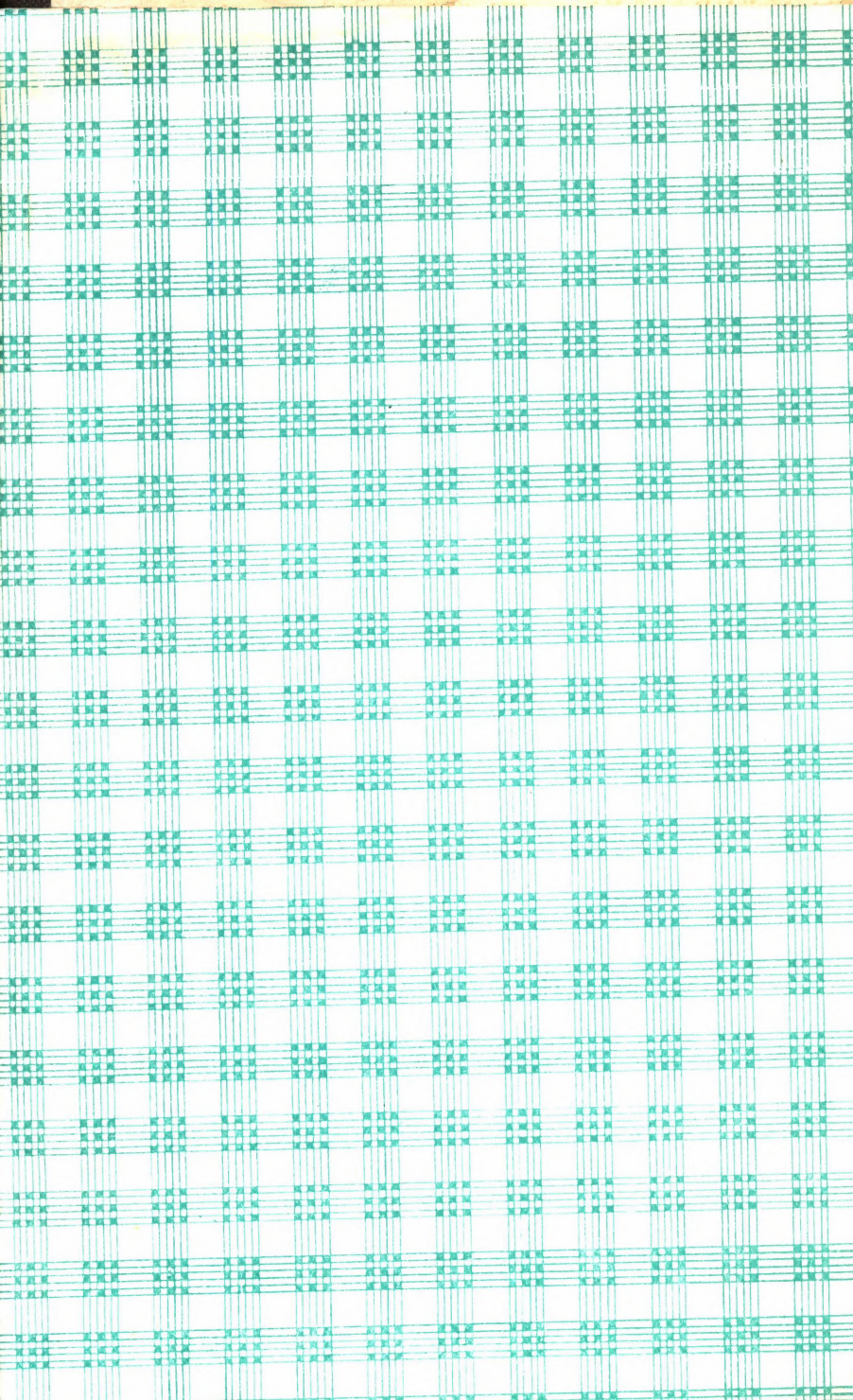
Два подлежащих в одном предложении	438
Тридцатка	456
Понял...	463
С наилучшими пожеланиями	484
Вдали за горой	501
Внимание: мыши	516
Накат	539

*Глеб Александрович
Горьшин*

**С НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ**

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977 г. 560 стр. План выпуска 1977 г. № 84. Редактор *И. С. Кузьмичев*. Художник *Э. П. Соловьева*. Худож. редактор *М. Е. Новиков*. Техн. редактор *Л. П. Полякова*. Корректор *И. Г. Клейнер*. Сдано в набор 3/VIII 1976 г. Подписано к печати 20/I 1977 г. М 11506. Формат 84×108^{1/32}. Бумага гип. № 1. Печ. л 17,5. Усл. печ. л. 29,4. Уч.-изд. л. 28,96. Тираж 100 000 экз. Заказ № 793. Цена 2 р. 02 к. Издательство «Советский писатель» Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.





THE PROBLEM OF THE FUTURE